М.В. Сабашников

ЗАПИСКИ
ПИСЬМА




ЗАПИСИ ПРОШЛОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМ. САБАШНИКОВЫХ



М.В. Сабашников. 1926 г.

М.В. Сабашников

ЗАПИСКИ

ПИСЬМА

Москва
Издательство им. Сабашниковых
MMXI

ББК 76.1

Подготовка текста А. Л. Паниной и Т. Г. Переслегиной

Редактор Л. Заковоротная

Сабашников Михаил Васильевич

С 12 Записки. Письма. – М.: Издательство им. Сабашниковых. 2011. – 704 с., ил.

ISBN 5-8242-0124-2

Книгоиздатель М. В. Сабашников (1871 – 1943) оставил воспоминания, в которых переплелись события его частной, семейной жизни и, одновременно, общественной жизни России на рубеже XIX – XX веков. М. В. Сабашников талантом и огромным личным трудом достигал высочайшего профессионализма и успеха во всем, за что он брался, будь то золотопромышленные предприятия, сахарный бизнес или издательское дело, строительство Университета им. А. Шанявского или организация помощи раненым и беженцам во время I мировой войны. Столь же ярко автор раскрывает в «Записках» и свой дар мемуариста.

Издание подготовлено к 140-летию со дня рождения М. В. Сабашникова и включает кроме основного текста «Записок» ранее не публиковавшиеся материалы: письма о поездке в Сибирь 1902 г. и фронтовой дневник 1915 г. Расширен также иллюстративный раздел за счет уникальных фотографий, сделанных в том числе самим автором во время его деловой поездки в Сибирь.

ISBN 5-8242-0124-2

«ЗАПИСКИ» М. В. САБАШНИКОВА*

Имя Михаила Васильевича Сабашникова вошло в историю русской культуры и прочно связано с книгоиздательством. Изящная монограмма М. и С. Сабашниковых, начертанная рукой Д. И. Митрохина на обложках сабашниковских изданий как знак высочайшей пробы закрепила их непреходящую ценность. М. В. Сабашникова называют обычно в ряду известных отечественных меценатов вместе с К. Т. Солдатенковым, С. И. Мамонтовым, С. Т. Морозовым. При этом часто вспоминают купеческое происхождение, предпринимательство, благотворительность и поддержку культуры и просвещения. Между тем разносторонняя деятельность М. В. Сабашникова поставила его в круг иных людей, не менее достойных, но менее известных. Их имена замалчивались десятилетиями, а иногда и втаптывались в грязь. М. В. и С. В. Сабашниковы работали рука об руку с братьями Сперанскими, Щепкиными, Якушкиными, Долгоруковыми и многими другими деятелями, чьи имена еще предстоит открыть.

Братья Сабашниковы принадлежали к поколению русской интеллигенции, вышедшему на общественную арену в начале 90-х годов прошлого столетия. Голод 1891 г. побудил к деятельности людей с чуткой совестью и отзывчивым сердцем. В ответ на призыв В. Г. Короленко, Л. Н. Толстого и А. И. Чупрова, опережая нерасторопное правительство, они устремились на помощь голодающим. Собирали средства, устраивали бесплатные столовые, закупали и раздавали хлеб, семена, организовывали медицинскую помощь, переселение малоземельных крестьян в Сибирь, где имелись обширные неосвоенные плодородные земли.

В это время Михаилу было 20, Сергею – 18 лет. Они еще были несовершеннолетними и находились под опекой. Однако старшая сестра, Екатерина Васильевна Барановская, их опекунша, поняла братьев и поддержала их стремление помочь голодающим. Сабашниковы передали на это сумму в размере своего годового дохода. Сергей Васильевич работал в пострадавших от голода губерниях в одной из самых активных групп вместе с А. Н. Антаевой.

---

* Из предисловия А.Л. Паниной к изданию 1995 г.

Работа на голоде свела молодых Сабашниковых с Н. В. и Е. А. Егорновыми, А. Н. Антаевой, А. А. Корниловым, Д. И. Шаховским, А. Г. Штанге и во многом повлияла на их будущее. Однако истоки их филантропических и просветительских устремлений и начинаний лежат глубже, в семье, самый строй жизни которой, ее особая атмосфера были проникнуты серьезным отношением к науке, просвещению, искусству. Это шло от отца, Василия Никитича Сабашникова, потомственного почетного гражданина, купца и предпринимателя, и матери, Серафимы Савватьевны, и было унаследовано всеми детьми. Они строили школы и больницы, поддерживали своими средствами музеи, библиотеки и другие просветительные учреждения, занимались издательской деятельностью. Благотворительность была у них органичной составной частью основного «дела» и таким же делом, требующим от дающего личного труда и постоянных забот.

Пятеро детей Сабашниковых – Екатерина (1859 – 1930-е), Антонина (Нина) (1861 – 1945), Федор (1869 – 1927), Михаил (1871 – 1943) и Сергей (1873 – 1909) осиротели очень рано (в 1876 г. умерла мать, а в 1879 г. – отец), но остались дружной семьей и на всю жизнь сохранили не только родственную, но и духовную близость. Младшие братья вместе росли, воспитывались и учились, вместе затем вели промышленные и издательские дела, участвовали в общественной деятельности. Эту нераздельную близость прервала только безвременная трагическая смерть Сергея Васильевича. Раненный в мае 1905 г. авантюристом или безумцем Валле, он после нескольких операций и тяжелой болезни скончался на 36-м году жизни 22 марта 1909 г.

Важную роль в жизни М. В. и С. В. Сабашниковых сыграла старшая сестра Екатерина Васильевна (в замужестве Барановская), на попечении которой они остались после смерти родителей. Ее заботами мальчикам было дано прекрасное по тому времени домашнее образование. Среди их учителей были многие талантливые русские ученые, уже тогда имевшие или вскоре получившие известное в своей области имя: А. Е. Грузинский, Д. П. Езучевский, Ф. Е. Корш, П. Ф. Маевский, С. П. Меч, Н. С. Тихонравов и другие. Руководил образованием Н. В. Сперанский, ставший самым близким и верным другом Сабашниковых.

Издательская деятельность братьев Сабашниковых началась как финансирование подготовки и публикации книг их учителей. «Злаки Средней России» (1891) и «Флора Средней России» (1892) П. Ф. Маевского и «Курс рисования» (1891) Н. А. Мартынова вышли как издания Е. В. Барановской, которая взяла на себя материальную ответственность за предприятие. С 1897 г. книги стали выходить с указанием фирмы «Издательство М. и С. Сабашниковых». Расширился круг авторов, сотрудников и друзей Сабашниковых, особенно после поступления в

1892 г. Михаила Васильевича и в 1893 г. Сергея Васильевича в Московский университет.

Университетская среда, в которую они вступили, находилась в ту пору под влиянием профессоров-биологов М. А. Мензбира и В. Н. Львова. Здесь и сформировалось научное мировоззрение Михаила Васильевича, его интерес к естественным наукам и верность дарвинизму, пронесенные им через всю жизнь.

Одной из самых влиятельных фигур в Московском университете, да и во всей Москве, был в 90-е годы Александр Иванович Чупров, экономист и статистик, сочетавший преподавательскую деятельность с работой в Московской губернской земской управе и в газете «Русские ведомости», которая стала как бы его второй кафедрой. По популярности и авторитету его сравнивали с Т. Н. Грановским. Михаил Васильевич сблизился с А. И. Чупровым благодаря его сыну Александру и Н. В. Сперанскому и во всех сложных жизненных обстоятельствах искал у него совета и поддержки. Особенно оценили братья Сабашниковы советы и помощь А. И. Чупрова, когда по достижении совершеннолетия самостоятельно вступили во владение и управление предприятиями, унаследованными от отца и вновь приобретенными. Купив в 1896 г. у сестры и зятя Н. В. и А. В. Евреиновых находившийся на грани краха Любимовский сахарный завод в Курской губернии, братья Сабашниковы через несколько лет превратили его в мощное предприятие, включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков, и вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, М. В. Сабашников не только устоял на ногах, но, войдя в опеку, поправил дела обанкротившихся фирм* и свои собственные.

В своих владимирских и курских имениях братья Сабашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Это свело их с местной интеллигенцией, центрами которой были уездные и губернские земства. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания, а Михаил Васильевич – гласным Покровского и Суджанского (Курская губ.) уездных земств. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, а затем Михаил Васильевич был избран и в Московское губернское земское собрание. В Суджанском земстве он сблизился с председателем земской управы князем Петром Дмитриевичем Долгоруковым,

* М.В. Сабашников вошел в администрацию двух фирм: «Товарищество кондитерской фабрики А. И. Абрикосова и сыновей» и графа В. А. Бобринского.

одним из видных деятелей земства, затем «Союза Освобождения» и Конституционно-демократической партии, вице-председателем I Государственной Думы. М. В. Сабашников был свидетелем преследования П. Д. Долгорукова со стороны властей и боролся за его восстановление в Суджанской земской управе и избрание в Государственную Думу.

Работая непосредственно в российской провинции, земцы особенно остро ощущали нерешенность аграрного вопроса, малоземелье крестьян, рутинность методов хозяйствования, путы общины, которая в ведении сельского хозяйства равнялась на самого слабого крестьянина, сословные ограничения и пристрастность местных властей, защищавших интересы своего сословия. Особенно ярко это проявилось во время борьбы с голодом. Поэтому в середине 90-х годов земское движение превратилось в организованную оппозиционную правительству силу – съезды земских деятелей, которые требовали от него решительных и последовательных реформ всего общественного устройства страны. Земское движение, т. е. наиболее активная и организованная сила России, сделало выбор в пользу правового, конституционного государства, всесословного, открытого, демократического общества с равными возможностями для всех его граждан на основе частной собственности и равенства всех перед законом. Однако правительство не увидело различия между земским и революционным движением, которое в эти же годы постоянной агитацией и террористическими актами так напугало власть, что она металась от уступок к ответным репрессиям. Преследования земских деятелей толкнули их к созданию нелегальной организации.

В 1902 г. в Штутгарте стал издаваться под редакцией П. Б. Струве журнал «Освобождение», подготовивший создание нелегального «Союза Освобождения», организованного группой общественных и земских деятелей. М. В. Сабашников был принят в него В. Е. Якушкиным и П. Д. Долгоруковым. Сергей Васильевич вступил в «Союз» несколько ранее. В октябре 1905 г. М. В. Сабашников среди 30 депутатов от «Союза Освобождения» принимал участие в учредительном съезде Конституционно-демократической партии и был избран в ее Центральный Комитет и в редколлегию газеты «Народное право».

«Записки» М. В. Сабашникова проливают свет на земское движение, история которого замалчивалась или искажалась советской исторической наукой. О своей политической деятельности Михаил Васильевич упоминает очень скупо. Это объясняется, на наш взгляд, несколькими обстоятельствами. Первое состоит в цензурных соображениях, удерживавших М. В. Сабашникова от излишней откровенности. Хорошо знакомый по своей книгоиздательской деятельности с советской политической цензурой, он не хотел рисковать публикацией кни-

ги. По своему же личному лубянскому и бутырскому опыту понимал также, чем грозят подобные сведения и самому автору, и упоминаемым лицам. Но стоит также принять во внимание и признание Михаила Васильевича в том, что он не имел склонности к политической деятельности и что политическое поприще было ближе младшему брату. Трагическая судьба Сергея Васильевича помешала осуществиться его незаурядным способностям. Судя по избранию С. В. Сабашникова в Московскую городскую думу и положению, которое он сразу же занял в кругу известных московских общественных и политических деятелей, можно предположить, что его путь вел в Государственную Думу. Михаил Васильевич отказался баллотироваться в Думу, хотя в ЦК кадетской партии, членом которого он был, ему настоятельно это советовали и именно кадеты составляли большинство в I Государственной Думе.

Будучи человеком практического действия, М. В. Сабашников талантом и огромным личным трудом достигал высочайшего профессионализма и успеха во всем, за что он брался, будь то золотопромышленные или книгоиздательские дела, производство сахара или организация помощи раненым и беженцам во время войны. Наиболее плодотворным периодом его деятельности было предреволюционное десятилетие. В это время он руководил крупным акционерным предприятием, выросшим из маломощного Любимовского завода. Успех сопутствовал и культурным начинаниям М. В. Сабашникова. Будучи душеприказчиком А. Л. Шанявского, Михаил Васильевич деятельно трудился над созданием университета имени А. Л. Шанявского. Он возглавил комиссию по строительству здания университета и вложил в него немало сил и собственных средств, а затем стал председателем правления этого первого в России вольного университета. Кстати, большевики по достоинству оценили дом на Миусской площади, сразу же прибрав его под свои высшие учебные заведения.

На 1910-е годы приходится и вершина деятельности книгоиздательства М. и С. Сабашниковых. В эти годы выходят в свет самые известные сабашниковские серии: «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», «Русские Пропилеи» и другие издания, поставившие имя Сабашниковых в ряд известнейших отечественных книгоиздателей.

В 1912 г. М. В. Сабашников вступил в товарищество газеты «Русские ведомости». К сожалению, об этой стороне своей издательской деятельности он умолчал в «Записках», и нами публикуется лишь черновой набросок того, о чем он мог бы рассказать при других обстоятельствах. Почти так же мало и очень отрывочно освещена в воспоминаниях работа М. В. Сабашникова в годы первой мировой вой-

ны, когда он был уполномоченным Союза городов в 6-м Бурятском медико-санитарном отряде помощи раненым воинам, а потом входил в Главный комитет Согора, руководивший этой деятельностью. От этого времени сохранились письма Михаила Васильевича жене, представляющие подробный дневник его пребывания на фронте. Если они будут когда-нибудь опубликованы во всем своем комплексе, читатели получат увлекательное чтение, а историки – ценнейший источник – свидетельство очевидца, свободное от цензуры.

Октябрьская революция, как чудовищный разлом земной коры, трещиной прошла по судьбам людей и самой страны, поглотила миллионы невинных жертв. Было разрушено то, что создавалось кропотливым трудом и талантом не одного поколения. Сабашниковы лишились разом всего: были национализированы имения и счета в банках, сгорели во время октябрьских боев в Москве издательство и большая часть книг на складе, квартира и личные вещи.

Среди общей растерянности и неуверенности в завтрашнем дне М. В. Сабашников был одним из немногих, кто сохранил присутствие духа и силы, чтобы начать все с нуля. Он смог даже помогать десяткам других обездоленных. «Не скажу, чтобы я имел какие-нибудь основания, – писал он в ноябре – декабре 1918 г. Б. А. Тураеву, – быть более уверенным в завтрашнем дне, чем другие издатели, но лучше быть либо беспечным, либо фаталистом, либо тем и другим вместе, но не киснуть и не поддаваться унынию...». М. В. Сабашников не только выбрался из поглотившей его пропасти, но и поднял издательство на прежнюю высоту, не потеряв при этом лица и сохранив верность своим нравственным принципам. Изыскав средства на продолжение издательской деятельности, Михаил Васильевич в труднейшие 1918 – 1919 годы заключил 118 новых договоров, помогая денежными авансами десяткам писателей, переводчиков, ученых. «По поговорке, – писал он в одном письме 1921 г., – счастливцы родятся в рубашке, но родиться в непроницаемой рубашке, по мне, несчастье. От непогоды укроешься плащом, а как откроешься всему многообразию человеческих ощущений, если от природы лишен чувствительности?» Эта душевная чуткость и отзывчивость побудили М. В. Сабашникова перед угрозой надвигавшегося на страну голода отказаться от своего решения после Октябрьской революции не участвовать больше в политической, государственной и общественной деятельности.

В июле 1921 г. он вошел в состав Всероссийского комитета помощи голодающим, организованного по инициативе известных общественных деятелей. В списке членов Комитета имя М. В. Сабашникова соседствует с именами П. И. Бирюкова, В. Ф. Булгакова, М. Горького, Б. Зайцева, Н. М. Кишкина, Е. Д. Кусковой, С. Ф. Ольденбурга, С. Н. Про-

коповича, А. Л. Толстой и других деятелей культуры. Почетным председателем был избран В. Г. Короленко. М. В. Сабашников взял на себя обязанности казначея. Комитет ставил своей задачей сбор средств в России и за рубежом и организацию распределения гуманитарной помощи среди нуждающихся.

Декретом 21 июля 1921 г. Советское правительство санкционировало и регламентировало деятельность Комитета, ввело в него своих представителей и назначило председателем Л. Б. Каменева. Советские руководители пошли на сотрудничество с интеллигенцией, чтобы, воспользовавшись авторитетом деятелей культуры, вступить в контакты с Западом, который не хотел иметь дела с большевиками. Как только эта цель была достигнута, инициаторы помощи были отстранены. 27 августа 1921 г. члены Комитета (кроме коммунистов) были арестованы и отправлены на Лубянку. М. В. Сабашников и еще несколько человек поплатились за свою «чувствительность» месяцем тюрьмы, другие – ссылкой. Последним актом этой драмы стала высылка из России осенью 1922 г. многих деятелей культуры. «Когда теперь я все это припоминаю, – с горечью писал Михаил Васильевич в 1924 г., – я вижу, я чувствую, сколько они отняли у меня и у всех нас жизненных сил. Мы были другие когда-то, и были, вероятно, лучше».

С наступлением НЭПа Сабашников использовал все возможности, чтобы возродить издательство. Он выпускает серии книг по биологии и медицине, сводки работ опытных сельскохозяйственных учреждений, пытается продолжать прежние и начинает новые серийные издания. Наибольший успех имела начатая в 1925 г. серия «Записи Прошлого». Именно так, о Прошлом с большой буквы намеревались рассказать М. В. Сабашников и редакторы серии С. В. Бахрушин и М. А. Цявловский. Задачу издания они видели в том, чтобы «дать изображение развития русской культуры и картину жизни и быта разных слоев русского народа в показаниях свидетелей и деятелей нашего прошлого». В этой серии вышли воспоминания Б. Н. Чичерина, Т. А. Кузминской, С. А. Толстой, А. Ф. Тютчевой, А. П. Сусловой и др. В «Записях Прошлого» возродился особый стиль сабашниковских изданий – сочетание занимательности для читателя с научной подачей и подготовкой материала, простотой и изысканностью полиграфического оформления, стремление к «музейной» полноте. Вся серия была внесена Международным институтом библиографии Н. А. Рубакина в списки лучших книг 1926 – 1929 гг.

Однако ни успех у читателей, ни общественное, даже международное признание не гарантировали самой возможности деятельности. Окрепший большевистский режим очень скоро принялся выкашивать все жизнеспособное и плодотворное, что взошло и расцвело в поте-

плевшем климате НЭПа во всех областях, от сельского хозяйства до культуры включительно. В 1929 г. М. В. и С. Я. Сабашниковы были внесены в списки на выселение как «нетрудовые элементы» (!), а затем в том же году Моссовет принял постановление о лишении их избирательных прав, т. е. фактически за этим последовало бы лишение продовольственных карточек, квартиры и всего остального. Спасло то, что было еще кому заступиться. А. В. Луначарский, со ссылкой на авторитет Ленина, В. П. Волгин, В. И. Невский и другие влиятельные коммунисты сумели отстоять М. В. Сабашникова.

В 1930 г. Издательство М. и С. Сабашниковых, как и почти все другие частные издательства, возродившиеся в годы НЭПа, было ликвидировано. Некоторые – «Academia», «Мир», «Бр. Гранат» – успели реорганизоваться в кооперативные товарищества, но таких были единицы. М. В. Сабашников сделал это с опозданием, в октябре 1930 г., и чуть было жестоко не поплатился за промедление. Потеряв имя, издательство возобновило свою деятельность как «кооперативная промысловая артель «Север», сохранив за собой право продолжить выпуск некоторых сабашниковских изданий. Академик Д. М. Петрушевский возглавил правление, в состав которого вошли М. А. Цявловский и Н. П. Губский. М. В. Сабашников назначался ответственным редактором и заведующим редакционно-издательской частью. Но это была отсрочка конца, 10 книг, выпущенных в 1931–1934 гг. под фирмой издательства «Север», вышли в свет только благодаря титаническим усилиям и таланту Михаила Васильевича. Государственная монополия на книгоиздательскую деятельность проглотила последние фирмы, пытавшиеся выжить рядом с государственным монстром. В 1934 г. «Север» был закрыт, а его редакционно-издательский портфель передан издательству «Советский писатель».

После закрытия издательства Михаил Васильевич работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», выпускавшей наглядные игры, пособия и чертежи для изготовления самодельных игрушек. Его издательский опыт пригодился и здесь, продолжилось и «общение» с цензурой, запрещавшей то одно, то другое (например, серию «Для умелых рук»). Однако, как он сам заметил еще в 1921 г., дела и планы все мельчали и мельчали. В 1930-х гг. для людей такого масштаба, как М. В. Сабашников, дел вовсе не осталось.

Оценивая деятельность М. В. Сабашникова теперь, по прошествии более ста лет от ее начала, понимаешь не только ее масштабность и размах, но и последовательную устремленность на благо отечества, его культуры и просвещения. Особенно поражает, что и после октября семнадцатого года он сумел продолжить ее, сохранить издательство, ни в чем не отступив от своих идеалов и убеждений. Между тем самая

жизнь Михаила Васильевича и его близких висела на волоске. Он пережил пять арестов. С мая по август 1918 г. – вместе с группой видных деятелей Конституционно-демократической партии. В мае и с августа по ноябрь 1920 г. его дважды арестовывали по делу Национального центра. По этому случаю в лубянской тюрьме, переполненной московской интеллигенцией, оказалось много знакомых и близких Михаилу Васильевичу людей. Не причастный к этой организации, сам он был освобожден 5 ноября под поручительство М. Ф. Владимирского, но среди расстрелянных были Алферовы, братья В. Н., Е. Н., Н. Н. Щепкины и другие. В августе 1921 г. М. В. Сабашников снова оказался на Лубянке, на этот раз также в достойном обществе – вместе с членами Всероссийского комитета помощи голодающим.

17 декабря 1930 г. Михаил Васильевич был арестован вместе с двумя своими бывшими сотрудниками по Любимовскому сахарному заводу – управляющим заводом Алексеем Петровичем Корховым и управляющим имениями Георгием Васильевичем Шевелевым. В этом деле главным обвиняемым был А. П. Корхов, крупный специалист в области сахарной промышленности, работавший в советское время в Сахарном тресте. Он обвинялся в сношениях с эмиссарами Б. А. Евреинова (племянника М. В. Сабашникова, эмигрировавшего за границу и возглавлявшего РДО) и в том, что рассказывал им о политическом и экономическом положении в СССР. М. В. Сабашников, уклонившийся от встречи с человеком (вероятно провокатором, подосланным ОГПУ), представившимся посланцем Б. А. Евреинова, и Г. В. Шевелев, согласившийся лишь передать привет своему бывшему знакомому, были привлечены по статье 58 – 12 за недоносительство. Это дело окончилось трагически для А. П. Корхова. Он был расстрелян в апреле 1931 г. (реабилитирован посмертно 30 марта 1989 г.). Г. В. Шевелев был выслан в Казахстан. М. В. Сабашников, освобожденный из-под стражи 24 января 1931 г., был оправдан так же, как и по всем предшествующим делам.

В своих «Записках» Михаил Васильевич очень скупо описывает эти жестокие испытания и по вполне понятным причинам о многом умалчивает. Однако в архиве КГБ в многотомных следственных делах сохранились записи допросов и собственноручно написанные показания М. В. Сабашникова, свидетельствующие, с каким благородством, твердостью и последовательностью отстаивал он свою невиновность и человеческое достоинство. Они не оставляют сомнений в силе его духа, верности своим убеждениям и безупречной порядочности. В позиции М. В. Сабашникова на следствии нет и намека на какое-либо подлаживание к властям. Напротив, подчеркивает свою независимость от всякой власти, «ибо никогда не служил». И в этом нет никакой позы. С

обескураживающей откровенностью он заявляет, что «никогда не разделял марксистских убеждений» и не изменил своих взглядов.

«Должен заявить, – пишет он в своих показаниях, – что было очень ценно то, что с первых дней Октябрьской революции я имел возможность работать самостоятельно, в привычной своей области, проявляя частную инициативу так, как я это считал нужным, и я думаю, что эта моя деятельность давала больше пользы и результата для общества, нежели в условиях моей работы в каком-либо государственном учреждении, скажем в ГИЗе, в котором я мог бы быть лишь техническим исполнителем, так как я не коммунист, т. е. не политический деятель и на руководящую роль, роль инициативную, в советских учреждениях не подхожу».

В этих показаниях звучит такая искренность, убежденность и недвусмысленность, что даже сама мысль о возможности, не то что обязанности, доносительства становится неуместной и неестественной. Больше того, Михаил Васильевич высказывает доброе мнение о людях, в порядочности которых уверен, и делает это при обстоятельствах, не только его к этому не обязывающих, но даже опасных. Так, во время одного из допросов по делу А. П. Корхова он заявил: «В последнем процессе Промпартии в качестве обвиняемого привлекался проф. *Федотов А. А.*, с которым я был знаком по совместной работе в газете «Русские ведомости». *До последнего момента процесса, т. е. до признания, я не допускал и мысли о том, что этот человек может пойти на такое дело как вредительство. Даже и теперь для меня Федотов является загадкой**, потому что вся психология Федотова, как я ее до сих пор понимал, не отвечает той вредительской деятельности, в которой он себя признает виновным». Такое заявление само по себе стоит многого и не нуждается в комментировании. Надо также принять во внимание, что Михаилу Васильевичу шел шестидесятый год и это был его пятый арест. Пять раз он доказывал свою невиновность и выходил «на свободу», где его постоянно ждали лишение прав, выселение, голод. Двое детей М. В. Сабашникова, столько сделавшего для отечественного просвещения, были вынуждены (по большевистским законам «социальной справедливости») покинуть Московский университет. Трагическая участь постигла его старшего сына, Сергея Михайловича. Его трижды арестовывали (последний раз 18 сентября 1943 г.). Постановлением Особого совещания 8 апреля 1944 г. С. М. Сабашников был осужден на 10 лет, а 21 декабря 1951 г. его привлекли к вновь сфабрикованному делу о террористической организации, якобы подготавливавшей в 1930-х годах покушение на правительство. Военная коллегия Верховного суда

* В деле подчеркнуто синим карандашом, очевидно, следователем.

СССР без государственного обвинителя, защиты и свидетелей приговорила С. М. Сабашникова к расстрелу. Сергей Михайлович был расстрелян 26 августа 1952 г. Реабилитирован посмертно в 1957 г.

Михаил Васильевич не дожил до последнего ареста сына. 5 ноября 1941 г. во время бомбардировки Москвы прямым попаданием бомбы был разрушен дом, где жили Сабашниковы. Михаил Васильевич оказался засыпанным рухнувшей стеной. Его удалось спасти. Однако здоровье его было подорвано, и после тяжелой болезни Михаил Васильевич Сабашников скончался 12 февраля 1943 года.

До самых последних дней М. В. Сабашников работал над своими воспоминаниями, которые он задумывал, очевидно, еще для «Записей Прошлого». Первые черновые наброски и материалы мемуарного характера в записной книжке соседствуют с записями 1928 г., а один из первых черновых вариантов написан на обороте листов с бухгалтерскими записями апреля – мая 1928 г. Сохранились две тетради в черных клеенчатых обложках с черновым вариантом первой и третьей глав воспоминаний. Вторая тетрадь утеряна. В первой имеется титульный лист с надписью: «Кяхтин. Намедни», а также два варианта заглавия: «Н. В. Кяхтин. Намедни. (Из личных и семейных переживаний довоенного времени)» и «М. В. Кяхтин. Намедни. (Из личных и семейных переживаний довоенной поры)». В окончательном варианте в беловой рукописи это заглавие, так же как и псевдоним, сняты, а в ряде других материалов появляется название «Записки». Оно фигурирует в записях и распоряжениях М. В. Сабашникова, датируемых 1941 – 1942 гг., и потому мы должны считать его последней авторской волей.

В тексте черновой рукописи (на с. 14 первой главы) имеется прямое указание на время ее написания: «Только теперь, в 1931 году посетив Сетунь...». Таким образом, начальная дата написания воспоминаний – 1931 год.

Текст настоящей публикации печатается по рукописи-автографу М. В. Сабашникова, которую можно назвать беловой лишь с некоторыми оговорками. Это 12 папок, соответствующих 12 главам «Записок», содержащих несшитые тетради размером в ¼ писчего листа, с большой авторской правкой. Меньше всего правки в первых девяти главах, которыми по первоначальному замыслу хотел ограничиться Михаил Васильевич. Книга должна была заканчиваться рассказом о возвращении в Москву из заграничного путешествия, прерванного началом первой мировой войны. Девятая глава завершалась зачеркнутой впоследствии фразой: «На этом кончаю свое повествование».

«Через двадцать лет после той ночи...» 1914 г., описанием которой завершался текст воспоминаний, т. е. в 1934 г., М. В. Сабашников начал десятую главу «Во время войны и революции». На листочке с планом

этой главы имеется запись, не вошедшая в окончательный текст: «Как я уже указал выше, я не стану писать о времени войны и революции. Я должен только указать коротенько, какая судьба постигла людей и дела, о которых я рассказывал. Эти справки, соединенные здесь в X главе, послужат как бы эпилогом моего романа». Во втором наброске плана вместо этого пояснения появляется полный глубокого смысла и горечи эпиграф: «Погибли все, кто видел вчерашний день. (Из египетского папируса)». Острое сожаление о погибших друзьях и сотрудниках, беспокойство за жизнь уцелевших родных и близких не могли не волновать Михаила Васильевича. С тревогой глядя в завтрашний день, он считал своим долгом сохранить память о людях, вместе с которыми работал для будущего России.

Эпилог разросся в три главы – десятую, одиннадцатую и двенадцатую. Внутри них все главки отличаются разной степенью завершенности. Отдельные фрагменты (о Н. В. Давыдове, Л. М. Леонове и др.) соседствуют с набросками, текст которых представляет трудности для прочтения и нуждается в расшифровке. В них много сокращений, имена и фамилии чаще всего обозначены инициалами. Последние страницы рукописи и правка в первых главах написаны чрезвычайно мелким почерком, дрожащей, не очень уверенной рукой. Сохранившиеся образцы почерка М. В. Сабашникова, датированные 28 марта 1942 г., черновики писем к внуку Мише Артюхову (3 октября 1942 г.) и дочери Нине Михайловне (3 декабря 1942 г.), сопоставленные с последними страницами рукописи, позволяют утверждать, что Михаил Васильевич работал над текстом до самых последних дней.

В это же время в конце 1942 г. М. В. Сабашниковым были, по-видимому, написаны два листочка, свидетельствующие о том, что он готовил свои «Записки» к публикации. На одном из них расчет объема издания. Михаил Васильевич решает исключить из книги восьмую и десятую главы, а общий объем ее оценивает в 20 печатных листов.

Второй листочек озаглавлен: «Приложение к «Запискам» (в конце глав или в конце всего)» и заслуживает того, чтобы быть приведенным здесь полностью:

«Письма А. Л. и Л. А. Шанявских и письма к ним (Д. Милютина, министра Шварца, Пузыревской, Сперанского, Давыдова, П. Л. Садырина...).

Архив А.И. Чупрова. Несколько писем в оригинале или копиях. Сделаны мною выписки из писем и дневников (тетрадь).

Переписка моя с А. А. Чупровым (сделать выборки).

Письма Н. В. Сперанского (делаются мною выборки, тетрадь).

Переписка моя с К. В. Аркадакским (сделать выборки).

Мои письма.
Переписка с авторами.

Некоторые события, изложенные в «Записках», описаны и в «Письмах». В нескольких случаях в «Записках» приводятся отрывки писем. Просмотреть и устранить повторы».

Что это, заметка для памяти или распоряжение тому, кто будет готовить рукопись к публикации?

Как завещание отца воспринимала эту запись дочь М. В. Сабашникова Нина Михайловна Артюхова. Она сберегла то, что уцелело из архива Сабашниковых, передав в Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина материалы книгоиздательства (начало этому было положено женой Михаила Васильевича С. Я. Сабашниковой). Неоднократно Н. М. Артюхова делала попытки опубликовать «Записки» отца, сначала хотя бы отрывки из них («Альманах библиофила». М., 1973; «Наука и жизнь», 1975, № 7; «Журнал невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова», 1975, т. 75 вып. 3). Затем в издательстве «Книга» удалось выпустить два издания «Воспоминаний» (М., 1983, 1988). В этом ей помогали В. Г. Утков и Е. И. Осетров. К сожалению, и здесь не удалось напечатать полный текст «Записок» без купюр и редакторских изменений.

Предпринимая новое издание, мы стремились прежде всего донести подлинный текст М. В. Сабашникова.* Текст печатается по беловой рукописи-автографу. Восьмую и десятую главы мы сочли целесообразным опубликовать также в том виде, в каком они сохранились в рукописи. В двух случаях текст, отсутствующий в беловой рукописи, но сохранившийся в черновом варианте, воспроизводится по черновику с соответствующими оговорками. Утраченные части текста отмечены в тексте и также оговорены в примечаниях. Стиль и правописание оригинала сохранены, только употребление прописных букв приведено в соответствие с современной орфографией. М. В. Сабашников писал с прописной буквы названия месяцев, некоторых должностей, все слова в наименованиях учреждений и некоторые другие. В тексте рукописи почти нет описок и грамматических ошибок (иногда они встречаются, в основном в латинских и немецких фразах). Они исправлены без оговорок. Перевод иностранных слов, выражений и текстов, источни-

---

* В настоящее издание включены также письма М.В. Сабашникова о поездке в Сибирь 1902 г. и письма 1915 г. с фронта, где М.В. Сабашников руководил санитарным отрядом. Письма и примечания к ним подготовлены к печати Т. Г. Переслегиной – внучкой М.В. Сабашникова и С.М. Артюховым – его правнуком, возглавляющим «Издательство имени Сабашниковых».

ки цитат, пояснения к тексту приведены в подстрочных примечаниях, при этом примечания самого М. В. Сабашникова оговорены. Все даты, относящиеся к дореволюционным событиям, приводятся по старому стилю.

Примечания по содержанию помещены в конце книги, разработаны по главам и имеют порядковую нумерацию. Именной указатель, из-за обилия упоминаемых имен, составлен кратким. Это дало возможность сэкономить место для приложений, где опубликованы: письма М. В. Сабашникова к жене и сыну 1917 г., заявления М. В. Сабашникова в различные инстанции в связи с выселением, лишением избирательных прав, закрытием издательства, а также письма М. В. и С. Я. Сабашниковых к детям с описанием событий того рокового дня 5 ноября 1941 г., когда с Михаилом Васильевичем случилось несчастье, а также набросок его последнего письма к Нине Михайловне Артюховой.

А. Панина

Глава 1
ПРИ РОДИТЕЛЯХ

Наше происхождение

Род наш, по-видимому, происходит от выходцев в Сибирь из Кадниковского уезда Вологодской губернии. Мой двоюродный брат, Василий Михайлович Сабашников, рассказывал мне, что у него была серебряная дедовская табакерка с изображением герба и карты Вологодской губернии, преподнесенная деду по какому-то случаю. Так или иначе, но дед наш, Никита Филиппович, всю жизнь провел, насколько знаю, в Сибири, где и женился на бабушке нашей Аграфене Степановне, урожденной... [*].

Дед служил доверенным Российско-Американской компании[1] и за продолжительную безупречную службу получил звание потомственного почетного гражданина. Жил он, или вернее сказать, при постоянных его служебных разъездах обосновался он в Кяхте[2], где завелся собственным домом. Известные мне портреты деда и бабушки, к сожалению, не сохранились.

У деда было выразительное лицо, строгий, несколько острый профиль и нос с горбинкой. У моего племянника, его правнука Бориса Алексеевича Рейна, было с ним какое-то отдаленное сходство, насколько, конечно, можно судить по портрету. Бабушка Аграфена Степановна была низкого роста, с округлым лицом и маленькими острыми глазами. На дагерротипе, бывшем у моих сестер, она снята сидящей, с черной шалью на плечах и черным платком на голове. Она была властного характера, пережила своего мужа, нашего дедушку, на много лет и имела большое влияние на своих взрослых детей. Это, по-видимому, иногда бывало причиной огорчений для Серафимы Савватьевны, матери нашей. [...][**]

* В оригинале продолжение отсутствует.

** Далее в рукописи следует набросок родословной Сабашниковых, который публикуется в приложении.

Василий Никитич и Серафима Савватьевна

Василий Никитич, отец наш, женат был на Серафиме Савватьевне, урожденной Скорняковой, по происхождению сибирячке. Образование она получила в Петербурге, в Институте[3]. О своем учебном заведении она сохранила самые печальные воспоминания и часто говорила, что детей своих, памятуя свой Институт, ни в одно закрытое учебное заведение не отдаст. Она была очень живого и общительного характера, с ярко выраженными интеллектуальными интересами. Несмотря на свою юность (она была на 19 лет моложе отца), она играла заметную роль в кяхтинском обществе.

У родителей наших в Кяхте родилось две дочери – Екатерина и Антонина (всегда ее звали Ниной), и два сына – Александр и Василий, оба скончавшиеся в юном возрасте. В Москве родились Федор, я – Михаил – и Сергей.

В промежуточное между рождением Васи и Феди время у отца с матерью чуть было не произошел разрыв. Мамочка даже уехала от отца с двумя девочками и около года путешествовала с ними заграницей, тогда как отец оставался в Кяхте с Сашей и Васей. Для отца, до мозга костей семейственного, это, конечно, было жестоким испытанием. Он здесь, однако, проявил себя человеком, намного опередившим свое время. Нежно любя мать нашу, постоянный в своих привязанностях, в высшей степени независимый в суждениях и поступках, он не растерялся в создавшемся положении, в котором большинство мужчин так часто не видят выхода. Со своей необычайной выдержкой он не дал случайным обстоятельствам верха над собой. После кратковременного разъезда родители наши вновь воссоединились и зажили дружной крепкой семьей.

Переписка родителей

Отец имел обыкновение хранить получавшиеся им письма и копировать свои письма. У меня долго сохранялась очень оживленная переписка наших родителей между собой за те периоды, когда им почему-либо приходилось быть в разлуке. К сожалению, эта содержательная переписка сгорела у меня во время пожара 1917 года, и я могу здесь восстановить лишь несколько эпизодов из нее, сохранившихся в моей памяти.

Так, в одном письме Василий Никитич подробно описывает Серафиме Савватьевне, как он повез с приисков золото прода-

вать в Иркутск. В мое время это делалось так. Золото обязательно сдавалось в золотосплавочную лабораторию в Иркутске, которая выдавала так называемые «ассигновки»[4]; по ним уже можно было получить из Монетного двора в Петербурге золото в монетах или слитках. Продавалось, таким образом, не само золото, а ассигновки на золото, по курсу дня, с учетом процентов за срок. Существовал ли в то время этот самый порядок или какой другой, в данном случае несущественно. Отец пишет матери, что для расчета рабочих надо было реализовать золото немедленно по прибытии в Иркутск. При въезде в город ему повстречался посредник, который, подсев к отцу и узнав, что отец едет прямо с прииска и везет продавать золото, тут же спросил цену и заявил, что оставляет золото по назначенной отцом цене за собой. Затем посредник сошел, чтобы принести деньги, а Василий Никитич, подъехав к гостинице, занял номер и заказал самовар. Из принесенной половым газеты отец сразу увидел, что за время пребывания его на приисках произошли какие-то крупные политические осложнения, запахло войной, курсы скачут, бумажный рубль пал, золото вздернулось вверх. Пришедшие вслед приятели, узнав о состоявшейся в пути сделке, признали ее обманной, т. к. посредник воспользовался неосведомленностью Василия Никитича, бывшего некоторое время оторванным на приисках от всяких известий. Советовали золота не сдавать покупателю, а продать по высокой цене. «Но мне жалко стало данного мною слова» – запомнился мне своеобразный оборот отца. И он сдал золото посреднику. Горячо и долго спорили потом купцы в Иркутске о том, как надо было поступить в данном случае. Одни осуждали Василия Никитича. Другие одобряли. А посреднику, воспользовавшемуся неосведомленностью Василия Никитича, пришлось искать работу в Томске, т. к. в Иркутске с ним никто больше не хотел «водиться».

В другом письме к Серафиме Савватьевне Василий Никитич, говоря о бывшем в Кяхте пожаре, называет его наказанием, «ниспосланным свыше», и сообщает, что по случаю принятия им на себя в связи с городским бедствием общественных забот кяхтинцы проявили к нему трогающую его признательность. Это, добавляет отец, тем более ему приятно, что у него два сына, которые, как он надеется, тоже будут со временем общественными деятелями.

С живостью радикально настроенной молодой женщины Серафима Савватьевна возражает Василию Никитичу. Не «Божье попустительство», а недопустимая халатность и небрежность самих кяхтинцев послужили причиной пожара. Она всегда говори-

ла, что этим кончится, когда маленькие девочки-прислуги в сенях самовары раздувают. Кяхтинцы слишком практичные люди, добавляла она, чтобы не оценить всегдашней готовности Василия Никитича поработать на пользу общества. Что же касается детей своих, то она прочит им более широкую арену деятельности, нежели кяхтинское общество.

Отец был высокого мнения о значении торгово-промышленной деятельности. В начатом им, но не оконченном завещании он делает ряд денежных назначений на устройство школ в Сибири и на меры к подготовке для них учительского персонала. Он высказывает пожелание, чтобы дети его, закончив свое образование, занялись полезной для народа и государства торговой или промышленной деятельностью. Здесь отец проявляет себя убежденным членом своего сословия. В отличие от дворянских и тянувшихся за ними интеллигентских кругов, брезгливо смотревших на торгово-промышленную деятельность и предпочитавших государственную службу всякой другой карьере, Василий Никитич был невысокого мнения о «людях 20-го числа»[5].

По рассказам старших, дом родителей наших в Кяхте одно время был средоточием кяхтинской и троицкосавской интеллигенции, среди которой были и политические ссыльные, в том числе декабристы[6]. Мамочка получала из Москвы и Парижа книжные новости и охотно делилась ими со знакомыми. Она любила устраивать у себя чтение вслух наиболее занимавших общество статей и литературных произведений. К нам постоянно заходили просматривать получавшиеся родителями иностранные и столичные журналы. Вероятно, через китайскую границу отец получал «Колокол» Герцена, и читать его приходили не одни только политические ссыльные, купцы да интеллигенты. С большим интересом, но под покровом тайны за «Колоколом» следили и официальные лица.

Бегство Бакунина

Несколько лет тому назад в одной сибирской газете было напечатано следующее сообщение об обстоятельствах побега из Сибири сосланного туда Михаила Бакунина.

«Доверенный иркутского купца Сабашникова»
Как бежал Бакунин из Николаевска-на-Амуре
(От нашего владивостокского корреспондента)

Высланный в 1861 году под надзор полиции в Иркутск, Бакунин очень скоро завоевал симпатии среди либеральной в то

время иркутской интеллигенции и, частично, среди мещанства и купечества.

Пламенные речи, меткие удары по самодержавию – все это создало вокруг него атмосферу уважения. Это помогло ему осуществить план своего бегства.

Как раз в эти годы началась бурная погоня за пушными богатствами Камчатки и Командорских островов. Купеческая Сибирь в лихорадке крупной наживы на пушнину устремилась на Восток.

Трудолюбивых камчадалов и чукчей угощали водкой и разными «культурными» побрякушками, получая взамен почти даром крупнейшие пушные богатства. Этим обстоятельством и воспользовался Бакунин, став доверенным лицом иркутского купца Сабашникова по закупке пушнины.

При содействии патрона ему удается заполучить от тогдашнего исполняющего должность генерал-губернатора Сибири сопроводительное письмо. Прибыл Бакунин в Николаевск-на-Амуре 2 июля 1861 года на пароходе «Амур» и заявил николаевским властям, что он является поверенным в делах иркутского купца Сабашникова.

Как именно он представлял себе план своего дальнейшего побега неизвестно, ибо по документам, которые сейчас найдены в архиве Владивостокского военного порта, этого установить нельзя. По-видимому, благодаря случайному стечению обстоятельств – в том числе и тупоумию царских чиновников и, в частности, дальневосточного наместника – ему удалось осуществить свой дальнейший побег блестяще.

Дело в том, что сопроводительное письмо генерал-губернатора командиру Сибирской флотилии и портов Тихого океана получилось в Николаевске значительно позже. А в этом письме сообщалось, что Бакунин политический преступник, находящийся под надзором полиции, и ему выезд за границу воспрещен.

Само бегство Бакунина на военном суденышке «Стрелок» весьма интересно.

Обстоятельства его бегства довольно обстоятельно изложены в рапорте бывшего тогда капитана-лейтенанта клипера «Стрелок» Сухомлина генерал-губернатору Восточной Сибири.

«В навигацию минувшего года при отправлении вверенного мне клипера «Стрелок» из Николаевска в Де-Кастри (бухта недалеко от Николаевска), – пишет Сухомлин, – Бакунин был принят мною на клипер по предписанию штаба командира сибирской флотилии под названием путешественника, едущего с коммерческой целью.

При выходе вверенного мне клипера из Николаевска я имел на буксире американский барк «Викери», зафрахтованный для отвоза казенного провианта в гавань Ольгу, по выходе барка в Татарский пролив, пройдя мыс Лазарева, сделался попутный ветер, и тогда командир барка изъявил желание идти под парусами прямо в гавань Ольгу, не заходя в Де-Кастри.

В это время Бакунин объявил мне, что он намерен отправиться на барке в гавань Ольгу для покупки соболей – главной цели его путешествия, как он мне объяснил, и, кроме того, для свидания с его превосходительством контр-адмиралом Казакевичем. Я, со своей стороны, не считал себя вправе стеснять г. Бакунина, как человека свободного, разрешил ему пересесть на барк, который и ушел в гавань Ольгу. О дальнейшем путешествии Бакунина мне ничего не известно, но только передавал он мне словесно, что он по окончании своих дел в гавани Ольга намерен отправиться на р. Уссури и оттуда спуститься в Хабаровск. Подписал: капитан-лейтенант Сухомлин».

А дальнейшая судьба Бакунина? Воспользовался ли он до конца барком «Викери»?

Из гавани Ольга Бакунин на этом же барке отправился в японский порт Хакодате, куда прибыл 6 июля вечером. Оттуда он направляется в глубь Японии, на юг, где след его затерялся для русских властей, которые тщетно искали «доверенного иркутского купца Сабашникова».

Что стало с Сабашниковым, косвенно способствовавшим побегу Бакунина, судить по найденным документам нельзя. Но зато в результате длившейся около трех лет переписки, согласно имеющейся в деле царской резолюции, лейтенанты Бронзерт и Афанасьев за упущение по службе были осуждены в порядке дисциплинарном: Бронзерт на один месяц в гауптвахте, а Афанасьев на два месяца в каземате Владивостокской крепости.

А в то время Бакунин уже снова был в Европе.

К. Ш.

Вяч. Полонский в своей монографии, посвященной Бакунину, так пишет об этом: «Оставшись без средств, Бакунин обратился к генералу Корсакову, исправлявшему должность генерал-губернатора Восточной Сибири (Муравьева в это время в Сибири не было) с просьбой о новой работе и однажды сообщил Корсакову, что кяхтинский купец Сабашников предлагает ему поездку на Амур с коммерческим поручением на очень выгодных условиях» (В. Полонский. Михаил Александрович Бакунин, т. I, стр. 343).

О причастности кого-либо из Сабашниковых, очевидно, Василия Никитича, к побегу Бакунина я до сих пор ничего не слыхал, что, впрочем, неудивительно, т. к. у нас умели молчать, тем более о таком деле. Но когда я показал газетную заметку Александру Иннокентьевичу Сабашникову (который прожил в Кяхте до 1877 года и выехал оттуда 14 лет), то он сказал мне, что смутно припоминает, что слышал в Кяхте какие-то разговоры об этом, но точно не может припомнить, что говорилось.

Во всяком случае, думается мне, дело произошло не совсем так, как описывает автор газетной заметки. В своем усердии чернить все прошлое, изображая людей того времени то извергами, то простачками-дурачками, он, видимо, перехватил через край и лишил свой рассказ правдоподобия. Ведь генерал-губернатором Восточной Сибири был тогда Муравьев-Амурский. Обличать его в глупости просто смешно. Окружал он себя тоже не разинями, достаточно указать на привлечение к работе по описанию края Кропоткина, Шанявского и др. «Купец Сабашников», кто бы он ни был, конечно, тоже действовал с большей сознательностью, особенно имея дело с политическим, к тому же родственником самого генерал-губернатора... Последнее, весьма существенное обстоятельство не сыграло ли тут некоторой, быть может, решающей, роли?

Кяхтинские чаеторговцы

Василий Никитич вел в Кяхте собственное чайное дело, в котором принимали участие и братья его. Это была оптовая импортная торговля. Чаи шли из Китая, преимущественно из Ханькоу, караванами через Монголию в Маймачин (китайский город, смежный с Кяхтой). Китайцы посылали в Кяхту пробы («узоры») прибывших чаев и после опробования их «титестерами» русские купцы (первая рука) покупали большие партии, которые направлялись ими гужем через Сибирь в Москву, бывшую главным распределительным рынком. Здесь они продавались оптовыми партиями «амбарным торговцам» (вторая рука).

А. Субботин, автор книги «Чай и чайная торговля», изданной А. Кузнецовым в СПб. в 1892 году, описывая проходимый чаями при этом путь, замечает: «От Ханькоу до Кяхты 4200 верст, если прибавить 5800 верст от Кяхты до Москвы, получится около 10000 верст, т. е. немного менее диаметра земли. На преодоление этого пространства уходит около 7 – 8 месяцев, так что сбор настоящего года попадает на ярмарки следующего года, на

Ирбитскую через 6 – 7 месяцев, на Нижегородскую через 14 – 15 месяцев» (стр. 483). При этом:

«Чай идет в Ханькоу и Фучао из их районов всевозможными путями – на лошадях, на людях (носильщики по 2 листа чая на бамбуковых коромыслах несут в течение 2 – 3 дней), мулах, джонках; на пароходах до Тяньцзина, на джонках по реке Байхе, потом на ослах, быках, верблюдах и лошадях до Кяхты» (стр. 478).

В Кяхту чаи приходили осенью, и дальнейший путь через Сибирь проделывался гужем. «Когда спешат к Ирбитской ярмарке, то от Иркутска чаи везут на переменных *рысью,* от станции до станции» (так называемая «гоньба на безконных») (стр. 496).

«Монгольский путь, – пишет тот же автор, – представляет большие неудобства в отношении правильности и своевременности доставки. Летом частые засухи, а зимой снежные заносы; при неурожае трав скот падает от бескормицы... Возчики (монголы) поневоле оказываются несостоятельными, откочевывают в более удобные места, складывают чай в степи, где он и лежит по несколько месяцев» (стр. 486).

«Пишутся с возчиками договоры на русском, китайском и монгольском языках, но контракты эти юридической силы иметь не могут, ибо ценность товара, отдаваемого на доставку, далеко превышает все состояние возчика» (стр. 485).

«Что касается краж, то их в пределах Монголии не бывает» (стр. 486).

Нельзя было это сказать про Сибирский тракт. «Дорожные воровства особенно были часты вблизи Томска, Ачинска, Кунгура, где воры иногда переходили в открытое нападение на обозы» (стр. 497).

Василий Васильевич Зазубрин рассказывал мне, что ямщики в таких случаях оборонялись отчаянно и, отбившись, прибегали к самосуду. Вору, застигнутому в краже цыбиков с чаем, они втыкали кнутовище в задний проход «до отказу» и, совершив казнь, оставляли свою жертву умирать на дороге в страшных мучениях.

Прорытие Суэцкого канала, открывшее в 1869 году дешевое морское сообщение, повело к тому, что доставлявшиеся в Россию из Китая чаи стали направляться морским путем на Одессу вместо прежнего сухопутного пути через Кяхту. Это повело к подрыву Кяхты. Вероятно, в предвидение такого оборота дел переселились из Кяхты в Москву в 60-х годах сначала дядя наш Михаил Никитич, а затем и отец. В попытках удержать за собой привычное дело и при новой обстановке зять Михаила Никитича Николай Алексеевич Иванов отправился к Ханькоу, заняв там

должность русского консула. Интересный переезд из Москвы в Ханькоу живо описан был его супругой Елизаветой Михайловной в письме, помещенном в «Московских ведомостях»[7] и сохранившемся сброшюрованным отдельным оттиском.

Все же удержать чайный импорт в своих руках бывшим кяхтинцам не пришлось. Московские фирмы, господствовавшие на внутреннем рынке своей широкой, раскинутой по всей империи распространительной сетью, в новой обстановке стали сами заводить свои конторы в Китае. Пришлось поэтому старым кяхтинцам избирать новые поприща для своей деятельности. Любопытно отметить, что, раз оторвавшись от своей родной и любимой суровой окраины, сибирские дельцы охотно устремлялись в благодатные места Крыма и Черноморского побережья, будущность которых оценил их привычный к делам глаз и природный ум. М. М. Зензинов облюбовал Мацесту на черноморском берегу. И. Ф. Токмаков обосновался в Крыму, где в Алуште со временем открыл получившее широкую известность виноделие «Токмакова и Молоткова».

В 1885 году «торговцы чаями через Сибирь» подавали правительству записку, ходатайствуя о снижении пошлины. Записку подписали: Торговый дом под фирмою «Ал. Губкина наследник А. Кузнецов и К°», Т. д. «Петра Боткина сыновья», Т. д. «Д. и А. Расторгуевы», Т. д. «Вогау и К°», Т. д. «Токмакова, Молоткова и К°», Т. д. «Пятков, Молчанов и К°», Т. д. «М. Н. Сабашникова сыновья и К°», Т. д. «В. Прянишников и Ф. Деньгин», «Мих. Андр. Хаминов, пот. поч. гражд. купец кяхтинский», Т. д. «Бр. Зензиновы, пот. поч. гражд. Александр Сильвестров Кандинский», Т. д. «А. Л. Родионов и К°», Торг. д. «А. Трапезников и К°».

Золотые прииски

Что касается отца, то он еще раньше предпринял поиски золотых месторождений, и ему удалось открыть в верховьях Онона, около самой китайской границы, в долинах рек Хангорок и Баян Зурга, богатейшие россыпи. Василий Никитич предпринял разработку открытых им приисков, привлекши к этому и братьев своих, с которыми он поделился своей удачей.

В свою очередь, прослыв деятельным и умелым золотопромышленником, он был приглашен Апполинарией Ивановной Родственной (матерью Лидии Алексеевны Шанявской) предпринять совместные поиски в верховьях реки Зеи, притока Амура. Поиски эти увенчались блестящим успехом и положили начало

Зейской золотопромышленной К⁰ и другим компаниям по добыче золота в обществе с Л. А. и А. Л. Шанявскими и П. В. Бергом. О возникновении этих компаний сохранилась любопытная свидетельская записка А. И. Родственной, которую привожу здесь в копии полностью:

«Я, нижеподписавшаяся, для устранения всяких могущих быть недоразумений относительно возникновения амурских поисков золота, сим свидетельствую, что идея устроить эти *поиски* принадлежит всецело дочери моей Лидии Алексеевне, которая уговорила меня участвовать в таких поисках, и также по ее же идее, через г-на Рабцевича, мы предложили Василию Никитичу Сабашникову принять в них участие, а главное, сама моя дочь убедила Александра Петровича Колесникова, для поправления его несостоятельности, отправиться в эти поиски на Амур, причем понадобившиеся на заявку приисков, как на его имя, так и на наши имена, средства он получил главным образом от дочери моей Лидии Алексеевны и Василия Никитича Сабашникова. Сама же я, вследствие пошатнувшихся уже в то время моих дел, вскоре никаких взносов уже делать оказалась не в состоянии и, закредитовавшись в большой сумме у Василия Никитича Сабашникова, не смогла занятую мною сумму уплатить, почему окончательно и навсегда из дела и вышла в 1875 году; дочь же моя, уплатив за меня этот мой долг г-ну Сабашникову, образовала с ним две компании под названием Зейской и Верхнезейской, в которых по болезни ея мужа в первый год распорядителем был избран г-н Сабашников, но по возвращении Альфонса Леоновича Шанявского, мужа моей дочери, в Россию, распорядительство, вместе с официальною передачей ему части паев, перешло к нему. Впоследствии дочь моя и ея муж большую часть своих паев в обеих компаниях передали другому кредитору моему, П. В. Бергу, взамен моего кредита, почему и вступил компаньоном в это дело г-н Берг, не участвовавший в нем вначале.

Вдова полков. Апполинария Ивановна Родственная».

По переезде в Москву Василий Никитич сверх того вошел в сахаро-рафинадное предприятие Корюковского завода Черниговской губернии, имевшее блестящие перспективы, и предпринял ряд лесных разработок во Владимирской губернии, поставляя шпалы и строевой материал на строившуюся в то время Московско-Нижегородскую железную дорогу.

В доме Чижова

Переехав в Москву, родители мои поселились в доме Чижова, в Левшинском переулке, против церкви Покрова в Левшине, которую недавно разобрали. Этот хорошенький особнячок, одноэтажный с мезонином и двумя флигелями по бокам, с обширным двором впереди фасада и недурным садом с противоположной стороны, сохранился до настоящего времени в полной неприкосновенности. Перед революцией дом этот принадлежал Загоскиным, и во флигеле, со стороны Денежного переулка, жил Н. В. Давыдов. Судя по рассказам сестер, нашим жилось в доме Чижова хорошо.

То была счастливая полоса в жизни наших родителей. У меня, впрочем, лично никаких воспоминаний, связанных с домом Чижова, не сохранилось, даром что я в нем родился и что в нем со мной произошло первое жизненное приключение. Как мне впоследствии неоднократно рассказывали этот случай, я, оступившись у верхней площадки лестницы в мезонине, где находилась наша детская, скатился вниз, «пересчитав ступеньки», как говорится. Мамочка, беременная Сережей, не могла кинуться вниз, чтобы удержать меня. Федя, стоявший внизу, неистово кричал, чтобы я разжал руки и выпустил игрушки – молоток и медведя, ударявшие меня по голове на каждой ступеньке. Но я игрушек не выпустил.

Постройка собственного дома и дачи

Вскоре родители решили обзавестись собственным домом. Таков тогда был обычай. Выбор местности пал на уже облюбованную часть города между Пречистенкой и Поварской. Эта здоровая местность издавна была заселена преимущественно дворянством. Затем здесь стала селиться и так называемая интеллигенция, врачи, чиновники, юристы, профессора, артисты, инженеры. Сюда же потянулись и купцы с фабрикантами, ранее державшиеся преимущественно Замоскворечья. Понятно, что вновь переселяющиеся из провинции в Москву люди со средствами охотно оседали тут же.

Отец остановил свой выбор на владении, расположенном с солнечной стороны, посредине Арбата, между двумя переулками Б. и М. Песковским, с проходным двором, по обширности своей оставлявшем возможность в будущем большой застройки. Осмотревшись в Москве, он учел, что Арбату предстояло занять господствующее значение в данном секторе города и что ценность

участка и здания, на нем возводимого, должна была со временем значительно возрасти.

Для постройки пригласили одного из лучших московских архитекторов того времени – Каминского, который и возвел в 1873 году особняк-дворец в стиле барокко. В ту пору испытанный, разработанный рядом гениальных зодчих, хорошо приспособленный к современным потребностям прижившийся у нас классический (античный) стиль – считался устаревшим, «казенным». Строя себе особняки, новая буржуазия перепробовала все возможные, сначала исторические стили, затем декадентский, наконец, модерн, с тем чтобы в начале века вернуться опять к уравновешенным формам классики.

Владение занято теперь, но совершенно до неузнаваемости перестроено, театром Вахтангова. Великолепная мраморная лестница в два марша, белого мрамора с бронзовыми статуями, несшими освещающие лестницу лампы. Уютная зала с лепниной, отличавшаяся редкостным резонансом, восхищавшим А. Г. Рубинштейна. Дубовая столовая. Черная гостиная с гобеленами и красная гостиная с кариатидами белого мрамора – все это исчезло после произведенных театром перестроек.

Мамочка отдала устройству дома весь пыл, на какой она была так способна, по рассказам знавших ее людей. Проекты архитектора обсуждались ею во всех частностях. Она ездила в Париж закупать и заказывать обстановку. Все было устроено со вкусом и с чувством меры. Ничего крикливого, бьющего на эффект. Быть может, выросши в простых жилых комнатах и спокойных парадных покоях этого величавого особняка, я потому и чувствую всегда какую-то бодрую отраду, бывая в красивых и художественно обставленных зданиях. Сколько, в самом деле, наслаждений получали мы еще совсем малышами, слушая музыку или глазея на танцы в нашем белом зале, рассматривая в черной гостиной гобелены на сюжеты из басен Лафонтена, прячась в кабинете отца за гигантскую китайскую вазу. Она стояла на полу, эта великолепная ваза, вышиной в сажень с лишком, черная, с изображенными на ней золотой краской болотными растениями. Мне памятно ее первое появление у нас в доме, когда я, вбежав в кабинет отца утром до его прихода, застал перед поставленной на пол среди комнаты вазой этой камердинера Михаила в полном недоумении и буфетчика Максима, с видом знатока, каким он в данную минуту считал себя, пощелкивавшего языком и выражавшего этим полное восхищение. От них я тут же узнал, что некто В., ведший дела с Китаем и вывезший оттуда много художественных предметов,

запутался в делах и покончил с собой. Вдова распродавала имущество, и отец купил у нее это сокровище.

В дни приема гостей нам разрешалось в черной гостиной перелистывать лежавшие там иллюстрированные издания. Из них особо поражал нас Данте, иллюстрированный Густавом Дорэ. Были еще вывезенные отцом из Китая альбомы с подлинными китайскими цветными картинками на рисовой ломкой бумаге, изображавшие насекомых, птиц, цветы, пейзажи, домашние и уличные сцены. Был между ними, о чем старшие, по-видимому, забывали, и альбом с ужасными казнями, вызывавший в нас ужас и привлекавший наше любопытство. Со смехом припоминаю я еще лежавший тут же альбом гоголевских типов Боклевского[8].

За домом в Москве родители завелись для летнего жития и собственной дачей на 8-й версте от Москвы по Можайскому шоссе в Жуковке, между Кунцевым и Сетунью. Там проводили лето, причем отец ежедневно ездил на пролетке в город по делам. По близости от города посещали дачу и деловые гости. Помню, как я наскочил в кабинете отца на приехавших к нему купцов-китайцев. По неожиданности я очень испугался, особенно их длинных острых ногтей. Но они встретили меня очень ласково.

Жуковка еще не была так населена и застроена, как теперь. Дачи Ивачева, хирурга Басова (впоследствии Хлебникова), Катуар, Бауэр и несколько подальше Пешкова, перекупленная Ровинским, – вот и все соседи. Промышленных заведений в округе было только два – пешковская ковровая фабрика да примитивный кирпичный завод. Все дачи имели более или менее значительные, огороженные участки. Так, у нас был парк в 8 десятин. Несмотря на близость к городу, это была почти настоящая деревня тогда. Достаточно сказать, что при отце в какую-то осень на наш участок забрел лось. При перескакивании через забор он напоролся насмерть на острый кол. Конечно, он водился не в нашей местности, но были же, значит, хотя бы и в отдалении, леса, откуда такой зверь мог забежать.

На дачу ездили на своих лошадях, что брало около часу времени. При проезде мимо Кутузовской избы, тогда еще не застроенной и одиноко стоявшей в открытом поле, нам часто рассказывали эпизоды Отечественной войны, связанные с этой местностью. Несмотря на то, что протекло уже тому более 60 лет и в промежутке пережиты были страной еще две тяжелых войны, Отечественная еще жила как бы в преданиях. В деревне Аминьеве (около Жуковки) мне пришлось слышать даже рассказы старушки крестьянки, очевидицы пожара 12-го года.

Вид на Москву с Поклонной горы

События моей жизни происходили преимущественно в Москве. В частности, в этих своих воспоминаниях я неоднократно говорю о Можайском шоссе, Поклонной горе и об открывавшемся с нее виде на Москву. Вот как его воспроизводит Соловьев в своей «Истории России» (т. XIII, стр. 55):

«Среди обширной и пустынной страны, где, казалось, так недавно человек начал подчинять природу своей воле, где так редко встречались небольшие села и деревни и большие огороженные села-города, западный путешественник с нетерпением ждал, когда же покажется тот знаменитый город, который давал имя целой стране, в котором пребывал неограниченный владыка ее.

И вот перед ним развертывалась Москва и вдали производила сильное и выгодное впечатление: на неизмеримом пространстве черная громада домов; но над этой черной громадой поднималось бесчисленное множество церковных глав и колоколен, и выше всех поднимался Кремль – жилище великого государя, с белой каменной стеной, наполненное белыми каменными церквами с позолоченными главами; и посредине высокий белый столб с золотой главой – Иван Великий, гигант, благодаря скромной высоте других зданий. Эта белизна кремлевских стен и церквей, резко выдающаяся в противоположность массе черных деревянных домов, и большое количество каменных зданий сравнительно с другими городами дали происхождение известному эпитету, который до сих пор остается за Москвой – белокаменная».

Эта великолепная черно-бело-золотая картина ждет своего живописца, чтобы быть изображенной на стене какого-нибудь общественного здания. В наше время мы любовались с Поклонной горы этим зрелищем в преображенном виде. Черная громада деревянных зданий, уступивших в значительной части место каменным или хотя и деревянным, но оштукатуренным и побеленным строениям, сменилась пестрым разнообразием белых и кирпично-красных стен, красных и зеленых крыш. По-прежнему блестели над этим морем домов церковные крыши и купола с крестами, но всех ярче светился на солнце громадный купол храма Спасителя... [10]

Недолго, впрочем, длилось его господство. Зарожденный в эпоху возвышения у нас буржуазии в новом якобы русско-византийском стиле, храм этот вместе со стилем своим не пережил краткого времени относительного преуспеяния буржуазии.

Теперь новый класс, пришедший к власти, возводит на месте снесенного им храма колоссальный памятник своего величия.

Но перейду к последовательным воспоминаниям о самом себе.

Самые ранние мои воспоминания

Я родился 22 сентября 1871 года в Москве в доме Чижова. Самое раннее мое воспоминание, однако, связано с нашим арбатским домом. Оно относится, по-видимому, к 1875 году. Дом еще, очевидно, не вполне достроен и отделан. В узкой комнате, проходной в спальню сестер, обращенной единственным своим окном к Арбату, у стены стоит никогда потом не стоявшее там большое зеркало с подзеркальником, какие бывают обыкновенно в передних. Наш служитель Михайла надел новую синюю ливрею с блестящими пуговицами и, примеривая картуз, прихорашивается перед зеркалом. Мы, дети, – Сережа и я, – совсем еще маленькие, во все глаза рассматриваем ливрею швейцара, ранее, вероятно, нами не виденную. Толстая наша няня показывает швейцару, как носить ливрею и картуз. Она этим очень озабочена. Происходит что-то необычайное. Я воспринимаю это по волнению окружающих, по их приготовлениям и разговорам, и я ощущаю какое-то напряжение во всем теле своем... Папочка поехал встречать мамочку, возвращающуюся из заграничного путешествия со старшими детьми Катей, Ниной и Федей. Но, как это ни странно, самого прибытия мамочки я совершенно не помню, а выступает опять со всеми глупыми и ненужными подробностями уже последующая сцена. Мы с Сережей в оцепенении рассматриваем братца Федю, одетого по-заграничному в гетрах со множеством круглых, серых пуговиц.

Болезнь брата Васи

Ярко запечатлелись у меня некоторые моменты болезни брата Васи, длившейся более года и поведшей к его кончине. Как я уже впоследствии узнал, у него развилось вызванное ушибом гнойное воспаление легких. Он учился в реальном училище и во время возни с товарищами получил удар в грудь. Сам он никому не рассказал, как это произошло. Много лет спустя артист Малого театра Арбенин, одно время часто участвовавший в литературно-музыкальных вечерах и утрах, устраивавшихся сестрами в нашем доме с разными благотворительными целями, рассказал мне подробности этого происшествия, ему хорошо известного, т. к. он был в одном классе с Васей.

Бедный мальчик стоически кротко переносил свою болезнь. Весной, когда надо было переезжать на дачу, его перенесли в Жуковку на носилках, чтобы меньше подвергать тряске. Отчетливо помню отправление носилок со двора арбатского дома в сопровождении состоявшего при больном фельдшера, к которому мы все очень привязались. Буфетчик Максим, впечатлительный и инициативный человек, присоединился к фельдшеру пешком провожать больного. Затем мы, здоровые дети, в пролетке обгоняем носилки при подъеме на Поклонную гору.

По приезде на дачу мы быстро обежали дом и сад, и спрошенная мною кукушка прокуковала мне семь лет жить. Как мне казалось это много, и как смеялась этому толстая наша няня! А затем мы вышли на шоссе встретить носилки у сворота на дачу. Мы их завидели издали, но приближение их казалось томительно долгим... А наверху в поднебесье заливался жаворонок, и я хоть и слепил глаза, но никак усмотреть его не мог... Помню потом, как бедного Васю ежедневно катали в коляске по дорожкам...

Мамочка боится смерти

Но вот теплое весеннее утро в Жуковке. Мы, дети, подобрали выпавших из гнезда и сдохших птенчиков и по совету мадемуазель Бессон, француженки при сестрах, положив птенчиков в коробку из-под конфет, предаем их погребению. Мамочке, заставшей нас за этим, не нравится такая игра в могильщики, и, упрекая мадемуазель Кессон в излишней сентиментальности, она вступает с ней в спор на французском языке, которому нас хотя и учат, но предполагают, что мы его не понимаем (частая непоследовательность взрослых). Спор закончился знаменательными для обеих словами, впоследствии часто всеми припоминавшимися: «Я смерти боюсь», – сказала мамочка. «А я не смерти, а болезни боюсь», – возразила мадемуазель Бессон. Смерть уже стерегла мамочку, а мадемуазель Бессон в глубокой старости пришлось более двух лет пролежать в параличе.

Кончина мамочки

Это было тяжелое для нашей семьи лето 1876 года. У мамочки, находившейся в ожидании, роды прошли неблагополучно. Ребенок явился на свет мертвым, а у самой мамочки сделалась родильная горячка. Ее крепкий организм долгое время боролся с проклятым недугом. Но 22 июля ее не стало.

Был жаркий, солнечный день. Брат Вася лежал в тени берез у гигантских шагов, читая какую-то книгу. Я на корточках перед большим муравейником смотрел, как муравьи бегают по своим дорожкам. Сережа тут же копался в песочке. Васин фельдшер предложил мне зачем-то отвезти Васину коляску в дом. Гордый возложенным на меня ответственным поручением, я, ухватившись сзади за высокую ручку, повел пустую коляску перед собой, толкая ее, по дорожке мимо террасы. Сестра Катя одна сидела на террасе с платком в руках. Когда я поравнялся с террасой, она сказала мне: «Ты, Миша, опять шумишь. Ну, да теперь все равно. Мамочка умерла». Как сейчас помню испуг, изобразившийся на лице Кати, когда она произнесла сорвавшееся у нее слово «умерла». Оставив коляску катиться по дорожке, я опрометью взбежал на террасу. Через минуту мы с Катей, оба в слезах, обнявшись, стояли у кушетки, на которой лежала, вся в белом, бледная как мрамор, скончавшаяся мамочка...

Помню потом панихиду в зале на даче, отпевание и погребение в Сетуни. Утром в день похорон, выйдя на крыльцо, я испугался черного факельщика, разбрасывавшего ветки можжевельника. Когда гроб с пением понесли в Сетунь мимо соседних дач, слева лаяли за забором «злые» собаки соседа нашего, хирурга профессора Басова, а с правой стороны, с террасы дачи Ивачева, семья священника В. Сперанского, смотря на траурную процессию, жалела крошечного сиротку Сережу, которого сестры вели под руки между собой. Знаю это по рассказам Сперанских, т. к. впоследствии нам суждено было близко сойтись и всю сознательную жизнь провести в тесной дружбе.

Вероятно, няня или кто-либо другой говорил мне, что теперь мамочка «с херувимами и серафимами», и это вселило во мне представление, что в иконе Нерукотворного Спаса, как обыкновенно, несомого серафимами, в Сетунском храме я стал видеть портрет мамочки, которую ведь звали Серафимой. Только теперь, посетив Сетунь в 1931 году, я узнал, что местный образ, очаровавший меня в детстве, писан Симоном Ушаковым по заказу Артамона Матвеева, как гласит надпись на ризе: «1676 года сей образ Спаса Нерукотворного писан в церковь села Спас Сетуни по обещанию боярина Артамона Сергеевича Матвеева живописцем Симоном Ушаковым. – Риза пожертвована помещиком И. Г. П. в 1866 г.».

Осень 1876 года

С наступлением осени больного Васю отправили в Крым. Я хорошо помню прощание с ним всей семьи и всего дома у поданного к подъезду дачи ландо. Дальше в памяти моей сохранились лишь разрозненные осколки злополучного лета 1876 года. В саду и на даче стало пусто. От кого-то я слышал, что в Кунцеве нашли зарезанного человека. Я стал бояться выходить в сад в сумерки. С опаской перебегал я по даче мимо растворенных окон, нагибаясь, чтобы меня нельзя было увидеть из сада. Темные вечера мы с Сережей проводили в детской. Няня затапливает печку. Мы на корточках смотрим в отворенную дверцу, как разгораются дрова. Горничные из девичьей подсаживаются тут же. Одна затягивает вполголоса чуть слышно «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...». Другая аккомпанирует ей на гребенке, обернутой в тонкую бумагу...

Затем, в течение всей жизни я не испытывал подобного чувства покинутости. Что бы ни случилось, я всегда ощущал себя окруженным сочувствием и деятельной помощью сестер и преданных друзей, которых у меня было всегда так много.

Кончина брата Васи

В Москве я заболел скарлатиной в тяжелой форме. Как впоследствии рассказывала Софии Яковлевне* Лидия Алексеевна Шанявская, отец боялся за мою жизнь, говоря Лидии Алексеевне, что новый дом приносит ему одни несчастия. Меня, разумеется, отделили от остальной семьи, и я на долгое время ото всех оторвался, ничего не знал и не слышал.

Как-то вечером, когда острый период болезни, очевидно, уже миновал, я, лежа в своей кроватке в полутьме, беспредметно мечтал и прислушивался к игре сестры Нины на рояле, отчетливо доносившейся из залы через затворенные двери. Сидевшие в моей комнате мадемуазель Бессон и наша английская бонна мисс Маколей, перестав шептаться, тоже молча слушали игру Нины. Когда Нина кончила, мисс Маколей, утерев слезы, шепнула что-то мадемуазель Бессон. Я не расслышал ее слов. Но по возражениям мадемуазель Бессон понял, что мисс Маколей находила неуместным, что Нина сейчас продолжает заниматься музыкой. Мадемуазель Бессон горячо защищала Нинины занятия музыкой. «Не

* Софья Яковлевна Сабашникова, жена М. В. Сабашникова.

успели отбыть траур, как новая смерть в семье, – настаивала мисс Маколей, – до музыки ли?» – «Но музыка – это серьезное занятие, а не увеселение», – возражала мадемуазель Бессон. – «А что думает об этом Василий Никитич?» – стояла на своем мисс Маколей. «В нем нет предрассудков. Он, наверное, сейчас в своем кабинете плакал, слушая свою дочку, один, как мы с вами, и, конечно, не осуждал ее...» Я был на стороне мадемуазель Бессон, но ничего не понимал. Какое новое горе? Мне не говорили. Я не решался спросить. Притом я был так слаб. Я не хотел никакого нового огорчения и потому негодовал на мисс Маколей.

Вероятно, прошло некоторое время. Я на ковре, разостланном на полу, в халатике, играл в кубики, когда старая горничная сестер Евгения, взяв меня на руки, поднесла меня к окну, выходящему в Большой Песковский переулок (ныне улица Вахтангова). Там перед самым нашим окном люди держали на плечах гроб. Папочка, Катя, Нина, Федя и Сережа со своей толстой няней стояли у гроба, тучный дьякон с длинными волосами кадил кадилом, высокий наш приходской священник возглашал молитвы. Шла лития* по Васе, скончавшемся в Крыму и привезенном для погребения в Сетуни.

Трудно было отцу перенести это новое горе. В переписке его с Васей за последние месяцы, которую мне впоследствии привелось прочесть, вылилось со стороны отца столько нежности и ласки, а со стороны маленького сына столько внимания и любви. Бедный мальчик в каждом письме старался подать отцу новые основания для надежды, сообщить какой-нибудь, хотя бы призрачный, знак улучшения...

Фельдшер, состоявший при Васе и привезший в Москву его тело, рассказал отцу, как в Ялте в городском саду с Васей познакомились барышни Андреевы – Маргарита, Татьяна и Анна, и как они старались развлекать больного мальчика. Отец, из писем Васи знавший об удовольствии, какое ему доставляли эти приезжие москвички своими посещениями, после похорон посетил мать их Наталию Михайловну, взяв с собой Катю и Нину. Этим началась тесная дружба наших семей. Вскоре затем мы породнились, т. к. Маргарита Алексеевна вышла за Василия Михайловича, моего двоюродного брата.

В голубоглазом, белокуром Васе было, по-видимому, что-то особенно привлекавшее к нему людей. Когда в 1896 году, попав в Ялту после перенесенного брюшного тифа, я обратился за

* Лития – заупокойная служба.

врачебным советом к доктору Дмитриеву, ялтинскому старожилу, он, услыхав мою фамилию, пришел в волнение и глубоко задумался. Оказалось, он пользовал Васю в Ялте и теперь, 20 лет спустя, с умилением и горестью вспоминал своего маленького пациента. А ведь сколько больных должно было с тех пор пройти через руки такого популярного врача, как Дмитриев!

«Если бы Васю тогда отправили не в Крым, а в Берлин, его бы там спасли!» – сказал мне после некоторого раздумья Дмитриев. В то самое время там стали делать в этих случаях резекцию ребра для удаления гноя. В 1896 году Екатерина Павловна Косминкова делала такие операции в костинской больнице, не относя их к числу трудных.

Евгения

Старая Евгения, о которой я упоминал, была горничная моих сестер. От ревматизма у нее болели и были скрючены пальцы, и она лечилась настойкой на мухоморах, которые мы ей усердно каждую осень в Жуковке набирали. К нам, мальчикам, она прямого отношения не имела, но когда няня, большая чаевница, уложив нас спать, отправлялась чай пить, она обыкновенно просила Евгению посидеть в детской, пока мы не заснем. Я это время очень любил, потому что Евгения рассказывала нам сказки. Она знала наизусть пушкинского «Гусара» и очень выразительно его произносила. Многих мест я, конечно, не понимал, но научился от нее повторять его всего на память.

Максим Филиппович и его семья

Я уже несколько раз упоминал нашего буфетчика Максима Филипповича. Это такая красочная фигура, что стоит о нем сказать несколько слов особо. Он прослужил у нас лет пятнадцать, поступив при отце и оставив службу после Нининой свадьбы, года три спустя. Он был очень высокого мнения о нашем доме и о значении своей должности. Человек в высшей степени впечатлительный, с большим воображением и сильно увлекающийся, могущий развить, когда окажется в ударе, громадную энергию, он был незаменим в дни праздников и больших приемов. Подстегиваемый своим самолюбием и сознанием важности своих функций, он на балах, званых обедах или концертах, устраивавшихся у нас в доме, чувствовал себя, как полководец во время сражения. В будние же, повседневные дни, он скучал, работа ему надоедала,

охотно сваливал он тогда часть ее на другого служителя – бесхитростного и работящего Михайлу, камердинера отца. Максим постоянно предавался мечтаниям об охоте и разговорам о политике. Жадно прислушивался он ко всему, что говорилось у нас за столом, и часто заходил к нам в классную комнату, чтобы побеседовать о волновавших его предметах с нашими учителями, сначала Соколовым, потом Сперанским. Помню, как в патриотическом восторге он разбудил и поднял на ноги весь дом, бегая по коридору и стуча во все двери, по получении рано утром известия о падении Плевны[11]. Живя у нас с семьей на всем готовом, он с годами скопил некоторые сбережения, и у него явилась мысль «купить землицы». Напрасно Николай Васильевич Сперанский, с которым Максим Филиппович советовался, предостерегал его от такого шага – помещения сбережений, предназначенных для обеспечения старости, в землю, не дающую доход. Максим Филиппович, чувствуя справедливость замечаний Николая Васильевича, не желал все же отказаться от мечты завестись собственной земелькой. Он выдвигал план поселиться в месте, изобилующем дичью, и устраивать там охоту для любителей, выезжающих для этого из города и нуждающихся в приюте и проводнике. Он совсем при этом забывал, что, страстно любя охоту, он все же был очень посредственным охотником, т. к. всю жизнь провел в городе и вырывался на охоту лишь изредка и случайно. В конце концов он землю купил и уехал жить в деревню, но устройство его оказалось неудачным.

У Максима Филипповича было два мальчика. Младший, золотушный Витя, был много моложе нас. Старший, Коля, хотя тоже был моложе нас, но не настолько. Веселый, чистенький, застенчивый мальчик, он был непременным участником всех наших игр и увеселений. Он немного заикался, и у него одно время была странная особенность: он не умел закрывать и открывать отдельно один глаз. Когда это требовалось, он прибегал к помощи рук. Сестра Катя показывала его даже по этому случаю нашему детскому врачу Киндякову.

Впоследствии брат Федор сделал его своим стипендиатом. Он оказался способным. Хорошо учился. Отлично кончил Набилковское училище и скоро получил хорошо оплачиваемое место бухгалтера в каком-то предприятии. Так мы совсем друг друга потеряли из вида.

Лет двадцать спустя, уже после смерти брата Сережи, ко мне на квартиру стала заходить мать Коли. Она сообщила, что Максим Филиппович скончался. Коля хорошо зарабатывает, женился на

«образованной», живет хорошо, счастлив, но стыдится своего происхождения и сторонится матери. Раз как-то я получил по почте туго набитый конверт – письмо от Коли с приложением наших детских фотографических карточек. В письме, полном сарказма, Коля сообщал мне, что, разбирая оставшиеся после отца вещи, он нашел «эти реликвии» и возвращает их по принадлежности. С какой-то желчной озлобленностью он прибавлял, что «добродушный, но необразованный» отец его до конца дней своих любил воспоминать и нас и жизнь свою в арбатском доме. Дальше шли чуть ли не проклятия и дому, и нам – вкупе со всеми «эксплуататорами». Первым моим движением было ответить Коле и как-нибудь рассеять это облако злобы, в которое он себя поставил. Но, как часто бывает, что-то отвлекло меня в то время, когда это можно было сделать сразу, по свежему впечатлению, а потом пошли сомнения и рассуждения. Сообразив всю сложность его положения, известную мне по рассказам его матери, и ту доктрину, чуть ли не религию, адептом которой Коля, очевидно, стал, я как-то не сумел написать Коле так, как хотелось написать. Письмо его вместе с фотографиями долго лежало у меня в письменном столе, напоминая собой о непосланном ответе. В 1917 году все это сгорело вместе со всем тем, что у нас было в квартире.

Упомяну здесь, кстати, об играх наших с детьми служащих. Мы очень любили играть с ними во дворе арбатского дома и на даче: зимой снежки, катание с гор, снежные крепости, летом – казаки-разбойники, лапта и пр. В этих забавах мы имели полную свободу. Говорили иногда о том, чтобы запретить эти «дворовые» игры, но такие предложения все же не принимались, и поскольку «дворовые» игры допускались, наши пестуны уже в них не вмешивались. Припоминается мне такой случай. Во дворе арбатского дома были сложены бочки с рафинадом. Сын артельщика, выкатив на открытое место порожнюю бочку, становился на нее и, переминая ногами, заставлял ее катиться под собой, все время удерживаясь стоймя на бочке. В восторге заглядевшись и забежав вперед, я попал под катящуюся бочку. Она перекатилась через меня с мальчиком, который сумел и тут удержаться на бочке. Я при этом получил настолько сильный ушиб, что впал в обморок. Мальчики вывели меня за ворота в Б. Песковский переулок и усадили на тумбу, где я и просидел, пока не очнулся. Никто из старших про это никогда не узнал.

Мисс Маколей

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь»*

С тех пор, как это было написано, много воды утекло! Мы, наоборот, росли, окруженные людьми, весьма ценившими образование, искренне преданными делу народного просвещения, хлопотавшими о нем и придававшими нашему воспитанию и обучению самое серьезное значение. В третьей главе я об этом буду говорить особо. Здесь же скажу только несколько слов о нашей англичанке – бонне, приглашенной к нам еще самой мамочкой.

После кончины мамочки мы с Сережей остались на попечении английской бонны мисс Маколей. С братом Федей последовательно занимались Генрих Осипович Марциновский, студент-медик, впоследствии служивший по медицинскому управлению Министерства путей сообщения, Николай Александрович Куров, окончивший юридический факультет и специализировавшийся потом на ж. д. тарифах и ж. д. статистике, и Виктор Александрович Соколов, избравший педагогическую карьеру, которая со временем привела его к инспекторству в одной из московских гимназий.

При сестрах Кате и Нине состояла мадемуазель Бессон, добрейшей души, несколько экзальтированная старая дева, говорившая одинаково хорошо и на французском и на английском языке, весьма начитанная и хорошо игравшая на рояле.

С большим удовлетворением вспомяну здесь добрым словом нашу бонну. Привычка к чистоте, спокойная вежливость, обязательная при всех обстоятельствах, умение держаться с достоинством, но обходительно и предупредительно ко всем без различия, и многие другие правила обхождения, которые при приобретении их с детства становятся как бы второй натурой, были нам внедрены этой простой, доброй и преданной тому, что ею признавалось долгом, женщиной. Как известно, воспитанные англичане находят в высшей степени «вульгарным» (стало быть, неприличным) всякое проявление возбуждения или волнения, в чем, по-видимому, сходятся с людьми старых восточных культур. При моей в детстве необузданной вспыльчивости бедной бонне, конечно, нелегко было внушить мне свои правила поведения.

Я затрудняюсь определить, какими приемами она на нас действовала. Конечно, жалоба папочке на наше непослушание была бы сильным оружием в ее руках, но я решительно не помню не

* Строка из I главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

только чтобы она когда-либо на нас отцу пожаловалась, но уверен, что никогда она не прибегала даже к подобной угрозе. Это совершенно не отвечало бы всему стилю отношений. Отец, как нам внушалось и как мы сами видели, был всегда занят важными какими-то делами, и беспокоить его нашими детскими заботами нам всем казалось бы безобразным, невозможным даже, поступком. Нет. Мисс Маколей управлялась как-то своими средствами, не вынося сора из детской. Не обходилось тут без потасовок. Два сочных шлепка ладонью по мягким частям (совершенно безвредных, как при этом нам разъяснялось) и бессильный мой ответ кулачком в бок, после которого я спасался, бывало, под кровать, а бонна меня за ноги оттуда вытаскивала! Если я боролся до последней крайности, то, лежа под кроватью, я хватался за ножку кровати, обращенную к стене, и чтобы меня извлечь, приходилось тогда энергичной бонне отодвигать кровать от стенки, после чего и мое упорство оказывалось сломанным. Я мирно сдавался на капитуляцию, честно и беспрекословно выполняя требования победителя. Смотря по тому, что было предметом спора, – надевал башлык или калоши, или же выпивал ненавистную ложку касторки. Это лекарство давалось нам при всех недомоганиях. Зная наше к нему отвращение, добрая мисс Маколей иногда, для примера, сама проглатывала ложку этой мерзкой жидкости.

От мисс Маколей мы научились свободно и бегло говорить по-английски. Религиозная, она приучила нас по вечерам, перед сном обязательно молиться, но собственными словами, т. к. никаких затверженных молитв мы не знали. Но мы хорошо знали важнейшие эпизоды Ветхого и Нового Заветов, которые неоднократно прослушали от мисс Маколей, разумеется, на английском языке, и в ее пересказе и чтении.

Уехавши со временем на родину доживать старость, проживая скопленные на чужбине сбережения, мисс Маколей прислала каждому из нас в подарок часы карманные, очень простые, но, как все английское, очень прочные и верные. Я не заводил себе других часов на протяжении долгих лет, пока не лишился их со многим другим мне дорогим.

Отец был всегда очень занят. Видались мы с ним обыкновенно только за едой – утренним и вечерним чаем, завтраком и обедом, когда семья всегда бывала в сборе. Кроме того, он обыкновенно вечером, закурив сигару, обходил весь дом и заходил к нам в детскую попрощаться на ночь. Помню, как он раз застал нас за рисованием и смеялся до слез, найдя, что мы рисуем его конторскими карандашами (черным и красным с синим) и, чтобы полу-

чить зелень деревьев и травы, смешиваем синий цвет с красным. Он не знал, однако, что не всегда наше рисование протекало так мирно. Вот брат Федор присоединяется к нам, чтобы рисовать «с объяснениями». Он рисует лучше нас и притом изобретательнее нас. Мы с Сережей, побросав свои рисунки, перетягиваемся через весь стол к Федору. Он сначала изображает висячую лампу, затем стол под ней и, пририсовав сбоку у стены шкаф, начинает «объяснения». «Миша умер, его игрушки сложены в этот шкаф». «Я не умер!» – защищаюсь я, но напрасно! «Если не хочешь, не смотри на мой рисунок, – говорит Федор и продолжает: – Мишину кроватку отнесли на чердак». Но для меня после смерти Васи и мамочки смерть не отвлеченное понятие. Это гроб, могила, отпевание... Я протестую сколько есть сил, разрываю в клочки Федину бумагу, бью его кулаками, тыкаю карандашами, обращенными на этот раз в оружие схватки. Кончается слезами!

Карандаши эти нам давал старичок, доверенный отца Бессонов (не могу припомнить, как его звали). Мы каждое утро ходили здороваться с ним в контору, помещавшуюся в нашем же доме, рядом с кабинетом отца. У отца кроме Бессонова был еще другой доверенный – Носков. Оба они всегда завтракали с нами. Бессонов был любитель живописи и, если не ошибаюсь, собирал гравюры. Он продолжал служить и после смерти отца, и сестра Катя всегда оказывала ему особое внимание, как любимому сотруднику покойного. С завтраками в его обществе мне запали в память разговоры о живописи. Сестра Катя, учившаяся живописи у Неврева, обыкновенно бывала в курсе новостей в этой области. Завязывался разговор, а иногда и спор. Передвижные выставки[12] давали богатый к тому материал. Так за завтраками этими обсуждены были «Иван Грозный» Репина, «Три царевны» Васнецова, «Русалка» Маковского, «Грешница» Поленова... Тут же слышал я о неудаче художника Маркова, написавшего Бога Саваофа в куполе Христа Спасителя. Когда леса были сняты, очертания живописи снизу оказались расплывчатыми, неясными. Нужно было все вновь перерисовывать. Тут выручили Маркова его ученики, выполнившие эту неожиданную сверхсметную работу без постройки заново разобранных уже лесов, с подвешенных досок и лестниц.

Нинина игра

За этими завтраками говорили и о музыке, причем заводчицей разговора бывала обыкновенно мадемуазель Бессон, а отец вызывал на разговор и Нину. Она много и серьезно занималась

музыкой, и отец, видя ее музыкальную одаренность, поощрял ее занятия и посещения концертов и оперы.

Клиндвордт, руководивший Ниниными занятиями на рояле, выделял ее из всех своих учениц и настоял на том, чтобы ее прослушал Николай Григорьевич Рубинштейн. Последний очень одобрил Нинину игру и выразил желание ею руководить. Однако он вскоре скончался. Мадемуазель Бессон впоследствии передавала мне не лишенное остроумия и проницательности замечание Н. Г. Рубинштейна о Нине, не сообщенное ею тогда своей ученице по соображениям «педагогическим»: «У этой барышни три приданных – талант, красота и богатство, лишь бы они не мешали друг другу». Предвиденья художника-музыканта оказались не так далеки от предстоявшей действительности.

Игра Нины сопровождала мое детство. В зрелые годы мы с Ниной жили врозь, и я тем более дорожил всяким случаем ее послушать. Уже под старость нам суждено было около года прожить под одной кровлей, и игра ее окрасила мне этот период жизни.

Балы на Арбате

Несколько раз в зиму отец устраивал балы для дочерей. Буфетчик Максим освобождал себя тогда от всяких обычных трудов и дня за два погружался в приготовления. Доставали из кладовой ценный хрусталь и севрский фарфор. На парадной посуде, изготовленной по специальному заказу мамочки, красовались ее вензеля. По обычаю того времени дом и домашнее имущество почиталось жениным достоянием. Это держалось не по одной только почтительности к супруге. В купеческой среде, где удачу в делах всегда подстерегают деловые осложнения и никто не застрахован от возможной несостоятельности в будущем, считалось благоразумным иметь дом на имя жены и за ней записывать всю обстановку. Обыкновенно, скажу уж кстати, владелицы дома означались дощечкой у ворот, с другой стороны которых на симметричной дощечке во всеобщее сведение стояли слова: «свободен от постоя». Это значило, что за дом внесена некоторая сумма на содержание воинских казарм – добровольный налог, освобождавший от натуральной повинности по расквартированию воинских частей. Но возвращаюсь к приготовлениям к балу. Хлопотно было с освещением. Электрического ведь не было еще. Надо было во всех многочисленных люстрах и канделябрах установить свечи да соединить их зажигательным фитилем, чтобы в вечер бала быстро

осветить все помещения. Надо было особенно внимательно проследить за вертикальной установкой свечей, чтобы они не капали на танцующих. В красной гостиной устанавливалась «горка», т. е. высокий стол под сандвичи, фрукты, конфеты, вина и прохладительные напитки. Садовник привозил из Жуковки цветы. Фрукты брались у Филиппа Семенова на Маросейке, но наш визави, колониальный магазин Нечаева на углу Арбата и Калашного переулка, удерживал за собой всю поставку закусок. Конфеты и торты тоже поставлялись арбатским кондитерским магазином Флейша, имевшим ценивших его клиентов не в одной только нашей части города. Звезда Ламановой, блистающая сейчас в Париже, тогда еще не всходила на московском горизонте. Нарядами дамскими тогда правила фирма Минангуа, державшая свою мастерскую на Кузнецком. В день бала представительницы дома этого являлись «работать» в комнату барышень. Туда же приходил парикмахер Агапов. Долговязый брюнет с усиками, этот Фигаро со Сретенки, побывавший уже у других барышень, приглашенных к балу, своими рассказами об их приготовлениях поднимал настроение до большого напряжения. Настройщик настраивал рояль, а перед самым съездом гостей являлся во фраке изящный тапер итальянец Финоки и для пробы рояля бойко проигрывал мазурку. Съезжались все родственники и знакомые. Были такие гости, которые показывались только на этих балах. Например, игравший на балу обыкновенно ответственную роль дирижера танцев, молодцеватый уланский офицер Комаровский, в другое время у нас не показывался. Пока молодежь танцевала, пожилые гости сидели в гостиных. Мужчины разговаривали у отца в кабинете. Игроки состязались в соседней комнате в бильярд, единственную, кажется, игру, в которую отец охотно и с увлечением играл. Карты у нас не водились. Танцующие разъезжались перед утром.

На следующий после бала день, в пятом часу, молодые люди, бывшие на балу, заезжали с благодарственным визитом и оставляли карточки свои, т. к. приема не полагалось. Впрочем, самые близкие завсегдатаи все же поднимались наверх, но позже, к вечернему чаю. Обменивались впечатлениями и наблюдениями, решали, кто из девиц имел наибольший успех, смеялись над веселыми эпизодами.

Случай с Завалишиным

Был такой, например, случай, не получивший, впрочем, огласки по молчаливому нашему соглашению.

Среди гостей, приглашавшихся всегда на эти балы, бывал старичок Завалишин, декабрист, с которым отец был знаком еще по Кяхте.

Старик обыкновенно уносил с «горки» в переднюю и клал в карман своей шубы фрукты и конфеты для своих внуков, а может быть детей, т. к. кажется, он на старости женился. Максим наш видел в этом нетерпимый беспорядок и раз позволил себе какое-то замечание. Мы, мальчики, были совершенно скандализованы, но не видели выхода из создавшегося положения. Но отец как-то узнал о случившемся и просил Максима (такова была обычная форма его приказаний) всегда приготовлять для детей завалишинских особую корзинку с гостинцами. «Ну уж и Василий Никитич! – говорил восторженно Максим, убирая подарок этот детям декабриста, – и старика уважил и меня, старого черта, проучил!»

Итальянская опера

Постом в Москву приезжала итальянская опера. Отец брал абонемент себе и дочерям. Когда ему нельзя было ехать, то Катя и Нина отправлялись в сопровождении мадемуазель Бессон. Она острила по этому случаю, что они с Василием Никитичем в театре, что солнце и луна – одновременно не показываются. Иногда в ложу брали Федю. Тогда на следующий день он воспроизводил оперу в детской, обучая нас понравившимся ему мотивам. Не всегда это нам давалось. Тогда Федя, сам очень музыкальный, сажал меня и Сережу в качестве зрителей и принимался один воспроизводить перед такой избранной публикой, к примеру сказать, «Аиду».

В те вечера, когда «все» уезжали, что на нашем языке означало, что уезжали папочка с сестрами и Федей, т. к. мы с Сережей и остававшиеся мадемуазель Бессон и мисс Маколей не считались, я старался не ложиться до возвращения «больших». Приходилось хитрить, чтобы ускользнуть от внимания мисс Маколей, пока она укладывала Сережу, и дать ей разговориться затем с мадемуазель Бессон. Усядешься в случае удачи на верхней ступеньке мраморной парадной лестницы и, мечтая о разных разностях, осматриваешь карнизы и статуи нашего величественного антрэ*. Все погружено в полумрак, т. к., когда старших нет дома, зажигается один только газовый рожок на все громадное пространство в два этажа и три окна. В соседней же красной гостиной совсем нет огня,

* Вход (фр. – éntrée).

в ней слабый полусвет от уличных фонарей. Время от времени, когда по Арбату проезжает карета, по лепному потолку красной гостиной пробегает проникший через окна свет ее фонарей. И одновременно висюльки стеклянные на люстрах издают легкий таинственный звон. Ждешь, что вот-вот зашепчутся в полумраке громадные, белого мрамора, кариатиды, поддерживающие потолок гостиной.

Но вот раздается звонок. Дремавший в передней Михайла открывает парадную. Наши вернулись. Отец направляется в кабинет просмотреть пришедшую за вечер почту. Нина идет в столовую заваривать чай. Катя берет меня за руку и со словами: «Какой же ты упрямый медвежонок», – уводит меня в детскую. Мне уже давно хотелось спать, и я, охотно отдаваясь этому ласковому насилию, трусь о Катино нарядное платье, вдыхая чуть заметный аромат каких-то легких духов.

Сны

Явь сменяется сном. Каких только сновидений каждый из нас не перевидал. Что их рассказывать! Отмечу лишь один как бы привычный сон, повторявшийся неоднократно, основной мотив которого – летание, по-видимому, известен большинству людей. Как старую, хорошо известную сказку переживаешь этот сон, зная наперед все, что будет, и тем не менее волнуясь, как бы в полной неизвестности грядущего. К подъезду нашего дома подходят два татарина в пестрых халатах и чалмах, с громадными мешками на спине, с палками сучковатыми в руках, совсем такие, какие ежедневно встречались нам на прогулках и которые ходили из двора во двор, покрикивая: «Менять, покупать, продавать!» Вот они позвонили у нашего подъезда. Добрый Михайла, делая нашей няне знак, чтобы она спрятала нас, все же идет, в силу, очевидно, какой-то роковой неизбежности, отворять парадную дверь этим восточным людям. Между тем няня, бегая с нами из комнаты в комнату, прячет нас то под кровать, то под диван, но всегда так, что мы чувствуем себя плохо спрятанными. Как только во сне бывает, действие наблюдается разом в нескольких местах. Поспорив о чем-то с Михайлой, восточные люди быстро вбегают по парадной лестнице и начинают нас искать, пробегая комнаты, только что оставленные нами. Вот они уже достигли комнаты, в которой мы так неудачно спрятаны. Мы выбегаем из своих убежищ и отрываясь от пола летим под потолком. Восточные люди за нами. Полет все стремительнее и стремительнее. Мы уже несемся

над головокружительной кручей нашей парадной лестницы... Но здесь от волнения просыпаешься, недоглядев сна до конца.

Граня

Дочь Алексея Ивановича Абрикосова, основателя известной тогда на всю Россию кондитерской фирмы, Глафира, была выдана родителями против воли за нелюбимого человека, которого она после свадьбы немедленно покинула. По тому времени это был большой скандал. Старики Абрикосовы, не знавшие примера непослушания, были вне себя от раздражения. Молодежь абрикосовская, сочувствуя Глафире Алексеевне, не решалась, однако, вступить в открытый конфликт со стариками. В создавшихся обстоятельствах отец наш приютил Глафиру, или Граню, как ее называли, в Жуковке, где она провела с нами целое лето. Почти одних лет с Катей и Ниной, очень живого, неунывающего ни при каких обстоятельствах характера, она внесла к нам много оживления.

Летом 1877 года Жуковку постоянно навещали молодые люди, в том числе студентами, а потом и в форме вольноопределяющихся, отбывающих воинскую повинность, С. И. Жекулин и С. А. Хвостов, с которыми придется еще неоднократно встречаться.

Сестры Ивановы

По-видимому, Василий Никитич особенно нежно любил свою племянницу Елизавету Михайловну Иванову. Её и мужа её я хорошо помню. Дети их, две девочки, наши сверстницы Лайза и Нюша Ивановы постоянно бывали у нас и были лучшими друзьями самого раннего нашего детства. Я преимущественно дружил с Лайзой, а Сережа – с Нюшей. Эта парочка всегда возбуждала умиление окружающих, любивших при этом отмечать, что маленький кавалер приходится дядей своей даме. Помню, что я никак не мог усвоить этой степени родства. Когда девочки Ивановы сразу, внезапно осиротели (уже после смерти Василия Никитича), их взяли в свою семью и воспитали Василий Михайлович и Маргарита Алексеевна Сабашниковы.

Приезд Иннокентьевичей

После смерти мамочки, но еще при жизни отца из Сибири приехала и временно поселилась у нас вдова Иннокентия Ники-

тича Сабашникова Мария Матвеевна с детьми Соней, Сашей, Сережей и Иннокентием (Кешей). Впоследствии Мария Матвеевна купила дом в Левшинском переулке, где и устроилась с детьми. Софья Иннокентьевна вышла замуж за доктора Остроумова. Ее сын Лева пишет повести и романы.

С той поры мы были дружны с Александром Иннокентьевичем до самой его кончины в 1940 году.

Визиты К.

Одно время в Жуковку зачастил офицер К., приезжавший, обыкновенно, из Москвы со своим денщиком на своих лошадях, запряженных в легкую пролетку, без откидного верха, «двойкой». Именно двойкой, т. е. коренник с пристяжной, а не «парой», что означало бы упряжку в дышло. Молодцеватый К. нам, мальчикам, очень нравился, и я от него перенял привычку говорить «спасибо» вместо «благодарю». К. явно ухаживал за Катей, видимо, намереваясь сделать ей предложение. То ли, что отец наш не находил его подходящим для своей дочери, или же потому, что рано еще было Кате замуж идти, но отец, предупреждая события, дал понять молодому офицеру, что сватовство его не встретит с его стороны сочувствия. Говорили, что отец указал молодому человеку на неуместность ухаживания, а тем более сватовства накануне ожидавшейся тогда (русско-турецкой) войны[13].

К. перестал бывать. Каково же было волнение домочадцев наших, когда осенью по приезде в Москву стало каким-то образом известно, что брат Федя написал К. сочувственное письмо. Все были в недоумении и страшились гнева Василия Никитича. Однако, кажется, никто никогда ни слова не слышал от отца по этому поводу. Я, правда, видел, как Федя, сконфуженный, стоял у окна в кабинете отца, который ему что-то назидательно говорил... Но этим все и ограничилось.

Поездка сестер в Париж на Выставку

Весной 1879 года Н. А. и В. Н. Абрикосовы ездили в Париж на Всемирную выставку. Наш отец отпустил с ними дочерей Катю и Нину в сопровождении мадемуазель Бессон.

Наше правительство неохотно допускало поездки молодежи в республиканскую Францию, и для цветущих девушек при получении заграничных паспортов потребовались докторские свидетельства.

Как обстояло с религией

При том значении, которое теперь придают антирелигиозной пропаганде, любопытно восстановить, *как у нас обстояло с религией*.

Отец был безусловно верующим и притом православно верующим человеком. По-видимому, ему близко было представление о персте Божием, вмешивающемся не только в дела людские, но и в естественное течение явлений природы. К обрядовой стороне религии он, однако, был равнодушен, исполняя веления культа только постольку, поскольку они вошли в быт. В церковь ходил по праздникам, духовенство принимал на дому, когда оно по обычаю обходило приход с крестом и святой водой.

Особых служб у нас ни на дому, ни в церкви не заказывалось; участия в крестных ходах, выносах икон и проч. никто у нас не принимал. Все отношения семьи и всего дома с приходской церковью ведала по собственной своей охоте жившая в доме благочестивая старушка Апполинария Степановна. Помню, она как-то принимала у себя в комнате внизу Иверскую икону Божией Матери[14]. Няня свела вниз меня и Сережу, заставила нас простоять молебствие и пройти под иконой, поставленной на двух стульях и поддерживаемой двумя монахами. Ни отец, ни сестры не присутствовали и, надо думать, не были даже осведомлены об участии нашем в церемонии. Усыпанная драгоценными камнями «Чудотворная», почитаемая миллионами, икона в богатом доме принималась через черный ход, в полуподвальном этаже, занимаемом прислугой, и не удостаивалась никакого внимания со стороны хозяев. И это, по-видимому, казалось само собой понятным и прислуге, и духовенству.

Мисс Маколей уже в раннем детстве говорила с нами на религиозные темы. Бонна преподала нам начатки христианского учения, рассказала эпизоды Нового и Ветхого Заветов, научила молиться. Мы делали это с верой в возможность склонить Бога услышать наши мольбы и потому никогда не позволяли себе просить о каком-нибудь вздоре, как иногда рассказывают про детей. В нашей детской сцен, подобных положенным на музыку Мусоргским, не могло быть[15].

Не могу сказать, когда и как потеряли мы свою относительную, чисто детскую религиозность. Она как бы сама собой рассеялась, как ночной туман при свете солнца. Когда уже после кончины отца нам стал давать первые уроки Закона Божия батюшка из Вдовьего дома[16], мы уже были убежденные маленькие атеисты.

Уроки эти внесли только некоторую продуманность в этот детский атеизм наш, и, конечно, никакая победоносцевская реакция, наступившая в те годы, уже не могла вернуть нас к религии. Со временем, конечно, простодушная наша иррелигиозность смягчилась пониманием невозможности для нас с нашей ограниченной познавательной способностью судить о подобных предметах.

Когда мы стали подготовляться к сдаче экстернами экзамена зрелости, надо было озаботиться и о Законе Божием. Но это была уже чисто формальная повинность, о которой расскажу дальше. С верой это имело очень мало общего.

Все же в зрелом возрасте приходилось участвовать в православных религиозных обрядах, хотя бы на крестинах, свадьбах и похоронах. С церковью связано немало эстетических, волнующих впечатлений, о которых вспоминаю и теперь с удовольствием. В скольких церквах привелось побывать по случаю тех или иных похорон! А наши церкви ведь были, пожалуй, главнейшим украшением Москвы. А самые службы церковные, как они были красивы. Пасхальная заутреня; ночная панорама на Замоскворечье с Кремля с его многочисленными иллюминированными церквами при колокольном звоне; умилительные настроения пасхальной ночи в деревне; всенощная на Страстной в Четверг, когда читается 12 Евангелий. Трогательно и интимно вспоминается скромная вечерня в нашей приходской церкви Великим постом. Священник служит один, без дьякона, не надевая дорогих облачений, с одной епитрахилью поверх черной рясы. В почти пустой церкви читает он коленопреклоненную молитву Ефрема Сирина, и мы с каждым молением становимся на колени и опять встаем:

«Господи, владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь мне. Дух же смиренномудрия, терпения и любви – даруй мне, рабу твоему! Ей, Господи – даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего...»

Мудрая молитва эта приводит мне на память державшийся в былое время мудрый обычай ежегодно перед исповедью просить друг у друга прощение вольных и невольных обид. Этим ежегодным всепрощением автоматически ликвидировались накопившиеся за год недоразумения и ссоры, которые иначе тянулись бы на долгие годы, как оно нередко и наблюдается...

Бывало, Апполинария Степановна подойдет по коридору к открытой двери нашей детской и, остановившись в дверях, обратится к мисс Маколей, прося прощения. Наша англичанка недоумевает, в чем дело, и мы с Сережей вступаемся со своими разъ-

яснениями. Растроганная бонна обнимает Апполинарию Степановну, и становится у всех так хорошо на душе.

Кончина отца

Отец был крепкого здоровья. Я не помню, чтобы он когда-нибудь болел и лежал в постели. Он жаловался иногда на зубы. Глаза были отличные, и он не нуждался в очках. Для чтения мелкого шрифта, каким в газетах обыкновенно набирается биржевой бюллетень, он пользовался большим увеличительным стеклом, обыкновенно лежавшим на его письменном столе рядом со счётами и разрезным ножом.

Он рано поседел. Я его седым только и помню. Рассказывали, что поседел он в одну ночь, разом, узнав о пожаре дома, в котором находилась в то время мамочка. Все обошлось благополучно, но, принимая во внимание, что мать Серафимы Савватьевны (наша бабушка, урожденная Колесникова, портрет которой маслом у меня сохранился) погибла во время пожара, испуг Василия Никитича кажется естественным.

Отец скончался скоропостижно 8. IX.1879 года от кровоизлияния в мозг. Утром по случаю праздника Рождества Богородицы он, по своему обыкновению, отстоял обедню в нашей приходской церкви Николая Чудотворца, что на Песках. Вернувшись домой, он почувствовал себя дурно, в своем кабинете. Жившая у нас в то время Л. А. Шанявская вызвала врача и послала за Катей, Ниной и Федей, находившимися у Н. А. и В. Н. Абрикосовых на Покровке. Они, однако, уже не застали папочки в живых.

Мы с Сережей жили еще в Жуковке с мисс Маколей, куда тоже дали знать. Вероятно, мисс Маколей было сообщено, чтобы она нас доставила в Москву на следующий день к панихиде, к определенному часу. Добрая, благочестивая старушка позаботилась о том, чтобы день этот проведен был нами достодолжным образом, и она в самом деле сумела этого достигнуть.

С утра мы обошли с ней весь жуковский парк, следуя обычному маршруту одиноких прогулок папочки и присаживаясь на всех скамейках, на которых он любил отдыхать. У оранжереи жена садовника, сказав, что муж повез к гробу цветы, соболезнующе взглянула на нас и промолвила: «Бедные сиротки». Это мне почему-то показалось неуместным. Сконфузившись, чтобы скрыть, вероятно, свое смущение, я с шумом пробежал перед садовничихой по доскам, положенным у оранжереи ввиду предстоящего ремонта. И мне сейчас же стало стыдно этой своей выходки.

После завтрака мы в пролетке поехали в Москву. Исполнительная мисс Маколей хотела, очевидно, в точности соблюсти инструкции, ей данные, и приехать в арбатский дом наш минута в минуту в назначенное время. Сверяясь с часами своими, она несколько раз останавливала кучера. Мы выходили из коляски и некоторое время шли пешком, очевидно, чтобы провести время и не приехать раньше срока. Был роскошный осенний солнечный день. Настоящее бабье лето, столь характерное для нашей полосы. С обеих сторон шоссе виднелись в некотором отдалении «в багрец и золото» одетые опушки Кунцева и Волынского. С Поклонной горы перед нами открылся весь город с его сорока сороков церквей[17]. «Белокаменная Москва – золотые маковки» – по живописному выражению богомолок, обычно становившихся здесь на горбу горы на колени и творивших молитву. Огородники у Дорогомилова кладбища убирали капусту, которую тут же шинковали. В воздухе носились паутинки... Дорогой мисс Маколей рассказывала нам приличествующие обстоятельствам евангельские эпизоды. Воскресший Лазарь и эммаусские путники [18] на этот раз сменили Наполеона и Кутузова, обычно служивших темой рассказов при переездах по Можайскому шоссе. Блеставшая перед нами своими куполами Москва, некогда «спаленная пожаром», как будто вторила евангельским рассказам о торжестве жизни над смертью.

Изумительно запечатлелся в моем уме этот наш переезд. Величайшие художники неоднократно вдохновлялись сюжетом эммаусских путников. Но когда мне, уже взрослому, приходилось в музеях останавливаться перед этими их картинами, воображение мое уносилось далеко от евангельского эпизода этого и от окрестностей Иерусалима, и мне неизменно вспоминались наши две маленькие фигурки по бокам грузной бонны нашей, на обочине Можайского шоссе, перед сверкающей на солнце панорамой Москвы.

Мы приехали в дом наш как раз к панихиде. Катя, сестра, бледная и заплаканная, в черном траурном платье, с двумя большими ключами, привешенными ей к поясу Лидией Алексеевной, была неузнаваема. Руководимая Лидией Алексеевной, она сразу взяла на себя бремя хозяйства и ответственность старшей за всех нас. Несмотря на то, что она всех больше потрясена была потерей отца, она находила в себе силы обо всем подумать и обо всем распорядиться. Так всегда выступала она в жизни, исполненная чувства ответственности и долга, никогда не позволявшая себе быть подавленной обстоятельствами и судьбой.

Сетунские могилы

Отца похоронили в Сетуни, рядом с мамочкой и Васей. На этом живописном сельском погосте впоследствии лег и Сережа, брат. Памятники родителей работы художника Кампиони. Сережин памятник работы художника Андреева, автора памятников Гоголя и Островского. Сооружен Орловым. За нашими могилами лежит сенатор Дмитрий Александрович Ровинский[19], судебный деятель эпохи преобразований Александра II, более теперь известный как исследователь и издатель, выпустивший много ценнейших трудов о русских народных картинках, о ряде русских граверов, офорты Рембрандта и пр. Рядом с ним его брат В. А. Ровинский и друг, коротавший с ним последние годы жизни, писатель Николай Дмитриевич Ахшарумов. Сбоку – сетунский священник Н. И. Цветков, священствовавший в Сетуни 37 лет, сфотографированный на имеющейся у меня старой фотографии могил. И тут же, всегда казавшийся мне странным, памятник «Роду Барановских». На задней стороне памятника этого названа одна только представительница этого рода: София Иосифовна Барановская, скончавшаяся 3. I.1873 года. «Жития ей было 32 года 4 месяца и 6 дней».

Младенчество прошло как легкий сон

Кончилось детство. В моем рассказе о нем много места уделено болезням, смертям, могилам. Однако детство мое не было окрашено в мрачные краски. Напротив даже. Быть может, по малой сознательности, я вышел из детства преисполненным какого-то оптимизма. Уверенное ощущение, что жизнь для счастья, что беды и горести являются какими-то ненормальными исключениями, не касающимися ни меня, ни моих близких, при всей своей необоснованности давало много крепости для начинающейся жизни. Лишь исподволь горький опыт да холодный рассудок повыветрили из меня этот крепительный цемент наивного оптимизма, открыв мне глаза на действительное положение вещей в нашем человеческом мире...

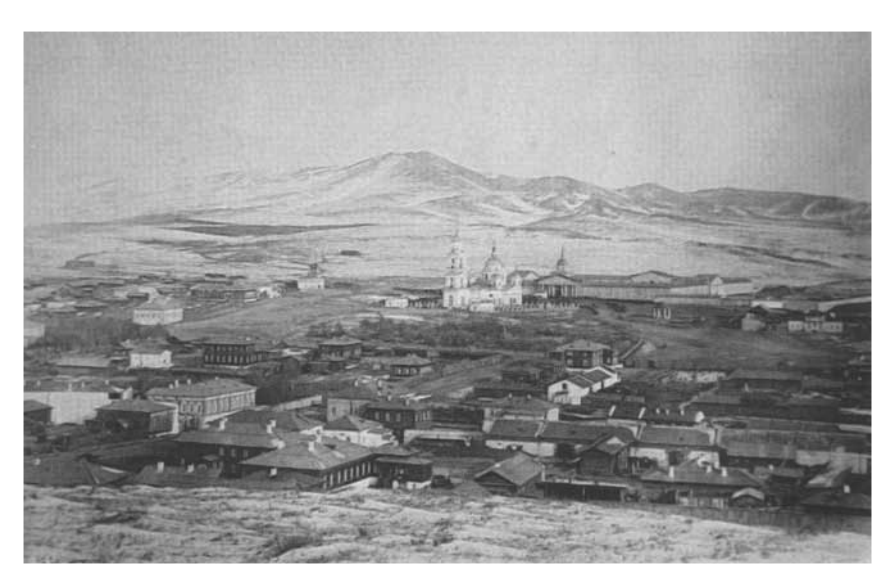
И как знать, какое из этих мироощущений ближе к мудрости: врожденный ли инстинктивный оптимизм – унаследованное приспособление (достижение) многих поколений предков, или собственный пессимистический опыт, полученный на коротком отрезке личной жизни…



С. С. Сабашникова
(урожд. Скорнякова),
мать М. В. Сабашникова.
Нач. 1870-х гг.



В. Н. Сабашников,
отец М.В. Сабашникова.
1879 г.



Торговая слобода Кяхта. Конец 1880-х – начало 1890-х гг.
Фотография Н.А. Чарушина.



Дом на Арбате, в котором выросли Михаил и Сергей Сабашниковы.
Ныне на этом месте располагается театр им. Вахтангова. Фото 1920-х гг.



Могилы С. С. и В. Н. Сабашниковых на Сетунском кладбище.
Нач. 1900-х гг.



Сергей и Михаил Сабашниковы.
Нач. 1880-х гг.



Сергей Сабашников.
Портрет работы Н. В. Неврева.
1879 г.



Сергей Сабашников. 1890-е гг.



Михаил Сабашников. 1890-е гг.



А. В. Евреинова
(урожд. Сабашникова). 1890-е гг.
Из архива Н. Л. Киселевой



А. В. Евреинов
1890-е гг.
Из архива В. Л. Бруни



С. В. Сабашников, Е. В. Барановская (урожд. Сабашникова),
М. В. Сабашников в центре; справа и слева — неустановленные лица.
Сутково, имение Е. В. Барановской в Черниговской губ. 1890-е гг.



ЗЛАКИ СРЕДНЕЙ РОССІИ

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО

КЪ ОПРЕДѢЛЕНІЮ СРЕДНЕРУССКИХЪ ЗЛАКОВЪ.

Составилъ П. Маевскій.

МОСКВА.

1891.

П. Ф. Маевский.
Злаки Средней России. Первое издание М. и С. Сабашниковых.
1891 г.



I MANOSCRITTI

LEONARDO DA VINCI

CODICE

SUL VOLO DEGLI UCCELLI

E VARIE ALTRE MATERIE

PUBBLICATO DA TEODORO SABACHNIKOFF

TRASCRIZIONI E NOTE

GIOVANNI PIUMATI

TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE

CARLO RAVAISSON-MOLLIEN

PARIGI

EDOARDO ROUVEYRE EDITORE

M DCCC XCIII

Леонардо да Винчи.
Кодекс о полете птиц.
Издание Ф. В. Сабашникова.
1893 г.



Дом Сабашниковых в Костино Владимирской губ.
Нач. 1900-х гг.



Больница в Костино. 1890-е гг.



«Якушкинский» флигель в Костино. 1890-е гг



Софья Яковлевна Сабашникова
(урожд. Лукина), 1894 г.



С. В. Сабашников, М. В. Сабашников, В. А. Евреинов, А. В. Евреинова,
С. Я. Сабашникова. Борщень, имение Евреиновых в Курской губ.
Нач. 1900-х гг.



С. Я. Сабашникова с сыном Сережей,
С. В. Сабашников, Е. Е. Якушкин.
1901 г.



С. Н. Лукина, С. Я. Сабашникова, Н. Ав. Мартынов.
Никольское. 1905–1908 гг.



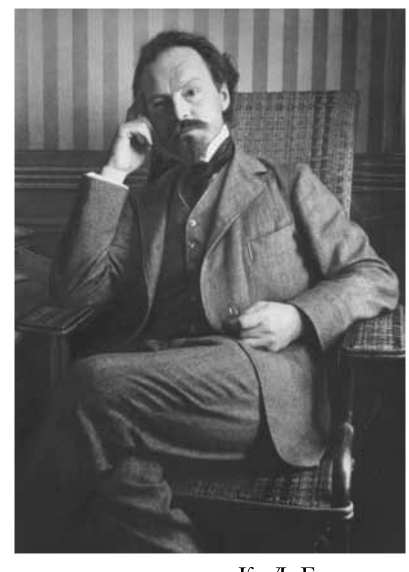
М. А. Мензбир



А. И. Чупров



Е. А. Бальмонт (урожд. Андреева).
1887 г.
Из архива В. Л. Бруни



К. Д. Бальмонт.
Фото М. А. Волошина.
Из архива В. Л. Бруни





Старатели за работой.
Фото М. Сабашникова. 1902 г.

На прииске золотопромышленной компании, принадлежащей Сабашниковым.
Фото М. Сабашникова. 1902 г.



На прииске. Фото М. Сабашникова. 1902 г.



Паром через Онон. Фото М. Сабашникова. 1902 г.



В долине Онона. Фото М. Сабашникова.1902 г.



С. В. Сабашников после ранения. 1906–1907 гг.



С. В. Сабашников и Е. В. Барановская (урожд. Сабашникова). 1906–1908 гг.



М. В. Сабашников, 1910-е гг.



М. В. Сабашников в своем кабинете на Тверском бульваре.
1910-е гг



Дом на Тверском бульваре в Москве, где находились в 1906–1917 гг. квартира Сабашниковых и контора издательства.



С. Я. Сабашникова с детьми Сережей, Ниной и Таней в квартире на Тверском бульваре. Около 1910 г.



М. В. и С. Я. Сабашниковы с детьми Сережей, Ниной и Таней.
Около 1910 г.



Альфонс Леонович Шанявский.
1880-е гг.



Лидия Алексеевна Шанявская



Городской народный Университет имени А. Шанявского на Миусской пл.
1912 г.

Глава 2

НАСЛЕДНИКИ ВАСИЛИЯ НИКИТИЧА (1880 – 1885)

Зима 1879 – 1880 гг.

После отца нас осталось пятеро: две сестры – Катя и Нина и три брата – Федя, Миша и Сережа. Старшей, Кате, едва минуло двадцать лет, а младшему, Сереже, – шесть. «Наследники Василия Никитича Сабашникова», как нас стали именовать, мы были еще юны и неправомочны. Согласно законам того времени, над мальчиками, как «малолетними», т. е. не достигшими семнадцати лет, учреждена была опека, во главе которой стал дядя наш, брат отца нашего, Михаил Никитич Сабашников. Сестры же, вышедшие из малолетства, но не достигшие «совершеннолетия», выбрали себе попечителей в лице Николая Алексеевича Абрикосова и Альфонса Леоновича Шанявского. И первый опекун наш, и попечители сестер, люди, занятые собственными делами, жили в своих домах, бывали у нас в доме изредка и в нашу домашнюю жизнь совершенно не вторгались.

Видя желание Кати быть полезной сестре и братьям и оценив ее недюжинный ум, настойчивость и деловитость, они не только охотно предоставляли ей всецело заботы о доме и воспитании нашем, но и в чисто коммерческих делах вводили ее в сущность всех решавшихся вопросов и считались с ее мнением. Старик Бессонов, оставшийся после отца служить в опеке и по-прежнему вместе с Носковым ежедневно завтракавший с нами, не раз высказывал свое восхищение, любуясь, как старшая дочь Василия Никитича работает в отцовском кабинете.

Зиму 1879/80 года мы были в трауре. Сестры одевались в черное, с крепом на головных уборах. Мы, мальчики, носили на левой руке, повыше локтя, креповые повязки. Никакие увеселения не полагались, ни выезды, ни приемы. Сестры ездили на Женские курсы в Политехнический музей. К нам, мальчикам, они прояв-

ляли трогательную заботливость, и мы к ним безотчетно льнули. За эту зиму сложилась у нас та исключительная дружба, длившаяся и крепчавшая затем всю нашу жизнь, которая бывала так часто источником тревог и волнений, но зато и давала нам такую полноту душевной жизни.

Здесь будет уместно сказать несколько слов о масляных портретах отца и брата Сережи, писанных Невревым в эту зиму. Неврев хорошо знал отца, что и дало ему возможность в посмертном портрете его передать большое сходство. Все друзья и родные единодушно находили портрет весьма в этом отношении удавшимся. Естественно было просить Неврева написать портрет и общего любимца – маленького Сережи. Сережа был очень резвый, но худощавый и бледный мальчик. Мишенька Артюхов мне иногда напоминает Сережу, каким он тогда был. Любопытно, что Мишенька совершенно по-сережиному немного подпрыгивает, перебегая из комнаты в комнату. Чтобы удержать в кресле живого мальчика необходимое для позирования время, Неврев рассказывал ему сказки, часто передавая отдельные эпизоды былин. Он рассказывал очень хорошо, и я любил во время сеанса садиться тут же и слушать спокойное развитие рассказа. Замечательно, что Неврев придал Сереже в портрете сосредоточенно-скорбное выражение. Подумаешь, что художник предвидел предстоявшую Сереже горькую участь.

Работы Неврева вызывали живейший интерес к себе среди друзей отца и наводили на разговоры о том, кто из детей в кого из родителей пошел. Обыкновенно находили, что Катя и я пошли в отца, а Нина и Федя в мать. Про Сережу как-то общего мнения не складывалось, по причине ли его еще малолетства или потому, что черты обоих родителей в нем сочетались особенно равномерно.

Между тем сличение фотографий устанавливает бесспорное сходство не между мамочкой и Ниной, а между мамочкой и Катей, обыкновенно как-то не отмечавшееся друзьями, умилявшимися сходством Кати с отцом. В самом деле, у Кати, как у мамочки, те же светло-русые волосы, выдающиеся скулы, большой рот и мягкие губы, те же широко расставленные, несколько выпученные вперед, большие, светло-голубые лучезарные глаза, та же энергичная, подвижная фигура. И та же, добавлю я, уже на основании не фотографий, а поступков, подвижность, настойчивое напряжение мысли, решительность в суждениях и непреклонность в решениях. Непреклонность, впрочем, проистекающая из глубоко заложенного в ней чувства долга и вовсе нелегко ей дававшаяся! Лю-

бопытно, с другой стороны, что сестра Нина в молодости очень похожа была на нашу несчастную сгоревшую бабушку, мать нашей матери, Скорнякову, урожденную Колесникову, как она изображена на старинном, сохранившемся у меня масляном портрете работы неизвестного художника, сумевшего, очевидно, уловить и передать на полотне характер своей модели. Этот портрет вскрывает в Нине какие-то глубокие еще колесниковские корни, т. е. не только досабашниковские, но даже доскорняковские черты, очевидно, улавливавшиеся и в мамочке, и в Нине людьми, хорошо лично мамочку знавшими.

Очевидно, наследственные свойства предков переплелись в каждом из нас весьма прихотливо, давая иногда повод к совершенно разноречивым заключениям.

Замужество Кати

Во время турецкой войны 1878 года отец помогал раненым и больным воинам, и по этим делам его посещал между прочими работавший на театре военных действий уполномоченный (если не ошибаюсь в названии должности) Красного Креста[2] Александр Иванович Барановский, до войны занимавший по выборам должность мирового судьи в Петербурге[3]. После кончины Василия Никитича Александр Иванович, бывая в Москве, продолжал посещать наш дом, с каждым визитом проявляя все более и более восторженное внимание сестре Кате. Ей 17.III.80 г. только что минул 21 год, она была в полном расцвете своем, и как кто-то выразился тогда словами Баратынского:

Красавицей ее не назовут...
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой*.

Никто не ожидал, однако, чтобы она скоро сделала выбор свой и связала судьбу с в сущности малознакомым и во многом чуждым Александром Ивановичем Барановским. Между тем именно так и случилось. Александр Иванович был видный мужчина с мужественной осанкой. Он получил высшее образование, окончив Училище правоведения. Был преисполнен благих намерений. Имел уже некоторый жизненный стаж. Доброта его была, казалось, вне сомнений. Рассказы его о войне и о кругосветном путешествии, его прежняя общественная деятельность выделяли его как-то из

* Отрывок из стихотворения Е. А. Баратынского «Муза».

молодежи, посещавшей наш дом, делая его значительным, заслуженным, необыкновенным, неведомым, а потому и интересным. Разница в годах могла сулить нужную опору Кате, смело принявшей на себя бремя ответственности за всех нас, малолетних детей Василия Никитича. Притом пример родителей наших, из которых отец был на 19 лет старше матери, мог поощрять к такому решению.

Как бы то ни было, Катя приняла предложение Александра Ивановича, и 11 июля 1880 года в церкви Спаса на Сетуни, около Жуковки, состоялось венчание. Молодые не отделились от нас, и мы по-прежнему продолжали жить одной семьей.

В оставленном мне Л. А. Шанявской архиве ее я нашел письма к ней Кати и Александра Ивановича, писанные ими весной 1881 года ей из Москвы в Петербург. Приведу полностью Катино письмо и сделаю выдержки из письма Александра Ивановича:

«Христос Воскресе! Милая, добрая, дорогая моя голубушка, дай Вам Бог всего, всего хорошего, Вам и дорогому нашему Альфонсу Леоновичу. Не писала Вам до сих пор, зная, что все это время Вы так были расстроены, что не до читания писем было, конечно. Живем мы по-прежнему, дни тихо идут за днями, на Страстной мы все говели, кроме Егора Ивановича, который, как Вы знаете, был в Петербурге. Сегодня в Белокаменную явился Кони. Был, разумеется, у нас, вместе ездили ко всенощной и т. д. Про себя скажу Вам, моя родная, что я так счастлива, что совестно становится за свое счастие и спрашиваешь – за что? чем заслужено? Александр мне становится все дороже и дороже, я все больше и больше к нему привязываюсь. Нина теперь совсем здорова – так что жизнь наша идет тихо, гладко и мирно. Дай Бог, ото всей души желаю этого, моя родная, от всей души молю об этом Бога, чтобы Вы успокоились и снова бы Вам улыбнулись ясные дни. Утешать Вас нечего, я по себе сужу, как была бы для меня ужасна болезнь Александра, но Бог милостив, и теплый климат, разумеется, хорошо подействует на Альфонса Леоновича. Прощайте, моя радость, на Святой в среду или четверг Нина думает ехать к Вам, если Александр поедет, а ему, может быть, дня на два нужно будет проехать в Питер по делам, я приеду обнять и расцеловать Вас.

Прощайте, крепко, крепко целую Вас. Дай Вам Бог здоровья, это лучше всего.

Ваша Катя

P. S. Вчера приехала из Дрездена Граня*, была сегодня у нас, она очень счастлива, что опять в Москве в кругу своих близких!»

* Глафира Алексеевна Абрикосова.

Из письма Александра Ивановича Барановского:

«...в первый раз мне уже женатому приходится встречать его (праздник Пасхи) в среде новой полюбившейся мне семьи и рядом с милым, дорогим, самым близким мне уже теперь существом, с милой моей женой, все члены семьи и друзья которой стали для меня самыми также милыми и близкими сердцу. К числу самых уважаемых, самых близких друзей принадлежите и Вы, дорогая, сердечно почитаемая Лидия Алексеевна. Позвольте и мне быть одним из самых верных и преданных Вам».

Так определяли свои отношения они сами по истечении года после свадьбы. Как в дальнейшем эволюционировали эти отношения, мне придется говорить дальше. В каждом нормальном браке период деторождении и следующее за ними время кормления, ухода за младенцами, первых детских болезней, со связанными с ними волнениями и страхами отличается консервативными тенденциями, цементирующими союз. Центробежные силы проявляются уже после...

У Кати один за другим родились пять детей: Вася, Сима, Шура, Юра и Коля. Старший родился 27 мая 1881 года, остальные были погодки. Все они появились на свет в нашем арбатском доме. Здесь же провели они с нами первые детские годы, до переезда Кати в Петербург в 1894 году. Живя в одном доме с племянниками, мы чувствовали себя членами одной семьи. Дружба, сложившаяся в молодые годы, сохранилась и в зрелые.

Лето 1880 г. в Костине

После свадьбы Катя с мужем поехали в лесное имение наше во Владимирской губернии – Костино. Туда же через некоторое время приехали мы, трое мальчиков, с Ниной. Мы в первый раз попали в настоящую деревню с волками, лисами, барсуками, лосями, белками и зайцами. Этих было так много, что бабы, когда жали рожь, руками ловили маленьких зайчат. Изобилие ягод. Громадные муравейники, иногда чуть ли не в рост человека. Разбросанные повсюду валуны. Сплошные леса – ель, сосна, береза, то так называемыми «чистыми» насаждениями, то смешанными. На опушках и около жилья декоративные кусты черемухи и рябины. Лесные порубки, сплошь поросшие малиновым иван-чаем.

Восьмиконечные кресты с крышами на дорожных перекрестках, а у подножья крестов черепки глиняных горшков и пучки соломы, по обычаю выброшенные сюда после омовения покойника. Серые, стального цвета от времени, но хорошей стройки избы, с

тесовыми, мумией* покрашенными крышами. Старообрядческие медные кресты на воротах.

Бани у зажиточных крестьян в сторонке на усадьбе, а в дому почти у всех, даже малозажиточных, гроб, заранее приготовленный на случай смерти кого-либо из семьи.

Кумачовые рубашки, красные сарафаны, причудливый гортанный говор с протяжным оканьем у крестьян и особенно у крестьянок. Мужчины плотничают и почти круглый год в отсутствии, бабы исполняют все сельскохозяйственные работы, кроме косьбы сена. Какой своеобразный, самобытный уголок в каких-нибудь 115 верстах от Москвы! Колоритно, хоть и существует мнение, что север не знает красок!

Костинская усадьба, по-видимому, еще от Екатерининских времен. Каменный двухэтажный дом с крутой крышей в четыре ската и с характерными узкими, высокими окнами, напоминающими своими формами окна Воспитательного дома в Москве [4]. По бокам – два каменных флигеля с деревянными надстройками. Пропорции дома, в общем, легкие. Внутренние помещения без всяких украшений и без прежнего убранства, удобно расположены и приятны своими формами.

Перед домом обычный круг, обрамленный стеной вековых елей и берез. Посаженные вперемежку, они дают приятную игру красок, особенно ранней весной и осенью. За ними был когда-то большой пруд, а за ним деревня. По ту сторону дома большой парк в 18 десятин. Все только местные породы. Многим деревьям не менее ста лет. Березы, росшие среди елей, вытянулись высоко-высоко, и некоторые достигли такой мощи, какой я нигде больше не встречал. Были березы в два обхвата.

Громадный каменный ледник, высоченные столбы каменных ворот, развалины обширного грунтового сарая напоминали, что когда-то здесь жили на широкую ногу. Из пережитков былого величия мы еще застали теплички для выращивания ананасов. Был когда-то расчет выращивать этот тропический плод в тепличках и продавать в Москву. Но Лессепс со своим Суэцким каналом[5] и тут нарушил старые соотношения: ананасы стали привозиться через Суэц, морем из Сингапура, и это обрекло на смерть тепличный промысел в Костине.

В какой-то праздник Александр Иванович по случаю бывшей свадьбы своей и первого приезда в имение устроил угощение для крестьян. На площадке перед домом были поставлены столы с

* Мумия – минеральная краска коричневато-красного цвета.

пряниками, орехами и прочими сладостями. Была ли водка, не помню, но кое-кто был слегка навеселе. Девицы водили хороводы. Мужики беседовали с Александром Ивановичем. Неловкой и деланной показалось нам эта игра в хорошего барина и добрых поселян. Нетрудно было заметить, что и гости не все чувствовали себя «по себе». Тогда как некоторые подобострастно вертелись около барина, занимаясь с ним словоизлияниями, более степенные крестьяне, видимо, не зная, что предпринять, бродили в тени берез, тихо разговаривая между собой. Мы заняли по отношению к празднику этому оппозиционное, хотя и пассивное положение. Смущенно чувствовала себя и Катя, которую Александр Иванович неоднократно извлекал из дома, чтобы принимать поздравления.

Осень 1880 г. в Крыму

На конец лета и осень мы из Костина всей семьей поехали в Ялту, где нашли проводивших там лето Абрикосовых и Шевалдышевых. Мы, мальчики, с Ниной, мисс Маколей и В. А. Соколовым, устроились на даче Бухштаба на Верхней Аутской улице с большим садом и виноградником, в котором устроено было искусственное орошение. Катя с мужем сняли помещение где-то поблизости.

В то время Крым еще не был так посещаем, как впоследствии. Он еще не оправился даже от разорения Крымской кампании[6]. Севастополь стоял еще в развалинах. Около Малахова кургана мы во множестве откапывали в земле ружейные пули. Ялта была еще очень небольшим городком. Мола не было. Пароходы бросали якорь в отдалении от берега. Посадка и высадка пассажиров производилась лодками. Осенью при большом волнении волны перекидывались через набережную и заливали береговое шоссе. В Ореанде еще стоял при нас белый дворец великого князя Константина Николаевича, сгоревший вскоре после I марта 1881 года, что дало тогда повод к толкам о поджоге с целью сокрытия компрометирующих великого князя документов[7].

В Ливадии проводил ту осень император Александр II, и во время наших прогулок по Ялте и окрестностям мы его неоднократно встречали. Он ездил в парной открытой коляске со светлейшей княгиней Юрьевской[8] очень запросто, без свиты и без предварительного освобождения пути, появляясь всегда совершенно неожиданно. Императорскую коляску сопровождали обыкновенно три казака верхом – один впереди, саженях в де-

сяти, два непосредственно за коляской. Разочарованный в своих преобразованиях, как говорили тогда по крайней мере некоторые, преследуемый террористами, сбыв с плеч войну с ее конгрессами и похоронив жену, император предавался прелестям личной жизни, к великому соблазну кругов, наиболее ему преданных!

Наша строгая англичанка считала его новый брак великим грехом и ежедневно в молитвах своих просила Бога простить императору его слабость ради того добра, которое он совершил, освободив крестьян. Любопытно, что оттенок осуждения слышится и в суждениях, высказываемых по этому случаю даже теперь людьми, притом далекими от исповедания святости брака. Последняя любовь поэта (Тютчева)[9] возбуждает к себе сочувствие, последняя любовь императора – осуждение.

Раз как-то, когда мы возвращались от Абрикосовых из Чукурляра в так называемой «ялтинской корзинке» и на ялтинской набережной поравнялись с аптекой, нас обогнала императорская коляска. В этот самый момент из аптеки вышел «студент» в типичной для того времени круглой шляпе с широкими полями, в очках и с пледом на плечах. Совсем как запечатлел тогдашних «нигилистов» Ярошенко на своих полотнах. Царь не шевельнулся, а сопровождавший государя конвойный немедленно направился к студенту, отделившись от императорской коляски, которая быстро продолжала свой путь по набережной. Вокруг студента тотчас образовалась толпа, и нельзя было разглядеть, что произошло дальше. Одни говорили, что студент был арестован, другие, что его отпустили по установлении личности.

I марта

Не прошло и четырех месяцев, как разразилось I марта. Император убит. Грозный Исполнительный комитет разгромлен[10]. Семь террористов присуждены к повешению.

После кратковременного колебания Александр III берет определенно реакционный («охранительный», как стали говорить) курс, возвестив об этом манифестом, получившим название манифеста о сохранении самодержавия[11]. «Ананас» прозвали его в публике, которая, кажется, никогда у нас не теряет способности подмечать смешное. Написанный Победоносцевым в обычном его елейном стиле, манифест заключал ряд периодов, кончавшихся каждый молитвенным пожеланием: «...а на нас (т. е. на императора) да ниспошлет...» и т. д.

Но все это доходило тогда до нас по разговорам старших между собой, непосредственные же мои воспоминания, связанные с этими историческими событиями, весьма скудны. Помню московские улицы, убранные черными флагами, длинные, черного крепа головные уборы у дам, спускавшиеся с головы до середины спины. Помню, что Федин учитель, студент В. А. Соколов, не ходил некоторое время на урок, так как был арестован на сходке в университете. Группа студентов, правых, с гр. Уваровым во главе, как мне вспоминается по тогдашним рассказам, стала собирать деньги на венок на гроб Александру II. Умеренные студенты, опасаясь, что этот сбор спровоцирует крайних на какое-нибудь выступление, воспротивились производству сбора в аудиториях. Вышло, конечно, замешательство, поведшее к аресту и уводу в Бутырки большого числа студентов. Они, впрочем, скоро были выпущены. В. А. Соколова после его освобождения встретили у нас как героя. В глазах Максима он сделался авторитетом по политическим вопросам. К нему в нашу классную комнату приходил впечатлительный Максим поговорить о процессе террористов. Сестры, оберегая наши нервы, не говорили при нас об этом. Но из расспросов и суждений Максима на этих совещаниях в нашей классной мы знали многое, чем не хотели нас тревожить сестры: в каких государствах введена смертная казнь и как она где приводится в исполнение, какие доводы существуют против смертной казни и почему отменены пытки; почему террористы не отрицают и не скрывают своих действий...

Совершенно отчетливо вспоминается мне гнетущее настроение, царившее у нас в доме в связи с судом над террористами. Встает предо мною как наяву такая сцена: в какой-то весенний, солнечный день Катя и Нина не находили себе места, ни за что не принимались и в конце концов очутились у нас в детской. У открытого окна, обращенного в наш обширный двор, стоят рядом Катя и мисс Маколей. Катя высказывается против применения смертной казни. Мисс Маколей приводит в оправдание ее библейскую заповедь: «Око за око и зуб за зуб». «Но ведь есть же учение Христа», – возражает Катя. В это мгновение стая галок, шумя крыльями и громко каркая, поднялась с нашей крыши и перелетела через двор на противоположную. «Противные вещуньи накаркают еще что-нибудь», – говорит Нина, подходя к окну.

«Див кличет верху древа», – твержу я только что с голоса, от В. А. Соколова перенятый отрывок из «Слова о полку Игореве». Стараюсь успокоить себя тем, что и Библия, и Евангелие, и «Слово» – все это одни выдумки. Ведь вот сейчас все кругом совсем

как всегда. Галки перед каждым вечером перелетают с крыши на крышу. Нинины окна не выходят на двор, и потому она раньше галок будто не замечала. И все же мне жутко от невысказанного напряжения, чего-то скрытого за всеми этими повседневными, обычными предметами и явлениями.

Перемены в опеке

Наследство после Василия Никитича состояло из: дома в Москве на Арбате; подмосковной дачи в Жуковке; лесного имения Костино Владимирской губернии (в совместном владении с Высоцким); лесного имения в Кадниковском уезде Вологодской губернии (в совместном владении с Пономаревым); дома в Кяхте; участия в золотопромышленных приисках Забайкальской обл. и на Амуре; паев Корюковского сахаро-рафинадного завода.

Осенью 1880 года скончался наш опекун Михаил Никитич Сабашников. На его место выдвинулась тогда кандидатура брата Александра Ивановича Барановского – Егора Ивановича. Правовед первого выпуска, товарищ Победоносцева, он успешно делал административную карьеру и был уфимским губернатором, когда жена его заподозрена была в сочувствии полякам, причастным польскому восстанию[12]. Это затруднило ему дальнейшее движение по административной лестнице. В описываемое время он принял в Москве должность почетного опекуна «Вдовьего дома» (на Кудринской площади) и опекунство над малолетними наследниками Василия Никитича Сабашникова.

Москве не вновь было видеть у себя бюрократа, который, потерпев неудачу на государственной службе, пристраивается в частных предприятиях. Москвичи встретили поэтому Егора Ивановича с обычным своим благодушием. В таком положении люди сохраняют некоторые петербургские связи и, зная все входы и выходы, могут быть иногда полезными. Это, конечно, Москвой учитывалось. В обществе Егор Иванович либеральничал, но слегка, в той мере, в какой это оживляет разговор. Сокрушался обыкновенно о русской отсталости, приписывая ее слабости у нас «третьего» или «среднего» сословия. И давал понять, что при таком бедственном положении его обращение к торгово-промышленной деятельности надо вменить ему в общественную заслугу.

Очень подвижный, честолюбивый и властный Егор Иванович деятельно вошел во все дела опеки и развил здесь большую энергию, получая на первых порах всемерную благожелательную поддержку со стороны супругов Шанявских, искренно желавших,

чтобы дела опеки шли наилучшим образом. Однако, несмотря на уже немолодые годы Егора Ивановича, его жизненную опытность, основательное юридическое образование и административные навыки, он все же не нашел себя в коммерческом деле.

Пользуясь своими связями, он оказал содействие Корюковскому сахаро-рафинадному заводу в хлопотах по проведению на завод ж. д. ветки. Но вместе с тем, проведя брата своего, Александра Ивановича, в директора правления этого товарищества, он вступил в непримиримый конфликт с другими пайщиками товарищества. Братья настойчиво развивали производство свеклосахарного отделения завода и свеклосеяние на землях завода. Другие же пайщики, ввиду малой пригодности (по тому времени, т. е. тогдашних сельскохозяйственных культур) супесчаных корюковских почв для свекловодства, настаивали на том, чтобы перенести центр тяжести дела на чисто рафинадное производство с переработкой по преимуществу чужих сахарных песков, привозных из черноземных районов и с сокращением собственных свекловичных плантаций. Несмотря на значительные получавшиеся убытки, братья, однако, упорно продолжали свою линию, пока, наконец, раскол между пайщиками не привел товарищество в полное смятение.

Сокрушительный удар нанесла братьям Барановским фирма Кноп, оказавшаяся как-то заинтересованной в делах Корюковского товарищества и возглавившая в нем оппозицию опеке. Глава и основатель этой фирмы, на памяти Егора Ивановича, прибыл в Москву скромным агентом английской фабрики бумагопрядильных станков. Немец-«представитель» повел свои дела так ловко, что, начав ни с чем, вскоре оказался совладельцем в целом ряде русских мануфактур и даже в уважение заслуг своих в промышленности выхлопотал себе звание барона. В свою очередь русские рабочие «почтили» его следующим трехстишием:

Нет церкви без попа,
Нет постели без клопа,
Нет фабрики без Кнопа.

Сражаться с таким матерым дельцом Егору Ивановичу, конечно, было не под стать. Кноп повел Корюковское товарищество к протесту векселей и к администрации и устранил опеку от всякого влияния на ход дел товарищества. «Обнаглевший голоштанник», – негодовал Егор Иванович, не замечая того, что в торгово-промышленных кругах Москвы такие попреки в лучшем случае могли только вызвать недоуменные усмешки.

Впоследствии, после замужества сестры Нины, мы последовали совету ее мужа и продали все наши паи в Корюковском деле. Блестящие результаты, которые завод стал немедленно давать в новых руках, вполне подтвердили, что неуспехи его при главенстве опеки вытекали из неправильно взятой ею линии.

Из золотопромышленных дел опека располагала большинством голосов в Ононской золотопромышленной К°. Здесь они решили поставить на широкую ногу разработку рудного золота в Евдокиевском руднике. Первоначальные разведки обещали какие-то головокружительные богатства. Надежды подогревались баснословным богатством лежащего ниже по реке, разработанного еще при отце Благовещенского россыпного прииска. На Онон опекой был приглашен и послан инженер А. Ф. Геллер. Поставленное им рудное дело (в 1885 – 1887 гг.) потерпело, однако, полное фиаско. Золотосодержащая жила выклинилась, пропала и так и не была вновь найдена. Обогатительная фабрика работала плохо. Дело дало большие убытки, побудившие в конце концов представителей интересов других компаньонов, наших двоюродных братьев Сабашниковых-Иннокентьевичей, потребовать, чтобы распорядительство делами Ононской К° было передано им.

Положение нашей опеки спасла Джолонская золотопромышленная К°, в которой опека была в меньшинстве и распорядительство которой находилось в руках Альфонса Леоновича Шанявского. Джолонские прииски давали в те как раз незадачливые для опеки годы очень большие доходы, которые и покрыли все убытки по другим предприятиям. Тем не менее престиж Егора Ивановича этими неудачами был окончательно подорван.

Я не буду дольше останавливаться на истории нашей опеки, о которой я здесь упомянул, лишь поскольку это необходимо для понимания обстоятельств, в которых мы росли. Сказанное здесь в немногих словах развертывалось на протяжении ряда лет. Неудачи выявились лишь во второй половине 80-х годов. Сначала была полоса радужного самообольщения у самих братьев Барановских и доверия к ним со стороны окружающих...

Сами опекаемые мальчики, впрочем, были беспечны и безучастны к «конторским» делам. Мы узнавали о происходящих столкновениях лишь из разговоров между братьями Барановскими за общим столом. Опекунские дела поэтому отражались на наших отношениях с братьями Барановскими лишь косвенным образом, и если эти отношения впоследствии натянулись и даже оборвались, то тому были другие причины, о которых я скажу в своем месте.

Закончу для развлечения анекдотическим случаем, который Егор Иванович любил рассказывать о себе, по-стариковски рисуясь своей рассеянностью и простодушием, каких, впрочем, в нем на самом деле не было. Будучи губернатором в Уфе, Егор Иванович любил до начала службы, вставши пораньше, пройтись за городом в ближайшем лесу. Служащие губернского правления заметили, что, когда ему удавалось на прогулке набрать грибов, он бывал хорошо расположен. Они стали покупать грибы на базаре и рассаживать их на пути следования губернатора. Все шло отлично. Губернатор приходил радостно настроенный, делился со служащими необыкновенной своей удачей, был доступен, благожелателен, приветлив. Неожиданным образом обман вскрылся. Какой-то сопляк, не знавший губернатора в лицо и, надо думать, воображавший себе его в военном мундире и на коне, увидев Егора Ивановича, нагибающимся за только что посаженными белыми грибами, остановил его: «Не трог, дедушка, это не для тебя, а для губернатора посажено. Вот ты и не лезь!»

У нас Егора Ивановича, кстати сказать, никто дедушкой не называл. Александр Иванович звал его «брат Егор». Племянники – Баранята – «дядя Егор». Мы же с Сережей прозвали его «Черномор» и находили к тому основания не в одном только рифмовании этих слов, но и во внешности Егора Ивановича. Исключительно низкого роста, с длинной седой бородой, он обрамленную седыми локонами лысину свою покрывал красной феской без кисточки. Быстрая походка и властный нрав довершали впечатление.

Коронация Александра III

15 мая 1883 года состоялась коронация Александра III. Мы были на Тверской на трибунах во время торжественного въезда императора в Москву из Петровского дворца[13], что представляло великолепное зрелище.

Вечером мы с Андреевыми ездили в открытом ландо по городу смотреть иллюминацию. Красив был Кремль, освещенный множеством огней, расположенных по архитектурным линиям. К коронации приурочено было освящение храма Спасителя. Из окон Токмаковых, живших против храма, мы наблюдали шествие императора, двора, духовенства и войск из кремлевских соборов в храм. Одним словом, мы насмотрелись за время коронации много интересного и красивого и имели случай несколько раз поглядеть на императора, возбуждавшего, конечно, наше детское любопытство.

Лето 1884 года. Корюковка. Выдренка. Поездка по Белоруссии. Киев

В 1884 году мы всей семьей на часть лета ездили на Корюковский сахаро-рафинадный завод, директором-распорядителем которого состоял Александр Иванович Барановский. На заводе производился большой ремонт и сооружалась ж. д. ветка от станции Низковка. Для летнего пребывания Корюковка была очень привлекательна. Громадный вековой сосновый бор подходил к самой ограде завода, и мы целыми днями пропадали в разросшихся в нем высоких папоротниках. На заводе я научился ездить верхом, и мы делали большие поездки по окрестностям.

Из Корюковки в конце лета мы всей семьей в экипажах проехали в имение Егора Ивановича Барановского Выдренку Могилевской губернии. Там братья Барановские соорудили часовню на могиле родителей своих, и мы всей семьей были приглашены на ее освящение.

Александр Иванович любил подчеркивать, что он выполнил свой долг гражданина – соорудил церковь, школу и железную дорогу. Впоследствии мне приходилось слышать, как в аналогичных случаях прогрессивные помещики ставили себе в заслугу не эту тройку, а школу и больницу, иногда прибавляли еще – кооператив.

По случаю освящения часовни в Выдренке было устроено угощение крестьянам наподобие уже описанного мною, устроенного Александром Ивановичем в Костине. И опять меня одолевало на нем какое-то чувство неловкости и фальши. В Выдренке мы сошлись с добрачным сыном Александра Ивановича от местной крестьянки Емельяном Игнатьевичем Игнатьевым. Он был сверстник Феде. В последующее время подолгу живал у нас на Арбате, бывал в Суткове, ездил с нами на пороги. По окончании гимназии и университета он пошел по педагогической стезе и оказался хорошим популяризатором. Его книги «В царстве смекалки» и «Земля и небо» пользовались успехом и выдержали по нескольку изданий.

Как я недавно (1936 г.) узнал от Василия Александровича Барановского, Емельян Игнатьевич подвизался и в чисто литературной области, выпустив в издательстве В. Л. Богушевского, СПб., Литовская, 47, даже сборник рассказов «Без руля и без ветрил», как уже видно из заглавия, не лишенных тенденциозности, по содержанию же носящих явно автобиографический характер. В рассказе «Как я его потерял» усматривается даже портретное сходство выведенных персонажей с определенными лицами.

После Торжества освящения часовни Катя с мужем остались погостить у Егора Ивановича, а Нина, забрав нас, троих мальчиков, в сопровождении родственника Барановских Д. совершила маленькое путешествие по Белоруссии. Из Выдренки мы проехали на почтовых лошадях по отличному шоссе времен Николая I в Оршу. Почтовое сообщение содержалось в полном порядке. На станциях без малейшей задержки меняли лошадей. Места были живописные. Дремучие, еще не тронутые леса. По пути осмотрели несколько панских продающихся имений. Пришедшие в ветхость строения. Запущенные парки. Красивые, но несколько меланхолические виды. Катя в то время серьезно искала имение для покупки, и Д., по-видимому, пытался и Нину увлечь на это. В Орше мы простились с нашим спутником и, сев на пароход, спустились по Днепру в Киев.

С Киевом нас знакомил шурин Андрея Ивановича Барановского Виктор Антонович Чечот, брат известного психиатра, музыкант и музыкальный критик. Расскажу здесь только о посещении пещер Киево-Печерской лавры. По преданию, они вырыты первыми основателями монастыря преподобными Антонием и Феодосием Печерскими, жизнь и деяния которых описаны в Киевском Патерике и Летописи[14]. Их ученики и последователи предавались в пещерах посту и молитве и там же погребались. В наше время Киево-Печерская лавра и ее пещеры среди верующих весьма чтились, и ежегодно туда на поклонение мощам угодников стекались многие тысячи богомольцев. Этот поток жертвенно настроенных людей служил источником доходов монастыря и привлекал в монастырь со всей России калек и убогих, кормившихся тут подаяниями богомольцев.

Включившись в поток богомольцев, направлявшихся в пещеры, мы стали спускаться с горы, на которой стоит главный собор Лавры, вниз по широкой, крытой деревянной лестнице. По сторонам в пролеты была видна густая поросль, покрывавшая весь склон горы. На ступеньках по бокам сидели нищие и убогие, испрашивая подаяние. Слепые, безрукие, безногие, калеки, уроды, несчастные, покрытые какими-то ужасными язвами, выставляли тут напоказ свои немощи с целью вызвать сострадание и соответствующее подаяние. Богомольцы бросали им в шапки или в деревянные чашки кто медяки, кто продукты. Многие богомольцы перед началом спуска купили в монастырской лавке маленькие булки для раздачи убогим. Достаточно было присмотреться к захватанным, покрытым грязью, одеревеневшим булкам этим, что-

бы сообразить, что их никто не ест: нищие к концу дня сдавали их обратно монахам, которые вновь пускали их в продажу.

Но вот мы у подножия горы. Входим в небольшую часовню, прислоненную к склону ее. Покупаем и зажигаем свечки восковые. Монах, сосчитав число входящих в нашу группу лиц, отворяет вход в пещеры и погружается во тьму, куда и мы за ним следуем. Узкие невысокие ходы. Время от времени пещера расширяется. Монах останавливается и дает пояснения, указывая свечой, находящейся у него в руках: тут часовня, тут покоятся мощи таких-то «преподобных», тут «страстотерпцы» сами зарыли себя по грудь в землю, тут череп святителя, источающий из себя миро*. Богомольцы ко всему прикладываются, не задавая вопросов, и идут дальше.

Жутко и неприятно. Хочется поскорее на волю. В пещерах имеются ответвления, и, неровен час, отстанешь и заблудишься. Рассказывают шепотом, что какой-то бравировавший иностранец, отставший от своей группы и забытый в пещерах, был найден на следующий день сошедшим с ума. Эти разговоры шепотом наводят жуткое беспокойство. Задние теснятся вперед. Я вплотную иду за какой-то женщиной и за спиной ее не вижу, что впереди. Вот она наклоняется и быстро затем отходит, и я оказываюсь перед низким столиком, освещенным воткнутыми кругом восковыми свечами. На тарелке темный череп, облитый миром. Стоящий тут монах покрывает мою голову епитрахилью и прикладывает меня губами и носом к маслянистой, липкой, пахучей поверхности черепа. Я оторопело освобождаюсь. Шедший за мной В. А. Чечот фальцетом испуганно кричит: «Я католик!» – и этим избавляет всех остальных от лобзания черепа.

Маленькое путешествие наше, описанное мною, быть может, с излишними подробностями, памятно мне по пережитому во время его душевному волнению. Как я теперь соображаю, наш путеводитель по Белоруссии Д. имел, вероятно, некоторые виды на сестру Нину. Не рассчитывал ли он во время путешествия сделать Нине предложение? Как бы то ни было, мы, трое братьев, что-то в этом роде почувствовали и, попросту говоря, по-детски приревновали к сестре этого «римского папу», как мы его прозвали за благонамеренные разговоры. Казалось бы, мы должны были привыкнуть к общему преклонению перед Ниной. Но назревали в семье какие-то центробежные устремления, ведшие к рассеянию семьи. Мы это безотчетно чувствовали и стали волноваться.

---

* Миро – благовонное масло.

Круг друзей и знакомых

После зимы 1879/80 г. жизнь постепенно приняла ровное течение. Назову тех родных, друзей и знакомых, общение с которыми давало окраску всему укладу жизни сестер и нашей в первую половину 80-х годов. Коснусь каждого лишь с той стороны и в тех пределах, какими каждый приходил с нами в соприкосновение, воздерживаясь от каких бы то ни было характеристик и тем более оценок. Начну с родных. Все это были представители европеизированного русского купечества, сильно отличающиеся от того, что обыкновенно изображается в нашей литературе.

Н. А. и В. Н. Абрикосовы

У тетки нашей Марфы Никитичны Кандинской были две дочери – Вера и Августа Николаевны. Первая была замужем за Н. А. Абрикосовым, старшим сыном А. И. Абрикосова, основателя известной кондитерской фирмы. Вторая дочь была замужем за А. Н. Шевалдышевым, участником чайной фирмы «Василий Климушин».

Н. А. и В. Н. Абрикосовы жили в одном из многочисленных Успенских переулков на Покровке, в собственном доме с большим двором и обширным садом. У них было много мальчиков нашего возраста, т. к. они к своим детям взяли еще к себе в дом детей-сирот скончавшегося брата Николая Алексеевича – Ивана Алексеевича. Бывать у них мы очень любили и со старшими мальчиками были в большой дружбе. В свою очередь, сестры наши находили удовольствие в обществе Николая Алексеевича и Веры Николаевны, относившихся к ним всегда с большой лаской, а после смерти отца нашего и с нежным участием и заботливостью.

Многочисленные потомки А. И. Абрикосова отличались крепким здоровьем, нервной уравновешенностью и трезвой рассудительностью в поведении. Их уравновешенность делала Абрикосовых необычайно приспособленными к жизни и общение с ними легким, хотя, быть может, и несколько поверхностным. Как ни был я тогда молод и неопытен в понимании людей, но эти родовые особенности характера Абрикосовых я уловил, быть может, не без влияния сестер и их разговоров на эту тему с Глафирой Алексеевной. Да и немудрено! Уж слишком отлична была атмосфера у нас, где всегда волновались какими-нибудь требованиями совести, долга, чести, чувства, постоянно вступавшими в неразрешимые конфликты друг с другом.

Сам Николай Алексеевич имел склонность к резонерству. Любил общество ученых и литераторов. Проехав на пароходе из Марселя через Афины, Константинополь в Одессу, он причислил себя некоторым образом к пишущей братии изданием описания своего путешествия.

Отмечу, как устроилась впоследствии жизнь молодых Абрикосовых, наших сверстников. Дочери Николая Алексеевича, придя в возраст, вышли: старшая за профессора химии Шилова, младшая – за врача-гинеколога. Младший сын Хрисанф, хорошо известный впоследствии среди последователей Л. Н. Толстого, «опростился» и жил в провинции по заповедям учителя, получая скромную помощь от родителей. Двое старших – Николай и Сергей – пошли руководить фирмой, на чем нам пришлось с ними в 1907 году встретиться. Из их двоюродных братьев Ивановичей один известен теперь как выдающийся у нас профессор патологической анатомии, другой пошел по адвокатуре, третий по стопам Михаила Андреева сделал дипломатическую карьеру.

А. Н. и А. Н. Шевалдышевы*

А. Н. хотя и не претендовал на знакомства в высших интеллигентских сферах, а все же среди друзей дома у него можно было встретить Ал. Вас. Прокофьева – профессора бухгалтерии и автора ряда учебников, большого охотника побалагурить на разные темы, не исключая политических и философских. На именинных обедах он всегда выступал с витиеватыми здравицами, иногда и с пространными речами, уснащенными остротами и шутками.

А. Н. страдал печенью. Временами у него разливалась желчь. Он становился раздражителен. По суткам не ел. Ни с кем не разговаривал. Запирался в своем кабинете. В доме тогда все ходили на цыпочках, говорили шепотом, ежеминутно ожидая взрыва.

С молодежью шевалдышевской – три мальчика и две девочки – мы дружили и в первую половину 80-х годов охотно и часто бывали друг у друга. Потом как-то незаметно пути наши разошлись. Старший из братьев впоследствии сделался юристом, второй – врачом. Сестры Шевалдышевы вышли – одна за А. И. Сабашникова, врача-рентгенолога, своего двоюродного брата. Другая – за профессора русской литературы Шамбинаго.

---

* А. Н. (возможно, Алексей Николаевич) и Августа Николаевна – супруги Шевалдышевы

* * *

Про Сабашниковых-Иннокентьевичей и про Токмаковых – я уже говорил выше. Отмечу здесь, что обе дочери И. Ф. Токмакова, подруги моих сестер, Елена и Мария, со временем стали известны своей общественной и литературной деятельностью. Мария была замужем сначала за Н. В. Водовозовым, а после его преждевременной смерти вышла за профессора Хорошко. Елена Ивановна вышла замуж за профессора политэкономии Булгакова.

А. Л. и Л. А. Шанявские

Мне уже приходилось упоминать супругов Шанявских. В дальнейшем моем повествовании мы еще часто будем с ними встречаться. В лице этих «компаньонов по золотопромышленности» молодые Сабашниковы получили от отца своего наследие не менее ценное, чем доставшиеся им от родителей крепкое здоровье и материальное обеспечение. В «делах» постоянно приходится совместно принимать ответственные решения, напрягать свою волю, делить плоды трудов, нести последствия своей неосмотрительности, заменять друг друга и заботиться об интересах друг друга. Естественно, что в процессе работы происходит подбор компаньонов, после которого у серьезных людей деловое сотрудничество нередко приводит с течением времени к испытанной дружбе. Так оно случилось между Василием Никитичем и супругами Шанявскими. Со смертью Василия Никитича Шанявские перенесли свое дружеское участие на его детей. В свою очередь, и сабашниковская молодежь по мере возможности отвечала Шанявским тем же.

Лидия Алексеевна любила вспоминать, как Василий Никитич в первый раз пригласил ее остановиться у него в доме. Так как Альфонс Леонович, принявший на себя распорядительство по Зейским приискам, находился постоянно в разъездах по Сибири и за границей, то переговоры по компанейским делам велись обыкновенно через Лидию Алексеевну, которая специально с этой целью приезжала в Москву. Раз как-то в один из этих приездов Василий Никитич посетил ее в номере, занимавшемся ею в гостинице «Столица» на Арбате. Удрученный неудобствами помещения, Василий Никитич настоял, чтобы Лидия Алексеевна переехала к нему. По возвращении домой он послал своего камердинера Михайлу с лошадью немедленно перевезти Лидию Алексеевну. Так и повелось затем, что Лидия Алексеевна при приездах своих в Москву стала останавливаться у нас в доме. «Василий Ни-

китич, – говорила Лидия Алексеевна, – умел оказывать одолжение так, что можно было бы подумать, что не он делает любезность, а ему она делается». Как я уже описывал, в день смерти Василия Никитича Лидия Алексеевна оказалась, на счастье, в нашем доме.

Впоследствии, уже после кончины Василия Никитича, когда Лидия Алексеевна во время одного из своих многократных переездов по Сибири захворала в пути черной оспой, сестры послали ей из Москвы врача. Затем, когда ей потребовалась операция в верхней челюсти, то профессор Склифосовский оперировал ее у нас в арбатском доме.

В описываемый мной сейчас период 80-х годов Шанявские вели очень деятельную жизнь, изображенную Лидией Алексеевной в имеющихся у меня черновых набросках ее воспоминаний, к сожалению, слишком отрывочных и неполных.

Постоянные разъезды – в Сибирь, в Японию и вокруг света – не мешали супругам принимать самое деятельное участие в долголетней ведшейся тогда борьбе за высшую школу для женщин. Можно даже сказать, что Лидия Алексеевна была едва ли не ведущей силой в этом движении, которое относится к светлым страницам истории русского просвещения. В это движение полная энтузиазма Лидия Алексеевна втянула и сестер моих, принявших в нем деятельное участие. У нас на Арбате неоднократно собирались совещания по этим делам, на которые приезжали петербургские деятели, а из москвичей, помнится, участвовали В. А. Морозова, А. И. Чупров, супруги Каблуковы, М. М. Ковалевский, И. И. Янжул – всех не припомню.

Мне сдается, что на этой почве у сестер и завязались знакомства с рядом научных и общественных деятелей, посещавших нас.

Впоследствии Шанявские купили дом в Москве на углу Дурновского переулка на Новинском бульваре, где и стали жить с племянниками и племянницей Лидии Алексеевны – Лидией Павловной Родственной. Она оказалась хорошей музыкантшей, и сестра Нина охотно играла с ней в четыре руки, выступая даже в концертах.

Андреевы [...]*

В. Х. Кандинский

Летом 188… года Шевалдышевы вместе с «бабушкой» Марфой Никитичной снимали дачу в Волынском, в нескольких верстах от

* Далее четыре страницы рукописи утрачены.

Жуковки. Там же устроился на отдельной дачке и деверь Марфы Никитичны Виктор Хрисанфович Кандинский.

По соседству мы часто бывали друг у друга, устраивали совместные прогулки и поездки, и за лето сестры сошлись с Виктором Хрисанфовичем. Врач-психиатр, углубленный в изучение философии, человек живой и общительный, умевший общедоступно говорить о самых сложных вопросах, он вскоре сделался у сестер авторитетом и втянул их на некоторое время в чтение по философии.

В минувшую войну 1878 года Виктор Хрисанфович был в качестве врача мобилизован во флот и под начальством Дубасова участвовал в атаке на Дунае турецкого монитора[15], пущенного нами ко дну. Дело прославило Дубасова и вообще произвело большое впечатление. Психически неустойчивый, Виктор Хрисанфович во время взрыва в припадке меланхолии бросился в воду, чтобы покончить с собой. Его, однако, спасли, и сестра милосердия, на попечение которой он попал, выходила его. По выздоровлении он на ней женился. Он называл ее мамой и окружал величайшим вниманием. После войны он служил врачом в психиатрической больнице Св. Николая Чудотворца в Петербурге.

Время от времени, однако, болезнь возвращалась, и Виктор Хрисанфович из врача опять становился пациентом. Замечательно, что во время приступов болезни он не утрачивал способности к самонаблюдению и по выздоровлении научно описывал и анализировал свои болезненные состояния и переживания. Его работы по психиатрии сделали его известным не только у нас в России, но и за границей. Труд его о псевдогаллюцинациях был переведен на немецкий язык[16].

Вскоре, однако, его не стало (1889 г.). Оправившись после одного из своих приступов болезни, он слишком рано вернулся на работу в больницу. Под влиянием позыва к самоубийству, бывавшего у него обычно в переходном периоде к здоровому состоянию, он взял из аптечного шкафа в больнице опий и по возвращении домой принял безусловно смертельную дозу этого яда.

Умение и склонность к научному самонаблюдению не покинули его и в эти минуты. Он взял лист бумаги и стал записывать: «Проглотил столько-то гран опиума. Читаю «Казаков» Толстого». Затем уже изменившимся почерком: «Читать становится трудно». Его нашли уже без признаков жизни. Жена его не пожелала жить без него. Озаботившись выпуском в свет его сочинений, она тоже покончила с собой.

Вл. Ив. Танеев

Юрисконсультом нашей опеки состоял Владимир Иванович Танеев, брат композитора Сергея Ивановича, считавшийся в то время лучшим цивилистом в Москве. Познакомившись на деловой почве с Катей и Ниной, он стал бывать у нас запросто, большею частью к обеду, проводя затем у нас вечер. С внешности сухой и язвительный, он представлял прямую противоположность своему добродушному сырому брату. Он считался великим острословом, и меткие его словечки и замечания повторялись и ходили по Москве. Особенно любил он говорить парадоксы. Он произносил их всегда неожиданно и с неподражаемой простотой, как вещи само собой понятные, вызывая у присутствующих одновременно и взрывы смеха и негодующие возражения. Я был слишком мал, чтобы следить за изгибами разговора и оценить или даже понять высказывания Владимира Ивановича, но общее впечатление, получавшееся у собеседников от выступлений его, я схватывал. Бывало, А. И. Чупров так и всплеснет обеими руками, хлопнет ими по коленкам и закатится добродушным громким смехом.

Любитель парадоксов, Владимир Иванович сам, своей особой, представлял своеобразный, но характерный для Москвы парадокс. Человек большой культуры и широкого кругозора, он держался очень передовых взглядов, был почитателем Карла Маркса, с которым был лично знаком и письма которого к себе тщательно хранил как драгоценность. Но что же мог делать в первую половину 80-х годов в купеческой Москве ее лучший и самый дорогой цивилист, как не обслуживать своими советами тот самый класс и в той самой его имущественной деятельности, против которых ополчился К. Маркс. Такими противоречиями изобиловала русская жизнь.

Впоследствии мне приходилось слышать, основательно или нет – не знаю, что, получая от своих клиентов громадные вознаграждения, он имел возможность главную работу возлагать на своих хорошо оплачиваемых помощников. Во всяком случае, он и тогда уже жил с достатком. Он собирал библиотеку, и книги свои переплетал изысканным образом, посылая их для этого в Париж, т. к. находил, что в Москве не умели переплетать. Он имел небольшую усадьбу под Клином, где проводил лето в соседстве с К. А. Тимирязевым и П. И. Чайковским.

Воображаю себе, как должен был чувствовать Владимир Иванович, когда после Октябрьской революции к нему ночью явились для производства обыска. Как должен был он предвку-

шать момент, когда обыскивающие откроют заветные письма и он своим обычным безразличным тоном на их вопрос кинет этим ревнителям К. Маркса ответ: «Это письма Карла Маркса».

А. И. Чупров

Знакомство моих сестер с Александром Ивановичем Чупровым произошло на почве участия их в женском движении, в которое вовлекла сестер Лидия Алексеевна Шанявская. А. И. Чупров иногда обедал у нас и проводил вечера, случалось, совместно с А. Ф. Кони и В. И. Танеевым. Затем на протяжении всей жизни знакомство с ним не обрывалось, и мне придется неоднократно упоминать о нем и всей его семье на всем протяжении моих записок. Здесь надо напомнить, что значение А. И. Чупрова в Москве, да и во всей стране, не ограничивалось обычным влиянием талантливого профессора на своих слушателей. Эти слушатели, занимая затем должности в правительственном административном аппарате и особенно в земстве, не только не порывали связи со своим отзывчивым на все учителем, но постоянно обращались к нему за советами и указаниями. Вся земская статистика, можно сказать, развивалась и работала под самым деятельным, хотя и неофициальным руководством Александра Ивановича. Его участие в «Русских ведомостях»[17], где он фактически был почти редактором, расширяло его влияние на широкие круги читающей публики. В Москве, можно сказать, ни одно общественное начинание не обходилось без самого деятельного участия Александра Ивановича. Народник по направлению и по сердечным склонностям, он всегда готов был принести свои познания и опытность на помощь любому общественно полезному начинанию. По положению его в московском обществе многие его называли Грановским 80-х годов. Иронизируя над учредителями обществ, желавших обязательно залучить на заседание к себе Александра Ивановича, шутники, бывало, говорили: «Иверскую поднимают!»

Чтобы показать, как ценило А. И. Чупрова старшее поколение, приведу здесь замечательное письмо к нему Кавелина[18] (с любезного согласия его дочери М. А. Чупровой).

Кавелин – А. И. Чупрову (Копия)
«6 сентябрь 1880 г. СПб., Васильевск. О. 7 лин. д. № 60 кв. 3*

Милостивый Государь
глубокоуважаемый Александр Иванович,

* Подлинник – в старой орфографии. – *Примеч. М. В. Сабашникова.*

Посылаю Вам свой отзыв о книге Пахмана[19], переделанный под влиянием Ваших замечаний, в той его части, которая касается общинного землевладения. Надеюсь, что теперь Вы лично* будете довольны и этою частью отзыва, чем бы я был крайне обрадован.

Не могу Вам передать словами, до какой степени я доволен и просто счастлив, вступив в связи с кружком молодых профессоров Моск. университета. Ни вечера, проведенного весной у М. М. Ковалевского, ни вечера, проведенного теперь у Тихонравова, я никогда не забуду. Я посреди Вас помолодел и живо перенесся в этот незабвенный кружок и то незабвенное время, когда я принадлежал к ученой корпорации Московского университета. Глядя на Вас, я радовался, что место свято не осталось пустым, что наконец-то и у нас появляется нечто вроде исторического преемства и традиций, без которых общества и народы не могут идти вперед. Положительный успех при сравнении вас с нами заключается, как и следует, в том, что вы больше знаете, чем мы знали. Зашел я как-то, в те давнишние времена, к Грановскому и застал его задумчивым и грустным. Он только что читал биографию шведского историка Гейера[20]: его поразил факт, что Гейер отец – пастор и Гейер сын – знаменитый историк стояли на одной почве, хоть и различались летами, знанием, пониманием. А у нас? Ничего общего между поколениями! Вот это-то проклятие, кажется, пришло к концу. Мы можем с радостным сердцем быть между вами, и вы чувствуете, что мы вам не чужие, а свои. Вы чувствуете себя сильнее, имея за спиной прошедшее и предание, мы – становимся моложе, видя, что наше дело не пропало и в хороших, бодрых, свежих руках.

Если хватит времени, займусь подробным разбором книги Пахмана, чтобы подробнее и доказательнее развить мысли, которые лишь набросаны в отзыве, который Вам посылаю. Столько разных вещей хочется написать, что времени, а главное, сил не хватает! Лета берут свое.

В октябрьской книжке «Вестника Европы» прочтите мою заметку о представительстве[21], которую я сегодня исправил в корректуре. Знаю наперед, что мало кто согласится с мыслями, которые я высказал; но во-1-ых, каждый обязан сказать смело то, что думает, не справляясь, понравятся ли его мысли или нет; во-2-ых, статья во всяком случае будет полезна тем, что возбудит вопрос и заставит подумать о нем серьезно.

Передайте мой поклон и мою сердечную благодарность всем тем из Ваших товарищей по кафедре, которые меня так радушно приняли в Москве весною и осенью – разумеется, когда с ними увидитесь.

Душевно Вас почитающий и искренно Вас полюбивший

Кавелин».

---

* Подчеркнуто автором. – *Примеч. М. В. Сабашникова.*

А. И. Чупров по политическим убеждениям был народником. В своих воспоминаниях (нами изданных) Б. Н. Чичерин с оттенком раздражения называет его социалистом[22]. Это, конечно, совершенно верно, но важно уточнить вопрос. Он был социалистом, но он не был марксистом. Благодаря любезности М. А. Чупровой я имею возможность цитировать подлинные слова самого Александра Ивановича из неизданных его дневников, где сам он для себя определяет позицию свою и своего сына. Приведу это место дословно, т. к. А. И. Чупров оказал большое влияние на меня и на всех близких мне людей.

Из неопубликованного дневника А. И. Чупрова

26.1.1906.

«С большим интересом целое утро проговорил с Сашей [сыном]*. Я излагал ему свою работу, с которой он в большей части пунктов согласился. Он со своей стороны познакомил меня с планом задумываемой им работы о социализме. Любопытно, что в конечных выводах мы сходимся, хотя отправляемся с совершенно различных точек зрения. У меня конечной задачей интеллигенции и основным средством к поднятию рабочего класса является культурная работа в деревне для введения в деревенскую среду улучшенной техники и кооперации, а у него критика направлений социализма приводит к убеждению в возможности и необходимости подходить к осуществлению социалистических идеалов через *постепенное преобразование существующего строя*».

Д. А. Ровинский

Дмитрий Александрович Ровинский был нашим соседом по даче в Жуковке. Судебный деятель эпохи реформ, он в настоящее время более известен своими замечательными исследованиями и изданиями: «Русские народные картинки», «Русская иконография», «Русские граверы», словарь русских гравированных портретов, «Офорты Рембрандта» и многими другими, обеспечившими ему почетное место в истории не одной только русской культуры. Говорили, что Ровинский был корреспондентом Герцена и его «Колокола».

Невысокого роста, с вьющимися седыми волосами по краям черепа и лысиной посередине, он носил на голове черную «мюц» и видом походил на какого-нибудь французского архивариуса. Он

* Пояснение М. В. Сабашникова.

приходил к нам в Жуковку запросто, всегда пешком. Охотно рассказывал про свои многочисленные путешествия и про разные забавные случаи его коллекционерской деятельности. Так, например, когда он собирал офорты Рембрандта, то он встретился с серьезным затруднением в проникновении на чердаки старых домов в Генте, Антверпене, Брюсселе и других городах, где надо было искать забытые офорты, и при случае можно было наткнуться и на старые доски. Постороннего человека зря пускать на чердак ни у кого охоты не было. Объяснять же всем цель поисков было и затруднительно, и нежелательно. Ровинский сошелся с предпринимателем, скупавшим чердаки для очистки от голубиного помета, представляющего, как известно, великолепное удобрение. По соглашению с предпринимателем Ровинский имел право выбрать на купленном чердаке то, что его интересовало, после чего уже очистка чердака переходила в руки предпринимателя.

А. Ф. Геллер

Александр Федорович Геллер – горный инженер, имевший дела в Донецком бассейне, но потерпевший там неудачу. Наша опека пригласила его на Ононские прииски поставить там разработку рудного золота, о чем я говорю в другом месте. События показали, что для руководства практическим делом Александр Федорович, быть может, был мало приспособлен. Но это был образованный, с разносторонними интересами человек. Он, вероятно, был бы отличным преподавателем и, несомненно, обладал талантом популяризатора. Перед своим поступлением на службу Ононской К⁰ он у нас часто бывал и одно лето жил у нас в Жуковке. Он охотно и интересно говорил по разным вопросам естествознания. В Донецком бассейне он собрал большую коллекцию окаменелостей, которую подарил сестре Нине. Мы с ним неоднократно ходили в Кунцево собирать аммониты, белемниты и пр. Раза два посетили с ним Всероссийскую выставку[23], проехав туда из Жуковки на телеге.

Озмидов

Среди знакомых, навещавших сестер, особое положение занял приехавший в Москву из Одессы толстовец[24] Озмидов. Высокий, коренастый мужчина с широким лбом и большими русыми бакенбардами, в золотых очках, он любил, как говорится, брать быка за рога. «Каково ваше миросозерцание? – спрашивал он людей при

первом же знакомстве. – Какие в настоящее время переживаете душевные состояния?» Нас, мальчиков, замкнутых и не склонных к интимным разглагольствованиям с малознакомыми людьми, такой наскок не поощрял к откровенности; мы замыкались при нем, как улитки в свои скорлупки, а оставшись наедине, предавались пересмеиванию.

Но сестрам Озмидов импонировал. Его сектантская, необычная в обществе нашем манера держаться, несомненная искренность и убежденность, привычка затрагивать всегда важные вопросы нравственной жизни, от которых другие склонны были как-то отмахиваться, его глубокое народолюбие, осуждение многих ложных условностей городской жизни и призыв к опрощению, приближению к природе и к трудовой крестьянской жизни производили глубокое впечатление, особенно на старшую сестру нашу Катю.

Желая предоставить Озмидову возможность осуществить свои стремления жить и учить в деревне, она предложила ему принять управление нашей лесной дачей Костино. Озмидов предложение принял, но обставил согласие свое рядом условий. Между прочим, он не счел для себя возможным занять флигель управляющего в пустой костинской усадьбе. Вообще с усадьбой, этим «Вавилоном», он не хотел иметь никакого общения. В лесном урочище «Дальняя Замаравка» он соорудил большую удобную избу с рядом усовершенствований, с конюшней, коровником, «людской» избой, прудом, огородом, одним словом, целый маленький «скит», как прозвали крестьяне резиденцию нового, своеобразного управляющего. Поселившись в нем с семьей (женой и дочерью), Озмидов принял в свои руки бразды правления имением, не упуская случаев пропагандировать свои взгляды.

Как он, враг собственности на землю и последователь учения о непротивлении злу, разрешал для себя вопрос об охране леса от самовольных порубок, я объяснить не смогу. Знаю, что он всемерно поощрял и закреплял установленный еще до него Катей широкий льготный отпуск леса крестьянам сел Костино и Попиново и даровое снабжение погорельцев. Это, естественно, вело к полному отсутствию самовольных порубок. Но такой принципиальный человек, как Озмидов, едва ли мог довольствоваться только тем, что на практике указанными мерами освобожден был от правонарушений!

Еще сложнее было бы разобраться в том влиянии, какое оказывала проповедь Озмидова на окрестное население. Костинцы хотя и не староверы, но все более или менее склонны были к

старой вере. Под старость многие переходили в веру отцов. Но в молодые и зрелые годы, пока еще не тревожил воображение призрак приближающейся смерти, мирские заботы господствовали над всеми прочими. Влияние города и отхожих промыслов, конечно, тоже сказывалось неверием или, по крайней мере, безразличием к религиозным вопросам. Как личность, несомненно, Озмидов в этой среде производил впечатление. Но понят он все же не был. Когда через некоторое время он бросил службу в Костине и покинутый им скит был продан на снос, своеобразная печь, устроенная им в его доме, дала повод к разговорам о том, что в ней делались фальшивые деньги! Я сам слышал рассказы о том от старых костинцев. Такая сплетня-клевета могла быть намеренно пущена кругами, неодобрительно относившимися к толстовским начинаниям в Костине. Но все же характерно, что этой выдумке некоторые поверили, а другие ее повторяли, не придавая ей веры, но и не возмущаясь ее заведомой недобросовестностью.

Из Костина Озмидов, насколько знаю, уехал в Одессу, где работал в редакции одной газеты. Воспоминания же о пребывании его в Костине держались в Костине и особенно у уездного и губернского начальства еще многие годы. Когда много лет спустя мы с Сережей попробовали развить в Костине некоторую просветительную и благотворительную деятельность, то встретили глухое сопротивление со стороны уездного и губернского начальства.

Нас считали скрытыми толстовцами и нам ставили палки в колеса. По иронии судьбы в самый разгар неприятностей на этой почве с архиереем и предводителем[25] я получил от Озмидова мельчайшим, но вполне четким почерком написанное письмо. Напоминая о прежнем знакомстве и высказывая уверенность, что мы за истекшие годы возмужали и установили свои воззрения, он предлагал мне написать ему, какого я теперь держусь образа мыслей... Но я оказался хоть и возмужавшим, но неисправимым и не проявил склонности исповедоваться перед Озмидовым.

А. Ф. Кони

В приведенном выше письме Кати к Л. А. Шанявской упоминается Анатолий Федорович Кони. Как известно, он служил в Петербурге, но довольно часто бывал в Москве и тогда, бывало, обедал и проводил вечер у нас. Он любил и мастерски умел рассказывать, выбирая рассказ в соответствии с настроением слушателей. Раз как-то, засидевшись в Жуковке в парке до поздней

ночи, он в темноте рассказал «Падение дома Эшер» Эдгара По. Впечатление было жуткое.

Приехав на открытие памятника Пушкину[26], он много произносил у нас на память стихов поэта. Запомнился мне его рассказ о переезде депутаций из Петербурга в Москву. В поезде царило необычайное оживление. Никто не ложился спать. Вагоны в курьерских поездах Николевской ж. д. в то время не имели купе и, не будучи разбиты внутренними перегородками, были уставлены мягкими, раскладывавшимися для устройства постели креслами. Такая конструкция вагонов позволила устроить в поезде импровизированные чтения. Депутаты один за другим произносили стихи Пушкина, говорили речи, делились мыслями и воспоминаниями.

Кони находился в переписке с Глафирой Алексеевной Абрикосовой, и обыкновенно у нас от нее узнавали о предстоящем приезде в Москву Анатолия Федоровича, и через нее намечался день посещения им нашего дома. Создавалось впечатление, что Кони бывает у нас ради Глафиры Алексеевны, которую в шутку и прозвали у нас «импрессарио». Между тем в действительности он интересовался Ниной, но после долгих колебаний и раздумия решил воздержаться от предложения, объясняя свое решение словами любимого им поэта:

В одну повозку впрячь неможно
Коня и трепетную лань!*

А. Ф. Ржевский

А. Ф. Ржевский был совсем другого типа человек. Брюнет невысокого роста, с маленькой бородкой-эспаньолкой и усами, очень сдержанный в обращении, отлично воспитанный, он нам, мальчикам, казался настоящим рыцарем. Он кончил университет, много читал, всегда находил что-нибудь интересное рассказать, делая это очень просто, никогда не придавая себе значительного вида. У него было имение с братьями по Нижегородской железной дороге, где была хорошая охота и куда по его приглашению ездил на охоту брат Федя. А. Ф. часто приезжал в Костино, и тогда, естественно, на него выпадало руководство охотой, так как он оказывался лучшим стрелком и наиболее знающим повадки зверя и птицы. К вечно рассеянному и фантазирующему Алексан-

* «В одну телегу впрячь неможно...» – строка из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

дру Ивановичу пропитанный культурой Ал. Фед. относился с необычайной корректностью. Из деликатности к Кате во всех часто случавшихся инцидентах, вызывавшихся оригинальничаньем, как мы думали, Александра Ивановича, Ал. Фед. в положении более сильного всегда давал делу такой оборот, чтобы затушевать и сгладить неловкость положения Александра Ивановича. С ним всем было как-то очень легко, и, мне кажется, наши домочадцы ничьему приезду так не радовались, как его. В его обществе три подружки Катя, Глафира Алексеевна и Нина, ради которой, как всем было ясно, он у нас и бывал, – очень веселились, и звонкие взрывы смеха следовали друг за другом беспрерывно. Во время охоты барышни Граня и Нина следовали за ним по пятам, что, конечно, не всегда способствовало успеху охоты.

Вспоминаю потешный случай, бывший при мне. Зайчик, выскочив на редину в лесу и увидев вдруг Ал. Фед., присел на задние лапы и стал как будто утирать свою мордочку передними лапами. А. Ф. прицелился, но услышал за своей спиной, как Нина молилась: «Боже! Сделай, чтобы не попал!» – «Не говорите под руку!» – вспыхнул было Ал. Фед., но в ту же секунду, овладев собой, засмеялся, тихо спустил курок и, накинув ружье на плечо, сказал, улыбаясь: «А ведь весело мы охотимся, никого не губим!»

Почему А. Ф. не удалось завоевать Нинино сердце? Могу ли я знать! Память запечатлела мне последнее посещение нас Ал. Фед.

Был зимний вечер. Нина с Ал. Фед. долго ходили взад и вперед по нашей арбатской зале, тускло освещенной одной масляной лампой. Мы с Сережей, дожидаясь вечернего чая, читали свои книжки в большой столовой рядом. Старый Михайла уже несколько раз заходил в залу поправлять лампу, напоминая попутно Нине, что самовар на столе. Наконец Нина с А. Ф. вошли в столовую. Отделившись от Ал. Фед., Нина направилась к столу заваривать чай.

А.Ф., остановившись, о чем-то ее спросил. Последовал короткий, односложный ответ. А. Ф. отвесил Нине низкий поклон и вышел на лестницу. Через минуту мы услышали шум закрывающейся двери на парадном крыльце...

Прошло много лет. Нина вышла замуж и овдовела. Она жила в Петербурге со своими четырьмя детьми. Раз как-то, когда молодежь куда-то ушла на весь вечер, на квартиру к Нине явилась В.К. – прежняя стипендиатка и подруга Нинина, которую Нина уже давно совершенно потеряла из вида. Когда-то застенчивая и робкая, несколько сутуловатая, всегда скромно одетая девушка, что, впрочем, шло ее живому и если не миловидному, то выразитель-

ному лицу, она теперь совершенно преобразилась в своем очень, правда, простом и строгом, но изящном платье. Она назвалась Ржевской. Да, в самом деле! Вскоре после замужества Нины она вышла, как оказывалось, за Ал. Фед. Они тогда же уехали из Москвы и с тех пор постоянно живут на Урале, где у Ал. Фед. большие дела и где он, кроме того, занимает общественную должность по выборам. У них дети. В. К. во всем помогает мужу и теперь приехала в Петербург, куда не показывалась много лет, для заказа каких-то машин. У нее в сумке были чертежи и сметы, в которых она была отлично ориентирована. Она дала понять Нине, что ей хорошо известно былое увлечение Ал. Фед. Ниной. Мало того, самим своим сближением с А. Ф. она считает себя обязанной своей близостью к Нине. Но она далека от ревности и чувствует себя совершенно счастливой с Ал. Фед., будучи вполне уверена в его верности. Явление это было так неожиданно, так много всколыхнуло давно прошедшего! Подруги всю ночь проговорили, не ложась спать. Когда утром молодежь собралась пить чай перед отходом на занятия, В. К. напилась со всеми и затем распростилась с Ниной, чтобы больше, насколько знаю, никогда не встречаться.

П.Е. Плотицын

Петр Емельянович Плотицын принадлежал к богатейшей купеческой семье Тамбовской губернии, имевшей какие-то связи со скопцами[27]. Один из членов семьи выведен Лесковым в его пародии на Иоанна Кронштадтского «Полунощники»[28] под фамилией Плотец Скопицын. Их было несколько братьев. Они скупили громадные территории степи, где вели весьма экстенсивное хозяйство скотоводческое и зерновое, в широком масштабе скупая зерно на экспорт. Дела шли одно время бешено в гору, и Плотицыны богатели с каждым годом. Но затем наступила какая-то новая конъюнктура мировых цен, к которой Плотицыны не были подготовлены и в которой они не смогли достаточно быстро ориентироваться, чтобы дать своим операциям правильное направление. Начались убытки, казавшиеся после бывших громадных барышей и самим Плотицыным, и всем, имевшим с ними дела, простой временной случайностью. Чтобы «обернуться», Плотицыны стали занимать деньги в частных руках и в банках. Однако кризис затягивался, не разрешался, дела запутывались. И для фирмы, и для поддерживавших ее кредиторов предприятие стало принимать азартный, спекулятивный характер. Владельцы и кредиторы в конце концов окончательно запутались, и фирма Пло-

тицыных впала в несостоятельность. Тут-то и вскрылись обстоятельства, которых никто никак не предполагал. Запутанность дел повела к процессам и даже привлечению владельцев фирмы братьев Плотицыных к уголовному преследованию, кончившемуся сначала осуждением братьев, а затем и привлечением к ответу некоторых кредиторов. Выяснилось, например, что кредитовавшие Плотицыных перед их несостоятельностью ростовщики требовали от братьев векселя с чужой подписью, заведомо поддельной. Это делалось, чтобы держать братьев в руках: ведь выдача фальшивых векселей уголовно наказуется, и выдавший их, конечно, все усилия употребит к своевременной их оплате! Все это, однако, так плохо обернулось уже в девяностых годах прошлого столетия, после неурожая, о котором мне еще придется говорить. В описываемое же время восьмидесятых годов фирма братьев Плотицыных была в подъеме.

Неуклюжий, громоздкий увалень Петр Емельянович был человек первобытного склада ума. Самый дорогой в Москве портной одевал его по самой последней моде, но это не придавало ему светского облика. Иногда он заезжал к нам на Арбат между делом, держа в руке пачку кредитных билетов, завязанных в носовой платок, тогда еще, кроме присяжных поверенных да чиновников, идущих к докладу, никто портфелей не носил. Переходя во время своего визита от одной группы гостей к другой или пересаживаясь с места на место, Петр Емельянович не расставался со своим узелочком, вызывая не один косой взгляд или кривую улыбку со стороны более светских его соперников и, быть может, завистников. Бывало, Катя, найдя какой-либо предлог, вызовет Петра Емельяновича в другую комнату и отберет на хранение узелок с деньгами. Но Петр Емельянович был равнодушен к тому, какое он производил впечатление, и через некоторое время опять появлялся со своим узелком, давая саркастическому С. И. Жекулину на этот раз повод надсмехнуться и над ним, и над выручавшей его Катей: «Екатерина Васильевна, проявите свое мягкосердие!» – воскликнет он, указывая на узелок и на молодых людей, над ним подтрунивающих.

Петр Емельянович был малообразованный человек и не имел никаких шансов добиться расположения Нины. Тем не менее, безнадежно влюбленный, он упорно оказывал Нине всяческие знаки своего преклонения. После свадьбы Нины он перенес свое внимание на нас, ее братьев, и на Катю и действительно стал нам всем нелицеприятным другом, насколько это было возможно при полной разности нашего воспитания и наших вкусов.

Когда Катя купила Сутково, он стал периодически наезжать к ней в имение, и всякий его приезд был, можно сказать, радикальной ревизией всего хозяйства. Он доходил до всех частностей, критиковал, производил всяческие проверки и исчисления, подавал советы и уезжал из имения не раньше, как убедившись, что все более или менее правильно идет. По получении депеши Петра Емельяновича о его предстоящем приезде, всегда внезапном, так как он ни с кем не переписывался и когда уезжал, то исчезал неизвестно куда и насколько времени, Катя сейчас же начинала готовиться к сдаче экзамена этому своеобразному другу-рачителю. И мне сдается, его советы от большого опыта и житейского здравого смысла являлись не лишним коррективам к советам И. А. Стебута и агрономов, управлявших имением.

Привыкши к хозяйничанию на громадных пространствах степи, по переложной системе, с большими и скорыми оборотами и малыми затратами на единицу площади, Петр Емельянович считал ошибкой покупку Суткова, требовавшего длительного над собой труда, больших и на долгие годы вложений. В этом у него было коренное расхождение во взглядах с Катей.

«Добрый тюлень» – прозвал его кто-то из нас. И надо было видеть эту массивную фигуру, боком развалившуюся на кресле и беспомощно положившую на ручки кресла свои полные, будто ласты, ручища, чтобы оценить, насколько эта кличка метко схватывала характерный склад Петра Емельяновича. Однако, хотя мы были и заядлыми пересмешниками и, вероятно, не было у нас человека без прозвища, а то и без нескольких, эта особенно меткая кличка никогда нами в насмешку не употреблялась. Уж очень обезоруживал нас Петр Емельянович своей к нам добротой и преданностью.

П. П. Сорокоумовский

Вспоминается мне еще другой представитель московского купечества, столь же напрасно искавший благосклонности Нины. Но этот был совсем иного рода, чем П. Е. Плотицын.

П. П. Сорокоумовский, молодой владелец первоклассной пушной фирмы, светски воспитанный, с изысканными манерами, эстет, любивший музыку и увлекавшийся Вагнером. Этот изящный молодой человек, с красивой черной бородой, носил всегда в кармане программы ближайших состоявшихся уже и еще предстоящих концертов. Он ездил в Бейрейт на вагнеровские циклы. Любил он говорить о музыке, и казалось, что свое вагнерианство он ставил себе в заслугу или по крайней мере считал его некото-

рым своим козырем при ухаживании за барышней-музыкантшей. Как бы то ни было, про какие-нибудь другие его поездки делового характера (в Сибирь, откуда поступали меха, которыми торговала его фирма, или в Лейпциг на ярмарку пушнины, регулировавшую всю международную торговлю мехами) мы что-то никогда от него не слыхали. Думается мне, что делами своими он не очень себя утруждал. В противность московской традиции, замечу я в скобках, ибо известно, что П. М. Третьяков, душой отдаваясь созданию своей галереи, не пренебрегал своим предприятием. Занимались искусством «без отрыва от производства» и брат Павла Мих. Третьякова Петр Мих. Третьяков, И. С. Остроухов, бр. Щукины и др.

Как бы то ни было, у нас в доме к П. П. Сорокоумовскому установилось отношение ироническое. Успеха у Нины он не имел. После замужества Нины мы совсем с ним не встречались.

* * *

Толпой проходят у меня в памяти лица, бывавшие в те годы у сестер. Но нужно ли их всех называть?

Мне смутно припоминаются Кутуковы, брат и сестра. Одну зиму они чуть ли не ежедневно бывали у нас. Вечером уйдут, а утром сестры уже шлют к ним пригласительную записку с дворником, как тогда водилось. Они жили в Староконюшенном переулке в маленьком собственном особнячке с мезонином, обитом потемневшим от времени тесом, на котором белели алебастровые классические барельефы. Несколько таких домиков, сооруженных, вероятно, в первые же годы после пожара 1812 года, и сейчас еще доживают свой век в разных закоулках Москвы.

Вспоминаются мне семейство Трескиных, сестры Алексеевы, жившие у Красных ворот, барышни Малкиэли из богатой еврейской семьи, чьи наряды и домашняя обстановка отличались как бы подчеркнутой восточной роскошью. А наряду с ними постоянно забегала по курсовым делам, вечно в хлопотах, разумеется, вполне демократических, Иванова, «вечная курсистка», как ее кто-то назвал.

Завязалась в то время у сестер моих, упрочилась на многие годы дружба с воспитанницами гр. Толстой – М. А. Бахметьевой, кузиной кн. Оболенского Ал. (сотрудника впоследствии Витте) и музыкальной А. А. Левицкой, вышедшей впоследствии за Марченко. Чтобы их отпускали к нам, сестры время от времени должны были делать визит старухе графине. По воскресеньям у нее в доме служилась обедня, к которой и приезжали ее гости. По-

сле обедни пили чай или шоколад, который разносился лакеями между гостями на подносах.

Графиня жила на Кудринской Садовой, где-то в районе теперешнего Планетария. Это была большая деревенская усадьба. Одноэтажный длинный дом со ставнями в глубине усадьбы, большой сад, липовый парк с большим прудом, в котором водились караси. Все это поместье среди столицы впоследствии по завещанию богомольной старухи пошло на убежище для престарелых священников.

Ю. А. Козловский, офицер-артиллерист, долгие годы проявлял сестрам рыцарскую и совершенно бескорыстную преданность. Словоохотливый и остроумный, несомненно, очень добрый и привязчивый, за постоянной своей приподнятой веселостью и шутливостью, казалось, он скрывал и подавлял в себе какое-то тяжелое, надломившее его переживание. Это был единственный военный, бывавший у нас не на одних только балах.

Зачастил к нам одно время австро-венгерский консул (впоследствии министр иностранных дел) Буриан со своим атташе Спокером. Отличные наездники, они часто устраивали верховые прогулки по окрестностям с сестрами, с участием брата Федора, Н. А. Соколова и других гостей. Знакомство оборвалось за отъездом Буриана на родину, где ему предстояло сделать политическую карьеру. Когда со временем фамилия Буриана стала встречаться в газетах, муж Нины неизменно попрекал ее этими былыми кавалькадами, как бы ревнуя ее задним числом. Конечно, в шутку, которую он проделывал и в отношении Миклухо-Маклая.

Между тем великий путешественник и исследователь всего-то навсего раза два или три обедал у нас. На эти обеды приглашались лишь немногие друзья. После обеда все общество размещалось в кабинете пить кофе и слушать рассказы Миклухо-Маклая. Он сам, взяв в руки чашку и помешивая ложечкой, располагался на корточках на старом отцовском ковре из тигровой шкуры около Нининого кресла. В таком необычайном положении он вел свое повествование глухим, гортанным, едва слышным голосом, останавливаясь иногда, как бы не находя подходящих выражений...

Из знаменитостей, навещавших Москву, сестры чествовали парадным ужином Сарру Бернар, а затем Коклена.

Неоднократно запросто бывал и играл у нас А. Г. Рубинштейн. Он дал даже несколько концертов в нашей зале. Александр Иннокентьевич Сабашников припоминает, как он с Федей сводили близорукого артиста с нашей мраморной лестницы за руки. Была

ли в том действительная необходимость, или это порождалось тем восторженным преклонением, какое вызывал к себе великий мастер, я, конечно, судить не могу. Он был тогда на зените своей славы, и, как, впрочем, часто бывает, у него были психопатические поклонницы, несомненно отравлявшие ему его выступления.

Прибавлю тут, кстати, что уже после своего замужества Нина сдружилась с В. И. Сафоновым и с В. Панаевой-Карцевой. Неоднократно устраивали они концерты у нас в доме, на которых участвовала и сама Нина с Лидией Павловной Княжевич. В бытность свою директором консерватории Василий Ильич любил по окончании там дневных занятий заходить прямо к Рейнам*, где его сейчас же укладывали на диван в гостиной поспать, после чего подавалось пиво с сыром, и Василий Ильич оживал на весь вечер...

Покушение Феди на самоубийство и его переезд в Петербург

Первым из арбатского дома отъехал брат Федор. С ним случилась беда, которая часто бывает с нервными юношами при переломе к половой зрелости. Он впал в уныние и в припадке меланхолии совершил попытку застрелиться. Это случилось в конце 1884 года. Было воскресенье или другой какой праздник. Сестры с утра поехали на панихиду в годовщину смерти Кошелева. Мы, мальчики, не пошли в гимназию. В час дня мы с Сережей в столовой ожидали к завтраку Федю и Зюссенгута. Вдруг раздался какой-то шум. Дверь из буфетной распахнулась, и в столовую вбежал буфетчик Максим, в отчаянии ломая руки и крича: «Убился, убился Федор Васильевич!»

Затем я помню себя уже в ногах кровати, на которой лежит принесенный снизу Федя. Он в обмороке. Городской врач, первый поспевший на помощь, с забинтованным черной повязкой указательным пальцем, осмотрев рану, говорит, что нет никакой опасности. Является доктор Марконет, акушер, принимавший детей у Кати, и как бы свой, семейный, человек. Он дает распоряжения. Приносят гуттаперчевый пузырь со льдом. Я в каком-то оцепенении. Какой-то навязчивый музыкальный мотив вертится у меня в голове. Я этого стыжусь, хочу от него освободиться, что-то предпринять, быть полезным, но не знаю, что делать.

* Рейны – Евреиновы.

Возвращаются сестры. На рассказ мадемуазель Бессон Катя, держа платок у глаз, произносит в дверях комнаты: «Quel égoiste!»* Это восклицание выводит меня из оцепенения. До этого момента я воспринимал все случившееся исключительно эмоционально. Сначала я испугался за брата. Затем радовался, что рана не опасна. Но был угнетен, что в семье нашей произошло такое покушение. И вдруг, как озаряющий на мгновение окрестности внезапный блеск молнии в грозовую ночь, это неожиданное восклицание Кати. Конечно, я был слишком молод, чтобы право на пользование жизнью и право на распоряжение своей смертью могли тогда встать передо мной как философские или моральные проблемы. Но все же я как-то практически прикоснулся к ним... Наступили сумерки, а за ними вечер этого тревожного дня. На ночь меня кладут в чужую комнату. Через фрамугу над дверью в комнату проникает полусвет от лампы в коридоре. Я не могу заснуть. Бесшумно входит Катя, подсаживается ко мне на кровать и спрашивает: «Ты плачешь?» И мне опять стыдно, ибо за весь день я не пролил ни одной слезы.

После описанного происшествия старшие решили, что Феде надо переменить обстановку жизни. Он переехал в Петербург и поселился в семье О. А. Чечота, родственника Барановских, директора больницы Св. Николая, человека большого ума и выдающегося характера, известного психиатра. Весной Федя приезжал в Москву на Нинину свадьбу. После свадьбы мы с Сережей ездили к нему в Петербург. Затем на праздниках и во время каникул Федя обыкновенно наведывался к нам. Все же Федя все дальше и дальше отходил от нас, младших братьев, тогда как близость наша с сестрами, несмотря на выезд и их из Москвы, по мере того как мы росли и как сглаживалась разница в возрасте между нами, все более и более крепла.

Нина выходит замуж

Вслед за Федей выпорхнула из отчего дома и Нина. Все той же, поворотной для многих из нас весной 1885 года. Конечно, этого надо было ждать, этого все даже и ожидали, и все же, как часто случается, вполне естественное, неизбежное даже и давно предвиденное произошло как-то и неожиданно, и совсем не так, как можно было думать...

* «Какой эгоист!» (фр)

Расскажу последовательно, как мне представляется ход событий по рассказам и личным моим наблюдениям.

Получившимися ей по разделу средствами Нина задумала войти в какое-нибудь просветительное предприятие. После некоторых исканий Нина решила принять издание журнала «Северный вестник»[29]. После закрытия «Отечественных записок»[30] этому журналу сулили большую будущность. Н. К. Михайловский обещал в нем не только работать, но и руководить редакцией. Редактором выдвинулась А. М. Евреинова, первая женщина, получившая у нас ученую степень доктора права. Для переговоров с ней Нина весной 1885 года поехала в Петербург.

Она остановилась у Глафиры Алексеевны ячой, жившей в то время в Петербурге. Там Нина заболела воспалением почек и довольно продолжительное время пролежала в гостях у Глафиры Алексеевны, не прерывая, впрочем, хлопот и переговоров по журналу. Желая иметь помощника, молодого и подвижного юриста, и, быть может, не без другого тайного умысла, старушка Анна Михайловна вызвала из деревни своего племянника Алексея Владимировича Евреинова, по окончании юридического факультета Петербургского университета поселившегося в имении отца своего в Курской губернии и занявшего там по выборам должность мирового судьи. Этот молодой человек, ежедневно бывая по делам то у Анны Михайловны, то у Нины, влюбился в Нину и, не теряя времени, сделал ей предложение.

Отклонив предложение и видя, что Алексей Владимирович все же продолжает свои домогательства, Нина собралась домой в Москву. При отъезде из Петербурга ее на вокзале встретил Алексей Владимирович, заявивший, что он тоже едет в Москву, чтобы познакомиться с ее семьей и получить там ответ на свое предложение...

«А я не знал, что вы в Петербурге и что вы знакомы!» – недоумевающе приветствовал их на перроне С. А. Хвостов, провожавший кого-то на тот же поезд.

– Не только знакомы, но сделал предложение и еду в Москву за ответом! – отрезал Алексей Владимирович, конечно, слышавший, что С. А. Хвостов, серьезно и давно ухаживавший за Ниной, воздерживался от сватовства лишь под давлением своей матери, решительно не желавшей, чтобы ее сын женился на дочери купца.

Дальше события пошли молниеносно. Излагаю только внешнюю их сторону. На замечание Кати, что никто в Москве Алексея Владимировича не знает, Алексей Владимирович указал на

А. Ф. Кони, который может дать о нем исчерпывающие сведения. Алексей Владимирович, конечно, не знал, что А. Ф. Кони сам был неравнодушен к Нине. Однако отзыв Кони был рыцарски беспристрастен и проникновенно правдив: «Алексей Владимирович недурной человек, но не стоит Нины Васильевны». Никто не сообщал Алексею Владимировичу этого отзыва, но по интуиции, руководящей людьми в таких положениях, он что-то почуял и по-свойски отомстил А. Ф. Кони за его бесстрастие. Когда в один из ближайших своих приездов в Москву А. Ф. Кони по просьбе дам рассказывал в полутемной гостиной одну из своих страшных историй и сделал в самом патетическом месте паузу для усиления эффекта, из отдаленного угла гостиной послышался передразнивающий Кони голос Алексея Владимировича, продолжавший рассказ, ранее слышанный им от Кони в Петербурге. Прием одновременно восторженного ухаживания и последовательно проводимого отчуждения Нины от всех могущих отвлечь ее от него людей и интересов – привел к цели. Алексей Владимирович получил согласие Нины, и 15 мая 1885 года состоялась их свадьба. Венчание происходило в Сетуньской церкви. Затем, был обед в арбатском доме. После обеда все гости провожали новобрачных на Николаевский вокзал. Свадебное путешествие по Италии впоследствии часто служило темой подробных рассказов.

Молодые затем зажили в Курской губернии в имении отца Алексея Владимировича, проводя обычно часть зимы в Петербурге или в Москве.

Катя покупает Сутково

По совершении выдела своего Катя решила свои средства вложить в имение. Муж и вся семья его во главе с Егором Ивановичем всемерно поддерживали ее в принятом решении и несомненно оказали свое влияние тем, что выбор местности пал на Белоруссию, откуда происходили сами Барановские. Дворяне, воспитанные в Училище правоведения, при всем своем либерализме пропитанные традициями своего сословия, они хотя и участвовали активно в коммерческих предприятиях, на службе Добровольного флота[31], в опеке и в других делах, но только сельское хозяйство на собственной земле почитали занятием, достойным истинного дворянина. В рассуждениях о преимуществах вложения средств в землю братья Барановские, однако, всегда оттеняли и чисто практические выгоды такого решения: земля сама собой ежегодно дорожает, и потому даже при плохом

на ней хозяйничании землевладелец ничем не рискует. В последнем отношении Катины стремления были несколько иного рода, что впоследствии и сказалось в разногласиях ее с мужем по хозяйственным вопросам. Имея детей и, естественно, желая поместить свои средства в дело верное и прочное, она все же отнюдь не думала купить землю и довольствоваться тем, что цена ее автоматически без всяких со стороны хозяина забот будет расти. Деятельная и предприимчивая, Катя искала дела, в котором можно было работать. Ей хотелось вести рациональное, передовое хозяйство, создавать материальные ценности, участвовать этим в увеличении национального богатства, содействовать этим подъему народного благосостояния.

Люди, настроенные в те годы в духе А. И. Чупрова, настоятельно советовали всем и каждому в эти годы политической реакции не сидеть сложа руки, а работать над поднятием сельскохозяйственной культуры, заниматься мирным культуртрегерством в деревне, поскольку эти пути не были властью окончательно пресечены. Проповедь Л. Н. Толстого, со своей стороны, оживляла тягу в деревню тоже по мотивам не идиллическим, а с трудовыми намерениями, хотя и чуждыми идее прогресса.

После долгих поисков, поездок, осмотров Катя приобрела большое имение на правом берегу Днепра в Минской губернии Речицкого уезда под названием «Сутково», с домом, большими запашками, громадной площадью ценного леса, весьма, впрочем, запущенное и требовавшее радикальных преобразований.

Глава 3

ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1885 – 1891)

Новый учитель

За несколько дней до Нининой свадьбы Надежда Федоровна Богданова привезла к нам на дачу в Жуковку знакомиться нашего нового учителя, Николая Васильевича Сперанского. Они застали нас за обедом в так называемой «гимнастике» (палатке в саду) в большом обществе гостей, съехавшихся по случаю предстоящей свадьбы. Конечно, встреча в такой обстановке для первого знакомства не могла много дать. Мне врезались лишь в память необычайная худоба нового учителя, только что оправившегося от брюшного тифа, всклокоченные темно-каштановые волосы на голове его и глубокие впадины глаз, вместе с выдававшимися скулами придававшие лицу его своеобразное, незабываемое выражение.

Действительное знакомство наше произошло в Сергиев день (5.VII.85 г.), когда Николай Васильевич переехал к нам на дачу жить. Дым коромыслом, стоявший в Жуковке в первое его посещение ее, отошел, на даче царила полнейшая тишина. Все взрослые поразъехались: Нина с мужем в свадебное путешествие по Италии, Катя с Александром Ивановичем уехали в Швецию присматривать золотопромывательную машину для Онона вместе с Шанявскими, там уже находившимися. Федя вернулся в Петербург. В Жуковке оставались мы с Сережей и Отто Юльевичем Зюссенгутом да «Баранята», как их называли, т. е. племянники наши Вася, Сима и Шура, с учительницей. Кроме того, гостила еще Зинаида Гавриловна Вильямс, племянница Егора Ивановича Барановского, уже взрослая девица. Впечатление пустоты и покинутости усиливалось для Николая Васильевича еще тем, что мы с Сережей в день его приезда тоже оказались в отсутствии, так как с утра ушли гулять с Зинаидой Гавриловной в Кунцево.

– Вы мой предшественник? – меланхолически спросил Зюссенгут Николая Васильевича, желая сказать «преемник». – На даче никого нет. Не хотите ли купаться?

После купания в Сетуни пообедали и прогулялись по саду, а к вечернему чаю и мы вернулись из Кунцева. Мы погуляли там на берегу Москвы-реки, спускались в глубокий, темный, таинственный овраг, на склоне которого рос громадный, известный всем москвичам дуб-богатырь, видевший, вероятно, еще времена не только тишайшего государя, но и грозного царя, всходили на городище с его неизвестными могилами, получившее у дачников романтическое название «проклятое место».

Мы принесли с собой из Кунцева в фуражках своих собранные на берегу Москвы-реки окаменелости, а в носовых платках – малюсеньких ежиков, новорожденных, как мы решили, ввиду их крошечного размера. Прогулка дала естественную пищу для разговора за чаем, а затем, усталые от беготни за день, мы полегли спать.

Утром надо было накормить ежиков молоком, и мы так увлеклись возней с нашими новыми питомцами, что не заметили, как настал час урока. Когда Николай Васильевич пришел в нашу комнату на первый урок свой, мы поспешили спрятать ежиков в ящик письменного стола и достали свои книжки. Нетрудно себе представить, что внимательными на уроке мы не были. Ежики возились и шумели в своем заточении, а мысль, что им не хватит воздуха, пришедшая мне во время урока, совершенно парализовала мою сообразительность. Николай Васильевич, удивлявшийся сначала нашему состоянию, в конце концов разгадал, в чем дело; ежики были извлечены на волю, и наставник вместе с учениками своими, прервав урок, занялись устройством маленьких животных.

Простота и какое-то товарищеское отношение, проявленные Николаем Васильевичем в этом случае, сразу завоевали ему наше расположение. Оно за ним окончательно утвердилось, когда в тот же день наш новый наставник так же просто и по-товарищески отнесся к каверзе, учиненной ему племянником нашим Васей. Надо сказать, что у нас в доме никто не курил, и Вася, увидев утром, как Николай Васильевич в своей комнате натирал картуз гильз табаком очень заинтересовался этой процедурой[1]. И вот, забравшись в комнату Николая Васильевича, когда он был у нас на уроке, Вася высыпал из гильз табак, насыпал их песком и заделал ватой. Каково было курящему человеку, привыкшему к своему табаку, увидеть, что курить ему нечего! Со спокойствием,

по-видимому больше всего смутившим Васю, налившегося кровью под негодующими нашими взглядами, показал Николай Васильевич, для чего он набивал утром гильзы и почему они теперь никуда не годятся. Конечно, с глазу на глаз в саду мы, в звании дяденек, отчитали племянничка со всем пылом. Окончательно он был сконфужен, когда Николай Васильевич предложил нам прогуляться с ним на полустанок, где, быть может, найдутся готовые папиросы.

Я рассказываю эти мелочи потому, что мне самому приятно их вспоминать, и потому также, что с них начались у нас простые, доверчивые отношения товарищества с человеком, с которым затем мы все тесней и тесней сходились, связавшись, наконец, дружбой буквально до гробовой доски.

Сутково

Вскоре Катя вернулась из Швеции, и мы все поехали проводить лето в Суткове – только что приобретенном Катей имении на берегу Днепра Минской губернии. Путь лежал по железной дороге до Гомеля, оттуда пароходом по Сожу до Лоева, из Лоева лошадьми 12 верст вверх по правому горному берегу Днепра, обсаженным еще при Екатерине II вековыми березами, шляхом. Все было чудесно хорошо в этом путешествии по захолустным местам Белороссии, и очарование постепенно все нарастало, т. к. самым восхитительным во всей этой поездке было само Сутково.

Большой двухэтажный белый дом с колоннами на высоком берегу Днепра господствовал над всей окрестностью. По бокам его два маленьких одноэтажных флигеля соединены были с домом крытыми галереями. Перед домом большая площадка, занятая когда-то цветниками, теперь заброшенными, а с нее широкий вид на противоположный берег реки, покрытый вековыми дубами. Ни колокольни, ни трубы, ни признака жилья на всем громадном, окидываемом взором, пространстве! Впечатление природы самобытной, еще нетронутой человеком, поддерживалось еще неугомонной работой могучей реки, на глазах преобразовывавшей пейзаж: Днепр перед домом делал большую петлю, а внизу под самой горой бурлила так называемая «прорва», т. е. вновь образовавшийся проток реки, с каждым годом размывая себе ложе, все шире да глубже, отрывая от берега значительные участки. Около самого дома роскошные декоративные уксусные кусты, шиповник и белая акация, во время цветения наполнявшая дом своим ароматом.

К дому примыкал разведенный с большим вкусом вековой парк, в котором граб, дуб, ясень и клен красивыми куртинами обрамляли сочные лужайки, а со стороны реки оставляли удачно выбранные просветы с видами в даль. Длинная аллея пирамидальных тополей и неизбежная в каждом русском парке липовая аллея ограничивали собой старый фруктовый сад, с его яблонями, грушами, вишнями и сливами. Все когда-то заведено было на широкую ногу, умело и красиво, но все было забыто и запущено. Всему время принесло то разрушение, которое, по словам Гоголя, придает делам людским новую, исключительную значительность.

От «господского дома», пересекая шлях, вела на протяжении двух верст широкая обсаженная липами дорога к «фольварку», как по местному называется хутор с хозяйственными постройками. Здесь разрушение казалось более глубоким. Со времени последнего польского восстания жизнь помещиков-поляков в крае захирела. Собственное хозяйство было оставлено, и имение стало сдаваться в аренду. Неремонтировавшиеся постройки пришли в крайнюю ветхость и разрушались. Часть полей поросла молодым лесом. По старому лесу прошла хищническая рубка, после которой на земле валялись и гнили неубранные вершины и ветви сваленных деревьев, от которых воспользовались лишь самыми ценными частями ствола. Заражая оставшиеся несрубленными деревья короедом и мешая появлению молодых порослей, они превращали бывшую под лесом площадь в какую-то непролазную трущобу.

Мое изображение было бы лишено местного колорита, если бы я не упомянул здесь: аиста, меланхолически озирающего окрестности из гнезда своего на соломенной крыше какого-нибудь сарая; «жида» – этого неизбежного во всяком «панском» имении фактотума*, приезжавшего из соседнего (за 12 верст) «местечка» ежедневно (!), в длинном сюртуке, высокой фуражке, с пейсами и слезливыми глазами, с утра до заката торчавшего во дворе в ожидании возможных (!) поручений; тут же его «худобу» (лошадь) в тени какого-нибудь амбара; а на медленно ведущихся работах – белорусских крестьян и крестьянок в их белых чистеньких и нарядных, еще от старины сохранившихся национальных одеждах. Мне кажется, я и сейчас слышу их горловой унылый напев, сопровождавший некоторые работы.

* Фактотум – доверенное лицо, беспрекословно исполняющее чьи-либо поручения.

Плодотворной и приятной рисовалась воображению задача вдохнуть в этот заглохший уголок новую жизнь и поставить здесь хозяйство на должную ногу. На первых порах, конечно, дело не могло обойтись без трудностей и неприятных осложнений. В это первое лето в Суткове Катя не раз впадала в уныние, упрекая себя в том, что при выборе имения романтически увлеклась красотой его, не оценив в должной мере его разоренность. Но это случалось только в минуты усталости и раздражения. В действительности же Катя, как всё, что она делала, и выбор имения произвела очень толково и дельно. Она хотела создать себе свое собственное, настоящее, живое дело, которое ее бы всецело увлекло, в котором она была бы полной хозяйкой, которое бы при этом имело общеполезное значение. И, конечно, Сутково вполне отвечало этим заданиям. Правда, оно потребовало вложения немалых средств на восстановление хозяйства. Но затраты эти оказались производительными. Правда, молодой хозяйке пришлось много и много похлопотать и поработать. Желтые обложки девриеновских сельскохозяйственных изданий на долгие годы заняли на ее письменном столе главное место с курсом бухгалтерии Прокофьева, оттеснив Тэна, Ренана, Миля, Спенсера и др. Но кому пришлось видеть Сутково в начале Великой войны[2], с его винокуренным заводом, хорошо обработанными и унавоженными полями на площадях, выкорчеванных из-под леса, с большим стадом племенного скота и молочной фермой, с расчищенными лугами, со сложным лесным хозяйством, в котором ценные породы разрабатывались на поделки, с богатым фруктовым садом, тот, конечно, должен признать, что цветущее имение это, дающее хороший доход и содержащее бесплатную больницу для населения и две сельских школы, стало хорошим культурным делом, достойным того, чтобы отдавать ему силы. Живописное расположение, здоровая местность, отличная охота на зверя и птицу, всевозможный, наконец, спорт на большой реке, делая жизнь в Суткове приятной и разнообразной, конечно, не умаляли хозяйственного значения имения.

Сотрудники Кати

Здесь надо хотя бы только назвать главнейших сотрудников Кати по Суткову. Их ей удалось подобрать не сразу.

Управляющим Катя пригласила толстовца М. И. Пытковского. Не знаю, кто его рекомендовал. Во всяком случае, его убеждения служили гарантией щепетильной честности и высокой гуман-

ности, а этому Катя не могла не придавать значения, особенно учитывая отсталость и забитость белорусских крестьян. М. И. Пытковский был опытным, знающим агрономом и любил сельское хозяйство, как его любят поляки. Он удачно спроектировал и отстроил новый фольварк, спланировал полеводство с картофелем и травосеянием в обороте. Личные отношения у нас с ним во время наших частых гощений в Суткове установились на простую дружескую ногу. Но он недолго продержался в Суткове. Рубаха-парень – по-русски, но с гонором панским – по-польски, хозяин-мечтатель, агроном-толстовец, М. И. для практической деятельности совмещал в себе слишком много несовместимого. Промаявшись в Суткове года два, он задумал удалиться от практической жизни на участок А. И. Барановского на черноморском берегу. Условием отвода этого участка было обязательство завести на нем оседлость, что, однако, Александром Ивановичем исполнено не было. М. И. Пытковский предложил себя А. И. Барановскому в качестве доверенного поселенца на черноморском участке, без всякого вознаграждения. Он вознамерился разводить там пчел. «Толстовцу это самое доброе дело, – рассуждал Пытковский. – Тут ни с какими социальными вопросами встречаться не придется. К тому же на Кавказе пчелы не кусаются».

Пытковского сменили затем один за другим ряд лиц, в том числе В. Е. Грузинский (брат Алексея Евгеньевича) и М. Ф. Маевский (брат Петра Феликсовича). Все, по разным случайностям, недолго проработали в Суткове, пока, наконец, прочно не осел Г. И. Беляцкий, опытный, умный, настойчивый хозяин, рекомендованный И. А. Стебутом и проработавший в Суткове до самой революции.

Сутковскую больницу по приглашению Кати спроектировала и поставила в ней работу Екатерина Павловна Косминкова. Затем, проработав в Суткове 5 лет, она по семейным обстоятельствам пожелала перебраться поближе к Москве и в течение 10 лет заведовала в Костине устроенной нами больницей. После она перешла на службу города Москвы на должность школьного врача.

В Суткове после Косминковой врачами были Дырмунт, Караваев и Клумов. Караваев впоследствии был избран членом I Государственной Думы, участвовал во фракции трудовиков и после роспуска I Гос. Думы был убит в Екатеринославе членом «Союза русского народа[3].

Школьной учительницей в Казимировку была приглашена молодая учительница, окончившая высшие и педагогические кур-

сы в Москве – М. А. Чуйкова. Если Сутково было захолустьем, то отдаленная от него на 7 верст Казимировка была уже совсем медвежьим углом. Надо было много мужества, чтобы зарыться в такую дыру. Но молодая учительница именно этого и искала.

Я помню первое ее появление у нас в арбатском доме, когда она пришла договариваться о поступлении. Ее смущала не удаленность Казимировки, а то, что школа там открывается по самому примитивному типу – школа грамоты[4], и что она окажется под ведомством духовенства. Но в Западных губерниях тогда земства не было[5], и в Казимировке приходилось открывать либо школу грамоты, либо церковно-приходскую[6]. Оба типа по положению находились в ведомстве духовенства, причем церковно-приходская школа с повышенной, по сравнению со школой грамоты, программой была более проникнута церковным духом. Школа грамоты, менее контролируемая и с меньшей программой, казалось, оставляла больше свободы преподаванию. Тем более если эта школа патронируется крупной местной землевладелицей, русской и православной. Так оно и вышло. М. А. Чуйкова проработала в Казимировке ряд лет в полном одиночестве, проболела там сыпным тифом, воспитала много десятков ребят. Некоторые ее ученики по окончании казимировской школы перебрались в среднее учебное заведение. Наиболее выдающийся из них Архип Акимович Частик окончил Горе-Горецкое земледельческое училище. В 1905 году был заподозрен начальством в с. р. пропаганде и выслан из пределов Минской губернии. Тогда он поступил к нам в Любимовку на должность инструктора крестьянских плантаций. М. А. Чуйкова со временем тоже заведовала у нас школами сначала в Костине, потом в Любимовке.

«Культурные одиночки» – так назвал Кривенко деятелей типа Марии Алексеевны Чуйковой – эти последние отраженные всплески былого народнического прибоя семидесятых годов. В 80-е годы и в начале 90-х уже никто не шел в народ с политической или социалистической пропагандой. Ставились гораздо более ограниченные и, казалось, более достижимые, чисто культурные задачи. В путях тоже вскоре наступило разочарование. Земства, комитеты грамотности, кружок Алчевской в Харькове[7], констатировав массовые «рецидивы безграмотности» среди населения, прошедшего начальную школу, уже не оставляли места для увлечения. Во второй половине 90-х годов вера в успешность индивидуальных разрозненных усилий даже в области культуры и просвещения иссякла. Быстро распространявшийся марксизм отвлекал, притом, внимание от деревни к фабрике.

Заполучить в деревенскую школу образованную учительницу из молодежи в 90-е годы стало трудно. Мы встретились в свое время с этим явлением и принуждены были брать учительниц уже пожилых.

Казимировка, одинокая и удаленная от тракта, не случайно была выбрана Катей для устройства в ней первой школы. Когда мы прибыли в Сутково, то застали в Казимировке первые попытки со стороны самого населения к устройству там школы. Особенно хлопотал о том старший брат Частика и местный псаломщик, прозванный нами «плакучей ивой». Он был какой-то особенный и всегда плакался о несчастной доле крестьянской. При полном отсутствии средств эти попытки местные могли бы повести к созданию школы по типу уже имевшихся в округе, с едва грамотным инвалидом-солдатом в качестве учителя, столующегося, подобно пастуху, по очереди у родителей своих учеников, а на летние каникулы нанимающегося стеречь в шалаше фонари-маяки на Днепре.

Домашние уроки

Но возвращаюсь к лету 1885 года. Треволнения, связанные с устройством в разоренном имении, не затрагивали нас, мальчиков, живших еще на всем готовом, и для нас это первое лето в Суткове промелькнуло как праздник – с купанием в Днепре, катанием в «челнах», или «душегубках», прогулками и пр. Незаметно подкралась осень, и пришлось ехать в Москву учиться.

Николай Васильевич по соглашению с Катей поставил ученье наше совсем на новую ногу.

Из гимназии Поливанова мы вышли с тем, чтобы курс средней школы («гимназии», по-тогдашнему, неизбежно классической, единственной открывавшей доступ в университет) пройти дома и держать затем «экстернами» так называемый «экзамен зрелости» для получения права на поступление в университет. Но до этого экзамена было еще несколько лет впереди, и, принимая во внимание, что дома можно вести занятия интенсивнее, чем в школе, а потому в одинаковый срок пройти больше, Николай Васильевич не считал нужным строго держаться из года в год гимназических программ. Это открывало преподавателям возможность свободно планировать курсы и углубляться по времени в свои предметы.

В первую же зиму 1885/86 года к нам были приглашены П. Ф. Маевский (естествознание), Ф. И. Егоров (математика), С. П. Меч (география) и А. Е. Грузинский (русский язык и словесность), которые впоследствии (кроме скончавшегося П. Ф. Маевского) учи-

ли и племянников моих Васю и Симу. Николай Васильевич взял на себя временно латинский язык, который мы проходили у него вместе с Сашей Чупровым, сыном профессора А. И. Чупрова, до поступления его в один из старших классов V гимназии. Кроме того, я один проходил с Николаем Васильевичем греческий язык и читал по-французски с бывшей учительницей сестер старушкой мадемуазель Бессон.

Мы много делали письменных работ не только А. Е. Грузинскому, но и С. П. Мечу. Эти работы представляли собой разбор какого-либо произведения, изложение статьи или книги, сводку мнений или данных из разных источников, иногда компиляцию, но никогда не были «сочинениями на тему», столь излюбленными в то время в гимназиях, как, например, рассуждение о том, что «не все то золото, что блестит», или памятное мне Федино сочинение, писанное им для Л. И. Поливанова: «Все куплю, – сказало злато, все возьму, – сказал булат». В письменных работах от нас требовалось умение систематизировать по собственной, а иногда даже по предложенной преподавателем или же совместно с преподавателем составленной схеме пройденный и прочитанный материал и толково его изложить.

С Петром Феликсовичем Маевским, летом 1886 и 1887 годов приезжавшим к нам в Сутково, мы много ботанизировали.

Со временем число наших преподавателей значительно расширилось. Присоединились: Д. П. Езучевский (физика), А. В. Сперанский (химия), М. К. Любавский (русская история), С. Ф. Фортунатов (история), Н. С. Тихонравов (литература), Е. Е. Якушкин (древние языки), Гильвег (немецкий язык).

Для занятий по химии нам приспособили в нижнем этаже арбатского дома особую комнату, в которой был устроен вытяжной шкаф, проведены газ и вода и пр. Эта домашняя лаборатория была впоследствии использована, равно как геологическая коллекция А. Ф. Геллера и собранный нами с П. Ф. Маевским гербарий, «Коллективными уроками» – суррогатом Высших женских курсов, организованными после закрытия курсов Герье усилиями Шереметьевской, Сеченова и Тимирязева и в течение нескольких лет ютившимися у нас в арбатском доме, пока не удалось добиться разрешения на возобновление Высших женских курсов.

С Н. С. Тихонравовым мы по преимуществу занимались устной словесностью и древней письменностью – по памятникам. Конечно, особое внимание уделено было «Слову о полку Игореве». Впрочем, разбирали и классиков. Припоминаются мне разборы «Макбета», «Гамлета», Фонвизина и Грибоедова. Подробно раз-

бирали мы с Николаем Саввичем статью Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии», пользуясь немецким оригиналом в отдельном издании с комментариями.

Николай Саввич в то время был занят редактированием полного собрания сочинений Гоголя и на редактируемом им материале вводил нас в приемы научной редакции текстов. Отдельно от брата я читал в подлиннике Шиллера, Гете, Лессинга, Грильпарцера и других немецких классиков, преимущественно трагедии их, с Евгением Николаевичем Щепкиным.

Совершенно исключительный интерес представляли мои занятия с Ф. Е. Коршем, с которым мы читали в подлиннике Гомера и Овидия. Его эрудиция изумляла всех, кому приходилось вступать с ним в общение, и даваемые им комментарии блистали широкими обобщениями и глубоким анализом текста. На некоторые уроки мои Николай Васильевич ходил, чтобы послушать Федора Евгеньевича. Наконец, курс логики я прошел с А. С. Белкиным, а курс политической экономии – с С. В. Сперанским, державшимся только что вышедшего тогда в студенческом издании курса А. И. Чупрова.

Уроки Н. А. Мартынова

Уроки рисования мы брали у художника Николая Авенировича Мартынова на его квартире. Мартыновы жили тогда в Б. Знаменском переулке в служебном корпусе владения князей бр. Долгоруковых, теперь занятого Институтом Маркса и Энгельса. Говорю Мартыновы потому, что кто начинал ходить учиться к Николаю Авенировичу, тот обязательно знакомился со всей его семьей и деятельным, бодрящим радушием всех ее членов вовлекался в близкую с ними дружбу. Уроки наши были по воскресеньям, начинались в 10 часов утра и затягивались до 2-3 часов дня. Мы были самыми юными из воскресных учеников Николая Авенировича, так как праздничные дни он преимущественно отводил для естественников университета, занимавшихся рисованием изучаемых ими животных. Так мы попали в общество М. А. Мензбира, В. Н. Львова, Н. А. Иванцова, А. Н. Северцова, П. П. Сушкина, П. С. Усова, впоследствии Н. К. Кольцова и др. Рисовали с натуры исключительно. Основательно проходили правила перспективы.

Н. А. Иванцов рисовал сепией большой портрет недавно тогда скончавшегося профессора С. А. Усова. Зоолог, увлекшийся в последние годы своей жизни археологией, Усов играл выдающуюся

роль в борьбе прогрессивных профессоров против Каткова и Леонтьева, ополчившихся против скромной автономии, предоставленной университетам уставом 1863 года[8]. Как известно, борьба была проиграна либеральными профессорами, и Катков имел основание приветствовать проведенный Деляновым новый устав [1884] года словами: «Правительство идет!» Но кружок молодых биологов прогрессивного лагеря был еще под обаянием личности скончавшегося лидера. Чувствовалась также некоторая гордость, что преемником С. А. Усова по кафедре выдвинут их старый товарищ, член кружка М. А. Мензбир. Люди уже взрослые, эти «ученики» Николая Авериновича держали себя на уроках непринужденно, как в гостях, разговаривали, шутили, делились прочитанным. Бывало иногда очень интересно. Но это не мешало работать.

Николай Авенирович был неутомим. Сутуловатый, с шапкой всклокоченных волос на голове и раскидистой бородой, щурясь одним глазом, он переходил от одного ученика к другому, внимательно всматривался в работу и затем, молча беря карандаш, уголь или кисть, поправлял рисунок учащегося, показывая, как нужно делать. После 12 часов Любовь Ивановна, жена художника, обносила чай, к которому всегда подавались ее же изготовления жареные пирожки с грибами, луком или гречневой кашей, замечательно вкусные, поедавшиеся в неимоверном количестве.

У Сережи оказались хорошие способности к передаче портретного сходства. Нарисованный им углем портрет Прохора, кривого служителя кабинета сравнительной анатомии, приведенного М. А. Мензбиром в качестве натурщика, вызвал всеобщее одобрение.

Пришлось у Мартыновых познакомиться еще и с братьями Морозовыми, Михаилом Абрамовичем и Иваном Абрамовичем, и Долгоруковыми, Павлом Дмитриевичем и Петром Дмитриевичем[9]. Они занимались тоже с Н. А. Мартыновым, но у себя на дому, в будние дни, и посещения ими воскресных занятий бывали случайными. Впоследствии мне пришлось ближе столкнуться с братьями Долгоруковыми, а с младшим, бывшим одно время Суджанским председателем управы[10], впоследствии же вице-председателем I Государственной Думы, мы даже сошлись. Что же касается братьев Морозовых, то, живя в Москве, мы, конечно, встречались затем неоднократно, но сближения между нами не было.

Любовь к пейзажной живописи, культивировавшаяся Николаем Авенировичем, очень тонким пейзажистом-акварелистом, была причиной нашей последней, неожиданной для меня встречи с Иваном Абрамовичем в 1922 году. Я издавал брошюру П. П.

Перцова о Щукинском собрании новой французской живописи[11], и мне пришла мысль предложить Петру Петровичу включить в книгу и сведения об имеющихся в Москве произведениях новейшей французской живописи, помимо Щукинского музея. Это побудило меня посетить Морозовскую галерею на Пречистенке[12], известную мне по прежнему времени. Я встретил там Ивана Абрамовича, которого никак не думал увидеть в то время в Москве. Он окружен был группой посетившей музей молодежи, которой он весьма оживленно и, несомненно, интересно говорил про движение в новой французской живописи, иллюстрируя рассказываемое на своей коллекции. Иван Абрамович в роли хранителя и толкователя собранной им картинной галереи, у него отобранной, был очень хорош. Хороша была и молоденькая белокурая девица, увлеченная виденным и слышанным и по наивности желавшая уйти из галереи с твердым знанием, какой же путь в живописи самый правильный и какой художник самый лучший. Мы все, вероятно, на первых шагах нашего эстетического развития верили в какие-то истинные пути и абсолютные ценности. Вероятно, и Иван Абрамович вспомнил свои первые шаги в собирательстве. Как бы то ни было, он внимательно выслушивал белокурую девицу и вразумительно говорил ей о неосновательности самой постановки таких вопросов... Она, однако, не унималась.. Мы встретились с Иваном Абрамовичем глазами, крепко пожали друг другу руки, как никогда до того, и молча разошлись...

Беседы Николая Васильевича

Но я отвлекся в сторону... Впрочем, я не стану дальше распространяться о приглашенных к нам преподавателях. Все они были хорошо известны в Москве своими выдающимися дарованиями или ими впоследствии ярко выделились. Так что мне достаточно было назвать их, чтобы охарактеризовать то тщание, с каким Николай Васильевич их подобрал. Было бы интересно восстановить здесь общую программу наших с ними занятий, показать, как цвет тогдашних педагогов в Москве разрешал задачу построения курса среднего образования, когда им представился случай свободно проявить свое творчество.

Но я не чувствую себя в силах это сделать, не располагая ни старыми тетрадками, ни даже старыми учебниками. Здесь ведь потребовалось бы войти в подробности и при этом быть очень точным. Скажу только, что как в выборе преподавателей, так и в планировании занятий первенствующее значение имел сам Ни-

колай Васильевич. Он все организовал, за всем следил, брал на себя то те, то другие предметы.

В обращении Николая Васильевича с нами не было ни тени менторства или доктринерства. О чем бы он с нами ни говорил, всегда казалось, что для него сообщаемое им так же ново, свежо и интересно, как и для нас. Это особенно сказывалось в разговорах по прочитанным книгам.

Зимой много читать сверх требуемого ходом преподавания, пожалуй, не приходилось. Но зато на лето мы забирали с собой в Сутково (где с 1885 года стали ежегодно проводить каникулы летние и рождественские в гостях у Кати) целый сундук книг. Здесь читали запоем по программе, намеченной еще зимой. Прочитанное служило обыкновенно предметом непринужденных разговоров за прогулкой, за чаем или во время купания. Случалось, в беседу втягивались то П. Ф. Маевский, то Н. А. Мартынов, а иногда заходившие к нам в гости управляющий, сельская учительница или врач. Летом 1886 года, например, Николай Васильевич сам для себя читал в греческом подлиннике «Историю Пелопонесской войны» Фукидида и в немецком переводе «Историю Греции» Грота. Это давало пищу продолжавшимся значительную часть лета исключительно увлекательным разговорам о Пелопонесской войне. По мере того как Николай Васильевич продвигался в чтении Фукидида, он подробно рассказывал нам все перипетии пелопонесской трагедии, передавая при этом объяснения, какие дает событиям английский историк Грот. И что любопытно отметить, и что особенно характерно для Николая Васильевича: чтобы нам легче было следить за его рассказом, он посоветовал нам предварительно прочесть «Историю Греции» Егера, имевшуюся в русском переводе, предупредив при этом нас, что Егер освещает события греческой истории иначе, нежели английский историк. С волнением вспоминаю я даже теперь эти наши уединенные прогулки по пустынным и диким берегам Днепра в разговорах о великой трагедии греческого народа. Кругом заливные луга, дикая природа, а на горе сутковский дом с его дорическими колоннами, выражающими непрекращающуюся до наших дней эллинскую традицию.

«Скворцы»

Через Николая Васильевича значительно обновился и расширился круг наших знакомых. Мы стали бывать у Саши Чупрова, сына профессора А. И. Чупрова, и таким образом перезнакоми-

лись с семьями Чупровых и Богдановых. К Николаю Васильевичу часто заходили бывшие его университетские товарищи, его братья и его друзья. Постепенно мы перезнакомились и с ними.

В студенческие годы некоторые из них жили в номерах Скворцова на углу Воздвиженки и Моховой, где на месте воздвигнутого впоследствии страховым обществом[13] пятиэтажного здания, в котором теперь принимает просителей М. И. Калинин, тогда был двухэтажный белый дом с зеленой крышей. Рассказывали, что Скворцов, скопец, подрядчик строительных работ, соорудил себе этот дом из кирпича, наломанного при перестройке Каменного моста. По фамилии содержателя номеров его жильцы прозывались «скворцами», и самый дом шел за «скворешник». Кличка эта так укоренилась, что присвоена была всему кружку университетских товарищей Николая Васильевича, независимо от их местожительства и даже от принадлежности их к его курсу. Сюда входили три брата Сперанские – Николай Васильевич, Александр Васильевич и Сергей Васильевич, три брата Щепкины – Николай Николаевич, Евгений Николаевич, Вячеслав Николаевич, два брата Якушкины – Вячеслав Евгеньевич и Евгений Евгеньевич, Сперанский Михаил Несторович, Грузинский Алексей Евгеньевич, Любавский Матвей Кузьмич, Белкин А. С., Урусов Сергей Дмитриевич, Наумов Ф., Татаринов Ф. В. и другие.

Это были все люди недюжинные, с повышенными умственными запросами, впечатлительные, отзывчивые и нервные, чисто порусски аристократически беспечные в отношении материальных благ жизни. Большинство избрало научную деятельность. Работая каждый в своей специальности, они, сходясь вместе, всегда имели что сообщить друг другу нового и занимательного. Хотя и не все принимали участие в общественной жизни, но все были прогрессивно настроены. Для многих из них свободолюбивые традиции являлись славным наследием ряда поколений. Чтили память декабристов, западников 40-х годов, деятелей 60-х годов – эпохи великих реформ, как ее стали тогда называть. У В. Е. Якушкина в кабинете висел портрет Гарибальди. В архиве Якушкиных хранились письма и бумаги декабристов. В семье Щепкиных жили воспоминания о великом артисте, о Станкевиче и Грановском. Члены семьи этой даже погребались у могилы Грановского в полной тихой грусти чаще Пятницкого кладбища. Родители князя С. Д. Урусова были близки к семье Якушкиных, и в гимназические годы Сергей Дмитриевич жил в Ярославле в семье Якушкиных.

Брат Николая Васильевича Владимир был женат на свояченице профессора А. И. Чупрова, и сам Николай Васильевич был

своим близким человеком в семье профессора. Вообще социалист-профессор пользовался в кружке исключительным уважением. Однако большинство членов кружка было далеко от социализма. Со временем революция внесла среди скворцов некоторые расхождения в политических взглядах.

Что касается политических взглядов самого Николая Васильевича, то я имею возможность его собственными подлинными словами охарактеризовать его политическое мировоззрение, приводя нижеследующую выписку из письма его к Ольге Александровне Чупровой от 8.V.92 г.

Из письма Н. В. Сперанского к О. А. Чупровой

Париж, 8.V.92 г.

«Знаете, куда ни повернешь, все стукаешься лбом в ту же стену. Монтескье говорит: «Les pays sont riches non en raison de leur fêrtilité mais en raison de leur liberté»,* и Вы можете в эту фразу подставлять вместо слова riche** все, что угодно, – и все будет верно. Но как Вы в России будете эту вещь пропагандировать?

И что еще хуже. Суть дела не в свободной форме правления, а в свободе от правления. Вы скажете, что я заразился анархизмом Elisée Reclus***. Нет, я не стал анархистом, но признаю, что в этой утопии есть сильная сторона. Возьмите, в самом деле, историю парламентского правления во Франции, в Италии и даже в Англии за последние 25 лет. Что это такое? Недаром один из умнейших итальянских политических деятелей с горем говорил: N'est il pas étrange que dans un sciècle qui a fait de L'éclaire son serviteur, portant nôtre pensée en un instant aux extrémités de l'univers et éclairant nos rues et nos maisons, un pareil régime politique soit encore ce que nous pouvons avoir de mieux?**** Недаром со всех сторон раздаются пророчества, что 20-й век положит конец парламентаризму. Но несмотря на то, что, действительно, парламентская система – порядочный абсурд, и Франция, и Англия при ней неуклонно прогрессируют. В чем же тут суть? А вот в чем. Le régime libéral est une nécessité absolue pour toutes les nations modernes. Qui

* Процветание стран проистекает не из их природных богатств, но из их свободы (фр.).

** Здесь: процветание; riche – богатый (фр.).

*** Элизе Реклю.

**** Не странно ли, что век, который осветил наши улицы и дома и настолько просветил нас, что наши мысли в мгновение ока переносятся на край света, все еще не дал нам соответствующего наилучшего политического строя (фр.)?

ne pourra s'y accommoder périra. D'abord le régime libéral donnera aux nations qui l'ont adopté une immense supériorité sur celles qui ne pourront s'y plier. Une nation qui ne sera capable ni de la liberté de la presse, ni de la liberté de réunion, ni de la liberté politique sera certainement depassée et vaincue par les nations qui peuvent supporter de telles libertés. Ces dernières seront toujours mieux informées, plus instruites, plus serieuses, mieux gouvernées*. Суть и есть в вольности общества от правления. Парламентаризм, негодный никуда как форма правления, этим самым очень и хорош. Чем меньше правления, тем лучше. Совсем без правления никогда не обойдется людское стадо. Мало того, в руки правительства перейдут еще новые функции. Но само правительство должно сделаться не тем, что оно есть, и выпустить из рук много функций, которые оно забрало».

Конечно, друзья Николая Васильевича были много старше нас. Тем не менее мы с Сережей очень любили, когда можно было, засесть в комнате Николая Васильевича и молча слушать их всегда оживленные и содержательные разговоры. Сережа, бывало, заберется на постель Николая Васильевича, свернется там калачиком да и заснет к концу вечера под гул голосов. Заметив это, А. С. Белкин, отличавшийся громкой речью и звонким смехом, снизит голос, чтобы не разбудить мальчика.

С годами разница в возрасте сглаживалась. По окончании университета мы уже перестали чувствовать себя птенцами в их среде. Знакомство наше, а с некоторыми и близость и дружба продолжались и в отсутствии Николая Васильевича. По предложению В. Е. Якушкина, прозывавшегося в кружке «Епископом» и пользовавшегося в нем большим авторитетом, установился обычай вместе справлять университетский праздник Татьянин день 12 января[14] и день освобождения крестьян 19 февраля[15]. Собирались также по окончании летних каникул и 1 мая, а также и по другим случаям. Обыкновенно вместе обедали в «Праге» после занятий. К обществу присоединились постепенно С. О. Долгов и

* Либеральный строй – абсолютная необходимость для всех современных наций. Кто не сможет принять его – погибнет. Прежде всего либеральный строй дает нациям, которые примут его, огромные преимущества перед теми, кто не сможет к нему приспособиться. Нация, не способная ни к свободе слова, ни к свободе собраний, ни к политической свободе, будет, конечно же, обойдена и побеждена теми нациями, которые в состоянии такие свободы выдержать. Потому что они всегда будут лучше информированы, лучше образованы, более собраны и лучше управляемы (фр.).

Саша Чупров с товарищами его по гимназии С. П. Ордынским и С. А. Котляревским. Потом примкнули и ученики А. А. Чупрова – Н. В. Якушкин и Л. Н. Юровский.

Когда начались хронические волнения в университете, «праздновать» Татьяну стало как-то неловко, и мы стали собираться в эти дни у меня на квартире. Но я опять забежал много вперед.

Е. В. Пустошкин и Давыдовка

Говоря о друзьях Николая Васильевича, я опустил его бывшего ученика Ефрема Васильевича Пустошкина. Это потому, что Ефрем Васильевич жил большей частью у себя в имении Самарской губернии Николаевского уезда Давыдовке и бывал в Москве лишь наездами. Тогда он обыкновенно принимал участие в наших собраниях. Но о Пустошкиных и их Давыдовке надо сказать особо.

До нас Николай Васильевич был на кондиции, как тогда говорили, у Пустошкиных в Давыдовке. Он был приглашен туда учителем к сыну стариком Пустошкиным.

Угрюмый вдовец, по своему суровому нраву прозванный «Ханом», старик Пустошкин был человек консервативного склада, расчетливый хозяин, умный и проницательный в оценке людей. Он скоро оценил высокие качества молодого учителя и не без интереса первое время смотрел на оживление, внесенное учителем в монотонную жизнь семьи. При таком его попущении молодежь пустошкинская стала водворять в имении, державшемся крепостнических устоев, всякие культурные нововведения в пользу населения как бы контрабандой, создавая в имении своеобразный режим «просвещенного абсолютизма».

Была открыта для крестьянских детей бесплатная школа, и учительницей приглашена сестра Николая Васильевича – София Васильевна, получившая высшее образование. Для лечения крестьян была приглашена женщина-врач Анна Андреевна Котляревская, получившая медицинское образование в Швейцарии. С ней поселилась в деревне ее сестра Екатерина Андреевна, которая стала вести среди крестьян работу по распространению сельскохозяйственных и прочих усовершенствований. Она консультировала по разным юридическим вопросам, составляла мужикам прошения и разные бумаги и пр. Всему этому суждено было со временем встретить решительный отпор. Губернатор выселил Е. А. Котляревскую из пределов Николаевского уезда. А «Хан» предложил Софии Васильевне Сперанской покинуть Давыдовку,

предписав «инфанту» своему прекратить всяческие начинания «в духе маркиза Позы»[16].

Московское трио

Из зимних удовольствий того времени, кроме театра, укажу, что мы пристрастились к симфонической и камерной музыке, посещая концерты обычно с Николаем Васильевичем и Евгением Евгеньевичем. Оба они очень любили классическую музыку. Были большими почитателями Бетховена. К Чайковскому же, быстро восходившему тогда к зениту славы своей, Николай Васильевич и Евгений Евгеньевич относились резко отрицательно. Доходило до того, что на время исполнения его произведений они иногда уходили даже из концертного зала курить! Мы же с Сережей, невзирая на снисходительные улыбки наших старших друзей, при всей нашей любви к Бетховену охотно слушали и любили Чайковского.

Старушка мадемуазель Бессон, с тех пор как Катя перестала проводить зиму в Москве, оставшаяся у нас и заведовавшая нашим хозяйством, подала мысль устраивать музыкальные вечера у себя дома, пользуясь нашей великолепной в акустическом отношении маленькой залой. Это и было осуществлено при содействии профессора Гржимали.

В течение нескольких зим Д. С. Шор, Д. С. Крейн и Эрлих, в то время еще совсем молодые музыканты, образовав трио, переиграли у нас большое количество произведений классического камерного репертуара для нас и небольшого кружка наших знакомых. Это положило начало так называемому «Московскому трио», которое потом пользовалось заслуженной известностью среди московской публики и неоднократно делало турне по провинции, насаждая у нас в то время еще мало распространенную любовь к камерной музыке. Мы все особенно полюбили четвертое трио Бетховена, которое исполнялось у нас неоднократно. Как мне впоследствии вспоминал Д. С. Шор, у молодых исполнителей это трио так и прозывалось – «сабашниковским»!

Об этом отдаленном времени вспомнил Д. С. Шор по случаю 35-летия моей издательской деятельности в письме ко мне от 3.VI.26 года из Палестины, куда он уехал, чтобы участвовать в строительстве еврейского государства: «С Вашим именем неразрывно связана вся наша музыкальная деятельность, получившая начало в арбатском доме. Я навсегда сохраню глубокую признательность к Вашей семье, и воспоминание о началах нашей де-

ятельности, когда нас было «трое» и вас «трое», – одно из самых светлых».

Лето, как я уже говорил, мы обычно стали проводить в Суткове. На часть лета туда приезжали для занятий с нами П. Ф. Маевский, Н. А. Мартынов и В. К. Гильвег. Часть каникулярного времени употреблялась на поездки или путешествия.

Борщень

Так, весной 1886 года мы с Николаем Васильевичем на Пасху ездили к Нине, которая после своего замужества поселилась с мужем в небольшом имении его отца в Курской губернии. Мы в первый раз попали тогда в черноземную полосу и в первый раз имели случай познакомиться с жизнью помещиков.

Зять наш, окончивший юридический факультет Петербургского университета, был мировым судьей по выборам. Камера его находилась на самой усадьбе, в отдельном флигеле, где он несколько раз в неделю, надевая на себя цепь, знак, присвоенный званию, отправлял правосудие. С раннего утра в эти дни съезжались со всех концов участка и останавливались у коновязей подводы тяжущихся. В исключительных случаях среди них появлялся и приглашенный кем-либо адвокат. Процедура суда была короткая, отчетливая, внушавшая доверие.

Установления Александра II вошли в жизнь. Они не только не представлялись уже каким-то новшеством, но казались естественными, привычными, вросшими в быт. Молодой помещик, если, помимо забот о своем имении, он был судьей да принимал еще участие в земской жизни, оказывался довольно занятым человеком, связанным со средой, в которой жил и работал, деловыми, серьезными интересами. «Утро помещика», изображенное Л. Н. Толстым[17] в таком случае заполнялось у него отправлением служебных и общественных обязанностей, быть может, приносивших плоды более реальные, чем филантропические начинания Нехлюдова.

Что касается полевого хозяйства в имении, то оно велось по следующей нехитрой системе. Ни собственного инвентаря, ни своей запашки в имении не было. Часть земли сдавалась погодно соседним крестьянам в аренду за отработку, которая состояла в том, что они обязывались вспахать, засеять и убрать хозяйскую часть поля. Так можно было вести хозяйство без всякого капитала и уделяя ему минимум забот.

Но можно ли было ждать какого-нибудь прогресса при такой безнадежной постановке дела? Община равнялась по самому нерадивому своему члену, а помещик равнялся по общине...

Зато домашнее хозяйство, скотный двор и птицы – все это было на высоте. Живностью заведовала Мария Владимировна Евреинова, сестра Алексея Владимировича.

Сестру мы нашли окруженной в Борщне всевозможной лаской. Вся семья всячески старалась проявить невестке свою любовь, начиная со старика отца и кончая энергичной, всегда чем-нибудь озабоченной Марией Владимировной.

Владимир Иванович (отец) жил в отдельном флигеле, прикованный к креслу своему параличом ног и слепотой. При нем состояла чтица-сиделка. Как это часто бывает с долго хворающими, но сохраняющими свежесть головы людьми, Владимир Иванович очень внимательно следил по рассказам посещавших его лиц за всей окружающей его, но не видимой им жизнью. Он входил в интересы всех соседей, всегда знал, что происходило в земстве. Все борщенские гости всегда заходили побалякать к больному старику. Бывали случаи, что обращались к нему за советом.

В гостеприимном Борщне нам в эту Пасху было очень весело. Главной нашей забавой были городки. Играли запоем в обществе семинаристов, приглашенных в церковь из губернского города петь на Страстной и на Пасхе. Молодой борщенский священник, отец Захарий, только что из учителей возведенный в сан священника, смотрел, смотрел на наше веселье, да и не вытерпел – вступил в игру. В уважение сана он был освобожден от последствий проигрыша, состоявших в том, что проигравшая сторона возила победителей по выгону на своих спинах. Если он еще жив, он, вероятно, очень удивится этой запомнившейся мне мелочи из его прошлого. Со временем он стал степенным таким батюшкой, что трудно даже представить себе его играющим в городки в рясе в компании семинаристов.

Всенощная произвела на меня большое впечатление. Все было как-то хорошо. Просыпающаяся природа, торжественно настроенные люди, простодушное деревенское благолепие службы. Конечно, обрядность, быть может, и даже наверное, покрывала в самом деле весьма различные верования, в которых многое скорей было ближе к язычеству, нежели к христианству. Но это больше сознавалось, а не чувствовалось. Хотя, впрочем, был инцидент, который очень наглядно выявил это обстоятельство. Когда крестный ход на всенощной вышел из церкви, мы за ним не

пошли и остались в церкви совершенно одни. Церковный староста с жаровней горячих угольев стал обходить церковь и потребовал, чтобы мы вышли из нее, потому что мы ему мешаем выкурить беса из церкви...

На лодке в Киев

Летом того же 1886 года мы совершили плавание по Днепру из Суткова в Киев. Еще с осени мы заказали одному казимировскому крестьянину изготовить нам «челн», или «душегубку». Они делаются из отруба ствола осины, которая в местных лесах достигает очень больших размеров, нигде мной больше не встречавшихся. Ствол выдалбливается, распаривается горячей водой, растягивается по бокам. Получается, правда, утлая и не очень устойчивая на воде скорлупка – лодка, очень, впрочем, ходкая, легко скользящая по воде и легко управляемая. Челн приводится в движение с кормы единственным веслом, которое служит также вместо руля, для управления.

На таких челнах, или «душегубках», мы совершали большие поездки по Днепру и его затонам и прорвам. Весной во время разлива мы ездили по залитым водой прибрежным дубовым лесам, что является прогулкой исключительной прелести. Если дубовые леса эти еще сохранились, то любителям природы, туристам и спортсменам стоило бы заметить себе эти очаровательные прогулки, ради которых стоит специально из Москвы ездить.

Желая ехать в Киев вчетвером, мы, чтобы увеличить емкость и грузоподъемность нашего челна, приделали к бортам его еловые шилевки с каждой стороны по одной, установили уключины для обычной гребли двумя веслами. Получилась очень удобная «обшивинка», как там называют такие лодки. На ней мы совершили свое плавание в Киев, длившееся трое суток. Дорогой стреляли дичь. Обед готовили себе сами у костра на берегу. Ночевали где придется, под открытым небом.

В Киеве в те годы велась большая художественная работа по росписи Владимирского собора. Привлечены были к этому делу археолог Прахов, художники Васнецов, Нестеров, Котарбинский, Сведомский и др. Собор был еще в лесах внутри и недоступен для осмотра, а слухи о решительном отходе от традиций передвижников уже ходили в публике, возбуждая любопытство. В одно из следующих посещений Киева нам удалось проникнуть в собор и, пройдя на леса, осмотреть производившиеся работы. Помнится, в обстановке беспорядка и неоконченности, перегороженная ле-

сами, запрестольная «Богородица» Васнецова и его русские святители, равно как нестеровское «Воскресение» с голубоватыми ирисами на переднем плане, произвели на нас весьма сильное впечатление. В оконченном виде, после освящения и открытия собора, его росписи уже не производили того впечатления.

На пороги

На следующий год мы задумали спуститься по Днепру до самых порогов. С осени заказали в московском яхт-клубе лодку на четыре весла. В память павшего иноходца моего, нам всем очень полюбившегося, назвали мы лодку «Зайсан». Хотя она не была парусной конструкции, мы уговорили мастера яхт-клуба приспособить к ней небольшой парус, заверив его, что это не представляет опасности, так как лодка предназначается к плаванию по реке, где за узостью фарватера маневрировать невозможно и поневоле приходится пользоваться парусом только при попутном ветре. Это был, конечно, софизм, в чем мы должны были перед собой признаться, когда «Зайсан» наш после целого лета удачного плавания раз как-то опрокинулся вверх дном, выкинув в воду Николая Васильевича и его спутника вследствие неосмотрительного движения последнего: он нагнулся к борту за уключиной при стоячей мачте. Впрочем, так как мы держались на воде очень дисциплинированно, то это был единственный случай аварии. «Зайсан» из Москвы был по железной дороге доставлен на станцию Речицу на берегу Днепра, откуда мы пригнали лодку в Сутково сами. Из Суткова на пороги мы двинулись в следующем составе: Н. В. Сперанский, В. К. Гильвег, Е. И. Игнатьев, брат Федя, Сережа и я. До порогов ехали 8 суток. Брать пороги «Зайсаном» было нельзя. Мы поэтому отправили его обратно пароходом в Сутково. Сами же в слободе Каменке, лежащей у начала порогов и населенной лоцманами, проводившими суда через пороги, мы наняли «дуб» с четырьмя гребцами и рулевым и поплыли на нем через пороги. Теперь, с сооружением Днепростроя, вся местность эта, конечно, совершенно преобразилась, и, быть может, описание отошедшего в прошлое Днепра уже не представляет интереса.

Такое описание дано было профессором Эварницким, посетившим пороги в то же лето 1887 года, как и мы, и поместившим осенью очерк своей поездки в «Историческом вестнике». Но его не знающие меры восторги и некоторые преувеличения на нас, только что бывших на порогах, не произвели тогда впечатления.

Старый Днепр и его пороги были на самом деле очень хороши, как они были, и приукрашивания не увеличивали впечатления.

Везшие нас лоцманы, быть может, потомки запорожцев, все дюжие ребята, оказались охотниками до горилки. Время от времени они просили разрешения пристать к берегу и тогда выпивали. Заметив, что это повторяется уж слишком часто, мы, переглянувшись друг с другом, стали под разными предлогами отклонять такие приставания к берегу. Но где великороссам провести хохлов! Они тоже перемигнулись между собой, и вот рулевой с необычайной ловкостью и знанием фарватера умышленно посадил «дуб» наш на незаметный подводный камень. Наш «дуб», как на шпиле, стал вертеться среди бурлящих вод, а лоцманы наши как ни в чем не бывало достали сальца да горилку и весело закусили, поглядывая на наши смущенные искусственной этой аварией лица. Потом, покряхтев да понатужившись, они сняли «дуб» наш с камня, и мы благополучно понеслись дальше. Мы больше не решались возражать против причаливания к берегу. В конце дня разразилась гроза. Проскочив последний порог, мы при громе и молнии высадились на знаменитом острове Хортице, где вместе со стадом овец укрылись от ливня под нависшей скалой. Прождав так ночь, мы рано на рассвете добрались до города Александровска, приветливо манившего нас после бурной ночи своими беленькими домиками, крытыми красной черепицей...

Поездка на пороги через громадный живописный край, привольная жизнь робинзонами, забавные и интересные встречи и происшествия долгие годы вспоминались всеми участниками с большим удовольствием.

Поездка по Кавказу в 1888 году

В следующем году мы ездили на Кавказ: Н. В. Сперанский, Н. А. Мартынов, Сережа и я. Из Москвы выехали 6 апреля в Алупку, где провели Страстную неделю. Как сейчас помню, в Страстной Четверг мы ходили пешком на Учан-Су. После теплого, ясного, весеннего дня быстро, по-южному, без сумерек, сгустилась тьма, когда мы возвращались мимо ливадийской церкви. Шла всенощная. Читались двенадцать Евангелий. Не вмещавшиеся в церкви молящиеся стояли в парке с зажженными свечами. Кругом в благоухающих кустах раздавались трели соловьев. Природа и люди слились в один цельный пейзаж. Мы остановились... не хотелось идти дальше...

Маршрут наш по Кавказу был следующий: из Ялты пароходом в Керчь, Новороссийск, Сочи. Из Сочи поездка в Дагомыс к Пытковскому. Из Сочи лодкой в Сухум. Поездка в Маджарское ущелье. Из Сухума пароходом в Батум. Из Батума по железной дороге в Кутаис. Из Кутаиса верхом через Дзекарский перевал в Абас-Туман. Из Абас-Тумана в коляске в Тифлис. Поездка в Телав, Сигнах. По Военно-Грузинской дороге во Владикавказ. Казбек и Девдаранский ледник. Минеральные Воды. Столовая гора. Возвращение в Москву.

Сочи и поездка на Дагомыс

В первый день Пасхи, в ясную солнечную погоду наш пароход остановился у Сочи, в некотором расстоянии от берега. Нас доставили на берег в шлюпках. Высадившихся пассажиров окружили стоявшие на берегу лодочники турки, предлагая отнести багаж их в духан, находившийся тут же поблизости. Но из духана этого неслись пьяные песни и матросская ругань; нам не захотелось искать в нем прибежища. Спрошенный нами полицейский урядник объяснил, что это единственная гостиница в городе, но что нам лучше остановиться у обывателей. Он отвел нас в дом городского фельдшера, который со всей семьей на праздники уехал в горы. Ключ от наружной двери был где-то спрятан в условном месте, и урядник без всяких затруднений его достал и впустил нас в дом. В нем вся обстановка, посуда, одежда и вещи находились на своих местах как бы в присутствии хозяев. Мало того, и это нас особенно поразило, большой обеденный стол был уставлен куличами и бабами разных размеров и сортов, которые были тщательно прикрыты... одной только кисеей от мух. Очевидно, хозяева не допускали возможности, что во время их отсутствия кто-нибудь еще, кроме мух, вздумает полакомиться их заготовками. Было как-то неловко воспользоваться удобной квартирой в отсутствие хозяев, но урядник заверил нас, что здесь все так делают и никто не обижается. Притом мы ведь заплатим, когда явятся хозяева. Уговариваться о цене было не с кем. Это оставлялось на совестливости обеих сторон. Впоследствии, когда хозяева вернулись, мы убедились, что урядник нас в неловкое положение не поставил. Мы расстались со всей семьей фельдшера в наилучших отношениях.

Из Сочи мы направились на участок (горный) А. И. Барановского «Дагомыс», где в то время поселился бывший управляющий в Суткове М. И. Пытковский, с которым мы были тогда в приятельских отношениях.

Дороги, устроенной людьми, не было. Правда, в то время по всему черноморскому берегу проведено было шоссе. Но мостов на нем не было. Поэтому пользоваться шоссе этим не было возможности. Ехали мы верхом по галькам и песку морского берега, имея по правую сторону крутой обрыв гор, а по левую руку море. Так как в сухом песке ноги лошадей сильно вязли, то приходилось держаться самого края прибоя, где влажный песок бывает обыкновенно уплотнен. Иногда песчаная полоса берега суживалась, в некоторых местах даже совсем исчезала. Лошадям нашим приходилось тогда ступать, погружая ноги в воду. Ручейки и речки брали вброд. Речная вода, окрашенная в желтый цвет взвешенным в ней песком, длинным языком врывалась в темно-синее море, производя сильное волнение. Когда лошадь, перед тем как ступить, осторожно нащупывала копытом, куда установить ногу, я невольно измерял мысленно, как далеко «в случае чего» отнесет тебя течением в море и какую длинную дугу придется тогда проплыть, чтобы вернуться на берег. Это возбуждало. Было красиво, величественно, дико.

Наконец мы свернули в долину «Дагомыса», имение великого князя. Широкая долина, упираясь в море, с обеих сторон обрамлена пологими, покрытыми лесом, холмами, а в верхнем своем конце замыкается конусообразным ярко-зеленым выступом водораздела двух, образующих Дагомыс, горных речек. На этом холме – белый дом управляющего имением великого князя с большой открытой террасой, господствующий над всей долиной. После продолжительного шагания по галькам и сыпучему песку наши кони обрадовались твердой дороге, и мы рысью понеслись к гостеприимному домику, едва удерживая их.

Из писем Пытковского мы знали, что в имении великого князя надо у управляющего расспросить про дорогу на участок Александра Ивановича. Кроме фамилии управляющего – Успенский, мы ничего другого о нем не знали. Напротив, сам Успенский и его супруга, как оказалось, были хорошо наслышаны о нас всех по рассказам Пытковского. Они давно уже ждали нашего приезда и встретили как старых, хороших знакомых. Успенский вызвался сам проводить нас к Пытковскому на участок, а жена его засадила нас чай пить и закусить, пока мужу седлали лошадь и он отдавал распоряжения по хозяйству. Супруги сразу заявили, что не пустят нас дальше, не накормив, так как к хозяйству Пытковского и его возможности накормить пятерых неожиданно прибывших гостей они относились весьма скептически.

Тронувшись затем в путь, мы убедились, что без Успенского, конечно, не нашли бы дороги, как бы подробно он ее нам ни описал. Ехать приходилось лесной чащей, в горах, без всякой видимой дороги. Иногда мы попадали на старые, покинутые чеченцами горные тропы для вьючных животных, очень искусно проложенные горцами. Но в последнюю войну 1878 года все мусульмане бросили свои аулы, сады и имущество и ушли в Турцию. Покинутые жилища, никем не занятые, развалились и при благодатном климате черноморского берега проросли за истекшие годы толстыми даже деревьями; дороги поосыпались и тоже заросли могучей южной растительностью; про сады и говорить нечего: культурные деревья одичали. Цепкие ползучие лианы переплели гущу леса, через который нам приходилось двигаться, колючки впивались в наши бурки, прокалывали сапоги, и, чтобы вырваться из этих объятий, не раз приходилось прибегать к помощи кинжала. Поездка была в высшей степени интересна. Мы видели яркую картину опустошения и разорения, произведенного войной. Населенный край опустел и заглох. Где мирно жили некогда люди, разросся дикий лес, в котором в пору было жить только диким животным. Край ждал новых поселенцев, но они притекали что-то очень медленно...

Наконец мы добрались до одного из таких поселенцев – до Пытковского. Но что же мы нашли! Трудно было себе представить, как мог жить в такой обстановке человек образованный, имеющий полную возможность во всякую минуту покинуть такое житие и вернуться в общество культурных людей. К ветвям векового громадного дерева прислонены были жерди и сучья, образуя собой как бы конусообразный шалаш. От дождя и снега прикрытием преимущественно служила густая листва дерева, под которым приютилось это жилище. Печки не было. Огонь разводился у входа. Для согревания, впрочем, больше надеялись на коз, которых в зимнюю стужу загоняли в шалаш. Их было пять или шесть. Пропитание добывалось охотой и сборами плодов в одичавших садах. Пытковский был не совсем одинок. Мы застали у него имеретина, с которым они вместе охотились и сообща приступали к сооружению так называемого «дома». Пока на месте этой будущей постройки были врыты лишь столбы. Из любезности к хозяину мы с наступлением ночи легли на ночлег между этими столбами, под открытым звездным небом, воображая себе, как будет отрадно и уютно в этом будущем доме. Даже Николай Авенирович Мартынов, опасавшийся простуды, не решился ночевать в шалаше, насквозь пропахшем козьим пометом.

Утром мы все вместе с Пытковским спустились к Успенским, у которых прогостили еще сутки.

Вспоминается мне теплый, ясный вечер, проведенный на террасе Успенских. Подошел сосед их, брат московского музыкального критика Кишкин, как и сам Успенский, променявший север на юг из-за слабости легких. Заброшенным в кавказское захолустье хотелось повидать гостей с родного запретного севера, послушать столичные новости, узнать, наконец, те общественные и политические веяния, о которых в газетах и журналах не пишут. Николай Васильевич, по близости своей с А. И. Чупровым и причастности к кружку «Русских ведомостей», мог удовлетворить общее любопытство. Уже стемнело, когда разговор сошел на толстовское движение. На черноморском берегу селились целые колонии опростившихся интеллигентов. Их идеальные искания и практические неудачи возбуждали живой интерес в Успенском. Его жена, молодая, деятельная и не лишенная юмора, задорно вызывала М. И. Пытковского на обсуждение движения, но он старался отмалчиваться, а когда и выступал в защиту движения толстовцев, то это звучало очень слабо...

Из Сочи в Сухум

Далеко не все бывающие на Кавказе и в Крыму пользуются случаем для поездок на лодке по морю. Между тем при удаче это может доставить большое удовольствие. Мы сделали такой переезд на турецкой фелюге из Сочи в Сухум. Эти турки жили рыболовством и охотой за дельфинами, возили пассажиров с прибывающих пароходов на берег и обратно; быть может, некоторые из них занимались и контрабандой: так, по крайней мере, говорили о них. Они были вооружены, что, впрочем, имело свое оправдание в том, что дельфинов они стреляли из ружей. Пришлось два дня ждать благоприятной погоды. Лодочники нас предупредили, что ветер может перемениться внезапно и что надо быть готовым, чтобы тогда тронуться в путь немедленно. Мы поэтому никуда не уходили, а занимались поблизости рисованием. Сережа нарисовал акварелью портрет одного из наших лодочников с красным, как вареный рак, лицом, глазами навыкат, страшными белками, в синей куртке и синих штанах, с желтым башлыком, который он очень живописно накручивал вокруг своей фески, оставляя сзади болтаться два неравных конца башлыка. Мы кончали обед, когда к нам пришел турок сказать, что ветер попутный и надо трогаться. Забрав вещи, мы поспешили к морю. Фелюга, до обеда

лежавшая на прибрежном песке вверх дном, была уже спущена и стояла саженях в трех от берега с поднятой уже мачтой. Турки тотчас, как мы подошли, перенесли в лодку по воде сначала наши вещи, а затем и нас самих, прежде чем мы успели что-либо возразить. Подняли якорь. Поднятый парус сначала безжизненно повис, затем, не надуваясь, как-то выпрямился и затих. Никакого ветра не было заметно. За бортом слышно было всплескивание волн. Мы как будто совсем не двигались. Однако через некоторое время мы были уже довольно далеко от берега. Все стало как-то белесовато – и море, и берег. Неожиданно раздался выстрел над самым ухом. Турок застрелил дельфина. Его взяли на борт и распотрошили. Распространилось отвратительное зловоние. Оно вскоре, впрочем, перестало чувствоваться, когда работа над дельфином была окончена, отбросы выкинуты за борт, а ценное спущено в трюм. Без сумерек подкралась южная ночь. Очертания берегов стали неясны. Море, на наше счастье, фосфоресцировало. Маленькие, разбивающиеся о борт волны, казалось, покрыты каким-то блеском. Каждая капля, падавшая со смоченной в море руки, казалась жемчужиной. Мы просидели, любуясь, всю ночь. Заснули лишь перед рассветом. Солнце начинало палить, когда мы въезжали в Сухумскую бухту...

Дзекарский перевал

Не совсем обычен был также наш переезд верхом из Кутаиса в Абас-Туман через Дзекарский перевал. Эту дорогу описал Григорий Аветович Джаншиев в очерке «Перл Кавказа». По хорошему шоссе летом ее легко сделать в рессорном экипаже. Так договорились и мы с извозчиком в Кутаисе. Однако утром вместо экипажа нам подали верховых лошадей. Проводник объяснил, что в горах еще держится снег и в фаэтоне будет неудобно. Такой перемене мы не придали значения, так как охотно ездили верхом.

Через некоторое время мы наехали на омнибус, который при переезде ручья вброд застрял в русле ручья. Лошади были отпряжены. Пассажиры каким-то образом выбрались на берег, кроме одного, который выглядывал то в одно окно омнибуса, то в другое, но никак не решался войти в воду, несмотря на все уговоры товарищей на берегу. Сцена в достаточной степени комичная. Но финал мог быть трагический, так как омнибус водой постепенно сносился к обрыву...

Для нас эта сцена предвещала немало приключений. В самом деле, в горах мосты оказались разрушенными, полотно шоссе во

многих местах смыто, в других – завалено сорвавшимися сверху глыбами, камнями и деревьями. Туман! Принужденные ехать ввиду состояния дороги гуськом, каждый из нас видел перед собой только ближайшую к нему лошадь, так как следующая впереди уже скрывалась туманом. Вода журчала повсюду, белые струи водопадов, с шумом несшихся с гор в ущелье, казалось, падали из облака в облако, так как из-за тумана не видно было ни начала, ни конца. Ночь застала нас еще внизу ущелья, и мы переночевали у дровосеков.

На следующий день наши заморившиеся накануне кони стали приуставать. Лошадь проводника, выбившуюся из сил, пришлось оставить на дороге. Мне с Николаем Васильевичем и проводником решено было идти пешком, а на лошадей наших сложили все наши тюки. Но через несколько часов новое осложнение: снег, дорога занесена, некоторые проложенные в снегу следы расходятся в разные стороны. Куда держать путь, не видно. Наш проводник окончательно растерялся. «Там лежит большой белый, я забыл его русскую фамилию», – сказал он мне, когда первый заметил сугробы снега впереди, и, по-видимому, считал это достаточным основанием, чтобы дальше не двигаться. Положение складывалось неладно. Приближался конец дня. Лошади, да и мы сами порядком устали. Что делать? Ночевать в снегу? Идти назад? Искать путь в снегу? Но в горах все воспринимается как-то просто! Мы решили продвигаться вперед по снегу, без проводника, разбившись на две группы, все время постоянно перекликаясь, чтобы не потерять друг друга в тумане. Через некоторое время мы набрели на следы шоссе, а поднявшись еще немного, добрались наконец до шалаша, построенного на самом высоком месте перевала. В нем лежали три путника. Увидев нас, они, не вставая, стали просить поесть. Они оголодали и в изнеможении легли в шалаше, не имея сил продолжать путь, хотя здесь совсем недалеко впереди уже начинался спуск к Абас-Туману. Мы тоже присели. Отдали им провизию свою, подкрепившись сами, и поспешили двинуться дальше, чтобы не быть застигнутыми ночью в снегах. Тут опять вышло затруднение. Уставший от путешествия по сугробам Н. А. Мартынов никак не может взобраться на свою лошадь. Я берусь ему помочь, но на меня находит припадок неудержимого дикого смеха, при котором я совершенно не могу сделать нужного напряжения. Мой смех заражает пришедших было мне на помощь Сережу и проводника, раскаявшегося и нагнавшего нас у шалаша. Еле-еле все устроилось.

Было совсем темно, когда далеко внизу манить нас стали огни Абас-Тумана. Мы добрались до него глубокой ночью.

*Во время путешествия нашего по Кавказу мы имели несколько интересных встреч. В Сухуми мы нашли М. Е. Богданова, члена товарищества и редакции «Русских ведомостей», с которым в дальнейшем нашем пути мы почти не расставались.

В Тифлисе мы сошлись с художником Григорием Федоровичем Ярцевым и его товарищем по рисованию и спутником Булочкиным. Григорий Федорович был тогда в полосе увлечения живописью. Его картины (пейзажи маслом) имели успех на последней выставке, некоторые были куплены государыней; казалось, он нашел свое истинное призвание, работал без устали и с увлечением. Мы целой гурьбой – Ярцев, Булочкин, Мартынов, Сережа и я – стали ходить по Тифлису и его окраинам, рисуя с натуры живописные закоулки, кущи зелени, вьючных мулов с их корзинами и мальчишками-погонщиками, громадных буйволов, впряженных в неуклюжие двуколки, сцены майдана, берег Куры и товарные склады караван-сарая.

Обыкновенно вместе и обедали в обществе не рисовавшего Николая Васильевича. Вечером вместе же пили чай или в номере Николая Авенировича Мартынова, или в столовой гостиницы. К нам нередко вечером заходили товарищ Николая Васильевича князь Грузинский, постоянно живший в Тифлисе и рассказывавший много красочных историй из жизни края, и уроженка Кавказа, Нина Аветовна Джаншиева, сестра известного московского юриста и публициста, устроившая всей нашей компании под ее водительством очень занимательную и приятную поездку в Телавский и Сигнахский уезды для ознакомления с виноградарством и виноделием, процветавшими в этой местности.

Иногда разговор приобретал такой интерес, что, несмотря на усталость от дневных экскурсий и раннего вставания, мы засиживались далеко за полночь. Раз как-то Григорий Федорович купил в газетном киоске томик рассказов Всеволода Гаршина, что дало повод заговорить об этом писателе, от которого так много ожидали и который так трагически незадолго перед тем погиб. Николай Васильевич был в тот вечер в ударе. Он, разговорившись, сделал очень интересный анализ известного рассказа «Художники». (Помнится, он кончил указанием глубокой психологической неизбежности для одного из героев рассказа бросить живопись при том направлении, какое приняли его настроения. «Не смог же Ярошенко, – иллюстрировал свою мысль Николай Васильевич, – в картине своей «Кочегар» передать всю сложность со-

циальных отношений, воплощаемых в этом кочегаре».) Николай Васильевич говорил так содержательно, что сидевшие за соседним столиком незнакомые нам посетители потихоньку придвинули к нам свои стулья, чтобы не уронить чего-либо из беседы**.

Поездка за границу 1889 года

Летом 1889 года мы – Н. В. Сперанский, Сережа и я – сделали свой первый выезд за границу. До Вены мы ехали с Максимилианом Исидоровичем Берлинерблау, молодым врачом, женихом сестры Николая Васильевича, кончавшей тогда за границей медицинский факультет. Мы в Вене были даже на их бракосочетании, в русской церкви. Николай Васильевич и я – в качестве шаферов и свидетелей, Сережа же единственной своей персоной исполнял роль молящейся публики.

М. И. Берлинерблау был сыном богатого польского еврея. Получил образование в русской гимназии и Варшавском университете. Он всецело отдался господствовавшему среди русской молодежи того времени народническому народолюбию. Решив сделаться земским врачом, он отказался в пользу братьев от участия в отцовском, весьма солидном наследстве и всю затем жизнь свою действительно проработал в русской деревне, живя на скромное жалованье земского врача. Сначала супруги Берлинерблау служили в земской больнице в Бобровском уезде. Впоследствии Максимилиан Исидорович перевелся в Московскую губернию, куда губернское земство с председателем управы Д. Н. Шиповым во главе стягивало все выдающиеся силы. Многие годы Максимилиан Исидорович состоял старшим врачом соматической** лечебницы при психиатрической больнице в Мещерском. В этот период он стал бывать в Москве на заседаниях губернского врачебного совета, обычно останавливаясь у Якушкиных, с которыми очень сдружился. По близости Мещерского к Москве и мы время от времени стали его навещать там. Располагая хорошей квартирой в мещерской лечебнице и будучи человеком общительным, Максимилиан Исидорович всегда был рад видеть у себя гостей из Москвы. Это был основательно медицински образованный земский врач, преданный своему делу, пользовавшийся большой популярностью в населении и авторитетом в земстве. «Очень нужный уж

* Текст, отмеченный звездочками (*...*), в рукописи отсутствует; восстановлен по черновику.

** Соматический – телесный (от греч.: soma – тело); больница для лечения не психических, а телесных болезней у душевнобольных.

человек-то!» – сетовали как-то крестьянки во время его болезни. Но все это произошло впоследствии. Возвращаюсь к 1889 году.

В Вене мы пробыли только несколько дней и осели затем на шесть недель в Лозанне, где стали брать уроки французского языка у м. Сансин, делая время от времени прогулки в окрестностях.

Памятно мне восхождение на Dent du Midi*. Ночевка в пустынном шале на сухих ветках, заготовленных на зиму для топки. Особенно памятен спуск на следующий день. Лесник, встретившийся нам при спуске, предложил нам сделать с ним тур по его участку, что задержало нас в горах, и мы застигнуты были ночью еще на порядочной высоте и на очень крутом спуске. Посидев немного и дождавшись восхода луны, мы продолжали спуск при лунном освещении, предводительствуемые лесником. В рейтузах, с пером в шляпе и длинным альпенштоком в руках, длинноногий лесник, поражавший нас днем своими гигантскими шагами, шел теперь впереди всех очень медленно, перед каждым шагом нащупывая палкой, куда ставить ногу, и время от времени восклицая: «Attention!»** Мы шли за ним гуськом, с теми же осторожностями, стараясь ступать так, чтобы из-под ноги не сорвался камень и не ушиб впереди идущих. Спуск поглощал все внимание, а между тем лунная ночь в горах, среди сосен была великолепна.

В Лозанне мы познакомились с Н. И. Жуковским, старым русским эмигрантом, другом Герцена. Мы стали с ним читать по истории французской революции. Он охотно и много рассказывал про старую эмиграцию и про Герцена, память которого высоко чтил. Раз как-то Жук (так звали его в эмигрантских кругах) в споре по какому-то политическому вопросу указал Герцену на невозможность осуществления какого-то его предложения. На это Герцен ответил: «История движется по диагонали. Чтобы диагональ эта получила желательное нам направление, мы должны изо всех сил тянуть в свою сторону!»

Помнится, у меня закрались сомнения в безусловную верность этого положения. Ведь каждая слагаемая параллелограмма сил разлагается на силу, действующую в направлении результирующей диагонали, и на другую – в направлении ей перпендикулярном. Последняя создает только трения, разрывая «колесницу истории» и не давая полезного действия. Не продуктивнее ли тянуть в направлении, осуществляемом историей?

* Dent du Midi (фр.) – пик (3260 м) в Альпах, к юго-востоку от Женевского озера.

**Внимание! (фр.).

Прожив полтора месяца в Швейцарии, мы направились в Париж, где в том году была Всемирная выставка, приуроченная к празднованию столетия Великой французской революции. Со всего света нахлынувшая на выставку публика наводнила Париж. Сыновья Жуковского, студенты Ecole de Mines*, по просьбе отца с трудом нашли и задержали для нас комнаты в Hôtel de Mines на Boulevard de St. Michel, против их школы. Мы погрузились, таким образом, в Латинский квартал, средоточие ученого люда, студенчества, интеллигенции, где держались и русские эмигранты.

Гостиница наша занимала дом в 5 этажей, с витой лестницей, с каждой площадки которой шел коридорчик с 7-8 комнатами. Коридорчик был очень узок, чисто щель какая-то, в которой двум тучным людям было бы трудно разминуться. Мне всегда мерещились крысы, когда я по нему проходил. Комнаты имели громадные двуспальные кровати с балдахинами и занавесками, совсем как на старых гравюрах. Ни коридор, ни лестница не освещались. Уходя из дома, надо было оставлять внизу у швейцара свою свечку. Вечером, при возвращении домой, в парадную дверь надо было стучаться привешенным к двери в виде ручки кольцом и кричать швейцару: «Cordon, s'il vous plait!»** Швейцар, не вставая с постели, дергал шнур, дверь отворялась, и мы проникали в совершенно темную переднюю. Зажегши спичку, надо было найти и засветить свою свечку и, перед тем как подниматься по лестнице, отчетливо назвать свою фамилию. В противном случае швейцар выскакивал из своей постели и в одном белье бросался вдогонку вошедшему, чтобы удостовериться, кого он впустил. Такой порядок был в большинстве домов в Париже в то время.

Рано по утрам нас поднимали с постели пронзительные, нараспев, выкрики уличных продавцов всякой снеди. Днем их сменяли газетчики, вопившие названия последней, только что вышедшей газеты. Они в Париже выходят в разные часы на протяжении всего дня. Вечером до поздней ночи раздавались хохот и песни бродивших по улице студентов.

Утром мы обыкновенно пересекали пешком Люксембургский сад, с раннего утра кишевший играющей здесь детской мелюзгой. Минуя затем Дворец и театр Одеон с его аркадами, под которыми любители чтения стоя перелистывают разложенные букинистами

* Ecole de Mines (фр.) – учебное заведение, готовившее специалистов геологического и горнорудного профиля. Отсюда и название гостиницы.

** Cordon, s'il vous plait! (фр.) – Отворите, пожалуйста! Фр. идиома; букв.: «Шнурок, пожалуйста!»

книги, мы устраивались пить кофе в Cafe Voltaire. Впоследствии, когда Николай Васильевич поселился в Париже и мы его там навещали, мы не раз обедали в этом простом, но уютном ресторанчике, вместе с Lefrançais*и супругами Ely Reclus**, слушая рассказы их о Парижской Коммуне и о старой Франции, тогда как за соседним столом публика, окончив обед, затевала на весь вечер игру в домино. Но в 1889 году мы спешили как можно больше осмотреть и за утренним кофе не рассиживались. Направляясь к центру, мы обыкновенно у Cafe Voltaire садились в омнибус Batignoles-Clichy, взбираясь наверх на империал***, чтобы наблюдать уличное движение.

Мужчины помогают незнакомым дамам взойти. Если с дамой ребенок, или у нее цветок, или даже просто пакет в руках, это предлог, чтобы соседу завязать с ней разговор, конечно, совершенно незначащий, но как бы обязательный, для ради любезности. Среди громады теснящихся домов кучер ловко управляет четверкой и быстро продвигается со своим омнибусом по узким улицам, не задевая многочисленных, снующих во все стороны прохожих. Праздных людей не видно. Все, на вид по крайней мере, довольны.

Через несколько минут проезжаем небольшую, погруженную среди высоких домов, как на дно колодца, площадь, на которую выходит неуклюжий фасад церкви St. Sulpice**** с двумя круглыми, неравной высоты башнями. Среди публики на площади много духовных лиц. На площади и в переулках, к ней примыкающих, роскошные магазины и скромные лавки, торгующие предметами культа. Меня поражает обилие бездарных, ярко выкрашенных статуй, исполняющих у католиков назначение икон. На стенах большие объявления о церковных службах и о продаже богослужебных предметов, совершенно сходные с афишами о театральных и цирковых зрелищах. Модернизм в религии, которая в наш век, казалось, держится только по инерции. А в двух-трех шагах от этого иезуитского базара памятник Вольтеру, этому величайшему воспитаннику иезуитов и их злейшему врагу. Мировой город вмещает в себе самые жестокие противоречия.

Но мы уже на берегу Сены. Это уже парадный Париж. Париж средневековья и Париж последнего крика моды, в год выставки наводненный приезжими иностранцами. Набережная Сены, со-

---

* Г. Лефрансе.

** Эли Реклю.

*** Верхняя часть конки или омнибуса.

**** Церковь Сен-Сюльпис.

бор Парижской богоматери, Дворец юстиции, Луврский музей, большие магазины луврские, величайшая притягательная сила для дам, Опера, Большие Бульвары, прекрасная площадь Согласия и красующиеся на ней здания, наконец Выставка и Эйфелева башня. Все это надо посетить, и не один раз. На это уходят все наши дни. Обедаем где придется, обычно в каком-нибудь из раскиданных по всему городу ресторанов Дюваля.

14 июля, годовщина падения Бастилии, национальный праздник, кульминационный пункт всех юбилейных революционных торжеств. Вечером город иллюминирован. Все население от мала до велика высыпало на улицу. Женщины с грудными детьми. Отцы семейств с ребятами на руках, старики, старухи и маленькие дети, ну и, конечно, вся молодежь! Движение экипажей прекращено. Публика циркулирует по всему городу, любуясь иллюминацией. Тут же, посреди улицы, на мостовой танцуют. В вежливой, приветливой, веселой толпе нет давки, не слышно недовольного голоса. Ребенок мог один пробираться между взрослыми, и не было страшно, что его толкнут или задавят.

Мне кажется, Париж в дни юбилейной выставки представлял собой нечто совершенно исключительное. Люди нашего поколения, думается мне, не имели другого случая видеть такого разлитого кругом, уверенного, испытанного и, казалось, прочного довольства. Целую нацию, беззаботно веселящуюся, не вспоминающую прошлых бед и не задумывающуюся о будущем. «В самом деле! – подводили тогда итоги газеты. – Разгром 1871-го изжит[18]. Колоссальная контрибуция, наложенная Бисмарком, покрыта полностью. Страна ею не разорена, но благоденствует, богата, как никогда. Великая революция была сто лет назад, и новой, к счастью, не предвидится».

Конечно, были признаки, которые давали повод для беспокойства. Германия, победившая 18 лет тому назад, получившая колоссальную контрибуцию и две цветущих провинции, отнюдь не казалась удовлетворенной и миролюбивой. С беспокойством наблюдая возрождение соседки, она недвусмысленно, завистливо бойкотировала выставку. В свою очередь, и в Париже на площади Согласия, у подножия статуй, олицетворявших отторгнутые провинции – Эльзас и Лотарингию, – свежие венки с траурными лентами свидетельствовали, что не могут патриоты помириться с этой потерей. Генерал Буланже, игравший долгое время в две руки и с радикалами, и с монархистами и сошедший с политического горизонта лишь незадолго до открытия выставки, тоже

свидетельствовал собой, что уж не все так безусловно в порядке во внутренних делах Франции.

На эти темы был у Николая Васильевича разговор с Лавровым, с которым свел нас Жуковский. Встреча состоялась в небольшой столовой типа «домашних обедов» на Boulevard St. Michel, где Лавров имел обыкновение обедать. Седой как лунь, в чесучовой паре, ветеран русской эмиграции, несмотря на многолетнее пребывание за границей, сохранил в неприкосновенности русский облик. Жуковский, державший себя, напротив, парижанином, помнится, в конце беседы патетическим жестом указал в открытое окно на слова, большими буквами написанные на противоположной стене: Liberté – Egalité – Fraternité*, и, как бы резюмируя разговор, воскликнул: «Свобода достигнута, братство – это увлечение революции, его нельзя добиваться политическими мерами, равенство стоит на очереди и из-за него будет борьба...»

Накануне отъезда из Парижа мы посетили в последний раз Notre Dame** и взобрались на крышу собора, что надо сделать всякому, кто попадет в Париж. Мы очутились среди изваянных из камня средневековыми художниками чудовищ, выразительных чертей, задумчивых сов, невиданных животных со взорами, устремленными на лежащий внизу дивный город. Создание веков, он рос и возвышался стихийно органически, вмещая в себе отлично ужившиеся рядом памятники глубокой старины и сооружения Нового времени – от Notre Dame до Tour d'Eifel. Живой организм высшего порядка с далеким прошлым и неведомым будущим. Произведенная при Наполеоне III реконструкция не стерла с него печати историчности. Разбросанные повсюду сооружения различных эпох дают какую-то перспективу в глубь времен. Кто в них разбирается, тот помимо восприятий красочных и пластичных ощущает город еще в его четвертом измерении. Этого я нигде, кроме Парижа, а затем Москвы, не встречал. В Риме между древним и новым миром был разрыв, отсюда развалины, Лондона я не видел. Прекрасная Вена сильно обновлена. Париж открыл мне глаза на Москву.

Уезжая из Парижа, каждый из нас мечтал еще сюда вернуться. Только последующие посещения дали мне понятие о многогранности Парижа.

Я знавал дам, ежегодно ездивших в Париж и большую часть времени проводивших в его блестящих магазинах и у модных

* Свобода – Равенство – Братство (фр.).

** Собор Парижской Богоматери (фр.).

портных. Другие мои знакомые, среди них даже французы, годы проведшие в Париже, ни разу не посетили эти места. Для нас Париж всегда оставался привлекательным своей общественной и политической жизнью, научными учреждениями, музеями, галереями, выставками, театрами и концертами. Что же касается аттракционов вроде Moulin Rouge, Chat Noire, Cabaret du néant* и проч. и проч., то без аффектации должен признаться, что, сколько раз я ни бывал в Париже, мне ни разу не случалось попадать в эти кабаки. Не потому, чтобы я ими брезгал, а просто потому что в Париже всегда так было много глубоко волновавшего и интересного, что у меня просто не хватало времени, чтобы терять его на посещение увеселений этих, рассчитанных преимущественно на привлечение шалопаев со всего света.

Отъезд Николая Васильевича

Курс средней школы был пройден. Николай Васильевич решил ехать за границу поработать в архивах и библиотеках над историей школы в Западной Европе, давно уже приковывавшей к себе его внимание. Пять с лишком лет прожили мы вместе и близко сошлись. С отъездом Николая Васильевича у нас с ним постоянно происходил деятельный обмен писем. Мы, кроме того, периодически навещали его за границей. Ежегодно и он наезжал в Россию, останавливаясь всегда у нас. Во всех случаях жизни, и радостных, и горестных, мы всегда твердо могли рассчитывать друг на друга.

С отъездом Николая Васильевича мы с Сережей остались одни в громадном арбатском доме. «Два брата с Арбата», – иронизировал, бывало, наш зять Алексей Владимирович Евреинов над нами, а заодно и над московской привычкой обозначать людей по улице, на которой живут: Сабашниковы Арбатские, Никитские, Левшинские.

Сдача «зрелости»

Для поступления в университет надо было сдать при какой-нибудь классической гимназии выпускной экзамен, так называемый экзамен зрелости. Экстерны, т. е. не учившиеся в гимназии лица, допускались к этим экзаменам лишь в виде исключения. Я, например, в гимназии, при которой держал, был единственным

* Moulin Rouge («Красная мельница»), Chat Noire («Черный кот») – широко известные французские кабаре.

экстерном. Округ[19] относился к экстернам подозрительно. «Пусть они даже лучше гимназистов знают курс, мы-то их не знаем», – рассуждали руководители народного просвещения. Приходилось поэтому смотреть в оба, чтобы не срезаться на каком-нибудь пустяке. Особенно надо было быть настороже с Законом Божиим, которого мы последние годы совсем не касались. Недостаточно было «назубок» заучить курс Ветхого и Нового завета, Катехизис, историю церкви, богослужение, надо было еще отвечать, выражаясь приличествующим предмету стилем.

Люди, считающие себя обладателями истины и имеющие власть навязывать свои убеждения другим, не довольствуются внедрением в умы своего учения. Они ревнивы и по мере усиления своего влияния начинают придавать значение отдельным выражениям, словам и оборотам речи. А так как среди исполнителей их велений преобладают в действительности люди индифферентные, лишь держащие курс по ветру, то ханжество в той или иной степени начинает задавать тон.

Подготовить нас к экзамену Закона Божия взялся священник храма Христа Спасителя отец Иванцов, брат известного настоятеля церкви Александровского кадетского корпуса Иванцова-Платонова, почитаемого в Москве пастыря, и дядя радикально настроенного биолога Н. А. Иванцова, переводчика Спинозы и других авторов. Наш образованный и умный законоучитель пытался совместить, в сущности, несовместимое – быть на уровне либеральных веяний века и совершать карьеру священнослужителя в годы победоносцевской реакции! Занятия, впрочем, у нас хорошо наладились. Случился только один характерный инцидент, чуть было не поведший к разрыву.

Надо сказать, что мы получали толстые журналы, в том числе и «Вестник Европы». В одном из номеров его появилась повесть Лескова «Полуношники»[20], представлявшая лишь слабо замаскированную сатиру на Иоанна Кронштадтского, его поклонниц и почитателей. Содержащий эту повесть журнал был подан почтальоном перед самым уроком Закона Божия. Не подозревая таившегося в книге яда, мы ее перелистывали, когда вошел батюшка. Красная обложка журнала сразу привела в кипение нашего законоучителя, уже успевшего познакомиться с пасквилем Лескова и вообразившего, что мы нарочно выложили перед ним возмутительную книгу. Обозленный, он захотел перед уроком помолиться и только сейчас, после целого ряда пройденных уроков, заметил, что в классной комнате, о ужас! нет иконы! «Вы, может быть, и крестов на теле не носите?!» – риторически, как он думал,

вопросил батюшка и получил ответ, что, действительно, не носим. Пошел дальнейший опрос: ходим ли к обедне, когда исповедовались и причащались и прочее? Весь урок прошел в наставлениях, какие соблюдать требования благочестия. Мы почитали дипломатические отношения окончательно прерванными, тем более что не имели желания «ставить свечи», «вынимать просфоры» и производить другие обряды, предписанные рассерженным пастырем нашим.

Вечером, прочитав «Полунощников», которых батюшка в беседе с нами тактично совершенно не коснулся, мы поняли его обиду. На следующий урок по нашей просьбе явился Е. Н. Щепкин и договорился с законоучителем нашим, чтобы он ограничился прохождением с нами программы, не заботясь о спасении наших душ.

Экзамен зрелости был экзаменом не только учащихся, но и преподавателей. Начальство по результатам этих экзаменов судило о деятельности учителей и соответственно с этим продвигало их по службе, награждало и проч. Поэтому нервничали экзаменующиеся, но не менее их нервничали и экзаменующие. Обстановка еще усиливала общее напряжение. Письменные работы происходили в актовом зале. Ученики, чтобы друг у друга не списывали, размещались по отдельным столикам, расставленным в шахматном порядке, с широкими промежутками. В проходах ходили учителя. В уборную можно было выходить только поодиночке в сопровождении служителя. Задачи или темы для сочинения составлялись в округе и присылались в гимназию в запечатанных конвертах. Конверт торжественно вскрывался в присутствии всех в начале экзамена. Таким образом, ни ученики, ни учителя не имели возможности вперед узнать, в чем будет состоять письменный экзамен. Недаром прошедшие в юности этот искус под старость признавались, что при дурном настроении им снится экзамен зрелости...

* Сбывши с плеч экзамен зрелости, я почувствовал себя свободным, как никогда. Ничего в жизни не было предопределено, и, казалось, передо мной открыты были самые разнообразные возможности. Это состояние было и необыкновенно и приятно. Не хотелось его чем-либо нарушать. Так интересно было обсуждать разные пути деятельности, не принимая, однако, окончательных решений и ничем себя наперед не связывая. Конечно, так могло продолжаться очень недолго, но лето 1892 года по крайней мере я провел в таких настроениях.

Непосредственно после окончания экзамена зрелости я с Евгением Евгеньевичем Якушкиным проехался на пароходе по Волге из Нижнего в Ярославль, где тогда жил отец Евгения Евгеньевича, престарелый Евгений Иванович. Евгений Евгеньевич хорошо знал свой Ярославль и любил его, и мы с ним любовно осмотрели этот замечательный город.

Для человека со стороны всегда, вероятно, будет оставаться неразрешимой загадкой, как могло в этом заброшенном в лесные дебри оазисе расцвести такое самобытное, изысканное, высокого стиля искусство, при низком уровне культуры кругом в стране. Но что непостижимо для постороннего человека, то, по-видимому, казалось вполне естественным для исполненного любви к своему Ярославлю Евгения Евгеньевича.

Затем, само собой разумеется, меня потянуло к сестре Кате в Сутково и к Николаю Васильевичу Сперанскому в Париж. Ведь им я был обязан постановкой своего среднего образования.

На пути с Волги на Днепр в Сутково я в Москве записался в университет на естественное отделение физико-математического факультета. Затем я провел у Кати в Суткове значительную часть лета. Тут я разобрал уже давно купленную, но за недосугом не рассмотренную мною книгу Аристотеля о государственном устройстве[21] (издание греческого текста с немецким переводом en regard*), и, подготовляясь к предстоящему слушанию в университете Тимирязева и Мензбира, прочел «Происхождение видов» Дарвина, «Естественный отбор» Уоллеса и «Трактат о народонаселении» Мальтуса.

Наговорившись с Катей, объездив с ней наши любимые сутковские прогулки, осмотрев очередные нововведения, делавшиеся ею в хозяйстве, я направился в Париж к Николаю Васильевичу. Он предложил мне проехаться в Бретань, покупаться в океане, на что я, конечно, охотно согласился. Я накупил в Париже запрещенных у нас в России книг (помнится, брошюры анархиста Grave**, сочинения Кропоткина и «Царство Божие внутри нас» Л.Н. Толстого) и поехал с Николаем Васильевичем в Бретань, которая казалась мне особенно заманчивой по ярким изображениям, данным Лоти в романе его «Исландские рыбаки», вышедшем за год или за два до того (?). Мы поглазели в Бресте на гигантские океанские пароходы, в Трежетеме – на лихорадочную работу рыбаков и затем устроились более оседло в скромном приморском

* параллельно (фр.).

** Грав.

домашнем пансиончике, где нас кормили и холили, как кормят и лелеют в старой французской провинции.

В купальных костюмах, с книгами в руках мы проводили целые дни на прибрежных камнях. С отливом мы продвигались вперед на обнаженные от воды места, где наблюдали актиний, крабов и всяких других морских животных. Чудными закатами солнца, заходившего в океан, мы обыкновенно любовались с высокого уединенного отрога берега, мысом вдававшегося в океан.

Нашему приятному отдыху в гостях у океана положило конец внезапное заболевание Николая Васильевича. Он стал испытывать мучительные боли в области живота, сопровождавшиеся рвотой. Как он мне сказал, такие припадки случались с ним и раньше. Парижский доктор приписывал их страданию солнечного сплетения. Он не прописал Николаю Васильевичу никакого лечения, но рекомендовал прекратить курить и оберегать себя от нервных волнений. Так как океан, по-видимому, возбуждающе действовал на Николая Васильевича, то мы решили вернуться в Париж. Не были ли то первые проявления неразгаданной врачами болезни, сведшей впоследствии Николая Васильевича в могилу?**

Катины переживания

Мне надо сказать теперь несколько слов о Кате, которая в конце 80-х и начале 90-х годов переживала тяжелую семейную драму.

У Александра Ивановича Барановского был странный характер. Чужие люди в недоумении называли его оригиналом, и такая репутация ему будто бы нравилась. Я не сомневаюсь, что в психике его был какой-то скрытый дефект, делавший его из года в год в общежитии все более и более тяжелым, а затем уже вскрывшийся недугом под влиянием личных и деловых неудач. С годами он стал обидчив, подозрителен и придирчив. Федину «историю» и обнаружившуюся у Нины нервность многие склонны были приписывать постоянному раздражению от его наставлений, придирок, замечаний и нападок. Нужны были вся Катина находчивость и ее неисчерпаемый запас доброй воли, чтобы постоянно улаживать непрерывно возникавшие вокруг Александра Ивановича недоразумения и находить выходы из тех неловких положений, в какие он ставил и себя, и ее, и всех окружающих.

Катю все родные и друзья любили и потому щадили. Пока трения касались семейных или светских отношений, то, разводя руками да пожав плечами, близкие люди решали обыкновенно с

* Текст, отмеченный *...*, печатается по черновику.

Александром Ивановичем не считаться. Однако в сфере коммерческой такому благодушию был предел, тем более когда дело касалось посторонних. Никто не хотел терпеть убытки «по милости Александра Ивановича». Цифры – упрямая вещь, и плохой отчет не скрасишь никакими рассуждениями, в этом воспитательная сторона коммерческого дела. По Корюковскому сахаро-рафинадному товариществу, где Александр Иванович был директором, и по Ононской золотопромышленной компании, где распоряжался брат Александра Ивановича – Егор Иванович Барановский, братья Барановские в конце концов натолкнулись на отпор со стороны наших компаньонов. Вышел крах, поведший к неприязненным отношениям братьев со всеми заинтересованными в наших делах лицами, отстранившими их в конце концов от руководства.

Случилось так, что раздосадованный и разобиженный Александр Иванович очутился не у дел как раз тогда, когда Катя после ряда лет, отданных беременностям, родам, болезням детей, стала налаживать начальное их обучение и развертывать энергичную деятельность в Суткове. Там были ею открыты больница, две школы, вводилось правильное лесное хозяйство, расширялась запашка, ставился сложный севооборот, расчищались и осушались луга, строился новый хутор (фольварк), заводилось молочное хозяйство, производилась посадка фруктовых деревьев.

Рассеянный, как будто всего этого ранее не замечавший, Александр Иванович, очутившись после краха Корюковки в полной праздности, стал вмешиваться во все Катины действия, производя своими вылазками сущий хаос во всех Катиных, как всегда, тщательно взвешенных и обдуманных распорядках. Все попытки договориться и держаться какого-либо общего курса были бесплодны. Александр Иванович не был способен держаться какой-нибудь последовательности. Между супругами начались серьезные трения.

Сердобольная Лидия Алексеевна Шанявская подала тогда Александру Ивановичу мысль проехать в Сибирь на прииски (1887 г.). Конечно, без каких бы то ни было полномочий, о чем управляющие на местах были предуведомлены. Надеялись, что за время этого quasi делового путешествия Александр Иванович успокоится. Но поездка эта дала только временную передышку и не устранила назревавших конфликтов.

При нашей близости с Катей мы не могли остаться безучастными к развертывавшейся перед нами семейной драме. Мы долго лавировали и крепились, стараясь сохранить для себя общение с племянниками, но наконец сорвалось, всякая дипломатия была

прервана, и мы стали в определенно враждебные отношения к братьям Барановским.

Это случилось под новый, 1889 год. Рождество 1888/9 мы по обыкновению проводили в Суткове у Кати. Там был и Александр Иванович. По утрам мужчины уходили на охоту, которая в ту зиму была разнообразна и удачна: лоси, волки и даже медведи. Мне посчастливилось застрелить лося из подаренного мне Катей штуцера. Домой возвращались уже в сумерки. Обедали, отдыхали, а затем вечером чистили ружья, набивали патроны, вообще снаряжались к следующему дню.

Но не проходило почти вечера, чтобы Александр Иванович не призывал нас к себе в кабинет, где мы находили Катю и где нам предлагалось выслушивать бесконечные устные, а иногда и заранее написанные порицания Кате. Осуждались все ее поступки – и большие, и малые; либеральный когда-то, Александр Иванович доходил при этом до того, что попрекал ее купеческим ее происхождением, не дающим ей стать в уровень с требованиями мужа-дворянина. И тут же приводились цитаты из «Домостроя» попа Сильвестра[22] о том, как жену учить надо уму-разуму. Мы не вступали в пререкания, но наше вызывающее молчание не оставляло места для каких-либо сомнений в нашем негодовании. Расходились, не прощаясь и разгоряченные до каления. Вспоминаю, как я раз испугался, поймав себя на мысли: «Неосторожно поступает Александр Иванович. Мы все вооружены до зубов. Ну, сегодня я смолчал и сдержался. Но разве я поручусь за завтрашний день...» Надо было положить этому конец.

Между тем подошел вечер конца года. Дети легли спать. Их учительницы уединились в свои комнаты отдохнуть перед встречей Нового года. Катя ходила взад и вперед по залу. Мы тут же у камина перелистывали журналы. В столовой Лука шумел посудой, накрывая новогодний стол. Во внешности все в доме казалось обыденно спокойно, но внутри у всех, от прислуги до хозяев, скопился заряд величайшего психического напряжения.

В зале, направляясь в столовую, показался Александр Иванович, держа в руках патронташ и охотничью сумку – вещи, купленные им в подарок нам к Новому году. Вскочив со своего места, я отвлек Александра Ивановича на несколько слов в соседнюю комнату.

– Во избежание скандала предупреждаю вас, что мы не примем от вас никаких подарков!

– Да почему же? – недоумевающе спросил Александр Иванович.

– Вы так мучаете нашу сестру, – был мой ответ. Я прибавил затем просьбу оставить нашу размолвку между нами и не обнаруживать ее перед детьми.

Вышло как-то по-детски. Сережа находил, что я был слишком лаконичен. Но я боялся не сдержаться и сказать лишнее. Впрочем, все было ясно. Можно себе представить, как мы встречали затем Новый год.

По настоянию О. А. Чечота супруги решили временно пожить врозь. Но это (лето 1889 и зима 1890 года) тоже дало лишь передышку. Заявляя о несогласии своем с постановкой, данной Катей воспитанию детей, и с ее хозяйственными распоряжениями по Суткову, Александр Иванович перевез детей сначала в Выдренку – имение Егора Ивановича, а затем во вновь купленное им имение Боклань. Нужно было совершенно не понимать Катю, чтобы допустить, что она помирится с создавшимся положением, отводившим ей роль супруги хозяина Боклани с разливанием супа за обедом и сидением за самоваром при чаепитиях, но без всякой возможности влиять на строй жизни семьи и на воспитание детей. Катя все же сделала попытку, поселившись в Боклани, остаться при детях и вести их, как она считала правильным. Но это оказалось невозможным.

Тогда Катя решилась на отчаянный шаг по его, казалось бы, безусловной безнадежности, принимая во внимание разницу в сословном ее с мужем происхождении, зная хорошие личные связи братьев Барановских в Петербурге и учитывая господствовавшее при Александре III охранительное направление в отношении всех так называемых «устоев», семейных и религиозных в особенности. Катя подала в апреле 1890 года прошение в «Комиссию прошений на высочайшее имя приносимых» о выдаче ей отдельного от мужа вида на жительство со включением в него детей, т. е. о признании и урегулировании «разъезда» с предоставлением ей детей.

«Исключительное дело. В нем отсутствует обычная романическая или корыстная подкладка. Выходит разъезд по несходству характеров. Это может послужить опасным прецедентом!» – рассуждал один из чиновников Комиссии. И тем не менее после расследования на местах, опроса многочисленных свидетелей, вызова и объяснения сторон ходатайство Кати было удовлетворено в феврале 1892 года, невзирая на вмешательство К. П. Победоносцева.

В марте 1892 года дети перевезены были в Москву, и мы опять зажили с Катей в арбатском доме.

Однако этим борьба не кончилась. Александр Иванович ходатайствовал (23.I.93) о пересмотре дела. По высочайшему повелению дело было передано третейскому суду. Со стороны Кати был профессор А. И. Чупров, со стороны Александра Ивановича граф П. Гейден. Председателем был петербургский губернский предводитель дворянства граф А. А. Бобринский. Постановлением суда, получившим высочайшее утверждение (23.V.94), все было оставлено в том положении, какое было установлено высочайшим повелением 1892 года. Но суд потрудился дать целую регламентацию воспитания детей. Постановление сохранилось в архиве А. И. Чупрова и вместе с протоколами и перепиской по делу недавно передано мне его дочерью Марией Александровной. По этим бумагам можно судить, с какой бережностью и осторожностью суд разбирался в деле, стараясь найти наилучший выход из создавшегося положения. Отмечу, что по настоянию отца старшие два сына должны были по достижении 14 лет поступить в Училище правоведения, а для младших им был выбран впоследствии Лицей. В служивом сословии практически учитывали, что прохождение учения в привилегированных учебных заведениях дает хорошие связи для будущей карьеры и что при размещении сыновей по разным учебным заведениям связи эти умножаются.

Теперь, когда браки заключаются и расторгаются без долгих раздумываний и с самыми незначительными формальностями, эта длительная (на ряд лет) борьба и сложная процедура должны особенно поражать. Это переносит нас во времена Александра III и Победоносцева, когда царь прославлялся преимущественно как образцовый семьянин, а обер-прокурор силился вернуть нас чуть ли не к «Домострою» попа Сильвестра. Но время брало свое, и как ни старались наши правители повернуть вспять ход жизни, они сами бывали порой вынуждены собственным своим авторитетом расторгать ими же налагаемые путы.

Переживать эту борьбу, длившуюся ряд лет, было нелегко. Она омрачила нам всем много месяцев на протяжении этих долго длившихся лет.

Зигзаги Феди

С переездом в 1885 году в Петербург брат Федя перевелся в гимназию Гуревич, а по окончании ее поступил в Петербургский университет. Во время возникших по какому-то случаю волнений он в числе других студентов был арестован. Егор Иванович Барановский, узнав об этом в Москве, поспешил использовать свои связи и добиться освобождения бывшего своего опекаемого.

Здесь было что-то фатальное. Что бы ни случилось, но всегда реакция у Сабашниковых и у Барановских была различна. Федор был освобожден лишь на несколько часов раньше главной массы своих товарищей, но он нашел, что поставлен перед ними в неловкое положение. Режим целесообразности тогда еще не был известен, и в создавшемся положении Федор совершил поступок, после которого Егору Ивановичу пришлось пожалеть о своем неосмотрительном заступничестве, а сам Федор не мог уже рассчитывать ни на оставление в Петербургском университете, ни на прием в какой-нибудь другой русский университет. Надо сказать, что ректором Петербургского университета был в то время профессор Владиславлев, известный своими трудами по философии. Незадолго перед тем он выступил с учением о влиянии и почитании, ставя их в зависимость от обладания материальной силой, в буржуазном обществе выражаемой доходами. Я не читал трудов Владиславлева, не берусь их излагать, да и не в них сила. Факт тот, что учение это в либеральной по крайней мере прессе было встречено ожесточенной критикой. Так вот Федя при объяснении с кем-то из начальствующих лиц, издеваясь над теорией ректора, указал, что лишен возможности его уважать, ибо получает доход выше его. Здесь уже ничего не оставалось делать, как собрать свои монатки и ехать кончать свое образование за границу, благо правительство этому не препятствовало...

Не знаю почему, Федя выбрал Боннский университет. Здесь он сошелся с другим студентом этого университета, итальянцем Пиуматти, родом из Турина. Оба молодых человека стали усиленно изучать историю искусства, эпоху Возрождения, в частности Леонардо да Винчи. Эти занятия навели их на мысль предпринять издание рукописей гениального художника-мыслителя. Это ответственное, трудное и большого размаха предприятие одно время всецело захватило молодых людей. Вскоре после Парижской выставки 1889 года они оба перебираются в Париж. Здесь Федор снял квартиру и стал печатать свое издание, встреченное научным и литературным миром с величайшим одобрением[23]...

Дело в Париже, однако, не ограничилось одной только работой над изданием. Современный Вавилон не обошел своими соблазнами залетевшего в него впечатлительного и одинокого Федора, к тому же располагавшего, как ему должно было казаться первое время, почти неограниченными материальными ресурсами.

Глава 4

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ (1892/3 – 1896)

В университете

Брат Сережа в 1893 году зачислился первоначально на юридический факультет, где пробыл только один год, перейдя со второго курса на физико-математический. Здесь он сосредоточился на химии, работая у Н. Д. Зелинского. Из впечатлений его от кратковременного пребывания на юридическом факультете мне хочется отметить, что весьма требовательный и не склонный к снисходительности в своих оценках, Сережа с большой похвалой отзывался о курсе профессора Боголепова и его отношении к слушателям. Приходится думать, что жизнь Боголепова прошла бы счастливее для него лично и с большей пользой для русского просвещения, не говоря уже о том, что он оставил бы по себе лучшую память, если бы не покинул профессорской деятельности ради административной[1].

Что касается меня, то я в 1892 году сразу зачислился на физико-математический факультет по естественному отделению, выбрав специальность – биологию. Назову профессоров, которых я слушал: Зернов – анатомия человека, Анучин – антропология, Мороховец – физиология (Сеченов читал медикам старшего курса), Тимирязев – анатомия и физиология растений, Горожанкин – морфология и систематика растений, Мензбир – сравнительная анатомия позвоночных, Богданов и сменивший его ввиду болезни Зограф – зоология беспозвоночных, Павлов – геология и палеонтология, Лейст – метеорология, Сабанеев и Зелинский – химия неорганическая и органическая, Соколов – физика (Столетов прекращал чтение лекций), Вернадский – минералогия и кристаллография.

Из названных профессоров только один Зернов выпустил в свет свой курс. Записки Вернадского впервые выпускались сту-

дентом нашего курса, многообещавшим Клушенцевым, к сожалению, скончавшимся до окончания университета. Да Столетов выпустил конспект по свету, которым мы пользовались при сдаче экзаменов. В остальном приходилось довольствоваться собственными записями в тетрадках да книгами, иногда по объему и содержанию далеко не отвечающими нашим потребностям. Говорили, что некоторые профессора невыпуск ими курсов мотивируют желанием заставить студентов посещать их лекции. По зоологии мы пользовались книгой Бобрецкого.

Биологи в Московском университете, по старой памяти борьбы с Катковым за университетский устав 1863 года, в ту пору распадались на два враждующих лагеря, как тогда обозначали, – на либералов и консерваторов. В лагере прогрессивном наиболее яркими силами были профессор К. А. Тимирязев и профессор М. А. Мензбир, убежденные и последовательные дарвинисты. Мензбир возглавлял кабинет сравнительной анатомии, который был пристанищем школы покойного профессора Борзенкова. С ним связаны были (для примера назову) получившие впоследствии большую известность В. Н. Львов, П. П. Сушкин (впоследствии академик), А. Н. Северцов (тоже), Н. К. Кольцов.

Консерваторы, «макаки», как их еще задолго до нас прозвали в университете, ютились при Зоологическом музее, директором которого состоял престарелый А. Богданов. Он постоянно в то время хворал, манкировал лекциями и редко заглядывал в музей, в котором работали преимущественно его ученики – профессора Зограф и Тихомиров. Впоследствии они покинули университет ради административной карьеры. Зограф избрался в уездные предводители дворянства, а Тихомиров пошел в попечители Московского учебного округа. С ними отлетел с музея и реакционный дух.

Кабинет сравнительной анатомии

Для выпускной зачетной работы я выбрал, по совету В. Н. Львова, микроскопическое исследование процесса сокращения числа хроматиновых элементов при созревании яиц у аскариды. Отбыв работы в анатомическом театре у профессора Зернова, химические и прочие зачеты и выписав себе через университетского комиссионера микроскоп Цейса с иммерсионной системой и микротом, я засел в кабинете сравнительной анатомии за своей работой с большим увлечением, уйдя в нее, как говорится, по уши. Хромосомы снились мне даже во сне. Аскарид я брал на татарских

конских бойнях, выбирая этих паразитов пинцетом из кишок свежеубитых лошадей. Для этого приходилось присутствовать при убое, что при моей брезгливости и при моем отвращении к крови требовало от меня значительного напряжения воли. Как это ни странно, но конские бойни татары держали тогда в Замоскворечье, в довольно густо населенном месте. Они были устроены весьма примитивно и в санитарном отношении едва ли были допустимы. Самый убой тоже производился примитивно – ударом колуном по голове.

Целые дни из месяца в месяц просиживал я в кабинете сравнительной анатомии, обрабатывая препараты, приготовляя бесчисленное количество срезов, обследуя и зарисовывая их под микроскопом, сопоставляя между собой отдельные картины разрезов и комбинируя по ним последовательные стадии ядерного деления. Попутно приходилось, конечно, читать в научных журналах (преимущественно немецких) чужие аналогичные работы над той же аскаридой и над другими объектами.

Кабинет сравнительной анатомии помещался в то время в старом – по преданию, самом старом – из университетских зданий. Здание это было снесено при постройке ныне существующих по Никитской улице корпусов Зоологического музея и Ботанического кабинета. Вход был со двора. Помещение было в нижнем этаже, тесное, с небольшими, как строили в старину, окнами, с невысокими потолками и голландскими печами, по ветхости своей имевшими склонность дымить. Верхний этаж (бельэтаж) был занят кабинетом искусств. Директор его, профессор Цветаев, уже тогда постоянно выписывал из-за границы и расставлял в своем кабинете гипсовые снимки статуй и архитектурных деталей, давая этим начало Музею изящных искусств еще задолго до его учреждения[2]. Перегрузка верхнего этажа гипсами часто служила поводом к шуткам занимавшихся в кабинете сравнительной анатомии о том, что нам суждено быть раздавленными Венерами и Аполлонами. Когда прибывали подводы с новыми ящиками этих ценностей, то Мензбир как хранитель тоже ценных, зоологических коллекций обращался к ректору, профессору Зернову, с предупреждением, снимая с себя ответственность за судьбу «вверенного ему научного имущества».

Вспоминая о кабинете сравнительной анатомии того времени, нельзя не упомянуть о кабинетском служителе, солдате, одноглазом Прохоре. Инвалид войны и георгиевский кавалер, Прохор уже давно утратил всякий намек на молодцеватость, и трудно было себе даже представить, что некогда этот человек мог отли-

читься храбростью и заслужить Георгия. Он обрюзг и опустился, страдал притом запоем. При всем том работу свою, нельзя сказать, чтобы легкую, он выполнял исправно, конечно, когда был трезв. При запое же он выбывал из строя. Непреодолимое стремление к спирту овладевало им, и, окруженный в кабинете спиртовыми препаратами, он не мог тогда удержаться, чтобы не хлебнуть из них соблазнительной влаги. Никакие запреты, угрозы или увещевания не действовали. Раз кто-то из студентов положил в свой препарат рвотный камень. Прохор, упорно отрицавший пользование спиртом из препаратов, был уличен отчаянными припадками рвоты. Но он выдержал характер и продолжал запираться. Жена Прохора брала белье на стирку, как, впрочем, большинство жен университетских служителей. Сушить белье Прохор вздумал как-то в кабинете, развешивая белье на ночь на расставленных в кабинете скелетах. Мензбир, придя в кабинет ночью произвести какое-то наблюдение, застал и тотчас пресек это безобразие.

Одновременно со мной в кабинете работали П. П. Сушкин над скелетом какой-то птицы, мой однокурсник Гр. Шелапутин над развитием скелета рыб и С. Усов, сын профессора, бывший курсом моложе меня. В соседней комнате занимались Н. К. Кольцов и В. Н. Львов. Случалось, что кто-нибудь из работающих, желая выпрямить спину или просто отдохнуть и отвлечься от своего объекта, чаще всего словоохотливый П. П. Сушкин, прерывая господствующую тишину, выскажет, обращаясь к В. Н. Львову, какое-нибудь соображение по поводу прочитанной книги или журнальной статьи или поделится своим наблюдением каким-нибудь. Незаметно завяжется общий разговор, на который выйдет из своей комнатушки и сам М. А. Мензбир. Он в общем был необщителен и в обращении сумрачен. Тем более ценилось его вступление в общую беседу. Все мы знали объективные условия, делавшие его замкнутым, и каждый из нас, если не на самом себе, то на его возне с Прохором, имел случай убедиться в его сердечности. Немного, в самом деле, нашлось бы в университете профессоров, которые согласились бы терпеть такого инвалида у себя на службе.

Эти самопроизвольные беседы представляли иногда захватывающий интерес. В те годы в биологии происходила как бы ревизия дарвинизма. Профессор Коржинский и Де Фриз независимо друг от друга пересмотрели явления изменчивости. Устанавливалась скачкообразная изменчивость (мутации). Вейсман отрицал наследование благоприобретенных признаков, допускавшееся Дарвиным и признаваемое современными нам неоламаркистами. В ряде статей и книг он подводил итоги сво-

им наблюдениям и теоретическим построениям в области наследственности. Спенсер провозглашал, полемизируя с ним, «недостаточность естественного подбора» для объяснения явлений эволюции. Ему возражал Вейсман «Всемогуществом естественного подбора». На что Спенсер не остался в долгу статьей «О вейсманизме еще раз!». Гертвиг стал выпускать книжки по «Спорным вопросам биологии».

Казалось, заколебались основные понятия биологии. Пересматривалось незыблемое со времен Линнея представление о виде. Самая смерть, этот непременный, казалось, спутник жизни, рассматривалась Вейсманом как некоторое «достижение», как «приспособление» (!) многоклеточных организмов, вовсе не присущее всякой жизни неизбежно, ибо одноклеточные существа бессмертны. Тогда же найдены были на Яве останки питекантропа[3]. Все это движение не могло получить отражения в нормальных курсах, которые нам читались. Мы узнавали о нем и следили за ним в кабинете сравнительной анатомии по получавшимся там иностранным журналам и книгам, на которые нам указывали М. А. Мензбир и В. Н. Львов. Кирпичного цвета обложки издательства Фишер в Иене, печатавшего большинство этих работ, и теперь возбуждают во мне по старой памяти приятное волнение.

О питекантропе и Мензбир, и Анучин прочли по нашей просьбе особое сообщение.

Много мне помог также специальный курс сравнительной эмбриологии, читавшийся В. Н. Львовым, как немцы говорят, privatissime*. При ограниченном числе слушателей, которых можно было перечесть по пальцам (Н. К. Кольцов, П. П. Сушкин, В. Ф. Капелькин, С. Г. Григорьев, А. Смецкой, Г. Шелапутин, А. С. Усов и С. С. Усов), занятия эти получили характер не столько лекций, сколько бесед, ведшихся очень живо и непринужденно. Справедливость требует отметить, что Зоологический музей тоже отозвался на оживление в теоретических вопросах биологии, и профессор Тихомиров, прозванный студентами «Маркизом», прочел нам целый маленький курс «философии биологии».

К воспоминаниям о кабинете прибавлю два слова о субботах у В. Н. Львова. Он жил в здании университета и по вечерам в субботу принимал у себя на чашку чая. Собирались у него преимущественно все те же лица из кабинета сравнительной анатомии. Но здесь разговор уже не ограничивался биологическими темами. Вечно больной и едва находящий в себе силы преодолевать

* Здесь: факультативно.

пожирающий его туберкулез, Василий Николаевич так же, как и жена его, Надежда Николаевна, при всем том никогда не теряли бодрости духа. За всем следили, всем интересовались, проявляя всегда величайшее участие ко всем волнениям и переживаниям своих друзей. Оба любили музыку, которая в те годы общественного застоя играла в развлечениях московского общества, пожалуй, первенствующую роль. Хотя Василий Николаевич по болезни не посещал концертов, но он еще во время пребывания своего за границей имел возможность переслушать заезжавших к нам исполнителей и хорошо знал классическую музыку. Посещавшие концерты гости его всегда имели о чем перекинуться с ним впечатлениями. То же можно сказать и о художественных выставках, и о литературных явлениях.

Кончая о кабинете, с благодарностью укажу, что по настоянию и инициативе М. А. Мензбира моя работа об аскариде была переведена на немецкий язык и издана в № 1 «Bulletin de la Societé Imperiale des naturalistes de Moscou» (M. Sabaschnikoff. Beiträge zür Kenntniss der Chromatinreduction in der Ovogenese von Ascaris megalocephala bivalens). Без заботливого участия Михаила Александровича я бы никогда сам не подвинулся на то, чтобы выступить в печати.

По окончании мной университета благодаря издательству нашему мне приходилось постоянно общаться с Михаилом Александровичем и Василием Николаевичем, равно как и с К. А. Тимирязевым, и если мне суждено закончить эти записки, то эти лица еще долго будут в них сопровождать меня на жизненном пути, обогащая и разнообразя его.

Университетские товарищи

При вступлении моем в университет мне, как и всем прочим студентам, пришлось подписать заготовленное канцелярией университета заявление, что я не состою в нелегальных обществах или землячествах и обязуюсь впредь в таковые не вступать. Не думаю, чтобы такая вынужденная подписка могла кого-нибудь удержать. Я, во всяком случае, не считал себя ею связанным. Тем не менее в те годы мои интересы были направлены не на политическую борьбу. В землячествах я не состоял, но на устраивающиеся ими время от времени вечеринки хаживал.

Вспоминается мне особенно одна вечеринка, прошедшая оживленно благодаря выступлению профессоров. Не припомню, кто ее устраивал. Состоялась она в чьей-то частной квартире, из

которой две комнаты были выделены под вечеринку. Был дешевый буфет – чай да плюшки.

Здесь я впервые встретил П. Н. Милюкова, тогда только еще выдвигавшегося молодого ученого. Он не вошел дальше передней. Снял котиковую шапку, расстегнул шубу и держал высыпавшей ему навстречу молодежи короткую речь. Правительство устранило его от чтения лекций[4], он уезжал в Софию и заклинал московских студентов твердо держаться в жизни демократических традиций русской интеллигенции.

Другой профессор – Н. Д. Зелинский, провел с нами весь вечер в непринужденной беседе за стаканом чая. Говоря о границах познания, он передал содержание знаменитой речи Дюбуа-Реймона[5]. Мне показалось, что для некоторых слушателей затронутый вопрос был совершенно нов, и неожиданная беседа на вечеринке с чужим профессором должна была произвести глубокое впечатление.

Про себя лично скажу, что хотя я в то время уже вполне усвоил представление об ограниченности нашего познания, блестящие формулировки Дюбуа-Реймона: «Цезарь, проходящий через Рубикон» и внушительное заключение: «ignorabilis»* привели меня в восторг. На следующий же день я был у Ланга, чтобы заказать Дюбуа-Реймона. С Н. Д. Зелинским мы потом часто встречались за вечерним чаем у А. И. Чупрова. Брат Сережа у него провел свою отчетную работу по химии.

За годы моего студенчества я оказался прикосновенен, насколько помню, лишь к одному замешательству. Не могу восстановить в памяти, в чем было дело, но состоялась сходка в химической аудитории. Полиция оцепила здание университета. Она студентов выпустила, но переписала тех, кто выходили последними, очевидно, считая их наиболее упорными. Некоторые были затем исключены. Другие отделались выговором правления (в том числе и я). С нашего курса исключены были три студента Тульского землячества: Руднев, Смидович и Малиновский. Они уехали за границу кончать образование, получая стипендии от нашего курса. Впоследствии они получили громкую известность по своей революционной деятельности. Однако большинство моих однокурсников ни в общественную, ни в политическую борьбу не пошло. Талантливый Арсеньев после физико-математического окончил медицинский факультет и пошел, по принципу, работать врачом в деревне. Уже во время революции, как я слышал, он был

* неведомый, неизвестный (*лат.*).

врачом яснополянской больницы. Другие пошли по научной или педагогической дороге: Григорьев, Зернов, Капелькин, Крубер, Н. И. Горский, Лосицкий, Федченко, Усов А. С., Усов С. С., Флеров, Чефранов, Некрасов, Каннабих.

Смецкой погрузился в заботы о своих и дяди своего предприятиях, имевших большое культурное значение. Шелапутин умер еще студентом, и в память о нем отец его основал гимназию и педагогический институт его имени[6]. И то, и другое прекратили теперь свое существование, а роскошные здания, сооруженные учредителем, получили иное назначение (тоже учебное).

С университетскими товарищами меня связывала общность научных интересов, принадлежность к общей школе – дарвинистов.

Среди дарвинистов наблюдается иногда тенденция применять учение Дарвина упрощенно к толкованию явлений эволюции человеческого общества. Известно, что некоторые авторы при этом доходили до проповедования заядлого эгоизма, культа силы, войны, оправдывания смертной казни, наконец, как фактора отбора. Среди московских дарвинистов, моих товарищей и моих учителей, мне не приходилось встречать ничего подобного. Для нас казалось бесспорным, что гуманные начала и чувство солидарности, возникающие в обществе, требуя от его членов самопожертвования в пользу коллектива, увеличивают жизнеспособность общества, обеспечивая ему победу над обществом, не развившим в себе этих доблестей.

Съезд естествоиспытателей

3 – 12 января 1894 года в Москве состоялся съезд естествоиспытателей и врачей. «Праздник русской нáýки» – как назвал его в своей речи К. А. Тимирязев. Как сейчас, слышу его несколько гнусливый, лающий голос, выкрикивающий эти слова, делая два ударения на слове «науки». Заседания секций были разбросаны по разным помещениям по всему городу. Общие же собрания происходили в Большом зале Благородного собрания, как тогда назывался нынешний Дом Союзов. И, действительно, истинным праздником было видеть цвет наших ученых в этом изумительном по простоте и изяществу зале, на хорах и между колоннами которого, казалось, еще витали звуки вдохновенной игры Антона Рубинштейна или симфонического оркестра под управлением Эрмансдорфера.

Климент Аркадьевич был в громадном подъеме. Во фраке и белом галстуке он встречал почетных гостей. Великой княгине Елизавете Федоровне, явившейся на съезд с супругом своим, великим князем Сергеем Александровичем, состоявшим московским генерал- губернатором, Климент Аркадьевич преподнес букет белых цветов. Пришедшего на съезд в своей толстовке Льва Николаевича Толстого он встретил на лестнице и проводил на места у эстрады. Публика при этом так стеснилась вокруг Льва Николаевича, что Климент Аркадьевич, завидев меня, просил устроить вокруг Льва Николаевича цепь из студентов, чтобы предохранить его от давки.

Каково было бы замешательство почтенного собрания ученых, если бы им, хотя бы на мгновенье, дано было проникновение в будущее: предстоявшее отлучение Толстого, убийство великого князя, посещение великой княгиней Каляева в тюрьме, памятник на бульваре Тимирязеву![7]

Из сообщений, бывших на съезде, меня больше всего заинтересовали доклад ныне знаменитого Виноградского о нитрофицирующих микробах почвы, речь Умова по физике и речь А. И. Чупрова по статистике.

Первые наши издания

В университетские годы начали мы с братом Сережей свою издательскую деятельность. Собственно, начало ее надо отнести к весне 1889 года, когда мы перед отъездом за границу сговорились с Петром Феликсовичем Маевским о создании первого оригинального русского определителя растений.

Я уже говорил, что мы с П. Ф. Маевским много ботанизировали в Суткове. Мы пользовались при этом для определения растений «Определителем среднегерманской флоры» Пестеля. Русский перевод этой книги был едва ли не единственным в то время на русском языке пособием для определения растений. Само собой, при разнице в видовом составе среднегерманской и русской флоры Пестель не мог удовлетворить элементарным требованиям, предъявляемым к определителю. Многих встречающихся у нас форм у Пестеля совершенно не было, и, наоборот, книга эта изобиловала ненужными для русского натуралиста описаниями форм, в России не встречающихся.

Маевский казался человеком, как будто предназначенным для составления русского определителя. Глубокий знаток русской флоры, он только что закончил редактирование посмертного из-

дания «Флоры Московской губернии» Кауфмана. Обычный и, пожалуй что, единственный в то время путь, открытый для русского ученого, – путь профессорской карьеры, перед Маевским был закрыт. Петр Феликсович был горбат. При постоянных перебоях сердца, страдая одышкой, быстро утомляясь при движении или волнении, он не был бы в состоянии не только прочесть перед аудиторией обычную двухчасовую лекцию, но вообще длительно держаться на народе. Кабинетная работа ученого писателя, которую можно выполнять в домашней обстановке, в полном спокойствии, соблюдая все предписывавшиеся ему врачами предосторожности, – вот что ему было по плечу. Мы и предложили ему составить большой определитель растений. Такая работа при авансировании гонорара и при крайней скромности Петра Феликсовича вполне обеспечивала его на время писания, обещая притом кое-что в будущем в случае удачи предприятия.

Но Петр Феликсович был щепетилен, горд и самолюбив. В его глазах мы с Сережей все еще были юнцами, не знающими ни жизни, ни цены деньгам. Здоровье же его было настолько ненадежно, что авансирование ему гонорара представлялось ему делом большого риска. Убедить его пойти на такое соглашение смог только Н. В. Сперанский. При этом для успокоения совестливого Петра Феликсовича сестра Катя приняла на себя материальную ответственность за сделку, так как Петр Феликсович упорно стеснялся вступать в денежные соглашения со своими учениками, каковыми он нас продолжал считать.

После долгих переговоров все было улажено, и, когда мы в 1889 году поехали за границу, Петр Феликсович поехал к нам в Костино, где мы ему предоставили восточный флигель на нашей усадьбе. В главном доме поселился на лето Н. А. Мартынов с семьей. Так, с весны 1889 года двухэтажный флигель с пятью комнатами наверху и четырьмя внизу, кроме кухни, пошел под ученую братию, до самой революции непрерывно служа как бы «домом отдыха» ученых и учащих, употребляя теперешнюю терминологию.

В нем П. Ф. Маевский написал свой определитель, Н. А. Мартынов составил свой учебник рисования, В. Н. Львов подготовил к печати учебник зоологии и проредактировал не одну книгу из издававшейся нами «Серии учебников по биологии», Н. В. Сперанский закончил свои «Очерки по истории средней школы в Германии», подготовленные им за границей, Е. Е. Якушкин перевел книгу Гильденбрандта «О преподавании родного языка в школе».

Во время постройки больницы здесь жила Е. П. Косминкова, а во время постройки третьего по счету здания школы М. А. Чуйкова.

Здесь же на протяжении ряда лет проводил лето со своей семьей Е. Е. Якушкин, почему флигелю этому и пристало обозначение «якушкинского».

Надо сказать, обстоятельства благоприятствовали нашему первому издательскому начинанию. Профессор математики Московского университета Цингер, ботаник-любитель, предпринял в то время достойный любителя труд проверки описания растений, ранее найденных в России. Он проверил эти описания по многочисленным гербариям, хранившимся в разных учреждениях и у частных лиц, откликнувшихся на призыв профессора Цингера и предоставивших ему свои коллекции для обозрения. Для своей книги Петр Феликсович мог воспользоваться, кроме собственных своих наблюдений, и результатами обследования профессора Цингера. Новый определитель, таким образом, совершенно был свободен от традиционных, перепечатывающихся от автора к автору, не всегда точных описаний.

«Флора Средней России» вышла с обозначением на обложке: «Издание Е. В. Барановской» и была встречена очень сочувственно. Успех этой книги, потребовавшей ряд переизданий, отзывы последующих редакторов – Н. В. Цингера (сына), С. Коржинского, Д. Литвинова, наконец, опыт многочисленных друзей среди любителей, преподавателей, студентов и вообще учащихся, пользовавшихся книгой Маевского на протяжении многих лет, показал, что труд свой он выполнил безукоризненно. Последующие неудачные определители Петунникова, а затем Федченко могли только поднять репутацию определителя Маевского, который и до сих пор остается непревзойденным.

В 1929 году наше издательство наладило было работу по редактированию нового, шестого издания «Флоры» Маевского, за что по нашему приглашению взялись Д. П. Сырейщиков и В. В. Алехин. К обработке некоторых родов привлекались еще некоторые специалисты. Однако издательство «Новая деревня» тоже задумало переиздать Маевского, для редактирования которого пригласило Б. А. Федченко. Нам пришлось отказаться от задуманного нами издания, а что выпустил «Сельхозгиз» (бывшая «Новая деревня») с Федченко, об этом можно составить себе представление по рецензиям в специальной прессе[8].

Кроме «Флоры Средней России», мы еще выпустили следующие книги П. Ф. Маевского: «Злаки Средней России», «Весенняя

флора», «Осенняя флора», «Ключ к определению деревьев по их листьям». Затем стали выходить «Птицы России» профессора М.А. Мензбира и под редакцией В. Н. Львова целая библиотека по биологии под названием «Серия учебников по биологии». После смерти Н. С. Тихонравова мы выпустили собрание его сочинений в четырех томах.

Само собой разумеется, у нас стали выходить труды Н. В. Сперанского по истории школы в Западной Европе, над которыми он работал в течение ряда лет частью в Германии, преимущественно в Париже. «Очерки по истории народной школы в Западной Европе» (1896 г.) сразу поставили Николая Васильевича в число наиболее видных специалистов-исследователей по истории просвещения, и была тогда речь о предоставлении ему за них докторского звания.

К сожалению, мы в то время были еще слишком неопытными издателями (кстати, и эту книгу мы выпустили без своей фирмы) и не озаботились тем, чтобы книга была переведена и издана за границей. У нас слишком мало лиц работало в избранной Николаем Васильевичем области, и его книга не возымела того значения, какое она бы получила за границей, будь она доступна по языку тамошним исследователям.

Кончина П. Ф. Маевского

О. А. Сперанская перед своей кончиной передала мне некоторые сохранившиеся у нее письма, среди которых оказались три письма П. Ф. Маевского к Н. В. Сперанскому (от 3.XI. 91, без даты и от 19.I.92)[9]. Они живо напомнили мне то время, и мне хочется добавить к ним еще несколько слов о Петре Феликсовиче. За время печатания «Флоры» мы очень с ним сошлись. Я бывал у него чуть ли не каждый день. Благо Маевские жили (зиму 1891/2 гг.) совсем близко, в доме Остроухова И. С. по Трубниковскому переулку, в той самой квартире, которую впоследствии снимали Якушкины. При разносторонности, живости, общительности и, я бы сказал, чисто польской экспансивности Петра Феликсовича беседы с ним всегда бывали интересны. Однако здоровье его заметно ухудшалось. Упадок сердечной деятельности заставлял его постоянно прибегать к дигиталису. Ноги опухали. Открылась водянка. Пришлось держаться исключительно молочной диеты. Петр Феликсович все чаще и чаще стал говорить о приближении смерти, прибавляя, что лишь силою воли удерживает себя в живых.

Застав его как-то в особенно удрученном состоянии и желая его отвлечь от мрачных мыслей, я заговорил о новом издании «Весенней флоры» и об открытии целой серии маленьких «наблюдателей природы» под редакцией Петра Феликсовича. Сказав сначала, что он уже не только не работник, но и не жилец на этом свете, Петр Феликсович все же постепенно втянулся в обсуждение нового издания, стал даже записывать предполагаемые темы отдельных выпусков и авторов, которых надо привлечь. Когда же я собрался уходить, Петр Феликсович неожиданно притянул меня к себе, обнял, поцеловал и сказал, что своими разговорами я влил ему немножечко надежды, без которой нет воли бороться за жизнь...

Но когда я под вечер следующего дня пришел с французским томиком «Свободы» Миля*, который Петр Феликсович просил дать ему перечесть, я нашел дверь квартиры открытой, на столе под белой простыней лежало тело Петра Феликсовича, священник с причетником готовились служить панихиду. Елизавета Адольфовна, вдова Петра Феликсовича, сквозь слезы сказала мне, что, когда ему стало очень плохо, она предложила послать за священником. Но он отвернулся к стене со словами: «Значит, ты потеряла совсем надежду. Как же мне бороться за жизнь!»

Заботы Бонч-Бруевича об устранении параллелизма

Одновременно с нами на издательский путь выступили М. И. Водовозова, урожденная Токмакова, и В. Д. Бонч-Бруевич. М. И. Водовозова выпускала исключительно экономическую, марксистски окрашенную литературу под редакцией мужа своего Н. В. Водовозова. Бонч-Бруевич охватил более широкие области. Вспоминается мне смешной эпизод из того времени. Пришла как-то к нам – «Мише-Сереже», как мы продолжали одним духом в своем кругу именоваться, «Маруся Токмакова», как мы, в свою очередь, еще не перестали ее называть, и сообщила следующие соображения В. Д. Бонч-Бруевича. Вот, мол, в Москве разом образовалось три «идейных» издательства. Работая «несогласованно», они могут впасть в «параллелизм» и потратить свои незначительные средства непроизводительно на тождественные издания. Бонч-Бруевич предлагал размежеваться. Было решено, что каждое издательство сообщит список намечаемых им к изданию книг, а затем будет дополнительно информировать другие издательства

* Точное название книги Джона Стюарта Милля – «О свободе».

о каждой вновь задуманной книге. Мария Ивановна в срок представила свой список в 10–15 названий. Мы приготовили список раза в два больший. Через некоторое время Мария Ивановна показала нам «редплан» Бонч-Бруевича. Это была большая тетрадь, мельчайшим почерком исписанная, содержавшая несколько сотен книг и даже серий книг. Такой был дан оборот затее «типизировать» три идейных издательства тем, кто, по-видимому, так заботился о плановости.

Библиотека Н. С. Тихонравова

Последние годы жизни Николай Саввич жил в небольшом флигеле нашем по Малому Николо-Песковскому переулку, сохранившемуся в неприкосновенности и до сего времени. После кончины Николая Саввича осталась большая библиотека печатных и старопечатных книг и рукописей. Единственной наследницей его была вдова, психически больная, над которой учреждена была опека в лице учеников покойного – С. О. Долгова и Соколова. Для содержания опекаемой они должны были реализовать единственную оставшуюся после покойного ценность – библиотеку. Для учеников Николая Саввича, знавших, как много положил покойный забот и труда, чтобы собрать свою книжную и рукописную коллекцию, и ценивших это собрание как незаменимое пособие при изучении истории русской литературы и культуры, возникла забота о том, чтобы не дать разрознить библиотеку и передать ее в какое-нибудь государственное или общественное книгохранилище. Мы с Сережей решили купить библиотеку и передать ее в Румянцевский музей, с тем чтобы она хранилась обособленно в рукописном отделении, как того хотел покойный академик. Библиотека была нами приобретена за 10 000 руб. и передана музею на указанных основаниях.

Мне припоминается бывший при этом случай почти анекдотического характера. В. Е. Якушкин был один из самых близких учеников Николая Саввича, и в заботах по спасению библиотеки от распродажи в розницу он вместе с М. Н. Сперанским и В. Н. Щепкиным проявил больше всех активность. Много лет раньше, чуть ли не во время своего студенчества, Вячеслав Евгеньевич по случаю какого-то литературного разговора принес Николаю Саввичу из библиотеки своего отца редчайший экземпляр книги – если память мне не изменяет, первого издания Радищева «Путешествия из Петербурга в Москву». Время шло, Николай Саввич книги сам не возвращал, а Вячеслав Евгеньевич из деликатно-

сти не решался напоминать. Но вот между учеником и учителем опять разгорелся разговор, в пылу которого Николай Саввич в подтверждение своих слов взял с полки зачитанную им книгу Радищева и показал Вячеславу Евгеньевичу какое-то место текста. Казалось, за этим надо было ждать возвращения книги ее прежнему владельцу, который уже начал было говорить о том, как для него лично ценна эта книга родовой библиотеки. Не тут-то было. «Редчайшая книга! Я очень счастлив иметь ее у себя на полке!» – сказал Николай Саввич и водворил книгу на место.

Когда после смерти Николая Саввича библиотека его передавалась Румянцевскому музею, Сережа предложил Вячеславу Евгеньевичу вернуть ему его Радищева. Но Вячеслав Евгеньевич не захотел этого, «тем более, что все собрание поступает в музей», «на благое просвещение», как гласила надпись на здании.

Неурожай 1891 года

Лето 1891 года было засушливое. Яровые в степной полосе совершенно погибли. Озимые дали ничтожные сборы. В Костине все лето шли лесные пожары. Пахло гарью. Солнце казалось красным потухающим диском. В Москве на бульварах и в садах листья деревьев преждевременно пожелтели и осыпались. В газетах стали появляться тревожные сообщения о неурожае. В земствах заговорили о предстоящем голоде.

Агенты крупных московских мануфактурных фирм доносили своим хозяевам о колоссальном стихийном бедствии, постигшем население и неминуемой потере им своей покупной силы. Худые вести приходили и от личных друзей и знакомых, разбросанных в разных захолустьях нашей необъятной равнины. В то время как страна на местах начинала, видимо, лихорадить и молекулярные силы искали способов мобилизоваться для борьбы с надвигающимся бедствием голода, центральная нервная система продолжала пребывать в каком-то безучастном оцепенении. Правительство на всякие представления об организации помощи, нехотя признавая «недород», открещивалось от «неурожая» со всеми связанными с ним следствиями. Осенью на местах по частному почину стали создаваться бесплатные столовые. Редакции газет открыли сбор пожертвований. В Москве и Петербурге образовались кружки помощи голодающим. В ноябре Л. Н. Толстой поместил в «Русских ведомостях» письмо с призывом организовать помощь. В Нижнем В. Г. Короленко развил зимой большую деятельность в этом направлении.

Наше решение принять участие в помощи голодающим

Мы с Сережей решили принять участие в организации помощи голодающим и материально и лично. Однако был вопрос, через который надо было при этом переступить. По тогдашним законам мы оба не достигли еще совершеннолетия и не имели права распоряжаться своими средствами помимо попечительницы нашей – сестры Кати, на которую и падала ответственность за правильное расходование средств. Если бы мы намеревались сделать пожертвование в пользу голодающих какому-нибудь правительственному или официальному учреждению, то, конечно, никаких затруднений не могло бы возникнуть. Но мы намеревались действовать самолично или через организации и лица, едва правительством терпимые и находящиеся под сильным подозрением его в политическом отношении. Е. Н. Щепкин, в силу наших отношений посвященный нами в наши предположения, указывал: «Вас лично, конечно, не тронут, но опеку на имущество наложить могут». Ни себя подвергать этому риску, ни Катю подводить под ответственность мы не хотели. Мы написали поэтому Кате в деревню и стали ждать ее приезда на побывку в Москву, чтобы решить, как поступить. Тем временем запросили Н. В. Сперанского в Париже его мнение.

Он советовал определить ассигнование на голод в размере нашего годового дохода, что делало нас неуязвимыми, поскольку мы не затрагивали капитала.

Скажу дополнительно, что со стороны Е. Н. Щепкина в данном деле не было особой чрезмерной осмотрительности. Вот что писал в это же время А. И. Чупров дочери своей Ольге (27.XII.91): «Мы, люди, близкие к редакции «Русских ведомостей», переживаем тяжкое время. На нас взваливают разные сплетнические обвинения, будто бы мы, пользуясь голодом, желаем распустить какую-то пропаганду, и на этом основании преследуют газету в такой степени, что каждую минуту мы опасаемся закрытия».

Совещание с Катей и посещение Д. И. Шаховского и А. А. Корнилова

Мне отчетливо вспоминается наше обсуждение этого дела с Катей и Е. Н. Щепкиным в день ее приезда в Москву в ноябре 1891 года. Разговор затянулся до позднего времени. Было уже заполночь, когда раздался звонок в парадной. Все были дома на-

лицо. Звонить так поздно было некому. Очевидно, срочная телеграмма о заболевании кого-либо из Катиных детей в деревне. Наш служитель Василий уже давно спит, и я спешу вниз отворить парадную дверь. Впускаю двух незнакомцев, которые, не снимая пальто, поднимаются со мной в комнату, где мы совещались. Они только на минутку. Дмитрий Иванович Шаховской и Александр Александрович Корнилов. Один высокий, в длинном, заграничного покроя пальто с поясом, другой приземистый, в коротеньком пальто, с пенсне, постоянно соскакивающим с носа. Назвавшись и извинившись в столь позднем посещении, они объяснили, что утром уезжают на голод и перед отъездом зашли передать нам некоторые сведения, касающиеся этого дела, могущие быть полезными нам ввиду нашего намерения принять участие в борьбе с бедствием. Сделав свое сообщение стоя, ночные гости, даже не присаживаясь, поспешили удалиться.

«Вот видите, – возобновил прерванную беседу Е. Н. Щепкин. – Вы только еще раздумываете, а незнакомые вам люди уже считаются с вами как с признанными своими товарищами в общей работе. А вы воображаете, что поступки ваши никого интересовать не будут и пройдут незамеченными!» Густо покраснев, как всегда, когда приходилось кому-нибудь возражать, Катя обратилась к Евгению Николаевичу: «Вы правы. Некоторый риск есть в предположениях братьев. Но можно ли от такого риска уклоняться?»

Этим все решалось! Сережа сбегал в столовую и принес бутылку Иоганнсберга, припасенную по случаю приезда Кати, сыру и ветчины, и мы вчетвером дружно поужинали. Принятым решением Евгений Николаевич едва ли не больше всех был доволен.

Менее чем кто-либо из нас, были все братья Щепкины способны быть поборниками благоразумия, умеренности и осторожности. В данном случае Евгений Николаевич счел себя обязанным взять на себя эту не свойственную ему роль и, конечно, был весьма доволен, что он не оказался победителем.

Приглашение Н. В. и Е. А. Егорновых

В декабре Сережа поехал работать в Тульскую губернию к Писареву, который в контакте с Л. Н. Толстым развертывал там большую сеть столовых. Мне хотелось проникнуть в более захолустные места. Через Н. А. Мартынова мы были знакомы с Н. В. и Е. А. Егорновыми, жившими под Клином в своем небольшом именьице «Отрада», куда мы иногда ездили на охоту с Н. В. Сперанским и Е. Е. Якушкиным. Супруги с большой готовностью взя-

лись покинуть временно свое маленькое хозяйство на попечение какого-то их друга и ехать на голод в Саратовскую губернию. Чтобы ориентироваться в порядках и в постановке дела помощи голодающим, решено было предварительно съездить в Нижний, где у Н. В. Егорнова были личные связи и где он поэтому рассчитывал быстро информироваться в деле, дотоле ему мало знакомом.

Поездка в Нижегородскую губернию

Тяжелую картину представлял Нижегородский край в декабре 1891 года. По занесенным снегом дорогам мы всюду встречали крестьян, шедших в город в надежде пропитаться на фабриках. Другие шли с котомками через плечо «по кусочки» – побираться. Некоторые тащили за собой детей в салазках. Получалось впечатление, что население, покинув свою оседлость, перешло к бродячему состоянию. В деревнях многие избы были оставлены владельцами. Некоторые были заколочены. Но и в тех, которые оказывались обитаемыми, зачастую мы находили только баб и детей, так как мужское население ушло искать пропитания. Мы видели детей, опухших от голода. Вид их был ужасен. Кое-где начинала налаживаться помощь в формах, отличных от пропагандировавшихся Л. Н. Толстым в Тульской губернии. Производился отпуск леса на отопление, отпуск и продажа по пониженным ценам муки, печеного хлеба, капусты.

Егорновы устраивают продовольственный пункт в Рыбке Саратовской губернии

В Саратове мы с Н. В. Егорновым имели рекомендательные письма к губернатору генералу Косичу от А. Л. Шанявского, к губернскому земскому гласному А. А. Шахматову, известному лингвисту, впоследствии академику, и к губернскому земскому статистику Н. Н. Черненкову – от Е. Е. Якушкина. Косич, выдвинувшийся в последнюю турецкую войну генерал, образованный и известный своими либеральными взглядами, в реакционное время Александра III держался правительством на скромной должности губернатора, не получая более ответственного назначения. Осанистый, красивый старик, чувствующий, что его обходят, и знающий себе цену генерал, по-видимому, в свою очередь, будировал. Он принял нас внимательно и благосклонно. Прочитав же переданное ему мною письмо А. Л. Шанявского, он сбросил с себя всякую официальность, завел с нами продолжительную беседу, в

которой, впрочем, преимущественно говорил сам, критикуя правительство и возлагая все надежды на самодеятельность общества.

При таком к нам отношении начальника губернии мы смело могли обосноваться в его губернии и, по совету Шахматова и Черненкова, решили развернуть свою деятельность в деревне Рыбка, куда и поехали, не теряя времени. Переезд этот в жестокую метель был крайне мучителен, и минутами мне казалось, что то руки, то ноги начинают у меня коченеть и отмерзать. Но все обошлось хорошо. Сельский батюшка, у которого мы остановились в Рыбке, сочувствовал нашим намерениям и присоединился к нам на работу. Все, одним словом, устраивалось удачно и хорошо. Через несколько дней приехала в Рыбку и Е. А. Егорнова, и работа сразу развернулась. Я вернулся в Москву готовиться и сдавать экзамен зрелости, а Егорновы остались в занесенной снегом Рыбке, где пробыли много дольше, чем предполагалось, так как в 1892 году недород повторился и необходимость в помощи не миновала. Они блестяще справились с взятой ими на себя задачей и заслужили всеобщее уважение своей умелой, обдуманной и самоотверженной деятельностью*.

Сережа переносит свою деятельность в Воронежскую губернию к Антаевой

Как я сказал, Сережа сначала поехал на голод в Тульскую губернию. Освоившись там с постановкой помощи голодающим, он вскоре перенес свое внимание на Воронежскую губернию, где сестра Н. В. Сперанского – София Васильевна, приглашенная местной помещицей А. Н. Антаевой в ее имение... Бобровского уезда на должность сельской учительницы, развивала широкую деятельность по помощи населению.

На тусклом фоне провинциальной жизни того времени А. Н. Антаева представляла собой весьма заметное явление.

Надеюсь, что София Васильевна исполнит мою просьбу и напишет свои о ней воспоминания. Здесь же я могу лишь коро-

* Далее в рукописи отсутствуют 6 листов. Сохранилась лишь запись на л. 41 к утраченному л. 43: «Я гостил у сестры Кати в Суткове и погружен был в чтение Дарвина, когда из Москвы мне телеграфировала Е. Косминкова, что Егорновы вернулись с голода домой, в Отраду, где Екатерина А. заболела тифом, а Николай Васильевич под впечатлением этого несчастья сошел с ума. Я немедленно поехал в Москву. Екатерину А. я нашел в Отраде вне опасности».

тенько упомянуть о ней. Сам я ее никогда не видал и наружности ее себе не представляю. Несмотря на то, что некоторое время она овладела вниманием не только сравнительно тесного кружка нашего, но и широких, интересовавшихся общественным движением кругов, неоднократно попадая на столбцы столичных газет, никто как-то мне об ее внешности не говорил. Привлекала она внимание кипучей своей деятельностью. Получив по наследству, еще совсем юной, крохотное именьице, заброшенное в глухой степи Воронежской губернии, она поселилась в нем, чтобы полученное ею образование и недюжинную свою энергию отдать на прогрессивное ведение собственного небольшого хозяйства и на полезную деятельность среди крестьян. Бесплатно лечила она людей и скотину. Сама и в сотрудничестве с приглашенной ею учительницей учила детей и взрослых. Проводила среди крестьян сельскохозяйственные и экономические мероприятия. Подавала юридические советы. Писала для крестьян письма, прошения, жалобы и деловые акты. Принимала на себя хлопоты по их делам перед местными и центральными властями. Не занимая никакой официальной должности, она вскоре приобрела в своей округе громадное влияние среди крестьян, а в глазах уездных и губернских властей – репутацию человека «беспокойного». «Когда красные отнимут у вас ваше имение, тогда вы оцените по справедливости наше к вам отношение!» – сказал ей как-то при одном объяснении воронежский губернатор. Предвидение губернатора исполнилось со временем в полной мере, но я не знаю, какие выводы из этого сделаны Антаевой в отношении справедливости! Но я забежал далеко вперед.

В 1892 году, когда Сережа примкнул к Антаевой, она была всецело поглощена разрешением продовольственной задачи. На этой работе сложилась предприимчивая, решительная и настойчивая группа из Антаевой, Сперанской и Сережи, которая после продовольственной кампании не сложила рук, а взялась за более сложные и ответственные мероприятия.

Переселение крестьян

Голод выявил экономическую необеспеченность крестьянства. Переселение малоземельных на свободные, пустующие земли выдвигалось жизнью как очередная задача внутренней экономической политики. Об этом рассуждали в обществе, писали в прессе, докладывали в земствах. Самочинно и стихийно двинулось в Сибирь и само крестьянство, не дожидаясь, пока вопрос

будет вырешен правительством. Правительство же, пассивное и не склонное к новым широким мероприятиям, в данном случае не только не содействовало расширению и развитию переселений, но определенно ставило препятствия, видимо, прислушиваясь к опасениям помещиков, сетовавших, что с переселением крестьян помещики теряют рабочие руки, необходимые для сельскохозяйственных работ в поместьях.

Создавалось несообразное положение. Волна самовольных переселенцев, докатившись до Тюмени, в то время конечного по направлению к Сибири железнодорожного пункта, ибо Великий сибирский путь еще только строился, создавала там замешательство. Самовольные переселенцы требовали отведения земельных участков, пропитания, помещения, медицинской помощи и пр. и пр.

Правительство, как правило, запретило переселение, но ему волей-неволей приходилось обо всем этом заботиться, организовать помощь переселенческой массе, двинувшейся в путь часто не только без ведома властей, но и прямо вопреки категорическим запрещениям.

В Тюмени был правительственный переселенческий чиновник, проявлявший в своем трудном положении много доброй воли и заботливости и сделавшийся весьма популярным среди переселенцев. «Главному начальнику самовольных переселений», – адресовали они ему свои заявления, не отдавая себе отчета в иронии, заключавшейся в этом наименовании.

В такой-то обстановке задумала Антаева после голодных лет организовать частными средствами переселение в Сибирь значительной группы (до 1000 душ) малоземельных крестьян из Воронежской губернии. Антаева с ходоками ездила в Сибирь выбирать места, а затем и сопровождала переселенцев. Сережа финансировал это дело (15000 руб.). Оно потребовало больших хлопот, но проведено было вполне благополучно.

Вероятно, на карте Западной Сибири и теперь можно найти деревню Антаевку, названную переселенцами так в память об их попечительнице.

Выступление Антаевой было не единственным в своем роде. В Самарской губернии орудовавшая в имении Е. В. Пустошкина Е. А. Котляревская также организовала переселение некоторой группы.

За организацию переселений брались, помнится, и земства. В газетах упоминалась также деятельность некоего Нечволодова, которая приняла весьма широкий размах. Не располагая сам

никакими средствами, он принужден был покрывать свои издержки по переездам и по содержанию своему из сумм, собиравшихся им специально на то с переселяемых крестьян. Это подало повод к обвинению его в эксплуатации переселенческой нужды. Несправедливое обвинение это, подхваченное прессой, очень взволновало А. И. Чупрова, сочувствовавшего проявлявшейся обществом инициативе в переселенческом деле. По его просьбе К. Ф. Федяевский специально обследовал деятельность Нечволодова, оказавшуюся вполне бескорыстной и заслуживавшей всякого сочувствия.

Я упоминал о первой встрече нашей с А. А. Корниловым и Д. И. Шаховским. С первым мы провели затем ряд операций по помощи голодающим. Впоследствии мы издали его книгу «Молодые годы Михаила Бакунина» и «Историю России XIX в.».

С обоими мы впоследствии сблизились по «Союзу Освобождения»[10].

Голодные годы свели нас еще с Александром Генриховичем Штанге, всецело отдавшим себя заботам по кооперированию павловских (Нижегородской губернии) слесарей-кустарей[11]. Материнская ли преданность его этим людям, условия существования которых он изучил до мельчайших подробностей, или фанатическое служение идее кооперации, не знаю, но у А. Г. Штанге, казалось, не было других интересов, не было совсем личной жизни вне круга забот о павловских кустарях. Человек с высшим образованием, хорошо природно одаренный, он уныло молчал и наводил тоскливую скуку, когда ему почему-либо нельзя было говорить о павловских кустарях. Но зато, когда ему удавалось привлечь внимание к своим опекаемым, он оживлялся и становился интересным. Это был один из ранних кооператоров, отдававших свои силы отдельным людям или группам людей. После 1905 года кооперативное движение у нас получило громадный размах и приняло другие формы. Притекли большие средства, выступили новые и многочисленные деятели; оживилось законодательство; появились кооперативные банки, съезды, курсы. То, что достигалось громадными усилиями отдельных, преданных движению одиночек, стало рядовым явлением, не требовавшим особых усилий.

Сережа и Сергей Тимофеевич Морозов (основатель Кустарного музея в Москве)[12], с которым мы через Штанге познакомились, на протяжении ряда лет финансировали Павловскую артель. Затем, с оживлением кооперативного движения и открытием банковского кредита, надобности в таком содействии со стороны частных лиц уже не было. Мне было приятно прочесть на днях в

«Известиях», что Павловская артель процветает и по настоящее время носит имя своего изначального рачителя – А. Г. Штанге.

Совместно с А. Г. Штанге, С. Т. Морозовым и другими сочувствовавшими кооперативному движению лицами мы участвовали в создании акционерного общества «Союз» для торговли исключительно кооперативными товарами.

Настроения, порожденные голодными годами

Как ни оценивать роль частной и общественной инициативы в оказании помощи голодающим, конечно, она была лишь каплей в море и имела преимущественно значение возбудителя правительственной деятельности. При колоссальном размере бедствия справиться с возникшими задачами могло только правительство мероприятиями государственного масштаба. В конечном счете только ими и устранена была катастрофа. Однако беспечность и нераспорядительность центрального правительства и местных властей повели к тому, что населению пришлось перенести больше страданий, нежели это было неизбежно в силу сложившихся обстоятельств. Нельзя было дольше мириться с косностью крестьянского хозяйства, убогой необеспеченностью, бесправием и темнотою населения. Всякому непредубежденному человеку стало ясно, что правительство не на высоте задач. Мысль, естественно, направлялась к упорядочению всей нашей государственной системы. Голодные годы вывели широкие общественные круги из реакции, в которой они находились, и вернули их к политике, что и проявилось вскоре при воцарении нового императора.

Глава реакции Победоносцев верно учуял нарастающие настроения и в письме к Александру III, ходившем по рукам в многочисленных списках, указывал царю на политическую опасность охватившего общество движения. Если кто еще сомневался, что правительство имело свои, особые от страны и народа интересы, то это письмо окончательно рассеивало эти сомнения. Письмо Победоносцева сыграло роль «агитки», как бы теперь выразились.

Холера

Беда родит беду. За двумя следовавшими друг за другом неурожаями на истощенное недоеданием население надвинулись недомогания и болезни. Появилась азиатская холера. Проникнув

сначала в Астрахань, она быстро поднялась вверх по Волге на север и перекинулась в самый Петербург.

Утомленное и невежественное население стало терять равновесие, заволновалось. В Астрахани и в Царицыне произошли беспорядки с призывом войск для их усмирения. В Саратовской губернии разбушевавшаяся толпа убила врача...

Ученик (бывший) Николая Васильевича Сперанского Ефрем Васильевич Пустошкин, в имении которого Давыдовка Николаевского уезда Самарской губернии в эти годы работали сестры Котляревские (Анна Андреевна врачом и Екатерина Андреевна – по столовым для голодающих), так вспоминает эти тревоги:

«С весны 1892 года началась холера. Каково было положение врачей в это время, показывает судьба врача Молчанова, убитого толпою по подозрению в отравлении воды городского водопровода в г. Хвалынске, в 35 верстах от Давыдовки. Анне Андреевне Котляревской помогло в этом случае то, что за полгода, прошедшие со времени ее приезда, население попривыкло к ней, научилось любить ее и уважать ее работу».

С самим Ефремом Васильевичем Пустошкиным произошел тогда следующий характерный эпизод.

«Приходят ко мне человек двадцать давыдовских крестьян.

– Мы к вам, Ефрем Васильевич, от стариков!

– Что нужно?

– Да вот, у вас в больнице служит сиделкой Настасья Максимова. Мы просим уволить ее и отца ее, Федора, плотника.

– По какой причине?

– Да так. Они не наши. Другого села. Пусть ищут себе работы в своем месте.

– Я ничего плохого ни от Федора, ни от дочери его не видел. Анна Андреевна ее хвалит. Уволить их я не могу и не уволю.

Раздается голос из стоящих сзади: «Ну вот что, Ефрем Васильевич! И вы не боитесь? А то ведь разговоры всякие ходят!»

В это время действительно ходила молва, что помещики нанимают врачей и других подходящих людей отравлять крестьян, чтобы меньше было народу и не так чувствовалась земельная теснота». (Из рукописи Е. В. Пустошкина.)

Было с чего прийти в отчаяние, когда через тридцать лет после своего освобождения крестьянство оказалось и нищим, и невежественным, а теперь наконец готовым растерзать немногих самоотверженно спешивших ему на помощь интеллигентов...

Обреченной гибели выявлялась вся русская культура, ничтожно тонким слоем покоящаяся на таком зыбком основании!

В такой-то удручающей атмосфере прозвучала в ту пору знаменитая теперь, проникнутая чувством роковой обреченности шестая симфония П. И. Чайковского, оказавшаяся его лебединой песней. 16 октября 1893 года он впервые продирижировал ее в Петербурге перед изумленной публикой, а 25 октября 1893 года его не стало...

Голодные годы знаменуют решительную перемену в общественных настроениях. Обаяние народничества блекнет, и наступает увлечение марксизмом. Вместо постепенной легальной, культурной работы восьмидесятников в деревне общественная мысль в 90-е годы склоняется к нелегальной пропаганде среди рабочих на фабрике. Вместо эволюции во главу угла ставится революция. Подпольно создавалась Социал-демократическая рабочая партия. Работа в этом направлении Плеханова и Ленина общеизвестна. Одновременно на авансцену выступают и «легальные марксисты» (Струве, Туган-Барановский, Булгаков)[13], используя для своих выступлений все представлявшиеся возможности. Мне вспоминаются несколько их выступлений.

Стычки марксистов с народниками[14]

Жалобы сельских хозяев на разорение не прекратились и после минования засушливых неурожайных лет. При урожае падали цены на хлеб, и сельские хозяева продолжали стонать от убытков даже при обилии хлеба. С. Ю. Витте как министр финансов, осаждавшийся всякими жалобами, прошениями и проектами, пожелал разобраться основательно в положении нашего сельского хозяйства, и в частности, во влиянии цен на хлеб на различные стороны народного хозяйства и на обеспеченность разных слоев населения. Он обратился к группе статистиков с Чупровым и Посниковым во главе с предложением произвести для Министерства финансов соответствующее исследование. Оно и вышло в свет в больших двух томах в 1897 году[15].

Появление этой книги вызвало целую бурю, что, впрочем, весьма понятно, ввиду тех больших интересов, которых она касалась.

Помещики и крестьяне как производители хлеба, его продающие, естественно, заинтересованы в высоких ценах на хлеб. Но их интересы взаимно противоположны в вопросе о стоимости аренды и рабочих рук, в свою очередь, находящихся в зависимо-

сти от цен на хлеб. Рабочие и вообще городское население, покупающее хлеб, очевидно, кровно заинтересованы в удешевлении хлеба. Дело еще осложняется тем, что многие крестьяне для оплаты государственных повинностей бывали вынуждены осенью продавать хлеб, нужный им для пропитания, и весной вновь покупать его уже по повышенным ценам, что ведет к тому, что один и тот же крестьянин бывает заинтересован осенью в высокой цене хлеба, а весной в низкой.

На книгу яростно набросились и аграрии (Суворин – «Новое время»[16], Пихно – «Киевлянин»[17]), и марксисты, начинавшие в то время овладевать у нас вниманием интеллигенции и рабочих. На этой легальной почве им особенно удобно было дать бой их принципиальным противникам – народникам.

В Вольном экономическом обществе состоялся ряд распространенных заседаний, посвященных обсуждению книги. Дебаты велись с необычайной страстностью. О них печатались отчеты в газетах. ВЭО выпустило стенографический отчет прений[18]. Многие москвичи ездили в Петербург на эти волновавшие общество заседания.

Около же этого времени Туган-Барановский на диспуте в Московском университете защищал свою диссертацию по истории фабрики в России. Этот диспут, на котором я был и который прошел очень хорошо, дал вновь двум враждующим экономическим школам возможность открыто, на легальной почве помериться силами. Особенно поразило выступление П. Б. Струве, который в нарушение всяких традиций выступил с речью после того, как высказались все оппоненты, и после того, как диссертант дал свой ответ на их возражения. Тоном прорицателя, которому известно будущее, Петр Бернгардович, приветствуя своего друга и единомышленника, сулил ему большие успехи в избранном им направлении работ.

В свою очередь, народники выступили с диссертацией Каблукова об условиях развития крестьянского хозяйства[19], подвергшейся на диспуте нападкам марксистов, не проявивших при этом глубокого знакомства с крестьянским хозяйством и в своей критике преимущественно исходивших из априорных положений.

Надо отметить, что главные застрельщики легального марксизма недолго продержались на своих позициях: П. Б. Струве вскоре заделался «освобожденцем» и в качестве такового оказался учредителем Конституционно-демократической партии, а С. Н. Булгаков так принял священство[20].

Костинские начинания

Я уже неоднократно говорил про имение Костино в Покровском уезде Владимирской губернии. Это было чисто лесное имение – «лесная дача», как тогда говорили. Отец купил его совместно с лесопромышленником Высоцким во время сооружения Нижегородской железной дороги, на которую они поставляли лесные материалы.

После смерти Василия Никитича опека выкупила часть, принадлежавшую Высоцкому, а затем после выдела, сначала сестер, а потом старшего брата, имение целиком осталось за мной и братом Сережей.

Ни запашки, ни какого другого хозяйства, кроме эксплуатации леса, в имении в наше время не производилось. Однако в «дореформенное время», т. е. до освобождения крестьян, значительные площади, занятые при нас лесом, были под пахотой, о чем красноречиво свидетельствовали встречающиеся всюду в лесу старые полевые межи, отделявшие когда-то друг от друга крестьянские полоски, да волнистая поверхность почвы, обычная на крестьянских полях округи.

В 1880 году известный в то время лесовод Жудра по приглашению Кати произвел у нас таксацию леса и составил план лесного хозяйства. Затем, в силу изданного Александром III лесоохранительного закона, таксация и план хозяйства каждые десять лет заново пересматривались по нашему приглашению каким-либо компетентным лесоводом (профессором Морозовым, например) и представлялись на утверждение Лесоохранительного комитета.

Фельдшерский пункт в Костине

Во время холеры мы создали в Костине фельдшерский пункт с бесплатным приемом по всем болезням, пригласив для работы бывшую фельдшерицу сутковской больницы Софию Сергеевну Огуз. Под амбулаторию и под ее квартиру были сняты избы на деревне. Неутомимая С. С. Огуз, по мужу Рапопорт, развила в Костине кипучую деятельность и, несмотря на свое еврейское происхождение, завоевала себе горячие симпатии среди склонного к старой вере окрестного населения. Посещаемость ее амбулатории наглядно выявила настоятельную нужду в организации постоянной медицинской помощи.

Мы решили открыть в Костине бесплатную лечебницу с врачом во главе и пригласили Е. П. Косминкову, которая и приняла

от Огуз амбулаторию костинскую. Оставив Костино, С. С. Огуз уехала во Францию, где в Монпелье закончила свое медицинское образование. Затем, уже в качестве врача, она работала в рабочих кварталах Парижа, где и кончила свои дни, снискав горячую любовь населения этих кварталов.

Но открываемую больницу нельзя уже было разместить как амбулаторию Огуз в крестьянских избах на деревне. Был составлен план постройки больницы на 10 кроватей с родильней в 2 койки, операционной, кухней, людской, баней и домом врача. При больнице спроектированы две фельдшерские квартиры о двух комнатах каждая, ванная для тяжелых больных, аптека, амбулатория и перевязочная. Потом к этим постройкам присоединились заразный барак и мертвецкая, в которой могли производиться вскрытия. Осенью 1893 года под больничную усадьбу отведен и расчищен был участок соснового леса в урочище Замаравка, ближайшем к селу Костино, а зимой заготовлен и завезен на место строительный материал. Постройка производилась летом 1894 года и обошлась в 40 000 руб.

Одновременно решено было построить новое здание школы, обошедшееся в 17 000 руб. Затеяв на 1894 год такие постройки в Костине, мы решили провести в нем лето, чтобы следить за работами.

Но перед рассказом об этом лете 1894 года, для меня имевшем большие последствия, надо еще сказать несколько слов о костинской школе, имевшей целую весьма характерную историю.

Костинская школа

Школа в Костине была открыта, по мысли сестры Кати, еще при опеке. Под нее отведено было старое каменное двухэтажное здание конторы, к которому была сделана двухэтажная же деревянная пристройка, вмещавшая большую классную комнату и квартиру учительницы. Школа включена была в сеть земских школ, Катя приняла на себя попечительство над нею. Она любила делать все обстоятельно, и, сверх денежных отпусков на содержание школы, она озаботилась снабдить школу хорошей библиотекой и всевозможными пособиями.

По постановке преподавания школа считалась одной из лучших в уезде. Казалось бы, оставалось только этому радоваться, но не тут-то было. Не знаю с чего это, но вокруг школы начались всякие интриги. В ведении школы местные власти стали усматривать «тлетворное толстовское направление». Подозрения эти, быть

может, зародились и поддерживались пребыванием в Костине, в течение, впрочем, очень короткого времени, в должности управляющего упомянутого раньше (гл. 2) толстовца Озмидова. Дело повернулось так, что учительнице, приглашенной Катей, пришлось оставить школу. Катя отстаивала ее как только могла и, не достигнув успеха, сложила с себя звание попечительницы. Желая затушить инцидент, уездные деятели предприняли ряд попыток склонить Катю вернуться, но, поскольку не представлялось уже возможным восстановить в должности устраненную учительницу, все эти попытки, понятно, обречены были на неудачу. Школа осталась без попечителя на некоторое время.

Когда мы с Сережей стали по летам жить в Костине и заниматься его делами, общество сельца Костино на сходе постановило просить меня принять должность попечителя. Я сначала уклонился, но по повторной просьбе общества последовал совету Кати и принял попечительство (т. е. согласился баллотироваться в уездном земском собрании), чтобы положить конец затянувшемуся конфликту.

Из двух учительских мест одно было занято Антоном Карповичем Киселевым, другое было свободно, и я на него провел сестру А. Е. Грузинского – Екатерину Евгеньевну Сорокину, уже пожилую, опытную учительницу.

А. К. Киселев был сыном костинского зажиточного крестьянина, державшего в Костине лавку, Карпа Мартыновича Киселева. Это был трудолюбивый, знающий свое дело учитель, умевший успешно проводить класс через всю ту учебу, какая требовалась на экзаменах, и потому он вполне заслуженно был на отличном счету в Училищном совете и у инспектора народных училищ. Его две дочурки (старшая – изумительно на него похожая и в полном смысле красавица), надо думать, либо унаследовали, либо переняли от отца своего его педагогические данные, ибо впоследствии я слышал, что они обе очень выдвинулись, успешно преподавая в одном, повышенного типа, училище в Покровском уезде.

То была медленно складывавшаяся в недрах деревни собственная крестьянская интеллигенция, не отрывавшаяся от деревни, а остававшаяся в ней, для которой служба в деревне не была жертвой, а жизненным успехом. Психологически прямая противоположность тем учительницам с высшим образованием (вроде М. Л. Чуйковой), которые, имея все возможности легко и приятно провести жизнь в столице (частными уроками или службой в городских школах или средних учебных заведениях), поки-

дали город и зарывались в чуждую им деревенскую глушь, чтобы внести знание и мысль в это застоявшееся болото.

Для Антона Карповича училищное начальство было неоспоримым авторитетом, указания которого следовало исполнять возможно старательно и точно. Екатерине Евгеньевне весь Училищный совет казался в достаточной мере невежественным в педагогических вопросах и, во всяком случае, проникнутым устарелыми, ретроградными взглядами, почему надо вести преподавание, возможно менее стесняя себя предписаниями начальства. Один дорожил мнением о себе начальства и движением по службе. Для другой, добровольно отказавшейся от лучших условий в городе, вопроса о движении по службе вовсе не существовало. Один старательно обставлял свой домашний быт возможными удобствами (весьма скромными, разумеется) и тем, что, как ему казалось, возвышает его над общим уровнем и делает жизнь приятней. Другая проявляла равнодушие ко всем благам быта чисто спартанское, сказал бы я, если бы оно с 60-х годов до середины 90-х годов не было типичной особенностью идейной русской интеллигенции.

Новые тюлевые занавески у Антона Карповича казались Екатерине Евгеньевне раздражающим мещанством, тогда как некоторые городские привычки Екатерины Евгеньевны воспринимались Антоном Карповичем как изнеженность и барство.

Однако, несмотря на это различие в характерах обоих педагогов, дело у них все же пошло. Они пришли к соглашению, чтобы каждый проводил своих учеников по всем предметам от первого до выпускного года. Разница в преподавании могла поэтому отразиться на уровне знаний и развитии выпуска каждого из преподавателей, но не создавала для учеников затруднений от перехода от одной системы к другой, что было бы неизбежно при другом распределении работы. К тому же Екатерина Евгеньевна была человек поживший и уставший, не склонный к борьбе, а Антон Карпович дорожил своим местом, уважал права и общественное положение попечителя и был поэтому сговорчив. В свою очередь, я, за своими университетскими занятиями, склонен был мириться с создавшимся сносным компромиссом и отложить всяческие преобразования в школе до будущего времени.

Но в школе еще было третье лицо – законоучитель, священник из Богаевского погоста о. Константин, прозванный нами Вельзевулом по вреду, причиняемому им делу. Он претендовал на руководящую роль в школе, и прежние обвинения школы в толстовстве и даже нигилизме давали ему повод вмешиваться

в общее ведение школы. Ободряла его к этому, можно думать, и моя студенческая тужурка, которая, конечно, по воззрениям того времени, мало шла для лица, облеченного званием попечителя. Будь я тогда житейски опытнее, я нашел бы путь умерить ретивость батюшки, но я еще был наивен. Вокруг школы опять разгорелись интриги, и Екатерина Евгеньевна, опасаясь повторения с нею истории отстранения ее предшественницы, весной 1894 года предпочла сама оставить школу.

Косвенное значение в обострении конфликта могла сыграть организованная нами в голодные годы продажа через школу муки по заготовительным ценам нуждавшимся костинцам и попинцам. Эта операция, конечно, лишала лавку Карпа Мартыновича Киселева некоторых доходов. Операция была поручена нами Е. Е. Сорокиной, чтобы не ставить Антона Карповича в щекотливое положение перед отцом. Но последний, минуя не участвовавшего в операции и вообще вполне бескорыстного сына, мог оказать свое влияние старшины и богатого прихожанина непосредственно на о. Константина, впрочем, по склонности своей к интригам и не нуждавшегося в особом поощрении.

Приходилось вступить в открытый бой со всякими закулисными интригами. Решено было мне отказаться от попечительства в земской костинской школе, прекратив и свои на нее ассигнования. Одновременно открыть в Костине собственную частную бесплатную школу в новом здании на территории нашей усадьбы, с повышенной программой, ночлежкой для дальних школьников и столярной мастерской, в совершенно обновленном составе преподавателей. Это, естественно, должно было повести к перечислению земских ассигнований на содержание школы с Костина в другой какой-либо пункт и к переводу туда и преподавателей земской школы.

София Васильевна Сперанская, принужденная год тому назад оставить антаевскую школу по расстроенному после работы голодных лет здоровью, кончала за границей курс лечения и охотно согласилась принять на себя должность старшей учительницы в новой школе. Второй учительницей намечена была опытная преподавательница меленковской (если не изменяет мне память) женской прогимназии Домна Давыдовна Мельникова.

Самое трудное было устроиться с преподаванием Закона Божия – предмета по тому времени совершенно и безусловно обязательного. Спасский батюшка, старичок о. Николай сначала было согласился взять на себя уроки Закона Божия в новой школе. Наша усадьба и часть самого с. Костина относились к приходу

села Спаса, и потому такое устройство, вполне нормальное и согласное обычаям, не должно бы было встретить возражения со стороны начальства. Однако старичок о. Николай, подумав, отказался, опасаясь, как он и не скрывал, происков со стороны богаевского о. Константина. Охотился зять о. Николая, молодой, недавно принявший священство из семинаристов, священник в селе Аннино. Но и он оглядывался на Богаевский погост. Мы с ним ездили даже к благочинному[21] и заручились его согласием. И все же архиерей Владимирский Сергий, к которому восходило прошение об утверждении законоучителем к нам священника села Аннино, невзирая на благоприятное заключение благочинного, отказал в утверждении его «в обход приходского священника» (т. е. о. Константина). «Сергей учен, да мало толчен!» – воскликнул раздосадованный аннинский кандидат мой. Так будто бы про архиерея нашего выразился один из митрополитов, отмечая его малую административную гибкость. Кончилось тем, что мы взяли в школу на место законоучителя не священника, а семинариста, который взял на себя еще и преподавание пения.

Училищное начальство

Из-за этих трений мне пришлось перезнакомиться со всем училищным начальством – уездным и губернским. Уездный предводитель дворянства, по должности председатель училищного совета; учитель городского училища, по должности делопроизводитель училищного совета; протоиерей собора, по положению член совета; благочинный, архиерей, инспектор и директор начальных училищ! Со всеми пришлось говорить о школе и не один раз.

Все это училищное начальство производило впечатление людей забитых и запуганных, ежедневно ждущих неприятностей, робеющих при всяком, самом вздорном доносе.

Инспектор училищ А. Н. Казанский был человек с высшим образованием. Он окончил Петровскую академию[22] и когда-то, несомненно, проявлял серьезные научные интересы. После его смерти семья его продала за приличную цену в Америку собранную им коллекцию бабочек. Сухорукий и очень занятый служебными обязанностями, он, вероятно, собрал ее еще до поступления на службу инспектором. Но и в то время, когда мне пришлось обращаться к нему как к инспектору, он держал у себя на полках, к примеру привести, «Птиц России» Мензбира. Совмещение в моем лице издателя этой книги, местного землевладельца, студента – слушателя Мензбира и попечителя подведомственной ему

школы, вокруг которой сплетаются какие-то интриги, на первых порах его как будто озадачило.

Он, несомненно, искренне желал содействовать налаживанию школы и хотел проявить себя просвещенным администратором перед профессорскими кругами, с которыми, как он видел, мы близки и перед которыми продолжал чувствовать некоторое благоговение. Но он беспомощно робел и перед кляузником о. Константином, и перед высшим училищным начальством. А служба наложила на него такую тень, что он, и не думая, конечно, портить себе в моих глазах, рассказывал мне, как он, объезжая школы, приказывает ямщику подвязывать колокольчики, чтобы внезапно нагрянуть в школу и врасплох захватить учителей.

Губернское правление[23]

Из всего начальства губернского, с которым привелось тогда сталкиваться, вице-губернатор князь Урусов произвел на меня, пожалуй, наиболее благоприятное впечатление. Когда я, изложив свое дело, просил его продвинуть его поскорей, он мне простодушно ответил: «У меня в месяц в среднем проходит столько-то дел. Вы понимаете, что они меня утопят, если я им дам хоть сутки лишние залежаться. Нет, в этом-то вы можете быть покойны – ваши бумаги пошли в машину и пойдут безостановочно помимо моего вмешательства».

Он оказался любителем старины и был первым, кто обратил мое внимание на Дмитровский собор с его удивительными поясками на стенах.

Обращаться к вице-губернатору пришлось мне не по школьным, а по больничным делам. Наша больница уже кончалась стройкой, когда выяснилось, что она должна будет подпасть под действие утвержденного 10 июня 1893 года Устава лечебных заведений Министерства внутренних дел. Это бюрократическое произведение директора медицинского департамента Рагозина и министра вн. дел Дурново ставило себе целью урезать права общественных учреждений. Устав не получил одобрения Государственного Совета и все же был утвержден Александром III, принявшим, как он это иногда делал, мнение меньшинства Совета. В воспоминаниях Д. Н. Шипова[24] можно (на стр. 115 и 116) прочесть любопытную историю этого устава, встретившего дружное противодействие земств, не получившего опоры даже в губернском присутствии[25] и, по словам Д. Н. Шипова, положенного в конце концов под сукно.

Костинская больница открывалась как раз в самый разгар борьбы вокруг этого злополучного устава. Мы позондировали настроения и убедились, что при обострившейся борьбе этой нет никаких шансов осуществить больницу нашу, не подвергая ее действию нового устава. В то время как земства в результате борьбы в конце концов отбились, наша костинская больница должна была открыться по новому положению, в силу которого не только врачебный персонал этой частной лечебницы необходимо было представлять на утверждение губернатора, но даже сиделок и прислугу. Любопытно отметить, что последнее все же вопреки категорическому требованию устава нами никогда не делалось, и само губернское начальство , по-видимому, находило это лишним.

Первая встреча с Софией Яковлевной

Был четверг на Страстной неделе (1894 г.), когда я, покончивши свои университетские работы, вырвался из Москвы и в бодром весеннем настроении подъехал к костинскому большому дому с чемоданчиком вещей и книг и завернутым в рогожевый кулечек окороком для Якушкимых, живших во флигеле, у которых предполагал столоваться, так как мы своего хозяйства в Костине не заводили. В доме никого не было, и я со своим подношением поспешил во флигель, где, очевидно, находился у Якушкиных Сережа, приехавший в Костино накануне вместе с А. В. Сперанским. Я был встречен общим веселым смехом, и Евгений Евгеньевич, встав из-за стола, за которым все чай пили, давясь от смеха и изгибаясь, как у него это бывало в смешливом состоянии, взял у меня кулек с окороком. Оказывается, и Сережа, и А. В. Сперанский вчера каждый уже презентовали по окороку! Мой был третий!

Пока я здоровался со всеми, я заметил незнакомую мне девушку, в смущении смотревшую на сцену моей встречи, не зная, принять ли ей тоже участие в общем хохоте или скрыться за дверь в соседнюю комнату. Сидевший за ее спиной на подоконнике Сережа, по-видимому, ее чем-то смешил.

– София Яковлевна Лукина, новая костинская фельдшерица, – представила мне ее Евгения Павловна Якушкина, принимая на себя роль хозяйки.

Вскоре беспроволочный телеграф, даром что он еще не был к тому времени изобретен, уже докладывал сестрам моим, Кате и Нине, что у «мальчиков» в обществе, собравшемся в Костине, появилась молодая незнакомка, «замечательно жизнерадостная»,

как охарактеризовала ее Кате в Суткове М. А. Чуйкова, навещавшая в Костине Е. П. Косминкову.

Общество в Костине летом 1894 года

В Костине в то лето (1894 г.) образовалась целая маленькая колония дачников. Екатерина Павловна Косминкова с семьей Якушкиных в так называемом «Якушкинском» флигеле. Там же жили С. Я. Лукина и юная, очень милая бонна Вера Николаевна при старшем сыне Якушкиных Вече*. У Софии Яковлевны гостили сестра ее Людмила и Инна Львовна Хитрово. В противоположном флигеле управляющего Виктор Станиславович Ижицкий, вскоре привезший к себе жену – Любовь Михайловну, урожденную Борисову, свояченицу А. Е. Грузинского. В большом доме – мы с Сережей. В старой школе – женщина-врач А. А. Котляревская с матерью и братьями С. А. и И. А. Котляревскими. Там же, у учительницы Е. Е. Сорокиной, гостили А. Е. Грузинский с женой Анной Михайловной. Сверх того, ввиду близости к Москве, часто приезжали знакомые погостить: А. В. Сперанский, с которым Сережа, бросивший юридический факультет и перешедший на физико-математический, в это время особенно близко сошелся; С. В. Сперанский, С. П. Ордынский, Е. Н. Щепкин с братом своим Вячеславом Николаевичем.

Все друг с другом были дружны. Днем каждый был занят своим делом, а вечером обыкновенно собирались вместе – либо на прогулку, либо на игру в парке.

Процветали кегли, но были любители поспорить и в крокет, которым особенно увлекался С. А. Котляревский. Обыкновенно Виктор Станиславович первым являлся в парк и подавал сигнал к сбору, катая шары. Публика долго ждать себя не заставляла. Если я был дома, я складывал своего Карла Маркса, которого в это лето читал, и спешил вниз. Если призывной шар заставал меня на стройке, то я спешил в парк, не заходя домой. Сережа, помнится, изучал органическую химию по Зилову и много разговаривал с А. В. Сперанским по поводу пройденного.

В праздники ходили на охоту за тетеревами, а то по грибы. В то лето особенно много было груздей. Евгений Евгеньевич с увлечением ходил «брать грибы и ломать грузди» (не собирать). «Так говорят», – настаивал он.

* Веча – Вячеслав Евгеньевич Якушкин.

Лето было исключительно дождливое. Шли не ливни, а мелкие перемежающиеся дожди, не мешавшие, впрочем, работе на стройках. Мы редкий день не промокали на стройке и так свыклись с этой теплой мокротой, что не отказывались из-за дождя ни от игр в парке, ни от походов по грибы. Когда же усилившийся дождь загонял собравшуюся компанию под крышу, то за общим чаем устраивались другие развлечения. С. А. Котляревский преуморительно изображал своих университетских профессоров – номер, который демонстрировался всякому вновь приехавшему. А то три Сергея (Сабашников, Котляревский и Ордынский), предварительно сговорившись, а то и экспромтом, начинали между собой спор, каждый нарочно отстаивая самые неожиданные взгляды. Женское общество, что и требовалось доказать, приходило в волнение, одни вскипали, другие впадали в грусть от «современных новых течений», попадались иногда и не посвященные в игру мужчины, вроде А. Е. Грузинского или И. А. Котляревского, и тогда, к пущему веселью, они, встревая серьезно в спор, придавали ему особо комический оттенок. Во время этих забав Сережа пустил реплику кому-то из своих женских оппонентов, взывавших к принципам:

– У нас только один, но зато незыблемый принцип – не иметь принципов!

Так за ними это определение «принципиальных беспринципников» на некоторое время и осталось.

Но главной нашей и забавой, и заботой в это лето была постройка больницы и школы.

Постройка больницы и школы. 1894 г.

Писемский в своем рассказе «Плотники» хорошо изобразил тот интерес, который в деревне представляет стройка. Мы всецело отдались ему и торчали на наших стройках, думается мне, больше, чем это требовалось существом дела. За нами и подрядчики наши – Пантюхин из Костина по плотницким работам и Сергей, печник из Семенкова (в 7 верстах от нас), по каменным работам усердствовали всеми силами.

Пантюхин был старый приятель. Еще при отце он в Жуковке неоднократно производил всякие постройки. Детьми мы дружили с его плотниками, которые давали нам на игру стружки и чурки. Они гордо носили свое звание «владимирских плотников», бывавших «со своим Пантюхой» в самом Константинополе даже. Теперь Пантюхин обрюзг и отяжелел. Подбирая длинные полы

темно-синего своего кафтана, он не имел охоты забираться на леса, посылая на место работы своего племянника Егора, честного и исполнительного малого, лишенного, однако, предприимчивости дяди.

Напротив, для Сергея было внове брать подряд. Капиталов у него не было. Все его расчеты строились на его необычайной сметливости и неутомимой работе. «Сбегать» в Покров за 12 верст пешком этому подрядчику-предпринимателю ничего не стоило.

Наш архитектор Н. Н. Голубев, специалист по отоплению и вентиляции, спроектировал печи для каждого помещения по специальному расчету, дав каждой печи особый чертеж. Сергей, печник с малолетства, сначала скептически относился к этим чертежам.

– Помилуйте, неужели нам не знать, как голландскую печь сложить! Не то что без чертежа – в темноте, без света отлично сложим!

Но когда он сложил основание первой печи по-своему, не заглядывая в данный ему чертеж, и Н. Н. Голубев заставил его кладку перебрать, Сергей проникся почтением к чертежной науке.

– Этот добьется своего! – сказал мне про него Н. Н. Голубев, уходя со стройки после разговора с Сергеем, и затем, обращаясь к нему, поощрительно спросил: – Скоро, Сергей, дом себе в Москве заведете!

– И в гласные Думы тогда выбирайтесь[26], – добавил я. Сергей улыбался, и, казалось, эти пожелания не слишком далеки были от его честолюбивых мечтаний.

Наше расхождение с братом Федором. Его поездка в Сибирь

С братом Федором дороги наши уже окончательно разошлись. Мы не переписывались, знали друг о друге только по случайно доходившим стороной слухам да по редким встречам, когда он приезжал в Москву, или мы бывали у Николая Васильевича Сперанского в Париже. Тогда я, обыкновенно, навещал брата по приезде в Париж и перед отъездом оттуда.

В 1896 году (весной) я застал у Феди даму полусвета Д., с которой он в то время сошелся. Он был в хлопотах, собираясь во вторую свою поездку в Сибирь. Постоянно он куда-то уходил, и в течение всего моего посещения я преимущественно оставался в обществе Д. Это была уже не молодая лет сорока (с лишком) бельгийка, когда-то, вероятно, если не красивая, то интересная...

Когда я собрался уходить, Федор сказал мне, что он уже взял билет в Иркутск и просит меня в день его отъезда отобедать с ними на квартире его дамы. Я обещал Д. прийти и записал себе ее адрес. Это был особняк, сказать бы по-московски, hotel*, как говорят парижане, на очень фешенебельной улице Champs Elisées**. В назначенное время я явился. Лакей провел меня в гостиную, где я нашел Д. одну. Феди не было, но он скоро явился. По всему видно было, что отъезд в Сибирь знаменовал собой для обоих не временную разлуку, а полный и окончательный разъезд. Все было, очевидно, уже давно вырешено между ними, и тем не менее расставание обоим давалось очень тяжело. Я понял, что Федор совсем разорился, что поездка в Сибирь ради восстановления падающих золотопромышленных дел – это последняя ставка. Если она скоро не даст какого-нибудь головокружительного благоприятного оборота его делам, то ему больше уже не на что рассчитывать. В таких обстоятельствах хвататься за незнакомые ему отдаленные и трудные золотопромышленные дела все равно, думал я, что при нужде в деньгах покупать выигрышный билет... Обед был изысканный, с винами и ликерами к кофе. Прошел он, конечно, невесело. Д. едва удерживалась от слез. Федор сидел насупившись. Когда же настал час для отъезда на поезд, разразилась настоящая истерика. Федя просил меня остаться после его у Д., пока она несколько успокоится. Я охотно согласился. Не провожать Федю на вокзал означало бы проявить полное к его положению безразличие, а при проводах неминуемо было встретиться на вокзале с компанией его так называемых друзей, с которыми мне не хотелось встречаться, тем более показываться с ними в публичном месте. Федя уехал. Мы постояли в передней, прислушиваясь к топоту лошади, увозившей его на вокзал, а затем тихо вернулись в столовую, к неприбранным остаткам обеда.

Д. налила в наши бокалы шампанское, и мы выпили без охоты, как бы машинально. Вдруг раздался звонок. Внесли громадную корзину цветов, последнее прости от Феди. Д. залилась вновь слезами, и мне казалось, что из всего окружения брата она единственный человек (я Пиуматти ставлю совсем особо), который к нему относится хорошо. С простодушием и неожиданной откровенностью Д. стала мне расхваливать Федину деликатность, говоря, что еще никогда не встречала к себе такого отношения. Теперь, испытав, как мужчина может быть хорош к женщине, она

* отель (фр.).

** Елисейские Поля (фр.).

не представляет себе своего будущего устройства... «Ведь вы не знаете, какие они все мерзавцы», – добавила Д. И. Сотрясаясь от всхлипываний и рыданий, чтобы «развлечь меня», она выложила на стол пачку фотографий своих самых красивых и эффектных товарок, во всевозможных костюмах и положениях, не исключая костюма Евы. Среди них оказалась и фотография Д., в полном обнажении. «Saba»* (так Федю называли в Париже) не хотел бы, чтобы я вам это показывала», – сказала Д. и залилась опять слезами... Становилось светло, когда я, обещав Д. наведаться к ней еще раз, вышел из ее душной, как мне казалось, бонбаньерки-дома на широкую аллею Champs Elisées. Никогда перспектива этой аллеи, замыкающаяся Триумфальной аркой, не казалась мне такой красивой.

* Саба.

Глава 5

ПОКУПКА ЗАВОДА. МОЯ ЖЕНИТЬБА (1896 – 1900)

Покупка Любимовки

Средства сестры Нины ко времени ее замужества были вложены в разные предприятия, в которых она не располагала достаточным весом, чтобы представитель ее интересов, муж ее, мог в них играть руководящую роль. Такое положение не могло удовлетворять Алексея Владимировича, человека молодого, подвижного, легко увлекающегося и, естественно, желавшего расширить сферу своей деятельности. По участию своему в Корюковке, присмотревшись к сахарным делам и сведя в Москве дружбу с молодым еще тогда будущим наследником сахарозаводчика И. Г. Харитоненко, Павлом Ивановичем Харитоненко, Алексей Владимирович задумал сам построить свеклосахарный завод в своем имении в Курской губернии. Конечно, его имение представляло слишком недостаточную базу для основания даже самого маленького завода, хотя бы так называемого сельскохозяйственного типа, с идеей которого в то время носились землевладельцы и сочувствовавшая им пресса, настаивая на установлении специальных льгот и поощрений таким «некоммерческим» заводам. Но недостаток собственной земли для обеспечения завода плантациями бурака, казалось, легко восполнялся привлечением к посеву бурака имений зятя Алексея Владимировича Сергея Ивановича Жекулина и многих соседей помещиков, с которыми Алексей Владимирович находился в дружественных, а частью даже в родственных отношениях. Мысль о постройке завода, опирающегося на «кооперацию» соседних имений, ценность которых должна была оттого значительно возрасти, встретила общее сочувствие в районе Борщня, и задуманный завод стал возводиться.

В связи с этим Алексей Владимирович должен был, конечно, озаботиться освобождением жениных средств из предприятий, в

которых они были вложены. Прежде всего Алексей Владимирович побудил Нину Васильевну оставить «Северный вестник», издание которого она и передала Любови Ивановне Гуревич. Затем он стал настойчиво добиваться скорейшей продажи корюковских паев, а также реализации паев Нины Васильевны в золотопромышленных предприятиях. Но и этого, как вскоре выяснилось, оказалось недостаточно. Увлеченный своими планами, Алексей Владимирович сделал попытку увлечь ими и нас (т. е. меня и Сережу), но мы решительно сторонились от вхождения в новые предприятия, желая оставить себе руки свободными для выбора иного жизненного пути. При том злополучный опыт Корюковки, представлявшей совершенно исключительные возможности и расстроенной неумелым руководством да раздорами пайщиков-родственников, нисколько не располагал к вступлению в новые, такие же родственно-деловые комбинации. Тогда Алексей Владимирович стал обращаться к нам за временными ссудами, на что мы, не скажу, чтобы охотно, но пошли. Возвращение ссуд в срок оказалось, однако, невыполнимым. Нужно было мириться с тем, что они застряли в любимовском деле на неопределенное время. Но этим дело не ограничилось. Чтобы не допустить дело до срыва, приходилось неоднократно в спешном порядке выручать его новыми ссудами. Наши вложения, таким образом, превысив все прочие, внесенные в любимовское предприятие средства, достигали весьма значительной для нас суммы. Оберегая себя, мы предупредили Алексея Владимировича, чтобы он уже не рассчитывал на дальнейшие от нас вклады. Но надежды Алексея Владимировича «обернуться» оказывались несбыточными, и он предложил нам ознакомиться с положением Любимовки по бухгалтерским книгам и личным опросом его доверенного – директора завода Бронислава Викторовича Пиотровского.

В окружении Алексея Владимировича его считали виновником запутанного состояния любимовских дел. Говорили, что он уже не первого хозяина ко дну пускает. Человек в сахарном деле выросший, его отлично знающий, весьма способный и весьма бывалый, он, конечно, не был виновником надвигавшегося на Алексея Владимировича краха. Его репутация «злого гения» или «гробовщика», если она и имела за собой какие-нибудь основания, то проистекала, конечно, от того, что, будучи человеком с большим темпераментом, сильным, склонным к рискованным делам и способным принять на себя большой риск, он не уклонялся от сомнительных, близких к банкротству дел, так как, во-первых, люди, желавшие, чтобы их спасали, конечно, не скупились на вознаграж-

дение и, во-вторых, так как он надеялся на свои силы, на свою находчивость, на проницательность свою и понимание людей и умение на них производить нужное впечатление. А эти способности могли часто выручить и помочь там, где простое планомерное трудолюбие и расчетливое старание оказывалось бессильным.

Объяснения и выкладки Б. В. Пиотровского с очевидностью подтвердили худшие наши опасения. Без какого-либо радикального преобразования дело Алексея Владимировича шло к неминуемому и скорому краху, безнадежно увлекая с собой и наши вложения. Некоторые части завода, неудачно устроенные, требовали переустройства; завод не был обеспечен в достаточной мере плантациями; чтобы вырваться из тисков, наспех приобретались имения, что иммобилизовало средства, обостряя и без того крайнюю нужду в оборотном капитале; нечем было покрыть приближавшиеся значительные срочные платежи фирмам и лицам, от которых нельзя было надеяться на какие-нибудь отсрочки и снисхождения. Предприятие потеряло всякий кредит. Не было источников для проведения сева и обработки плантаций. Для нас стало ясно, что чтобы не допустить краха, нам надо безотлагательно взять завод на себя, то есть приобрести его и уже тогда спасать его всеми имевшимися у нас ресурсами.

Не улыбался нам такой оборот личной жизни, но колебаться и медлить было некогда. До весеннего посева оставалось две каких-нибудь недели, и в случае покупки завода к посеву надо было организоваться. Посоветовавшись с А. И. Чупровым относительно общего положения сахарной промышленности и ее видов на будущее и с «магом-волшебником», как мы прозвали Ал. Дан. Шлезингера (впоследствии директора Купеческого банка), о возможности быстро реализовать ценные бумаги, которые теперь должны были пойти на оздоровление и укрепление свеклосахарного завода, мы в апреле 1896 года кинулись в объятия Любимовки. Мы при этом уговорились с Бр. В. Пиотровским, что он останется у нас на предстоящую «сахарную кампанию», и пригласили В. С. Ижицкого перейти немедля из Костина в Курскую губернию на более широкую роль управляющего имениями при сахарном заводе, на что он охотно согласился.

Мы приняли при этом на себя оплату всех долгов Алексея Владимировича и А. В. Рейнов, за которыми оставалось прекрасное имение при заводе в 2000 десятин земли, состоявшее из трех экономий и включавшее в меньшей своей части родовое имение Рейнов и в большей – земли, прикупленные Алексеем Владимировичем на средства жены. Таким образом, Алексей

Владимирович и Антонина Васильевна выходили из кризиса без существенных уронов. Однако, чтобы благополучно провести такую спасительную операцию и не потерять своих вложений, нам надо было спешно мобилизовать все наши ресурсы и даже прибегнуть к дружественному кредиту сестры Кати и А. Л. и Л. А. Шанявских. Эти позаимствования остались неизвестными посторонним и много содействовали прочности нашего кредита, создавая представление о нашей финансовой мощности. В оформлении юридическом всех сделок нами руководил наш юрисконсульт М. Н. Адамов, и в эту весну мы ряд вечеров провели у него в одноэтажном его домике против Сивцева Вражка в Денежном переулке, редактируя разные документы совместно с его помощником и квартирантом Ал. Вас. Шиловым. Оформив продажу нам завода и двух экономий, Алексей Владимирович весь отдался земской и общественной деятельности. Избранный суджанским уездным предводителем дворянства, он совместно с председателем уездной земской управы П. Д. Долгоруковым принял деятельное участие в открывшемся тогда сельскохозяйственном комитете[1] и стал вскоре широко известен в кругах, интересовавшихся общественным у нас движением.

Отправляясь на лето в Любимовку, мы посетили на прощание Костино. «Любимовка – многозначительное название, – с грустью сказала нам София Васильевна Сперанская, – полюбите и забудете Костино и нас всех со всеми здешними начинаниями. Практическое, живое дело, успех и влияние, приносимые им выгоды – этого было бы достаточно, чтобы увлечь вас на новые пути. А тут еще Любимовка сулит любовь. Не «до свидания» говорю я вам, а «прощайте» и не «поминайте нас лихом». Наши друзья и не в одном Костине ничего хорошего в перемене наших обстоятельств не видели и склонны были считать, что мы совершили ошибку.

Первые шаги в Никольском – Старом Гатище тож

Весной предыдущего 1895 года, приехав погостить к сестре Нине в Борщень, я с ней навестил в ее уединении Лидию Павловну Родственную, племянницу Лидии Алексеевны Шанявской, снявшую на лето вместо дачи заброшенную маленькую усадьбу на перепутье между Любимовским заводом и ж. д. станцией. Дорога туда шла по направлению к ж. д. станции прямо, пересекая долину реки Реут несколько ниже Любимовского завода, который оставался по правую руку. На противоположном возвышенном берегу реки, покрытом густым лесом, красовались в ряд, чередуясь

с крестьянскими деревнями, усадьбы Толмачевых, Никольское, Петровых, Гридино, Колпаково, Иванино. Среди них возвышались три церкви с их колокольнями, из которых колпаковская, построенная, по преданию, самим Растрелли, господствовала над всем пейзажем. Над черной нагретой солнцем поверхностью перепаханного луга, который мы переезжали, быстро колыхался перегретый воздух, образуя тонкую непрозрачную на горизонте полосу, создававшую ложное представление о колеблющемся водном пространстве, – явление довольно обычное в тех местах и называемое марево. Белый никольский домик под красной крышей, утопая в зелени, приветливо маячил перед нашими глазами, пока мы, переехав по мосту реку и обогнув глинобитный, крытый соломой сарай, не въехали в обширный, поросший травой двор. Из кустов, обрамлявших двор, неслись, несмотря на дневное время, трели многочисленных прославленных курских соловьев, а из палисадника по ту сторону дома, обсаженного сиренью, находившейся в полном цвету, шел ее упоительный аромат. Окунувшись в эту захолустную благодать, я стал поздравлять Лидию Павловну с удачным выбором дачи. «Вы не видели еще ни вида с нашей дубовой рощи на горе, ни мельницы, у которой, наверное, русалки водятся!» – отвечала мне, смеясь, Лидия Павловна и тут же откровенно призналась, что ей тут отменно скучно, что не развлекает ее привезенный из Москвы рояль и что она хочет отсюда вырваться. Я стал шутить над ее светскими городскими вкусами, она над моей старомодной романтикой.

«Чему посмеешься, тому и поплачешь, Михаил Васильевич!» – сказала мне Лидия Павловна год спустя, узнав, что мы купили Любимовский сахарный завод и будем жить в этом самом, ей надоевшем, а меня очаровавшем, «Никольском – Старом Гатище тож», как оно официально называлось и значилось на карте.

Когда мы с Сережей после хлопот и волнений московских, связанных с приобретением Любимовского завода, в мае 1896 года приехали на жительство в Никольское, оно уже переменило несколько свой вид. Выполота была трава на дороге перед крыльцом, починены ворота, побелены стены. На крыльце приветливо встретил нас управляющий Виктор Станиславович Ижицкий, занявший одну половину дома, а за нами вслед на паре лошадей подъехал и сам директор Бронислав Викторович Пиотровский, чтобы передать нужные дела и установить порядок занятий. Не забытое старосветское захолустье, а какой-то назревающий центр представляло из себя теперь это прибравшееся Никольское – Старое Гатище тож.

Когда Б. В. Пиотровский и С. В. Ижицкий ушли, мы остались одни во всей нашей половине дома. В просторной, почти лишенной мебели столовой – зале приветливо кипел самовар. У открытого окна стояла банка с роскошными желтыми ирисами, а с перепахиваемого луга в открытое окно доносились крики погонщика волов: цоб, цоб, цоб!

– А тебе не кажется, что все это как будто бы не на самом деле? – спросил меня Сережа.

– Совсем как в романах бывает, – отозвался я.

* * *

Итак, мы погрузились в изучение предприятия и людей, в нем работающих. По утрам мы ездили на завод, где с Брониславом Викторовичем либо осматривали работы, либо обсуждали отчеты, сметы, планы и проекты. Если занятия затягивались, мы иногда обедали у директора. Обычно же мы возвращались обедать домой в Никольское, чтобы вторую половину дня заниматься с Виктором Станиславовичем, дома или в поле. Иногда занятия располагались в обратном порядке. Вечерами, если еще оставалось время и охота, просматривали книги и издания по сахарному делу и по свекловодству: Тавильдарова, Штомана, Скворцова, Шишкина, Стебута, Прянишникова, монографическое описание Мощногородищенского имения Балашева, составленного Филипченко, ежегодник по сахарной промышленности Толпыгина, Записки Киевского отделения импер. технического общества, посвященные по преимуществу вопросам сахароварения.

Осмотревшись в делах, мы скоро увидели, что в погоне за авансами сахара запродано вперед по невыгодным ценам больше, нежели его можно было ожидать с производства. Мы решили заблаговременно освободиться от этих договоров, расторгнув их полюбовными соглашениями с уплатой изрядных «разниц» (отступных) и возвращением авансов, используя, как мы думали, эти расторжения, чтобы продемонстрировать перед сахарным миром финансовую крепость предприятия.

Весьма сложно стояло дело обеспечения завода плантациями. Как я уже говорил, при постройке завода Алексей Владимирович мыслил его как предприятие, опирающееся на бурак, поставляемый из имений кружка соседних помещиков, связанных между собой родственными и дружескими отношениями. Но уже женитьба Алексея Владимировича на богатой внесла в отношения его с соседями некоторое завистливое соперничество. Земская деятельность также не всегда сплачивала бывших друзей. Главное же, что

само предприятие, по существу, своим возникновением и своей деятельностью, на каждом шагу, в каждом отдельном случае выявляло противоположность в интересах сельских хозяев, поставщиков бурака, и заводчика, этот бурак покупавшего. Все, что говорилось при создании дела об участии всех элементов предприятия в его выгодах и о распределении будущих барышей «по справедливости» между «землей и капиталом», не получило при создании предприятия никакого решения и оформления и казалось теперь беспочвенными мечтаниями, сплошной маниловщиной. Плантаторы, ничего не внесшие на создание завода, смотрели на него, как на предприятие им чужое, и желали получить для своих имений в наивысшей мере те выгоды, какие давало соседство с заводом. И прежде всего они добивались высоких цен на бурак и больших авансов. Выступавший же в роли капиталиста-предпринимателя Алексей Владимирович, стесненный в средствах и терпя на первых порах одни только убытки, не имел возможности ни удовлетворить требования плантаторов, ни обойтись без них. В их требованиях он видел измену обязательствам, принятым ими на себя при постройке завода, однако не оформленным деловым образом. Получался сложный переплет родственных, соседских, общественных и деловых отношений, обид, взаимных упреков, зависти и соперничества. Можно было опасаться, что сорвутся совсем плантаторские посевы.

Интересно дать себе отчет в той земельной ренте, какую создавал вокруг себя свеклосахарный завод самим фактом своего возникновения, ибо из-за нее, в сущности, и разгоралась борьба. В нормальном свекловичном хозяйстве в то время полагалось получать урожая с десятины: в озимом клину не менее 100 пудов пшеницы и в корнеплодном не менее 100 двенадцатипудовых берковцев* бурака. Если разница в расположении двух имений от места сбыта (ж. д. станция или мельница для пшеницы, и сахарный завод для бурака) отражалась разницей в одну копейку с пуда на гужевой доставке, то это составляло всего только один рубль на десятину озими и целых двенадцать рублей на десятину бурака. То есть, исходя из аренды в 12 рублей десятины корнеплодного клина, в зависимости от приближения к заводу, могла подниматься речь об удвоении и даже утроении арендной платы. И вот дальний помещик, которого приглашали заключить договор на поставку бурака, ссылаясь на предстоящие переплаты на извозе, требовал себе компенсации в соответствующем повышении цены

* Берковец – русская мера веса, равная 10 пудам (163,8 кг).

бурака. И если он этого достигал, то впадал в амбицию ближний сосед-плантатор, содействовавший постройке завода разве только шутками да прибаутками за партией в винт, но теперь уже твердо решавший быть тем, кто смеется последним, а, стало быть, лучше смеется: «Не может же наш милый и благородный Алеша нанести мне оскорбление и платить мне за бурак ниже, чем другим, только потому, что я ему близкий и дружественный сосед!»

Самым значительным из плантаторов был зять Алексея Владимировича – Сергей Иванович Жекулин, владелец имения в Белом Колодце в 8 верстах от завода. По своему образованию, уму, энергии и проницательности он одно время занял в местном земстве весьма влиятельное положение, состоя уездным предводителем дворянства. В уезде все дела вершились так, как того хотел Сергей Иванович. Все к этому привыкли, перенося, впрочем, это давление с внутренним ропотом, высказываемым лишь за глаза. Однако незадолго до нашего появления в уезде произошла неприятность, сильно пошатнувшая влияние Сергея Ивановича. Один из земских деятелей, получивший избрание благодаря Сергею Ивановичу, допустил растрату земских денег. Дело было замято, т. к. недостача была пополнена другим земцем. Все же после этого случая земцы как бы эмансипировались от влияния Сергея Ивановича. Отходя несколько от уездных общественных дел, Сергей Иванович как раз в то лето был в положении человека, присматривающегося к тому, куда направить свою деятельность. Предложение расширить свою сельскохозяйственную деятельность, снять в аренду ряд дальних имений, из которых по их удаленности от завода до того не поставлялся бурак, и организовать в них плантаторское дело в большом масштабе на исключительных условиях и с большим долгосрочным авансом – было ему как раз кстати. Дело было слажено и договор заключен, причем цена на бурак была поставлена в зависимость от содержания в нем сахара. То, что Сергей Иванович взялся за небывалый в округе по размаху посев, произвело громадную сенсацию. Остальные плантаторы один за другим стали сходиться с нами на приемлемых для завода условиях. Исключительные выгоды, предоставленные Сергею Ивановичу, не служили к тому препятствием, ибо они были связаны зависимостью цены бурака от его сахаристости, на что никто из плантаторов не решался идти.

На ближайшее время завод таким образом был обеспечен бураком, но было ясно, что полученной передышкой надо воспользоваться, чтобы развить и закрепить помещичьи посевы

бурака и чтобы создать крестьянские, к привлечению которых еще не было даже приступлено.

За исключением завода и экономий мы почти нигде не показывались это лето и жили очень замкнуто. Все деловые сношения с внешним миром (как то рафинерами, закупившими еще при прежних владельцах урожай будущего сахара, и плантаторами, доставлявшими заводу бурак) мы предоставили Б. В. Пиотровскому. Большой психолог и любитель деловых состязаний, он проводил все переговоры с большим дипломатическим искусством и успехом. Борщень был пуст. Нина на все лето с детьми уехала заграницу. Алексей Владимирович находился постоянно то в Судже, то в Петербурге. Заводить новые знакомства в округе мы не спешили, пока не освоились во всех подробностях с делом. Притом на первое время для нас достаточно было того ряда новых лиц на заводе и в экономиях, с которыми обязательно было не деловое только, но и личное знакомство, не ограничивающееся лишь знанием имени и отчества, стажа да служебного положения, но ввиду получения ими «квартирного и прочего довольствия от владельцев» требовавшее осведомленности в семейных и прочих обстоятельствах каждого.

Привыкшие с юности жить совершенно независимой жизнью, без старших, в большом городе, где никто не интересовался, куда, зачем пошел, что делаешь и с кем водишься, мы, конечно, и в Любимовке нисколько не задумывались над тем, что о нас думают или даже могут подумать. Между тем на заводе тысяча глаз провожала нашу пролетку, когда мы куда-нибудь ездили, и тысяча глаз оглядывалась на нас, когда мы проезжали плантации. При однообразии деревенской жизни и бедности внешних впечатлений и на усадьбах соседних помещиков образ жизни вновь приехавших молодых сахарозаводчиков, наши слова и наши поступки становились предметом разговоров за обедом или чайным столом. Пищу для таких разговоров мы сами подали при следующем случае. В Троицын день мы с Сережей, соскучив сидеть одни в Никольском, вдруг вздумали проехать в гости к Михаилу Егоровичу Богданову, свояку А. И. Чупрова, незадолго перед тем купившему небольшой хуторок на берегу Сейма, верстах в 25-30 от нас. К нему должны уже были приехать из Москвы на лето его дочери Надежда и Настасья Михайловны, и это придавало поездке тем большую заманчивость, что Настасья Михайловна и Сережа в то время определенно интересовались друг другом. Приказав кучеру запрячь пролетку парой и взяв с собой карту

Генерального штаба, чтобы ориентироваться в дороге, мы уехали из дома, сказав, что вернемся на следующий день – Духов день – вечером. Надо же было случиться, что в наше отсутствие пришла какая-то деловая телеграмма. Она легко могла бы без ущерба для дела полежать до нашего возвращения, ибо все равно в Троицын и Духов день все бывало закрыто. Но не так посмотрел Б. В. Пиотровский. Какой же он директор, коли не знает, где его хозяева. Расспросив на конюшне, в каком направлении мы поехали, он решил, что не иначе как к госпоже Жеребцовой, жившей тоже на берегу Сейма открытым домом и принимавшей у себя всегда большое количество гостей как из губернии, так и из Петербурга, где она проводила зимы. К ней-то и был отправлен наш инспектор плантаций Иван Орестович с поручением отыскать нас и вручить телеграмму. Каково же было общее веселье, когда запылившийся в дороге нарочный с депешей в руках остановился у террасы госпожи Жеребцовой, на которой шумно обедали многочисленные гости. Анекдот о двух сбежавших неведомо куда сахарозаводчиках и разыскивающей их по всем окрестным дамам администрации был готов и в тот же вечер был развезен гостями по соседним усадьбам, в Курск и в Петербург. Бывает и на Машку промашка. Вместе с нами на смешки попал и дипломат Б. В. Пиотровский. На следующий день он ни словом не обмолвился об учиненной им за нами погоне. Но молва о ней не заставила себя долго ждать.

Поездка на выставку, брюшной тиф, поездка в Крым

В августе мы с Сережей уехали из Никольского в Москву, чтобы побывать в Костине, поохотиться, совместно с Н. В. Сперанским и В. Ф. Тимофеевым посетить в Нижнем Всероссийскую выставку, справить свадьбу Е. А. Андреевой, выходившей за поэта Константина Дмитриевича Бальмонта. Предполагалось, что в конце августа, к копке бурака, я вернусь на завод с тем, чтобы уже прожить на заводе все производство. Сережа же, принимая на себя финансовую и торговую часть, должен был вести это в Москве, где мы соответственно реорганизовали нашу контору. Однако в Нижнем на Выставке я схватил брюшной тиф и слег в Костине и пролежал там в нашей больнице более месяца на попечении Е. П. Косминковой, А. А. Котляревской и С. Я. Лукиной. Когда же я встал, мне рекомендовали отправиться для восстановления сил на месяц в Крым. Ту осень там жили А. Л. и Л. А. Шанявские с Л. П. Родственной в Гаспре, где они снимали дачу у гр. Клейнми-

хель. С величайшим радушием они пригласили меня к себе. Меня проводил в Крым, ввиду моей слабости, наш служитель Василий. Мне запомнился наш с ним переезд через Байдары. Мы ехали, как все тогда ездили, в парной коляске. День был сильно облачный. Стелившиеся по земле облака проносились к нам навстречу с моря сквозь Байдарские ворота. Они будто дымились. Проехав ворота, мы остановили лошадей на площадке, на которой останавливаются все проезжающие. В это время порыв ветра развеял облако, в котором мы находились, открыв перед нами знаменитый вид на море с Байдарских ворот. Надвигалась гроза. Сверкали молнии. Море бушевало и действительно казалось черным. Черная туча, нависшая над половиной неба, надвигалась грозно на землю. Было величественно и жутко. «Край света?» – спросил меня Василий. Это вышло очень выразительно.

В Крыму мне жилось очень хорошо. Лидия Павловна уже была объявлена невестой Александра Антоновича Княжевича, с которым я тут впервые познакомился. Через них познакомился я с гр. Паниной, сделав несколько верховых экскурсий по окрестностям. Она была очень привлекательна, но я как-то дичился и не посетил ее в ее гаспринской даче с двумя башнями, прославившейся впоследствии пребыванием в ней Л. Н. Толстого. Не бывал я и внизу в Олеанде, где, впрочем, мне было очень заманчиво встретиться с Еленой Ивановной Токмаковой. Мне както совестно было перед Сережей нежиться в Крыму и оставлять всю обузу дел на нем, да в самое горячее время. Не досидев в Крыму всего положенного времени, я вернулся в Москву. Сережа и Николай Васильевич встретили меня на вокзале в 4-х местной карете, чтобы я не простудился! Сережа тут же, пока мы ехали в карете, сообщил мне все деловые и личные новости. Я заметил в нем большую перемену. Он хорошо освоился в новом для него коммерческом деле, разбирался в рынке, его капризах и обычаях, перезнакомился со многими новыми людьми. Мне почувствовалось, что, овладев новым для него делом, он находит даже некоторое удовлетворение, удачно разрешая выпадавшие на него задачи.

На производстве

Не задерживаясь в Москве, я поспешил в Любимовку, где производство шло полным ходом. Хотелось освоиться со всеми подробностями производства. Поселился на квартире директора в одной из комнат для приезжающих и столовался у него же.

Кроме Б. В. Пиотровского и В. С. Ижицкого, знакомого, впрочем, только с агрономической стороной, моими учителями в сахарном производстве оказались химик завода Домбровский и сменный помощник Бельский. Образованный технолог, культурный поляк, Домбровский охотно объяснял мне все происходившие в производстве процессы, анализируя изо дня в день протекающую работу, выясняя причины недочетов и меры к их устранению. Он снабжал меня и литературой из маленькой, подобранной им же для заводской лаборатории, библиотеки и из своих личных книг. Тут пришлось почувствовать нашу отсталость: литература по сахарному делу на польском языке была в то время значительно богаче русской. В последующее десятилетие это, впрочем, было изжито. Бельский, энергичный молодой практик, не прошедший никакого специального учения, вышколенный самой работой на заводах, был дельный малый. Обливаясь потом, в расстегнутой рубашке бегал он по всем переходам и закоулкам завода, увлекая меня за собой, чтобы я основательно высмотрел, в каких условиях что надо делать.

Решение жениться

Когда я болел в Костине брюшным тифом, у меня окончательно созрело решение сделать Софии Яковлевне предложение. Но я не захотел объясниться тогда же. Я чувствовал себя очень слабым, и, ввиду важности принятого решения, я отложил его осуществление до возвращения из Крыма. Из Крыма я вступил с ней в переписку, не обнаруживая, однако, своих намерений. По возвращении с юга я в течение зимы несколько раз посещал Костино, но объяснение состоялось лишь на масленице, во время прогулки на лыжах.

Зима была исключительно снежная. Все окрестности были погружены в сугробы. На березах и елях снег лежал большими подушками. Был солнечный февральский день. Один из тех, когда отраженные снегом весенние лучи солнца слепят глаза и греют щеки больше, чем непосредственно падающие с неба лучи. Снег быстро рыхлеет, выветривается. Лыжному спорту наступают последние дни, быть может, последние часы. Ценные не только потому, что они последние, но и потому, что по эффектам в пейзаже они исключительно прекрасны сочетанием снежного убранства зимы с яркостью весеннего освещения. Мы быстро пересекли поле, отделявшее больницу от парка, и, перейдя речку, поднимались вдоль ограды парка, обсаженного ветлами. Малиновые пру-

тики красиво обрамляли темный парк, старые деревья которого не проявляли еще признаков весеннего пробуждения. Лишь выдававшиеся за ограду куртинки молодых березок ласкали глаз своими налитыми, теплых тонов, почками. София Яковлевна сорвала несколько веточек вербы с белыми маковками. Мы свернули в парк, и я заговорил, наконец, о том, ради чего приехал. Это было в пятницу на масленице 21. II. 97 г. ст. ст.

Трудно бывает сделать предложение, но нескладно бывает затем объявление о принятом решении. С Николаем Васильевичем и Сережей обошлось так. Вернувшись из Костина в Москву, я встретил Николая Васильевича в коридоре. Он тут же сообщил мне, что Сережа заболел и лежит в постели, и стал передавать бывший у них в мое отсутствие разговор. В пересказе этом у Николая Васильевича была фраза: «Ведь Миша, насколько знаю, не собирается жениться». Я тут прервал его и, к большому его удивлению, опроверг его утверждение. Мы вместе двинулись к Сереже, который уже кричал из своей кровати: «О чем это вы там шушукаетесь!» Сестрам я в тот же день написал. Один Евг. Евг. Якушкин оказался предвидевшим мое решение. Отличился совсем не дипломатично дипломат Михаил Алексеевич Андреев. Взяв меня под мышку и отведя в сторону, он дружески доверительно спросил меня: «Она симпатична?» В эти дни мне почему-то пришлось посетить Елену Ивановну Токмакову в их квартире в доме Борщева по Власьевскому переулку. Провожая меня и сев в передней на сундук, пока я надевал шубу и галоши, она спросила меня, верно ли, что я собираюсь жениться. Встряхнув затем стриженой головкой, как у нее была привычка, она задумчиво сказала мне, устремив на меня свои сияющие добротой глаза: «Какая она должна быть хорошая, раз вы ее выбрали!» Чистосердечная Нелли была далека от намерения говорить комплименты, это было ей совершенно чуждо, но можно ли было сказать что-либо более лестное и в более изысканной форме.

Уход Б. В. Пиотровского и приглашение А. И. Иванова

В начале марта 1897 г. Б. В. Пиотровский телеграфировал нам в Москву, что едет к нам с отчетами и сметами. По приезде, передав нам эти бумаги и рассказав о киевских Контрактах, на которых он только что был, он затем, как вещь, не имеющую особого значения, сообщил, что получил блестящее предложение занять место администратора большого вновь открытого свеклосахар-

ного завода в Саблино-Знаменском. Он принял это предложение, продолжал он, находя, что ему нетрудно будет совместить службу в Саблино-Знаменском с управлением Любимовкой. В Любимовке в качестве технического директора отлично управится Домбровский. Б. В. Пиотровский находил, что ему самому достаточно будет наезжать в Любимовку один раз в месяц, на что он уже испросил согласие правления Саблино-Знаменского товарищества. После нескольких минут неловкого молчания я сказал, что мы обсудим создавшееся положение и дадим свой ответ завтра. Б. В. Пиотровский побагровел, чопорно встал, холодно спросил, в котором часу завтра явиться, и удалился.

Не успел он скрыться за дверью, как Сережа с упреком спросил меня, почему я так сказал. Я ответил, что, считая предложение Б. В. Пиотровского неприемлемым, я все же не находил возможным отклонить его сразу, не сговорившись между собой. «Да разве можно всерьез принимать к обсуждению такие предложения!» – воскликнул Сережа. Из нас двух он бывал обыкновенно более решительным, но и более осторожным. Я был очень доволен его настроением и ответил: «Ну будь покоен, он отлично понял наше отношение. Разве ты не заметил, как он рассердился!»

У нас не только не было никакого кандидата на должность директора, мы еще не имели никаких связей в сахарном мире и терялись, как приступить к поискам директора. Надо было готовиться ко всяким случайностям. А тут мои государственные экзамены, Сережины зачеты, моя женитьба! Самое простое и, пожалуй, самое благоразумное было бы предложить Домбровскому место уходящего Б. В. Пиотровского. Он знал завод, производил впечатление очень хорошее. Но ведь я знал его только по теоретическим разговорам в лаборатории. Каким он окажется администратором, хозяином? Притом комбинация с ним, предложенная Б. В. Пиотровским, быть может без сговора даже с Домбровским, как-то подрывала эту кандидатуру.

Конечно, слух об уходе Б. В. Пиотровского быстро разнесся по заводам, и мы стали получать предложения от ищущих занять его место лиц. Но они как-то мало нас удовлетворяли. Через А. В. Сперанского (химика) мы были знакомы с проф. химии в Харькове Владимиром Федоровичем Тимофеевым. Мы надеялись через него или знакомых ему профессоров Харьковского технологического института получить указания на подходящих для нас лиц. Кроме того, отец когда-то был знаком с Ник. Арт. Терещенко. Нам казалось, что этот состарившийся в сахарных делах человек не почтет за труд посоветовать нам подходящего человека. Так как

среди лиц, предлагавших нам свою кандидатуру, был некто Б., ссылавшийся на то, что работал у Н. А. Терещенко, то мы решили съездить мне лично в Киев переговорить с Н. А. Терещенко, а оттуда проехать в Харьков к В. Ф. Тимофееву, которому А. В. Сперанский по нашей просьбе обстоятельно написал о нашем деле. Н. А. Терещенко принял меня очень радушно. Вспомнил отца и преподал советы матерого сахарника: «Б. можете взять. Он хоть не большого плавания делец, но на ваше маленькое дело годится. Говорю просто, хотя он мне и родня. Но вот главное. Кого бы вы ни взяли, всякий новый директор будет требовать перестроек на заводе. Любители они капитальные и не капитальные ремонты закатывать. Все это ни к чему. Никаких перестроек не давайте делать. Пусть себе сахар варят, это вам доход даст, а от ремонтов одни только убытки. Попомните мое слово. На службу берите, кто полюбится, но только чтоб без ремонтов».

Этот Б. показался мне, однако, таким серым, что я, ничего ему не обещав, уехал в Харьков к В. Ф. Тимофееву. Он свел меня с Иваном Адамовичем Красуским и Зубашевым (впоследствии директором Томского технологического института и членом Государственного Совета). Они отлично знали весь личный состав технических сил на заводах и всех выпущенных из института молодых технологов. Они прежде всего советовали не гнаться непременно за старыми опытными дельцами. Сахароварение уже не представляет собой искусства, передаваемого лишь на практике. Процессы изучены научно, и молодые образованные технологи в них лучше разбираются, чем практики, верящие в свои, им будто одним известные приемы. Желая рекомендовать нам директора с возможной осмотрительностью, мне предложили не волноваться и не торопиться, дать им время для наведения необходимых справок о некоторых из их учеников. С этим я уехал в Москву, а в конце апреля опять был в Харькове, чтобы уже окончательно остановиться на рекомендованном нам А. И. Иванове. Через несколько дней он был у нас в Москве, а 6 мая мы с ним прибыли в Любимовку принимать дело от Б. В. Пиотровского.

Приглашение на место такого бывалого дельца как Б. В. Пиотровский новичка «со школьной скамьи», не бывшего еще нигде в должности директора, вызвало целую сенсацию. Плантаторы решили, что завод не будет отремонтирован и не пойдет. Служащие и мастеровые один за другим заявляли, что по предложению Б. В. Пиотровского уходят в Саблино-Знаменское и спрашивали, кому сдать должность. Задерживать людей в таких случаях бывает бесполезно, и в день нашего с А. И. Ивановым приезда в Любимовку

уже к 12 часам мы увидели, что остаемся с ним на заводе сам друг, если не считать сторожей да чернорабочих. Я понял, что старые, опытные дельцы умеют устраивать трюки. Чтобы соблюсти хотя бы видимость приемки дел от уходящих служащих, пришлось по телеграфу вызвать в Любимовку из Москвы нашего бухгалтера и просить В. С. Ижицкого прислать на завод несколько человек из экономий.

Встреча с Домбровским была для меня очень щекотлива. Он считал себя обиженным тем, что мы не пригласили его занять место директора. При директоре новичке он, человек со стажем, не считал возможным оставаться на службе в Любимовке. Но держал себя он очень хорошо. Не зная, откуда мы откопали А. И. Иванова, и, очевидно, думая, что тут какие-нибудь дружеские отношения, чуждые дела, замешаны, он, по-видимому, тоже склонен был ждать провала Любимовки. «Какое несчастное дело – а какие чудные бураки! Как жалко!» – сказал он мне во время нашего объяснения, показывая на ближайшую плантацию. Но опасения были напрасны. А. И. Иванов нисколько не терялся. Харьковские друзья поспешили рекомендовать сменных помощников, химика, механика. Шанявские рекомендовали бухгалтера Ф. И. Маркина. Понемногу стали притекать люди и на второстепенные должности. Не обнаруживая ни малейшей тревоги в столь необычных условиях, А. И. Иванов организовал целиком новый штат служащих, отремонтировал завод к сроку и прекрасно переработал бурак, дав очень удачный отчет по производству.

Много лет спустя мне пришлось встретиться с Б. В. Пиотровским. Я был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и в числе нескольких других был избран в депутаты к министру финансов по какому-то общему делу. Б. В. Пиотровский служил в Липовицком сахарном заводе. Ему по делу своего завода нужно было просить меня дать какие-то объяснения министру. Надо думать, ему было неловко.

Наша свадьба и заграничное путешествие

В этом (1897) году я опять уехал из Никольского на Троицын и Духов дни, но один к невесте в Фатеж, знакомиться с матерью ее Софией Николаевной, служившей там начальницей женской прогимназии. Пережидая внезапно разразившуюся грозу, я опоздал в Иванине на поезд, и пришлось провести там ночь у нашего агента в украшенной березками горнице. Чуть свет он посадил

меня «зайцем» в товарный поезд, шедший в Курск, откуда я уже на извозчике добрался до Фатежа.

В Ольгин день 11 июля состоялась наша свадьба в Полтаве. София Яковлевна жила у своей тетки Л. Н. Дилевской, муж которой Александр Игнатьевич состоял управляющим кн. Кочубея в Диканьке. На свадьбу приехали сестра Катя с Симой и Васей, брат Сережа, Сергей Андреевич Котляревский. Справили без затей. Настолько, что священник, венчавший нас, вообразил, что в бракосочетании, им совершенном, кроется какое-нибудь беззаконие. Особенно он уверился в этом, когда получил от меня денег больше, нежели рассчитывал. «Ну, теперь все сделано честь честью, как полагается, так скажите мне хоть на ухо, в чем же состоит беззаконие!» – спрашивал довольный батюшка Александра Игнатьевича, взывая к дружеским доверительным отношениям, бывшим между ними.

Из Полтавы мы с Софией Яковлевной проехали на две недели на юг: в Одессу, оттуда пароходом в Севастополь, дальше лошадьми в Ялту. Здесь я познакомил Софию Яковлевну с семьями Ярцевых и Срединых, бывшими в то время средоточием московских интеллигентов, наезжавших в Ялту. В конце месяца мы были уже в Никольском. Здесь мы прожили почти безвыездно до января, когда перебрались в Москву. В Никольском у Софии Яковлевны произошел выкидыш.

В феврале мы с Софией Яковлевной поехали за границу. Сначала в Париж. Там лежала в послеродовой горячке Ек. Ал. Бальмонт. За ней ухаживали ее сестра Маргарита Алексеевна Сабашникова, моя сестра Нина, жившая в Париже с детьми и Ольгой Андреевной Граковой. Все жили в пансионе Wan Pelt, где и мы устроились. Положение Екатерины Алексеевны было очень серьезное, и это накладывало тень на жизнь нашего кружка. Поддерживала настроение ежедневно навещавшая пансион бодрая и жизнерадостная Глафира Алексеевна Абрикосова. Она уже давно осела в Париже, кончив курс медицинских наук и защитив у Шарко диссертацию по истории истерии в средние века. Она казалась истой парижанкой, сохраняя в то же время обаяние чисто русской, скажу даже, московской непосредственности. Женщина умная, деятельная, она в Париже – этих современных Афинах наук и искусств – нашла свое счастье с выдающимся парижским невропатологом, хорошо известным по его книгам и у нас в России. Надо перенестись в обстановку того времени, чтобы оценить, сколько независимости характера требовалось, чтобы решиться на это. Он уже был женат на француженке и брака своего не рас-

торгал, почему их с Глафирой Алексеевной отношения никак не могли быть узаконены. Она сохраняла свою девичью фамилию, называла его «отец моих детей» и вообще в столь щекотливом положении проявляла много такта и умения жить.

Константина Дмитриевича мы застали в отчаянном состоянии. Много недель уже длилась у постели больной жены его борьба между жизнью и смертью. Между тем Константин Дмитриевич не был рожден для испытаний и длительной борьбы. Вся природа его протестовала против такого его порабощения несчастию. Мне иногда даже казалось, что он как ребенок способен возненавидеть или даже прогнать и врачей, и всех нас, своим присутствием постоянно напоминающих ему об опасности, угрожающей Екатерине Алексеевне, тогда как ему так хочется, так нужно, чтобы она была спасена, здорова, счастлива. О какой-нибудь творческой работе он и не думал. Но и простое чтение давалось ему трудно. В этих обстоятельствах я не находил в себе твердости отказать ему вечером перед сном сходить с ним в какое-нибудь кафе околотка, каких в Париже так много на всех перекрестках. Обыкновенно все обходилось очень скромно, и мы через часок шли уже домой за мирной беседой, уничтожив неизменный demi longuet с соусом и несколько рюмок коньяка. Бальмонт рассказывал о том, что за день прочел общеинтересного, я делился своими парижскими впечатлениями. Часто речь вертелась около плана «семидесяти толковников»[2], как мы в шутку называли обсуждавшийся нами в издательстве план выпуска в свет в образцовых переводах произведений мировой литературы, к чему предполагалось привлечь лучшие силы. Бывали, однако, случаи, что Константин Дмитриевич вдруг как бы срывался с цепи. Непреодолимо устремлялся он тогда из одного кафе в другое. Обычная порция коньяка вызывала внезапное опьянение. Сговориться с ним становилось невозможным. Не находя способа отвести его домой и не желая оставить его в таком положении, я вовлекался в бестолковое шатание из одного угла Парижа в другой, пока ходьба да свежий воздух не протрезвляли его от внезапного его опьянения.

С братом Федором мы в этот мой приезд в Париж видались мало. Он почти не заглядывал к сестре и редко наведывался к Екатерине Алексеевне. Я несколько раз заходил к нему, но или не заставал дома, или находил его замкнутым и неразговорчивым. Раз он позвал всех нас обедать, но устроил обед не у себя на квартире, а в ресторане. Он переживал в это время трудные обстоятельства, о которых я узнал только впоследствии и о которых скажу несколько слов в другом месте.

Мало воспользовались мы в этот свой приезд Парижем. В театрах и концертах почти совсем не были, проводя вечера в большинстве случаев дома с сестрой. Днем, впрочем, ежедневно бывали либо в музеях, либо осматривали город и памятники. На память о Лувре мы купили большую поясную фотографию Венеры Милосской, которая и до сих пор сохранилась в рамке и под стеклом и последнее время нашла себе даже полезное применение в фотографических работах Григория Яковлевича* и Нины. Мы вывезли также тогда из Парижа большую фотографию Собора Парижской Богоматери, подаренную Софии Яковлевне Лидией Федоровной Тимофеевой. Ни нарядов, ни безделушек, которыми Париж славился, София Яковлевна не покупала.

Из Парижа мы проехали в Милан, соединившись дорогой с сестрой Софии Яковлевны Людмилой. Так втроем мы посетили Милан, Венецию, Вену. В апреле вернулись в Москву.

Здесь Сережа в наше отсутствие нашел покупателей на дом на Арбате и на дачу в Жуковке. Мы их продали. Ввиду беременности Софии Яковлевны и скопившегося в связи с продажей дома и дачи обилия дел в Москве, я решил провести лето в Москве, сняв дачу в Гущенках по Нижегородской ж. д. Ежедневно ездил в Москву утром и возвращался вечером на дачу. Вечерами читал вслух Софии Яковлевне Толстого, которого мы так тогда том за томом перечли полностью. Для себя, Сережи и конторы я снял три квартиры во владении Лисицына в М. Толстовском переулке, куда мы осенью и переехали. 30. XI. 98 ст. ст. в доме Лисицына у нас родился первенец наш, названный по брату моему Сергеем.

Кончина В. С. Ижицкого и приглашение Синькевича Н. И.

Зимой 1898/9 г. заболел аппендицитом В. С. Ижицкий. Врач любимовской заводской больницы Долгополов настоятельно советовал ему оперироваться. Для этого Виктор Станиславович весной приехал в Москву и лег в клинику Боброва на Девичьем Поле (Пироговская улица). К сожалению, операция не принесла пользы. Она обнаружила большой гнойник и сращения, и вскоре после операции Виктор Станиславович скончался в клинике же. Для нас это была большая и личная, и деловая потеря. Мы с ним сошлись и были близки. Со времени же приобретения Любимов-

* Григорий Яковлевич Артюхов, муж Нины Михайловны, дочери М. В. Сабашникова.

ки Виктор Станиславович стал в нашем деле человеком весьма нужным и трудно заменимым.

Мы обратились с просьбой рекомендовать нам нового управляющего к Алексею Федоровичу Фортунатову, рекомендовавшему нам когда-то по просьбе А. И. Чупрова – В. С. Ижицкого. Известно, что А. Ф. Фортунатов пользовался громадной популярностью среди общественно настроенной части студенчества Петровской академии. Устанавливавшиеся им близкие отношения со своими учениками не прерывались и после окончания ими курса в Академии. Уезжая на службу в провинцию, ученики переписывались с Алексеем Федоровичем, касаясь не одних только вопросов, связанных с их профессией, но затрагивая и общественные темы, делясь также и личными и семейными переживаниями. Алексей Федорович при своей громадной занятости всегда находил время, чтобы отвечать своим корреспондентам самым обстоятельным образом. Обладая феноменальной памятью, которой он не отказывал себе в удовольствии блеснуть перед изумленным собеседником, Алексей Федорович всегда отлично знал, где и в каких обстоятельствах находится каждый из бывших учеников его. Он был в этом отношении как бы живым справочником, называя на память имя, отчество, фамилию и адрес каждого и добавляя о каждом могущие в данном случае потребоваться сведения. Таким образом, из громадного запаса известных ему агрономов он указал нам на Ник. Ив. Синькевича, в то время как раз желавшего переменить место. На нем мы и остановились.

Поселился Н. И. Синькевич не в Старо-Никольском, где еще доживала вдова В. С. Ижицкого с детьми, а в Офросимовке, усадьбе, только что перед тем приобретенной нами по настоятельному совету В. С. Ижицкого и находящейся еще ближе к заводу, чем Никольское. Небезынтересный разговор был у меня перед этой покупкой с приказчиком прежнего владельца. Произведенный из лакеев в управители, он был «верным слугой своего господина» и, видя, что у нас с его хозяином торг что-то не ладится, пришел ко мне, чтобы сдвинуть торг с мертвой точки. «Вы боитесь, вероятно, что мужики сожгут усадьбу?» – спросил меня приказчик. А надо сказать, что там действительно бывали постоянные пожары. «Этого нечего бояться! Надо только строиться совсем вплотную к мужицким хатам. Тогда не будет у них охоты петуха пускать – себя спалят. Не слушался меня только барин». – «Не лучше ли прекратить взимание штрафов за потравы выгона? У водопоя. К тому же и трава на нем жалкая», – возразил я. – «Ну, это никак невозможно! – воскликнул в недоумении приказчик. – Этак совсем

имение обесцените!» Конечно, Н. И. Синькевич начал с того, что сдал крестьянам в долгосрочную аренду, за грошовую плату этот клочок выгона, вероятно, еще при освобождении крестьян предусмотрительно оставленный во владении помещика. Во что эти так называемые «раздоры» обошлись крестьянам в штрафах, а помещику в пожарах можно только гадать.

Жизнь в Никольском

Как я уже говорил, мы с Сережей распределили между собой работу так, что Сережа взял на себя финансовую и торговую часть, ведшуюся в Москве, а на меня выпало общее руководство заводом и имениями. В связи с этим мне весну, лето и осень приходилось держаться завода. Мы с Софией Яковлевной жили там в Никольской усадьбе, в левой половине дома, правая же после отъезда вдовы В. С. Ижицкого перешла Сереже, который, впрочем, наезжал в Никольское лишь изредка да ненадолго. Мы не делали на усадьбе никаких переустройств. Единственным, пожалуй, нововведением были хороший огород и цветники перед домом. София Яковлевна – большая охотница до цветов, и вскоре наши цветники, как и наш огород, расположенные исключительно выгодно на южном склоне, у самой воды, и хорошо защищенные от ветров, стали по справедливости считаться лучшими в округе. К Софии Яковлевне со всей округи постоянно обращались с просьбами об отпуске цветов, будь то по случаю праздника, свадьбы, похорон и т. д. И она всегда лично выбирала в таких случаях, резала, вязала огромные букеты, корзины, венки или гирлянды. Когда появились у нас дети, то культ цветов был усвоен и ими. Перед именинами Сережи (5 VII ст. ст.), рождением Тани (19 VII ст. ст.), именинами самой Софии Яковлевны (17 IX ст. ст.) еще накануне с вечера готовились всякие цветочные украшения. Затем утром все, кроме виновника торжества, вставали очень рано, и каждый в доме собирал свой букет в подношение. Виновник торжества, встававший в эти дни умышленно позже, должен был угадывать среди букетов, расставленных на чайном столе перед его прибором, кем каждый букет сделан. И ведь угадывали обыкновенно безошибочно, настолько выявились вкусы каждого в доме.

По некоторому капризу я настоял на том, чтобы за оградой сада у въезда в наши ворота сохранена была мальва, разросшаяся здесь за годы запустения усадьбы громадной куртиной. Провинциальная мальва как-то шла к соломенной крыше глинобитной конюшни и кухни и как будто вросшему в землю старосветскому

домику нашему и в то же время давала контраст пышным розам и другим цветам в клумбах перед домом.

София Яковлевна, уроженка Курской губернии, любила этот край, который ей казался и более красивым, и более здоровым, чем наше северное Костино. Я же первое время скучал по кулисам северных лесов. Открытые курские поля и выгоны, где глазу бывает не на чем остановиться; постоянные ветры, надувающие головную боль; проникающая буквально всюду мельчайшая черноземная пыль, от которой ничем не обережешься, – первое время наводили на меня тоску. Но со временем я к этому ко всему привык и научился находить свою прелесть в курских просторах и безостановочно сменяющихся картинах неба. В самом деле – небо с постоянно то образующимися у вас на глазах, то быстро тающими, то проносящимися мимо вечно подвижными облаками, занимает в курском пейзаже первенствующее место. София Яковлевна, пристрастившаяся к моментальной фотографии, делала замечательно красивые снимки облаков, и у нее и до сих пор сохранилась коллекция таких фотографий.

Лица, не бывавшие в свеклосахарной полосе, не имеют представления, насколько она своеобразна. Введение свекловодства вносило громадные перемены не одного только агрономического характера в округе, где оно внедрялось. Перемена севооборота. Глубокая пахота, откорм скота, черные пары, передвижка работ во времени, усиленный спрос на рабочие руки и на извоз и многое другое сказывалось и на быте окрестных крестьян, и на самом ландшафте. Наша сильно пересеченная местность давала возможность с горба водораздела окидывать взором большие пространства вокруг. Среди желтеющих хлебов всюду виднелись густо-зеленые свекловичные плантации и черные пары. Как сшитое из лоскутков одеяло пестрели общинные крестьянские поля с их узкими полосками ржи, овса, проса, гречи, среди которых нашими стараниями стали появляться лоскутки, занятые сахарной свеклой или викой с овсом. Когда рядки свеклы на плантации еще не сомкнулись и между ними чернела разрыхленная, смоченная дождем почва, красивы были их убегающие вдаль и там в перспективе сливающиеся параллельные изумрудные по черному фону линии. Красными, черными, белыми и желтыми, в зависимости от происхождения из той или иной деревни, цепочками пересекали плантации ряды полольщиц. Мерно тянулись по черным парам, постоянно перепахиваемым, серые черкасские волы. По дорогам шли обозы с сахаром, углем, известью и другими материалами. На полях и на дорогах никогда не прерывались работы. Женщины,

на труд которых во время полки, прорывки и копки бурака предъявлялся небывалый до того спрос, буквально эмансипировались от зависимого своего дотоле положения в семье. Весь свой заработок на плантации они считали своим личным достоянием. Девушки копили приданое, замужние тратили на себя и на детей, но в хозяйство заработка с плантаций не сдавали. И этот культивировавшийся плантациями индивидуализм простирался так далеко, что крестьяне-плантаторы при полке и прорывке собственного бурака видели себя вынужденными платить за работу «своим девкам», как они говорили, и не только глядевшей вон из дома женской молодежи семьи, а собственным даже женам своим, равняясь в размере поденной платы по заводу. Иначе те уходили работать на заводские плантации, где к тому же бывало многолюдно и весело, где играла музыка, ночью же шел разудалый пляс; где известны были все новости и сплетни и где к концу сезона можно было получить в награду «подарок» – двугривенный платочек.

Полка-прорывка в первой половине лета и копка бурака осенью не могли быть исполнены силами одного только местного населения. Приходилось брать людей из соседних губерний, преимущественно хохлов. Заблаговременно, еще в феврале, рассылались приказчики по тем деревням, откуда приходили полольщицы и копщики, чтобы обеспечить их приход на плантации в предстоящий сезон. Выдавались задатки и писались договоры. Отмечу характерную особенность последних. Нужда в людях была так велика и желание обеспечить себе их явку настолько сильно, что при острой конкуренции между заводами-нанимателями в этих договорах с полольщицами перестали устанавливать цену поденного дня (т. е. самую, казалось бы, важную часть договора), а писали, что платить будет наниматель по той цене, какая установится во время сезона. И не выходило никаких по этому поводу недоразумений.

На осеннюю уборку бурака приезжали хохлы с женами и детьми. Они таборами располагались в августе на плантациях и держались на них в своих шалашах до окончания копки, примерно до конца сентября. В темные осенние ночи костры копщиков на плантациях и теснящиеся вокруг них люди представляли своеобразное зрелище. Случались изредка, под покровом ночи, потасовки между молодежью пришлых «хохлов» и местных «кацапов» – то на почве обоюдной защиты своих «девок», то на борьбе за заводские заработки, которые местные крестьяне, хотя и не имели возможности выполнить сами, все же склонны были рассматривать как свое достояние.

На заводе летом шла работа по ремонту. Производство начиналось обыкновенно около 8 сентября и в среднем длилось 80 дней, более или менее, в зависимости от урожая бурака. Работа велась днем и ночью, первые годы, как всюду, в 2 смены, затем мы ввели 3 смены по 8 час. Все заводское население и приезжие из экономий ежегодно принимали участие в торжестве «освящения» завода после ремонта, происходившем обыкновенно накануне пуска производства. Оно состояло из молебна на заводе, улучшенного обеда в столовой для мастеровых и вечером ужина у директора для служащих. Он обыкновенно проходил весело и шумно. Выпивали здесь изрядно и засиживались до позднего времени, невзирая на предстоявший ранним утром, в 6 часов, пуск завода, требовавший от всех максимального напряжения. Но уж такова была русская тогда повадка. Где немец говорил: «Я сегодня раньше лягу, потому что мне завтра рано вставать надо», там у нас рассуждали так: «Завтра рано вставать надо, не стоит, стало быть, сегодня ложиться». Барственное расточительство сил, плодившее неврастении!

Такова была обстановка, в которой с 1899 по 1904 гг. ежегодно приходилось проводить около 6 месяцев. Кроме директора и управляющего, в деле всегда работало еще несколько образованных человек: химик, механик, иногда сменные помощники, практиканты, врач, фельдшерицы и учительницы. Таким образом, всегда были кругом интеллигентные люди. Неизменно проводила у нас лето мать Софии Яковлевны, с которой мы были очень близки. Приезжал всегда на более или менее значительную часть лета Н. А. Мартынов. Часто гащивали братья Софии Яковлевны. Одно лето погостила еще совсем тогда молоденькая Вера Александровна Дилевская. Живая, радикальная и прехорошенькая, она произвела фурор среди заводской молодежи, и наш доктор, воспитывавший своих дочерей в строгих немецких правилах, видимо, был немало смущен впечатлением, какое производила на них наша молодая и решительная гостья.

Сырьевая база

Главнейшей моей задачей в Никольском было подведение, как бы теперь выразились, сырьевой базы под Любимовский свеклосахарный завод. Памятуя, как пострадал со своими приобретениями земель А. В. Рейн, мы, конечно, и не думали в описываемое время о скупке земель в сколько-нибудь значительном количестве. Да и не предлагалось тогда в продажу земель в доста-

точном количестве. Не хватило бы свободных средств на покупку их, если бы и были неожиданно предложены.

Постройка ж. д. ветви к заводу, открывающая ему возможность черпать бурак на дальнем расстоянии по линии магистрали, тоже по значительности средств, требовавшихся для сооружения ветви, не могла быть поставлена нами тогда в порядок дня. При дальнейшем своем повествовании мне придется говорить и о производившихся впоследствии приобретениях имений, и о хлопотах по соединению завода с ж. д. линией. Но это будет относиться к другому времени. Как любопытный парадокс упомяну здесь, что от людей бывалых и проницательных приходилось слышать, что ж. д. ветвь в отношении бурака в положении Любимовского завода (необеспеченность его сырьем и ограниченность средств владельцев, не могущих выдержать несколько лет убыточной борьбы с конкурентом более сильным, который стал бы нарочно скупать бурак по ветке, т. е. ближайший к заводу, чтобы подорвать завод) представлялась бы мерой более опасной, чем спасительной.

Прежде всего, конечно, надо было максимально использовать те земли, какими мы уже располагали, для посевов бурака. Надо было на заводских землях получить максимальную площадь плантаций и с этих плантаций максимальный урожай сахара. Закрепив уже связавшихся с заводом землевладельцев, надо было добиться введения и ими интенсификации хозяйства. Независимо надо было привлечь к посеву бурака те имения, которые еще не были втянуты в этот оборот, и позаботиться о развитии свекловодства для завода среди крестьян.

Крестьянская свекла

Те, кто помнит первые успехи Д. Н. Шипова, В. Г. Батаева и А. А. Зубрилина в Волоколамском уезде по введению травосеяния на общинных землях и связывавшиеся с этими успехами ожидания перелома в рутинном и отсталом крестьянском трехполье и постепенного повсеместного перехода крестьян целыми обществами к многополью и высшим системам хозяйства, те поймут, что в наших курских условиях свеклосахарной полосы пропаганда бурачного посева среди крестьян казалась исключительно заманчивой. Пришлось, однако, скоро убедиться, что это дело очень трудное, встречающее на пути своем серьезные препятствия. Обеспеченность крестьян землей в округе была очень пестрая. Многие были отпущены на волю с «даровыми» нищенскими на-

делами[3]. Абсолютное малоземелье для них являлось непреодолимым препятствием к введению посева бурака. Отсутствие или недостаток выгонов и лугов и вытекающая отсюда необходимость после уборки хлеба пользоваться стерном для выпаса скота при общинном землепользовании также являлось серьезной помехой к посеву бурака в яровом клину, так как при том, что бурак убирается гораздо позже яровых хлебов, он несомненно подвергался бы потраве скотом. К переходу же целой общины от трехполья к многополью со специальным бурачным клином трудно было подвинуть все общество, пока бурачный посев, его влияние на землю и на последующий за ним урожай яровых, вносимое им удобство в распределение работ, ботва, представляющая отличный корм, равно как получаемые с завода жом и патока не были бы испытаны на деле да в течение нескольких лет хотя бы некоторыми домохозяевами из числа общинников.

Первое время поэтому приходилось рассчитывать преимущественно на крестьянские запольные земли, на коноплянники, усадебные земли, огороды, земли, купленные в индивидуальное владение, уповая лишь со временем втянуть и общинников к переходу от трехполья к многополью. Заведены были инструкторы, выработаны стандартные договоры, установлено даровое снабжение крестьян-плантаторов свекловичными семенами, жомом, патокой, мертвым инвентарем; с введением у нас минеральных удобрений они тоже стали выдаваться даром. Для консультации приглашался А. А. Зубрилин, объехавший округу, ведший беседы с крестьянами и составивший специальный для них плакат «Сейте бурак».

Надо отметить, что крестьяне пользовались землей на весьма различных основаниях. При работе с ними надо было хорошенько в этих запутанных порядках разбираться. Тут были общинные земли, переделяемые и непеределяемые, надельные усадебные и огородные участки, прикупные земли, приобретенные единолично или товариществом, или обществом, и, наконец, совершенно исключительные в нашей местности «земли четвертных прав»[4.] Надо было освоиться с порядком наследования и с господствовавшим обычным правом. Когда-то я по совету С. В. Сперанского прочел классическое исследование основателя московской земской статистики В. И. Орлова «Формы крестьянского землевладения». Эта книжка с подаренным мне Е. И. Якушкиным исследованием его «Обычное право» послужили теперь началом целого маленького собрания по крестьянскому правовому положению, по общинному землепользованию, мелкому и крупному сельскому

хозяйству. Пришлось завести себе трехтомную сводку И. Л. Горемыкина (того самого, который впоследствии так неудачно был председателем Комитета министров) «Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждениях по крестьянским делам с последовавшими по ним разъяснениями, содержащимися в решениях Правительствующего Сената и в истолкованиях и распоряжениях высших правительственных учреждений». Нарочно полностью выписываю это тяжеловесное название, чтобы дать почувствовать, на каком лабиринте законов и распоряжений покоилось правовое положение самого многочисленного класса населения! Весьма полезна была мне книга И. А. Вернера «Итоги статистического исследования Курской губернии 1887 г.», изданная курским губернским земством, удостоенная Московским университетом Самаринской премии, а постановлением реакционного большинства Курского губернского земского собрания изъятая из обращения и поведшая даже к закрытию всей статистики в губернии. По четвертным правам было у меня исследование К. А. Благовещенского «Четвертное право», 1899 г. Мой приятель А. А. Чупров, просматривая как-то мое собрание книг по крестьянскому землепользованию и правовому положению, нашел у меня даже книги, которых у него не было, что дало мне возможность доставить себе и ему удовольствие подарком ему моего Гакстгаузена[5].

Возня с крестьянскими плантациями представляла для нас с Сережей интерес не только хозяйственный, но еще и общественный. С тех пор как интеллигенция у нас поделилась на марксистов и не марксистов, вопрос о преимуществах крупного и мелкого земледелия не сходил с порядка дня в беседах о будущем нашем, и, как сторонники крестьянского хозяйства и общинного землепользования, мы, естественно, хотели содействовать реформе крестьянского хозяйства в своем околотке.

Соседи-плантаторы

Неусыпно, само собой разумеется, заботились мы о привлечении к посеву бурака соседних землевладельцев. В городе деловые связи не влекут за собой обязательно «знакомства домами». Деловые встречи происходят в конторах, на бирже, в банках, в ресторанах. В деревне же, чтобы переговорить о деле, надо ехать к землевладельцу в его усадьбу. У него нет конторы, а иногда и особого кабинета. Он принимает всякого явившегося к нему «прилично одетого человека» как гостя, на лоне семьи, с неизбежным

чаепитием и прочими выражениями гостеприимства. Пришлось и мне перезнакомиться со всеми окрестными землевладельцами и установить с ними помимо деловых еще и «добрососедские» отношения.

Борщень

Самыми близкими соседями нашими были «борщенцы». Как в территориальном отношении, так и в смысле дружеской близости. Как бы ни менялись наши деловые отношения с Рейнами, все же с сестрой мы всегда неизменно были исключительно дружны, что, конечно, определяло все остальное во взаимных наших отношениях с Борщнем и его обитателями. Это было родственное гнездо, во многом живущее совсем другой жизнью, нежели мы, но тем не менее всегда горячо любимое и близкое. Мне никогда не придется говорить отдельно и особо о борщенском хозяйстве. С тех пор как мы приобрели Любимовку, и сестра, и зять наш всегда в хозяйственных вопросах держались так, как будто борщенская и другие их экономии неразрывно связаны с заводом. При том, что эти имения, значительные и благоустроенные, занимали географически центральное положение среди земель, обслуживавших завод бураком, значение этой тесной солидарности между Борщнем и Любимовкой не требует разъяснений. Особенно если принять во внимание шаткое состояние всей сырьевой базы завода, в которой рейновские экономии занимали первенствующее место. Формально это наше единение в разные годы выражалось различно в зависимости от тех или иных чисто внешних обстоятельств. Сначала Рейны стали было вести свое хозяйство самостоятельно, поставляя бурак заводу как плантаторы. Затем почувствовалось удобство объединения заводских и рейновских имений в одном управлении. Нина выдала мне тогда доверенность на управление имением. Потом перешли к аренде имений Рейнов заводом. Как ни складывалось, всегда было полное единодушие.

Близкое соседство Борщня было для меня всегда подспорьем при жизни в Никольском. Не говоря об общении с самой семьей сестры, отмечу, что в Борщне всегда было живое, интересное общество. Нина обладает исключительной способностью близко сходиться с людьми самого разнообразного склада и поддерживать долгие годы эти многочисленные и разнохарактерные отношения. Писатели, музыканты, художники, артисты, общественные и политические деятели бывали у нее в Петербурге зимой и в Борщне летом, вели с ней переписку и на протяжении многих

лет поддерживали отношения, невзирая на происходившие перемены. В Борщне всегда можно было встретить интересного гостя, приехавшего ненадолго из Петербурга, Москвы, Харькова. Всегда бывала молодежь – товарищи молодых Рейнов.

Любопытно было бы перелистать ведшийся в Борщне альбом посетителей, заносивших в него на память кто стихотворение, кто сентенцию, кто шутку, кто рисунок или карикатуру. Была и такая запись, сделанная студентом-репетитором одного из сыновей Нины после весело и дружно проведенного им в Борщне лета: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!»* Это, впрочем, нисколько не помешало гостю и хозяевам продолжать дружбу и в последующее время. Так еще за много лет до осуществления этого дружески-враждебного пожелания мирно сосуществовали вместе элементы будущего взрыва.

Колпаково

Я уже упоминал о колпаковской усадьбе, расположенной на правом нагорном берегу Реута, со своим двухэтажным каменным домом времен Елизаветы, обширными кирпичными хозяйственными постройками и высокой стройной церковью, сооруженной Растрелли, господствовавшей над всей нашей левобережной равниной. Дом и церковь окружали вековые дубы, росшие на склоне горы. А внизу у самой реки находились промышленные заведения имения – дедовская водяная мельница, приходившая в ветхость в своей воспетой поэтами и художниками таинственной живописности, и недавно сооруженный винокуренный и ректификационный завод** со своей трубой, хотя тогда еще не получившей общего признания в мире искусств, но уже задававшей тон в жизни. В Колпакове жили Изъединовы, владевшие, кроме этого большого и ценного имения, еще обширным лесным имением где-то на севере, не то в Петербургской, не то в Псковской губернии. Я смутно припоминаю, что когда мы бывали в Борщне еще до приобретения нами Любимовки, то нам рассказывали, что молодой владелец Колпакова, блестящий гвардейский офицер, проработал на винокуренном заводе своем целое производство в положении рабочего. Было ли это с целью «опроститься», или с целью основательного на деле изучения своего предприятия – не знаю,

---

* Впрочем, считаю, что Карфаген должен быть разрушен! (лат.)

** Завод по перегонке и очистке спирта (от лат.: rectifacare – выпрямлять).

но ко времени приобретения нами Любимовки Лев Иванович уже не проявлял никаких признаков какой-либо эксцентричности. Он служил при одном из великокняжеских дворов, лично ничего из себя не представлял и обыкновенно отсутствовал из Колпакова. Зато сестра его Варвара Ивановна и жена Надежда Владимировна, урожденная Дондукова-Корсакова, были женщины незаурядные. Надежда Владимировна подолгу хворала. Ее постигло в Колпакове жестокое несчастие: погиб от несчастного случая старший сын-подросток. Надежда Владимировна, бывало, годы подряд проживала в имении, безвыездно одна, занимаясь чтением и рисованием, следя из своего уединения за всеми текущими литературными и художественными явлениями. В дела имения она, по-видимому, принципиально не входила или делала вид, что не входила, предоставляя распоряжаться по хозяйству своему вечно рассеянному и всегда отсутствующему мужу. К сожалению, добавлю я, ибо ценное их имение заслуживало того, чтобы им серьезно занялись. Между тем администрация имения оставляла желать лучшего. Винно-ректификационный завод в умелых руках мог бы давать хорошие результаты. Наши отношения с колпаковской усадьбой долгое время ограничивались добрососедским знакомством, так как винокуренный завод предъявлял требования на картофель из имения, закрывая этим возможность развития в нем свекловодства. Впоследствии, однако, привлечением окрестных крестьян к поставкам картофеля колпаковскому заводу удалось освободить значительную часть колпаковского корнеплодного клина для посева свеклы Любимовскому заводу, устранив, таким образом, казавшийся сначала непримиримым антагонизм винокуренного и сахарного заводов.

Село Богородичное

Заманчиво было завести плантации на правом берегу Реута. Тут был непочатый край, так как за отсутствием моста через Реут у самого завода доставка бурака сопряжена была с большими объездами и потому была затруднительна. Но с приобретением Офросимовки мы озаботились сооружением новой гати и нового моста, открывавших буракам правого берега близкий выход к заводу. Ключ к этой правобережной позиции лежал в селе Богородичном, где рядом, одна подле другой, находились усадьбы владельцев двух весьма значительных имений, во время оно, очевидно, составлявших одно целое.

Одно из этих имений принадлежало братьям Юматовым*[6]. Они не делились. Вели общее хозяйство. Старший был женат и имел уже двоих детей, к которым затем присоединился и третий. Младший брат, одинокий, жил на той же усадьбе в отдельном флигельке. Стол имели общий. Это была деятельная, трудолюбивая, дружная семья. Не тратясь на содержание какой-либо администрации и доходя до всего сами, братья работали с раннего утра до позднего вечера. При всем том, несмотря на обширность своего имения, в силу каковой их в городе считали бы богатыми людьми, какими они в действительности и были, они, очевидно, должны были быть очень осторожны в своих расходах, т. е. жить скромно и расчетливо. Здесь я впервые вник в жизнь помещика, живущего со своей земли и кроме доходов с имения не имеющего других ресурсов, вроде, например, службы, и не проедавшего своего имения. Последнее, как я вскоре убедился, было явлением самым обычным, самым заурядным. С первого взгляда несомненная связанность в бюджете таких дельных и богатых хозяев, как братья Юматовы, загадочно не вязалась с протекавшей бок о бок беззаботной, комфортабельной, праздной жизнью их соседей Изъединовых, о которых я только что перед этим говорил. В сущности, такого рода помещики, как Изъединовы, жили не с доходов от своего хозяйства. Земли их из года в год автоматически повышались в цене, без всяких усилий и вложений со стороны владельцев. Продавая время от времени то рощу, то урочище и тратя вырученные деньги на собственный прожиток, они просто-напросто реализовали и проедали незаработанный ими прирост ценности их имений, создавшийся в их пользу в силу социальных условий того времени. И получался забавный оборот: имения эти понемногу таяли и мельчали на глазах у всей округи, но благодаря неуклонному росту цен на землю остававшаяся часть имения все же продолжала представлять значительную ценность. В этом заключался секрет прочности землевладения. Доходы же от сельскохозяйственных операций бывали вообще невысоки. Если же имение было, как в большинстве случаев, обременено долгами, то надо было быть очень усердным и бережливым хозяином, чтобы оправдывать все платежи и сводить концы с концами.

---

* Артюховым. Опасаясь, что текст «Записок» попадет в чужие руки, М. В. Сабашников зашифровал под «Юматовыми» настоящую фамилию соседей-дворян. Дочь Сабашникова Нина уже при советской власти вышла замуж за Григория Яковлевича Артюхова, и упоминание его дворянского происхождения могло навлечь на семью неприятности. – *Примеч. ред.*

В переговорах с братьями Юматовыми мне не пришлось выслушивать обычные в этих случаях рассуждения, что сахарный бурак истощает землю, что посев его выгоден только для завода и разорителен для плантатора и проч., и проч. Отведя меня на скамейку под старым вязом около их террасы и внимательно выслушав мое приглашение заключить договор на поставку бурака, старший из братьев Я. А. засунул кисти рук как в муфту в рукава своей рубашки-косоворотки и откровенно сказал мне, что они уже давно присматриваются к этому делу. С постройкой завода Рейнами цены на землю (продажные и арендные) удвоились. После покупки нами завода они снова чуть не удвоились. Вздернулись вместе с тем и цены на рабочие руки. Между тем цены на пшеницу, определяясь урожаем в степных, экстенсивных хозяйствах, не обнаруживают склонности к подъему. В районе сахарного завода продолжать прежнее трехпольное, чисто зерновое хозяйство становилось невыгодным. Хочешь не хочешь, а приходилось переходить к более интенсивной системе хозяйства. Так, в силу общей обстановки окружные земли сами собой втягивались в оборот завода. Впрочем, братья Юматовы были очень осторожны. Сначала они взялись посеять очень небольшую площадь свеклой. Затем из года в год они постепенно увеличивали свои плантации.

С годами мы постепенно близко сошлись с братьями Юматовыми. Неоднократно предупреждали они меня о разных могущих произойти неприятностях. Нередко заезжал я к ним вечерком поделиться приятной новостью или поговорить о каком-либо озадачившем меня затруднении. Приятно было после обеда всей семьей выбраться из нашей низины в Никольском на лоб правобережной возвышенности, откуда открывался широкий, верст на 25, вид, и по ровной дороге ехать к дубовому лесу, находившемуся на краю их имения. За пересечением леса показывалась уже их усадьба с громадными, в два обхвата, дубами, за которыми скрывались произведенные братьями молодые посадки. Приветливо встречала нас С. Д. с детьми, уводя на террасу и говоря, что Я. А. молотилку чинит и скоро придет, а Д. А. в поле и вернется к ужину. Маруся с Андрюшей уводили Сережу с девочками смотреть посадки, а Гриша, чувствовавший себя постарше, терся около больших в ожидании интересных разговоров.

Я. А. окончил Техническое училище в Москве, по серьезности курсов приравненное к высшим учебным заведениям. Он был умный и благожелательный человек. За постоянное свое пребывание в деревне он привык вдумчиво и спокойно вглядываться во все, что перед ним происходит. Беседа с ним, лишенная всякой

суеты, иногда бывала очень занимательна. Свою округу и людей в ней он знал как свои 5 пальцев, и когда заходила речь о людях и событиях, касавшихся их уезда, то можно было заслушаться его рассказов.

Покровская барышня

Другое имение в селе Богородичном принадлежало Т. М. Анненковой. Рассказывали, что у нее была сестра, у которой в юности была романическая история. Выданная матерью за нелюбимого человека, она удалилась в монастырь и достояние свое передала Т. М., которая, в свою очередь, решила замуж не выходить. Как бы то ни было, ко времени моего появления в уезде Т. М. была, как говорится, старой девой. Проживала она обыкновенно зимой в Петербурге, а летом в Финляндии, где имела собственную мызу, в которой вела молочное хозяйство. В Богородичном она показывалась изредка и ненадолго, как бы для ревизии и наведения порядка. Управление имением находилось в руках местного крестьянина – бурмистра, как его по старинке называли, старого, но хитрого и сметливого мужика. Он попросту раздавал землю делянками в аренду на один посев местным крестьянам, не обходя, конечно, при этом своих родичей и друзей. Так как под влиянием завода цены на землю неимоверно росли, то это немудрое хозяйство позволяло старому бурмистру собирать с крестьян достаточно денег, чтобы ублаготворить свою всегда отсутствующую, но всегда требующую денег госпожу. Чтобы держать своего бурмистра в постоянном страхе появления хозяйки в имении, Т. М. прибегала к весьма простодушному приему. Бурмистр извещался о предполагавшемся ее приезде. Присылались даже телеграммы о дне приезда, который откладывался уже без предуведомления о том телеграммой. В имении все с напряжением готовилось к приезду хозяйки, чистилось и прибиралось. Лошади высылались на станцию для встречи «барышни», возвращались обратно «пустые», чтобы на следующий день опять выезжать. Думается мне, что бурмистр не слишком-то устрашался такими приемами, рассчитанными робкой барышней на свой аршин. А что она робка была, убедился я из следующего бывшего со мной случая. Воспользовавшись раз ее приездом в Богородичное, я завел с ней переговоры об аренде у нее некоторой площади под посев бурака. Переговоры наши протянулись безрезультатно все пребывание ее в Богородичном, и перед ее отъездом мы сговорились с ней, что я побываю у нее в Петербурге во время предстоявшей мне

туда поездки моей. Когда же в исполнение этого я в Петербурге позвонил у двери ее квартиры, меня через замочную скважину спросили, кто звонится. Затем за закрытой дверью засуетились. Начались беготня и шушуканье. Очевидно, совещались, как быть. Постояв достаточно долго перед закрытой дверью, за которой шла эта возня, и безрезультатно еще несколько раз позвонив, я так и ушел... Не догадались даже крикнуть мне общепринятую в подобных случаях ложь, что, мол, «дома нет». И это у Т. М. был обычай с малознакомыми людьми, которые, не дозвонившись, уходили. Были, впрочем, и такие, что, не дозвонившись в парадной, заходили через черный ход, который бывал иногда открыт. Такие решительные люди робко принимались тогда хозяйкой как желанные гости! Бывают чудачки на свете!

Проникновению бурака на земли покровской барышни ставил преграду старый бурмистр. Он, естественно, боялся, что хозяйка может предпочесть получать в Петербурге чёком сразу всю арендную плату за свою землю от завода, нежели продолжать возиться с крестьянами, получая от них деньги в рассрочку, мелкими взносами и не всегда исправно. Такая перемена подрывала бы его благополучие и благополучие его многочисленной родни, которой он льготил при сдаче земли. Он поэтому употреблял все свое влияние, чтобы убедить свою «госпожу», что бурак – культура, для земли опасная, истощающая ее. «Они ведь, с завода-то, до ребер до самых землю выпашут», – стращал он при мне хозяйку, и это образное выражение внушало мне мысль, что он и сам за бедные ребра господской земли беспокоится. Но братья Юматовы склонили соседку сдать землю под посев бурака им, так как они по-соседски землю не обидят. А затем барышня решилась и заводу землю предоставить, что было важно, так как братья Юматовы не решались вести посевы в большом размере. «Finis Poloniae!»* – удивил меня старый бурмистр почерпнутым, вероятно, из романов Сенкевича возгласом, когда я приехал с договором к нему за отводом земли.

А. Д. Гридин

Среди соседей я приобрел своеобразного доброжелателя в лице Андрея Дмитриевича Гридина. Андрей Дмитриевич находил полезным для себя держать мою сторону, а иногда, быть может, его к этому побуждало чувство сословной, что ли, солидарности.

* Конец Польше! (лат.)

Крестьянин по происхождению, сколотивший капитал на спекуляции землей*; вышедший в купцы; тайный приверженец скопческой секты, имевший связи с эмигрировавшими в Яссы единоверцами своими и получавший, как говорили, оттуда средства для своих спекуляций, чувствующий на себе неуклонное наблюдение начальства светского и начальства духовного, а одновременно, думать надо, и наблюдение со стороны тайных своих сообщников, Андрей Дмитриевич представлял что-то весьма психологически сложное. Был ли он с кем-либо хоть ненадолго нараспашку, вполне откровенен – не знаю. Жил он в деревне Касторной, где имел отличный домик. Но в ¼ версты расстояния от Никольской усадьбы нашей, в лесу, на высоком берегу Реута, он сверх того построил себе более обширный дом. В нем он не жил, но постоянно туда наезжал и держал там прислугу. Говорили, что дом этот, в стороне от дороги и от чужого жилья, нарочно им сооружен для собраний и молений. Дочь свою он будто бы обрек на роль скопческой богородицы. Говорили, что он хорошо начитан в Священном писании и что он любил вести разговоры на религиозные темы, забрасывая собеседника своего цитатами из заветов. Но, очевидно, видя во мне человека, отпавшего от религии, он никогда не заводил со мной таких разговоров. Зато о делах и людях случалось беседовать с ним много, и характеристики его бывали иногда забавны и метки. Увлекаясь разговором, он, случалось, выдавал мне и свои маленькие хитрости и уловки. Нельзя же человеку хоть изредка не похвастать. Так, о нашей общей соседке Петровой он признавался мне, что из года в год прибегает с ней к одному и тому же приему, чтобы купить ее урожай пшеницы. В уверенности, что она из скупости и из желания выторговать цену повыше никогда сразу не продаст урожая, он нарочно в начале уборки предлагал ей заведомо преувеличенную цену. «Замок вешал», как называл это Андрей Дмитриевич. После этого можно было не бояться никакого конкурента-скупщика и располагать пшеницей Петровой как своей собственной, так как, получив от «благодетеля» Гридина исключительно выгодное предложение, старушка уже психологически не могла отдать пшеницу кому-либо другому да по низшей цене. Ну, а потом, уже зимой или весной, после того как старушка тысячу раз каялась, что не поверила «единственно честному купцу Гридину», он по приглашению ее уже в порядке одол-

* Любопытно сопоставить: в то время как неуклонный рост цен на землю, в лучшем случае, лишь тормозил оскудение помещиков, А. Д. Гридин, спекулируя на нем, составил себе богатство. – *Примеч. М. В. Сабашникова.*

жения брал у нее, «жалеючи старость ее», пшеницу по той цене, по какой ему в то время было выгодно. «Коробочка!» – резюмировал я его рассказ, и Андрей Дмитриевич залился смехом чуть ли не до слез. Впрочем, мое замечание не напомнило ему никаких гоголевских образов. «В такой коробочке на погост возят! Зима – лютая стужа!» – резюмировал Андрей Дмитриевич в свою очередь.

В то время как мы появились в Любимовке, А. Д. Гридин занимался преимущественно покупкой лесов на свод и разработкой их и торговлей хлебом. Юркий проныра, он изучил всю округу, знал каждый лесок и владельца его со всеми его «обстоятельствами». Учитывая все семейные и прочие события в жизни владельца, он терпеливо, годами стерег, когда кому понадобится или захочется продавать свой лес. Тут как тут и приезжал тогда лиса Гридин в самую нужную минуту, с готовыми деньгами, чтобы кончить разом, без конкурента. В длиннополом своем сюртуке, высоких сапогах с калошами, ласковый и вкрадчивый, седой старик этот неугомонно разъезжал в своей бричке по всей округе, заезжая как бы мимоходом, всегда наспех, только на минутку, никогда не обнаруживая цели своего посещения. Постоянно возясь с худеющими из года в год помещиками, он до тонкости изучил все их слабости и, конечно, внутренно считал себя много выше их. Однако кормясь от их слабостей, он скромно применялся к их обхождению, в котором сказывалось пренебрежение к «торгашу-промышленнику». Переход Любимовского завода в наши, тоже не дворянские, руки доставлял ему некоторое удовлетворение. Впрочем, если бы представился случай, он, конечно, не побрезговал бы заработать и на нашей купеческой оплошности, как наживал на оплошности помещичьей. Но поскольку можно было попить чайку да между делом заключить договор и получить авансом деньги, которыми он умел оборачиваться самым удивительным образом, Андрей Дмитриевич определенно держал курс на благожелательные добрососедские отношения. С ним мы в два слова сошлись на посев бурака, а когда он задумал продать свой хутор, то он и не пробовал пристроить его в другие руки, зная, что мы настоящую цену дадим.

Постоянное возбуждение, в котором Андрей Дмитриевич всегда находился, с годами стало подтачивать его силы. После 1905 г. Андрей Дмитриевич начал как-то быстро сдавать. К тому же в округе появились не дававшие ему покоя конкуренты «кулак» и «жид». Бывший колпаковский мельник Токарев завел на станции Лукашевка ссыпку зерна крестьянского и с этой базы зорко стал выслеживать все случаи поживиться на какой-нибудь

«афере», не только естественным образом сталкиваясь при этом с Андреем Дмитриевичем, но намеренно переступая ему поперек дороги и вынуждая делиться поживой и брать себя «в компанию». Громадный детина с большим «пузом», он проявлял изумительную подвижность в таких делах, вызывая в сухом и елейном Андрее Дмитриевиче злобное шипение. Другим конкурентом явился молодой еврей Гедин. «Провизор», как его называл Андрей Дмитриевич, так как чтобы поселиться в Курске (вне черты оседлости)[7], Гедин выбрал себе диплом фармацевта. Ни в какой аптеке он, конечно, не работал, а спекулировал и маклеровал на сделках с чечевицей, клеверными семенами, овсом и пр., ловко, по-еврейски умело используя банковский кредит, получая из разных мест телеграммы, посещая «биржу», или тротуар перед подъездом Коммерческих номеров, где сходились для таких же целей такие же его «единомышленники». Не брезговал он и токаревскими приемами и тоже «примазывался», довольствуясь, впрочем, получением «благоразумного» куртажа и не гоняясь за компанейством. Стоило, например, И. П. Сапунову, местному мельнику, собраться к нам торговать пшеницу, как в поезд садился и Гедин. Вдвоем они приезжали со станции на высланных нами за И. П. Сапуновым по его телеграмме лошадях и в течение всего пребывания у нас держались неразлучно. Отведя меня в сторону, И. П. Сапунов, бывало, уныло спросит: «Вы платите куртаж?» – «За что же? Мы его не приглашали». – «Придется, видно, мне платить», – заключает И. П. Сапунов. Приходилось и А. Д. Гридину платить, чтобы не мешали.

Петрова

Упомянутая выше старушка Петрова жила в самом Старо-Никольском в маленьком домике рядом с церковью. Ее дочь была замужем за проф. Фишером фон Вальдгеймом, директором Ботанического сада в Петрограде. Ежегодно он проводил свои отпуска в имении тещи на лоне природы, где его три дочери, лихие наездницы и страстные любительницы деревни, сами занимались на полевых работах в крохотном хозяйстве бабушки. На зиму уезжали в Петербург, оставляя домик и непроданный урожай на попечении бабушки.

Был в нашей округе и другой еще представитель ученого мира Анненков Константин Никонорович, известный автор обширных трудов: «Опыты комментария к уставу гражданского судопроизводства» (СПб., 1887 – 8, 6 томов) и «Система русского

гражданского права» (СПб., 1894 – 9, 3 тома), живший безвыездно в своем родовом именьице около Волоконского, но средства к жизни, очевидно, получавший не из имения только.

Братья Толмачевы

Выше по реке, верстах в 2-х от нас жили совсем анекдотические соседи. Когда-то Толмачевы имели большой вес в губернии, обладали обширными имениями. Памятником их минувшего величия еще при мне возвышался на крутом берегу Реута большой двухэтажный каменный дом, помнивший, надо думать, времена Елизаветы Петровны. Не знаю, с какой поры род Толмачевых стал хиреть. Но ко времени моего появления в Любимовке он находился в полном упадке, как и величественный некогда дом их. Род был представлен стариком дядей и тремя уже взрослыми повесами племянниками. Старший, получивший университетское образование, выделился и жил отдельным хуторком в ближнем лесу, в логу. Это был безусловно способный человек, но до крайности озорной. В истории земской растраты, о которой я уже упоминал, он сыграл роль обличителя, обнаружившего непорядок. Но это не принесло ему того успеха в уезде, на который, по-видимому, он рассчитывал. На выборах он никуда не был избран. Его брезгливо сторонились и, видимо, опасались. Он был на всех озлоблен, злословил и сплетничал. Хуторок не давал ему достаточных средств к жизни. Он перемогался службой, нигде, однако, по каверзности своего характера не уживаясь. Дяди и младших своих братьев он сторонился. Они занимали старую усадьбу, поделив дом предков так, что племянники взяли себе нижний этаж, а дяде достался верхний. Из такого раздела милые племяннички сумели устроить себе и всей округе развлечение. Будучи актерами и подвизаясь на провинциальных сценах, они не нуждались в доставшемся им нижнем этаже дома для жилья и постоянно выдвигали все новые, самые невозможные проекты его использования – то продажи на слом, то постановки в нем волов на откорм, то еще что-нибудь подобное. Пустят в оборот слух о таком их решении и засылают затем приятелей к дяденьке в гости посмотреть, как старичок волнуется и их поносит.

Тут же около них находилась землица захудалого дворянина А. П. Бледнова. Небольшой домик и 80 десятин земли, на которой он сеял ежегодно для завода 8-10 десятин бурака. Добродушный, незадачливый хлопотун общался больше с приказчиками на заводе да зажиточными крестьянами – соседями касторнянскими,

почти не показываясь на помещичьих усадьбах. Жил бедно. Брался за всякие мелкие подряды. Скрипел. А рядом другой мелкий плантатор, но из крестьян, Сысой Иванович, например, из Касторной, имея десятин не больше Бледнова, чувствовал себя, повидимому, весьма недурно, несомненно, из года в год увеличивая свой достаток.

Белый Колодец и жекулинский околоток

Выше по Реуту находились имения С. И. Жекулина и многочисленных его родных и свойственников: А. И. Жекулиной, Кологривовых, Мальцева, Рейнфельда. Последние были в упадке, главным образом, за отсутствием в составе владельцев лиц, способных вести хозяйство. В самом деле: сестра Сергея Ивановича – А. И. была уже слабой старушкой; всей округой уважаемый А. А. Мальцев, бывший мировым судьей по выборам и с введением земских начальников избранный в почетные судьи, был тоже преклонных лет; он вскоре скончался, оставил дочь, вышедшую замуж за офицера Мандрыкина, которого после брака разбил паралич; Рейнфельд производил впечатление человека, душевно от чего-то пострадавшего, и для пополнения бюджета служил агентом земского страхования; Алеша Кологривов, единственный мужчина в многочисленной семье Кологривовых, видел свое призвание в охоте, содержал громадное количество борзых и гончих собак, не смущаясь тем, что ни средства семьи, ни наличие в округе дичи нисколько не оправдывали такого его притязания на роль Нимврода округи[8].

Естественно поэтому, что имения эти сделались ареной деятельности единственного работоспособного, энергичного родственника – С. И. Жекулина в первые годы по заключении им с (Пиотровским) Брониславом упомянутого выше договора-монстр на поставку бурака заводу. Со временем, впрочем, владельцы постепенно эмансипировались от опеки Сергея Ивановича и вступили в непосредственные соглашения с заводом, который и финансировал, и инструктировал их.

В большом имении самого Сергея Ивановича заведено было многополье с посевом клевера и свеклы. Велось молочное хозяйство. Выделывался сыр на продажу. В логах сохранилось много лесных зарослей, чем Сергей Иванович очень гордился. Усадьба расположена была в живописном уголке.

С. И. и А. В. Жекулины

С С. И. Жекулиным отношения всегда были натянутыми. Когда мы после покупки завода нанесли ему в его Белом Колодце первый визит, он приветствовал нас словами: «Не боги горшки обжигают!», одновременно и ободряющими и подчеркивающими нашу полную неподготовленность к ведению любимовского дела. В качестве испытанного хозяина, близкого соседа, местного старожила, старого, наконец, знакомого сестер и даже свойственника он не прочь был занять по отношению к нам положение влиятельного советника или даже руководителя, гласного или негласного. Такие мысли высказывались им Брониславу, что было довольно наивно для такого ловкого человека, как Сергей Иванович. Ведь Бронислав сам метил на такую роль! Неудача этих домогательств была смягчена Сергею Ивановичу тем большим плантаторским договором, о котором я уже рассказывал. Все же самолюбие Сергея Ивановича было уязвлено, и с ним всегда надо было держаться начеку, тем более что он в жизни следовал известной поговорке: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал». Брат Сережа острил, бывало, что Сергей Иванович «полирует Мише кровь». И действительно, попав «в переделку» к таким мастерам этого ремесла, как Бронислав и Сергей Иванович, я многому научился в обращении с людьми. Я бы мог рассказать немало крупных и мелких инцидентов, возникавших между нами, но это уже слишком отвлекло бы мое повествование в сторону. Расскажу лишь про один «визит» ко мне Сергея Ивановича, связанный с появлением в нашем соседстве нового сахарного завода.

Дорогой визит

С С. И. Жекулиным мы поддерживали хорошие деловые отношения, но без особых поводов мы друг к другу не ездили. Поэтому, когда в какой-то будний день конца лета София Яковлевна, вызвав меня на заводе, где я был, к телефону, сообщила, что к нам в Никольское приехал Сергей Иванович, я был уверен, что он приехал по какому-нибудь делу. Поспешив в Никольское своей обычной луговой тропинкой по дамбе, я через 20 минут застал Сергея Ивановича гуляющим с Софией Яковлевной в нашем саду. Я пригласил Сергея Ивановича в кабинет, думая, что, оставшись со мной наедине, он изложит мне приведшее его к нам дело. Ничуть-то ни было. Приходилось решить, что Сергей Иванович посетил нас ради нанесения светского визита. Мы пообедали. За

кофе Сергей Иванович участливо, по-родственному, тоном человека, посвященного в наши дела, спросил меня, добился ли я, наконец, соглашения с Блохиным, крупным землевладельцем около станции Иванино, с которым я долгое время вел переговоры о заключении договора на посев бурака, никого, впрочем, в эти переговоры не посвящая, тем менее Сергея Ивановича. Но раз он уже оказался до некоторой степени осведомленным, я не стал скрывать уже состоявшегося соглашения и, внутренне удивляясь и недоумевая на Сергея Ивановича, ответил ему с некоторым самодовольством, что хоть трудно было, но мы договорились, и договор у меня в столе. Узнав при этом, что договор нами заключен не на аренду, а на посев бурака, Сергей Иванович пришел в заметное оживление и через несколько минут попросил сказать его кучеру, чтобы подавал. Когда Сергей Иванович отъехал, я сказал Софии Яковлевне, что Сергей Иванович приезжал не зря, что-то разведывал, но я не могу догадаться, что ему было нужно. На следующий день я отправился в обычную свою ежемесячную поездку в Москву, и на Иванине начальник станции сказал мне, что в этот же день Блохин через посредство Сергея Ивановича продал свое имение группе киевских предпринимателей под постройку сахарного завода. Дельцы эти наметили другое имение в Рыльском уезде, предполагая, что блохинское имение находится у нас в аренде. Но заинтересованный в продаже блохинского имения, Сергей Иванович в последнюю минуту привез известие, что мы имеем с Блохиным не арендное (нерасторжимое и обязательное для нового владельца) условие, а условие на поставку бурака (которое не будет обязательным к исполнению для новых владельцев). Начальник станции тут же выразил мне опасение, что новый завод в такой близости от нашего создаст нам большие затруднения в получении бурака. Объяснять мне это, конечно, было нечего. В Киеве тоже считали, что нам, как говорится, «большую свинью подложили», ибо по приезде в Москву я получил от малоизвестного мне сахарного дельца из Киева телеграфное предложение расстроить намечавшуюся постройку нового сахарного завода перекупкой имения Блохина, от купившего его товарищества, конечно, с весьма значительной надбавкой. Мы с Сережей даже вступили в переговоры по этому делу с указанным посредником и съезжались с ним для этой цели в Харькове. Однако киевская группа оценивала так высоко приносимую нам неприятность и требовала такой большой надбавки, что мы на перекупку блохинского имения не пошли, решив, пусть будет, что будет! На этот раз черт оказался не таким страшным, как его малюют. Балаховские,

ставшие во главе нового предприятия, не стали делать серьезных попыток забраться в поисках бурака для нового завода в глубину нашего района. Стоя на ж. д., они имели широкую возможность вербовать бурак по линии ж. д. На этот путь, более легкий и выгодный, они и устремились.

Южные соседи

К югу расположено было имение В. А. Раппа, местного земского начальника[9], что не мешало ему вести свое хозяйство на 400 десятинах и поставлять заводу бурак.

Крепкими людьми и крепкими хозяевами были братья Медведевы, жившие в своих имениях около с. Ржавы. Вся семья, повидимому, в юности отдала дань толстовству с его опрощенством. Две сестры вышли даже замуж за местных крестьян-пастухов. Братья, однако, переболев этой детской болезнью того времени, к моменту моего появления в округе уже окончательно от нее освободились. Старший, Н. В., впоследствии поступил в Курске на службу по судебному ведомству. Младший, А. В., женился на очень симпатичной и умной земской учительнице соседней школы и пошел служить по выборам в земство, сделавшись очень деятельным и дельным членом Суджанской уездной земской управы при председателе кн. П. Д. Долгорукове. Один П. В. остался только при своем хозяйстве. Не сразу он раскачался на посев бурака, но в конце концов решился и сделался исправным плантатором.

Ямщицкая степь

Я должен для полноты картины сказать еще несколько слов о землевладении совершенно своеобразном. Общество Ямской слободы под Курском, где теперь Курский вокзал, во времена Екатерины несло ямщицкую повинность и в связи с этим было наделено обширными землями в разных местах губернии, в некоторых случаях весьма удаленных от их слободы. В то время эти земли представляли собой степь и эксплуатировались под пастьбу лошадей и покос. Имение ямщиков при селе Большое Солдатское, в 15 верстах от завода, еще и в наше время называлось «Ямская, или Ямщицкая степь». Но ямской промысел уже давно исчез. Ямщики с постройкой железной дороги стали служить на ней. Имения же свои они, продолжая оставаться объединенными в общество, сдавали с торгов на распашку. В кругу ямщиков лелеялась мысль поделить землю между собой, что давало бы им

возможность затем каждому реализовать свою долю в свою личную пользу. Но этому ставились препятствия со стороны властей. Такое-то имение площадью в 2000 десятин мы стали арендовать при Большом Солдатском под посев хлебов и сахарной свеклы, имея дело с волостным сходом Ямской слободы в Курске.

Деревенские впечатления

Я обозрел здесь, идя по радиусу в 15 верст вокруг завода, всю нашу округу, останавливаясь преимущественно на тех соседях, с которыми у меня заводились более или менее длительные отношения. Без этого ограничения можно было бы упомянуть еще многих других, так как наш уголок был достаточно густо населен, в особенности по берегу Реута*. На этой небольшой территории, лишь незначительно превышающей площадь Москвы в кольце окружной ж. д. с прилегающими пригородами, которую я вдоль и поперек исколесил и исходил, можно было видеть, на какие людские силы возложила судьба важнейшую в стране отрасль хозяйства и как управляются эти силы с выпавшей на них задачей в одном из самых плодородных ее районов, можно было наблюдать на частных случаях те процессы, которые в то время протекали в русской деревне.

Крестьянство пребывало в косности. Непрерывно и во множестве выдвигались из его среды то случаем, то трудолюбием, то умом и дарованиями отдельные личности. В силу присущей социальному строю того времени волостности[10], они автоматически исчезали из деревни куда-то вверх. Да и сами они сознательно спешили уйти из-под нивелирующего влияния общины и от принижающего действия сельских властей, обесценивая своим отходом среду, из которой они произошли.

Медленно угасало дворянство. С падением крепостного права оно перестало играть ведущую роль в экономике страны, оно утрачивало свое влияние, распадалось как класс. Быстрое вздорожание земли обеспечивало лишь его представителям время для безболезненного приспособления к новым условиям жизни. Не более того давали и не достигавшие цели мероприятия правительства, направленные к усилению значения дворянства. Преимущества по службе, идя навстречу общему тяготению дворянства к государственной службе, несомненно ускоряли отход по-

* По переписи 1897 года Курская губерния по густоте населения стояла на третьем месте в империи. –*Примеч. М. В. Сабашникова.*

мещиков от земли и от хозяйства. Дворянский банк[11] на поверку, не затормозил, а пожалуй что усилил мобилизацию* помещичьей земли. Ссуды брались далеко не на одни производственные цели. Семейные разделы, болезни, перерасход в личной жизни, необходимость урегулировать накопившиеся мелкие долги были весьма частыми действительными причинами залогов и перезалогов имений. А при малой доходности сельского хозяйства за залогом следовали неплатежи % и погашения. Ежегодно, два раза в год появлялись публикации о назначении имений неплательщиков к продаже за недоимки банку. Правда, в последнюю минуту при помощи всяких перезалогов и других сделок, не исключая и личных влияний, многие имения снимались с торгов, но все же какое-то количество земли при этом уходило из рук прежних владельцев. Кроме того, постоянно происходила продажа помещиками своих земель по добровольным сделкам.

Мобилизация земли в нашей округе происходила в двух противоположных направлениях – в направлении парцелляции**, при переходе земли к крестьянам, и в направлении концентрации, при скупке земель заводом. К тому же по заводу более или менее ориентировалась вся округа в своих хозяйственных распорядках. Координация в работе осуществлялась либо прямым приобретением земли заводом и включением ее в систему заводского хозяйства, либо долгосрочной арендой целых имений, либо арендой одного корнеплодного клина, либо, наконец, договором на посев и поставку бурака с финансированием имения заводом, принимавшим на себя в таких случаях и снабжение имения инвентарем, минеральными удобрениями и семенами. Воздействие завода начинало затрагивать и крестьянские земли, преимущественно единоличного владения.

Когда я сейчас, сидя в своей каморке, восстанавливаю в памяти своей эту картину, столь быстро и безвозвратно исчезнувшую, я вспоминаю свое сидение за микроскопом под низкими сводами старого университетского кабинета сравнительной анатомии, тесно уставленного всевозможными скелетами и препаратами. Но вместо микроскопа в моем распоряжении будто бы прибор, преодолевающий время, а полем зрения – описанная мною округа. Я поворачиваю винт, и все только что виденное мгновенно расплывается и исчезает, как оно расплылось и исчезло при встрече с революцией. Поворачиваю винт в другую сторону. Оптический

* Здесь: подвижность, изменение состояния.

** Парцелляция – разбивка земли на мелкие участки (парцеллы).

разрез пересекает объект где-то дальше и дальше, и из глубины времен за очертаниями моих современников мне начинают будто бы мерещиться их увековеченные русской литературой предки. Среди них не видно, однако, искомого Гоголем Костанжогло[12]. Его роль, роль предпринимателя, оживляющего округу и создающего благоденствие, исполнял безличный капитал, воплощенный в заводе с его техническими усовершенствованиями и сельскохозяйственными новшествами. Мне в дальнейшем придется рассказать о встречах моих с носителями этой силы.

Глава 6

ЗА ДЕЛОМ И МЕЖДУ ДЕЛОМ (1900 – 1904)

Сахарная нормировка

Свеклосахарная промышленность была нормирована правительством по очень остроумной, но довольно сложной системе. Нормировка имела своей целью обеспечить промышленность эту от постоянных кризисов, проистекавших от того, что в годы хороших урожаев бурака вырабатываемый промышленностью сахар не находил размещения в стране, что вело в таких случаях к паническому падению цен на сахар, банкротству заводов, разорению связанных с ними плантаторов и убыткам казны, взимавшей с сахара весьма значительный акциз*. В сущности, все дело было в этом акцизе (1 р. 75 к. с пуда при себестоимости пуда не более того же), который более чем удваивал цену сахара, делая его предметом потребления лишь более обеспеченных слоев. Об этом много говорилось и постоянно писалось в прессе, но добиваться упразднения или даже значительного снижения акциза на сахар было задачей совершенно нереальной, ибо при вечных заботах нашего финансового ведомства о сведении бюджета ни один министр финансов не пожертвовал бы столь крупной, верной и легко взимаемой статьей дохода.

Собственно говоря, закон «О некоторых мерах к урегулированию сахарной промышленности», как он скромно назывался официально, не нормировал производства, а контингентировал выпуск сахара на внутренний рынок. Закон не запрещал и не стеснял ни открытия новых заводов, ни расширения производства старых. Но на каждый год правительством устанавливался контингент выпуска сахара на внутренний рынок, который развёрстывался между заводами, в зависимости от участия каждо-

* Акциз – косвенный налог, взимаемый в казну.

го из них в снабжении внутреннего рынка в предыдущие годы. Излишки же, выработанные заводом сверх упадающего на него участия в контингенте, могли реализоваться лишь вывозом их за границу. Допускались переуступки между заводами их прав на снабжение внутреннего рынка, почему заводы, географически выгодно поставленные для экспорта, вывозили за границу не только свои излишки, но и свой свободный для внутреннего рынка сахар, переуступая свои права на выпуск на внутренний рынок другим, удаленным от границ, заводам.

Эти так называемые «перечисления» были предметом самой оживленной спекуляции. На случай неожиданного повышения потребления (что на деле из года в год и наблюдалось) на внутреннем рынке министру финансов предоставлялось право в году делать дополнительные к контингенту выпуски из излишков. Кроме того, некоторое количество сахара под названием «неприкосновенного запаса» резервировалось по заводам и должно было ими храниться специально в целях обеспечения внутреннего рынка и для удержания цен на внутреннем рынке в устанавливаемых тоже на каждый год пределах. Под сенью этой регламентации свеклосахарная промышленность находилась в то время в цветущем состоянии. Число заводов и в особенности выработка сахара из года в год возрастали, увеличивались вместе с тем и доходы казны по акцизу.

Общество сахарозаводчиков

Для разработки вопросов о пользах и нуждах сахарной промышленности и для представления ее перед правительством сахарные заводы были объединены во Всероссийское общество сахарозаводчиков, объединение хотя и совершенно добровольное, но охватывавшее за небольшим исключением почти все заводы. Членами общества считались предприятия-заводы, представляемые владельцами или их уполномоченными по одному от завода. Членские взносы определялись с пуда выпущенного на внутренний рынок сахара в предыдущем году. Общие собрания бывали не менее одного раза в год в так называемые «Контракты» или Киевскую контрактовую ярмарку, бывавшую обычно на масляницe. Место пребывания правления было в Киеве. Оно было довольно многочисленно и собиралось не менее раза в месяц. При действии правительственного регулирования сахарной

промышленности постоянно возникали вопросы, которые надо было возбуждать или освещать перед правительством.

Мы, конечно, вступили в состав членов Общества, и вскоре я был избран на общем собрании в члены правления.

Сначала мы было уполномочили И. А. Красуского представлять Любимовский завод на общих собраниях В. О. С. Но, вернувшись с первого же собрания, он посоветовал нам лично показываться на этих собраниях. Приобретение нами Любимовского завода как раз в тот момент, как киевские акулы уже разинули свои пасти, чтобы проглотить это лакомое блюдо, произвело среди киевских спекулянтов громадную сенсацию. Но справятся ли «желторотые» (птенцы), как нас прозывали киевские спекулянты. Охота за Любимовским заводом считалась еще не конченной, и в Киеве пари держали, кому он в конце концов достанется.

Сеть опытных полей

При Всероссийском обществе сахарозаводчиков существовала Сеть опытных полей, руководившаяся Соломоном Львовичем Франкфуртом. Участники ее отводили при своих заводах земельные участки для производства агрикультурных опытов по одной, общей для всей Сети, программе. Все работы проводились участниками своими средствами, но под общим наблюдением агрономов Сети. Результаты опытов обрабатывались С. Л. Франкфуртом и его помощниками и публиковались во всеобщее сведение. Конечно, преимущественное внимание уделялось культуре свеклы.

Независимо от работы Сети, ведшейся С. Л. Франкфуртом с неусыпной энергией, по широко задуманному плану и совершенно научно, существовала еще «Опытная станция П. И. Харитоненко», поставленная образцово и на американскую ногу. Ежегодно работы этой станции подвергались обсуждению специально созывавшегося в Сумах П. И. Харитоненко совещания лучших специалистов и знатоков опытного дела. Знаю, что из Москвы на эти совещания ездили проф. Д. Н. Прянишников, Жегалов, А. Г. Дояренко, А. Ф. Фортунатов.

Мы вступили в Сеть и на протяжении многих лет (т. е. до самой национализации сахарных заводов) проделывали с С. Л. Франкфуртом намечавшиеся работы. Конечно, следили мы и за достижениями других опытных учреждений. Из них Полтавское земское опытное поле, уделявшее много внимания свекловодству, представляло наибольший интерес. Выводами опытных учрежде-

ний мы широко пользовались в своем хозяйстве, не медля введением всех намечавшихся ими улучшений.

А. И. Чупров, который после переезда своего за границу преимущественно интересовался агрономическими вопросами, находясь в переписке с Сережей, осведомлял нас о новостях в области свекловодства за границей. Мы информировали его о русских работах. По-видимому, в методах возделывания свекловицы мы нисколько не отставали от Европы и Америки и, быть может, кое в чем даже шли впереди.

А. И. Чупров занес в свой дневник 19.V.02 следующие впечатления от развивавшейся в те годы агрономической опытной деятельности в России: «Очевидно, везде началась усиленная работа земств для преобразования хозяйства – работа, вызванная и осмысливавшаяся, главным образом, под влиянием примера Москвы. Я переживаю по временам минуты истинного восторга при виде того, как разгорается настоящее прогрессивное движение в среде сельских хозяйств и как много пользы приносят люди, которые хотят работать и знают, как вести дело. Не выходит из головы горькая мысль о тех невознаградимых потерях, которые приносятся нашим беспочвенным революционным движением. Сколько прекрасных энергических сил пропадает у народа под влиянием этой работы. И где тот могучий ум, который мог бы просветить эту массу молодых голов и направить ее не на призрачное, а на настоящее дело!»

Столица сахарной промышленности

Москва не была центром сахарной промышленности. Это значение, бесспорно, принадлежало Киеву, который и прозывался часто столицей сахарной промышленности. Никакого центрального органа, управлявшего сахарной промышленностью, там не было. Заводы сахарные, принадлежа отдельным владельцам или акционерным обществам, управлялись своими хозяевами, пребывавшими либо на заводах, либо в разных городах: Петербург, Москва, Харьков, Киев, Одесса, Варшава, Сумы (Харитоненко), Смели (Бобринский). Правительственного управления сахарной промышленностью не было совсем, промышленность эта относилась к ведению Департамента неокладных дел Министерства финансов[1] (в Петербурге), на котором лежало взимание акциза с сахара и нормирование производства, о чем было сказано выше. Агентами Департамента на местах для учета обложений акцизом продукции были губернские акцизные управления и жившие на

каждом заводе акцизные надзиратели. Возглавлялся Департамент директором Марковым, дослужившимся до звания члена Государственного Совета. (Он изображен Репиным на его известной картине «Государственный Совет». Красивый старик, с громадной шевелюрой седых волос, розовым лицом и ярко-красной орденской лентой через плечо. Фигура на портрете красочная, в службе и жизни, кажется, ничем особенно не выделившаяся.)

Во время войны, когда стало чувствоваться истощение, пришлось ограничивать потребление, и стали создаваться разные регулирующие и распределяющие правительственные «главки» и «центры», был создан такой и для сахарной промышленности с местонахождением в Киеве. Но это много позже, в описываемое же время Киев являлся как бы столицей сахарной промышленности потому, что в нем жили и держали свои главные конторы большинство сахарозаводчиков, в том числе такие тузы сахарного мира, как Бродские и Терещенко. Здесь находились главнейшие фирмы, снабжавшие заводы и плантации необходимыми материалами, оборудованием, машинами, инструментами, удобрениями, семенами и проч. Киевские банки, в особенности Отделение С.-Петербургского международного со Столенверном во главе и Отделение Русского для внешней торговли банка с Добрым во главе, вели широкие операции с сахаром и пресловутыми «перечислениями» (т. е. переуступками между заводами их прав на выпуск сахара на внутренний рынок), бывшими предметом отчаянной спекуляции. Эти банки финансировали заводы, и многие заводы фактически от них зависели. В Киеве находилось правление Всероссийского общества сахарозаводчиков и лаборатория состоявшей при нем «Сети опытных полей». Здешнее отделение Императорского технического общества преимущественное внимание уделяло сахарной промышленности, выпускало под редакцией Толпыгина «Ежегодник сахарной промышленности». Наконец, Контрактовая ярмарка, собиравшаяся в Киеве обыкновенно около масленицы, тоже в значительной мере была связана со свеклосахарной промышленностью.

Контрактовые ярмарки, по-видимому, издавна существовали в разных городах Западных губерний. Вот как описывает такую ярмарку в Минске Фаддей Булгарин в своих воспоминаниях (ч. I, стр. 123, СПб., 46 г.):

«С 7 марта (в день святого Иосифа) начинались так называемые «Контракты» в Минске. Самое название означает, что «Контракты» есть время, назначенное для различных сделок. В это время покупали, продавали и брали в аренду имения, занимали и

отдавали взаймы деньги, платили долги и проценты. Вместе с тем были тогда же и ярмарка, и время увеселений. Купцы приезжали с товарами из всех больших городов и из-за границы. Каждый вечер бывали театральные представления, концерты, частные и публичные балы, а, кроме того, богатые помещики давали обеды. Это было деловое и веселое время. И теперь существуют «Контракты», но это уже тень прежних; теперь уже знают в Западных губерниях, что такое кредитные установления в России, банки, ломбард; но тогда все обороты происходили в провинции; брали деньги у частных лиц, отдавали капиталы на проценты в частные же руки, следовательно, весьма немногие помещики не имели надобности быть на «Контрактах».

Посещения Киева по делам

Естественно, что мне приходилось по делам завода бывать в Киеве. В особенности после избрания меня в члены правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, собиравшегося регулярно раз в месяц.

Теперь пришлось узнать Киев с другой стороны, чем раньше, когда мы к нему причаливали на своем «Зайсане», интересуясь чудесными видами да памятниками старины и искусства. Для посещения Киева с подобными запросами, конечно, самое выгодное время – это весна, когда Днепр, выйдя из берегов, затопляет всю левобережную равнину, Тарханов остров, и даже на самых отдаленных от реки улицах при малейшем дуновении воздуха чувствуется в легких влага речного простора.

Но это период относительно тихий. Самое же оживленное время в Киеве бывало на «Контрактах», когда город буквально бывал наводнен «контрактовичами», присутствие которых сказывалось на самых даже глухих улицах. Все номера в гостиницах бывали расписаны заблаговременно, в ресторанах давка, театры и концерты переполнены. Спекуляцией охвачены бывали в «Контракты» не одни только дельцы – банкиры, заводчики, коммерсанты, маклеры. Кто только в это время ни рисковал в надежде на удачу! А кто не участвовал в аферах, у того вчуже слюнки текли от одних только разговоров. Булыжники на Крещатике, казалось, перешептывались между собой, что Добрый четверть часа тому назад купил перечисления, а Бродский продал сахар по таким-то и таким-то ценам.

Все же и при деловых посещениях Киева я неизменно отдавал дань своим первым в нем привязанностям. Я старался в каждый свой приезд обязательно побывать в Софийском соборе. Давно отпавши от всякой религиозности, я все же находил большое, чисто эстетическое удовольствие от пребывания в этом древнем удивительном соборе. Любил я особенно посещать его во время всенощной службы. На хорах, против алтаря, у меня было излюбленное местечко. Как хороши были оттуда очертания сводов и перекрытий в сложных ракурсах. Впереди виднелась в глубине алтаря Богородица, а на столбах по сторонам замечательная мозаика Благовещения. Когда, налюбовавшись на эту «нерушимую стену», забудешь всякие житейские попечения, начнешь разглядывать сверху молящихся внизу. Вот две гимназистки истово свечи ставят и усердно молятся. А ведь всего-то, вероятно, вымаливают себе хорошие отметки на уроках...

Но уж если говорить о молящихся, то надо рассказать, чему я был свидетелем как-то в Михайловском соборе, соседнем с Софийским. Это было зимой днем, во время службы. В соборе было мало молящихся. Отлично пели, и я заслушался. Меня стали занимать какие-то глухие удары, раздававшиеся равномерно где-то, как мне казалось, в отдалении. Прислушиваясь к ним, я соображал, что это могло бы быть, в уверенности, что глухие эти удары доносятся издалека. Однако, случайно обернувшись, я так и отшатнулся от неожиданности. Непосредственно за мной, немножко сбоку, стоял высокий рыжий детина громадного роста, исполинского телосложения, со всклокоченной, вероятно, никогда не чесанной рыжей бородой и рыжими же вьющимися волосами. Он равномерно становился на колени, кланялся затем до земли, звучно ударял лбом о каменные белые плиты пола, сейчас же затем вставал, выпрямлялся и начинал сначала. На полу была буквально лужа от струившегося с него пота! От него, как от взмылившейся на холоду лошади, кругом поднималось облако пара. Очевидно, эта процедура продолжалась уже довольно долго... Что это за человек? Встретиться с ним на большой дороге или в глухом переулке было бы жутко. О чем молится, что просит или, верней, чуть ли не силой хочет взять у своего Бога? Совершил ли он жестокое преступление или ищет выздоровления жены или сына? Чем он движется сейчас страхом, раскаянием или любовью? Не той ли это формации человек, как те, кто спасался когда-то в лаврских пещерах; ведь там среди праведников показывали нам когда-то и Илью Муромца.

Состав правления

Всероссийское общество сахарозаводчиков возглавлял бессменный председатель его правления граф А. А. Бобринский, владелец сахарного завода в Смеле. Смелянская ветвь графов Бобринских в истории насаждения у нас сахарной промышленности сыграла когда-то значительную роль. Один из предков графа[2] удостоился исключительной по тому времени чести постановки ему памятника в Киеве на Бибиковском бульваре. В ознаменование своих заслуг по экономическому оживлению Юго-Западного края этот предок графа, отлитый в бронзе во весь рост, в римской тоге, с обнаженной головой, одной ногой опираясь на отрезок рельса, встречал всех приезжавших в Киев по железной дороге. По традиции и наш председатель пользовался среди сахарозаводчиков большим престижем. Совершенно заслуженно, ибо, имея весьма большие связи в Петербурге, наш граф всегда был готов «в интересах промышленности» предоставить и свой труд, и свое влияние. Англоман в манерах, сдержанный и тактичный, он весьма искусно руководил как общими собраниями, так и заседаниями правления, на которых зачастую горячо сталкивались интересы участников.

Правление Общества, довольно многочисленное, формировалось предусмотрительно и дипломатично, с учетом всех существующих в составе сахарозаводчиков интересов и группировок. Заводы песочные, песочно-рафинадные, рафинадные, большие и малые, северные и южные, правобережные и левобережные, русские, польские и еврейские при выборе нельзя было обойти ни одной группировки, но и после выборов приходилось со всеми этими оттенками считаться.

Польские заводы, т. е. заводы, расположенные в Царстве Польском, были объединены Отделением нашего Общества в Варшаве и в Киеве, выступали всегда вместе. От лица их говорил обыкновенно И. С. Щенсовский. Потерпев ряд тяжелых катастроф в политике, устраненные нашим государственным строем от всякой открытой политической деятельности, поляки всю свою энергию направляли в хозяйственную и промышленную сферу. Они были хорошими дельными хозяевами и администраторами и на заседаниях нашего правления выступали с обстоятельно взвешенными и разработанными предложениями.

Большой вес каждый за себя в отдельности представляли так называемые сахарные короли: братья Бродские, Н. А. Терещенко, П. И. Харитоненко. Каждая фирма, обладая каждая по несколь-

ку заводов, имела возможность производить давление на сахарный рынок. Состояния Терещенко и Харитоненко созданы были на памяти людской отцами нынешних владельцев. В сахарном мире держались легендарные рассказы и забавные анекдоты о неутомимости, терпении и бережливости этих вышедших из крестьян созидателей миллионов.

Особую интеллигентскую тройку в правлении представляли бывшие служащие – директора, а тогда уже ставшие сами заводчиками, заслуженные ветераны, инженеры-технологи Пятаков, Сироткин и Монахов. Они в правлении и садились всегда рядом. Но выступал на собраниях или заседаниях из них один только Н. В. Монахов. Вообще ораторов среди сахарозаводчиков не было, да и где было в ту пору научиться такому искусству.

Часто и охотно выступал с речами, уснащая их шутками и украшениями, темпераментный К. В. Фишман. Но оратором его никак нельзя было назвать хотя бы по одной его невозможной дикции. Вибрирующий на все еврей, он очень волновался, когда я в 1905 году вздумал, как тогда повелось, подать записку, весьма осторожную и туманную, о необходимости коренных реформ. Из всех сахарозаводчиков он один, по-видимому, внутренне считал какое-то выступление в этом роде желательным, но боялся его. После Февральской революции он совсем оробел. «Ах, почему я не умер до революции!» – воскликнул он как-то, когда мы с ним и гр. Бобринским замешкались по окончании заседания в канцелярии. «Почему же такое отчаяние?» – спросил я. «Вы интеллигент и всегда при всех режимах найдете применение, – отвечал Карл Владимирович. – А вот нам с графом каково будет!» Очень не понравилось графу это «нам с графом», но он хотя вспыхнул, но промолчал.

А. А. Ребиндер

Ближе всех сошелся я в правлении В. О. С. с Александром Александровичем Ребиндером, владельцем Шебекинского завода. Вспоминается мне первое наше знакомство. На заседании правления обсуждался какой-то животрепещущий вопрос. Ребиндер несколько раз выступал. Сказал и я несколько слов. Разошлись поздно. Раздевшись, на сон грядущий я расположился в своем номере читать вновь вышедший французский роман. Вдруг стучит Ребиндер. «Извиняюсь, я лег!» – «Насколько мне известно, я не дама и с вами нет дамы, что же мешает вам, хоть и без порток, пустить меня к себе». – «Убедили!» – Ребиндер сел и очень обсто-

ятельно стал разбирать разные особенности нашей нормировки. Мы проговорили с ним до утра.

Затем уже мы всегда по приезде в Киев искали друг друга и обменивались своими соображениями относительно стоявших на очереди вопросов. Он вел свое дело очень хорошо, прогрессивно и самобытно. По его высокой барственной внешности никак нельзя было с первого взгляда разгадать в нем вдумчивого, предприимчивого и работающего хозяина. Завод и имения его быстро шли в гору, выделяясь из общего уровня. Он не останавливался перед новыми, дорогостоящими установками, еще требующими проверки, и его завод в некоторые годы возбуждал к себе живейшее внимание техников других заводов и профессоров-специалистов в Харькове и Киеве, наезжавших на завод с лаборантами и студентами. Говорили, что у Ребиндера есть какой-то негласный советчик, мудрый старый еврей, не занимающий никакой должности, но живущий на хуторе при заводе. Будто бы Александр Александрович обсуждал с ним все важнейшие вопросы и следовал его советам. Но где же в таком случае был этот мудрый советчик в 1918 году, когда над Александром Александровичем разразилась катастрофа? Как бы то ни было, Александр Александрович сам был недюжинный человек, а предприятие его – передовым делом. Он хорошо его знал и тонко разбирался в новых назревавших вопросах хозяйственных.

* * *

Я как-то упомянул о русских, польских и еврейских заводах. При чем тут национальность? – спросят меня. Тем более национальность одного только владельца! Между тем, несомненно, национальные черты владельца весьма существенно отражаются на постановке предприятия. О польских заводах говорить не буду, так как их территориальная и историческая обособленность оправдывает их выделение независимо от их национальной принадлежности. Но возьмем русский и еврейский заводы.

Как общее правило, сельское хозяйство в еврейском заводе находилось в небрежении. Зато чисто коммерческая сторона у евреев велась лучше. Умение учесть конъюнктуру, вовремя и дешево купить, дорого и вовремя продать компенсировало с лихвой все недостатки чисто административные в ведении дела. А у евреев тут часто бывала совершенная анархия. Никакого внутреннего распорядка, внутренней дисциплины! Владелец сахарного завода З-цев, к примеру сказать, зная, что на заводе нет вакансий и нет свободных квартир, посылает директору своего родственника

или просто протеже с просьбой «дать человеку заработать». Надо знать, как не любят хозяйских протеже и какую неудачливые из них сумятицу вносят в администрацию, чтобы оценить тактичность такой присылки либо «соглядатая», либо «бездельника», как его не иначе расценивают сослуживцы. Или вот: всем известный король сахарный в Киеве настолько цинично безразличен к требованиям добропорядочности в своей конторе, что при заключении крупной сделки спрашивает своего контрагента – удовлетворил ли последний аппетиты заправил «королевской» главной конторы. Куда идти дальше?

Вообще евреи удивительно приспособлены к деятельности в капиталистическом строе, с его неограниченным индивидуализмом и анархической конкуренцией. Едва ли кто другой может с ними в этом равняться. Но предоставленные самим себе, они при необузданном их темпераменте способны в один миг развалить этот благоприятствующий им порядок, равно как и всякий другой.

Что было особенно ярко, это совершенное отсутствие у евреев личной привязанности к заводу. Завод для них – машина для создания дохода, не больше, без всяких сантиментов! И такая машина в их руках сама легко становилась объектом купли и продажи, спекулятивным товаром.

Балаховский в мирное время всегда готов продать свой завод за «разумную цену». Ребиндер и в смутное отказывается временно покинуть свой, доверив его управляющему... Последствия известны...

Но я не сказал, кто такой Балаховский. Это был наш сосед Даниил Григорьевич Балаховский, владелец (главный акционер) Мариинского сахарного завода, построенного, как я уже упоминал, около станции нашей Иванино. Его отец и он сам, кроме того, владели Переверзевским сахарным заводом.

Бывая в Киеве, я всегда навещал Даниила Григорьевича Балаховского. Жена его была хорошей музыкантшей. Ее брат, известный писатель Шестов, с которым я встречался у М. О. Гершензона, часто бывал у Балаховских, что повышало интерес посещения их дома. Впоследствии они приобрели великолепный дом рядом с церковью Андрея Первозванного. Чудный вид с балкона их квартиры на Днепр, Подол, заливные луга, дальний бор заречной стороны были не последней приманкой. С любезностью знающей свою красоту женщины, уступая гостям места лицом к виду, Сарра Исааковна садилась сама напротив, эффектно вырисовываясь у перил балкона на бесподобном фоне Заднепровья...

Жекулины в Киеве

В Киеве пришлось опять встретиться с Жекулиными. Когда дети у них подросли для помещения в средние учебные заведения, они всей семьей перебрались на жительство в город, выбрав для этого Киев. Это было в обычае того времени, и в обществе любого города всегда был некоторый процент помещиков, переехавших в него на жительство ради воспитания детей. Сергей Иванович взял какую-то службу. Но он не удержался в Киеве и от соблазна каких-то спекуляций. В Киеве, казалось, все спекулировали. Были распространены сделки на землю, специфически свойственные Западному краю, где многочисленные разряды населения были ограничены в правах владения землей, имея к тому и охоту, и материальные средства. Приведу здесь выдержку из рукописных воспоминаний Масальской, которые, наверное, никогда не появятся в печати («Сарны»)[3]:

«Особенно помнится мне рассказ о князе Дадиани, который внес за Сарны задаток в 75 тыс. рублей и вступил по запродажной во владение. В ожидании купчей, отсроченной на несколько месяцев, он переехал совсем в имение и перевез в этот низкий темный дом 6 вагонов ценной мебели, будто полученной им в наследство от Наполеона. Настал срок. Янихен (прежняя владелица имения, продающая его) приехала писать купчую, приехала к нему из дебрей Могилевской губернии, где у нее была сестра, прямо к нему в дом. Она очаровала князя своей любезностью и уговорила его ехать с ней писать купчую (кажется, в Ровно) всего одним днем позже срока, чтобы провести с ней еще лишний день в приятной компании. Доверчивый князь согласился, приятно и весело провел с ней день, а затем и вечер за ужином... Тем временем у нотариуса в Ровно явился поверенный Янихен и нотариально засвидетельствовал отсутствие князя в определенный запродажный срок. Условие оказалось нарушенным, задаток князя пропал, и Янихен явилась самолично выселять князя из «своего» дома, причем безжалостно приказала выкидывать ценную наполеоновскую мебель в окна на двор».

По-видимому, удачи в своих операциях киевских Сергей Иванович не имел. Да и вообще он в городе совсем поблек. Бывало, раньше, наезжая в Москву или в Петербург, он в тамошних салонах говорил: «Мы на местах, мы люди земли» и этого достаточно было, чтобы к нему прислушивались, что бы он ни говорил. Но киевское общество не «болело о народе» подобно столичной интеллигенции, не чувствовало себя ответственным за непоряд-

ки в стране, да принадлежа само к провинции, оно больше было в курсе провинциальной жизни и меньше ею интересовалось. Теперь при встрече со старыми знакомыми супруги Жекулины охотно вставляли в разговор упоминание о вечере у Терещенко, о разговоре с Афанасьевым (управляющим Киевской конторой Государственного банка)[4], о встрече с Богданом Ивановичем (Ханенко, зять Терещенко). Но для бывшего уездного предводителя, державшего когда-то уезд в своих руках, это было слабовато, а для Аделаиды Владимировны притом совершенно излишне. С переездом в Киев она буквально расцвела. Она оказалась хорошим администратором, и, примкнув к тому кругу киевского общества, который работал в области просвещения, она очень быстро выдвинулась своей энергией и работой. Она играла видную роль в ведении частной гимназии женской, а затем и высших женских курсов.

«Добрый совет»

Приехав в первый раз в Киев на общее собрание сахарозаводчиков, я зашел утром к Жекулиным. Из всей семьи дома оказался один Сергей Иванович. Он ставил себе пиявки и сидел в халате в кабинете своем, куда ему вскоре подали завтрак. Он, видимо, скучал, рад был развлечься разговором и пригласил меня присоединиться к его трапезе. Завтракать в обществе пиявок мне что-то не захотелось, но я присел на диван поболтать. Опытный в обхождении с людьми, Сергей Иванович начал с легкой лести. В киевских деловых кругах, в которые он теперь погрузился, видите ли, очень все заинтригованы мною и Сережей. Что это, в самом деле, за не ведомые никому молодые люди, которые разом восстановили погибшее по общему мнению любимовское дело, никуда не показываются, окружили себя такими же юными интеллигентами. «У вас на руках все козыри, – добавил Сергей Иванович. – Предложите на сегодняшнем собрании упразднить сахарную нормировку. Все газеты превознесут вас до небес. Вот возликуют ваши «Русские ведомости!» Министр финансов пожелает с вами беседовать. Вас сразу выберут и в правление Всероссийского общества сахарозаводчиков. Одним словом, вы сделаетесь популярнейшим и влиятельнейшим лицом».

– Да ведь сахарные заводы все полопаются в случае упразднения нормировки, – возразил я.

– То-то и хорошо, что вы нисколько не рискуете, предлагая эту радикальную и популярную меру. На нее не пойдет ни один

министр, как бы он ни был глуп. А у нас в Министерство финансов глупых еще не назначали. Публика с вами будет носиться по недомыслию, а понимающие дело министр и сахарозаводчики с перепугу.

1901 год

14 января 1901 года в Москве, в доме Холмских, по Трубниковскому переулку на Поварской София Яковлевна родила девочку, которую мы назвали Ниной, – по имени Нины Яковлевны Павликовой и Нины Васильевны Рейн. Как и Сережу, София Яковлевна кормила Ниночку грудью сама. Прежний когда-то обычай брать кормилицу в нашей среде уже не существовал.

В марте 1901 года по высшим учебным заведениям прошли студенческие волнения, разразившиеся в Петербурге избиением студентов у Казанского собора. Этот скандал произошел в самое бойкое время и на самом бойком месте столицы. Рассказывали, что проезжавшие сановники и влиятельные люди оказались не только свидетелями столкновения, но даже были втянуты в водоворот, что управляющий Уделами князь Вяземский спас будто бы студента из рук избивавших его дворников, а Савва Тимофеевич Морозов, пытавшийся остановить эксцессы, был сам вынужден спастись в воротах какого-то дома.

Правительство сочло себя вынужденным реагировать каким-нибудь жестом. Министром народного просвещения был назначен престарелый генерал Ванновский (бывший военный министр при Александре III) при рескрипте «о сердечном попечении об учащейся молодежи».

«И на что надеются? Чему радуются? В Ванновском видят спасителя своего!» – удивлялся в эти дни (8.IV.01) брат Сережа, сообщая в письме к А. И. Чупрову о возлагавшихся некоторой частью общества надеждах на новый будто бы курс политики правительства.

В связи с взбудораженным настроением, создавшимся в Петербурге, был выслан из столицы поэт К. Д. Бальмонт, произнесший на одном многолюдном литературном вечере сочиненное им стихотворение «Маленький султан»[5].

То было в Турции, где совесть вещь пустая,
Там царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два, три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький султан.

Во имя вольности и веры и науки
Там как-то собрались ревнители идей,
Но сильны волею разнузданных страстей,
На них нахлынули толпой башибузуки.
Они рассеялись. И вот их больше нет.
И тайно собрались избранники с поэтом:
«Как выйти, – говорят, – из этих темных бед?
Ответствуй, о поэт, не поскупись советом!»
И тот собравшимся, подумав, так сказал:
«Кто хочет говорить, пусть дух в нем словом дышит,
А если кто не глух, пускай он слово слышит,
А если нет – кинжал!»

Супруги Бальмонт, у которых незадолго до того (25.XII. 1900 г.) родилась девочка, названная в честь моей сестры Ниной, переехали к сестре Екатерины Алексеевны – Анне Алексеевне Поляковой в Баньки, около станции Павшино под Москвой. Однако это было признано властями слишком близким местом к Москве, где в то время генерал-губернатором был великий князь Сергей Александрович. Мы тогда поспешили пригласить супругов Бальмонт удалиться в изгнание к нам в Курскую губернию, где предоставили им отдельный флигель, предложив столоваться у нас.

В апреле, во время пребывания Бальмонтов в Баньках, в Москву приезжали Мережковский и Гиппиус, желавшие нащупать почву для каких-то литературных и издательских своих замыслов. Бальмонты предложили собраться поговорить. Был обед в отдельном кабинете ресторана Эрмитаж: Мережковский, Гиппиус, Бальмонты, Ал. Ал. Андреева, сестра Нина, С. А. Поляков, В. Я. Брюсов и мы с братом Сережей. Мережковский очень издалека завел речь о бедности нашей в крупных характерах и стал превозносить Победоносцева как эстетически и психологически ценное по своей силе явление в нашем поражающем безлюдье. Это, очевидно, должно было навести беседу на серьезное обсуждение предлагаемой Мережковским платформы. Но до этого дело не дошло. Всем сразу стало ясно, что никакого единодушия между собравшимися нет. Настроение Мережковского испортилось. Сепаратные переговоры по частным вопросам, по-видимому, все же продолжались в следующие дни после обеда. Мы, в частности, воспользовались встречей, чтобы склонить Мережковского закончить и дать нам для подготовлявшейся нами серии классиков переводы нескольких греческих трагедий. Дело сладилось, но в конце концов Мережковский исполненные им переводы отдал в издательство «Знание»[6].

* * *

В этом году (1901) брат Сережа вторично на лето ездил в Сибирь на прииски, поездка, к которой он усердно готовился в течение зимы 1901 года. Я опять оставался один и должен был разделять свое внимание между Любимовкой и Москвой. Софию Яковлевну я уговорил первую половину лета провести в Крыму с детьми и Софией Николаевной. После отъезда Сережи в Сибирь я их отвез в Ялту и устроил там на даче. Задерживаться там самому мне было некогда, и, устроив семью, я поспешил в Любимовку и в Суджу на земское собрание.

На пути я сделал очень приятную прогулку по берегу Крыма, которая и теперь, по прошествии стольких лет, вспоминается с удовольствием. Из Ялты до Судака я проехал пароходом, а из Судака в Феодосию – пешком по шоссе с посещением Нового Света и Кизильташского монастыря.

Еще до того мне пришлось на лодке проехать из Ялты в Гурзуф. От Гурзуфа до Алушты прошел пешком. Береговая кордонная тропа очень живописна, и было удивительно, что я не встречал туристов.

Посещение Нового Света вышло очень занятно. Про это имение князя С. М. Голицына около Судака я был наслышан как об образцовом виноделии, имеющим затмить казенный Магарач. Подходя к нему со стороны Судака, я был поражен почти полным отсутствием кругом зелени. Ярко-синее море да ослепительные на солнце светло-желтые скалы. Не видно нигде ни кипарисов, ни других декоративных деревьев, обычных на Южном берегу. Все кругом, насколько может охватить глаз, разделано под виноградники. Длинными рядами торчат колья, около которых чуть виднеются зеленые листы винограда. Только одна небольшая куртинка деревьев, из-за которой виднелась крыша небольшого домика садовника или конторы, как я заключил. Очевидно, князь действительно поставил дело по-коммерчески, не поддаваясь эстетике.

Рабочий, которого я спросил, где можно получить разрешение на осмотр виноделия, справившись, кто я и откуда, попросил меня обождать и скрылся в упомянутой куртине деревьев.

Не более как через минуту или две передо мной предстал лакей в безукоризненном фраке и белом галстуке со словами: «Князь ожидает на террасе!»

Моя фамилия была названа, отступления не было, и я, пыльный и потный, с мокрыми смятыми воротничками и обмызганны-

ми штанами, делать нечего, дал себя отвести к террасе, где радушно был принят хозяевами, как жданный гость.

Князь, как выяснилось, знал моих сестер. Пошли расспросы о них и о Москве. Князь был словоохотлив и принадлежал к тем говорунам, которым нужны лишь слушатели. При моей молчаливости это было мне на руку. Когда мне удавалось вставить слово, я старался свести речь на русское виноделие. Князь тогда в отместку говорил об изданных нами книгах, так как следил за книгами по биологии, выходящими на русском языке. Преимущественно же предавался он рассказам анекдотического характера – потешные инциденты на всемирных выставках, на которых он неизменно был в жюри по присуждению наград за лучшие вина; как он выпустил неожиданно для министра двора «коронационное» шампанское, как принимал у себя царя, как опоил экскурсантов из Никитского сада, как на Тверской, почти рядом с домом генерал-губернатора, в своем винном магазине он собирается с осени устроить политический five o'clock*, но не чайный, а винный, на который приглашал и меня заглядывать...

Время на княжеской террасе мчалось незаметно, и так же незаметно опорожнялись стаканчики то одного, то другого вина. При моей непривычке много пить я боялся оскандалиться, однако все мои попытки прервать беседу и дать тягу ни к чему не вели. Князь решительным жестом всякий раз усаживал меня на место. Мы, мол, только еще приступили к изучению его виноделия, остается испробовать такие-то и такие-то вина, а затем пойдем на осмотр хозяйства, когда жара спадет.

Наконец подали обедать. После кофе с ликерами мы тронулись в путь по хозяйству. Самое замечательное, что мы осмотрели, это подвал. Он вырублен в скале узкими длинными вьющимися, как мне показалось, коридорами. Они вызвали во мне совершенно неподобающее воспоминание о киевских пещерах. В самом деле, при входе нам дали огарки.

Время от времени коридор расширялся, но в этих местах стояли не гробы с мощами, а полки с лежащими бутылками.

Иногда на особых столиках стояла откупоренная для пробы бутылка со стаканчиками. Затейливая мысль князя задумала, чтобы этот подземный лабиринт имел выход в прибрежном гроте, у самого морского прибоя. Уже при лунном свете, прислушиваясь к всплескиванию волн и пению рабочих, мы по дорожке поднялись назад на нашу террасу.

---

* Five o'clock tea (англ.) – чай между вторым завтраком и обедом.

Я заночевал у князя в особом флигеле. В отведенной мне комнате висели две головки Греза, столы и полки уставлены были ценным фарфором.

Утром в княжеской пролетке меня отвезли в Судак. В ноги мне положили кулечек с бутылками вина. Мои доводы, что иду пешком и не могу нести на себе такого подарка, были тщетны. Да и настаивать на отказе было опасно: с князя стало бы, что он почтой мог выслать этот подарок.

Недавно, перелистывая Бильбасова[7], я прочел у него следующую выдержку из воспоминаний графа Фицтума фон Экштедта, относящуюся к хозяйству С. М. Голицына накануне Крымской войны: «Мы осматривали между прочим коровник с великолепнейшими экземплярами – чистокровными йоркширами, вывезенными на особом корабле, специально для того зафрахтованном. Проводник, однако, уверял нас, что наследники князя не будут уже в состоянии позволить себе такую роскошь. Бутылка молока от этих коров стоит князю дороже бутылки шампанского!»

Не знаю, как относятся друг к другу эти два князя – тезки однофамильцы! Не знаю также, во что обходилась у последнего из них бутылка шампанского.

* * *

В Никольском я нашел прибывших в мое отсутствие в Крыму К. Д. Бальмонта и Л. Я. Лукину. Они без меня уже познакомились. Мы зажили втроем, каждый занимаясь своим делом и не стесняя друг друга. Людмила Яковлевна отдыхала от учебных занятий, гуляла и читала романы. Константин Дмитриевич трудился над переводом Кальдерона для нашего издательства[8]. Я проводил дни на заводе или в экономиях, где и обедал, возвращаясь на усадьбу с закатом солнца.

Мы втроем ужинали на террасе, после чего садились на ступеньки и начинали разговаривать на самые разнообразные темы. Константин Дмитриевич как-то мало интересовался связью явлений. Рассуждения о причинах и следствиях его как будто утомляли. Личное, хотя бы мимолетное, пусть даже ложное (возможность чего для него, впрочем, как будто не существовала) впечатление от вещи или события, его связанное с этим переживание представляло для него единственный интерес. В беседе он был истым импрессионистом. Меткие эпитеты, сарказмы и самые нежные слова неожиданно сменяли друг друга. Разговор искрился, но постоянно перескакивал по ассоциациям с темы на тему.

Людмила Яковлевна часто после общего разговора переспрашивала меня о высказываниях Константина Дмитриевича. Готовясь быть врачом и приучая себя к последовательному, отчетливому, логическому мышлению, она старалась внести порядок и ясность и в его рассуждения. Толковать поэтов дело не простое, и я часто чувствовал затруднения, стараясь разъяснять Константина Дмитриевича, который сам о себе пишет:

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой, радужной игры.
Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!*

В работе Константина Дмитриевича меня поразило то, что он почти не делал помарок в своих рукописях. Стихи в десятки строк, по-видимому, складывались у него в голове совершенно законченными и разом заносились им в рукопись. Если нужно было какое-либо исправление, он заново переписывал текст в новой редакции, не делая никаких помарок или приписок на первоначальном тексте. Почерк у него был выдержанный, четкий, красивый. При необычайной нервности Константина Дмитриевича почерк его не отражал, однако, на себе никаких перемен в его настроениях. Мне, у которого почерк меняется до неузнаваемости в зависимости от настроения, это казалось и неожиданным, и удивительным. Да и в привычках своих он казался педантично аккуратным, не допускающим никакого неряшества. Книги, письменный стол и все принадлежности поэта находились всегда в порядке гораздо большем, чем у нас, так называемых деловых людей. Эта аккуратность в работе (что, впрочем, я оценил лишь впоследствии) делала Бальмонта очень приятным сотрудником издательства. Рукописи, им представляемые, всегда были окончательно отделаны и уже не подвергались изменениям в наборе. Корректуры держались четко и возвращались быстро.

Недоумение вызывало во мне удивительное сочетание в нем беззаботной рассеянности и бессознательной наблюдательности. На каждом шагу приходилось удивляться его незнанию окружающих отношений, понятных иногда даже ребенку. И одновремен-

* Стихотворение К. Д. Бальмонта «Я не знаю мудрости...», написано в 1902 г.

но он оказывался интуитивно уловившим каким-то путем то, что, быть может, и не осознавалось окружающими. Это наблюдение мое относится, впрочем, к другому времени. Когда я как-то под свежим впечатлением выразил Константину Дмитриевичу свое удивление, он только с гордостью сказал мне:

– Миша, недаром же я поэт!

Поэт он был от рождения.

К концу лета он уже имел готовыми переводы из Кальдерона. Когда София Яковлевна приехала в Никольское из Крыма, а Екатерина Алексеевна* из Банек, Константин Дмитриевич прочел нам свои переводы. Эти вечера на круглой террасе, на которые Нина приезжала из Борщня, доставили всем нам большое удовольствие. Особенно понравилась «Жизнь есть сон».

Мне приходилось часто бывать на подобных чтениях. После окончания чтения наступает неловкое для всех состояние. Каждый считает нужным сказать комплимент автору. Всегда находятся желающие проявить свою начитанность и свой вкус. Впечатление от чтения вытесняется этими светскими выступлениями. Но в Никольском были только свои близкие и царила полная непринужденность.

Когда впоследствии мне приходилось в Москве устраивать чтение Леоновым своих первых вещей, я, при приглашении гостей, особенно старался избегнуть светского тона и ограничивался кругом близких мне друзей, любителей литературы. Но достигнуть полной непринужденности и интимности беседы было трудней, потому что с самим Леонидом Максимовичем-то мы едва только познакомились. Чувствовал ли тогда Леонид Максимович, как много любви к его молодому дарованию скрывалось за сдержанными похвалами и расспросами его слушателей? Но я забежал более чем на двадцать лет вперед!

Я не сказал, что в июле вторично ездил в Крым, чтобы проводить оттуда в Никольское семью. Я застал своих в Обиточном, Бердянского уезда, у Павликовых – Василия Максимовича и Нины Яковлевны. При встрече надо мной пошутили. Нина Яковлевна и София Яковлевна вышли встретить меня на шум моей брички, поменявшись своими младенцами: Нина Яковлевна взяла на руки нашу Ниночку, а София Яковлевна Верочку Павликову. Когда я, спрыгнув на ходу с брички, подбежал к Софии Яковлевне с предполагаемой Ниночкой на руках, раздался дружный хохот всех присутствовавших.

* Жена К. Д. Бальмонта.

Попался, попался, не распознал собственной дочки! – дразнили меня затем долго спустя. Но мне хочется сказать здесь несколько слов про В. М. Павликова и Обиточное. Василий Максимович Павликов кончил Московскую земледельческую школу[9]. Это хотя и среднее учебное заведение было едва ли не третьим по значению в тогдашней России сельскохозяйственным учебным заведением после Петровской академии и Александровского института[10]. Преподавание было поставлено на практическую ногу, и кончившие школу считались хорошо подготовленными и обыкновенно легко и скоро устраивались. Многие из них делали успешную карьеру на частной службе и достигали солидного положения.

По окончании школы Василий Максимович попал на службу в имение братьев Кутлер, людей незаурядных, один из которых стал впоследствии широко известен выдвинутым им, в бытность его товарищем министра при Витте, проектом земельной реформы в духе Конституционно-демократической партии[11]. Он же в Советской России был призван к организации Государственного банка. Кроме того, Василий Максимович в Училище свел дружбу с сыновьями директора школы Петром и Владимиром Самсоновичами Косовичами, из которых последний и ныне здравствует, состоя сельскохозяйственным консультантом Госбанка. Затем Василий Максимович служил в свеклосахарных хозяйствах Кенига, которые были передовыми и богато обставленными у нас хозяйствами, образцовыми, являвшимися рассадниками образованных, опытных и выдержанных управляющих и сельскохозяйственных деятелей. Одним словом, с самого начала своей деятельности Василий Максимович попал в исключительно благоприятные для продвижения в жизни условия. Но Василий Максимович принадлежал к типу, довольно распространенному среди интеллигентов, вышедших на работу в восьмидесятые годы. Вопроса карьеры и материального устройства и преуспевания ни для него, ни для Нины Яковлевны как будто не существовало. От сельскохозяйственной деятельности, где он так было хорошо стал, он перешел на более скромную педагогическую. Но и тут, когда министерство стало открывать особого типа низшие сельскохозяйственные школы для подъема сельскохозяйственных знаний в крестьянской массе, Василий Максимович нашел как будто свое жизненное призвание в работе по насаждению этих школ, в отношении личного устройства ничего ему не сулившей. Он взял на себя должность заведующего намеченного к открытию обиточенского низшего сельскохозяйственного училища и с увлечением юноши

стал заводить в голой, нераспаханной степи все необходимое для постановки школы и хозяйства при ней. В 1901 году, когда я к ним приехал, все главное было уже устроено, и Василий Максимович с чувством удовлетворения показал мне постройки и обзаведение, рассказал о постановке учения в школе, поделился ожидавшимися им от этого маленького культурного рассадника результатами. Скромно, деловито, трезво поставленное Обиточное произвело на меня самое лучшее впечатление. Я, впрочем, сильно сомневался, чтобы цели министра земледелия могли быть достигнуты: преподать воспитанникам школы сельскохозяйственные знания и не оторвать их от крестьянской среды, когда всякий сколько-нибудь выдвинувшийся крестьянин прежде всего спешит вырваться из тисков общества с его бесправием, земским начальником, волостью, судом волостным и прочими привилегиями крестьянства!

Поездка в Рим в 1902 году

Оторваться от дел ради отдыха и развлечения мне было удобнее всего постом, после «Контрактов» в Киеве (совпадавших обычно с масленицей) и до начала весенних работ в Курской губернии (открывавшихся в последних числах марта или первых апреля по старому стилю). Здесь выпадало недель 6 относительного затишья, которыми я и старался пользоваться для поездок за границу, когда к тому не встречалось каких-либо помех. Сережа «брал отпуск» до меня, тоже обыкновенно пользуясь им для поездок за границу. Туда нас тянуло естественное желание время от времени, как в источник живой воды, погрузиться в культурную жизнь Западной Европы, с ее свободной печатью, общественными собраниями, живой политической борьбой, парламентскими установлениями, со всевозможными проявлениями прогресса, с богатейшими научными и художественными собраниями и музеями. Была и другая приманка.

За границей продолжал жить и работать Николай Васильевич Сперанский. Мы с ним поддерживали общение деятельной перепиской, подкреплявшейся его ежегодными, обычно осенью, приездами на побывку в Москву, где он останавливался на квартире у Сережи. В свою очередь и мы, когда выпадало свободное время, тянулись к нему за границу. Он жил то в Дрездене, то в Мюнхене, но дольше всего в Париже, где он завел и прочные дружеские связи с некоторыми лицами. Из них мне пришлось через него познакомиться с Лефрансе – старым коммунаром 1871 года (его дневники за время Коммуны изданы недавно в русском пере-

воде)[12]; Эли Реклю – человеком исключительного ума и громадной эрудиции, державшегося очень независимых взглядов, сын которого Поль был выслан из Франции за причастность к анархическому движению во Франции того времени; с Добриновичами (Аркадакскими) Константином Васильевичем и Софией Николаевной; с Анной Федоровной Тимофеевой, сестрой профессора химии в Харькове. Когда Николай Васильевич стал преподавать русский язык в École des langues orientales* в Париже, то мне пришлось встречать у него и преподавателей и учеников этой школы и таким образом видеть повседневную жизнь интеллигентных парижских кругов, обыкновенно ускользающую от наблюдения туриста.

В 1902 году Николай Васильевич женился на Ольге Александровне Чупровой и весну проводил с Чупровыми в Пельи – небольшом уединенном местечке на северо-западном побережье Италии. Здесь в эту весну навестил его и Чупровых брат Сережа, сюда же затем направился и я. София Яковлевна из-за нездоровья детей не могла выехать со мной и присоединилась ко мне лишь в конце моего путешествия на обратном пути в Россию.

Пожив в Пельи со Сперанским и Чупровым, я направился в Рим, где ни разу еще не был, имея в своем распоряжении две недели. Сережа, побывавший в Риме передо мной, снабдил меня всякими полезными указаниями и, вместе с тем, рекомендовал мне остановиться в гостинице «Минерва». При выезде из Пельи я послал в эту гостиницу телеграмму с просьбой задержать мне номер. Однако когда в час ночи экспресс доставил меня в Рим, то на вокзале я узнал от выехавшего встретить ожидавшихся гостей комиссионера гостиницы «Минерва», что все номера у них были разобраны по заказам клиентов еще за месяц вперед, почему гостиница эта меня принять не может, равно как и всякая другая, так как наплыв приезжих в нынешнюю Пасху чрезвычайно велик. Комиссионер поэтому советовал мне не брезгать «железнодорожной гостиницей», в которой есть еще одна свободная комната. При всем нежелании моем устраиваться в Риме в таком заведении я на это решился, и юркий малый, схватив мой чемодан, отвел меня в свое учреждение, расположенное в двух шагах против вокзала.

Заняв единственный свободный номер, я поспешил залечь спать в одну из двух громадных двуспальных кроватей, находившихся в комнате. Я начал дремать, как услышал в открытое окно

* Школа восточных языков (фр.).

шум подъехавшего экипажа и оживленный разговор у подъезда гостиницы. Затем раздался стук в дверь моей комнаты. Какие-то американцы, тщетно объехавшие в поисках пристанища все гостиницы в городе и прослышавшие, что в моем номере есть незанятая двуспальная кровать, добивались, чтобы я их пустил. Но я отбросил всякое мягкосердечие и, уткнувшись в подушку, упорно не отвечал на стуки и мольбы, раздававшиеся за дверью. Долго бесприютные американцы ходили по коридору, громко разговаривая и негодуя на мое молчание. Несколько раз возобновляли они стук в мою дверь и несколько раз поручали это коридорному, взывавшему ко мне на разных известных ему языках (кроме, конечно, русского). Наконец американцы сели в свой экипаж и куда-то уехали, а я, нераскаянный грешник, немедленно заснул сном праведника.

На следующий день в римских газетах отмечался небывалый наплыв приезжих, причем сообщалось, что миллиардеры американцы, чтобы отдохнуть в Риме, перебравшиеся через громадный океан, принуждены были провести ночь в извозчичьем экипаже.

Утром, оглядевшись в своем номере, я увидел, что это просто отведенный под жилье чердак с единственным окном, выходившим на плоскую крышу дома. В нормальное время помещение это, очевидно, занималось прислугой. Вешалка с платьями и обилие башмаков, выставленных в ряд у окна и, очевидно, собранных от всех жильцов для чистки, подтверждали мою догадку. Было неуютно. Я решил пользоваться своим номером как можно меньше, приходя в него только для спанья и, чтобы не портить себе настроения, совсем не заходить в гостиницу днем. Я не стал даже кофе пить ни в гостинице, ни на вокзале и, заперев номер свой на ключ, с раннего утра пошел бродить по Риму.

– Что вы наделали! Что вы наделали, синьор! – такими восклицаниями встретили меня в гостинице, когда я поздно ночью вернулся туда на ночлег. – Вы заперли свою дверь и унесли с собой ключ! Мы не могли подать утром платья и башмаки нашим клиентам! Подумайте только.

Имея в своем распоряжении всего лишь десяток дней для осмотра Рима и вместе с тем рассчитывая вновь посетить его в будущем, я еще в Пельи решил в этот первый свой визит вечному городу не разбрасываться и преимущественное внимание уделить памятникам античного мира. Возрождение меня в то время меньше привлекало. Что же касается современности, то, как ни заманчиво было воспользоваться знакомствами и рекомендация-

ми А. И. Чупрова, уже продолжительное время, на местах, лично изучавшего эволюцию современного сельского хозяйства в Италии и располагавшего интереснейшими данными о прогрессе, в частности, свеклосахарного дела в Италии, я предпочел на этот раз довольствоваться тем, что узнал от него по этой части в Пельи. Хотелось отвлечься от деловых забот. Так я и наметил себе, прислушиваясь к советам друзей в Пельи, программу пребывания в Риме. Однако когда я в первое свое утро в вечном городе вышел из гостиницы и погрузился в римские улицы, я совершенно забыл всякие свои расписания и маршруты.

Поколению, вступившему в жизнь после Великой войны и революции, трудно представить себе наше отношение к античной древности и наши переживания при посещении Рима, Афин и других центров античного мира. Сквозь дым Великой войны и революции свидетелям и участникам этих событий отдаленная древность, естественно, должна казаться поблекшей в своих красках и очертаниях. Умалившимся должно представляться в будущем ее значение и для более младшего поколения, для внуков наших, для которых историческая перспектива, в которой она им будет виднеться, удлинена сдвигами, вызванными войной и революцией, вне всякого соотношения со сравнительной незначительностью протекшего времени. Наконец, образование теперь совсем другое. Мы же получили гуманитарное воспитание. Греция, Рим, Италия эпохи возрождения и Франция века Просвещения и Великой французской революции, наконец, Англия выковали основы гражданских свобод, которым мы были преданы, создали культ личности, который мы разделяли, открыли пути к научному мышлению, которое на наших глазах преобразовывало мир. Для нас то были наши культурные предки, которым мы были благодарны и которыми мы восхищались. Современные успехи цивилизации и налет некоторого модернизма, который на многих из нас в то время был, нисколько этому не мешали. При всем нашем скептицизме и при всей нашей деловитости мы не были чужды некоторого пиетета перед древним миром и оставшимися от него реликвиями. И это в путешествии настраивало на приподнятый лад. А тут еще обаяние южной природы, удовольствие путешественника, утоляющего свою любознательность, эстетические волнения, наконец. В частности, скульптуру мне приходилось до того видеть лишь в Эрмитаже и в Лувре. Но там были отдельные статуи. Здесь в Ватикане, Термах, Капитолии и по городу я нашел целое население статуй. Это была какая-то нация скульптурная. Как очарованный пробродил я весь первый день по городу, со-

всем не регулируя свои переходы, всецело отдавшись необычайному возбуждению, овладевшему мною.

В таком-то состоянии я в конце дня неожиданно набрел в Капитолийском музее на знаменитую статую умирающего галла:

А он – пронзенный в грудь – безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...
И молит жалости напрасно мутный взор…
И кровь его течет – последние мгновенья
Мелькают, – близок час...*

Сознание не покинуло умирающего, и физические страдания не подавили в нем духовной жизни. Лицо его мне показалось исполненным напряженной мысли. Мне стало как-то вдруг, внезапно, очень, очень жалко и этого галла, отдаленного предка современных нам французов, и замучивших его римлян, предков вращавшихся кругом итальянцев. Пусть смерть природная, непреложная спутница жизни, но неужели неизбежны также эти постоянно причиняемые людьми друг другу страдания, эта непрекращающаяся борьба и это взаимное истребление! Эти тоскливые размышления нахлынули на меня как-то внезапно, застигли меня как-то врасплох, неподготовленным, чтобы их подавить или отогнать.

В глубокой грустной задумчивости вышел я из Капитолийского музея. Вечерело. По лестнице, устроенной Микеланджело, мимо конной статуи императора-философа Марка Аврелия спустился я в оживленное Корсо. Чтобы удалиться от царящей на нем сутолоки, я свернул в какой-то глухой переулок. Вспомнив, что я ничего весь день не ел, я зашел в простонародную таверну, где занял место в полутемном углу, попросив не зажигать у моего столика газового рожка. Я заказал себе макароны с сыром, и мне без моего заказа подали к ним флягу кьянти. У дверей снаружи стояло несколько римлянок работниц с красивыми, классически строгими чертами лица. В таверне было полутемно, и я был этому рад, ибо спазмы душили меня и слезы невыразимой жалости к ничтожной доле людской неудержимо лились из моих глаз. Под прикрытием темноты таверны я долго плакал и долго не мог прийти в себя.

Только после нескольких дней пребывания в Риме я научился располагать свои прогулки по обдуманному заранее маршруту и восхитительные в Риме закаты проводить не в полутемной тавер-

* Строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Умирающий гладиатор» (1836).

не, плача от усталости и умиления, а на Пинчи, или у памятника Гарибальди, или на Палатине, любуясь, как золото и пурпур заката озаряют предающийся отдыху после трудового дня великий город.

Из Рима я направился в Цюрих, где мы встретились с Софией Яковлевной. Вместе с ней мы посетили Мюнхен, Дрезден и Берлин.

Дела золотопромышленные

Золотопромышленные дела отца созданы были им в Забайкальском крае в компании с братьями его, нашими дядьями, и в Приамурском крае в компании с Альфонсом Леоновичем и Лидией Алексеевной Шанявскими.

Обычай вести разработку приисков товариществами или компаниями, как принято было их называть, держался у сибиряков не только в силу необходимости соединять капиталы для поднятия дорогостоящих разработок. Компанейское начало закладывалось при самом приступе к поискам золота, каковые производились на государственных или кабинетских землях[13], так как частной собственности на землю в Сибири не было.

Снаряжение поисковой партии было делом дорогим и неверным, «лотерейным». Естественно было желание приглашением участников снять с себя часть риска неудачи и стремление, вместе с тем, принять участие в снаряжении возможно большего числа поисковых партий. Независимо от того была одна черта наших законов о золотопромышленности, ведшая к тому же. Во избежание спекулятивных захватов в одни руки больших площадей закон ограничивал размер отводимой под прииск площади в ширину шириной долины (естественные границы «от увала до увала»), а в длину пятью верстами. Притом на одно и то же лицо не разрешалось отводить смежных приисков. Таким образом, открыватель лишен был возможности закрепить за собой всю речку, золотоносность которой ему удалось установить.

Это вело к тому, что отправлявшийся на поиски золота поискатель снабжался доверенностями от нескольких лиц, и в случае нахождения золота он «столбил» площадь за площадью, делая «заявки» от лица разных своих доверителей. Они, в свою очередь, перед отправлением партии на поиски выдавали главному инициатору поисков обязательства в случае успеха поисков передать безвозмездно все сделанные на их имя отводы на разработку в имеющую быть образованной с этой целью компанию.

Само собой разумеется, при такой обстановке в компанию на снаряжение поисковой партии и в компанию на разработку приисков приглашались люди верные и испытанные. Мало того, и впоследствии, уже при деятельности компании, она обыкновенно ревниво оберегалась от проникновения в нее постороннего элемента. Так, по «уставам» или по «компанейским актам» компаньон, пожелавший выйти из дела и реализовать свое участие, обязывался в первую очередь предложить свои участия своим компаньонам, и продажа их на сторону разрешалась только в случае поголовного отказа всех компаньонов от приобретения предлагаемых паев.

Что касается доверенного, ведшего поисковую партию, «поискателя», как он назывался во время ее работ, и «открывателя», каким он становился с момента нахождения им золотоносной площади, то, кроме хорошего вознаграждения и обеспечения семьи на время его отсутствия, ему выговаривалось известное отчисление с каждого пуда золота, какое будет добыто с открытых им площадей. Это оговаривалось в компанейском акте, и открыватель и его наследники в течение десятилетий, вплоть до окончательной выработки приисков и «отпуска их в казну», получали свои «попудные» непосредственно из казенной золотосплавной лаборатории, куда обязательно сдавалось все добываемое на приисках золото. Я что-то не припоминаю случая, чтобы кто-либо из поискателей вступил в компанию по разработке приисков. Не такие это были люди. По рассказам, скорей охотники и игроки, чем предприниматели.

Блестящие открытия, легшие в основу Ононской и Зейских компаний, на многие годы обеспечили делам этим выдающийся успех. Но постепенно прииски стали истощаться. Новых значительных открытий как-то не удавалось делать, несмотря на постоянно снаряжавшиеся поисковые партии.

Компаньон-распорядитель Зейских компаний Альфонс Леонович Шанявский, отдававший им много сил, принужден был по состоянию здоровья отказаться от поездок в Сибирь. Дела стали приходить в упадок. Назревала необходимость их реорганизации. В 1895 и 1896 годы старший брат мой Федор ездил на прииски в сопровождении приглашенного им инженера Levat*. В результате он издал на французском языке двухтомную монографию об этих приисках[14], но никакого влияния на дальнейший ход дела поездки брата Федора не оказали. Альфонс Леонович отнесся весьма

* Лева (фр.).

скептически к рекомендовавшимся m. Levat мерам, Федор не мог сам и не нашел охотников рискнуть на хотя бы частичное испробование советов m. Levat. Летом 1900 и 1901 гг. на прииски ездил Сережа. Он, не ограничиваясь одним изучением дела, попытался поставить поиски за Яблоновым хребтом, на Алдане. Существенных результатов не получилось. В 1902 г. в Сибирь на прииски ездил я.

В конце концов мы в результате изучения дела решили ликвидировать Зейские прииски, к тому времени объединенные в Соединенную акционерную золотопромышленную компанию. Это и было затем выполнено. Причастность моя к золотопромышленности повела к некоторым встречам и к поездке в Сибирь и Монголию. Скажу лишь кратко про несколько встреч и эпизодов.

Ниманская К°

Отец был пайщиком Ниманской золотопромышленной компании, и каждому из нас, его наследников, досталось по одному паю в этой компании (из общего, как всегда, числа паев в 100). Отцу пай пришелся в 1000 рублей. Но в начале 1900-х годов паи Ниманской К° ходили по 20 000 руб. пай и выше. Большинство принадлежало Базилевскому, человеку очень богатому и имевшему общие дела с Шанявскими и Родственными. Взаимное участие в предприятиях друг друга широко практиковалось старыми сибиряками золотопромышленниками. Базилевский, как главный пайщик Ниманской К°, управлял ею в должности компаньона-распорядителя и финансировал дело из своих средств. Как видно из приведенной выше расценки пая с 1000 достигшей 20000 руб., ниманское дело получило большой размах. Владеть паем в компании считалось очень выгодным, и ряд высокопоставленных лиц в Петербурге в период быстрого подъема паев понакупали себе этих «участий» в надежде на дальнейший такой же рост. Как часто случается, спекуляция эта не оказалась для них удачной. Не знаю, что пошатнуло Базилевского, но он оказался несостоятельным совершенно неожиданно для своих компаньонов. Чуждые всякой промысловой деятельности, эти высокопоставленные компаньоны совсем не были подготовлены к тому, чтобы после уплаты бешеной цены за пай делать еще денежные взносы для финансирования дела (как это требовалось уставом и обычаем, но от чего Базилевский во времена своего величия их освобождал). Еще менее готовы они были взять на себя ведение дела, расположенного на притоке Амура и перекинувшегося на Алдан. Между

компаньонами и распорядителями началась свара. Мы никогда не бывали на общих собраниях Ниманской К°, но ввиду создавшегося положения мы решили, что мне надо съездить в Петербург на собрание*. Было одно особое обстоятельство, которое заставило нас насторожиться. Как и все прочие золотопромышленники компании, в которых мы участвовали, Ниманская К° была учреждена явочным порядком у нотариуса и по уставу своему представляла собой общество с ограниченной ответственностью, но с переменным капиталом, управляемое компаньоном-распорядителем, ежегодно выбираемым общим собранием, и не обязанное публичной отчетностью. То есть компаньон-распорядитель ежегодно составлял смету на предстоящую «операцию» и по утверждении ее пайщиками собирал с них следуемые на расходы взносы. По окончании операции взносы возвращались пайщикам вместе с дивидендом. Но наши законы совершенно не предусматривали такого рода объединения, и возникал вопрос, как суд будет рассматривать Ниманскую компанию: считаясь с ее непредусмотренными законом особенностями или принудительно втискивая ее в одну из законом установленных форм, несмотря на полное противоречие тому, имеющееся в уставе и санкционированное как нотариусом, явившим компанейский договор, так и прочими властями, ведавшими золотопромышленностью на протяжении многих десятилетий существования компании. Этот вопрос представлял далеко не один только академический интерес. Если бы суды вздумали считать Ниманскую К° за товарищество на вере, то тогда все пайщики компании становились бы ответственными по делам компании всем своим личным имуществом, что при дурном обороте дел Ниманской К° грозило поглотить личные средства пайщиков и многих из них разорить. Как я потом узнал, вопрос этот, по другому случаю, уже восходил до Сената, который в своем разъяснении закрепил за золотопромышленной компанией особенности ее устава. Но тогда мы этого еще не знали.

Я явился на собрание, когда оно уже началось. За длинным столом, покрытым зеленым сукном и освещенным двумя висячими лампами, сидели пайщики компании: гр. Игнатьев в генеральской форме, генерал Галл, его племянник барон А. А. Фитингоф, маркиза Демидова Сандонато, с брильянтами на шее и в ушах, Ратьков-Рожнов и его два сына, весьма элегантные молодые люди, Чаплин, управляющий делами светлейшей княгини Юрьевской,

* Собрание, о котором пойдет речь, состоялось 7 января (ст. ст.) 1899 г.

и, наконец, Базилевский, уткнувшийся в лежащий перед ним лист бумаги и нервно рисовавший на нем женские головки и ножки. За ним в глубине комнаты, плохо освещенный лампой, стоял коренастый, приземистый человек в сюртуке, засунув руку между пуговицами сюртука. Это был Баллод управляющий приисками, приехавший в Петербург с докладом.

Никого из этих лиц я раньше никогда не видел, знал об их существовании лишь понаслышке, а о причастности их к Ниманской К° был осведомлен лишь по присылавшимся нам отчетам компании, содержавшим, как полагалось, и список пайщиков. Понятно, что я не сразу разобрался в присутствующих.

Когда я вошел, шла яростная словесная перепалка между хозяевами пайщиками и их управляющим. Высокопоставленные пайщики, перебивая друг друга, запальчиво винили управляющего в разорении дела, а управляющий не менее резко отбранивался, проявляя полнейшее равнодушие к истерическим выпадам хозяев. Если на приисках такая же сумятица, какая здесь на собрании, то положение гораздо хуже, чем можно было ожидать, подумал я. В тайгу не доставят к сроку припасов, рабочих не выведут до окончания навигации из тайги, или еще что-нибудь подобное, и выйдет не деловая только катастрофа, а человеческая трагедия. Я попросил слово и самым спокойным учтивым тоном, называя его по имени и отчеству, задал несколько вопросов Баллоду. Почувствовав иное обращение, он обстоятельно ответил. Получив успокоительные разъяснения, я поблагодарил его. Но здесь уже пайщики стали просить меня: «Продолжайте, пожалуйста, ваши вопросы». Настроение изменилось, и на новые мои вопросы Баллод развил план действий, которые следует предпринять в создавшемся положении. Собрание его, разумеется, тотчас и приняло. После заседания все стали со мной знакомиться. Гр. Игнатьев спросил, имею ли я какое-либо отношение к Сабашниковым в Кяхте. Оказалось, что, когда он возвращался в Петербург после заключения Пекинского договора с Китаем[15], его чествовали в Кяхте, и он открыл бал в паре с моей матерью. «Я был поражен, встретив такое просвещенное общество в такой отдаленной окраине», – сказал он, вспоминая Василия Никитича и Серафиму Савватьевну.

На следующее утро ко мне, т. е. на квартиру к сестре Кате, у которой я в Петербурге остановился, заехал генерал Галл с предложением мне принять на себя избрание в компаньоны-распорядители Ниманской К° вместо отказавшегося Базилевского. Я, конечно, отказался к большому, несомненно, удовольствию ге-

нерала, ведшего в распорядители своего племянника барона А. А. Фитингофа, которого он тут же и стал мне расхваливать как единственного кандидата. Он и был затем избран и вел дела компании до самой войны. Это был еще сравнительно молодой человек, делавший себе деловую карьеру в этом неделовом обществе, энергичный и рассудительный, с большими связями, деловой, но с налетом бюрократизма; очень характерный для того времени петербургский тип. По неизбежному своему участию в каком-то благотворительном обществе он выставил в своем кабинете копилку с плакатом несколько претенциозно рекламного характера: «За каждые 5 минут, отнятых у делового человека, внесите по 5 коп. в пользу сирот» (кажется). Мы с ним установили весьма благожелательные отношения. По важным вопросам он обыкновенно предварительно, до внесения их на общее собрание, «сносился с Москвой» (т. е. с нами, единственными московскими пайщиками) и, когда ожидал осложнений в проведении того или иного вопроса в собрании, частным образом просил приехать поддержать правление, зная, что мы не охотники посещать собрания и без особой побудительной причины из Москвы в Петербург не поедем.

Вообще могу об Ал. Ал. сказать только хорошее. Но в копилку к нему я ни копейки никогда не положил из-за этой самой вызывающей надписи. Зря я никого не беспокою. И если я отнимаю у А. А. время, то и он у меня тоже отнимает его – стало быть, мы квиты и призыв неуместен.

Моя поездка в Сибирь на прииски в 1902 г.*

У Софии Яковлевны сохранилась фотографическая группа, снятая Евгением Евгеньевичем Якушкиным во дворе дома Холмских утром в день моего отъезда в Сибирь: София Яковлевна, Сережа – брат, Сережа – сын мой – и я.

Значительную часть железнодорожного пути я скоротал в обществе Настасии Михайловны Ордынской, урожденной Богдановой. Она ехала в одном со мной поезде в Канск, где муж ее Сергей Павлович Ордынский занял должность крестьянского начальника[16], только что учрежденный в Сибири институт. Это была очередная дань никогда, по-видимому, не покидавшему его стремлению к работе в первобытной обстановке, в деревне, на пользу крестьян, вдали от цивилизованного паразитирующего на крестьянстве города. Барабинскую степь, унылую, славящую-

* Письма М.В. Сабашникова, подробно рассказывающие об этой поездке, публикуются в разделе «Письма».

ся своими мошками да комарами, мы с Настасией Михайловной провели в разговорах, сидя в «балконе» последнего вагона.

В Канске Сергей Павлович встретил Настасию Михайловну, и я успел их снять на платформе. Настасия Михайловна была очень красива. Оба они были молоды, здоровы, сильны. Все, казалось, сулило им счастливую и содержательную жизнь.

В Иркутске мне пришлось впервые свидеться с одним из старейших сотрудников отца моего – с Василием Васильевичем Зазубриным. Он продолжал работать в Ононской К°в должности ее поверенного в Иркутске, и мы в течение многих лет находились, не зная друг друга, в оживленной, деловой, преимущественно телеграфной переписке. Как и другие сотрудники отца Бессонов и Носков, – Василий Васильевич вспоминал Василия Никитича с большой теплотой и уважением. Увидев меня и найдя во мне много сходства с Василием Никитичем, Василий Васильевич даже прослезился. А ведь со смерти отца прошло уже больше 20 лет, а со времени отъезда отца из Сибири и того больше.

Переезжать через Байкал пришлось на ледоколе «Ангара». С утра день был ясный и тихий. Но когда «Ангара» удалилась от берега, поднялся шквал. Ледокол, казалось, едва пробивался через вздымавшиеся волны. Настроение пассажиров, сначала беззаботно- веселое, стало сосредоточенно-мрачным. Помня, как я страдал в Бретани от морской болезни, и видя, как пассажиры один за другим с искаженными лицами спускались в каюту, я решил держаться на палубе и по возможности смотреть поверх качающегося судна нашего. Мне казалось, что так меньше укачивает. Вдруг я услышал за собой возгласы: «Выгребут!», «Не выгребут!», «Авось не потонут», «Куда тут, лодка сейчас ко дну пойдет!»

Я обернулся и среди волн увидел утлую лодку, двое мужчин на веслах, один на руле и женщина с младенцем на дне, залитом перехлестывавшими через борт волнами. Держа младенца в одной руке, она другой вычерпывала ковшом воду из лодки. Не могу восстановить, как это случилось, но через несколько мгновений я очутился на мостике у капитана, вместе с двумя другими пассажирами, ходатайствуя о подаче помощи утопающим. Капитан, неся ответственность за ледокол и команду, встретил нас очень нервно. Закричал, что не может посылать людей на верную гибель, что мы вносим беспорядок, явившись на его мостик. Были пущены угрозы арестом. Но громкое наше объяснение привело к тому, чего, быть может, и желал капитан. Из команды вызвались охотники. Капитан преобразился. Все стало как бы на военную ногу. Громадный ледокол в пучине волн стал медленно поворачиваться. Спущена

спасательная лодка. Утопающие извлечены из их залитого челна... в самую последнюю минуту. Спасенные гребцы, дюжие рыбаки, на палубе ледокола лишились чувств, и их отнесли в медицинскую каюту. Причалив к Листвяничной, я, памятуя угрозу капитана арестом, явился к нему. «Ну полноте, полноте! Все так хорошо обошлось! Мало ли что сгоряча говорится! Счастливого путешествия!» – воскликнул повеселевший капитан. У соседнего столика пассажиры составляли коллективное заявление о награждении капитана и команды и собирали между собой деньги на помощь спасенным и в подарок спасавшим. Я с радостью присоединился.

Пришлось остановиться на несколько дней в Чите, где в продолжение уже многих лет городской голова Колеш состоял комиссионером Ононской К°. В Чите же жил тогда А. Ф. Геллер, работая в городском музее, где я его и отыскал. Прошло почти 20 лет, как мы под его руководством собирали в Кунцеве аммониты, ходили на Всероссийскую выставку, рассматривали его коллекцию окаменелостей. Провал его «Петровой милости» в Донецком бассейне и неудача рудных работ, поставленных им на Ононе, подкосили энергию старого мечтателя. Он продолжал верить в будущность Евдокиевского рудника, видя подтверждение своей вере в незадолго до того пробитом на Ононе шурфе № 104, давшем, на большой, правда, глубине, очень богатые пробы. Но он уже не принимал участия в промысловой работе, отдавая свои силы изучению края, популяризации знаний и службе в музее. Вспоминая прошлое и разговаривая о местной жизни и природных особенностях края, мы вышли с ним в городской сад. Солнце спускалось, в саду готовились к вечернему гулянию. Александр Федорович стал устанавливать граммофон, и я с ним простился, унося в памяти его согбенную над граммофоном фигуру в крылатке, вырисовывавшуюся темным силуэтом на фоне окружавших Читу невысоких гор.

Чтобы добраться до Ононских приисков, надо было сойти с поезда на маленькой ж. д. станции «Маковеевка» и уже на лошадях, «на перекладных» ехать в своем приисковом тарантасе по почтовому тракту Дарасун, Ключевская, Усть Или, Акшу и Мангут. Затем, уже в стороне от тракта, надо было ехать на Кыру и на прииски. Всего около 350 верст я сделал в двое суток, меняя лошадей на каждой станции и нигде не останавливаясь на ночлег. Дорога шла все время по долинам рек, с частыми переправами на паромах. Кругом пустынно и живописно. Окружные возвышенности безлесны. Луга в долинах были в полном цвету, представляя редкостный по яркости и пестроте красок ковер – неза-

будки, тюльпаны, ирисы, сараны покрывали сплошные большие площади. Несколько раз над головой у меня пролетали стаи сверкающих своей белизной на солнце лебедей, а по долине время от времени проносились в стороне от дороги кавалькады бурятских девушек в их пестрых нарядах. Дикарки на своих маленьких лошадках быстро подъезжали к нам, но лишь только я направлял на них свой «кодак», они кокетливо поворачивали коней, моментально исчезая в какой-нибудь лощине или в высокой траве. Мне понравились чистота и степенность казаков, в избы которых я заходил во время перепряжек лошадей. Несмотря на видимую их зажиточность, мне у них довелось видеть употребление лучины для освещения. Я даже воспользовался случаем, чтобы написать Софии Яковлевне письмо при таком исключительном освещении. Александр Иннокентьевич, ездивший здесь лет за десять до меня, рассказывал мне, что его казачка одна угощала даже печеными «окридами», т. е. попросту саранчой.

Прииски «Ононской золотопромышленной компании братьев Сабашниковых», как официально назывались прииски, куда я держал путь, находились у самой границы Монголии в верховьях реки Шилки. Как известно, Шилка с Аргунью образуют Амур. В свою очередь, Шилка образуется слиянием двух многоводных рек Онон и Ингода. В Онон же впадает река Кыра с притоками Верхний, Средний и Нижний Хангорок. Так вот в долинах Среднего Хангорка и его притока, носящего звучное название Баян Зурга, и расположена была свита россыпей, открытых отцом, а в обрамляющих долину Баян Зурги увалах – наделавшие много шума рудные месторождения золота. Чтобы дать понятие о былом когда-то значении этого приискового дела, скажу, что за период со времени начала работ в 1867 году и по 1895 год на приисках К° было добыто всего 847 пудов, 10 фунтов, 63 золотника, 92 доли золота. При этом из этого количества на долю одного Благовещенского прииска пришлось 610 пудов, из которых при отце было извлечено 490 пудов.

Но все это относилось тогда к величию давно минувших дней. Прииски уже давно считались в основном выработанными. «Хозяйские работы» не велись. Бездействовала и была заброшена золотопромывательная машина – «чаша», к которой некогда в таратайках лошадьми подвозилась «порода». Шли одни только «старательские» работы. «Старатель» (мужчина или женщина, иногда с детьми подростками) выбирал себе местечко в «обнажении» (т. е. вскрытой от поверхностного слоя «торфа» почве) или в «отвалах» (т. е. отброшенных перемытых в прежние работы

песках) и вручную, в тазу или лотке, перемывал породу, отливая через край взболтанные легкие пески и отмывая остающиеся на дне золотые крупинки. Добытое таким образом золото сдавалось в приисковую контору за договоренную заранее цену. В таком состоянии дело, конечно, не представляло интереса, и все его значение зависело от того, какие связывать надежды и ожидания с оставленной при опеке после неудачи Геллера разработкой рудных месторождений и с предполагавшимся вторым, более глубоким, чем уже выработанный, пластом россыпи, на существование которого как бы намекал недавно пробитый в старой выработке 104 шурф, давший на очень большой глубине значительное содержание золота. Но все это было в высокой степени гадательно, требовало большой, дорогостоящей разведки.

Управляющим Ононскими приисками состоял Иван Поликарпович Разумов, штейгер*, состарившийся на приисковом деле и приглашенный к нам Ал. Ин. Сабашниковым в бытность его распорядителем. Он до нас служил на соседних приисках Белоголового, где успешно разрабатывал рудник Евграфовский. Неуспех разработки нашего Евдокиевского рудника казался ему какой-то непонятной случайностью, и он верил, что когда-нибудь да доберутся и до Евдокиевского клада. Легко себе представить поэтому, как старик оживился, когда я выразил желание посетить и осмотреть старые заброшенные работы Геллера. Евдокиевская гора с ее заманчивыми богатейшими пробами, никак не дававшаяся под разработку и уже поглотившая бесплодно значительные средства, владела воображением Разумова не менее, чем мечтами Геллера. Рано утром мы отправились на беговых дрожках – Иван Поликарпович, я и мальчик, чтобы держать лошадь, пока мы будем ходить по руднику. Он был окончательно оставлен, и никого на нем не было. Печально возвышались в логу и издали были видны развалины заброшенной «обогатительной фабрики», техническое название, звучавшее насмешкой после всех наделанных ей убытков. Земляные работы осыпались, былые обнажения поросли травой и задернились. На склоне горы зияли три черных входа в штольни – горизонтальные галереи, вырытые в горе для добычи золотоносной руды.

Он настроит дымных келий
По уступам гор,
В глубине твоих ущелий
Зазвенит топор,

---

* Штейгер (нем. Steiger) – в горном деле мастер, заведующий рудными работами.

И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь![*]

– произнес я, когда мы, соскочивши с дрожек, подходили к валявшимся у входов в штольни брошенным вагонеткам. «Не пройти ли вовнутрь?» – предложил я. Иван Поликарпович запасливо привез с собой огарков, и, взобравшись к входу верхней правой штольни, мы зажгли огарки и вошли в галерею. На воле было ясно и жарко. Но в штольне грунт еще не оттаял с зимы. Громадные сосульки льда спускались с потолка штольни. Некоторые достигали самого пола и образовали таким образом ледяные колонны. На стенах осели большие, с раскрытую ладонь, кристаллы льда, образуя причудливые розетки и многогранные чашки, в которых наши огарки играли сотнями отражений. Вследствие наплывов льда, образовавшихся на полу, и спускавшихся с потолков сосулек, углубляться в штольню, стоя во весь рост, не представлялось возможности. Мы нагибались все ниже и ниже и наконец поползли. Разумову хотелось показать мне то место, где «потеряли» жилу, и мы все углублялись и углублялись в недра горы. Вдруг раздался глухой рокот и затем как будто отдаленный, заглушённый гром. Разумов выронил из рук свечку, которая при падении погасла, и произнес одно-единственное слово: «Обвал!» Мне моментально представилась голодная смерть в этой ледяной темной могиле, если только новый обвал нас не раздавит совсем. Послышался шум нового, более сильного обвала, сопровождавшийся какими-то жуткими шорохами. Мы лежали неподвижно, не произнося ни слова. Затем, выждав некоторое время, мы поползли назад, ногами вперед, в обратном порядке, так как нельзя было повернуться. Время, потребовавшееся нам для того, чтобы выползти, показалось нам вечностью. У выхода мы отдались ликованию по случаю освобождения от опасности.

Мне впоследствии приходилось еще несколько раз в жизни подвергаться жуткой опасности, и каждый раз испытывал я то чрезвычайное ликование и неописуемый подъем жизненной энергии, когда любая былинка в поле или песчинка на дороге кажется верхом красоты.

Мы с Разумовым сделались необычайно веселы и справили свое приключение хотя и одиноким, но оживленным ужином.

---

* Отрывок из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор». У Лермонтова: «Загремит топор...»

Окончив обзор действующих разработок и старых и новых разведок, я покидал Онон со смутными впечатлениями. Невзирая на ряд неудач, испытанных при разработке рудного золота, и на очевидное, казалось бы, истощение россыпей, у меня все же закрадывалось сомнение, вскрыт ли Ононский клад полностью. Статистика погодной добычи золота за все время с самого открытия приисков как бы поддерживала эти сомнения.

В самом деле, годовая добыча на Благовещенском прииске, при отце колебавшаяся с 1868-го по 1878 г. между 40 и 80 пудами золота, в год смерти отца катастрофически пала до 9 пудов, с тем чтобы никогда больше уже не превышать 10 пудов в год. Невольно напрашивалось предположение, что упадок добычи находится в прямой зависимости от перемены руководства делом. Так оно, конечно, и было. Правда, И. П. Разумов указывал, что в 1878 году, когда запахло войной, отец прислал на прииски срочный телеграфный приказ намыть в кампанию 100 пудов золота. Приказание было выполнено, и на всех приисках Ононской К° в 1878 году было намыто золота 98 пудов, 22 лота, 85 золотников. Достигнуто это было форсировкой промывки и направлением всех рабочих сил на одно только извлечение золота, и притом в наиболее рентабельных местах с полной приостановкой подготовительных работ по разведкам и подготовкам к будущим операциям. Конечно, такое «снятие сливок» могло неблагоприятно отразиться на последующих операциях, но на одной, двух, но никак не всех! Очевидно, ведение дела после смерти отца не было на высоте положения, а это лишало показательности рудные неудачи и подрывало доверие к разведкам последующих лет. И вот блестящие пробы рудного золота и подтверждаемое как будто 104 шурфом существование второго россыпного пласта, залегающего, правда, на значительной глубине, дразнили воображение!

Уезжая с Онона на Зейские прииски в таких настроениях, я решил на пути посетить соседний с Ононом Илинский казенный рудник. При его разработке встретились с тем же явлением, какое было причиной неудач в разработке Евдокиевского рудника. Найденные кварцевые жилы с богатым содержанием золота быстро выклинивались, и проведенные штольни и шахты оказывались перед пустой породой. Казна отказалась от работ, но молодой инженер, служивший на Илинском руднике, снял этот рудник в аренду у казны. Отказавшись от дорогих подземных работ, он решил сплошь разрыть и переработать всю часть горы, в которой встречались содержащие золото кварцевые жилы. Вся округа живо интересовалась ходом этого смелого опыта. Я застал

работы в полном разгаре. Они велись вручную. Порода отвозилась на тачках и повозках. Молодой предприниматель находился неотлучно на работах, все время производя пробы и исчисления. Очень любезно провел он меня по всей линии работ. В той стадии, в какой они находились, было преждевременно о них судить, тем более перенимать что-либо для Онона. Мне показалось, что в деле большой элемент азарта. Если еще можно было более или менее гадательно исчислить среднее содержание золота в кварцах, то, кажется, доля самих этих кварцев в образовании горы, вечно выклинивавшихся, не поддавалась и гадательному определению. Но элемент риска и азарта в золотопромышленности всегда играл немалую роль.

Приведу здесь наблюдение, сделанное мною несколькими неделями позже на Зейских приисках, куда я направился с Онона. На выработанных приисках этих остались громадные горы перемытых отвалов, из которых золото было уже извлечено. Однако, вследствие недостатков промывательных машин, некоторый процент золота не был извлечен и оставался в отвалах. Содержание в них золота было настолько ничтожно, что перемывка отвалов не окупала себя даже при применении наиболее усовершенствованных методов из практиковавшихся в крае. Это было установлено администрацией приисков неоднократными исчислениями и пробными работами. Тем не менее, из года в год приходили «стараться» около этих отвалов корейцы и китайцы и с разрешения управления приисками вручную перерывали и перемывали эти отвалы. Громадное большинство, протратившись и прохарчевавшись, уходили с работ с пустыми руками, но всегда бывали счастливчики, которым везло. И вот эти два-три счастливчика в операцию производили такую сенсацию, что на следующий год опять к этим отвалам тянулись охотники искать счастья. И так перерывались целые горы отвалов. Ведь в рулетке тоже выигрывают только очень немногие, но многим хочется попасть в число этих немногих.

Прииски Соединенной К° находились в верховьях реки Зеи, впадающей в Амур около Благовещенска. Эти прииски более известны были под названием Джолонских, по реке Джолон, в долине которой расположены были самые богатые россыпи. Уполномоченный компании П. А. Биршерт жил в Благовещенске, где, как говорилось, находилась «резеденция» компании, т. е. ее управление. Я прожил некоторое время в этой резиденции, изучая дела, а затем проехал пароходом на прииски, которые объехал уже верхом в сопровождении управляющего С. В. Васильева.

В цветущие годы компания имела собственные пароходы, но с сокращением работ и с развитием на Амуре и Зее пароходного сообщения содержать собственную флотилию уже не представлялось необходимости, и они по совету Сережи были проданы компанией пароходным предпринимателям. Конечным пунктом пароходного сообщения была «Зейская пристань». Когда-то Джолонская К° устроила здесь, в совершенно необитаемом месте, свою пристань, склады и жилье. Я нашел здесь уже целый поселок с отделением банка, почтой, телеграфом и другими учреждениями общего пользования. Представляю себе, во что преобразилось это местечко, переименованное в город Зейск, с проведением Амурской ж. д.

Мое общее впечатление от обзора приискового дела Соединенной К° в общем совпало с тем, какое вынес брат Сережа из более тщательного изучения предприятия. Нельзя было продолжать вести дело в прежнем виде. Нужно было ликвидировать это потухающее предприятие либо заново вдохнуть в него жизнь. Но для этого нужны были и новые человеческие силы, и новые материальные средства. Ни того, ни другого в нашем распоряжении не было. Мы по уши увязли в Любимовку, и лично, и денежно. Остальные компаньоны наши тоже не располагали возможностью вести и финансировать дело, находящееся в таком отдалении от Москвы. Шанявские и по состоянию здоровья, и по годам своим определенно ставили себе целью упростить свои дела и сосредоточить свои средства в легко реализуемых фондах. Безнадежно было также рассчитывать, что из работавших в деле на местах людей выделятся нужные организационные силы. П. А. Биршерт, единственный, о ком в этом отношении можно было бы думать, совершенно для этого не годился. Он был отличным исполнителем при А. Л. Шанявском, но он и в молодости не взял бы на себя инициативной роли распорядителя. Теперь же, состарившись, он тянул к родному и милому ему еще по детским воспоминаниям сельскому хозяйству. Заведенная им заимка на берегу Зеи при всей своей крохотности и сомнительной доходности владела его вниманием больше, чем все большое золотопромышленное предприятие, на него возложенное. Кстати сказать, бедный старик в этой уединенной заимке подвергся нападению хунгузов, которые жгли ему пятки, требуя открытия клада, которого у него не было.

По возвращении в Благовещенск я получил от Шанявских телеграмму о том, что по полученным ими известиям ожидается допущение поисков и разработки золота в Монголии, где до того это не было доступно. Они выдвигали план переброски деятель-

ности Соединенной К° с Зеи в Монголию и просили меня на обратном пути в Москву посетить Ургу[17] и выяснить там условия, на которых можно было бы получить разрешение на работу в Монголии. Я очень охотно поспешил исполнить это поручение. По тому, что я знал и слышал о монгольской стороне, мне казалось весьма вероятным нахождение там новых месторождений золота. Притом, с перенесением деятельности Соединенной К° в Монголию расположенные у самой монгольской границы Ононские прииски могли бы быть ею охвачены и дополнительно разведаны. Одним словом, в начале июля я уже был на пути в Ургу, через Кяхту.

В Кяхте я остановился у своего двоюродного брата Иннокентия Дмитриевича Синицына, женатого на Серафиме Яковлевне Немчиновой. Богатырь, какого другого я и не встречал на своем веку, Иннокентий Дмитриевич ходил один на медведей, которых к тому времени убил свыше сорока, нипочем останавливал тройку взбесившихся лошадей, был невзыскателен ко всем удобствам жизни. Белокурые, вьющиеся кудри, светло-голубые глаза, детски доверчивая ласковость в обращении со всеми. Одним словом, затесался какими-то судьбами в наш суетный век хитрых и двоедушных людей цельный былинный человек, подумаешь, сбежал с какой-нибудь билибинской иллюстрации. Но в том-то и была вся прелесть в Кеше, как называла своего великана Серафима Яковлевна, что не было в нем и тени какой-либо рисовки или нарочитой стилизации, всегда неотделимой от надуманного самолюбования. Просто подлинный был пережиток былого, вовсе и не подозревавший, насколько он своеобразен и красочен.

Дела свои Иннокентий Дмитриевич ликвидировал и занял место директора Кяхтинского отделения С.-Петербургского международного банка, под который он сдал внаем верхний этаж своего двухэтажного деревянного дома. Операции банка по преимуществу касались торговли с Монголией, и Иннокентий Дмитриевич извлек из своих охотничьих связей с монгольскими князьями пользу для банка, привлекши этих князей-скотовладельцев в состав клиентуры банка.

Мне сразу пришлось познакомиться и с сотрудниками банка, и с его клиентами. В обеденное время Иннокентий Дмитриевич имел обыкновение делать перерыв в работе и звать всех, кто находился в банке, к себе «откушать». И вот, директор банка в голубой косоворотке, черных плисовых шароварах и сапогах бутылкой, окруженный клиентами – китайцами, монголами, бурятами в национальных костюмах, и сотрудниками банка в затасканных пиджачках, гурьбой спускались в нижний этаж, где их в

столовой уже ждала Серафима Яковлевна с китайским шелковым платком на плечах. Обедало так ежедневно человек 12-15 самого разнообразного люда. При мне среди клиентов пришел обедать полунищий китаец, продавец спичек вразнос. Увидя расставленные в стаканчиках зубочистки, он взял несколько штук, поковырял ими в зубах и затем тщательно положил их в стаканчик с чистыми зубочистками. «Ну вот! Смотрите! толкнула меня Серафима Яковлевна. Все надо выбросить! И так каждый день! Дома живем как на улице!» Но Иннокентий Дмитриевич не мог, да и не хотел побороть в себе своего хлебосольства и, кое-как утешив жену, назавтра опять звал к обеду всех, кому только не лень.

Радушный хозяин, Иннокентий Дмитриевич свозил меня на реку Чикой, где у отца когда-то была дача и где кяхтинцы и в то время любили проводить лето. Мы охотились там за рыбой с острогой.

С супругами Синицыными мы ходили в смежный с Кяхтой китайский город Маймачин, в гости на обед к китайскому купцу, приятелю Иннокентия Дмитриевича. Обед происходил точь-в-точь, как описывали мне еще в детстве такие посещения сестры, когда, бывало, отец с матерью, взяв Катю и Нину, навещали знакомых китайских купцов. Вероятно, при мне все было поскромней да попровинциальней, ввиду упадка дел в Кяхте и Маймачине. Забыл я рассмотреть городские ворота маймачинские, которые, по рассказам сестер, в их время ежедневно перед закатом солнца запирались, причем, однако, предупредительный привратник китаец одновременно приставлял лестницы к воротам, чтобы запоздавшие гости и вообще, кому потребуется, с удобством могли перелезть через ворота. Так корректирует жизнь бюрократическую централизацию. Забыл я об этих воротах в Кяхте, но часто припоминались мне они впоследствии.

Иннокентий Дмитриевич заботливо снарядил меня в Ургу, приискав мне попутчика.

Урга именуется городом, даже главным городом Монголии. Но, чтобы составить себе о ней представление, надо не о городе думать, а о зажившемся на одном месте кочевье, о становище. Пустыня, в которой стоят сотни три-четыре юрт, с десяток шатров, под молельни занятых, несколько одиноких деревянных домиков и в которой отгорожены кольями большие участки для загона скота,- вот и весь город. И тем не менее это был хотя и не город в обычном нашем представлении, но все же столица, административный центр, местопребывание верховного правителя и духовного главы этой теократической страны; резиденция китайского

представителя, фактически вершившего дела, и резиденция русского поверенного, весьма популярного, но нисколько не влиятельного; место торга для всей громадной окрестной равнины и цель религиозного ежегодного паломничества, во время которого сюда собирались, как мне говорили, одних лам свыше десяти тысяч. Официально власть в Монголии принадлежала «гегену» светскому и духовному главе монгольского народа, считавшемуся перерожденцем или воплощением души жившего здесь когда-то в древности святого. По верованию ламаитов душа умирающего, покидая его тело, переселяется в тело рождающегося в это время младенца. Поэтому когда умирает геген, то все родившиеся в тот день младенцы тех семей, в которых можно ожидать воплощения, отправляются в Тибет, в Лхасу, где при дворе главы ламаитской религии, Далай Ламы, решается вопрос, который из представленных младенцев является перерожденцем святого хутухтой. Мне говорили, что это решение принимается под влиянием китайских чиновников, которым в то время фактически принадлежала власть в стране и из-под влияния которых раз назначенный геген уже никогда не освобождался. Они составляли при нем как бы двор, который и управлял страной.

Я остановился в Урге по рекомендации Иннокентия Дмитриевича у купца Е. Прежде чем направиться к русскому поверенному в делах, я решил побродить по Урге один и отчасти в сопровождении купца Е., любезно вызвавшегося показать мне все, что только есть интересного в Урге.

Еще по дороге в Ургу в степи-пустыне я наблюдал обычай ламаитов прикреплять всюду, где только представляется возможным, записанные на бумажках, лоскутках материи, щепочках и проч. молитвенные обращения, с тем чтобы при каждом дуновении ветра с колеблющихся записок возносились в небо молитвы, на них написанные. Странное, убогое и ребяческое зрелище представляли собой изредка встречавшиеся одинокие деревья или кустики, сплошь обвязанные такими качающимися лоскутьями, или груды камней, очевидно занесенных верующими и сложенных на поворотах дороги, перекрестках или особенно на вершинах пересекаемых дорогой холмов, в которых из-под каждого камня торчали эти молитвенные лохмотья.

В Урге довелось увидеть и более совершенную механизацию передачи молитв небу. Множество деревянных, будто игрушечных, маленьких ветряных мельниц с начертанными на крыльях молитвами, или врытые в землю столбы с вращающимися около них щитами наподобие наших газетных и выставочных витрин-

вертушек, с той только разницей, что вместо газет, телеграмм или экспонатов щиты эти исписаны были молитвами. Предполагалось, что с каждым оборотом молитва возносится на небо.

Ламы, которые всюду встречались во множестве, бреют себе головы, усы и бороды. Одежда их по своему покрою напоминает одеяния католических монахов, но только она ярко-желтого цвета, что, кстати сказать, гармонирует с преобладающим кругом песочным тоном пустыни. Подходя к главной молельне, я услышал громкий шум, производившийся бубнами, литаврами, трубами, барабаном, показавшийся мне отчаянной какофонией. Когда я подошел уже к самому входу в молельню, шум сразу вдруг прекратился. Толпа лам неожиданно высыпала мне навстречу из шатра молельни и окружила меня со всех сторон. Движения их были так порывисты, что я несколько смутился, и у меня мелькнула мысль, что, быть может я, не ведая того, совершил какой-нибудь святотатственный, по их мнению, поступок. Тем временем ламы все, будто по команде, присели на корточки, и я вдруг услышал, а затем и увидел, что каждый лама пустил под себя ручеек. Мне пришлось быстро посторониться, чтобы не замочить себе ног. И это у самого порога храма!

На базаре я натолкнулся на такую же своеобразную сцену. Молодой лама торговал у монголки с воза кусок мяса. Они долго между собой спорили. Она показывала кусок со всех сторон, его, очевидно, расхваливая, он делал какие-то замечания, как водится, для снижения цены. Не прекращая своей беседы с женщиной, лама, наконец, присел на корточки и стал мочиться, тогда как женщина не переставала тыкать ему в нос кусок и упрекать его, по-видимому, в скупости.

Впрочем, в отношении простоты нравов меня больше всего поразила харчевня, куда мы зашли с Е. По стенам ее были полати, в несколько рядов друг над другом. Для проникновения на верхние имелись приставные лестницы. Туда удалялись проститутки со своими гостями исполнять свои функции, когда вся харчевня была битком набита народом. Правда, были устроены, скромности ради, занавески.

Стаями бродили по улицам голодные, злые собаки, которым приходилось отведать и человеческие трупы, по обычаю ламаитов не предаваемые земле. Вид тюрьмы и проводимых в нее заключенных напомнил мне китайские картинки, виденные мною в детстве. По-видимому, в этой области не произошло больших перемен.

Во двор гегена я не захотел идти, хотя мне говорили, что это было бы очень просто сделать. Этот двор служил для наших купцов в Урге источником случайных барышей. Для забавы гегена покупались, как игрушки для ребенка, все новости нашего цивилизованного обихода. Рояли, пианолы, граммофоны и проч., и проч., покупались и после недолговременной забавы оставлялись на дворе, под открытым небом, где и приходили вскоре в негодность, не столько от дождя, сколько от пыли и солнца. На своевременной выписке для гегена какой-нибудь еще не бывшей в Урге новости можно было хорошо «заработать». Незадолго до моего посещения Урги такую «аферу» устроили с выпиской живого слона из подвижного зверинца, делавшего турне по Сибири. По телеграфу купили этого слона за большие деньги и доставили в Ургу, где, предполагалось, он должен был участвовать в священных процессиях. Однако русский служитель при слоне, прибыв в Ургу, мертвецки запил. Без него никто со слоном управиться не мог. Слон перепугал молящихся. Кончилось тем, что его убили, и на церемониях богослужебных стали возить сделанную из него чучелу.

На следующий день я с утра отправился к Шишмареву, русскому поверенному в делах. Это был местный старожил. Как часто бывает с русскими, занесенными на окраину или в чужбину, он полюбил дикую страну, где ему пришлось прожить значительную часть своей жизни. С грустью говорил он о старой, первобытной Монголии, уходящей со сцены жизни, о падении нравов, разложении быта, проникновении всюду «коммерческого духа». У Шишмарева была собранная им коллекция предметов, характеризующих быт монгол, была хорошая, по-видимому, библиотека. Он уже был стар. Чувствовал потребность в отдыхе и с грустью возбуждал ходатайство о долговременном отпуске, в предположении выйти затем в отставку. Показалось, впрочем, мне, что не столько нездоровье и годы, сколько ощущение надвигающейся на край неизбежной перемены, в которой русскому поверенному в делах придется играть активную роль, побуждало старика заблаговременно хлопотать об удалении на покой.

В деловом отношении поездка моя в Ургу ничего не дала. Политическая ситуация была не из таких, чтобы можно было для Соединенной компании рассчитывать на прочную и организованную работу в Монголии.

Из Сибири я вернулся прямо в Никольское. Тут меня первыми встретили на крыльце дети – Сережа и Нина, оба коротко остриженные и в сереньких мальчишеских одеждах, как их нарисовал на своих акварелях гостивший у нас Николай Авенирович Мартынов.

Своих я нашел преисполненными впечатлениями от бывших в нашем районе в мое отсутствие больших маневров в присутствии Николая II. Одной армией командовал великий князь Сергей Александрович, другой – военный министр генерал Куропаткин. Штаб Куропаткина находился в Борщне, а вел. кн. Сергея Александровича у нас в Никольском. Для него наши освободили дом и перебрались во флигель. Перед тем как покинуть усадьбу, вел. кн. Сергей Александрович рано утром зашел с визитом к Софии Яковлевне. В течение маневров Николай Авенирович находился в неописуемом волнении. Снимал и зарисовывал боевые сцены, приходил в раж по случаю казавшихся ему промахов в командовании вел. князя и ликовал, одобряя ловкость маневрирования Куропаткина. По окончании маневров государь делал смотр некоторым частям на нашей горе. Николай Авенирович, София Яковлевна и Сережа, сын мой, ездили в шарабане на этот смотр. На обратном пути один солдат спросил Сережу: «Мальчик, видел нашего государя?» Мальчик ничего не ответил, но густо покраснел.

При объезде полей я заметил, что на крестьянских землях много полосок не было вовсе засеяно яровыми. Оказалось, земский начальник, желая сэкономить казне на вознаграждении за потраву войсками во время маневров, распорядился, чтобы крестьяне не сеяли в этом году яровых. И такова была бесправная забитость крестьян, что это распоряжение, нелепое и незаконное, не вызвало с их стороны возражений и жалоб, и очень многие крестьяне ему подчинились. Впрочем, только очень многие, но далеко не все. Это тоже достаточно характерно для того времени...

* * *

19 июля по старому стилю, 1903 года в Старо-Никольском родилась у нас младшая наша дочь Таня. Принимал наш заводской врач Виктор Оттонович Миллер, отличный терапевт и весьма искусный хирург. Это был очень милый человек, с которым мы близко сошлись. Роды прошли очень гладко. Как всегда, София Яковлевна стала кормить младенца грудью сама, и тут произошло одно из тех жизненных осложнений, которые являются экзаменом для матери, испытанием семьи, протекают для лиц посторон-

них иногда совершенно незамеченными, а у участников оставляют надолго незабываемые впечатления. Старшая наша девочка Нина во время кормления Тани в Старо-Никольском заболела дифтеритом. София Яковлевна решилась не прекращать кормления грудью Тани, но и не упускать из-под своего наблюдения уход за больной Ниной. Девочки были, разумеется, отделены друг от друга. Все поведение Софии Яковлевны тщательно, во всех мельчайших подробностях, было обдумано с Виктором Оттоновичем. Выработанный режим был затем в течение всей болезни Ниночки ригористично, без малейших отступлений и послаблений, выдержан Софией Яковлевной. Нужна была настойчивость и преданность Софии Яковлевны своим материнским обязанностям, чтобы выдержать этот искус. Все протекло наилучшим образом, и нужно было видеть радостные лица Софии Яковлевны и Виктора Оттоновича, когда они по окончании Нининого дифтерита приступили к дезинфекции помещения и уничтожению вещей, подозрительных в отношении переноса заразы. По отношению к неодушевленным предметам никакого сентиментализма проявлено не было!

В июле у нас в семье стало три семейных праздника: 5-го – Сережины именины, 11-го – наша свадьба и 19-го – Танино рождение. Мы справляли их обыкновенно в своем тесном семейном кругу цветами, венками, гирляндами, букетами... На Сережин и Танин день обыкновенно к обеду приезжали борщенцы.

* * *

В 1902 году образовался «Союз Освобождения»[18] – нелегальное политическое сообщество, ставившее себе целью добиваться введения в России представительного строя. П. Б. Струве эмигрировал за границу и стал издавать в Штутгарте журнал «Освобождение», контрабандно ввозившийся в Россию и нелегально распространявшийся Союзом. Сережа вступил в члены Союза.

Я был принят в Союз вскоре затем Вячеславом Евгеньевичем Якушкиным и Петром Дмитриевичем Долгоруковым.

Я не имел влечения к политической деятельности. Но все складывалось так, что оставаться в стороне от общественного движения было морально невозможно. Казалось, страна готова была стряхнуть с себя вековое бремя самодержавия, исполнившего свое историческое назначение и ставшего помехой дальнейшему ее развитию. Предстояло осуществить давние чаяния всех прогрессивно настроенных русских людей на введение у нас

представительного образа правления. Непременные спутники этого строя все виды свобод были насущно необходимы для процветания страны. Это стало доходить до сознания масс. Страна мобилизовалась. Теперь или никогда! Надо было занять свое место в общем движении.

Примкнуть к какой-либо из действовавших тогда в России политических партий? Но они задавались, по моему мнению, неосуществимой в обозримом будущем целью – перестройкой общества на социалистических началах. Как бы ни относиться к этим идеям по существу и какие бы ни строить прогнозы об отдаленном будущем человеческого общества, мне казалось несомненным, что всякая попытка осуществления этих планов в наше время обречена на неминуемую неудачу и поведет к неисчислимым бедствиям. Очередной задачей нашего времени я считал введение у нас парламентского строя. Не видя в нем панацеи от всех бед и гарантии всяческих благ, я все же знал, какого пышного расцвета при нем достигли великие западные демократии. Итак, я вступил в образовавшийся тогда «Союз Освобождения». Затем в качестве уполномоченного Союза я в числе 30 уполномоченных участвовал в учреждении (X. 1905 г.) Конституционно-демократической партии, или партии «Народной Свободы» (КДП)[19], членом ЦК которой я пробыл со дня основания партии до ее самороспуска.

Независимо, мы с Сережей оба приняли участие в земских выборах по Покровскому уезду и были избраны уездными гласными. В Покровском уезде при оскудении в нем дворянского землевладения и при промышленном его характере, определяемом колоссальной Орехово-Зуевской мануфактурой, особенно наглядно выявлялись несообразности произведенной Д. Толстым реформы земского положения[20]. По расписанию гласных от дворян полагалось больше, чем оказывалось в уезде цензов дворянских! Так называемые выборы от дворян сводились поэтому к тому, что все съехавшиеся на выборы дворяне, в полном составе, зачисляли себя, а заодно заочно и неприбывших дворян, в гласные, после чего все же оставался еще недобор земских гласных от дворян. Напротив, гласных от так называемых городских избирателей было по расписанию назначено слишком мало. Они избирались на собрании в городе Покрове под председательством городского головы. В главной своей массе это собрание состояло из покровских лавочников, очень мало, вернее совсем не заинтересованных в земских делах (в Покрове было самостоятельное городское самоуправление) и потому являвшихся на собрание вяло и в случайном числе. И в таком-то собрании, по милости гр. Д. Толстого,

должны были избирать и избираться фабриканты Орехова-Зуева, фабриканты заштатного города Киржача и мы, грешные, недворянского происхождения землевладельцы. Между тем бюджет Покровского земства преимущественно базировался на обложении орехово-зуевских фабрик, и фабриканты весьма заинтересованы были в целесообразном расходовании собираемого с них обложения. Самый активный элемент в стране будто нарочно отстраняли от общественной деятельности. Рабочие как таковые не имели совсем своих представителей.

Тем не менее незначительная наша группа гласных от городских избирателей (городской голова Ф. Н. Колчин, фабриканты И. П. Кузнецов, П. П. Соловьев, С. В. Недыхляев, брат Сережа да я), не претендующая ни на какие места в уезде, в сущности, одна только и представляла собой независимую общественность на земском собрании. Дворяне так или иначе были заинтересованы службой в уезде (кто предводителем, кто председателем, кто земским начальником, кто сел в канцелярии губернатора) и в большинстве были связаны между собой родством или свойством. Гласные же от крестьян чувствовали себя весьма зависимыми от уездного начальства и от самостоятельных суждений воздерживались. Немудрено поэтому, что после первого заседания собрания в новом составе присутствовавшая публика определила: «Собрание вел гласный С. В. Недыхляев!» Для работы в любой комиссии Государственной Думы С. В. Недыхляев был бы весьма подходящим человеком. Впрочем, когда мы дожили до выборов в Государственную Думу, с С. В. случилось какое-то затруднение в делах, и он даже от земской деятельности устранился. В противоположность дворянству, при расстройстве имения шедшему на государственную или общественную службу, у купцов и промышленников при осложнениях в делах принято было отходить от общественных занятий.

Выбрался я также в гласные по Суджанскому уезду на трехлетие, тогда как на предыдущее трехлетие не получил должного числа голосов. Но и теперь успел в этом только благодаря агитации в мою пользу кн. Петра Дмитриевича Долгорукова, бывшего в то время председателем уездной управы.

На земских делах я теперь ближе познакомился с князем Петром Дмитриевичем. Он представился мне Неклюдовым из толстовской повести «Утро помещика», но Неклюдовым, дожившим до «Вечера помещика» с земством, с Витте и сельскохозяйственными комитетами, Кустарной выставкой, земской оппозицией и с раздающимися время от времени раскатами надвигающейся револю-

ции. Филантропические заботы об отдельных мужиках и бабах сменились общественными и политическими обязанностями. В записной книжке князь аккуратно записывает стоящие на очереди общественные дела. И день, когда ничего в этом списке не пришлось вычеркнуть как исполненное, добросовестный князь считает потерянным без пользы. По своему рождению, связям, образованию (университетскому) и состоянию он имел блестящие жизненные перспективы при дворе, на службе в столице, в имущественных, наконец, заботах о преуспеянии принадлежавших ему имений, но он предпочел жить в глухом уезде, отдавая свои силы земской деятельности и поднятию общественной жизни.

Будущий вице-президент Первой Государственной Думы, под председательством которого проходили в этой Думе все прения по аграрному вопросу, в те додумские годы развивал кипучую деятельность в малом масштабе своего уезда, организуя способные к общественной жизни силы, работая в сельскохозяйственном комитете и прежде всего в земстве. Он стал в губернии очень популярен. В так названном Плеве «третьем элементе», т. е. среди служащих земства, постоянно слышались «наш князь», или просто «князь сказал», «князь не согласен» и т. п. – совершенно необычные в этой радикально настроенной среде обороты речи.

Дополнительное наделение крестьян землей еще не было принято как лозунг реальной политики ближайшего момента, и землевладельцы еще не видели в князе предателя их интересов. «Мелкобуржуазная» же стихия промышленников и торговцев, как теперь ее характеризуют и как тогда совсем не говорили, была в общем настроена оппозиционно правительству и весьма сочувствовала независимому либеральному образу действий князя.

Тем не менее, когда министр внутренних дел Плеве отрешил Петра Дмитриевича от должности председателя управы «за деятельность, не соответствующую видам правительства», в уезде нашлись добровольцы, которые сделали попытку выступить против потерпевшего князя. Взялся за интригу, из личной чисто мести, Ильюша Толмачев, как его за глаза брезгливо и презрительно называли. Он сам мне об этом объявил, когда я по приезде в Суджу на земское собрание осенью 1904 г. зашел в клуб пообедать. Там сидели вместе приехавшие И. Н. Толмачев и А. Д. Гридин, и первый, завидя меня, с места в галоп стал бранить Петра Дмитриевича, крича, что специально затем и приехал в Суджу, чтобы разоблачить «князя». Всеядный Гридин, зачем-то привезший этого озорника на своих лошадях и сейчас вместе с ним как будто дружно обедавший, только всплескивал руками при каждом

выпаде Ильюши и, отмежевываясь от спутника, восклицал: «Что только Илья Николаевич говорит! Всю дорогу меня измучил! И это про нашего-то князя!»

Но вот, наконец, собрались гласные. Сразу выяснилось, что земское собрание совершенно дезорганизовано. Нет председателя управы и нет секретаря управы Волкова, правой руки Петра Дмитриевича. Уездный предводитель, по должности председательствующий в земском собрании, соратник Долгорукова по земской работе и по сельскохозяйственному комитету, Евреинов А. В. сражен саркомой. Его заместитель, благодушный, всеми уважаемый старик Арнольди совершенно глух. Ни рожок, ни объяснения на ухо со стороны рядом сидевших членов управы и стоявших за спиной его служащих управы не в состоянии компенсировать этого недостатка. Никто из гласных не соглашается секретарствовать на собрании, предвидя, как это будет трудно в создавшемся беспорядке. Я имел неосторожность, чтобы выручить собрание, согласиться совмещать секретарство в собрании с работой в ревизионной комиссии, где я был избран к тому же председателем. Вспоминая эти дни, я теперь спрашиваю себя, не спровоцировал ли меня на это нарочно гласный земский начальник В. А. Рапп, втайне сочувствуя скандалу, затевавшемуся Ильюшей. Могли рассчитывать, что, связанный присутствовать безотлучно на собрании своим секретарством, я упущу ревизионную комиссию и буду в ней манкировать. В комиссии, кроме меня, как я уже сказал, председателя, членами состояли Ильюша, молодой купец, совершенно новичок, Саламатин и крестьянин, фамилии которого не помню. Уловив полную несамостоятельность в суждениях молодого Саламатина, уже настроенного Ильюшей крайне враждебно управе, я решил своего председательства в ревизионной комиссии никому не сдавать. Пришлось днем в собрании секретарствовать, а поздно вечером и ночью сидеть в ревизионной комиссии. В. А. Рапп, усиленно уговаривавший меня «выручить собрание» и взяться на нем быть секретарем, теперь упрекал меня, что я затягиваю собрание: «Разве можно совмещать секретарство с работой в ревизионной комиссии», – говорил он, подсказывая, чтобы я оставил ревизионную комиссию. Но я этого намека «не понимал», видя, что в комиссии готовится какая-то интрига. Интрижка рассчитывала использовать ропот любостанских хозяйчиков, с давних времен пригревшихся около местного кустарного сапожного промысла и недовольных мероприятиями земства в этой области. Они издавна снабжали крестьян- кустарей сырьем и скупали при этом для перепродажи их готовые изделия (обувь),

хорошо на этом зарабатывая. При Долгорукове земство стало кооперировать любостанских кустарей, устроило им сапожную мастерскую, свело их договором с интендантством на выгодную поставку сапог для военного ведомства. Прежние любостанские дельцы теряли свои доходы. Видя их оскудение, местный земский начальник, быть может и добросовестно заблуждаясь, возмущался мероприятиями земства. В создавшемся возбуждении всякая неудача, всякий случай нераспорядительности со стороны земских агентов или самой управы встречался злобным радостным шипением. Пошли заведомо ложные, выдуманные россказни, сплетни, анонимные письма, доносы и формальные заявления и жалобы с наивной политической инсинуацией на проводимый будто бы земством «социализм». Малограмотные писаки не знали, очевидно, что помощь кустарным промыслам в духе любостанских мероприятий Долгорукова уже давно практикуется в других земствах в очень широких масштабах и даже финансируется, как Кустарный музей в Москве, такими столпами русского капитализма, как Сергей Тимофеевич Морозов.

При таких условиях И. Н. Толмачев, очевидно, рассчитывал легко провести в ревизионной комиссии общее осуждение экономической деятельности управы и, придравшись к какому-нибудь действительному, всегда возможному в большом деле непорядку, предложить передать дело прокурору, со всем упомянутым выше ассортиментом кляуз и злобных измышлений. Двух членов ревизионной комиссии он успел наушничанием подготовить к такому действию. Оставалось либо избавиться от меня, либо большинством голосов провести в ревизионной комиссии задуманные резолюции, невзирая на мое сопротивление. Но затея его не выгорела. Перед принятием какой-либо резолюции по тому или иному поводу я предлагал ревизионной комиссии расследовать случай документально и опросом участников и свидетелей. Мы зарылись так в работе, несколько ночей просидели и проспорили. Незаменимую помощь в ревизии оказал мне сотрудник управы Дмитрий Степанович Коробов, впоследствии сделавшийся видным кооператором. Он хорошо был осведомлен во всех операциях управы, очень быстро находил в делах оправдательные документы и составлял выкладки и выборки по всем операциям, возбуждавшим разговор в ревизионной комиссии. Кончилось тем, что гора родила мышь: ревизионная комиссия никаких злоупотреблений не открыла и должна была предложить собранию отчет управы утвердить! Любопытно, что Саламатин в результате работы перешел на мою сторону.

Очень мне понравились молодые сотрудники Петра Дмитриевича – члены управы А. В. Медведев и Болычевцев. Они держали себя с большим достоинством в этой направленной против них травле.

Константин Федорович Тахтамиров

Не могу припомнить, был ли на описанном мною собрании Константин Федорович Тахтамиров. Но все же скажу о нем здесь несколько слов.

В предыдущей главе мне пришлось упомянуть о произведенной в Суджанской земской управе растрате и о том, что покрыл ее из своих денег один из земских гласных. Выручил тогда земцев Константин Федорович Тахтамиров, сын местного водочника. Тогда как один из наиболее видных гласных при обнаружении растраты предложил растратчику свой заряженный револьвер, чтобы «с честью покончить все счеты», К. Ф. Тахтамиров поспешил покрыть недостачу из своих средств. С введением казенной продажи питей дела его отца значительно сократились и утратили при этом свою одиозность, ввиду закрытия кабаков и всех связанных с кабаками обычаев и порядков. Молодой заводчик, деятельный и смышленый, повел дело тихо и толково. Имея достаточно свободных средств и свободного времени, он определенно стал тянуться в общественную жизнь, которая с приездом в Суджу князя П. Д. Долгорукова и занятием им должности председателя уездной земской управы начала приобретать по тому времени значение. Со временем он был избран в члены управы, без жалования и без принятия им на себя каких-либо определенных функций, устройство, дававшее ему некоторые преимущества в общественном положении.

Не знаю, был ли К. Ф. Тахтамиров введен П. Д. Долгоруковым в «Союз Освобождения». Во всяком случае, он определенно примкнул к кругу земцев и местных деятелей, группировавшихся в уезде вокруг П. Д. Долгорукова и поддерживавших и проводивших его начинания. Когда Плеве устранил князя от должности председателя уездной земской управы за его оппозиционную правительству деятельность с запрещением въезда в уезд, то ретрограды, воспрянувшие было ненадолго в суджанском земстве, как мне казалось, были более ожесточены против К. Ф. Тахтамирова, фактически не работавшего, «почетного», как они иронизировали, члена управы, чем против А. В. Медведева и Болычевцева – двух молодых сотрудников князя Долгорукова по управе, выносивших

в этот произведенный Плеве разгром все бремя ответственности и работы по земскому делу в уезде. Впоследствии, когда князь П. Д. Долгоруков был восстановлен в правах, К. Ф. Тахтамиров, оставаясь членом управы, взял долгосрочный отпуск и поступил вольнослушателем в Московский университет на юридический факультет.

Этот солидный, не первой уже молодости вольный слушатель, с брюшком и лысиной, получивший доступ к слушанию лекций, по своему общественному положению – член земской управы, должно быть, являл собой что-то очень отметное в университетских аудиториях, переполненных безусой, зеленой, вечно волнующейся у нас молодежью.

Только что отстроенный им в имении под Суджей комфортабельный дом в шотландском вкусе (купцы и фабриканты еще не строились тогда в стиле ампир, считавшемся тогда – незадолго до его возрождения и реабилитации дворянским, казенным и устарелым) Константин Федорович оставил как дачу для летнего пребывания, а на зиму стал переезжать в Москву с женой и дочерьми, сняв обширную квартиру в доме Шикарщина на Пречистенке.

Вспоминается мне мой первый визит к ним в Москве на Пасху. Как водилось, я застал всю семью с гувернанткой дочерей и приехавшим из Суджи гостем в столовой за чаем и всяческой полагавшейся по обычаю снедью. Когда общие приветствия были пройдены и каждое кушание отведано, приглашенный обедать гость откланялся, чтобы сделать до обеда еще ряд визитов в городе, а меня Константин Федорович повел к себе в кабинет побеседовать. Это была большая комната с изящной новенькой обстановкой в стиле модерн, светлого дуба. Запомнился мне письменный стол полулунной формы, благодаря которой хозяин, сидя в центре, мог обложить себя кругом бумагами и книгами «под рукой», не занимая переднего перед собой места, остающегося всегда свободным для писания.

Этот новый, не знающий прошлого, стиль модерн как нельзя лучше подходил для К. Ф. Тахтамирова. Последний крик моды стирал с Константина Федоровича облик провинциализма, делая его как бы совсем столичным, по внешности по крайней мере, человеком. Всякий другой исторический стиль, вызывая исторические же ассоциации, приводил бы на ум мольеровского мещанина во дворянстве.

В то время редкий разговор так или иначе не съезжал на политику. Не помню, как речь зашла о социализме. По случаю какого-то его замечания я высказался, что при настоящих усло-

виях земельная собственность является необходимой предпосылкой прогресса земледелия, но что не исключена возможность, что когда-нибудь в будущем владение не обрабатываемой личным трудом землей будет казаться таким одиозным, как теперь казалось бы владение рабами.

Константин Федорович, воодушевившись, доказывал мне невозможность и вредность таких идей не только для нашего времени, но безотносительную и принципиальную. Ему казалось особенно вредным, когда люди, как я, принадлежащие к имущим классам, недостаточно проникнуты убеждением в невозможности и вредности социализма и потому «морально безоружны» перед натиском «бессмысленных фантазеров и невежественной толпы». Тут Константин Федорович оказался достаточно начитанным. Он поминутно доставал с полок своих свежепереплетенные желтые книги и, открывая по закладкам отмеченные им места, засыпал меня цитатами из разных авторов, русских и иностранных. Но, не ограничиваясь книжными доводами, Константин Федорович ссылался на личный опыт и знание людей. В столицах и больших городах, в искусственной обстановке, окруженные оторванными от жизни интеллигентами, мы, по его мнению, утратили понимание истинных побуждений, движущих людьми на всем пространстве страны. Ничего подобного социализму не может быть хотя бы даже силой навязано стране, а если бы и было, то не удержалось бы одного даже дня.

Несмотря на некоторую, казалось, начитанность Константина Федоровича в экономических, правовых и социальных вопросах, его внимание, по-видимому, проходило мимо того соображения, что всякое промышленное предприятие, хотя бы и существующее на правах частной собственности, является все же по существу учреждением общественного характера. Разубедить друг друга мы, конечно, не могли, и, чтобы положить конец затянувшейся беседе, я указал Константину Федоровичу, что как бы ни относиться к социалистическим идеалам и к возможности или желательности приступить к осуществлению их в наше время, круги, обойденные нынешним строем и могущие выиграть от социальной революции, добровольно от нее не откажутся, поскольку будут иметь силы предпринять опыт.

Прощаясь через час с семьей Константина Федоровича (они все уходили на выставку картин передвижников, и мы вышли на крыльцо вместе), я должен был признать, что этот провинциальный буржуй, приехавший к нам в Москву, представляет собой несомненную силу, хотя бы одной своей цельностью. Уверенный,

что история работает на него, он готовил себя исподволь к парламентской деятельности, не бросаясь в освободительное движение, но и не сторонясь от него, совсем как законный наследник, лояльно выжидающий естественного течения событий.

Со временем он действительно прошел в члены Государственной Думы. Не выдвигаясь в ораторы на думских заседаниях, он, как мне говорили, дельно работал в комиссиях. Карьера его внезапно прервана была преждевременной смертью не помню от какой болезни. В общем, по моим наблюдениям, капиталисты в те годы подходили к власти пассивно, большей частью бессознательно. Такие люди, как Константин Федорович, заблаговременно готовившиеся к участию в государственной деятельности, представляли исключение.

Электропсаломщик

Раз как-то ко мне в издательство явился старичок в длиннополом сюртуке, с громадным портфелем, битком набитым бумагами. Усевшись в кресло у моего письменного стола и обстоятельно высморкавшись в цветной платок, он сказал мне, что обращается в наше издательство по делу, лично интересующему К. П. Победоносцева – обер-прокурора Св. Синода. Впрочем, дело настолько важно, что не нуждается в рекомендации. Притом, по Кяхте он, мол, был знаком с моими родителями и потому чувствует себя человеком, не посторонним нашему издательству. Сделав попытку перейти на фамильярный тон и видя, что без моей поддержки это не выходит, старичок извлек из своего портфеля и предъявил мне подписанную К. П. Победоносцевым бумагу, несколько уже замусоленную и потертую в местах перегибов. Обер-прокурор без всякого обращения удостоверял, что дело, возбужденное таким-то, имеет громадное значение и заслуживает всевозможной поддержки. Я, наконец, попросил без дальнейших вступлений изложить мне, что желает от нас старичок. Оказалось, что он ратует за повсеместное введение в православных церквах электрического освещения. Обер-прокурор этому сочувствует, но митрополиты противодействуют, боясь лишиться доходов от синодального свечного завода. Надо в ряде книг и брошюр поднять кампанию за реформу.

– Не думайте, что это вопрос одного лишь церковного ритуала, – добавил старичок. С предполагаемой реформой связывается полное преобразование нашего сельского хозяйства. Каждая сельская церковь будет иметь свою электрическую станцию.

Энергия со станции пойдет на обслуживание сельскохозяйственных работ. Церковь окажется проводником величайших усовершенствований в хозяйстве и вернет себе господствующее положение в стране. В каждом приходе будет поп – пастырь душ и псаломщик – распорядитель электрической энергии. Псаломщиков надо будет обучать. Наряду с духовными семинариями надо создать сеть электротехнических училищ для подготовки образованных технически псаломщиков.

– Я даже для них название имею: «электропсаломщик»! – воскликнул в пафосе старичок.

Я не выдержал и рассмеялся самым откровенным образом. Это произошло самопроизвольно, но я увидел, что и старичок мой ударился в самый добродушный смех до слез, которые потребовалось утирать опять цветным платочком.

Ответ мой был ясен и без слов, что старичок отлично понял. Насмеявшись со мной вдоволь и собрав свои разложенные передо мной бумаги в портфель свой, он распрощался со мной самым добродушным образом, не спрашивая изложения моего мнения...

Нам пришлось еще раз встретиться. Я ехал из Москвы в Курск ночным курьерским поездом. В Туле меня разбудил вошедший в мое купе и занявший в нем свободное место старик, в котором я сразу признал автора «электропсаломщика». Он ехал до Орла, боялся разоспаться и проспать свою остановку и охотно вступил со мной в разговор. В Туле он был на выставке огнестойких построек и в Орел направляется по каким-то подобным делам.

Народная трезвость, спасение на водах, огнестойкие постройки, наряду с миссионерством и проч., и проч., в царские времена находились под покровительством высоких особ. Были люди, которые сделали себе карьеру в этих делах: говорили речи, писали в газетах, составляли доклады, сочиняли книги и брошюры, заводили связи, приобретали известность, получали чины и награды, справляли свои юбилеи. Конечно, автор «электропсаломщика» должен был тереться в этих кругах. Я что-то плохо его слушал, в конце концов заснул и когда проснулся перед Курском, то его в вагоне уже не было...

Федино разорение

Не успел Сережа в 1900 году вернуться из Сибири и осмотреться в московских наших делах, как ему пришлось ехать на выручку брата Федора в Париж. Федор окончательно разорился. Сережа застал его окруженным бессовестными ростовщиками и весьма

сомнительными «друзьями». Все, каждый на свой лад, требовали от Федора денег, и должных, и недолжных, устраивали сцены, грозились, пробовали шантажировать. Федор, разорившийся, как говорится, «в пух и прах», ни в какой мере не мог никого удовлетворить, растерялся, лишился обычного присутствия духа и находчивости, размяк, путался в ответах, давал людям наговаривать на себя несуразные небылицы и жестоко пил.

В стае хищников, сорвавшихся с какой-нибудь Лысой Горы и набросившихся с остервенением на Федора, особенно ратовали два еврея, старик отец и сын, молодой человек. Игру они вели одну, но выступали всегда врозь, иногда даже инсценируя взаимное друг против друга раздражение. Отец, преисполненный якобы всяческих буржуазных добродетелей, «почтенный старик», погруженный в серьезные банкирские операции со всеми будто бы банкирами мира, пребывал больше за кулисами, появляясь на сцену лишь в исключительных случаях. Сын всячески внушал всем представление о невероятном богатстве отца, об его деловых связях и суровой деловой строгости. Сам молодой человек водился с молодежью, разыгрывал из себя светского человека, которому доступны все мирские соблазны, но которому строгий отец не дает средств на «приличную жизнь».

И вот как-то произошло будто бы, что этот молодчик продал Федору какую-то драгоценную вещь. Но Федор ее и не оплатил, и не получил, так как молодой человек ее без денег, конечно, не отдал. Он заложил ее по продажной цене от имени Федора у своего папаши и деньги удержал себе. Когда пришло время выкупить вещь, то выяснилось, что она выданных будто бы под нее денег не стоит. Папаша кричал о мошенничестве.

Мошенничество тут, конечно, было махровое! Но эти наглые проделки были юридически хорошо оформлены, и вывести эту труппу отца с сыном на чистую воду Сереже далось нелегко.

По Фединым делам Сережа обратился за консультацией к одному из виднейших парижских юристов. Совет юриста был самый категорический: «Юристу здесь делать нечего, да и вам тоже. Умные уже, конечно, поняли, что губка выжата до отказа, и отстанут. Глупые и мошенники все же попробуют проделать все законные процедуры воздействия на вашего брата. Через это неизбежно пройти. Советуйте ему уехать из Парижа, а я вам рекомендую homme d'affaires*, которому ваш брат вполне может доверить отвечать и действовать за него».

* Здесь: поверенного в делах (фр.).

Так и пришлось сделать. Федор дал себя уговорить и уехал, впрочем, все же не сразу, в Турин к Пиуматти. Сережа, получив от меня по телеграфу изрядную сумму, им вытребованную из Москвы, и ликвидировав Федины «долги чести», вернулся в Москву.

Через год, будучи в Париже, я зашел к упомянутому homme d'affaires. Этот внушительного вида мужчина с большой черной бородой, узнав, по какому делу я пришел, разразился смехом и, потирая руки, воскликнул:

– А здорово ваш младший брат из Москвы разгадал это семейство со шкатулкой! Они тогда ускользнули и продолжают орудовать в том же духе. Но теперь я за ними слежу, и уж они мне попадутся!

Вскоре за тем мы получили известие, что Федя в Турине вскрыл себе в гостинице вены. Его спас пришедший к нему в номер Пиуматти. Было ясно, что Федю надо лечить. Иван Михайлович Сабашников, очень любивший Федю, охотно взял бы его к себе в Творки (психиатрическая лечебница под Варшавой, в которой он состоял директором). Он располагал обширной директорской квартирой и уверял, что Федя его нисколько не стеснит. Так оно впоследствии и устроилось. Но в данный момент Федя отклонил приглашение доброго Ивана Михайловича, надо думать, не желая являться в его семью в тогдашнем своем упадочном состоянии. По рекомендации В. К. Рота мы устроили Федю в Риге в санатории бр. Шенфельдов. В Риге мы по очереди Федю навещали. Когда он оправился, он переехал в Творки к Ивану Михайловичу, в семье которого и прожил несколько лет.

Мы не сразу остановились на санатории в Риге. Между прочими, рекомендованными В. К. Ротом санаториями, нам сначала казалась более подходящей санатория доктора Ольдероге в Финляндии (по близости ее к Петербургу, где у Феди были друзья). Опишу здесь эпизод моей поездки для ознакомления с этим заведением.

Ольдероге меня совершенно очаровал. Это был стройный, приятной наружности военный врач. Военный мундир необыкновенно шел к его сухопарой фигуре. Остриженные бобриком седые волосы и спокойный проницательный взгляд. Мне было приятно думать, что Федя попадет под попечение такого внешне выдержанного человека. За его знания и опытность ручалась рекомендация В. К. Рота. Но Владимир Карлович, по-видимому, не был информирован о характере санатория доктора Ольдероге. Санаторий предназначался специально для алкоголиков и построен был на полнейшей изоляции пациентов от всех соблазнов и воз-

можностей потребления вина при одновременном соматическом лечении. Ольдероге утверждал, что в громадном большинстве случаев приверженность к спиртным напиткам имеет своей причиной какой-нибудь органический недостаток у пациента (например, слабость сердца), который пациент иногда бессознательно компенсирует вином. При лечении поэтому надо воздействовать на эту первопричину менее вредными, чем вино, средствами.

Для строжайшей изоляции пациентов от вина и прочих соблазнов доктор Ольдероге, принимая во внимание обычную у алкоголиков расслабленность воли, поместил свой санаторий на предоставленном ему для этого правительством необитаемом острове у берегов Финляндии. Пациент, решивший порвать со своей несчастной страстью, должен был удалиться на остров, где вина нет и получить нельзя. Хотя мне ясно стало сразу, что санаторий доктора Ольдероге не отвечает тому, что нужно для Феди, расстройство которого имело свои объективные внешние причины, я все же принял предложение доктора Ольдероге проехать с ним на его необитаемый остров. Уж очень мне под обаянием доктора Ольдероге захотелось поручить Федю его попечению. Притом, приехав в Петербург исключительно ради совета с Ольдероге, я был совершенно свободен, да и в Петербурге никого из сестер и близких мне лиц не было.

Итак, я последовал за доктором в Финляндию. Ночной поезд, вероятно, скорый, несся быстро, делая остановки только на больших станциях. Мы на них выскакивали, причем я, не обедав днем, усердно пользовался аппетитными финскими закусками, запивая их вином.

– Вы меня за алкоголика не сочтете? – спросил я Ольдероге.

– Нет, вы не похожи! – был ответ...

Перед рассветом мы сошли с поезда, и в каком-то кабачке Ольдероге нашел лодочника, который должен был доставить нас на остров. Волнение было довольно сильное. Утро пасмурное. Но когда мы подошли к «необитаемому» острову, на котором нас приветствовало 12 обитавших на нем пациентов, выглянуло солнце. В единственном деревянном домике обстановка была самая «спартанская». По книгам, лежащим на койках, я подумал, что пациенты должны испытывать зеленую скуку.

Обойдя вкупе со всеми пустынный остров и посмотрев на место, избранное для возведения часовни, доктор удалился для приема своих пациентов, предложив мне тем временем расспросить их о житье в санатории и влиянии его режима на их здоровье.

Прием у Ольдероге продолжался довольно долго, и мы успели погулять и поговорить. Несколько пациентов сказало мне, что карантин винный прорван. Спирт, например, доставлен сегодня с нашей лодкой. Они уже решили сообщить об этом доктору. Но в прошлый его приезд у них не хватило духу его огорчить, да и сегодня нет у них решимости. Они просили меня объяснить положение доктору. Я уклонился: такое сообщение без указания виновника и всей конкретной обстановки может показаться доктору сплетней. «Да, вы правы!» – развели руками алкоголики. Сказали ли они доктору в тот день свою тайну, я не знаю. Во всяком случае, доктор и вида не показал при мне, что произошла какая-либо неприятность.

Всю обратную дорогу я чувствовал себя омерзительно. К счастью, доктор слез на какой-то из дачных станций. Я утешал себя обещанием пациентов разоблачить тайну.

Глава 7

ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ГИБЕЛЬ СЕРЕЖИ (1904 – 1909)

Японская война

Весной 1904 года на Россию обрушилась война с Японией. Этого следовало ожидать. После японо-китайской войны «великие державы» вместе с Россией не дали Японии воспользоваться плодами ее побед, причем Россия заняла на Дальнем Востоке позиции, казалось бы, обязывавшие ее к величайшей осторожности. Кончилось время, когда наша беспримерная восточная граница, проходя по малонаселенным, диким местам, около мирного, дружественного и совершенно бессильного Китая, не требовала большого напряжения для ее охраны. Теперь мы на востоке встретились и не поделились с Японией, страной воинственной и в техническом отношении усвоившей все завоевания современной цивилизации. Япония предлагала нам размежеваться, предоставляя нам захваченную нами Маньчжурию и требуя себе Корею. Мы же перед лицом такого сильного и бдительного соседа-конкурента затевали в Корее лесные концессии на Ялу, инсценируя как бы стихийную торгово-промышленную экспансию, как она когда-то осуществлялась по почину Строгановых в Сибири и Ост-Индской К° в Индии. И это в то время, как опыт в Маньчжурии уже доказал всем осведомленным лицам, что никакого особого напора или предприимчивости частный капитал в Маньчжурии не проявил. Опасливо недоумевали тогда по этому поводу сибиряки, гласные, редакторы больших газет, члены «Союза Освобождения» и люди, вообще интересовавшиеся политикой, но такие недоумения нигде открыто не выражались, и я думаю, не только для громадного большинства населения, но и для так называемого «общества» война с Японией упала как снег на голову.

Когда Япония отозвала своего посла, я, встретившись с В. Ф. Джунковским, задал ему вопрос: «Мы, стало быть, воюем?» Он решительно отрицал эту возможность, выражая, очевидно, то, чему верили или хотели верить правящие круги. А затем он же в злополучный день конца января, с ветром и мокрым снегом, заехал к нам на квартиру специально, чтобы сообщить, что в Порт-Артуре японцы ночью напали на наши стоявшие на якорях суда[1] и вывели из строя ряд военных кораблей. Так началась, должно быть, самая непопулярная война, какую мы когда-либо вели. Мы, вероятно, действительно не хотели войны. Но мы не только ничего не сделали, чтобы ее избежать, но очень много сделали такого, что ее вызвало. Ряд тяжелых неудач ознаменовал эту войну. Потрясающее впечатление произвела гибель напоровшегося на мину «Петропавловска» с адмиралом Макаровым и художником Верещагиным на борту. Отправляясь в Маньчжурию, чтобы стать во главе армии, генерал Куропаткин сказал провожавшим его москвичам: «Терпение, терпение и терпение!» Но и оно ничего не принесло, а со временем само истощилось.

Естественно, что с неудачной войной революционное движение не только не улеглось, но приобрело еще большую силу. 15.VII.04 брожение проявилось очередным террористическим актом – убийством министра внутренних дел В. К. Плеве. Он считался оплотом реакции и был крайне непопулярен. Кроме того многие, по-видимому без достаточных оснований, винили его в том, что по соображениям внутренней политики он не отвратил японской войны. Как бы то ни было, неизвестно, чтобы министр внутренних дел предпринял какие-либо попытки к тому, чтобы отстранить надвигавшуюся на Дальнем Востоке катастрофу. По рассказам А. И. Чупрова, знавшего Плеве, он в откровенной беседе признавал неизбежность введения у нас конституционного режима. Это же отмечает в своих записках и Д. Н. Шипов. В неизданных «Воспоминаниях бюрократа»[2], бывших у меня на просмотре в рукописи, я прочел (в очерке о Драчевском), что Плеве при занятии им должности директора Департамента полиции в 1881 году привлек в Департамент молодые юридические силы «для внедрения в нем начал законности», поручив им, между прочим, «сочинение проекта конституции». «Из этого проекта ничего не вышло, – добавляет автор, – но тем не менее характерно, что один из первых (?) конституционных проектов составлен в недрах пресловутого Департамента полиции». Как бы то ни было, однако Плеве все усилия полагал на подавление конституционных устремлений общества.

После Плеве министром внутренних дел был назначен князь Святополк-Мирский. Осведомленные лица объясняли это назначение решением «сфер» пойти навстречу общественным настроениям. Заговорили о «политической весне». Действительно, репрессии прекратились. Многие вернулись из ссылки и заключения. Печать стала держать себя посвободнее. Открылись и возобновились некоторые газеты. Осмелели сатирические журналы, в которых выдвинулись многие талантливые карикатуристы. Одним словом, освобожденное из-под пресса общество быстро стало разминать свои закоченевшие при Плеве члены.

На «земскую среду», как тогда стали выражаться, не только наилучше организованную часть общества, а, пожалуй, единственно организованную его часть, по всему ходу событий выпадала задача заявить перед властью о «чаяниях страны», т. е. о необходимости созыва народного представительства. После длительных переговоров со Святополк-Мирским в Петербурге 6–8. XI. состоялось (хотя и без разрешения министра, но с ведома его) «частное совещание земских и городских деятелей». Оно единодушно высказалось за введение у нас народного представительства. При этом большинство требовало для этого представительства законодательной власти, меньшинство же, возглавлявшееся Д. Н. Шиповым, держась до известной степени славянофильских традиций, желало лишь законосовещательного собрания. Резолюции совещания с двумя мнениями были вручены затем Святополк-Мирскому для доклада государю. Они были подхвачены в обществе с величайшим сочувствием преимущественно к требованию большинства.

«Союз Освобождения» организовал по большим городам ряд банкетов, на которых произносились речи, требовавшие введения у нас конституции, и выносились решения в духе резолюций большинства частного совещания земских деятелей. Такие же постановления стали затем выноситься повсюду самыми разнообразными общественными организациями.

Оживление на Суджанском земском собрании

Мне очень памятно оживление, царившее на Суджанском уездном земском собрании, состоявшемся в конце декабря 1904 г. Вернулся недавно еще отстраненный Плеве князь Петр Дмитриевич Долгоруков. Не могу восстановить в памяти, вступил ли он тут же вновь в свою должность председателя земской управы, но, во всяком случае, он был тут налицо, принимая участие во

всех совещаниях и оказывая бесспорное влияние на нового председателя собрания из правых Юрьевича, заменившего на посту предводителя скончавшегося Алексея Владимировича Рейна. Ко времени земского собрания в Суджу съехались земские врачи на врачебный совет и земские учителя и учительницы со всего уезда на какое-то совещание. Они наводнили собой места для публики в зале земского собрания, а на своих совещаниях выносили резолюции, идущие дальше частного совещания земцев.

Группа суджанских гласных, принадлежащих к «Союзу Освобождения», решила собрать по уезду подписи под ноябрьскими постановлениями частного совещания. На меня выпала обработка касторнянского угла уезда, т. к. я должен был ехать прямо с собрания на завод. Живо вспоминается мне этот переезд в сорок пять верст на санях, запряженных гусем, в метель и трескучий мороз. Не успел я отъехать от Суджи версты, как нагнал возвращавшуюся домой на несчастной клячонке касторнянскую учительницу. Она только с осени поступила на службу. Молоденькая, хорошенькая и очень бойкая, она в Судже обратила на себя общее внимание своими решительными и остроумными выступлениями, и гласные, спрашивавшие меня о ней, как ближайшего ее соседа, с недоверием смеялись, когда я говорил им, что еще не успел познакомиться с соседкой. Теперь при пронзительном ветре и надвигающейся метели пришлось познакомиться. После блистательных успехов в Судже молоденькая барышня, в полушубке, укрывшаяся еще попоной, имела вид далеко не бравурный. По первому моему приглашению она скромно пересела в мои сани с меховой полостью. Ее возница, опасаясь метели, поспешил повернуть лошадь и погнал обратно в Суджу, а мы тронулись дальше. Я вспомнил, как в Судже при моем отъезде гласные смотрели в окно, не веря, что я приехал и уезжаю один. То-то зачешут языки, когда узнают о нашей теперешней встрече. Но ветер все крепчал да крепчал, дорогу заметало снегом, лошади выбивались из сил, и на полдороге в селе Больше-Солдатском мы решили искать приюта в первой попавшейся крестьянской избе. Хозяйка пекла к празднику пироги, и мы с наслаждением выпили водки и закусили горячими, большими, отличного белого теста пирогами. Только на следующий день добрались мы домой.

Среди деловых занятий в Любимовке я исполнял принятое на себя поручение по пропаганде мнения большинства ноябрьского совещания и по сбору подписей под ним. С этой целью мы с Н. И. Синькевичем ездили в Касторную к знакомым крестьянам. Они оказались гораздо более ориентированными в вопросе, чем мы

ожидали. Читали «Русское слово» или даже «Русские ведомости»; безусловно сочувствовали идее народного представительства; нисколько не интересовались законосовещательным собранием и всякими связанными с ним теориями; решительно высказывались только за законодательное собрание.

Все очень охотно согласились дать свои подписи. Я не заметил, чтобы кто-либо уклонился. Во всяком случае, если кто-либо и счел за благо не начинать игры, за которую не так давно пришлось бы здорово поплатиться, то это было сделано незаметно, без вызова и протеста. Оказались неграмотные. Они просили разрешения вместо фамилии ставить крест. Это давало бы повод противникам доказывать, что неграмотные и не понимают, что требуют, и не подготовлены к представительному строю. Все же, ввиду настойчивого желания некоторых неграмотных отметиться в резолюции большинства, я согласился с тем, чтобы они вместо подписей ставили кресты. При этом кто-нибудь из присутствовавших грамотных удостоверял своей подписью, кем поставлен крест. История с крестами вскрыла, что крестьяне придавали сбору подписей присоединяющихся к резолюциям частного совещания земских деятелей весьма реальное значение, сверх той манифестации, какой хотели достигнуть сами инициаторы сбора подписей. Крестьяне учитывали, что против участников земского совещания могут быть приняты правительством репрессивные меры, которые распространились бы затем по периферии и на присоединившихся. Важно было, чтобы число их стало возможно больше.

Целый день провели мы в Касторной за политическими разговорами. В избу приходили все новые люди на смену подписавшимся. Уже смеркалось, когда в избу вошел крестьянин, приехавший со станции. Там получена была телеграмма о сдаче Порт-Артура[3]. Все смолкли. Стало тяжело. Мы простились со своими собеседниками и поехали домой на завод. Смешанное чувство большого несчастия и несомненного облегчения испытывалось мною и, по-видимому, всеми, с кем приходилось говорить в этот вечер. Это было новое наше поражение, совершенно неизбежное и давно предвиденное, ослаблявшее наше положение в Маньчжурии и усиливавшее противника. Но, вместе с тем, как бы легче было за остаток гарнизона, избавлявшегося от напрасных страданий.

Отставка Святополк-Мирского

Положение кн. Святополк-Мирского было весьма непрочно, и вскоре оно окончательно пошатнулось. Как стало впоследствии известно, царь, которому князь доложил постановление частного совещания земских деятелей, созывал несколько совещаний, после которых поручил князю составить манифест в соответствующем духе. Однако в последнюю минуту восторжествовало противоположное мнение, и манифест, по совету Витте, был подписан и опубликован без самой существенной его части, говорившей о введении народного представительства[4]. Д. Н. Шипов, подробно рассказывающий этот эпизод в своих воспоминаниях, при этом прибавляет: «...события ближайшего времени показали, что тот шаг, который государь не счел возможным и нужным сделать в ответ на откровенное и вполне лояльное заявление совещания земских деятелей, он был вынужден на него решиться под влиянием революционного движения 9 января 1905 г. произошло выступление рабочих в С.-Петербурге, сопровождавшееся кровопролитием, а 4 февраля в Москве был убит великий князь Сергей Александрович и вслед за тем 18 февраля опубликован указ Сенату и рескрипт на имя министра внутренних дел А. Булыгина[5], которым полагалось начало привлечению избранников населения к участию в законодательной деятельности». Добавлю к этому действительно убедительному сопоставлению еще и то, что столь быстро отмененная «весна» Святополк-Мирского была допущена под впечатлением террористического акта – убийства Плеве, и в предвидении ожидавшегося падения Порт-Артура, а осуществление обещания, провозглашенного в рескрипте Булыгину о введении народного представительства, затягивалось и затем вылилось в форме никого не удовлетворившей «Булыгинской Думы»[6] (6 августа 1905 г.). Князь Святополк-Мирский подал в отставку. Правительство вернулось к репрессиям. «Патронов не жалеть!» провозгласил генерал Трепов перед 9-м января. Но ни революционное, ни общественное движения, как известно, не затихали. Упомяну дальше лишь о тех выявлениях общественного движения, в которых так или иначе приходилось лично участвовать.

«Союз Освобождения» деятельно разрабатывал свою программу и устраивал по Москве совещания, более или менее многолюдные, по отдельным вопросам. Неоднократно собирались у брата Сережи на квартире...*

* Фраза не закончена.

В гостях у С. Н. Прокоповича

О кровавом столкновении 9 января в Петербурге мы в Москве узнали лишь на следующий день. Впечатление было гнетущее. Всюду собирали деньги на помощь пострадавшим. Мне по какому-то делу надо было ехать в Петербург, и мне дали отвезти туда собранные деньги. Лица, которым надо было вручить собранные деньги, могли быть арестованы. В таком случае следовало передать деньги кому-либо из редакторов газет «Наша жизнь»[7] или «Сын отечества»[8]. В Петербурге я узнал, что редакция «Нашей жизни» закрыта, но что редактора С. Н. Прокоповича можно в 7 часов вечера застать на квартире. Когда я в указанное время явился, у подъезда сидело двое мужчин, присутствие которых мне показалось подозрительно. Но мне только что сообщили, что у С. Н. Прокоповича все благополучно. Я взошел в третий этаж и позвонил. Мне отворил полицейский. Я попал в засаду! В передней множество шуб. Кабинет полон людей. За письменным столом жандармский офицер просматривает находящиеся в столе бумаги. По прочтении он одни возвращает на место, другие откладывает в сторону. Все стулья и диван заняты безмолвной публикой, изредка перешептывающейся между собой. Потеснились и дали мне сесть. Я чувствовал себя преглупо. Хозяина я никогда не видел и не мог установить поэтому, находится ли он среди нас. Какое дать жандармскому офицеру объяснение моего прихода и наличности при мне изрядной суммы денег? Ну, да к редактору газеты мало ли зачем приходят! Записку с адресами лиц, через кого можно было передать пожертвования, я поспешил разжевать и проглотить. Так просидели до утра. Покончив с письменным столом, жандармский офицер произвел обыск личный всех присутствующих и на каждого составил протокол. Я был последним и, прослушав опросы всех, увидел, что хозяина между нами нет. Около 7 часов жандармский офицер удалился. Невысокий пожилой господин в очках, очевидно, друг хозяина, чувствовавший себя менее принужденно, чем мы все, чужие, предложил, ввиду неудобного часа для возвращения домой, перейти в столовую и закусить «чем Бог послал». В буфете нашелся хлеб и сыр. Мы подправились, а в восьмом часу стали расходиться. Белевский, как назвался господин, взявший на себя роль хозяина, отведя меня в сторону, спросил: «Вы из Москвы? Издатель? «Северный вестник» ваша сестра издавала? А «Полет птиц»? Вам очень нужен Сергей Николаевич? Он арестован, но я смогу передать, что нужно». Но я не решился довериться совершенно мне не известному человеку.

Несколькими часами позже, придя в редакцию «Сына отечества», чтобы передать деньги по последнему, еще действовавшему адресу, я опять встретил Белевского в кабинете редактора. «Ну, я на минутку выйду! – предупредительно засмеялся Белевский. – Михаилу Васильевичу очень нужно переговорить наедине!»

С Белевским мы свели после этого знакомство. Он оказался бывалым, много видевшим, наблюдательным и вдумчивым человеком. Он отлично владел пером, и впоследствии Н. В. Сперанский, когда он заведовал иностранным отделом в «Русских ведомостях», познакомившись с Белевским через меня, устроил его корреспондентом в Париже, после переезда в Россию К. В. Аркадакского (Добриновича, подписывавшегося буквой «К»). Его живо написанные корреспонденции, подписанные псевдонимом «Белорусов», охотно читались и всегда вызывали к себе внимание удачным выбором тем и свежим подходом к изображаемому.

С С. Н. Прокоповичем я так тогда и не встретился, и мы с ним познакомились много позже.

Убийство великого князя Сергея Александровича

4 февраля 1905 года был убит в Кремле брошенной Каляевым бомбой великий князь Сергей Александрович. Я в это время занимался в конторе и не слыхал взрыва. Но София Яковлевна в момент самого взрыва была в городе и сообщила мне о случившемся по телефону. Я просил ее переждать в магазине, откуда она звонила, пока не уляжется волнение на улицах, а затем на извозчике приехать прямо ко мне, не совершая больше никаких передвижений по городу. Она была на пятом месяце беременности, и я боялся, что она попадет в суматоху и пострадает. По ее же телефонному сообщению я узнал, что кроме самого вел. князя и его кучера никто не пострадал. Получая постоянно угрожающие письма, великий князь последнее время никому не позволял себя провожать, почему и на этот раз он был один в карете.

После телефона Софии Яковлевны в контору пришел С. А. К. Я предложил ему дождаться, пока не подъедет София Яковлевна. Вот что она рассказала. Она на извозчике проезжала мимо Манежа, направляясь в Троицкие ворота, когда услышала сильный взрыв. Так как затем ничего не последовало, то София Яковлевна совсем было забыла о слышанном взрыве. Уже в Кремле на пути от Троицких ворот к Спасским она увидела, как из подъезда Николаевского дворца (ныне не существует) поспешно вышли две дамы в черном, с непокрытыми головами и, сев на парные

сани, понеслись мимо Чудова монастыря[9]. Кто-то сказал: «Это великая княгиня!» София Яковлевна остановила извозчика, чтобы спросить, что случилось, у стоявшего при воротах дворца служителя в медалях и орденах. Сюда же подбежал и ехавший сзади на извозчике офицер. «Великий князь убит», – ответил служитель. «Он был один?» «Один». Севши опять на извозчика, София Яковлевна добралась до Пассажа, откуда и позвонила мне из знакомого магазина. На улице никто не высказывал никакого сожаления. Какая-то дама на извозчике перекрестилась. Какой-то тип в Пассаже заводил провокационные речи, показывая клочки сукна и обломки кареты. «Кто же убийца?» – спросила София Яковлевна. «Известно, студенты!» – отвечал неизвестный. «В студенческой форме?» – продолжала спрашивать София Яковлевна. «Ну, этих и в чуйке узнаем!» – был ответ. София Яковлевна поспешила выбраться из толпы и на извозчике приехала ко мне в контору.

Мы вместе с С. А. К. прошли пешком домой. На улице не было никакого возбуждения. Вечером в Московском обществе сельского хозяйства было общее собрание. По занятому им в освободительном движении положению на заседаниях общества принимала участие вся верхушка прогрессивной интеллигенции московской. На этот раз собрание было особенно многолюдно.

Потрясение 4 февраля не прошло бесследно для Софии Яковлевны. Седьмого февраля в гостях у Лидии Павловны Княжевич София Яковлевна неожиданно почувствовала себя дурно. Сестра моя Нина, после взрыва приехавшая в Москву из Петербурга и находившаяся тоже у Лидии Павловны, отвезла Софию Яковлевну домой и вызвала меня из конторы по телефону. Вызванный мною доктор Якубовский констатировал выкидыш. Он утверждал, что в эти дни у него необычайное количество выкидышей и преждевременных родов. Он приписывал их сотрясению, вызванному взрывом.

Как известно, великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова убитого великого князя Сергея Александровича, посетила в темнице убийцу ее мужа – Каляева и имела с ним беседу. Жизнь создает ситуации, которым позавидовал бы драматург. Необычайная встреча эта, распространенная молвой по городу, породила разговоры о том, что, быть может, к Каляеву смертная казнь применена не будет. Совершенно конфиденциально Сережа спешно должен был подобрать в литературе те возражения, какие делались и делаются против смертной казни. Эта выборка могла служить для устной беседы или для докладной записки, или ходатайства. Предполагавшееся, впрочем, выступление, если оно

вообще и состоялось, несомненно, в письменную форму облечено не было.

О настроениях в Москве за зиму 1904/5 г.

Сережа писал 5.V.05 Николаю Васильевичу: «А все же обидно, что Вы зимой не побывали в России. Что будет осенью и дальше, неизвестно, а зима, во всяком случае, была занятная и для наблюдения социолога дала немало любопытного».

В самом деле, «весна» Святополка-Мирского была отменена, но спущенные им шлюзы опять поднять было уже нелегкой задачей. В Москве всю зиму царило необычайное оживление. Редкий вечер не было где-либо заседания или собрания – открытого или частного. Оживились и отдались политике общества и организации, скромно до того работавшие в отведенной им уставами их сфере и даже едва влачившие существование. Складывались новые объединения. Одним словом, все и всё ринулись в политику, побуждаемые к тому кто сознанием долга и убеждением, кто выгодами, а кто честолюбием или даже тщеславием. Всякий общественный вопрос, всякое собрание неизменно упиралось в политические требования. Если когда-то прикровенно говорили об «увенчании здания» реформ Александра II, а потом писали, что «нужны не реформы, *а реформа»,* то теперь уже без обиняков требовали «конституции». Учредительное собрание – один из лозунгов крайних партий, одна или две палаты, всеобщее, прямое, равное и тайное голосование – так называвшаяся «четыреххвостка», аграрная реформа, автономия Польши – стали темами светских разговоров. Кто стал изучать Великую французскую революцию, кто – государственное устройство передовых западных демократий.

По приглашению брата Сережи у него на квартире состоялось совещание нескольких издательств по вопросу скорейшего выпуска в свет книг по теории и практике народного представительства, ввиду бедности русской литературы по этим вопросам, выдвинувшимся теперь на авансцену ходом событий. Насколько припоминаю, кроме нас были: И. Д. Сытин, С. А. Скирмут («Труд»), Антик (Универсальная библиотека), Н. П. Ложкин (Вятское товарищество), Д. И. Шаховской (Ярославское земство). Все представленные издательства уже готовили книги этого порядка, поделились своими предположениями и разобрали между собой издание рекомендованных к переводу присутствовавшим Ф. Ф. Кокошкиным. Мы выпустили в этом плане «Тексты консти-

туций», Боржо «Учреждение и пересмотр конституций», Беджгот «Государственный строй Англии», Еллинек «Права меньшинства» и другие книги, внешне объединенные лишь цветом (синим) обложек.

У Сережи на квартире часто собирались по «Союзу Освобождения». Обсуждались отдельные требования программы, иногда очень горячо, с выходом даже отдельных членов из состава Союза (в связи с принятием экономических требований программы).

В доме Долгоруковых, за музеем Александра III, собиралась «Беседа»[10], от имени которой выпущено было несколько толстых томов по разным политическим вопросам. У Г. А. Новосильцева в Скарятинском переулке происходили совещания земцев-конституционалистов.

Торгово-промышленные круги старались поднять и объединить вокруг себя С. Т. Морозов и братья П. П. и В. П. Рябушинские, как я уже упоминал, рискнувшие открыто выявить свое оппозиционное настроение в ноябрьскую банкетную кампанию. Приглашаемые собирались вечерами за чайным столом, роскошно сервированным, поочередно то на Спиридоновке, то на Пречистенском бульваре, то на Воздвиженке. Днем, уже в более ограниченном составе, встречались в кабинете П. П. Рябушинского в его новом банке в стиле модерн на Биржевой площади. Надо сказать, что в многолюдных вечерних собраниях обсуждение, бывало, сползало с общих политических позиций к критике, и притом часто пристрастной и несправедливой, отдельных распоряжений фабричных инспекторов, санитарного надзора или земства. Выходило, что правительство и существующие порядки иногда приходилось защищать от неосновательных нападок, могущих только дискредитировать нападающих в глазах общества. Меня удивляло, что С. Т. Морозов, кажется, готовый к весьма решительным шагам, этими настроениями своей среды не очень-то смущался, по-видимому считая, что всякое недовольство и всякое раздражение, хотя бы и не основательное, все же льет воду на его мельницу. Он производил впечатление человека, решившего сделать прыжок и присматривающегося к тому, как взять разбег. Из двух намечавшихся и несомненно соперничавших лидеров Савва Тимофеевич, казалось мне, больше руководиться будет чувством, а Павел Павлович – рассудочным расчетом.

Большую работу проделали в ту зиму А. А. Мануйлов, М. Я. Герценштейн и Ф. Ф. Кокошкин по пропаганде в обществе необходимости аграрной реформы и политической целесообразности предоставления Польше автономии. На разных квартирах,

в разном составе слушателей они неоднократно выступали с докладами на эти особенно щекотливые темы. После докладов шли обыкновенно разъяснения по задаваемым вопросам и дебаты по возражениям.

У графини В. Н. Бобринской в Неопалимовском переулке открыто собиралась во множестве самая разнообразная зеленая молодежь. Говорились зажигательные речи. Выступал так называемый «Непобедимый» (Фундаминский), легендарный социалист-революционер, круживший голову особенно женской части своих слушателей. Здесь играл роль некоторую учитель, если не ошибаюсь, детей графини, а впоследствии один из деятелей Крестьянского союза Курнин. Не с кафедры, но все же совершенно открыто, он признавал, что без «красного петуха» дело не обойдется. Трудно сказать, чего хотела сама графиня, устраивая эти собрания.

В конце мая намечался объединенный съезд земских и городских деятелей, на котором должен был участвовать и брат Сережа. Он деятельно занимался подготовительными работами по его организации. Съезд этот собрался в Москве и ввиду происшедшей гибели эскадры Рожественского при Цусиме избрал депутацию к царю. Она была принята. Тогда князь С. Н. Трубецкой сказал царю речь, сделавшую его на несколько недель едва ли не самым популярным человеком в России[11].

Ранение брата Сережи

Лето 1905 года предвиделось хлопотливое. Предстояли всякие разъезды. По участию нашему в общественном движении ни Сережа, ни я, мы не хотели надолго отрываться от Москвы. Мы с Софией Яковлевной решили устроить детей на лето в близком от Москвы Костине вместо отдаленного Никольского. В начале мая мы перевезли их туда с бабушкой Софией Николаевной. Сережа, избранный в гласные Московской городской думы, был очень занят в городской думе. В мае подготовлялся съезд городских и земских деятелей, и Сережа несколько раз ездил в Петербург для переговоров с тамошними гласными. Вернувшись из своей последней поездки, он сказал мне, что в Москву из Парижа приехал доктор Валле, знакомый брата Федора, имевший к Федору денежную претензию. Валле желал с нами говорить. Было условлено, что я приму его 23 мая. Но по какому-то делу я был вызван на этот день в Петербург. Чтобы не затягивать приема, Сережа уведомил доктора Валле, что будет ждать его у себя на квартире

в условленное время – 3 часа дня 23 мая. Мой отъезд, однако, был отменен, я остался в Москве, и даже в 12 часов 30 минут 23-го мы с Софией Яковлевной завтракали у Сережи. Он был очень бодр и весел. Мы много говорили и почти не заметили, как приблизился час, назначенный доктору Валле. Сережа шутливо выпроводил нас со словами: «Глупо будет, если доктор Валле вообразит, что мы собрались всей семьей его принимать». София Яковлевна пошла к Скибневским. Я по делу отправился в Общество взаимного кредита, а оттуда в контору.

Около 4 часов меня в конторе вызвали к телефону. Швейцар дома Ленгольд, в котором мы жили, звал немедленно приехать «с Сергеем Васильевичем очень неблагополучно». Разумеется, я кинулся со всею возможной поспешностью. Швейцар Петр, будто поджидая меня, стоял у подъезда. Пока я вбегал по лестнице вверх, двери в квартирах приотворялись на щелочку, и на меня выглядывали испуганные лица. Сережина квартира была в самом верхнем этаже. Дверь в нее была настежь открыта. Сережу я нашел распростертым на полу столовой, в луже крови, с изрезанными пальцами рук и несколькими револьверными ранами в голову. «Доктора, доктора!» – твердил он. Но растерявшиеся кухарка и швейцар доктора еще не вызывали. С чужого телефона я сейчас же пригласил хирурга С. М. Руднева, имевшего поблизости хирургическую лечебницу в Серебряном переулке. Через полчаса мы с С. М. Рудневым в карете медицинской помощи везли Сережу в Серебряный переулок, принимая все предосторожности, чтобы избежать тряски...

Перед тем как покинуть Сережину квартиру, я заглянул в соседнюю со столовой комнату – Сережин кабинет, где, как мне сказали, находился «убийца». На полу лежал бездыханный труп доктора Валле. Разъяснений не требовалось. Получив от Сережи подтверждение того, что ему давно было известно, что брат Федор разорен окончательно, доктор, раздосадованный потерей за Федей своих денег, набросился на не повинного ни в чем Сережу. Совершив непоправимое, он покончил с собой, приняв яду и выстрелив себе в висок.

Как я впоследствии узнал, доктор Валле по приезде в Москву посетил профессора-психиатра доктора Н. Н. Баженова и известных адвокатов В. А. Маклакова и О. Б. Гольдовского и советовался с ними. На всех их, как они потом говорили, он произвел впечатление маньяка. Однако никому из них не пришло в голову предупредить Сережу о состоянии доктора Валле, несмотря на то, что как раз в эти дни они неоднократно, иногда даже по несколь-

ку раз в день, встречались с Сережей по случаю предстоявшего съезда земских и городских деятелей. Убийство с последующим самоубийством было тщательно подготовлено доктором Валле. Был ли этот план им самим задуман или инспирирован маньяку кем-либо из других парижских кредиторов Федора Васильевича? Они ведь могли ожидать себе определенных выгод от этого злодейства: в случае смерти Сережи часть его состояния, не будь завещания, по наследству перешла бы к брату Федору, т. е. была бы разверстана между его кредиторами. Это обстоятельство Сережа сразу учел, несмотря на поразившие его раны.

В лечебнице Сережу отнесли прямо в операционную. Оказав пострадавшему неотложную помощь, С. М. Руднев шепнул мне: «Трещина в основании черепа. Опасность очень большая. Он хочет составить завещание. Не откладывайте ни на минуту исполнения его желания. Он очень волнуется». По телефону я вызвал нашего юрисконсульта А. В. Шилова с нотариусом В. А. Лебедевым, которые, выслушав распоряжения Сережи, немедленно составили завещание. Затем В. А. Лебедев, бледный как полотно, с трясущимися руками, дрожащим голосом прочел Сереже текст завещания в присутствии А. В. Шилова и приглашенных свидетелей.

Сережу также беспокоили находившиеся у него на квартире конспиративные бумаги «Союза Освобождения». Прибывшая от Скибневских София Яковлевна, наклонившись к больному, получила его указания и поспешила в Гагаринский переулок. Она застала на квартире Сережи пристава за составлением протокола. Ей удалось все же вынести из квартиры указанные Сережей документы.

По моей просьбе София Яковлевна съездила уведомить о случившемся Екатерину Алексеевну Бальмонт. Я послал телеграммы Кате, Нине и Николаю Васильевичу. Наступила ночь. Опасаясь ежеминутно катастрофы, мы с Софией Яковлевной просидели в лечебнице до утра на ступенях большой парадной лестницы. Из палаты доносились стоны и хрип больного. Он часто бредил.

Весть о происшедшем в тот же день обежала весь город. На следующее утро были сообщения в газетах. Друзья и знакомые по телефону и лично справлялись о положении раненого. Оно оставалось опасным. Только через неделю уже по приезде в Москву сестер и Николая Васильевича приступил С. М. Руднев к операции извлечения пуль. Одна, застрявшая у позвоночника, была вынута под кокаином. Чтобы вынуть застрявшую в задней части

черепа, пришлось оперировать под хлороформом. Во время этой операции обнаружилось присутствие гноя в ране, и С. М. Руднев удалил часть сосцевидного отростка. После операции сначала казалось, что состояние раненого значительно улучшилось. Однако через три недели температура вновь поднялась. Где-то продолжался гнойный процесс. Встал вопрос о новой операции. По совету М. И. Берлинерблау мы по телеграфу вызвали из Берлина профессора Краузе, который в то время стал известен своими необычайно смелыми и удачными операциями мозга и черепа. Сделанная им операция, казалось, опять принесла пользу, но через несколько недель снова поднялась температура. Мы вторично пригласили профессора Краузе. Моя телеграмма не застала его дома в Берлине, но нагнала его на автомобильной экскурсии на юге Франции. Он немедленно прервал свое путешествие и, сдав автомобиль шоферу, экспрессом приехал в Москву. Сделав новую (третью операцию черепа) и предвидя возможность новых осложнений и возобновления гнойного процесса в костях черепа, профессор Краузе посоветовал перевезти Сережу в Берлин, где Сережа мог бы быть под постоянным его наблюдением. Так мы и сделали, и в конце августа Николай Васильевич в сопровождении доктора И. А. Машина перевез Сережу в Берлин. Туда же поехали Катя с Ниной. Я остался в России руководить делами.

В промежутках между описанными операции в Москве Сережа держал себя удивительно бодро, возбуждая своим мужеством и присутствием духа общее восхищение. Он охотно принимал в своей палате многочисленных посещавших его друзей и знакомых. Кроме родных и Николая Васильевича, постоянно дежуривших у его постели, раненого ежедневно с трогательным постоянством навещал В. Е. Якушкин. Часто бывали М. Я. Герценштейн, Н. Н. Щепкин, Н. Н. Львов, Д. И. Шаховской, В. И. Вернадский, С. Н. Трубецкой, И. И. Петрункевич, познакомившиеся с Сережей по «Союзу Освобождения», земским съездам и Городской думе. Они подробно осведомляли его о ходе общественной и политической жизни. Постоянно забегали товарищи – С. П. Ордынский, С. А. Котляревский, М. Г. Лунц. У постели раненого при его живейшем участии происходили совещания об учреждении Университета Шанявского, о чем я расскажу ниже особо.

З. М. Машина

В лечебнице Руднева Сережа был на попечении фельдшерицы Зои Михайловны Машиной. Мы с ней были знакомы по костинской больнице, где она до того служила фельдшерицей. Маленькая, бледнолицая брюнетка, деятельная и мягкая, при чрезвычайно добросовестном исполнении своих сложных и хлопотливых обязанностей всегда находившая силы и время на общественные и умственные интересы, она оставила по себе в Костине самую лучшую память. После тяжелой операции в женской сфере, которой ей пришлось подвергнуться, она окружена была всеобщим вниманием, что, в свою очередь, делало общение с ней каким-то особенно ласковым. После ухода ее из Костина я ее совсем было потерял из виду, и, встретив ее теперь в рудневской больнице, я был очень доволен, что Сережа попадает в такие надежные руки.

Когда решено было перевезти Сережу в Берлин, к профессору Краузе, и надо было пригласить врача, который бы его туда проводил, мы обратились к мужу Зои Михайловны – молодому хирургу Иосифу Александровичу Машину. Он не бывал за границей. Побывать и поработать с профессором Краузе ему, конечно, было очень интересно. Он очень охотно поэтому отправился с Сережей в сопровождении Николая Васильевича. По прибытии в Берлин Николай Васильевич телеграфировал мне, что Сережа хорошо перенес дорогу и помещен в Вестсанаториум в Берлине.

Вскоре затем пришла телеграмма, что заболел Иосиф Александрович. А вслед за ней срочная телеграмма сообщала о его кончине. Как потом выяснилось, Иосиф Алексанрович отравился в Берлине, поев консервов. Софии Яковлевне пришлось принять на себя тяжелую миссию сообщить эту потрясающую весть Зое Михайловне. Чтобы поспеть на похороны, Зоя Михайловна решила тотчас же ехать в Берлин. С трудом уговорил я чиновника в канцелярии генерал-губернатора выдать Зое Михайловне заграничный паспорт, минуя обычные формальности. «По-вашему, мы ведь бездушные формалисты и сухие бюрократы, не правда ли?» – иронизировал чиновник, заполняя для Зои Михайловны заранее на такой пожарный случай снабженный надлежащими подписями и печатью паспортный бланк.

Свое горе Зоя Михайловна несла мужественно, возбуждая общее к себе сочувствие. Но потрясение было громадное. С этих пор она как будто стала искать рискованного в жизни. Через некоторое время она оказалась привлеченной к следствию по делу пропаганды в войсках. Софии Яковлевне удалось выхлопотать у

следователей Вольтановского и Руднева отдачу ей Зои Михайловны на поруки со внесением денежного залога в 5000 рублей золотом. Когда это было достигнуто, друзья раздобыли для Зои Михайловны заграничный паспорт, сфабрикованный на этот раз в Витебске на имя Младовой, и мы общими усилиями уговорили Зою Михайловну бежать за границу, где она стала изучать медицину и сделалась врачом.

Много лет спустя, уже во время великой войны, мне привелось неожиданно встретиться с Зоей Михайловной в молодечинских бараках для раненых. Мы были окружены чужими и могли только поздороваться, не сказав друг другу, что привело каждого из нас в этот лагерь страданий и смерти... Любя друг друга, были ли мы на фронте своими или чужими? Зоя Михайловна вскоре погибла в Молодечне при разрыве бомбы, сброшенной с аэроплана. На теле не было ранений, и предполагают, что смерть произошла от разрыва сердца. Она погребена в Москве на Братском кладбище под фамилией Младовой.

Зарождение Университета Шанявского

В описываемое мною лето 1905 года жизнь приняла трагический оборот и у Шанявских. Альфонс Леонович уже давно серьезно страдал аневризмом аорты. Постепенно от ее пульсаций произошло прободение грудной клетки, и аорта выпятилась наружу. Продолжать с этим жить можно было только с соблюдением величайших предосторожностей. Малейшего кашля, случайного усилия или быстрого движения, волнения или испуга было бы достаточно, чтобы произошел разрыв аорты и мгновенная смерть. Лидия Алексеевна окружила страдальца всем тем уходом, какой только могли предписать врачи. Никто к Альфонсу Леоновичу не входил, кроме самой Лидии Алексеевны и чтицы Эмилии Робертовны Лауперт, из преданности к больному сочетавшей свою работу чтицы с обязанностями сиделки. Звонок у парадного был снят. Мостовая перед домом устлана соломой, чтобы смягчить грохот проезжающих экипажей. Приходящие по делам принимались Лидией Алексеевной, которая в случае необходимости излагала затем Альфонсу Леоновичу дела, требовавшие его решения, выбрав для этого время и с соответствующим подходом и приготовлением.

Живя такими отшельниками в постоянном присутствии подстерегавшей Альфонса Леоновича смерти, супруги решили использовать последнее оставшееся у них время для своих пред-

смертных распоряжений. Пригласив меня к себе, Лидия Алексеевна сообщила мне, что по соглашению с ней Альфонс Леонович хочет отдать все свое состояние на устройство в Москве вольного университета. Высшее образование, пояснила она, в России для женщин получило признание. Теперь надо добиваться не особых высших учебных заведений специально для женщин, а права женщин поступать в высшие учебные заведения наравне с мужчинами. Таким образом, поборники женского высшего образования, всю жизнь за него ратовавшие, совершенно последовательно, в сознании достигнутых успехов, ставили движению новые задачи. Их новый университет должен быть открыт для лиц обоего пола. Он должен быть открыт для всех желающих и могущих воспринять высшее образование, независимо от прохождения средней школы, от наличия диплома, от знания, наконец, пресловутых классических языков.

Лидия Алексеевна просила меня совместно с Владимиром Карловичем Ротом обдумать и разработать пути к скорейшему осуществлению этого дела. Я тут же подал мысль, что в создавшихся условиях лучше всего опереться на какое-нибудь уже существующее учреждение и принести ему дарение на определенных условиях, с тем чтобы оно уже выхлопотало у правительства разрешение и организовало университет. Мне казалось самым подходящим для Альфонса Леоновича передать немедленно ассигнованные им на университет средства Московской городской думе. В то время она стояла впереди в общественном движении. В каком бы направлении ни обернулась в дальнейшем политика, можно было ждать, что во главе Московской городской общественной управы окажутся люди, сочувствующие просвещению, привыкшие управлять большими предприятиями, любящие свой город и оберегающие его достоинство. Я просил разрешения обсудить дело с братом Сережей, Н. В. Сперанским и находившимся в то время за границей А. И. Чупровым. В горячем сочувствии его новому начинанию я не сомневался. Его привлечение должно было, казалось мне, содействовать успешному осуществлению замысла Шанявских, по тому времени поистине грандиозного.

Одобрив мои соображения, Лидия Алексеевна просила меня написать также М. М. Ковалевскому, в те годы устроившему в Париже с большим успехом Русскую высшую школу[12].

Перейдя затем с Новинского бульвара в Серебряный переулок, я рассказал Сереже и неотлучно при нем находившемуся Н. В. Сперанскому про предложения Шанявских. Они были встречены с величайшим сочувствием. Началось обстоятельное обсужде-

ние дела со всех сторон. Николай Васильевич в тот же день подробно написал за границу А. И. Чупрову и М. М. Ковалевскому. Соглашаясь с моими соображениями об обращении в Московскую городскую думу, Сережа взялся выяснить отношение к проекту влиятельных гласных. Он совместно с Владимиром Карловичем Ротом вступил в переговоры с навещавшими Сережу в больнице гласными С. А. Муромцевым, М. Я. Герценштейном, Н. Н. Щепкиным. Так у постели двух обреченных страдальцев любовно и деловито стала разрабатываться постановка просветительного предприятия, которое должно было осуществиться уже после них, но правильному направлению которого они оба отдавали все свои умственные силы. Я был связующим звеном, участвуя в обсуждении дела как на Новинском бульваре с самими Шанявскими, так и в Серебряном переулке с их советниками.

Ответы А. И. Чупрова и М. М. Ковалевского не заставили себя долго ждать. М. М. Ковалевский предлагал создать не университет, а Высшую школу общественных наук. Развивая в письме к Александру Ивановичу свои доводы в пользу такого решения, он вместе с ними выдвигал и соображения материального свойства. Преподавание общественных наук не требует дорогостоящих лабораторий, без которых нельзя сколько-нибудь серьезно поставить занятия по естествознанию. Однако Шанявские, как истинные шестидесятники, именно естественные науки ставили в основу своего плана. Да и мы, их сотрудники, признавая всю справедливость соображений М. М. Ковалевского и оценивая всю громадную потребность в школе общественных наук, особенно при ожидавшемся введении у нас народного представительства, все же решительно стояли за основательную, в первую очередь, постановку естественных наук. Мы были притом совершенно уверены, что правительство к высшей школе общественных наук отнесется с сугубой подозрительностью и ни в коем случае ее не разрешит. Ко времени отъезда Сережи и Николая Васильевича в Берлин основные черты задуманного Шанявскими университета и план действий к его осуществлению были намечены.

В августе приехал в Москву М. М. Ковалевский. После всестороннего обсуждения с ним предположений Альфонса Леоновича Лидия Алексеевна просила меня устроить совещание из руководящих гласных Московской городской думы и некоторых общественных деятелей, с тем чтобы затем уже обратиться в Московскую городскую думу с официальным заявлением о пожертвовании на устройство университета. Это совещание состоялось у меня на квартире в доме Ленгольда по Гагаринскому

переулку. В нем приняли участие гласные Думы: В. К. Рот, С. А. Муромцев, Н. М. Перепелкин, Н. И. Гучков, Н. Н. Щепкин, и М. Я. Герценштейн, а из прочих общественных деятелей М. М. Ковалевский, кн. С. Н. Трубецкой, В. Е. Якушкин, Н. В. Сперанский и я. Лидия Алексеевна приехала заблаговременно. Она страдала глазами и не могла сидеть за общим столом при ярком электрическом освещении. Я устроил ее в соседнем моем кабинете, в котором зажег лишь две свечки под зеленым матерчатым абажуром. Гости по мере прибытия заходили к ней в полутемный кабинет поздороваться и переговорить лично об интересующем ее деле и затем размещались в большой комнате за столом, покрытым оливковым сукном, специально купленным по настоящему случаю Софией Яковлевной. На столе в вазочках были разложены фрукты, печенье, конфеты. Когда все оказались в сборе и разместились вокруг стола, Аксюша, наша горничная, разнесла чай. Беседу открыл В. К. Рот, доложивший по просьбе Лидии Алексеевны предположения Альфонса Леоновича. Обсуждение проходило, в общем, в самых сочувственных новому начинанию тонах. Наибольшее затруднение вызывал выдвинутый, помнится мне, Н. М. Перепелкиным вопрос о взаимоотношениях между университетом и городом. Живая и впечатлительная Лидия Алексеевна не утерпела, покинула свое уединение и неожиданно очутилась среди нас, чтобы вставить свои соображения по затронутому вопросу. Впрочем, в общем, предположения Шанявских были приняты и поддержаны всеми собравшимися. Городской голова кн. Владимир Михайлович Голицын не был на совещании, но В. К. Рот переговорил с ним по просьбе Лидии Алексеевны отдельно и заручился полным его сочувствием делу вольного университета.

Можно было давать делу официальный ход!

15 сентября Альфонс Леонович подписал заявление в Московскую городскую думу с просьбой принять от него «для почина» в дар дом на Арбате «для устройства и содержания в нем или из доходов с него Народного университета». Университет в заявлении назван «народным» по тактическим соображениям, так как боялись словом «вольный» затруднить его разрешение. В отправленном одновременно письме к министру народного просвещения генералу В. Г. Глазову, бывшему товарищу по Академии Генерального Штаба, Альфонс Леонович, прося о поддержке его начинанию, прямо называет проектируемый им университет «вольным». Заявление Альфонса Леоновича, как тогда было принято, было отпечатано для раздачи гласным. У меня сохранился не только печатный экземпляр, но и первоначальный, собствен-

ной рукой Альфонса Леоновича писанный текст и переписанный на машинке экземпляр с многочисленными моими и Н. В. Сперанского редакционными изменениями.

Итак, делу был дан официальный ход. После 15.IX.05 оно двинулось все ускоряющимися темпами: 20.IX.05 городская дума передала заявление Альфонса Леоновича на заключение в комиссию. 25.X.05 городская дума по докладу комиссии принимает пожертвование и благодарит жертвователя. 26.X.05 Альфонс Леонович составляет духовное завещание, которым все свое имущество завещает в пожизненное пользование Лидии Алексеевне, после смерти которой оно имеет поступить на усиление средств университета. 3.XI.05 градоначальник извещает о неимении препятствий к принятию городом пожертвования. 5.XI.05 Альфонс Леонович выдает Лидии Алексеевне доверенность на заключение от его имени дарственной в пользу Думы на жертвуемый им городу дом. 7.XI.05 эта дарственная совершается утром приглашенным на квартиру нотариусом, а вечером Альфонса Леоновича не стало: он скончался от кровоизлияния из больной груди. Альфонс Леонович умер, сделав решительно все от него зависевшее, чтобы обеспечить осуществление задуманного им вольного университета. Умирая, он знал, что начинание его вверено в надежные, опытные, твердые руки Лидии Алексеевны. Дальше я отмечу ее исключительную роль в проведении устава университета к благополучному утверждению.

Земское собрание в Судже

Как я уже рассказал, в конце августа Сережу увезли в Берлин. Простившись с ним и навестив детей в Костине, я поспешил в Суджу на земское собрание и оттуда в Любимовку к началу производства. Это земское собрание вспоминается мне по тому впечатлению, которое произвело полученное известие о скоропостижной смерти ректора Московского университета Сергея Николаевича Трубецкого в Петербурге, чуть ли не на приеме у министра (24.IX.05.). Заседание было прервано. Послали за священником, чтобы отслужил панихиду. В ожидании его прихода гласные расхаживали по залу и соседним помещениям. Составляли соболезнующую телеграмму семье. Двое гласных от крестьян, отведя меня в сторону, доверительно высказали мне свои подозрения, что ректора в Петербурге отравили. Не желая, чтобы наша беседа была замечена присутствовавшим в зале в качестве гласного земским начальником (В. А. Раппом), они сейчас же

отошли от меня прочь. Я едва успел высказать им, что их подозрения совершенно невероятны. Ведь тогда мы еще не знали политических убийств справа. Герценштейн, Иоллос, Караваев еще жили среди нас...

Из Суджи я лошадьми переехал в Любимовку. Еще с весны в мастерских был сокращен рабочий день, и теперь производство на заводе шло в три смены (по 8 часов в каждой). Насколько знаю, мы были первыми, введшими восьмичасовой рабочий день в песочносахарном производстве. Той же осенью восьмичасовой рабочий день был впервые установлен на Даниловском сахарорафинадном заводе директором завода Н. Н. Рашевским. На большинстве сахаропесочных заводов еще ряд лет держался двенадцатичасовой рабочий день. Там, где применялась сдельщина, введение восьмичасового рабочего дня нередко сопровождалось трениями, вследствие происходившего при этом сокращения размера дневного заработка. У нас это не имело места, и производство в три смены сразу пошло на лад. Произошло при этом изменение в составе работающих на смене. Местные крестьяне при сокращенной смене нашли возможным идти на производство, не запуская своих крестьянских работ. Поэтому, несмотря на возросший набор рабочих на производство, он полностью был покрыт крестьянами ближайших деревень, чего раньше никогда не бывало. Соседние с заводом деревни пытались даже установить за собой как бы монополию на получение заводской работы. Дальних брать не потребовалось, и освободились занимавшиеся ими в прежние годы казармы. Это дало возможность часть казарм отвести под расширение школьных помещений и под вечерние курсы для рабочих.

Октябрь 1905 года

В октябре 1905 года вся Россия была охвачена забастовкой, той исторической, небывалой, политической, всеобщей забастовкой, вынудившей Николая II издать 17 октября манифест о созыве народного представительства и призвать к власти С. Ю. Витте[13].

Само собой разумеется, Любимовский завод принимал участие в общем движении. Одновременно в округе завода крестьяне стали громить помещиков. Одна за другой преданы были пламени усадьбы и экономии Жекулиных, Мальцева, Кологривовых, Рейнфельд. В продолжение недели завод был окружен заревами пожаров. Тяжело было положение служащих и постоянных мастеровых и рабочих завода, оказавшихся как бы на острове среди

моря разбушевавшегося крестьянства. Они участвовали во всеобщей забастовке по политическим побуждениям, сочувствуя освободительному движению, но они никак не могли одобрить погромы, производимые крестьянами. Притом, погромы эти легко могли обрушиться и на самый завод, и на их квартиры на заводе. Некоторые увезли жен и детей в Курск, но большинство не могло этого сделать. Что пережил за время погромов наш директор А. И. Николаев, того он, конечно, никогда не забудет.

В октябре в Москве состоялся учредительный съезд Конституционно-демократической партии, или партии Народной свободы, как она тоже назвала себя, или К-Д партии, попросту «кадетов», как стали звать ее членов сначала в насмешку, потом всерьез. Съезд образовался из представителей от земцев-конституционалистов и от членов «Союза Освобождения». Я участвовал в числе учредителей (их было, кажется, 30) от «Союза Освобождения». На съезде я был выбран в ЦК К-Д партии, членом какового пробыл до самороспуска партии в 1918 году.

Первые впечатления

О манифесте 17 октября в Москве узнали в тот же день поздно вечером. Я находился на учредительном собрании Конституционно-демократической партии в белом зале дома братьев Долгоруковых, ныне занятого Институтом Маркса и Энгельса (в Антипьевском переулке). Заседание уже кончалось, и значительная часть членов уже разошлась. Тем не менее престарелый Митрофан Павлович Щепкин сказал на радостях слово на тему «ныне отпущаеши...». Это было несколько театрально, но наступала эра массовых движений, при которых некоторые жесты уместны и даже необходимы. Прочувствованное слово, сказанное стариком в полутемной зале (вследствие забастовки электричество не действовало), было притом задушевно и искренно. Расходиться по домам было невозможно. Решили идти в Литературно-художественный кружок[14] (на Дмитровке). На улицах было темно и пустынно. Костры на некоторых перекрестках и гревшиеся около них солдаты. Редкие прохожие. Никто, очевидно, еще не знает про манифест. Я решил на пути в Литературно-художественный кружок забежать домой поделиться радостью с Софией Яковлевной. Подходя к дому Ленгольда по пустынному и темному Гагаринскому переулку, я заметил робко пробиравшуюся мне навстречу женщину. Мое приближение произвело в ней замешательство, но повернуть было некуда, и ей уклониться от встречи со мной не было возмож-

ности. Когда мы поравнялись, я громко сказал ей про манифест. Она схватилась за голову. Крикнула «спасибо» и побежала, уже безо всякой робости, громко стуча каблуками по панели, «сказать мужу».

Несмотря на позднее время, темень на улицах и полное отсутствие всяких средств передвижения, в Литературно-художественный кружок собралось много народу. Говорили речи. Остроумный разбор манифеста сделал Винавер. Два члена стачечного комитета явились объявить, что постановлено прекратить забастовку. Один из них при этом снял с себя револьвер и символически положил его на стол.

Револьвер у М. Л. Мандельштама

Это было, конечно, увлечение... Не могу теперь восстановить, в тот ли вечер или в один из следующих, М. Л. Мандельштам (известный юрист, защитник Каляева, член КДП), думая, что у меня имеется револьвер, просил меня одолжить ему его на один день. «Не для нападения?» – спросил я. Михаил Львович поручился, что только для самообороны. Я дал ему тот самый револьвер (единственный мой), который по настоянию брата Сережи я возил с собой по Сибири, из отвращения к этим вещам ни разу не вынув его из чемодана, и который затем лежал у Сережи заряженный на столе в злополучный день 23 мая, не принеся ему никакой тогда пользы. Через несколько дней М. Л. Мандельштам сообщил мне, что револьвер этот был им передан Бауману, отправлявшемуся во главе группы манифестантов освобождать заключенных из Бутырской тюрьмы. Известно, что Бауман был убит тогда на пути к тюрьме человеком, вооруженным ломом... Что сталось с моим револьвером, я так и не знаю... Похороны Баумана вылились во внушительную демонстрацию, в конце чуть не поведшую к кровопролитию между казаками, стоявшими в Манеже, и демонстрантами, возвращавшимися с кладбища.

Опасения погромов

В ответ на красную демонстрацию черные проявляли со своей стороны злобное раздражение. Говорили, что с Каменного моста толпа сбросила в реку студента – «социалиста». По домам разбрасывали погромные листки. На дверях частных квартир какие-то личности, по-видимому, загримированные, ставили мелом непонятные никому знаки. Черносотенные газетки, которые

тогда появились, недвусмысленно призывали к действиям. Евреи стали опасаться еврейского погрома, дела в Москве небывалого.

Узнав о тревожном настроении супругов Энгель (муж был музыкальным критиком в «Русских ведомостях»), София Яковлевна пригласила их с детьми и М. Я. Лунца временно перебраться к нам на квартиру. И вот придя как-то вечером домой, я нашел на диванах и на сложенных вместе креслах импровизированные постели, в которых мирно спали детишки Энгель. Но у родителей на душе не было покоя. Когда я в парадной внизу проходил мимо швейцара Петра, обычно приветливого и веселого, как и полагается швейцарам, он меня угрюмо спросил, много ли у нас будет спать лишнего народа. Было ясно, что прибытие Энгель им замечено. М. Я. Лунц, часто запросто бывавший у нас и у Сережи, тоже заметил какую-то перемену в швейцаре. Решив не перегружать нашу квартиру, мужчины – Энгель и Лунц поздно вечером ушли от нас в «Русские ведомости», оставив у нас только мадам Энгель с детьми.

Ноябрьская поездка в Берлин

В ноябре я получил от Николая Васильевича известие, что Краузе находит нужным сделать Сереже новую операцию, в высшей степени серьезную, и что профессор желал бы, чтобы я приехал в Берлин, если это возможно. Смысл этого сообщения был слишком ясен. Я попросил Софию Яковлевну съездить к одному осведомленному человеку (из Союза союзов) и выяснить, насколько, конечно, окажется возможным, какие представляются шансы беспрепятственно съездить на несколько дней в Берлин и вернуться обратно, не застряв в дороге. Дружественный ответ гласил коротко: «Поезжайте, но не засиживайтесь». Мы тотчас же выехали, оставив детей на попечение бабушки.

В Берлине мы сошли с поезда в Шарлотенбурге и пешком прошли прямо в Вестсанаториум. Сережу я нашел мужественно, по-прежнему, переносящим свои невзгоды и готовым на операцию, серьезность которой он хорошо оценивал. Кроме Николая Васильевича Сперанского и Ольги Александровны, в Берлине мы нашли Катю с Ниной и Екатерину Алексеевну Бальмонт. Я, конечно, все время проводил с братом.

Я ближе присмотрелся к Краузе в эту и предыдущую свою поездку в Берлин и еще больше стал его уважать. Он работал много, очень много. Операции начинались в 7 утра. В день их бывало несколько. Притом в большинстве случаев это бывали операции

исключительной трудности и большой ответственности. Часто такие, какие он один только и решался предпринимать. Пациенты стекались к нему со всех концов Старого и Нового Света. Но ни о чрезмерном своем обременении, ни об усталости и даже переутомлении (о чем у нас так часто говорили люди гораздо менее занятые) не было слышно в Берлине. Слово «некогда» не произносилось. Когда являлась надобность, то у Краузе всегда находилось время. Без суеты и лотошливости* назначался день и час, но нужно было быть аккуратным, ибо время было размерено по минутам. Громадная работа, требовавшая большого нервного напряжения, не мешала ему заниматься автомобильным спортом, собирать у себя еженедельно вечером знакомых, музицировать с такими же как он любителями, исполняя партию виолончели, читать вновь выходящие книги даже не по своей специальности. Так, тогда выходили мемуары Бисмарка, впечатлениями от которых он охотно делился. К удовольствиям стола он был совершенно равнодушен.

Мы съездили с Софией Яковлевной на могилу И. А. Машина. Был влажный осенний день. Большое светлое облако загородило собой часть неба. Какая-то громадная круглая кирпичная постройка без окон придавала всей равнине своеобразный фантастический вид. Среди обширного картофельного поля небольшое обсаженное деревьями русское кладбище виднелось издалека. Все кругом прибрано, расчетливо устроено, так по-немецки. На кладбище мы нашли несколько могил знакомых фамилий. Как знать, при постоянстве и любви немцев к порядку памятник И. А. Машина и теперь, быть может, стоит на его могиле... В течение этой поездки в моем воображении постоянно возникала картина нового траурного шествия, в случае дурного оборота новой операции. Я гнал эти призраки от себя, но они властно все снова и снова вставали передо мной.

В этот, а быть может, в предыдущий приезд мой в Берлин, посетили мы с Николаем Васильевичем Иоллоса. Когда мы в первый раз приглашали Краузе в Москву, я, желая гарантировать его согласие на приезд, и притом приезд безотлагательный, просил директора Московского купеческого банка А. Д. Шлезингера срочной депешей поручить берлинскому представителю банка лично подтвердить и поддержать наше приглашение. О том же телеграфировали «Русские ведомости» своему корреспонденту Иоллосу. Попав в Берлин, надо было сделать ему визит и поблагодарить за оказанное содействие. С большим интересом провели мы вечер у

* Лотошливость – торопливость.

Иоллоса. Его корреспонденции «из зала рейхстага» в свое время читались с большим вниманием и, конечно, много содействовали распространению в русском обществе идей конституционных. Но в данную минуту не Берлин, а Москва и Россия привлекали к себе внимание. Мне пришлось самому больше рассказывать, чем слушать. Помню, как многое Иоллосу казалось странным и непостижимым. Когда он затем переехал в Москву и на некоторое время занял место редактора «Русских ведомостей», мне опять иногда казалось, что этот опытный и талантливый журналист как-то чувствует себя чуждым тому, что у нас творится.

Операция Сережи прошла благополучно. Но результаты ее могли выясниться лишь через некоторое время. Нельзя было в благоустроенном Берлине забывать совет, данный в неустроенном нашем отечестве: «Не засиживайтесь!» Немецкие газеты сообщали мало утешительного о повсеместных у нас волнениях. Надо было спешить домой. Обратную дорогу мы сделали втроем: София Яковлевна, Екатерина Алексеевна Бальмонт и я.

1906 год

После 1905 года, насыщенного катастрофическими событиями личного и общественного характера, следующий 1906 год должен казаться относительно спокойным. Таким сравнительно он и был, объективно говоря. Субъективно же, он мне дался очень нелегко. Прежде всего тяжелым камнем на сердце лежало прошлогоднее ранение Сережи. Д-р Краузе сделал, что мог, и, находя дальнейшее пребывание Сережи в хирургической лечебнице излишним, посоветовал ему в феврале переехать на Ривьеру, лето провести в Германии (в Бадене), а затем осенью вернуться в Россию. В январе мы с Софией Яковлевной ездили в Берлин повидаться с Сережей перед его отъездом в Канн. Этой поездкой София Яковлевна воспользовалась, чтобы навестить сестру свою Людмилу в Штетине, для чего она несколько задержалась за границей, тогда как я поспешил, проведя с Сережей несколько дней, вернуться в Москву.

Весной мы с Софией Яковлевной, приготовляясь к возвращению Сережи в Москву, подыскали новые квартиры для него и для себя так, чтобы Сережа попал в Москве в совершенно новую обстановку, не напоминающую кошмарное нападение на него д-ра Валле. Мы остановились на двух смежных квартирах в третьем этаже дома Коробкова по Тверскому бульвару, № 6. Они снимались до того д-ром Млодзеевским (братом известного профессора

математики) и были им соединены внутренним ходом. Впоследствии в полуподвальном этаже этого же дома мы сняли помещение для конторы книгоиздательства, а в бельэтаже – помещение для конторы завода. Под книжный склад удалось снять обширное помещение, специально приспособленное под книжный склад предыдущим арендатором Скирмутом (издателем и владельцем книжного магазина «Труд») в Калашном переулке. В поисках квартир мы пересмотрели большое количество домов: обширный, но несколько мрачный особняк на М. Дмитровке с очень большим, густо разросшимся, запущенным не садом, а целым парком с вековыми деревьями; знаменитый по своей стильной красоте Леонтьевский особняк в Гранатном переулке, чуть было впоследствии не погибший от руки кооперативного домостроительного товарищества, желавшего возвести на его месте кооперативный дом, а теперь, снаружи по крайней мере, восстановленный во всей своей красе, с двумя осокорями на фасаде, Палатой мер и весов; хороший и удобный флигель в саду дома Гагариных на Новинском бульваре, отделанный прежним жильцом графом Белевским; домик Иваненковой в Георгиевском переулке; да всех осмотренных квартир и не перечтешь! Их был большой выбор.

Выборы в Первую Государственную Думу

В начале 1906 года происходили выборы в Первую Государственную Думу по довольно сложной куриальной и двухстепенной системе[15], далекой от требовавшейся тогда всеми оппозиционными партиями «четыреххвостки»: «всеобщей, прямой, равной и тайной». Я принял участие в выборах по двум уездам: Суджанскому Курской губернии и Покровскому Владимирской губернии. Последним я был избран в выборщики, и в этом качестве я участвовал в избирательном собрании во Владимире. К сожалению, у меня не сохранились в памяти выступления и речи на предвыборных собраниях. Вообще выборы проходили с большим оживлением, невзирая на бойкот выборов со стороны социал-демократов. В Покрове я тогда впервые познакомился с молодым инженером Н. Н. Вознесенским, активным деятелем местной кадетской группы, выставившей его кандидатуру в выборщики. Там же впервые познакомился с А. А. Федотовым. Представитель одной из значительнейших в России фирм, не будучи выдвинут никем в выборщики, он, видимо, чувствовал себя этим сильно задетым, но держал себя очень тактично, ничем не проявляя того чувства неловкости, которое, несомненно, испытывал. В члены Думы во

Владимире избраны были: член суда К. К. Черносвитов, профессор Алексинский (хирург), Демидов (фабрикант), Егоров (инженер). Меня очень побуждали баллотироваться. Кандидатуру мою выдвигал и ЦК. Особенно настойчиво уговаривал меня баллотироваться В. Е. Якушкин. Однако в сложившихся семейных обстоятельствах я чувствовал, что едва-едва справляюсь с делами, на мне лежавшими, и я решительно отказался от баллотировки.

Во время выборов в I Государственную Думу по Курской губернии пришлось мне еще раз столкнуться с И. Н. Толмачевым. В день выборов выборщиков в Судже, подъехав к дому, где они должны были состояться, я прочел на двери, что выборное собрание перенесено в другое помещение. Я поспешил туда и принял участие в выборах. К ним уже было приступлено, когда в помещение вошел опоздавший И. Н. Толмачев. Председатель Юрьевич, кандидат правых, к которым принадлежал сам И. Н. Толмачев, досадуя на потерю одного голоса в свою пользу, все же соблюл законность и не допустил И. Н. Толмачева к участию в выборах, выразив при этом свое сожаление и сославшись на то, что в противном случае выборы могли бы быть опротестованы. Позеленев от злости, И. Н. Толмачев удалился. Выборы продолжились, и среди прочих выборщиков оказался избранным и сам председатель Юрьевич. П. Д. Долгоруков, к нашему общему сожалению, не мог баллотироваться, так как по какому-то недоразумению не был включен в списки избирателей. Это в свое время было опротестовано, и перед началом выборов с минуты на минуту ожидали телеграммы о восстановлении П. Д. Долгорукова в списках. Однако телеграмма так и не пришла.

После выборов мы собрались у П. Д. Долгорукова. Все мы досадовали на невключение его в списки, и по числу избирательных, полученных Юрьевичем, заключали, что, будь П. Д. Долгоруков допущен к баллотировке, избранным оказался бы он – кадет, а не правый Юрьевич. Мне блеснула мысль, что в случае опротестования по какому-либо поводу происшедших выборов, за время, необходимое для проведения вторичных, П. Д. Долгоруков был бы восстановлен в списках и был бы затем выбран. Поводом для протеста могла бы служить упомянутая мною перемена помещения выборного собрания. «Ведь вот опоздал же И. Н. Толмачев из-за этой перемены». В шутку я предложил кому-нибудь спровоцировать И. П. Толмачева на протест. А. В. Медведеву это так понравилось, что он сейчас же пошел в клуб играть на бильярде в надежде встретить там И. Н. Толмачева и подстрекнуть его на этот протест. Это было несообразно, потому что выборы, вслед-

ствие невнесения в списки П. Д. Долгорукова, прошли для правых лучше, нежели они могли рассчитывать, и новая баллотировка могла только лишить правых их успеха. Однако А. В. Медведев, вернувшись к нам через часок, сообщил, что, рассудку вопреки, И. Н. Толмачев уже пишет протест.

Выборы были отменены, а на новых был выбран, как и надо было предвидеть, Петр Дмитриевич Долгоруков.

По окончании повсеместно выборов в Петербурге состоялся съезд К-Д партии. Мы с Софией Яковлевной ездили на этот съезд, равно как и на следующее собрание, бывшее непосредственно перед самым открытием Думы.

От Думы тогда ждали многого, и день ее открытия[16] представлялся началом новой эры для России. В Москве, так же как и в Петербурге, в этот день стояла чудная погода. Мы с Софией Яковлевной, забрав детей, уехали на весь день в Петровский парк. Расположившись на траве около одной из башен Петровского дворца, чтобы закусить взятыми из дома бутербродами, я старался занять детей рассказами из русской истории, воображая про себя, что они, доживши зрелых лет, вспомнят этот великий день открытия русского парламента, ими в детстве так необычно проведенный. Теперь это вызывает улыбку, но ведь я хочу описывать как было и казалось, не уклоняясь от истины.

Дела любимовские

Осенью 1905 года, услыхав о погроме ряда наших плантаторов, А. Д. Шлезингер, директор Московского купеческого банка, сочувственно спросил меня, как мы обеспечим себя бураком. «Погромлены помещики, – отвечал я, – земля и рабочие руки остались; будем стараться получить бурак в прежнем количестве». Так стояла перед нами задача, но ее легче было формулировать, нежели разрешить в действительности.

На посев 1906 года пришлось заарендовать у потерпевших помещиков их корнеплодный клин, чтобы засеять и снять на нем свеклу средствами завода. Очевидно было, что для получения из этих имений бурака в будущем придется эти имения целиком взять в управление завода. Было ясно, что пострадавшие помещики не смогут, да и не захотят восстанавливать свои хозяйства, давно уже клонившиеся к упадку. Никакие правительственные ссуды здесь помочь не могли. С. И. Жекулин, человек с большим самолюбием и страстный, прямо говорил мне, что горечь нане-

сенной погромом обиды он никогда не забудет и что нога его в Белом Колодце никогда не ступит.

Настойчиво предлагали заводу свои имения в продажу погромленные помещики, и все складывалось так, что заводу приходилось взять эти имения за себя. Но тут возникали сомнения: не грозит ли заводским имениям та же участь? Правда, у нас в море окружающего разрушения заводские «экономии» не только уцелели, но даже как бы процветали. Но не является ли это случайностью? Ведь был же в прошлом году погромлен даже сахарный завод – Михайловский Хутор Терещенко. Притом, в случае покупки заводом погромленных имений не надо ли опасаться раздражения или даже мести со стороны крестьян, которые, конечно, питали надежду овладеть этими имениями?

Вскоре, однако, во время одного из очередных моих посещений завода в феврале 1906 года, крестьяне сами дали мне ответ на этот вопрос. Раз как-то целая толпа крестьян из жекулинского Белого Колодца явилась на завод к крыльцу директорского дома и вызвала меня на двор для разговора. Неожиданное появление целого полчища «громил», как они представлялись нашему бухгалтеру Ф. И. Маркину, донельзя напугало его, и он со страхом смотрел в окно, когда я вышел во двор говорить с прибывшими. Оказалось, что они всей деревней явились просить меня купить для завода земли погромленного ими помещика. За четыре месяца, истекшие со времени погрома, они убедились, что очень много потеряли, лишившись привычных заработков в имении. Если земля перейдет к кому-либо помимо завода, рассуждали крестьяне, новый владелец в создавшихся условиях не станет заводить сложного свекольного хозяйства. Выходило, что и в интересах завода, и в интересах крестьян было важно сохранение в погромленных имениях свекловичного хозяйства и потому приобретение этих имений заводом. Вкладывать средства в имения в такое время казалось бы безумием, но для завода другого хода не было: приходилось либо рисковать не получить полного количества бурака на завод, либо рисковать покупкой имений. Так, одно за другим постепенно приобретены были заводом имения С. И. Жекулина, И. Н. Толмачева, А. Д. Гридина и др.

Мобилизация земли в округе Любимовского завода, вызванная крестьянским движением, не ограничилась, однако, переходом погромленных имений в собственность завода. Землевладельцы, которым посчастливилось уцелеть от погрома, были терроризованы не менее погромленных. Некоторые ликвидировали свои хозяйства, другие почитали благоразумным ради укрепле-

ния своих позиций в деревне продать соседним крестьянам более или менее значительные площади.

Крестьянский банк принимал деятельное участие в этих сделках, выдавая отдельным крестьянам и их товариществам ссуды на покупку земли. Ссуды эти, однако, не покрывали всей покупной стоимости, и от крестьян требовалась некоторая доплата к ссуде – «верхи», как их называли крестьяне. Это, конечно, затрудняло малоимущих крестьян. Продолжая нашу политику всемерного расширения крестьянских плантаций, мы стали выдавать крестьянам, подряжавшимся на поставку бурака, долгосрочные авансы в сто – сто пятьдесят рублей на десятину посева свеклы, сроком на пять лет. Эти авансы и шли на оплату «верхов». Таким образом, крестьянин, заключив договор на посев бурака, получал возможность с банковской ссудой и заводским авансом купить землю почти целиком в кредит, без доплаты наличных денег. Содействуя увеличению площади земли в пользовании крестьян, эта мера сразу отозвалась значительным расширением крестьянских плантаций. Площадь их превысила 1000 десятин.

В результате аграрного движения 1905 года превалировавшие до того у нас помещичьи плантации утратили свое первенствующее значение и, напротив, серьезно возросли площадь заводских и площадь крестьянских плантаций. Мобилизация земли в округе завода продолжалась в двух прежних направлениях – в сторону крупного капиталистического хозяйства и в сторону мелкого крестьянского. Среднее помещичье решительно сокращалось. Ни мероприятия правительства по поддержанию дворянского землевладения, ни революционные выступления крестьянской массы, выразившиеся в погромах помещиков, не изменили направления процесса, а лишь ускорили темпы его протекания. Камень как ни кинь, все равно на землю падает.

Смущение Боти Рейна

Летом 1906 года, под впечатлением бывших осенью погромов, непрекращавшейся агитации, речей в Государственной Думе, статей в прессе и паники среди помещиков мой племянник Б. Рейн написал мне письмо, спрашивая как бы совета, не лучше ли им продать свой Борщень крестьянам. Все Рейны были прямо влюблены в свой неказистый Борщень, и мысль о ликвидации могла прийти им в голову только с отчаяния. Насколько такой шаг расстраивал бы всю систему свекловичных хозяйств, служивших базой для завода, мне нет надобности распространяться после того,

как я уже рассказал, с какими трудностями мы едва-едва только эту базу сколотили. Такой анархический шаг, опрокидывая наше заводское предприятие, низводил вместе с тем самый Борщень с высокой ступени сельскохозяйственной культуры, на которую он был возведен многолетними усилиями, до уровня отсталого, давно уже осужденного крестьянского трехполья. Не только с точки зрения личных интересов, но и с общественной такое мероприятие являлось бы регрессивным. Сочувствовать такому обороту я не мог.

Давно ли я на аграрном совещании перед сессией Думы (сохранилось о том мое письмо к брату) высказывался, что отчуждение культурных земель, снабжающих сахарные заводы свеклой, для наделения крестьян допустимо, но при непременном условии, чтобы крестьяне были обязаны продолжать свекловичные посевы на этих землях. Тогда Г. А. Новосильцев возражал мне, что подобный «сервитут» немыслимо осуществить и что заводы могут быть обеспечены свеклой и картофелем только при сохранении за заводами бесспорной собственности на плантации. Теперь не абстрактно, но на конкретном случае приходилось обсуждать ту же задачу, но при совсем других условиях: без всякого вмешательства со стороны государства, без элемента принуждения, с неопределенным финансированием операции, по добровольному (!?) якобы соглашению сторон, в накаленной атмосфере готового разразиться бунта. В этой обстановке я становился на позицию Новосильцева.

Однако перед тем, как высказаться в этом щекотливом деле, я хотел проверить свои соображения с таким человеком, как М. Я. Герценштейн, глубоко осведомленным в аграрном движении. Стелеграфировавшись с Михаилом Яковлевичем о свидании, я поехал для переговоров с ним в Петербург, где он тогда находился на сессии Государственной Думы.

Совещание с М. Я. Герценштейном

Мой поезд опоздал, и когда я позвонил к Михаилу Яковлевичу, он сам открыл мне дверь и предложил проводить его в Таврический дворец на заседание Государственной Думы и рассказать ему дорогой мое дело. Так мы и сделали, оживленно проговорив всю дорогу, продвигаясь то пешком, то в конке. Михаил Яковлевич живо интересовался действительным положением дел в деревне, особенно положением так называемых «культурных» хозяйств, и постоянно перебивал мой рассказ разными вопросами. Достиг-

нув Государственной Думы, мы разошлись с тем, чтобы продолжить беседу во время перерыва заседания.

Я воспользовался случаем понаблюдать в рядах публики, как идут заседания. Это был чуть ли не единственный раз, что мне пришлось посетить Государственную Думу. Общее впечатление получалось благоприятное. Но я попал на рядовое, ничем не выдающееся заседание. Я даже не припомню, о чем шло суждение. Хорошо запечатлелась у меня в памяти ничем не достопримечательная фигура Михаила Стаховича на трибуне. Он произносил довольно длинную речь. Время от времени он с пафосом простирал руки вперед, оправлял затем манжеты, выпивал глоток воды из стоявшего на пюпитре стакана, проводил рукой по бакенам и продолжал свою речь. Все в нем казалось так разумно и основательно, но стоило окинуть зал, чтобы убедиться, что его ораторские старания пропадают бесследно. Члены Государственной Думы его не слушали, кто читал газету, кто писал что-то, в проходах кто-нибудь то выходил, то входил. Речь, впрочем, произносилась для печати и, конечно, в стране нашла своих единомышленников...

Во время перерыва заседания Михаил Яковлевич нашел меня в зале, и мы вместе позавтракали в буфете Таврического дворца, всесторонне разбирая интересовавший меня вопрос, после чего опять разошлись до окончания заседания Думы и комиссии, в которой Михаил Яковлевич был занят. Когда мы, наконец, вместе выходили после окончания заседаний из Таврического дворца, к нам подошел какой-то господин с большим свитком и с тросточкой в руках. Было очевидно, что он поджидал выхода Михаила Яковлевича. У них тотчас завязался оживленный разговор о предполагавшемся тогда наделении крестьян землей. Остановив нас на широкой дорожке Таврического сада, незнакомец стал тростью чертить какие-то прямоугольники на дорожке, развертывать свой свиток и указывать в нем какие-то формулы, сопровождая все это разъяснениями, за ходом которых я не мог уследить. «Бедняга помешался на наделении всех землей! – шепнул мне Михаил Яковлевич. – И каждый день ловит меня здесь со своими проектами!» Нужно было видеть, с каким трогательным добродушием наш русский Гракх обращался с этим рехнувшимся человеком. После нескольких замечаний Михаила Яковлевича незнакомец свернул свой свиток, признаваясь, что, действительно, у него еще не все доработано, но он поработает еще вечерок и завтра же представит Михаилу Яковлевичу свой проект в окончательном виде. «Всем поровну и всем вдоволь – вот мой девиз! Это вам не

Генри Джордж!»[17] – воскликнул он самодовольно и отпустил нас идти восвояси.

В общем Михаил Яковлевич разделял мои соображения. Он был очень озабочен, чтобы аграрная реформа, за которую он ратовал в Государственной Думе, не погубила так называемых культурных хозяйств. Опасность для них он видел не столько в возможном огульном, без разбора отчуждении культурных хозяйств заодно с рядовыми. Он опасался, что даже одно только косвенное, отраженное влияние намечавшейся реформы ввергнет эти культурные хозяйства в исключительно тяжелое положение. После дополнительного наделения крестьяне будут всецело заняты на своей земле, и для культурных хозяйств может не оказаться рабочих рук. К тому же надо ждать, что Государственная Дума примет ряд законов по охране труда в сельском хозяйстве, что сделает наемный труд весьма дорогим. Смогут ли культурные хозяйства примениться к новым условиям? Хозяйничание в имениях на ближайшие годы представлялось Михаилу Яковлевичу делом весьма тяжелым и неблагодарным. Выдержать этот искус и справиться смогут только крепкие люди, знающие, работящие и любящие хозяйство. Михаил Яковлевич поэтому расспрашивал и о личных вкусах и особенностях моих племянников...

На прощание Михаил Яковлевич посетовал на меня, что я не баллотировался в Государственную Думу: «Сидели бы с нами и помогали бы вырешать самые трудные жизненные задачи страны».

Сельскохозяйственная забастовка 1906 года

По возвращении из Петербурга в Москву я получил из завода срочную телеграмму о разразившейся в уезде сельскохозяйственной забастовке с просьбой приехать, что я и исполнил немедленно. Кучер Иван, выехавший за мной на станцию, сказал мне, что забастовка по всей округе, охватила несколько уездов, обнимает все роды работ вплоть до домашней прислуги. Скот и лошади сначала не получали корма и воды, но затем, по решению забастовочного комитета, было налажено их обслуживание. Иван выехал за мной тоже по решению забастовочного комитета. Мы тронулись. Все кругом представляло необычный вид. В полях не производилось никаких работ. Не было видно по дорогам обычных в то время обозов с углем и другими материалами, направляющимися на завод. Улицы деревень на нашем пути были запружены бездействовавшим народом. Мне показалось, что крестьяне и крестьянки, через толпы которых нам приходилось

в деревнях пробираться, смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Но вот показался завод. На заборе, окружавшем его территорию, как воробьи расположились бастующие «девки» в их пестрых одеждах, что представляло довольно красочную картину. Директор, к дому которого меня подвёз Иван, сказал мне, что забастовка перекинулась к нам из Сумского уезда и в нашей округе вспыхнула сначала в Мариинском заводе, где к тому были экономические основания. Протекает забастовка совершенно мирно и носит безусловно политический характер – поддержки Думы Государственной. «Подмогнуть Думе» – говорили сами бастующие. Предъявляемые требования очень многочисленны, разнородны, не согласованы между собой, часто обнаруживают полное незнание со стороны авторов действительного положения дел на месте. Так, предъявляется требование о введении на заводе 8-часового дня, установленного у нас уже более года тому назад. Требуется организация бесплатной медицинской помощи для фабрично-заводских рабочих, тогда как с основания завода еще сестрой Ниной заведена была хорошая больница, обслуживавшая бесплатно не только рабочих и служащих завода и экономии, но и все окрестное население.

У нас инициатива забастовки шла от плотников и каменщиков, людей пришлых. Постоянные служащие и мастеровые втянуты были в нее общим движением. Когда затем сняты были «девки», на плантациях забастовка приняла характер сельскохозяйственный.

На заводе в этом году производился лишь текущий ремонт, исподволь к предстоящему производству. Без большого ущерба работы могли быть прерваны на неделю или десять дней. Но не то в имениях. Не говоря о том, что неубранное сено прело и пропадало, бурак на плантациях – главный жизненный нерв всего предприятия – требовал безотлагательной прорывки и в случае дальнейшего промедления в проведении этой операции грозил «стечь» и пропасть.

Надо было найти способ к немедленному возобновлению прорывки. Подошедший пешком из Офросимовки управляющий Н. И. Синькевич добавил, что забастовка далеко не у всех бастующих встречает сочувствие. Дальние «девки», например, боятся, что их отпустят по домам, и они лишатся своего сезонного заработка.

В создавшихся условиях трудно было выдумать что-либо путное. Мой вызов сюда состоялся по желанию бастующих. Этим как бы предопределялось устройство с ними совещаний для выслу-

шивания их требований. Я решил безотлагательно приступить к таковым сначала на заводе, потом по экономиям. Совещание общее на заводе прошло совершенно бесцветно. Переговоры по цехам тоже не приводили ни к чему. Сходки по экономиям и деревням протекали при величайшем напряжении, но в общем мирно. Впрочем, Н. И. Синькевичу, вызвавшемуся провожать меня в эти выезды мои, когда он как-то пробирался ко мне через толпу окруживших меня и беседовавших со мною крестьян, кто-то из толпы сказал сквозь зубы: «Выпустить бы ему кишки». Тяжелое впечатление от этой жестокой выходки усугублялось еще тем, что при разговоре по телефону Н. И. Синькевич случайно, вследствие перепутавшихся проводов, услыхал чужой разговор. Неизвестный, голос которого показался Н. И. Синькевичу хорошо знакомым, сообщая своему собеседнику последние новости, резюмировал: «Барометр падает на террор».

На сходках в деревнях я заметил, что сказанное мною на заводе уже передано кем-то сюда и служит предметом горячих споров среди бастующих. В Ржевщине «девки» меня спрашивали, почему я хочу закрыть завод, когда они ничего против завода не предпринимают. Я отвечал, что, как им хорошо известно, не о закрытии завода я заботился, а о том, чтобы его пустить: для того бурак мы посеяли, для того возили на завод камень и уголь, для того завод ремонтировали. Все это делалось у них на глазах, и кто всю эту подготовку прекратил и грозит сорвать производство, как не они сами? Это произвело громадное впечатление. Бабы застрельщицы, пока я говорил, неоднократно оборачивались к стоявшим тут же мужикам, ругая и попрекая их. Мужики же стояли, опустив головы, и ничего не говорили. Было очевидно, что бабы боятся лишиться своего главного, независимого от мужиков, бабьего заработка.

Вечером я присел отдохнуть у окна в доме директора, перебирая впечатления минувшего дня и соображая, что дальше делать, когда кто-то едва слышно постучал снаружи в стекло. Наш инспектор плантации, уже упоминавшийся здесь Иван Орестович, безобидный скромный старичок, страдающий жесточайшим ревматизмом, но тем не менее весьма подвижный, делал мне знаки, чтобы я вышел в директорский сад. Когда мы встретились в гуще яблонь, старик прежде всего посоветовал мне никогда не садиться у освещенного окна, не спустив занавесок. Затем он сообщил мне, что руководители забастовки каждую ночь собираются на квартире заводских наших фельдшериц. Отсюда исходят все лозунги и распоряжения по забастовке. Если накрыть руководи-

телей всех вместе, то движение сразу спадет. А я-то ломал себе голову, как достукаться до действительных, скрывавшихся руководителей движения, чтобы уговорить их не доводить до непоправимой катастрофы – гибели всех плантаций! Ведь разрешил же забастовочный комитет обслуживать скот и лошадей. Нужно и в отношении бурака принять аналогичное решение. Я поспешил назад в дом, чтобы никто не заметил моей встречи со стариком. Меня уже искали по всему дому. Из Суджи звонил исправник, и надо было установить, что ему отвечать. Я просил дать наш стереотипный ответ: «Забастовка протекает мирно, порядок не нарушается», – когда в кабинет директора, где стоял телефон, вошел наш заводской врач Виктор Оттонович Миллер. Он слышал, что мы говорили с Суджей, и когда я, отведя его в сторону, сказал ему шепотом о роли наших фельдшериц, он, естественно, заключил, что об этом телефонировал мне исправник. Добрый человек сразу заволновался, что фельдшериц арестуют. «Но они еще успеют бежать», – сказал я. В следующую ночь обе барышни в докторской бричке мчались окольными дорогами на дальнюю станцию. Недели через три я получил от них из Харькова полное упреков письмо. Я, видите ли, знал, что никто их не собирался арестовать, и предательски пустил этот слух, чтобы их напугать. Я переслал это письмо в Канн Сереже и Николаю Васильевичу, приглашая их развлечься комизмом наших приключений.

Впрочем, роль этих барышень для меня так и осталась невыясненной. Может быть, она сводилась лишь к тому, что они предоставляли свою квартиру для совещаний. Во всяком случае, забастовка тянулась и после их исчезновения. Она стала быстро распадаться, когда приступлено было к расчету рабочих на заводе.

Забастовка распалась сама собой естественным ходом событий и в силу обнаружившегося противоречия интересов среди самих бастующих. При этом работы возобновлялись в порядке, обратном тому, в каком они прекращались в начале забастовки. Первыми приступили к работам, хотя и оглядываясь робко на завод, полольщицы на плантациях, затем экономические рабочие и уже в последнюю очередь – мастеровые на заводе. Плотники же, взяв расчет, всей артелью пошли «в Москву», как они сами сказали, чтобы снимать с работы на пути всех рабочих!

Я подробно описал весь ход событий в письмах к брату Сереже и к Софии Яковлевне. Копии этих писем сохранились у Софии Яковлевны и в моих копирных книгах (10.VI.06, 11.VI.06, 13.VI.06, 19.VI.06). Они содержат много любопытных подробностей, совсем было мною забытых и потому пропущенных в на-

стоящем описании, писанном мною, как и все прочие отрывки, на память.

Сережа, как теперь оказывается, посылал мои письма А. И. Чупрову для прочтения. Мне было очень приятно теперь (1939) увидеть, что Александр Иванович, возвращая Сереже мои письма, в письме к Ольге Александровне Сперанской вполне одобрял мои действия во время сельскохозяйственной забастовки.

Из письма М. В. Сабашникова к С. В. Сабашникову:

«(Копия, I, 201)

Костино 19.VI. 06

После того, как мне не удалось восстановить работы в субботу, я объявил в воскресенье о намерении совсем закрыть завод, вследствие критического положения, в какое он поставлен забастовкой на плантациях. В понедельник, вторник и среду производился поголовный расчет всем мастеровым и рабочим. Это была последняя мера, какая имелась в моем распоряжении. Я был вынужден к ней вследствие действительной невозможности оставить завод в том положении, в каком я его застал. Многие рабочие, живущие у нас на казармах, не стеснялись харчеваться у нас на заводе в качестве хотя и бастующих, но не уволенных еще рабочих, а дни проводить на *своих* работах, кося сено для себя. Затем [...]* не знающей границ своим требованиям, и приостановка прорывки и проверки бурака в самое горячее время являлись серьезной угрозой для всего производства; оно становилось весьма проблематичным, как вследствие опасности новых *«слепых»* забастовок, так и опасности потери бурака по причине несвоевременной его полки. Прибегая к поголовному расчету, я объяснил забастовщикам, что делаю это именно по указанным соображениям, а не с целью репрессий против них. Я не скрывал от себя, однако, что в этой мере заключалась хотя и мирная, но весьма сильная репрессия. Эти дни расчета были жестокими днями. Люди, иногда с самого основания завода работавшие в нем, оказывались вдруг без крова, хлеба и заработка, с многочисленными семьями, с уверенностью нигде больше вскоре не пристроиться. Отчаяние и слезы царили в значительном большинстве семей забастовщиков. Поодиночке и целыми группами приходили они ко мне, прося взять решение назад и «дать гудок», уверяя, что по первому же гудку все станут на работу на прежних условиях. Я обстоятельно и стараясь быть понятым, разъяснял каждому, что

* Пропуск в тексте.

вести дело в зависимости от случайного настроения нельзя. Если бурак погибнет, то при всем желании нельзя будет пустить завод.

Впрочем, не все дорожили возобновлением производства. На деревне старики говорили, что в случае прекращения завода не будут сеять бурака, земля подешевеет, и мужикам будет легче. Молодежь не соглашалась с ними. Затем из дальних рабочих оказались упорными, убежденными забастовщиками – плотники и каменщики. Они взяли расчет без разговоров и уходя заявили, что пойдут в Питер и на пути будут останавливать все встречающиеся им заводы и заведения. По мере того, как эти элементы оставляли нас, реакция против забастовки стала сказываться все сильнее. В Касторной мужики, сеющие для завода бурак, избили одного парня, который рекомендовал им, в случае закрытия завода, скормить бурак коровам. Заводские рабочие уразумели из разговоров со мной, что остановка завода – не месть с моей стороны, а вызвана боязнью не иметь бурака для производства, пошли на деревню агитировать в пользу возобновления работ. Они встретили благоприятную почву для своей агитации, так как бабы весьма желали идти брать полтинники за день на плантациях, мужики серьезно стали уже раздумывать о потере заработков, в случае приостановки завода, а старики, мечтавшие о возвращении к старине, когда земля стоила без завода 8 руб. десятина, уже встречали возражения, что тогда придется бросить сапоги и ходить в лаптях. В среду на плантации явилось уже много полольщиц, да и рабочие в экономиях стали возвращаться на службу. Ввиду оборота настроения в пользу завода, я предложил всем желающим стать на работу в заводе записываться вновь в конторе завода. В среду же вечером записалось более 100 человек мастеровых. В среду ночью я уехал в Курск, заявив мастеровым, что уполномочил Ал. Ив. пустить завод, лишь только работа на плантациях пойдет нормально. Теперь по телеграмме я знаю, что завод пущен в пятницу и что в экономиях, кроме Бардаковской, все работы идут полным ходом.

Так кончилась наша любимовская забастовка. То обстоятельство, что забастовщики наши не выиграли, дает надежду, что эта стачка послужит хорошим уроком и убережет нас несколько от необдуманных и неосмысленных забастовок.

Впрочем, на это надеяться слишком не следует. И у нас, и на Мариинском заводе забастовки были вызваны общим политическим положением, и идея *«подмогнутъ Думе»*, несомненно, носилась в умах забастовщиков. Затем забастовка носила преимущественно аграрный характер, хотя в числе требований аграрные требования и не выделялись. Вообще по требованиям, предъяв-

ленным забастовщиками, нельзя судить о забастовке. Теперь у нас забастовка разрешилась, но в наших окрестностях она лишь начинается. Я имею телеграмму, что у Раппа вышло даже столкновение между драгунами и крестьянами.

Затем забастовочное движение крестьян охватило огромный район. Добрая половина уездов Курской губернии им охвачена. Между прочим, и у Якушкина в имении неладно. Сначала он получил от своего управляющего депешу о начавшейся забастовке, а потом другую о том, что имение во власти забастовщиков. Надо надеяться, что и там дело кончится миром, как и у нас. Вообще крестьяне у нас не проявляли ни малейшей склонности к насилию.

Я пишу тебе из Костина, куда приехал на воскресенье и понедельник. Здесь сейчас Евгений Евгеньевич Якушкин с Володей, Евгения Павловна с другими Якушкиными у М. И. Берлинерблау в Мещерском. Мы с Евгением Евгеньевичем вспоминаем дни, проведенные нами с тобой и Николаем Васильевичем в Костине. Особенно часто возвращались к лету, проведенному вместе с м-ль Бессон.

Последние письма Николая Васильевича меня [...]* делаешь заметные шаги к поправлению. Мы здесь за каждым твоим успехом следим и каждому успеху радуемся.

Ну, до свидания. На днях напишу еще

Твой».

Из множества людей, с которыми в эти тревожные дни и вкупе, и в отдельности привелось говорить, мне особенно врезались в память два образа – дед Николай и Никита-плотник.

Невысокого роста, с седой раскинутой в обе стороны бородой, в светлом нагольном полушубке, невзирая на жаркую пору, старый дед из деревни Любимовки с первого взгляда, пожалуй, привел бы на память святочного деда Мороза, если бы не его огромная сучковатая палка, которой он весьма непринужденно размахивал в особо острые моменты, а главное, если бы мы его по прежнему его поведению хорошо не знали как заядлого бездельника! Не имея прямого отношения к заводу, он все же не пропускал ни одного собрания; сначала держался обыкновенно незаметно сзади других с тем, чтобы, выждав подходящую минуту, выскочить внезапно вперед со своей палкой и сорвать собрание каким-нибудь непримиримым возгласом. Озорному деду, видимо, страшно было, что дело может, пожалуй, обойтись мирно, без по-

* В рукописи пропуск части текста.

тасовки... С неорганизованными крестьянами и рабочими маневр деда по срыву собрания обычно удавался. Пришлось ему, впрочем, натолкнуться и на отпор, как в беседе моей с плотничьей артелью.

То были люди пришлые, великороссы, бывалые, сплоченные, в данный сезон побывавшие уже на нескольких заводах. Беседа с ними велась в яблочном саду директора. Сразу выявилась группа убежденных и сплоченных людей. Забастовка для них имела исключительно политический характер. Мои возражения на выставленные экономические требования их нисколько поэтому не смущали, так как не в экономических требованиях была сила. Высокий, красивый, с длинной черной бородой плотник Никита степенно говорил мне, что страдания народа достигли предела, дольше терпеть нельзя, наступила минута, когда народу открывается возможность по своей воле устроить свою жизнь, если это не удастся, то жить дольше не стоит! Сказано было сильно. Было, очевидно, выстрадано. Когда я указал, что Государственная Дума приняла на себя заботу об облегчении положения трудящихся, и сослался на газетные сообщения, то Никита сразил меня словами: «Я, Михаил Васильевич, неграмотен – газет не читаю».

Между этими двумя крайними флангами – *«сознательным»* красным рабочим и бессознательным кандидатом в *черную сотню* – были тут и молодые люди, сочувствующие разыгравшейся забастовке в ответ на горемыкинскую декларацию, и *степенные служащие*, после бывших осенью погромов опасавшиеся за жен и детей, *бабы-полольщицы*, видевшие, как бурак грозит «стечь», *плантаторы-крестьяне*, вложившие в бурак свой труд и свои средства...

После роспуска Первой Государственной Думы

Если инициаторы сельскохозяйственной забастовки действительно хотели ею «поддержать Государственную Думу», как говорили у нас забастовщики, то цель их не была достигнута. 8 июля Государственная Дума была распущена, просуществовав всего 72 памятных дня. В виде протеста члены Государственной Думы выехали в Финляндию, где существовала большая свобода собраний, чем в коренной империи, и в Выборге составили воззвание к народу[18], предлагая не вносить податей правительству, действующему без народного представительства. «Выборгский крендель» – иронизировала публика. Реалистически оценивая обстановку, она находила, что нет у нас места для Гемпденов*, а

* Джон Гемпден – один из лидеров парламентской оппозиции в Англии XVII в.

можно лишь сойти за Дон Кихота. Между тем воззвание втягивало Конституционно-демократическую партию в борьбу революционными способами, ей чуждыми и недоступными. В стране воззвание не имело особого влияния. Составители же его привлечены были к суду и поплатились тюремным заключением на три месяца и поражением в правах. Это изъяло всех выборжцев из земства и из городских дум и устранило их от участия в выборах в Государственную Думу. Правительство дальше этого в репрессиях не пошло, но многие дворянские собрания взяли на себя почин исключения выборжцев из своего состава.

Тюремное заключение выборжцев было обставлено прилично. Так, В. Е. Якушкин, редактировавший очередной том академического издания Пушкина, аккуратно получал в тюрьме корректуру, корреспонденцию и нужную для работы литературу. Литературную и научную работу в тюрьме производили и другие выборжцы. Обидно было за П. А. Садырина, который как депутат от крестьян, не привилегированного сословия, подвергнут был более суровому содержанию. Не слышно было также, чтобы правительство прибегало к каким-либо особым репрессиям против тех, кто согласно воззванию не вносил податей. Да таких неплательщиков, вероятно, было немного. Совсем недавно я нашел у себя какими-то судьбами сохранившееся старое письмо того времени: владимирский губернатор частным письмом, в изысканно-вежливой форме, совершенно игнорируя выборгское воззвание и политическую подоплеку дела, просил меня обратить внимание на погашение повинностей по имению, «не создавая соблазна для населения».

Конечно, у нас раньше никогда недоимок не бывало.

Но возвращаюсь к дням, непосредственно следовавшим за роспуском Государственной Думы и принятием Выборгского воззвания. В Териоках состоялось заседание пленума ЦК партии, на которое я выезжал из Москвы. Странно, у меня сохранилось очень яркое зрительное воспоминание о териокском собрании, но что кем говорилось и какие были приняты решения, решительно не помню. Помню пологий склон горы, поросший стройными вековыми соснами, на даче, снимавшейся, если не ошибаюсь, М. Г. Комиссаровым. Как море шумят наверху макушки могучих сосен, а внизу не чувствуется ни малейшего движения ветерка. Яркие блики солнца на траве и на стволах. И в этом своеобразном зале заседаний всюду расставлена садовая мебель, на которой, а частью на траве, непринужденными группами разместились члены совещания. Среди них вижу незнакомые мне лица. От всех впе-

чатление большой усталости. В последний раз виделся я тут с М. Я. Герценштейном. Он подробно расспрашивал меня о здоровье Сережи. Не думали мы, что на днях ему предстояло самому подвергнуться нападению и быть убитым на прогулке по берегу моря агентами черной сотни[19]. За ним также убит был в Екатеринославе другой член Государственной Думы доктор Караваев[20], бывший одно время врачом в сутковской больнице у сестры Кати. А в феврале следующего года в Москве на Малой Никитской среди бела дня убит был Иоллос, бывший в то время редактором «Русских ведомостей»[21].

Я был в Москве, когда получилось известие об убийстве М. Я. Герценштейна. Зная, что это страшно потрясет Софию Яковлевну, жившую с детьми и бабушкой в Костине, я без предупреждения и без телеграммы о высылке за мной лошадей на станцию, ночным поездом, так называемым «Максимом Горьким», выехал в Костино, чтобы самому сообщить ей страшную весть. Часов в 5 утра я слез на платформе «Богаевский пост». Мимо Богаевского погоста, этой цитадели отца Константина, бывшего когда-то врага всех наших костинских начинаний, я прошел пешком росистым чудным утром в Костино. На усадьбе все еще спали глубоким сном. Я не хотел никого будить и провел в парке время, пока в «Якушкинском флигеле», где жила моя семья, не проявились первые признаки пробуждения.

Говорить о впечатлении, которое произвело привезенное мною известие, не приходится. Костинцы решили послать депутацию на похороны М. Я. Герценштейна и возложить на его гроб венок. По мысли Софии Яковлевны сплели громадный венок из ржи с прибавлением рябиновых веток с красными гроздьями. Фотография двух депутатов, держащих венок этот, у нас еще сохранилась.

С переездом нашим осенью этого года на Тверской бульвар мы оказались близкими соседями с семьей Герценштейнов, жившей в собственном небольшом особнячке с громадным садом в Гранатном переулке. Вдова Михаила Яковлевича Анна Васильевна, симпатизируя Софии Яковлевне и, очевидно, чувствуя ее горячее участие к постигшему семью горю, радушно и настойчиво зазывала Софию Яковлевну с детьми проводить время в их тихом, далеком от городской пыли и городского шума саду. Ее редкостной красоты дочери были значительно старше наших детей, но оказывали им самое любезное и живое внимание. Я думаю, мои дети имеют чем вспомнить время, проведенное ими в гостях в этом домике и в этом тихом саду. Впоследствии мой друг и товарищ по изданию «Русских ведомостей» А. П. Л. женился на старшей Герценштейн

и зажил с ней в верхней квартире этого домика, а другой товарищ по «Русским ведомостям» снял нижнюю квартиру. Не знаю, много ли видел старый домик радости в своих стенах, горя же его жильцам досталось изрядно.

Скарлатина детей (Костино, 1906)

В августе София Яковлевна, оставив детей в Костине на попечении бабушки Софии Николаевны, приехала в Москву, чтобы перевести нашу и Сережину обстановку на новые квартиры, с Гагаринского переулка на Тверской бульвар. Она привезла мне несколько очень удачных фотографических снимков детей и бабушки под вековыми елями костинского парка. Некоторые и до сих пор сохранились, восстанавливая картину нашей жизни того времени. Разборка вещей на новой квартире была в полном разгаре, когда от Софии Николаевны пришла телеграмма, что Ниночка заболела скарлатиной. Этой болезни мы оба особенно боялись из-за коварных последствий, иногда отражающихся на всю жизнь. В то время врача в нашей костинской больнице временно замещала Ольга Константиновна Лукина, супруга Мстислава Яковлевича. При всем нашем доверии к ее знаниям, опытности и вниманию нам все же хотелось, чтобы диагноз подтвердил и поставил лечение специалист по детским болезням. София Яковлевна поспешила к Сергею Ивановичу Веревкину, который после смерти Н. Ф. Филатова лечил обыкновенно наших детей. Но Сергей Иванович оказался в отъезде на Балтийском побережье, и София Яковлевна уехала к детям одна, предоставив мне найти детского врача и привезти его на консультацию в Костино. По совету Е. П. Косминковой, служившей тогда в Москве в должности школьного врача, я обратился к молодому сравнительно врачу городской Морозовской детской больницы Молоденкову. Он согласился ехать со мной в Костино и взял с собой противоскарлатинную сыворотку, только что тогда найденную и, как он говорил, с успехом применявшуюся в Морозовской больнице. С этим драгоценным спасительным средством мы ночью того же дня ввалились в Костино. В «Якушинском флигеле» мы нашли Софию Яковлевну и Ольгу Константиновну с двумя больными девочками – нашей Ниночкой и Лидушей Лукиной. Здоровые дети с Софией Николаевной были отделены и находились в большом доме, который хотя и занимался под школу, но ввиду каникул пустовал. Молоденков подтвердил диагноз Ольги Константиновны, одобрил ее лечение и меры, принятые Софией Яковлевной для изоляции больных, и

предложил сделать обеим больным девочкам вспрыскивание сыворотки, на что обе матери согласились. Но мы не имели представления, на какое мучение обрекались этим наши девочки! Густая сыворотка, вспрыскиваемая в громадных дозах, с насилием вдавливалась в их маленькие тельца, образуя большие вздутия и причиняя нестерпимую боль. Самолюбивая Ниночка держала себя маленьким героем. Сжавши кулачки и стиснув зубы, в продолжение всей мучительной операции она не проронила звука, и только градом лившиеся из глазенок ее слезы выдавали ее страдания. Совсем иначе держала себя Лидуша. Она дралась, кусалась, кричала. Приходилось держать ее за руки и ноги, выслушивая обращенные к нам упреки: «Дураченки, дураченки! Какая же ты мать, коли так дочь свою мучаешь!» – и т. д. Страдания не ограничились одной операцией. Затем началась бурная реакция. По всему телу высыпала сыпь, начался нестерпимый зуд. Это стоило мук самой операции. Тут уж и терпеливая Ниночка теряла волю над собой! Одним словом, когда через восемь дней заболел Сережа, а через восемнадцать дней после него Таня, то София Яковлевна решила к сыворотке не прибегать. Врачей из Москвы мы не приглашали, и София Яковлевна с Ольгой Константиновной отлично выходили всех четырех больных детей. Это была трудная осень для Софии Яковлевны, но все прошло совершенно благополучно и без осложнений.

Возвращение Сережи в Москву

Дети еще болели в Костине скарлатиной, когда от Николая Васильевича пришло известие о предстоящем выезде его с Сережей в Москву в сопровождении сиделки. Сестра Катя поспешила приехать в Москву, чтобы устроить Сережину квартиру и встретить его. С волнением ожидали мы наших путников. После жесточайших осложнений и серьезнейших операций, в результате напряженной борьбы за жизнь Сережа возвращался домой в сопровождении сиделки. Полного восстановления здоровья не достигнуто. Мы знали, что Сережа не может ходить без посторонней помощи и не владеет одной рукой. Как сложится теперь его жизнь в дальнейшем, чтобы существование его было содержательно и достойно его выдающегося интеллекта?.. Притом некоторые зловещие признаки в состоянии Сережи внушали подозрение, что гнойный процесс в организме Сережи только затих, но не прекратился окончательно. Оставалась опасность рецидива со всеми его последствиями.

По возвращении в Москву Сережа поселился на Тверском бульваре в квартире, смежной с моей и имеющей с ней внутреннее сообщение. Мы, таким образом, живя как бы обособленно, находились в постоянной близости и общении.

Сережа держал себя изумительно стойко. Никогда никаких жалоб. Никакого уныния. Его мужественное отношение к постигшему его бедствию внушало общее к нему уважение. Сережа много и серьезно читал. Немедленно по приезде вошел во все наши хозяйственные, заводские и прочие дела и принял на себя часть работы. С величайшим вниманием вникал во все заботы сестер. Всегда ласково занимал детей моих, заходивших к нему ежедневно утром и вечером. На столе рядом со своим креслом он всегда держал для угощения этих маленьких посетителей коробку конфет. Шутки ради он ее иногда прикрывал газетой или куда-нибудь прятал, и старшие не решались напомнить об угощении, а маленькая Таня, набравшись смелости, спрашивала: «Дядя Сережа, а где же конфеты?» Внимательно следил Сережа за ходом общественной жизни, всегда находя сказать по поводу происходящих событий что-либо дельное. Удобное центральное расположение квартиры на Тверском бульваре почти на углу Никитской на пути в Думу, в университет, в «Русские ведомости» облегчало заход к нему. Вскоре установились у него встречи за пятичасовым чаем его друзей и знакомых. Между ними припоминаю Д. И. Шаховского, В. Е. Якушкина, Н. Н. Львова, В. И. Вернадского, Е. Н. Трубецкого, В. А. Розенберга, А. А. Мануйлова, С. А. Котляревского, С. П. Ордынского, Н. Н. Щепкина. Ежедневно бывал у него, проводя часть дня, Н. В. Сперанский, поселившийся с женой в Б. Николо-Песковском переулке и работавший в редакции «Русских ведомостей». По делам Университета Шанявского у меня на квартире собирались заседания Попечительного совета, на которых Сережа всегда деятельно участвовал. Кроме того, у него сходились на совещания между официальными заседаниями В. К. Рот, Н. В. Сперанский и я.

Лето 1907 г.

Лето 1907 года предположено было провести в Крыму. Снята была дача в имении Долгоруковых «Селям» около Ялты. Я должен был ранней весной отвезти туда свою семью и брата Сережу с тем, чтобы затем вернуться в Москву и наезжать в «Селям» на побывку, когда позволят отлучаться дела. Сестра Катя и Нина разделили между собой лето так, чтобы неотлучно по очереди

быть при Сереже. Но эти планы расстроились внезапно самым неприятным образом. Прекратили платежи один за другим ряд наших покупателей: Абрикосовы, Яни, Д. А. Расторгуев, граф В. А. Бобринский и несколько мелких. Всего мы внезапно теряли громадную сумму в 300 000 с лишком рублей (золотом). Это опрокидывало все наши финансовые расчеты. Между тем, в связи с разорением плантаторов наших, плантации которых пришлось финансировать, и в связи с забастовками, поведшими к существенным чрезвычайным расходам, мы сами находились в величайшем финансовом напряжении. На помощь, как всегда, поспешила великодушная Катя, предоставив нам для залога все свои процентные и дивидендные бумаги.

Но этого было далеко недостаточно. «Обернуться» без получения весьма существенного кредита не представлялось возможным. А в Москве названные банкротства произвели такую панику, что под свежим впечатлением этих несостоятельностей было бы бесполезно и даже рискованно заикаться даже о каких-либо займах. Пришлось всякие мечты об отдыхе в Крыму оставить, пересдать «Селям», а самим устроиться под Москвой на даче Смирнова в Кунцеве, откуда я мог каждый день ездить в контору.

В письме к жене Николай Васильевич так резюмирует наше положение (14.V.07): «Миша и Сережа сидят как мыши, чтобы об аварии с Абрикосовыми толки смолкли, а потом будут пробовать изыскать средства, чтобы заткнуть здоровенную прореху, сделанную в их бюджете».

С нами в Кунцеве на лето поселился для ухода за братом Сережей молодой врач Михаил Федорович Владимирский, рекомендованный нам З. М. Машиной. Когда он впоследствии эмигрировал за границу, он в продолжение ряда лет сотрудничал в нашем издательстве, исполняя переводы с французского, которые издавались нами под его фамилией. Так произошло наше знакомство с будущем председателем Ревизионной комиссии ВКП(б).

Сельскохозяйственное совещание 1908 г.

Чрезвычайный рост собственного свекловичного хозяйства вызывал необходимость пересмотра самого организационного его плана, что мы и предприняли с новым управляющим Г. В. Шевелевым, сменившим Н. И. Синькевича весной 1907 года. Г. В. Шевелев отнесся к этой организационной задаче в высшей степени внимательно. Проведя сельскохозяйственную операцию 1907-го, он зимой 1907/8-го произвел полный пересчет всех

элементов хозяйства и подготовил план его новой организации и собрал материалы, необходимые для решения стоящих вопросов. Для решения мы обратились за консультацией к двум специалистам – С. Е. Франкфурту и Калитаеву.

В феврале 1908 г. в Москве в кабинете Сережи состоялось длившееся несколько дней совещание, в котором участвовали С. Е Франкфурт, Калитаев, Г. В. Шевелев, А. И. Николаев, Н. Н. Щепкин и мы с Сережей. Принятый план содержал ряд радикальных новшеств, в введении которых мы базировались на результатах работы Сети опытных полей. Так, например, в ближайшей к заводу экономии с очень тучными землями, на которых постоянно вылегала озимая пшеница и с которых ввиду близости завода было интересно получать максимальное количество бурака, мы приняли пятипольный севооборот с двумя свеклами (одна по удобренному пару) и с рожью (вместо пшеницы) по яровому. Севооборот этот себя вполне оправдал. В прочих экономиях сохранен был наш традиционный семипольный севооборот с двумя свеклами.

Г. В. Шевелеву не пришлось провести в Любимовке полный цикл даже самого короткого из установленных новыми планами севооборотов. Он вскоре получил очень лестное для такого еще сравнительно молодого деятеля и очень выгодное приглашение в громадное историческое имение Карловка с ее четырьмя свеклосахарными заводами. Мы расстались друзьями и всегда находили удовольствие в общении друг с другом, когда приходилось встречаться. София Яковлевна сошлась с супругой Г. В. Шевелева – Анной Федоровной.

Поездка в Рим и Неаполь. Встреча с Чупровыми

Осенью 1907 г. Сережа уговорил меня «взять отпуск» и съездить с Софией Яковлевной за границу. Николай Васильевич вызвался на время нашего отсутствия перебраться на квартиру к Сереже. В делах все шло благополучно. Тревога, вызванная весной несостоятельностью наших должников, улеглась. Финансы наши «устроились». В лице Н. Н. Щепкина я имел заместителя, освобождавшего Сережу от бремени полной ответственности по руководству делами и от утомительных и скучных «текущих дел». Одним словом, ничто не мешало поездке, и, сговорившись, как всегда, с бабушкой о переезде ее к нам к детям на время нашей отлучки, мы заблаговременно взяли билеты на 12.X. в Рим. Там проводили осень Александр Иванович Чупров с сыном, и мне хо-

телось застать их еще там до переезда их на зиму в Мюнхен. Взяли билеты, а София Яковлевна стала волноваться, что произойдет какая-либо помеха к отъезду. Уж очень ей хотелось ехать, и уж неоднократно случалось, что в последнюю минуту что-нибудь да мешало отъезду. И на этот раз чуть было не вышла помеха. Ольга Иосифовна Лукина должна была в последних числах сентября родить. Питая большое доверие к опытности и знаниям Софии Яковлевны, к ее ловкости и находчивости, а отчасти и из суеверного какого-то убеждения, что присутствие Софии Яковлевны на родах гарантирует благополучный их исход, Ольга Иосифовна просила Софию Яковлевну быть у нее на родах, в чем София Яковлевна не могла ей отказать. И вот роды в предположенный срок не приходят. Кончается сентябрь, идет октябрь, и только 11-го на ночь Ольга Иосифовна разрешается от бремени Юрой. Опоздай она еще на сутки, пропала бы наша поездка. Но утром 12-го все у Лукиных «черных», как они прозывались, благополучно кончилось, и, простившись с роженицей, София Яковлевна быстро снарядилась в путь.

Рим встретил нас ненастно. Серое небо. Облачно. Моросит дождь. В окно вагона громадный купол Св. Петра можно было в тумане принять за его петербургское подражание – Исаакия. На вокзале нас встретил Александр Александрович Чупров вопросом, имеем ли мы зонты, и так как мы, конечно, отправляясь в Рим, зонтов не взяли, то Александр Александрович тут же с вокзала проводил нас в магазин, где мы и купили необходимое. Чупровы стояли в гостинице «Виндзор», где свободных номеров не было. Мы остановились поблизости в более дорогом отеле «Eden». Это оказалось отличной гостиницей на возвышенном месте, в нескольких минутах ходьбы без особого подъема от Monte Pinchio.

Наскоро разложившись в своем «Eden'е», мы пошли в «Виндзор» к Чупровым, где и провели вместе с супругами Розенберг остаток дня до поздней ночи, совсем как у себя на родине, между разговором слыша, как дождь барабанит по оконным стеклам. С Александром Ивановичем мы давно не видались. Он показался мне сильно постаревшим, но не утратившим своей живости. Он засыпал меня расспросами про Сережу, Николая Васильевича, про сестер моих, про Москву, «Русские ведомости», Любимовку. В конце концов разговор сошел на пути эволюции земледелия, средства к подъему сельского хозяйства, на судьбы мелкого земледелия. Этими вопросами Александр Иванович усиленно занимался последние годы, придавая разрешению их громадное значение для будущности России. Я подробно должен был рас-

сказать Александру Ивановичу, который очень ценил конкретные данные, взятые из действительности, и, как редко кто, умел расспрашивать и слушать, все перипетии и перемены в нашем собственном свеклосахарном хозяйстве и про развитие у нас крестьянского плантаторства. Имея перед собой двух единственных в своем роде знатоков мелкого земледелия и общинного землепользования, какими являлись Чупровы отец и сын, я особенно оттенил те затруднения, какие мы встречали в проведении свекловодства на общинных землях. Общины как какие-то неприступные крепости стоят вокруг завода. И хотя в этих крепостях мы уже завербовали себе многочисленных сторонников, в лице отдельных общинников, подрядившихся сеять бурак или решившихся с риском потравы сеять в общинном клину вику с овсом, все же общинные земли смогут, как правило, дать место свекле только при введении ее в севооборот. Необходимо переходить и на общинных землях от трехполья к многополью. Я указал, что в округе нашего завода имеются все предпосылки к такому переходу, означавшему быстрый и значительный подъем культуры крестьянских полей. Стоит нескольким общинам решиться преодолеть вековую инерцию и сделать первый шаг за несомненным успехом пионеров тронется вся масса окрестных крестьянских обществ. Но вот этого первого шага не дождешься и не добьешься! Если бы земства располагали большими возможностями воздействия на крестьянские общества... Но тут мы все единодушно находили, что никакое принуждение или давление со стороны властей и даже со стороны земства недопустимо! Большое недоверие питали мы к нашим властям. Пропагандируемый нами, выработанный при участии Франкфурта и Зубрилина шестипольный севооборот (с одним паром, двумя озимыми, одной свеклой и с овсом и викой) очень заинтересовал Александра Ивановича по простоте перехода к нему от традиционного трехполья. Ему казалось, что мы на правильном пути к разрешению вопроса о применении свекловодства на общинных землях.

Узнав, что София Яковлевна любит скульптуру, Александр Иванович предложил на следующий день вместе пойти в Ватикан. Ему хотелось представить ей своих любимцев. Так и сделали. С особенной какой-то теплотой остановился там Александр Иванович перед статуей, несомненно портретной, Демосфена. «Когда у нас на родине идут раздоры, особенно чтишь такую горячую преданность родине», – сказал Александр Иванович перед этой статуей.

Вместе также побывали мы на городском кладбище. У каждой почти могилки курился фимиам. Огни особенно занимали детей, которых на кладбище было множество. Все же плохая погода побудила нас попробовать счастье и переехать в Неаполь. А когда дней через десять мы снова вернулись в Рим, мы уже не застали там больше Чупровых. Мне не довелось больше видеться с Александром Ивановичем. Через несколько месяцев он скоропостижно умер в Мюнхене в гостях у своего приятеля профессора М. Тело его было перевезено в Москву и погребено на Ваганьковском кладбище. На погребение собралось множество почитателей этого столь когда-то популярного в Москве человека. П. Н. Милюков произнес на могиле большую речь, охарактеризовав как деятельность покойного, так и значение газеты «Русские ведомости», так тесно связанной с именем А. И. Чупрова. При этом лидер кадетской партии отметил, что в период общественного движения, предшествующий времени образования кадетской партии, эта газета выявляла и содействовала оформлению того общественного течения, которое затем повело к созданию партии. А. А. Чупров, Н. В. и С. В. Сперанские решили озаботиться изданием под их редакцией литературного наследия покойного. Московский университет взял на себя издание научных трудов и университетских лекций в 3-х томах. Мы же издали тоже в 3-х томах «Речи и статьи». С тех пор как все это впервые писалось, многое в корне изменилось, и книги эти теперь, думается мне, могут быть интересны лишь для истории того времени. Тогда это было не так. Наша Ниночка несколько лет спустя, случайно взяв во время каникул в Костине из моего шкафа «Речи и статьи», так ими увлеклась, что под влиянием прочитанного решила сделаться общественным агрономом, согласно чему по окончании гимназии она в университете пошла на агрономическую химию. Впрочем, пора мне вернуться к нашей заграничной поездке.

В Неаполе погода нам благоприятствовала. Мы осмотрели достопримечательности города, знаменитую зоологическую станцию Дорна, взбирались на Везувий, осмотрели Помпеи, съездили на Капри и, невзирая на сильное волнение, побывали в голубом гроте. Меня очень подмывало продвинуться дальше на юг в Пестум, где еще стоял тогда в большой сохранности древнегреческий храм с дивной колоннадой. Но мне надо было ко взносу акциза вернуться в Москву, мы были потому связаны временем и боялись к тому же разбросаться. Вскоре затем землетрясение разрушило этот единственный в своем роде памятник древнегре-

ческого зодчества. Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

При вторичном нашем приезде в Рим погода нас побаловала, и мы отлично провели время, целыми днями гуляя по городу, посещая памятники и музеи. Обычно мы обедали в своем отеле. После обеда, пользуясь удобным расположением гостиницы, проходили к закату солнца на Monte Pinchio, куда к этому моменту, как в Петербурге на Стрелку, выезжал весь римский фешенебельный свет. Тут же в парке среди зелени играли в своих ярких сутанах желтых, зеленых, фиолетовых, коричневых и других цветов – семинаристы разных национальностей и весьма различного возраста. В этот сезон, кроме игры в мяч и другие игры, было какое-то всеобщее увлечение, похожее на какую-то психическую эпидемию, игрой в «дьяболо». Дамы и мужчины, дети и старцы, светские и духовные то там, то здесь стояли в смешной позе, задрав голову и вытянув вверх руку, вертя отчаянно палочку, на которую надо было насадить какую-то штучку. Появилась даже от неумеренного увлечения этой игрой особая «профессиональная» болезнь! Когда солнце скрывалось, мы вместе со всей публикой спускались на знаменитое римское Corso, узенькую прямую улицу, в это время обыкновенно наводненную публикой. Но мы не всегда занимали места в кафе, как это обычно делается, а предпочитали часто проводить вечер в своем номере за чтением книг о Риме или сидеть в магазине фотографической фирмы Alinari, рассматривая и выбирая себе на память фотографии. Стоит сказать несколько слов об этих художественных фотографических фирмах, имевших мировую известность. Их было несколько. Надо думать, ими пересняты буквально все художественные и исторические памятники Италии, полностью и в деталях, с разных сторон и при разных освещениях. За 40 сантимов можно было купить фотографию любой картины, статуи, здания, даже вида, и что особенно было ценно, можно было купить детали. Фирмы эти издавали каталоги своих снимков, по которым можно было из Москвы выписывать фотографии, указывая лишь номера каталога. Я этим широко пользовался. Постепенно у меня образовалось большое собрание фотографий, которые мы наклеивали на картон и хранили в особо сделанных для того ящиках, как колоды карт. Рассматривание такой коллекции доставляло большое удовольствие. Бывало, кто-нибудь из знакомых попросит дать посмотреть наше собрание фотографий как-нибудь, когда нас дома не будет, чтобы им не стесняться нашим присутствием и нас не стеснять своим. И вот, сговорившись, София Яковлевна перед отходом из дома по-

стелит на обеденном столе сукно оливкового цвета, закажет Дуняше самовар со всеми к нему обычными приложениями – печенье, варенье, хлеб с маслом, сыр, а я поставлю на стол наши ящики с фотографиями и на всякий случай выложу из библиотеки разные справочные книги по искусству и по истории культуры, которые, по моим соображениям, могут потребоваться при рассмотрении фотографий. Нередко, возвращаясь домой после полуночи, мы заставали еще друзей наших за рассматриванием собрания. Тут пойдут обмены впечатлениями и воспоминаниями, споры о вкусах и многое еще другое, одним словом, разговоров часа на два...

Начало нашему собранию положила вывезенная нами из поездки в Рим и Неаполь коллекция. В ней был хороший подбор, между прочим, помпейских фресок. Раньше я был с ними знаком, как с чисто декоративного характера живописью. Я был неожиданно поражен в Неаполе и в Помпеях, найдя, что эти провинциальные репродукции великих мастеров Александрийской школы не чужды больших замыслов, высоко драматических и глубоко психологических мотивов. Сошлюсь хотя бы на Медею, воспроизведенную у нас в «Балладах-посланиях» Овидия (Памятники мировой литературы).

Быть ли вольному университету в Москве 7.XI.05 – 2.X.08

Альфонс Леонович Шанявский перед кончиной назначил душеприказчиками своими: профессора В. К. Рота, бухгалтера и доверенного своего И. Я. Волкова и меня. В учрежденную городской думой при принятии его пожертвования Комиссию по составлению устава Университета Альфонс Леонович от себя назначил: Л. А. Шанявскую, В. К. Рота, М. М. Ковалевского С. А. Муромцева, К. А. Тимирязева, В. Е. Якушкина, А. Н. Шереметевскую, А. Н. Реформатского, Н. В. Сперанского и меня. Городской думой, в свою очередь, уже после кончины Альфонса Леоновича были избраны в Комиссию: А. С. Алексеев, А. С. Вишняков, А. Н. Геннерт, М. Я. Герценштейн, кн. В. М. Голицын, А. И. Гучков, А. А. Мануйлов, Н. М. Перепелкин, С. В. Пучков и И. К. Спижарный. Попечительный совет образован был в следующем составе: по назначению Альфонса Леоновича: Л. А. Шанявская, В. К. Рот, С. В. Сабашников, М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, К. А. Тимирязев, А. Н. Шереметевская, А. Н. Реформатский, Н. В. Сперанский и я, а по избранию городской думы: В. А. Морозова, гр. Е. А. Уварова, А. С. Алексеев, А. А. Мануйлов, кн. В. М. Голицын,

кн. Е. Н. Трубецкой, А. С. Вишняков, Н. М. Перепелкин, С. А. Федоров, Н. М. Кулагин.

На эти лица легла ответственность за осуществление в Москве вольного университета. Это им удалось. Справедливость при этом требует отметить выдающуюся роль Лидии Алексеевны в борьбе за разрешение университета и исключительную помощь, оказанную делу всем русским обществом. Перед самым началом великой войны какой-то американский миллиардер, желая пожертвовать значительные средства на материальное обеспечение какого-нибудь общеполезного учреждения, созданного всецело и исключительно силами русского общества, наводил под рукой через своих знакомых справки о тех предприятиях, которые отвечали бы этим условиям и заслуживали бы поддержки. Доверенные этого миллиардера выдвигали Университет Шанявского, к тому времени уже несколько лет функционировавший и обзаведшийся собственным зданием на Миусской площади. И, думается мне, они намерены были поступить по всей справедливости, ибо поистине можно сказать, что Университет Шанявского зародился, возник и существовал только в силу горячего сочувствия его задачам всего русского общества.

В брошюре Н. В. Сперанского «Возникновение Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского. Историческая справка. Москва, Городская типография, 1913» живо рассказано, с какими затруднениями пришлось встретиться при открытии Университета. Я не вижу смысла пересказывать здесь эту интересную и коротенькую книжечку. Добавлю к ней лишь несколько штрихов и личных наблюдений.

Альфонс Леонович в своем завещании, предвидя обычную у нас волокиту, отказывал все свое состояние (сверх пожертвованного им еще при жизни арбатского дома) в пожизненное владение Лидии Алексеевны, а по смерти ее – Университету, с одной весьма важной оговоркой: в случае, если университет не будет открыт в трехлетний срок после его заявления, т. е. к 3.X.08 г., то средства, им завещаемые, должны поступить Петербургскому женскому медицинскому институту[22]. И этого трехлетнего срока едва-едва хватило, так как открытие Университета состоялось только накануне рокового для начинания Шанявских дня, т. е. 2.X.08.

В оставленных Лидией Алексеевной бумагах сохранились следы ее неутомимых и настойчивых перед петербургскими сферами «демаршей», как говорили в светском обществе, избегая слов «хлопоты» или еще хуже, «ходатайства», вносивших представление как бы о личной заинтересованности. В действительности

большой разницы не было, и так называемое «общее благо» приходилось отстаивать в Петербурге теми же приемами, какими любой предприниматель домогался нужных ему концессий, ссуд, тарифов и проч. Попросту говоря, помимо официального направления дела надобно было его «продвигать», «обивая пороги». Однако облекалось это «хождение» в весьма благообразные, светские формы. Стоит приглядеться к этой пачке писем, билетов, черновиков, памятных записок, визитных карточек, расписок, оставшихся после этой нервной, напряженной, неблагодарной, в сущности, работы.

Итак, посмотрим. Министр народного просвещения Шварц собственноручным письмом лицемерно заверяет Лидию Алексеевну, что не имеет никаких «злокозненных» намерений относительно Университета имени ее супруга. При этом он норовит обратить против своего предшественника по министерству П. фон Кауфмана спешность, с которой тот продвигал дело Университета: «Немудрено, – замечает Шварц, – что получились несообразности, побудившие пересмотреть положение».

Канцелярия Министерства внутренних дел (П. А. Столыпина) извещает Лидию Алексеевну о назначении приема у министра в Елагинском дворце на субботу 14 июня 1908 г. от 2 до 4-х часов. Тут же извещение об отмене назначенного приема. Наконец, новое извещение о перенесении приема с субботы на понедельник 16 июня 3 часа дня. Визитная карточка: «Петр Аркадьевич Столыпин», большая, косым жирным шрифтом, без каких-либо указаний должности, адреса и проч., очевидно, присланная с курьером вместо ответного визита, свидетельствует, что свидание с Председателем Совета Министров состоялось и что он принял Лидию Алексеевну как особу своего круга.

Далее идет обработка членов Государственной Думы и Государственного Совета. В поддержке Государственной Думы нельзя было сомневаться. Но важно было обратить внимание Думы, что ввиду крайне ограниченного срока всякое изменение в уставе, даже самая благожелательная поправка, может повлечь серьезные последствия. Лаконическое письмо В. А. Маклакова, члена Думы от Москвы, кадета, лучшего оратора Думы, как бы успокаивает в этом отношении:

«Многоуважаемая Лидия Алексеевна,

я совершенно согласен с Вами и со своей стороны употреблю все меры, чтобы Дума именно так посмотрела на это.

Преданный Вам В. Маклаков».

Другое дело Государственный Совет. Здесь потребовалась большая работа. Мобилизованы были все связи, знакомства, не забыты были и жены сановников. Вот доброжелательница сообщает, что, по мнению ее мужа, «следует поговорить с Нейдгардом; он крайне влиятелен среди своей партии, которая будет голосовать, как он пожелает, ...его считают очень неглупым человеком, на которого те или другие доводы могут подействовать». Относительно князя П. Н. Трубецкого та же доброжелательница уведомляет, что он, вне всякого сомнения, будет голосовать за Университет. Тем не менее посетить его, по мнению ее мужа, «было бы нелишним», раз Лидия Алексеевна обращается к другими правым членам Государственного Совета.

Не кто иной, как А. Ф. Кони, пишет Лидии Алексеевне, советуя составленную ею записку об Университете не рассылать по членам Государственного Совета, а лично вручить в количестве 50 экземпляров кн. П. Н. Трубецкому при посещении его, с просьбой раздать членам Совета.

При личном обращении к аргументам, по существу изложенным в упомянутой записке, присоединяются еще доводы, рассчитанные на то, чтобы произвести впечатление на собеседника, доводы ad hominem*, как говорится. Так, по-видимому, С. М. Лукьянову Лидия Алексеевна намекает, что в случае опоздания в открытии Университета неизбежная передача завещанных Альфонсом Леоновичем средств от Московского университета Петербургскому женскому медицинскому институту вызовет большое раздражение в Москве и усилит оппозиционное настроение первопрестольной.

С удивлением усмотрит обозреватель этой пачки, что Лидия Алексеевна личным своим посещением П. Н. Дурново сумела вырвать у этого столпа правых обещание не выступать в Государственном Совете против Университета. Так когда-то она добилась от К. П. Победоносцева обещания не явиться на заседание, на котором должна была решаться участь Женского медицинского института. На этот раз Лидия Алексеевна, по-видимому, надеялась даже, что Дурново на заседании правой фракции Государственного Совета предложит предоставить членам фракции свободу голосования по этому вопросу. Однако П. Н. Дурново накануне заседания Государственного Совета, надо думать, после заседания фракции своей освободил себя от

---

* ad hominem (лат.) – доказательство, рассчитанное на чувства убеждаемого.

данного им обещания следующим характерным письмом, приводимым мною дословно:

«Милостивая государыня Лидия Алексеевна, несколько дней тому назад Вам угодно было посетить меня, и во время нашей беседы о народном университете я сказал Вам, что не буду говорить в заседании Государственного Совета по этому делу. Очень сожалею, что мне приходится в настоящее время изменить свое первоначальное предположение, и я считаю себя обязанным сообщить Вам, что завтра намерен представить Государственному Совету свои соображения по интересующему Вас делу – соображения мои склоняются к тому, чтобы проект был отвергнут. Пожалуйста, не посетуйте на меня за такое мое намерение и благоволите принять уверения в моем совершенном почтении и преданности. 17 июня»

П. Дурново

Собственно говоря, это письмо не требовало ответа. Но не в интересах Университета было оставлять впечатление разрыва отношений, и сохранился собственноручный черновик ответа Лидии Алексеевны:

«Только что вернувшись от всенощной, получила Ваше письмо – очень мне прискорбно Ваше решение, но каждый человек поступает по своему убеждению, и мне остается Вас поблагодарить за Ваше рыцарское предупреждение: «Иду на Вы с войной».

С глубоким уважением и совершенной преданностью».

Здесь каждое слово взвешено. Упоминание о всенощной должно было напомнить, что задуман Университет не безбожниками какими-нибудь или евреями, а признание «рыцарства» имело, насколько еще было возможно, смягчить остроту предстоявшего выступления против Университета.

Хлопоты Лидии Алексеевны в С.-Петербурге увенчались успехом. Положение о Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского благополучно прошло и Государственную Думу и Государственный Совет. Вот как она извещала о сем радостном событии В. К. Рота письмом, помимо посланной, конечно, телеграммы.

«Только сейчас выдалась свободная минутка написать Вам. Вчера употребила весь день на принесение благодарности главным защитникам нашего дела. Еще вчера друзья наши не были уверены, что мы не потерпим поражения. Но нас спасли: во-первых, Столыпин перед заседанием Государственного Совета,

переговоривший со Шварцем (несколько слов неразобрано), и, во-вторых, Лукьянов, отбивший в тот же вечер у правых большую часть их голосов горячей часовой речью на собрании фракции, а также Таганцев, все время за нас неутомимо орудовавший, Кони с его теплой речью и даже Аничков, не говоря уже о Ковалевском, сказавшем очень понравившуюся речь.

Подробности, довольно интересные, расскажу при свидании. Еду в Москву и надеюсь побывать у Вас в Бесове*, списавшись с дорогой Аделаидой Карловной**. Могу по совести прибавить, что главным аргументом за нас явилась наша с Вами, дорогой Владимир Карлович, репутация людей, достойных доверия, что я имела удовольствие слышать от многих...»

Пережив реакцию трех царствований и на своем хребте, невзирая на все оказываемое реакцией сопротивление, протащив к жизни не одно крупное просветительное начинание, Лидия Алексеевна считала естественным просить о праве делать добро и благодарить в тех редких случаях, когда это право предоставлялось. На этой почве у нее чуть было не вышла даже размолвка с некоторыми деятелями Университета, когда она хотела было возбудить вопрос о посылке телеграммы Столыпину по случаю открытия Университета. Случай этот получил отражение в переписке ее с Н. В. Сперанским. Она до конца дней своих питала благодарность к Столыпину за непротивление его учреждению Университета. Много лет спустя, передавая мне продиктованные ею в Чернигове воспоминания свои, она заклинала меня, в случае печатания этих воспоминаний, не исключать из них нескольких благодарственных слов ее по адресу Столыпина.

Положение об Университете получило силу закона 26 июня 1908 года в Питкопасе, когда «на подлинном собственною его императорского величества рукою написано» было: «Быть по сему». Даже после этого Шварц еще раз наложил было свой тормоз, не признав ранее, 13 июня 1906 г., избранный Попечительный совет с его председателем, несмотря на то, что выборы в свое время не были опротестованы градоначальником, который официально даже разъяснил, что не встречает препятствий к вступлению избранных лиц в отправление обязанностей членов Попечительного совета. Но в данном случае тормоз министра народного просвещения уже был бессилен. Дума перебаллотировала своих представителей в Попечительный совет; Совет переизбрал проф.

* Именье-дача В. К. Рота под Каширой. – *Примеч. М. В. Сабашникова.*

** Аделаида Карловна Рот.

В. К. Рота своим председателем, который и был утвержден министром 2.IX.08.

Оставался ровно месяц на организацию преподавания. Правление (сконструированное 3.IX.08 в составе: председателя Н. В. Давыдова, Н. И. Астрова, Н. М. Кулагина, А. Н. Реформатского, Н. В. Сперанского, В. М. Хвостова и несколько позже П. А. Садырина) сумело с честью справиться с выпавшей на него задачей. 1 октября 1908 года в помещении городской думы было отслужено, как полагалось в то время, молебствие и состоялся акт открытия Университета. Актовую речь произнес профессор П. Г. Виноградов. На следующий день, 2-го октября, накануне рокового срока, прочтена была первая лекция А. Ф. Фортунатовым.

За протекшие два с лишком года не признанный впоследствии Шварцем Попечительный совет занят был не одними заботами об уставе Университета. Для того чтобы показать объем деятельности совета за это подготовительное время, привожу здесь несколько вырезок из «Русских ведомостей» с отчетами о заседаниях Совета. Заседания происходили в здании городской думы несколько раз, в громадном же большинстве случаев у меня на квартире, что давало возможность принимать в них участие и больному брату Сереже.

Народный университет и народное хозяйство

Последнее заседание попечительного совета университета Шанявского, на котором сверх членов совета присутствовали приглашенные в качестве консультантов профессора П. П. Петров и Я. Я. Никитинский, представляло выдающийся интерес. Предметом обсуждения служила организация проектируемого при Университете химического института, на который, кроме общих средств Университета, должно пойти сделанное В. А. Морозовой пожертвование в 50 000 рублей.

Докладчиком явился член совета, директор практической академии, приват-доцент А. Н. Реформатский. Определяя задачи нового учреждения, докладчик развивал ту мысль, что институт этот не должен ограничиваться одними учебными целями в узком смысле слова. В России давно назрела потребность в лабораториях для вольных работников в области химических вопросов, и на потребность эту не раз указывалось в печати. [...] «А потому, – так заключил докладчик, в вольном народном университете от города Москвы, центра России, надо создать такой химический институт, где бы могли найти себе приют не только начинающие

изучение химии, но и ученые химики-теоретики и химики-практики. Надо создать институт, куда бы мог прийти всякий желающий работать, куда бы могли обращаться за разрешением своих вопросов с химической их стороны (по водоснабжению, вентиляции, канализации и т. п.) общественные учреждения (города, земства), куда бы мог обратиться русский самоучка-изобретатель и вообще всякий русский гражданин, нуждающийся в могучем содействии нашей науки». [...]

Председатель совета проф. В. К. Рот, со своей стороны, указал, что все высказанные идеи находятся в строгом соответствии с намерениями обоих жертвователей А. Л. Шанявского и В. А. Морозовой. «Я считаю, что в переживаемое нами тяжелое время одной из главных наших задач должно являться привлечение симпатий широких масс народа к науке и просвещению», – так писал в своей записке, поданной в Думу, сам А. Л. Шанявский. А чем же наука может успешнее привлечь к себе симпатии народных масс, как не помощью, которую она им окажет в труде их ради снискания куска хлеба. В. А. Морозова (член совета), присутствовавшая на заседании, подтвердила, что она сама всецело разделяет высказанные докладчиками взгляды.

В таком смысле и состоялось единогласное постановление совета. Обсуждая далее экономическую сторону дела, совет нашел, что если своевременное утверждение устава Университета (на которое после известных мероприятий Министерства народного просвещения остается мало надежд) не предоставит в его распоряжение сумм, имевших перейти к городу Москве по завещанию А. Л. Шанявского, то у городского университета не скоро соберутся в руках средства, необходимые для надлежащего оборудования подобного института. [...]

(«Русские ведомости»)

Народный университет А. Л. Шанявского

Как вчера уже сообщалось в «Русских ведомостях», Московская городская Дума, поставленная перед альтернативой потерять имущество, условно завещанное г. Москве А. Л. Шанявским, или изменить проект положения о народном университете согласно требованиям нового министра народного просвещения, избрала второй путь и внесла в проект указывавшиеся ей министром изменения. Сделала она это скрепя сердце, при громком ропоте даже самых консервативных гласных, возмущенных такой

политикой министерства. Но согласиться ей пришлось, ибо «жестоко есть противу рожну прати». При этом она, однако, сочла своим долгом оговорить, что «если в дальнейшем жизнью будущего университета будет указана необходимость освобождения от стеснительных требований, которые ныне к нему предъявляются, то городское управление сохранит возможность добиваться нового изменения положения в смысле расширения прав университета». [...]

Всякий, кто помнит, как протекала в Москве зима 1905 – 1906 г., а кто же этого не помнит? – поймет, почему московское городское общественное управление смогло выработать и утвердить положение о народном университете лишь к лету 1906 г. Да и зачем город стал бы чрезмерно торопиться? Ведь осторожный жертвователь дал ему на осуществление своей воли целых три года. Но перед лицом бюрократии и три года могут оказаться «яко час един».

Утвержденное Думою «Положение» опротестовывается Особым по городским делам присутствием и начинает... лежать. Четыре месяца лежит оно в московских канцеляриях... Хлопоты и оно переправляется в Петербург, чтобы лежать в канцелярии Министерства внутренних дел... Так протекает половина данного жертвователем срока. Весной 1907 г. удается, однако, сдвинуть «положение» с мертвой точки. Министерство внутренних дел с благоприятным заключением препровождает его в Министерство народного просвещения. Министр народного просвещения, дополнив знакомство с делом по документам личными беседами с вдовой и душеприказчицей жертвователя Л. А. Шанявской, находит возможным дать обещание, что с некоторыми указанными им изменениями оно будет внесено правительством в Государственную Думу. Вторая Дума во время этих переговоров оказывается распущенной[23]. Надобно ждать созыва третьей. Тем временем одобренное министром положение опять лежит по необходимости без всякого движения. Но вот наконец собирается третья Дума и приступает к занятиям. Нельзя не отдать при этом справедливости и министерству, и думской образовательной комиссии под председательством г. фон Анрепа. Они делают все от них зависящее, чтобы предотвратить скандал, ибо нельзя же не назвать скандалом, если окажется, что за три года правительство не успело дать г. Москве возможности воспользоваться полученным ей было щедрым даром. Комиссия признает министерский законопроект об Университете имени Шанявского спешным, безотлагательно его обсуждает, делает кое-какие изменения, и долго-

терпеливое «положение» оказывается на думской повестке, чтобы стать предметом обсуждения в пленарном заседании Думы. Дело как будто близится к благополучному окончанию. Но entre la coupe et les lèvres il y a assez de place pour un malheur*, а в тот самый день, когда законопроект об Университете Шанявского должен был обсуждаться с думской трибуны, новый министр народного просвещения г. Шварц заблагорассудил потребовать его обратно в министерство. [...]

Всякому российскому обывателю достаточно известен горький смысл истинно русского слова «волокита». Достаточно ему известно и то, что у бюрократии нет более удобного орудия для пресечения живой жизни, для пресечения бодрого частного почина в общественных делах, чем «канцелярская волокита». Нет той энергии, которую это «волокита» была бы не способна взять измором. [...]**

Но мы, конечно, первые выразили бы живейшую радость, если бы подобные невольные подозрения оказались совершенно неосновательными. Министр народного просвещения, имеет, несомненно, полную возможность очень быстро их рассеять. Он может многое сделать в данном случае для гор. Москвы одной своей властью и до принятия законопроекта в Государственной Думе. Так будем же надеяться, что гор. Москве не придется поминать этого старого москвича только лихом.

Asper***

(«Русские ведомости», № 81, воскресенье, 6.IV.1908 г.)

Кончина Сережи 22.III.1909 г.

Зима 1908-9 гг. прошла для Сережи плохо. Неоднократно бывали внезапные вспышки температуры, свидетельствовавшие о новой активизации гнойного процесса. Сережа, однако, продолжал вести по-прежнему весьма деятельную жизнь, руководил конторскими делами, читал рукописи для издательства, держал корректуры, много и серьезно читал, беседовал с посещавшими его друзьями по занимавшим их вопросам. Но значение тревожных болезненных симптомов ему было ясно. Раз как-то, когда мы с ним были одни на квартире, он меня подозвал к себе и тихо, но

* Между бокалом и губами достаточно места для несчастья (фр.).

** Знаком [...] отмечены купюры в тексте обеих заметок, большой объем которых помешал привести их полностью.

*** Аспер, по-видимому, А. В. Сперанский.

твердо сказал, что, в случае какого-нибудь ухудшения в его здоровье, он просит предоставить все собственному течению, не «спасать» его и не предпринимать операций. «Довольно, я больше не могу и не хочу. Это совершенно серьезно, и ты это знай и этим руководись», – кончил он. Трагическая развязка наступила, однако, внезапно. 21.III поздно вечером в постели Сережа держал трудную корректуру брошюры Зиммеля «Религия», а утром 22-го внезапно в постели же скончался от паралича сердца, вызванного гнойником в мозгу. «Exitus!* – мог только сказать доктор А. И. Бродский, вызванный к больному.

Сережа был самым значительным членом нашей семьи. И по природным дарованиям, и по подготовленности своей к жизненной деятельности. Даром что он был из нас самый младший. Быть может, даже именно благодаря этому. В самом деле, между сестрами и Федей разница в годах была недостаточно значительна. По кончине родителей сестры не представляли для Феди безусловного авторитета. Мы же с Сережей в детские годы всецело росли под влиянием сестер. Когда подошли годы юности, перелома характера и обычных проявлений строптивости, мы уже были до некоторой степени дисциплинированы. Федя же такой тренировки не получил.

Исключительно благотворно было для Сережи влияние Николая Васильевича Сперанского, встречу и постоянное с юных лет общение с которым надо считать главной, быть может, единственной, несомненной и значительной удачей в этой так несчастливо сложившейся жизни…

С Катей, с которой Сережа был очень похож лицом, у него было много общего в характере. Ясное, реалистическое мышление. Исключительная строгость к себе. Чрезвычайная добросовестность. Твердость в решениях. Постоянство в отношениях. Его впечатлительность, музыкальность и некоторая нервная возбудимость роднили его с Ниной. У него не было того внешнего блеска, которым умел при первом знакомстве обворожить Федя, вызывая нередко в первую половину жизни своей восторженные восклицания: «Какой многообещающий молодой человек!», а во вторую: «Как жалко, что Федор Васильевич так плохо окружен!» Жизнь Сережи пресеклась на тридцать шестом году. Прожив на тридцать лет больше его, я должен признать, что Сережа сумел больше моего проявить свою личность и отразить ее во внешнем мире. А ведь жизнь в этом и состоит!

* Конец! (лат.).

Очень жалко, что не сохранилась переписка Сережи с Николаем Васильевичем. По случайно сохранившимся нескольким письмам Сережи к А. И. Чупрову можно судить о ее значительности. В «Союзе Освобождения» и в Московской городской думе Сережу сразу оценили Петрункевич, Новосильцев, Герценштейн, Долгоруков, Якушкин, Кокошкин, Львов, Муромцев, Щепкин. Кроме ясного ума, положительности, работоспособности и основательного образования, в нем ценили еще редкий в такие молодые годы деловой опыт, полученный им в Костине, на голоде и холере, на антаевской переселенческой операции, на Любимовском заводе и на сибирских предприятиях.

Глава 8

БЕЗ СЕРЕЖИ (1909 – 1914)

Памятник на могиле Сережи

Для памятника на могиле Сережи мы обратились к скульптору Андрееву, автору гоголевского памятника на Пречистенском бульваре[1], а впоследствии памятника Островскому на Театральной площади. Сережино надгробие ему удалось, а барельеф все находили передающим черты брата[2]. Надо при этом сказать, что на таком грубом материале, как серый крупчатый финляндский гранит, наши великорусские лица, лишенные резких черт, конечно, передаются нелегко. Андреев долго работал над барельефом. Делал его в гипсе, отливал в бронзе раньше, нежели высекать в граните. Мы с Софией Яковлевной часто бывали в его мастерской. Он приглашал и сестер моих, желая уловить фамильные особенности в наших лицах. Мастерская Андреева находилась в Старо-Конюшенном переулке на Арбате, в обширном владении Орлова, в глубине двора, и к ней вела чуть заметная тропинка. Перед самой мастерской были разбросаны обломки каменных глыб, среди которых высоко разрослись лопухи. В двух шагах от арбатской пыли и сутолоки это производило освежающее впечатление. Раз как-то зимой мы переходили этот двор, направляясь в мастерскую, среди сугробов снега. Два рабочих громадными молотками разбивали в куски наваленные в снежные кучи гипсовые головы, среди которых я признал громадный бюст Льва Николаевича Толстого, незадолго перед тем так понравившийся мне на вечере в память Льва Николаевича в Большом зале консерватории. Войдя в мастерскую, я сказал художнику, что в снег на разлом, очевидно, по ошибке, вынесен и бюст Толстого. «Да что же мне с ним делать? Ведь такие этюды меня из мастерской выживут!» Я так энергично защищал бюст от уничтожения, что получил его в подарок и на следующий же день водворил его у себя на квартире. Все бывавшие у меня любовались этим эскизным бюстом. Места

он, однако, действительно занимал много. Когда Университет Шанявского построил себе собственное здание, я подарил бюст этот Университету. Он был установлен на высоком деревянном постаменте в верхней аудитории, которую и стали называть по бюсту Толстовской.

Мне казалось, что бюст таких размеров и такой выразительности будет очень эффектен на воле, где-нибудь, например, в костинском парке. Я говорил с Андреевым о заказе такого бюста из какого-нибудь материала, выдерживающего влияние погоды, но почему-то план установки бюста в костинском парке не состоялся.

Вскоре затем мне пришлось посещать мастерскую другого московского скульптора, Волнухина. Для вестибюля нового здания Университета Шанявского ему был заказан бюст Альфонса Леоновича Шанявского. Мне думалось, что в Университете надо поставить двойной бюст или высоковыпуклый горельеф обоих супругов Шанявских, соединенных в одной общей композиции, как во многих римских надгробиях, иногда очень выразительных и значительных. Но уговорить Лидию Алексеевну не представлялось возможным. Заказ был дан Волнухину по ее желанию, так как ей очень нравился его Иван Федоров у Китайской стены.

В подобных случаях в суждениях близких людей бывает большая разноголосица относительно сходства художественного изображения, будь то портрет, рельеф или бюст. Мне припоминаются горячие дебаты, которые велись в комиссии по сооружению памятника на могиле С. А. Муромцева, председателя Первой Государственной Думы. Когда Трубецкой представил нам в гипсе свой бюст Муромцева для этого памятника, то многие находили его недостаточно похожим. Н. В. Тесленко так прямо высказывался за то, чтобы отвергнуть проект Трубецкого. Серову и князю Щербатову пришлось энергично выступить в защиту работы Трубецкого, украшающей теперь кладбище при крематории, при бывшем Донском монастыре. Это одна из лучших в Москве скульптур, а сколько она тогда вызвала волнений! Правда, Трубецкой в своем бюсте, если можно так выразиться, передал преимущественно европейскую, западную сторону головы Муромцева, не отобразив одновременное существование в этой красивой, с правильными и строгими чертами голове ее азиатскую восточную сторону. Кто знавал лично Муромцева, конечно, замечал, как иногда неожиданно выступали в его лице монгольские какие-то черты. Но в памятнике первого председателя

Первой Государственной Думы такая европеизация была, пожалуй, уместна: ведь Дума означала победу западничества не только над азиатчиной, [...]*.

Приезд брата Феди и посещение Сетуни

Вскоре после установки памятника на могиле Сережи в Москву неожиданно приехал брат Федор. Последние годы он проживал под Варшавой у двоюродного брата нашего Ивана Михайловича Сабашникова, старшего врача (директора) психиатрической лечебницы в Творках. После катастрофы с Сережей мы с ним совершенно не виделись, и эта новая встреча была тягостна для нас обоих. Федя пожелал съездить вместе на могилы наши в Сетунь. Памятна мне эта поездка. Мы ехали на извозчике в глубоком молчании, прерывая его время от времени безразличными замечаниями о переменах в окрестностях, происшедших со времени нашего детства, когда мы, бывало, этой дорогой ездили на дачу в Жуковку. О Сереже не говорили... Оставив извозчика в стороне от церкви, мы подошли к ней пешком. Вид старых отцовских могил и стоящего рядом с ними нового памятника вывел Федю из состояния равновесия, в котором он старался до того держаться. Мы долго оба рыдали, но не было между нами единения. Наконец, ища какой-то исход, Федя предложил отслужить панихиду. Священник был новый, псаломщик же тот самый, что был при отце и что виден на фотографии могил того времени. После панихиды Федя, с юности проникнутый эстетизмом, сказал несколько слов похвальных новому памятнику, изящество и простота которого ему импонировали. Выходя из ворот сетуньской церкви, Федя сказал, что в Варшаве городское кладбище находится в предместье Воля и что там, *на воле*, ему и суждено лечь на вечный покой.

На обратном пути Федя много говорил, видимо, желая подойти к вопросу, который он хотел мне задать, но не решаясь это сделать. При встрече с Катей за границей он уже спрашивал ее, считаем ли мы его виновным, конечно, неумышленным, но все же в какой-либо мере, хотя и невольным виновником в катастрофе, разразившейся над Сережей. И всегда правдивая и прямая Катя высказала ему свое осуждение. И теперь, ожидая, что Федя и мне готовится задать тот же вопрос, я никак не мог остановиться на формулировке ответа. Беспомощный перед неизбежной и в то же

* Далее часть текста утрачена.

время бесполезной его жестокостью. При пересечении двух шоссе, Можайского и Рублевского, Федор, проведя рукой в направлении убегающего к Москве Рублевского шоссе с его красивой перспективой и белой шатровой Троицкой церковью в глубине ее, предложил свернуть в Кунцево. Очевидно, разговор был неизбежен, и Федор желал провести его до возвращения в город. В Кунцеве мы долго молча ходили по тенистым дорожкам и сидели на скамейке у обрыва над рекой. Перед нами расстилалась излучина Москвы-реки с заливными лугами на той стороне и обнимающим их как в объятиях лесистым нагорием нашего берега. Какое там на лугу бывало оживление в сенокос, когда сотня-другая косцов в красных рубахах пересекали рядами всю луговину, и при каждом взмахе сверкали и звякали их косы. Когда мы проходили по широкой дорожке, обсаженной желтой акацией, около главного дома, Федор наконец решился и сказал, что имеет задать мне важный вопрос. Мы остановились. Наступила тишина необычайная. Я слышал биение крови в ушах да потрескивание лопающихся стручков акации, разбрасывающей кругом свои семена. Вопрос наконец был задан, и я мгновенно дал тот ответ, которого никак не мог при всех усилиях мысли заранее приготовить. Это вышло как бы экспромтом: «Я сам себя виню в том, что допустил это злосчастное свидание Сережи с Валле с глазу на глаз, тогда как при малейшей предусмотрительности надо было обставить его свидетелями и, главное, самому на нем быть, тебя же я виню в том, что своей неискренностью и вздорными мечтаниями ты всех окружавших тебя и связанных с тобой вводил в заблуждение относительно твоих дел и подавал повод к неосновательным каким-то ожиданиям, вмешивая при этом нас с Сережей и ставя нас в какое-то ложное положение в глазах этих людей».

Больше мы к этому вопросу никогда не возвращались. Да это было и последнее свидание с Федей. Вернувшись в Варшаву, он нашел приглашение от своего друга Пиуматти приехать пожить в Турин, куда вскоре затем он и поехал. Я посылал ему туда небольшую ежемесячную пенсию, пока война не прервала всякие сношения. Избранный городом Турином в почетные граждане за издание рукописей Леонардо да Винчи, он во время войны пользовался бесплатным пенсионом от этого города. Он умер в Турине 17.IV. 1929 года и погребен там же[3].

Федя был человек незаурядных способностей. В лучшие его годы редко кто, встретившись с ним впервые, не подпадал, по первому впечатлению, его обаянию. Многие остались преданными ему друзьями и тогда, когда он уже как личность находился в

упадке. Не только любвеобильный и благодушный Иван Михайлович Сабашников или благодарный ему товарищ его по работе над Винчи Пиуматти, но и такой разборчивый и строгий к себе и к людям человек как Валентин Евгеньевич Дубовской или чуткая и чувствительная Марианна Ивановна Дубовская, они и многие другие находили интерес в общении с Федей даже в те годы, когда со стороны можно было бы думать, что они оказывают ему внимание только из жалости.

В характере его было что-то женское. Он необыкновенно чутко улавливал настроения окружающих и с большой тонкостью умел подходить к ним и понравиться. Но он не склонен был принимать на себя хотя бы малейшую обузу ради того, чтобы удержать за собой столь легко полученное расположение. Ему скучно было преодолевать неизбежные во всяком деле технические трудности, и потому он часто оставался как бы дилетантом, пасуя иногда перед невежественной бездарностью. Чрезвычайно самолюбивый, он чаще бывал побуждаем своим самолюбием к тому, чтобы воздержаться из боязни неудачи от того или иного выступления, нежели к тому, чтобы сделать максимальное усилие для достижения успеха. По какой-то странной застенчивости, затевая какое-нибудь дело, он был способен иногда положиться на первого услужливого знакомого или прислушиваться к советам случайных встречных, чем обратиться деловым образом к авторитетному специалисту. Чрезвычайно импульсивный, он в лучшее свое время был притом находчив, ловок и смел. В детстве дважды спас он меня от утопления, вытащив из воды в последнюю, можно сказать, минуту. Уже в зрелом возрасте бесстрашно бросился он в Неаполе в море спасать упавшего в воду при переходе с парохода в лодку Егора Ивановича Барановского, рискуя быть раздавленным бившимися друг о друга от волнения судами. Он имел пристрастие к азартным, рискованным делам, где успех ожидается преимущественно от случая, а не от работы, и где опасность побуждает к максимальному напряжению.

Фатально для него сложилось так, что за смертью отца и двух старших братьев он оказался старшим мальчиком в семье. Не менее роковой оказалась для него его почти детская попытка к самоубийству. Отрицательную роль сыграла и полная его материальная обеспеченность: не было стимулов тренироваться в работе, создалась привычка считать себя в исключительном положении. Брак с умной женщиной, которая имела бы на него влияние, мог бы компенсировать эти ущербы. Я уверен, что Федя был бы в таком случае хорошим семьянином. Но несмотря на то, что

мальчиком и юношей он, по-видимому, многим нравился и обычно имел успех в женском обществе, мне неизвестно, была ли у него серьезная и длительная привязанность. Во всяком случае, он жил всегда холостяком. Не знаю, когда стал он пить. В последний период его жизни алкоголь сделался настоящим бичом его, сокрушавшим его могучий организм и разлагавшим его волю. Прекрасно зная пустоту и ничтожество окружавших его в Париже господ, он давал им себя эксплуатировать, цинично считая, что другие, возможные на пьяное дело товарищи, окажутся не лучше. И эта топь все глубже и глубже затягивала его в себя, побуждая лучших его друзей сторониться, чтобы как-нибудь не быть вовлеченным в нее тоже.

Хотя Федя ни в чем себе, казалось, не отказывал, много путешествовал и жил в Париже, в те годы бесспорном мировом центре наук, искусств и общественной жизни, жизнь его прошла как-то неярко. Им с Пиуматти было задумано и начато большое культурное дело, самим своим началом создавшее ему почетную известность. Оно могло бы дать жизни Феди громадное внутреннее содержание, как сотрудничество в нем скрасило жизнь его друга Пиуматти. Но несчастное тяготение к алкоголю и компания беспутных завсегдатаев, окружавшая его в Париже, лишили его выгод его положения. И получилась несообразность, столь обычная в жизни. Имея громадные и разнообразные возможности, он ими не воспользовался и жизнью удовлетворен не был. Лично знавшие его люди сожалели о нем, а для незнавших его лично он был уважаемым исследователем и издателем гениального генуэзца, таким и останется для будущих поколений.

Много лет после написания этих строк, уже в 1940 году, мне указали на следующее упоминание о брате во вновь вышедшей советской детской книге: «В 1868 году граф Манцони разыскал и приобрел рукопись Леонардо под названием «Кодекс о полете птиц». По смерти Манцони эту рукопись купил русский издатель Ф. В. Сабашников и в 1893 году напечатал ее, а подлинную рукопись подарил городу Винчи, родине гениального Леонардо». (Г. Котельников. История одного изобретения. Детиздат, ЦК ВЛКСМ, 1939, стр. 19).

Сережино наследие

Я рассказал (гл. VII), как брат Сережа в день своего ранения составил завещание в мою пользу. С тех пор у нас с ним не было разговоров об этом, и после его смерти я оказался единственным

его наследником. Я не думал воспользоваться этим наследством единственно для себя лично, решив поделиться с сестрами и, кроме того, выделить более или менее значительную часть на создание какого-нибудь общеполезного учреждения.

В день похорон, идя за гробом по Можайскому шоссе, я подходил по очереди то к тому, то к другому из провожавших тело до Сетуни (мужчины все шли пешком всю дорогу) и поделился этими моими намерениями с сестрами, с Николаем Васильевичем Сперанским и Евгением Евгеньевичем Якушкиным, прося их оказать мне содействие в предполагаемом начинании. Николай Васильевич тут же посоветовал мне привлечь к обсуждению моего плана шедшего с нами брата его Сергея Васильевича, что я поспешил исполнить, зная Сергея Васильевича как исключительно умного и знающего человека. Привлек я также и Сашу Чупрова.

Мы с братом Сережей не делились и ко дню его кончины владели совместно как Любимовкой, так и Костиным на равных началах. Выделение теперь же более или менее значительной части из его половины представляло собой поэтому задачу довольно сложную. Конечно, ввиду образования (в 1908 году) на Любимовском предприятии акционерного общества, было довольно просто передать сестрам часть акций, чем разрешалась бы половина задачи. Но учреждение какого-либо научного или просветительного учреждения требовало наличных денег, т. е. реализации имущества всего или части его. Совершить эту реализацию притом нужно было, не подвергая своей половины обесценению или риску, связанному с появлением в товариществе неподходящих, чуждых людей. Во всяком случае, надо было предварительно дать Любимовке оправиться от потрясений последних революционных лет. Таким образом, предвиделось, что на выполнение моего плана потребуется несколько лет.

В наших последующих беседах о выборе общеполезного предприятия выдвигались между прочими следующие предположения: создание в Москве общественной библиотеки при Университете Шанявского, преобразование нашего издательства на началах общественных, наподобие Zeis Stiftung в Иене*, создание кооперативных курсов; Сергей Васильевич выдвигал план учреждения электроэнергетической станции в одном из текстильных районов.

---

* Мировой известности фабрика микроскопов и других оптических приборов. –*Примеч. М. В. Сабашникова.*

Исподволь я стал готовиться к преобразованиям этим, что отразилось в сохранившейся моей деловой переписке. К 1914 году завод находился в полном расцвете, и, казалось, наступил момент, благоприятный для его реализации. Весной этого года, отправляясь на отдых за границу, я сговорился с Катей и с Николаем Васильевичем съехаться где-нибудь за границей на некоторое время, чтобы на досуге и вне обычной московской сутолоки обсудить дело и наметить путь к действию.

Общее руководство делами лежало всецело на мне единолично, в частности, я заведовал главной конторой, финансами и торговой частью. Приглашенный еще при брате Сереже Н. Н. Щепкин[4] был моим заместителем. Когда он был выбран в Государственную Думу, у нас состоялось соглашение, что он получает отпуск для выполнения обязанностей члена Государственной Думы, но в случае моей болезни или невозможности для меня по другим причинам выполнять лежавшие на мне обязанности Н. Н. Щепкин должен был оставить думские дела и немедленно заменить меня. Насколько помню, к вызову Николая Николаевича не пришлось прибегать ни разу.

Управление заводом по-прежнему лежало на директоре А. И. Николаеве, приобретшем к тому времени большую опытность. Своими рассудительными и дельными распоряжениями он заслужил уважение в сахарном мире, в округе завода и у служащих и рабочих.

Я уже говорил об уходе в Карловку нашего управляющего имением Г. В. Шевелева. Сменил Г. В. Шевелева еще более юный агроном – А. П. Корхов. Хорошо образованный теоретически агроном, отлично овладевший всей мелочной стороной сельскохозяйственной повседневной практики, наблюдательный, восприимчивый и вдумчивый, он вместе с тем был очень разносторонне начитан и хорошо ориентирован во всех вопросах, занимавших и волновавших в то время мыслящую часть образованного общества. Высокий, стройный, ловкий и прямо красивый блондин с изумительно светло-серыми глазами, он мне необыкновенно полюбился. Чувствовался в нем большой интеллект, самостоятельность в суждениях, крепкая воля. Меня в нем только смущала всегда его большая самоуверенность. Мне, склонному к излишним сомнениям, нерешительности и некоторому скептицизму, эта самоуверенность А. П., столь характерная для людей его поколения, внушала одновременно и уважение, и настороженность. Одним словом, А. П. казался мне человеком новой формации, которому предстоит более или менее значительное буду-

щее. Да он и сам чувствовал себя лишь у самого начала деловой и общественной карьеры.

«Любимовка, – сказал он мне при первом знакомстве по поводу ухода от нас Г. В. Шевелева, – хороший трамплин для начала карьеры. Здесь положение управляющего самостоятельно, не заслонено ни правлением, ни главной конторой, оно у всех на виду. Здесь применяются новые методы работы, но при ограниченности в средствах это делается с большим расчетом. Сложилось убеждение, что управляющий из Любимовки нерентабельных приемов не предложит». – «Ну и лихо же ты сигнешь когда-нибудь с этого трамплина, дай Бог тебе здоровья», – подумал я, выслушав эти соображения, в которые по первому знакомству весьма искусно вплетен был тонкий комплимент.

А. П. Корхов горячо принялся в Любимовке за работу. Отличные у него сложились отношения с подчиненными и с сослуживцами. Годы были хорошие. Это была полоса быстрого подъема всего дела – и в имениях, и на заводе, где, как я сказал выше, попрежнему продолжал директорствовать неутомимый и настойчивый А. И. Николаев.

Администрации Абрикосовых и В. Бобринского

Я уже упоминал выше о происшедших весной 1907 года несостоятельностях наших покупателей сахара. Эти крахи прямо или косвенно находились в зависимости от потрясений предшествующих лет. Банкротства были явлением довольно обычным в капиталистическом мире. Ими производился автоматический отбор жизнеспособных предприятий или умелых руководителей и устранялись с производственной или торговой арены предприятия, не выдерживающие конкуренции более приспособленных, и не отвечающие минимуму требований руководители. Бывали также несостоятельности недобросовестные, когда, как говорилось, хозяин «шубу выворачивал», притворялся не могущим платить, чтобы побудить кредиторов своих «скостить» часть, а то и всю задолженность, и этим обогащался. Но это были случаи особые.

Нормально же, если при крахе положение предприятия признавалось непоправимым, то оно осуждалось собранием кредиторов на ликвидацию, для чего кредиторы учреждали конкурсное над ним управление. Вырученные от ликвидации средства шли в разверстку между кредиторами на удовлетворение их претензий, конечно, только частичное, так как при конкурсе рассчи-

тывать на полное удовлетворение, конечно, было невозможно. Напротив, если дело по состоянию баланса и по существу признавалось способным к восстановлению, то кредиторы учиняли над ним администрацию, на которую и возлагалось дальнейшее ведение дела и постепенное удовлетворение кредиторов из прибылей предприятия. Взыскания по старой задолженности при этом приостанавливались, что открывало администрации возможность вновь кредитоваться на ведение предприятия.

Предприятия наших неплательщиков все не только были признаны жизнеспособными, но в состав учрежденных над ними администраций кредиторы избрали вместе с представителями кредиторов и самих владельцев. По выбору кредиторов я вошел в состав двух администраций – Абрикосовых и гр. В. А. Бобринского. Наши потери на тех и на другом были слишком велики, и приходилось позаботиться о скорейшем их возмещении.

Администрация по делам графа В. А. Бобринского состояла из председателя Адольфа Львовича Форштетера (директора Московского отделения С.-Петербургского международного банка) и двух членов – самого гр. В. А. Бобринского и меня. Дело состояло из двух свеклосахарных заводов в Тульской губернии, обширнейших имений там же, с копями бурого угля. Некоторые шахты выходили наружу среди свекловичных полей, что представляло своеобразную картину. Заводы эти находились на крайней, по тому времени, северной границе свекловодства, и в их районе применялись своеобразные, от дедов перешедшие и никем в отношении их рентабельности научно не проверенные приемы возделывания свеклы (например, рассадой). В то время как в нашей полосе Курской и Харьковской губерний, в Полтавской губернии и в Юго-Западном крае деятельно изучались (как, впрочем, я описывал раньше) условия наивыгоднейшего возделывания свеклы применительно к особенностям каждой полосы (Опытная станция Харитоненко в Сумах, Полтавское земское опытное поле, Сеть опытных полей, руководимая С. Л. Франкфуртом при Обществе сахарозаводчиков), здесь, на крайней северной границе свекловодства, несомненно требующей известного приспособления культуры к особенностям места, к изучению относились с величайшим скептицизмом и склонны были одновременно держаться рутины, идущей от дедов-пионеров свекловодства, и перенимать, без самостоятельной для своих местных условий научной проверки, отдельные новшества, вводившиеся на юге и у нас.

Я развил перед А. Л. Форштетером мысль, что, взяв в свое управление громадное имение с двумя свеклосахарными завода-

ми, находящимися в таком исключительном в отношении климата положении, мы обязаны ориентироваться в целесообразности применяемых в хозяйстве приемов возделывания свеклы. Нужно было и весь план предприятия основательно пересчитать и проработать. Я рекомендовал поэтому пригласить в должность главноуправляющего всем предприятием образованного технолога или агронома, выдвинув кандидатуру М. К. Названова, о котором я уже упоминал раньше.

Попытка взять в предприятие «черного» графа «красного» директора была, конечно, довольно рискованной, но А. Л. Форштетер сумел уговорить графа в необходимости дать предприятию на месте образованного руководителя, и М. К. Названов вскоре водворился в имении. К этому времени граф все глубже и рьянее ударялся в политику, и ему некогда было в свое дело заглянуть. Сначала он даже приветствовал нового директора (см. письмо Н. В. Сперанского О. А. Сперанской). Кончилось, однако, все же столкновением. «Скажите, кто развратил наших добрых крестьян?..» – вызывающе спрашивал по какому-то случаю своего директора доживший до XX в. феодал. Что было ответственному будто бы за это директору отвечать! М. К. Названов принял выгодное и более покойное предложение к Балашеву и покинул имение гр. В. А. Бобринского.

Дело, впрочем, хорошо финансируемое банком, постепенно становилось на ноги, и через несколько лет мы стали получать покрытие своих потерь.

«Товарищество кондитерской фабрики А. И. Абрикосова сыновей в Москве», как оно официально именовалось, представляло собой акционерное общество, учрежденное наследниками А. И. Абрикосова для ведения созданной последним крупнейшей в России кондитерской фабрики. Характерный случай возникновения товарищества не для соединения капиталов, а для раздела их. Предприятие при этом сохраняло свою целостность, но единоличное владение им основателя заменялось коллективным владением его наследников, разверставших между собой акции.

В землевладении не было подобного способа предотвратить дробление хозяйства при разделе наследства. Западноевропейские майораты, не прививавшиеся, впрочем, у нас, ради сохранения целости хозяйства устраняли младших наследников.

Ко времени несостоятельности во главе абрикосовского дела находились в должности директоров правления внуки основателя А. И. Абрикосова Сергей Николаевич и Николай Николаевич Абрикосовы, сыновья Николая Алексеевича и Веры Николаевны,

о которых я упоминал, описывая свое детство. Мы с ними тогда провели многие веселые дни в играх чисто детских.

В администрацию по делам «Товарищества А. И. Абрикосова сыновей» были выбраны общим собранием кредиторов председатель – К. Я. Гретер, я – зам. председателя, Б. Б. Гоппе, С. Н. Абрикосов и Н. Н. Абрикосов. При этом Сергей Николаевич остался во главе фабрики, а Николай Николаевич – заведующим оптовой конторой. Дело было великолепное. «Золотое дно», как говорили. Но велось оно с некоторой прохладцей, и конкуренты начинали захватывать рынок. В особенности Эйнем. Через несколько лет дело настолько поправилось, что можно было снять администрацию и удовлетворить кредиторов. Курьезные бывали случаи на общих собраниях кредиторов, собиравшихся ежегодно по составлении отчета для его утверждения. Отчеты всегда бывали хорошие, и говорить, собственно, на общих собраниях было не о чем. Однако всегда находился какой-нибудь кредитор, который, желая ускорить погашение своей претензии, старался причинить на собрании какое-нибудь осложнение, чтобы побудить администраторов путем досрочного выкупа его претензии устранить его из собрания. Изобретательность гг. юристов на эти штучки бывала изумительная. Некоторые, как говорилось, «собаку съели» на таких маневрах. Отмечу еще курьезную черту этих собраний кредиторов. На них дела решались, как во всех собраниях, по большинству голосов, но голоса считались по сумме претензий каждого кредитора – в рублях и копейках, и откладывались на счетах.

Любопытно прикинуть, сколько раз мне в моих записках пришлось упоминать о крахах, банкротствах, несостоятельностях. А ведь я пишу лишь о личных своих переживаниях.

1. Начну с того, что мне не было и восьми лет, как я по случаю появившейся у нас большой вазы узнал, что бывший ее обладатель «запутался в долгах» и застрелился. Это надолго дало мне пищу для всяких размышлений.

2 и 3. Затем при опеке было два краха – Корюковского сахаро-рафинадного товарищества и Ононской золотопромышленной К°. Конечно, эти события сопровождались среди взрослых волнениями и разговорами, которые доходили и до нас.

4 и 5. Неудачи в делах постигли потом нашего зятя и нашего старшего брата; в делах первого пришлось разбираться, а второму пришлось помогать в устройстве жизни после потери им состояния.

6. Несостоятельность братьев Плотицыных.

7. Крах С. И. Мамонтова.

8. Банкротство Алчевского в Харькове, повёдшее к его самоубийству (бросился под поезд), послужили темами для многочисленных статей в газетах.

9. Несостоятельность Базилевского и последовавшие за ней затруднения в Ниманской золотопромышленной К° посчитаю под одним номером.

10. Администрация Абрикосовых.

11. Администрация графа Бобринского.

12. Администрация по делам кондитерской фабрики Яни.

13. Администрация Д. А. Расторгуева.

Ученье детей

Ни бонн, ни гувернанток при наших детях не бывало. Когда родился Сережа, София Яковлевна вместо няни взяла к нему молодую женщину, бывшую сиделкой в костинской больнице, которую она и обучила всему, что от нее требовалось. Так Маша Курандина и жила у нас долгие годы, состоя при детях. Был случай, что ей пришлось временно оставить нас и ввиду беременности вернуться домой к себе в Костино. Нам тогда Надежда Николаевна Львова рекомендовала в няни внучку няни Василия Николаевича Львова, молодую, хорошо ей известную девушку, которая и нам понравилась. И что же, при осмотре ее врачом она оказалась больной сифилисом, в самом заразном периоде. Бедная девушка ничего подобного не подозревала. Она служила в одной семье и заразилась через посуду. Предусмотрительность Софии Яковлевны спасла нас всех от страшной опасности.

По установившемуся у нас с Софией Яковлевной разделению труда забота о воспитании детей и организация их учения всецело падали на плечи Софии Яковлевны. При первой своей встрече с первой своей учительницей – Дорой Егоровной Беккер, Сережа по-детски, но совершенно точно определил ей нашу систему: «Мама строгая, а папа конторский».

Когда подходило время детям учиться, София Яковлевна приглашала к ним русских преподавателей. Так, начальные уроки Сереже давала Д. Е. Беккер, Нине – З. И. Заозерская, Тане опять Д. Е. Беккер. Мы старались возможно дольше продержать детей дома и отдавать их в гимназию лишь в старшие классы. При этом устройство домашних уроков и руководство ими лежало на Софии Яковлевне. Занимались с детьми следующие учителя и учительницы: К. И. Красноперов (русский язык и литература), Р. Э. Струве и П. О. Массалитинова (математика), А. Н. Мартынов и

С. Л. Фролова (естествознание), Е. А. Ефимова (история), М. Ф. Трейман и Д. Е. Беккер (немецкий язык), О. И. Массон (французский язык), Перов (латинский), священник В. Постников (Закон Божий).

Следовали программе классической гимназии, за которой еще оставалась монополия доступа в университет. Греческий язык к тому времени был исключен из числа обязательных предметов, а программа латинского значительно сокращена. Ежегодно дети сдавали «поверочные испытания» Сережа в VII гимназии, а Нина с Таней при женской гимназии Алферовой. Учились хорошо, что признавали учителя и что подтверждалось успешными испытаниями. Инспектор VII гимназии, мой бывший учитель и друг Е. Е. Якушкин, нашел Сережу при поступлении его в 1913 году в VI класс VII гимназии хорошо подготовленным. Нина в 1915 году поступила в V класс женской гимназии Потоцкой.

Нам, помнится, было даже жалко, что кончаются так хорошо наладившиеся домашние уроки детей. За годы занятий учителя детей стали для нас друзьями дома. Отношения с ними поддерживались и по окончании занятий.

Пора, однако, от личных переживаний перейти к деятельности во внешнем мире. Обстановка в нем после встряски русско-японской войны, революционного движения 1905 года, волнений времен двух первых Государственных Дум значительно переменилась. Приходилось залечивать в делах полученные раны и в новых условиях развивать работу, используя новые открывшиеся возможности. Как после грозы, в озонированной сотрясениями общественной атмосфере жизненные процессы стали протекать энергичнее и быстрей. Относительное затишье 1909 – 1914 годов было, таким образом, периодом плодотворной работы. Все как-то давалось легко и просто.

Издательство М. и С. Сабашниковых (1909 – 1917 гг.)

После смерти брата Сережи (1909 г.) я продолжал наше издательство по-прежнему, пользуясь постоянной дружеской помощью Н. В. Сперанского. В отдельных случаях, от раза к разу, мы советовались (привлекали к работе по их специальности) с нашими давними постоянными сотрудниками – М. Н. Сперанским, М. О. Гершензоном, В. Н. Львовым и М. А. Мензбиром.

Издательство уже давно вышло из того дилетантского состояния, в котором мы начали его, не имея вначале никакого аппа-

рата. Коммерческую часть вел брат Софии Яковлевны – Мстислав Яковлевич Лукин, до поступления в наше издательство заведовавший в продолжение ряда лет книжным магазином Филимонова на Б. Никитской. Бухгалтерией, при особом счетоводе, ведал Н. А. Скибневский, по совместительству со службой в конторе правления Товарищества Любимовского сахарного завода. Корректуру поручали опытной корректорше Хр. Б. Сперанской, на которую можно было вполне положиться в самых сложных случаях.

Временно работала в издательстве Т. Л. Хитрово, принимая ответственные поручения и умело и удачно справляясь (например, во время моей отлучки с М. Я. Лукиным на фронт в 1916 году).

Под контору издательства сняли отдельное помещение в полуподвале дома № 6 по Тверскому бульвару, в котором я жил, а под книги продолжали держать просторный, хорошо оборудованный склад, бывший Скирмута, снятый мною еще в 1906 году. Мы сохранили прежнюю, уже получившую известность фирму М. и С. Сабашниковых, печатая на выпускаемых книгах: «Издание М. и С. Сабашниковых» и ставя на обложках исполненную Митрохиным марку – монограмму.

«Памятники мировой литературы»

Приступая к подготовке издания «Памятников мировой литературы», надо было ориентироваться в имеющихся уже русских переводах древних писателей, в первую очередь, античных классиков. Литература эта оказалась довольно обширной. Переводы зачастую печатались в «Журнале Министерства народного просвещения» и отдельными книгами совсем не выходили. Выпущенные же в свет отдельными изданиями, в книжных магазинах считались распроданными и с трудом находились у букинистов, тогда как в действительности иногда значительная часть тиража лежала у издателей, не находя сбыта.

Такая участь постигла, например, прекрасные издания «Речей» Цицерона (неполное, перевод Зелинского) и «Истории» Фукидида (перевод Мищенко), выпущенные Кузнецовым, главой чайной фирмы «Губкин, Кузнецов и К°», известным пионером чайных плантаций на Кавказе. В громадном многомиллионном предприятии эти меценатские издания были, можно сказать, забыты самими хозяевами. Молодой приказчик в магазине Карбасникова на Моховой «разыскивал» для меня эти книги как большую

редкость, тогда как они в большом количестве лежали на складе фирмы в Рядах на Красной площади, куда с Моховой рукой подать. Это обнаружилось, когда один из директоров фирмы Владимиров, с которым мы периодически встречались по участию его в золотопромышленных делах на Зее, увидя у меня на столе Фукидида, полюбопытствовал, почему я эту книгу читаю. Впоследствии, перед выпуском нашего Фукидида, пришлось скупить остаток кузнецовского издания!

Одно время мне помогал по справочной части молодой филолог В. О. Нилендер. Зиму 1911/ 12 года он приходил ко мне ежедневно в 8 часов 15 минут утра, и мы за утренним чаем занимались до 9 ч. 30 мин., когда мне нужно было идти в контору. Владимир Оттонович наводил библиографические справки, покупал нужные книги, подсчитывал объем текстов писателей, намечавшихся к переводу, исполнял разные поручения. Постепенно мы с ним собрали порядочную коллекцию русских переводов классиков.

В большинстве своем эти прежние переводы оказывались неприемлемыми к переизданию либо по своей устарелости, либо недостаткам русского языка. Но все же ознакомиться с ними мы считали необходимым. В общей сложности прежними переводчиками была выполнена большая работа, и игнорировать ее не следовало.

У Владимира Оттоновича была собственная работа – «Собрание греческих лириков в переводах русских писателей», которую он хотел устроить у нас. Труд этот правильнее было бы озаглавить: «Собрание русских переводов древнегреческих лириков». Сохранилась переписка по этому вопросу с Зелинским, Коршем, Церетели. В гранках сохранилась и написанная по этому случаю статья Корша.

К работе для «Памятников мировой литературы» надо было привлечь петербургских филологов, в первую очередь такую мировую знаменитость, как Ф. Ф. Зелинский, затем А. И. Малеина, С. А. Жебелева и других. Для этого я ездил в Петербург. Наши предположения встречены были там с величайшим сочувствием, но и с некоторым недоумением. Питерцы боялись неудачи, даже провала. Рекомендовали величайшую осторожность. Советовали выпускать небольшими, дешевыми книжками. Ссылались на провал выпущенного издательством «Просвещение» тома Еврипида. Классицизм никогда не пользовался у нас сочувствием публики, теперь особенно обострилась борьба с ним. «Кто же станет покупать классических писателей! Мы опоздали на несколько лет», – рассуждали питерцы. Я возражал: «Правда, мы идем как будто

против течения. Но это только так кажется. В России, кроме специалистов-филологов, никто классиков в оригинале не читал и не читает. Переводов нет в продаже. Классиков просто не знают. То, что перестанут муштровать гимназистов грамматическими упражнениями по древним языкам, послужит только на пользу нашему делу. Не будет к классикам предвзятого отвращения». Все это приходилось говорить с большой осторожностью, чтобы не задеть чьего-либо самолюбия. Ведь филологи так или иначе связаны были с классической системой. Никаких общих совещаний не было. Я говорил с каждым отдельно.

Чтобы привлечь петербургских филологов к работе для наших «Памятников», я ездил в Петербург. У меня были записаны три адреса: Зелинского, Малеина, Жебелева. По совету М. О. Гершензона я в первую очередь обратился к Ф. Ф. Зелинскому. И хорошо сделал. Ф. Ф. Зелинский отнесся к нашим начинаниям в высшей степени сочувственно. Мы с ним оживленно проговорили весь вечер. Как мне рассказал Фаддей Францевич, три друга, филологи-поэты: он сам, Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский дали когда-то друг другу слово перевести трех греческих трагиков: Эсхила – В. Иванов, Софокла Ф. Ф. Зелинский и Еврипида – Иннокентий Анненский, и некоторая работа в этом направлении уже сделана. Нам теперь оставалось договориться с переводчиками и включить эти переводы в наше собрание «Памятников». Софокл устраивался, таким образом, очень просто – за него брался Фаддей Францевич. Кроме того, Фаддей Францевич просил оставить за ним Аристофана, которого он надеется дать в сотрудничестве с одним своим учеником. Вячеслава Ивановича я знал как кунктатора*, нерешительного и мнительного человека, и опасался предоставить ему такую большую работу, как перевод всего Эсхила: «Возьмется, свяжет нас и не сделает!» – говорил я. Я бы предпочел отвести ему что-нибудь менее громоздкое. Но Фаддей Францевич уговорил меня остановиться на Вячеславе Ивановиче для Эсхила, как на единственном в своем роде кандидате, обещая со своей стороны всячески побуждать Вячеслава Ивановича не затягивать работу.

Большие затруднения предвиделись в приобретении готовых уже переводов Еврипида. Сам переводчик Иннокентий Анненский незадолго до того умер. Предстояло сговориться с его наследником сыном, человеком, по-видимому, тяжелым, с которым у самого Фаддея Францевича произошла какая-то размолвка. Меж-

* Кунктатор – медлительный, нерешительный человек.

ду тем другого, равного по силе переводчика, Фаддей Францевич назвать не мог. Ведь покойный Иннокентий Анненский был одаренный поэт и притом филолог, многие годы работавший над Еврипидом. Некоторые вольности, допущенные в переводе, могут быть либо устранены редакцией, либо особо оговорены. Остановились на том, что я лично вступлю в переговоры с наследником; постараюсь получить переводы, хотя бы в копиях, для прочтения в редакции, затем передам их Фаддею Францевичу для окончательного заключения и уже после обсуждения дела вновь с Фаддеем Францевичем постараюсь договориться с наследником. Однако выполнить эту программу оказалось не так-то просто. Не сразу решился наследник предоставить мне копии переводов для прочтения, и не скоро пришлось мне вновь посетить Фаддея Францевича, чтобы принять окончательное решение. В промежуток времени мы с Фаддеем Францевичем неоднократно успели и встретиться, и обменяться письмами по поводу Овидия, Софокла и других авторов. Когда я в назначенное время пришел к Фаддею Францевичу, его прислуга передала мне его просьбу перейти в соседнюю квартиру, где Фаддей Францевич проводит весь день по случаю семейного детского праздника. Там меня радушно приняли, угостили чашкой шоколада. Но разговаривать о деле в переполненной гостями маленькой квартире оказалось затруднительно. Фаддей Францевич предложил, благо погода хорошая, выйти на бульвар перед домом и там на скамейке и переговорить. Так и сделали. С исключительной щепетильностью отнесся Фаддей Францевич к решающему заключению о работе покойного своего друга. Представив все pro и contra, Фаддей Францевич высказывался за использование в «Памятниках» уже готовых переводов И. Анненского. Отбрасывая всякие соображения об интересах переводчика или издательства, Фаддей Францевич решал так, задаваясь целью наилучшего удовлетворения читателя. Оставалась самая трудная задача мне договориться с наследником, и не с ним одним, но еще с госпожой Б., неизменно участвовавшей во всех переговорах и, пожалуй, являвшейся главным тормозом в деле. Переговоры велись на квартире покойного в Царском Селе, в бывшем его кабинете. Но по ходу их мне моментами вспоминались мои состязания с соседями по заводу, которых я старался привлечь к посеву бурака для завода. Но письменный стол, заваленный рукописями, книжные полки по стенам да величавый бюст самого Еврипида, смотревшей на нас сверху, возвращал меня к действительности. В конце концов договорились!

И мы со временем выпустили два тома Еврипида. На этом история злополучных переводов И. Анненского не кончилась. В другом месте этих записок я рассказываю, как в 1930 году наше издательство лишилось своего помещения. Мы, однако, оставили в проходной темной комнате шкаф с архивом и рукописями на хранении нашего артельщика Кузьмы Филипповича, сохранившего свою комнату за собой. В декабре я был ненадолго изъят[5]. Когда же, вернувшись домой, я поспешил проверить целость архивного шкафа, то нашел шкаф вскрытым. Содержимое никого не могло соблазнить. Тем не менее некоторые пакеты пропали. Пропали и подготовленные к печати рукописи Еврипида, т. III. Это, казалось, небольшая беда, так как рукописи были переписаны, и один экземпляр находился на квартире Ф. Ф. Зелинского, уехавшего к тому времени за границу, а другой – на квартире К. В. Аркадакского. Надо же, чтобы и там эти тексты затерялись!

Не повезло и Эсхилу. Насколько знаю, Вячеслав Иванов перевел «Орестею» и, вероятно, увез с собой за границу рукопись. По крайней мере «Агамемнона», бывшего у меня, он вытребовал через Ю. Н. Верховского чуть ли не в день своего отъезда. Вероятно, рассчитывал издать за границей.

Итак, в первом же разговоре с Зелинским сразу наметились и переводчики, и редакторы, и даже готовые к изданию переводы: «Эсхила» поручить Вячеславу Иванову, Софокла – Зелинскому, Еврипида готовый перевод приобрести у наследников Иннокентия Анненского, Фукидида – поручить Жебелеву, Тацита В. Я. Брюсову, «Энеиду» – ему же, Светония – Малеину, Овидия «Баллады-послания» – приобрести готовый перевод у Зелинского.

Последняя вещь уже издавалась «Пантеоном», но мы решили не останавливаться перед этим. Одним словом, обращение в Петербург дало отличные результаты.

Упомянутые выше Малеин и Жебелев, как и Фаддей Францевич, сочувственно отнеслись к нашим «Памятникам». Под редакцией С. А. Жебелева мы выпустили Фукидида. Малеин А. И. приготовил для нас Светония, но рукопись взял обратно, так как к тому времени мы уже не могли взяться за такое издание.

После отъезда Ф. Ф. Зелинского за границу я договорился с Адрианом Пиотровским о переводе всего Аристофана. Две комедии в его переводе («Лисистрата» и «Всадники») мы даже выпустили в маленьком издании. Очень жалко, что дело на этом оборвалось, так как Адриан Пиотровский очень удачно справился и с переводом, и с комментариями. Не его ли имел Ф. Ф. Зелинский в

виду, когда просил оставить Аристофана за ним в сотрудничестве с его учеником.

После этих моих поездок в Петербург Зелинский стал у нас самым деятельным сотрудником по изданию «Памятников мировой литературы». Я часто ездил в Петербург, чтобы посоветоваться с ним, сохранилось немало его ко мне писем.

В. Я. Брюсов для нас «Энеиду» Вергилия перевел, но издать ее нам уже не пришлось. Наступили другие времена, и она была выпущена Государственным издательством. Приступил ли Валерий Яковлевич к переводу Тацита, не знаю. Во всяком случае, он охотно за него брался. В сохранившемся его письме он анализирует свои данные для этой работы.

Но мы не собирались ограничиться одними античными писателями, исподволь готовясь к более широкой программе, что смущало некоторых наших сотрудников. Возражали против включения в программу «Памятников» наряду с «античными писателями» также отделов «Народной словесности» и «Творений Востока», что, однако, входило в нашу общую концепцию всего предприятия. М. Н. Сперанский опасался, что мы «устной русской словесностью» перегружаем «Памятники» тяжелым и неинтересным для нашего читателя материалом, и советовал издать «Былины» сепаратно, не включая их в «Памятники». В сохранившихся письмах востоковеда Алексеева (ныне академика) и Бальмонта отразились опасения их, как бы мы не последовали советам этим. И. Линдеман вспомнил об этих спорах в шуточном стихотворении, обращенном ко мне по случаю 35-летия издательства в 1926 году:

Когда же Асвагошу
Ввели в свой книжный круг,
Соперников в калошу
Всех посадили вдруг.

Первым выпуском «Памятников» был том Овидия «Баллады-послания». Отзыв о нем «Русских ведомостей» привожу здесь полностью, так как он дает соображения, легшие в основу нашей серии «Памятников».

«Памятники мировой литературы»

«Памятники мировой литературы». Серия: античные писатели. Овидий «Баллады-послания», в переводе Ф. Зелинского. Стр. XLIII + 344. Цена 2 р. 25 коп. Москва, 1913 г. Изд. М. и С. Сабашниковых.

Перед нами начало крупного историко-литературного предприятия, которое заслуживает всякого внимания.

«Памятники мировой литературы», так излагают издатели его программу, в отличие от существующих «Библиотек классиков» или традиционных «Пантеонов» будут обнимать произведения, подобранные не по эстетико-литературным их достоинствам, а по значению их с более современной и более широкой историко-литературной точки зрения, с которой литература рассматривается как отдел общей истории человеческой культуры. В нашем собрании найдет место всякое произведение умственного творчества, какова бы ни была его абсолютная художественная ценность, если в нем только ярко отразилась душа данного века и данного народа. Поэзия, философия, история, политика будут иметь в этом собрании полные права гражданства. Давая преимущественно переводы, на качество которых будет обращено особое внимание, оно, однако, не исключает и родной литературы.

Вообще говоря, издатели решили заложить фундамент для того, чтобы знакомство русского общества с историей всеобщей литературы могло, наконец, строиться на обращении к ее первоисточникам, – возможность, которая при настоящем положении вещей стеснена у нас до нестерпимо узкого предела.

Возьмем хотя бы ту область, которой открывается издание «Памятников мировой литературы», – область античной древности. Теперь, когда над нашей школой не тяготеет больше кошмар старой классической системы, возбуждавшей у многих такое отношение к греческим и римским авторам, какое вызывает вид орудий пытки, едва ли кто станет спорить, что античная литература представляет высокий интерес для всякого образованного человека. Чтобы признавать это, вовсе не надо выставлять Грецию и Рим в идеальном ореоле, вовсе не надо видеть в них какие-то вечные образцы для подражания. Для этого довольно только продумать, что хотел сказать Дж. Ст. Милль своими известными словами в рецензии на «Историю Греции» Грота: «В конце концов для судеб Англии исход битвы при Марафоне был важнее, чем исход битвы при Гастингсе». С прошлого века наука не признает иного понимания явлений духовной жизни, как с эволюционной точки зрения, и чтобы нам понять самих себя, чтобы нам объективно отнестись к современной культуре, мы должны проследить предшествующие этапы. А разобраться во внутренней их связи невозможно без ясного отчета в том, что здесь является историческим наследием Греции и Рима. Греков и римлян можно не только не признавать бессмертными учителями: их можно от-

рицать; можно считать, что настоятельной задачей нашей является борьба за самобытность духовной нашей жизни, за окончательную эмансипацию ее от колоссального еще давления на нас античного предания. Но так или иначе, чтобы «познать самих себя», мы должны знать их, мы должны с достаточной отчетливостью представлять себе картину роста, цвета и разложения античных общежитий, доступную для наблюдения на протяжении тысячи с лишком лет, срединой которых является приблизительно дата Рождества Христова. И склон античной древности с подобной точки зрения не менее важен, чем период апогея: припомним только, что христианство, консолидировавшееся в церковь, вобрало в себя множество элементов поздней культуры эллинизма, которые благодаря этому и поныне являются одним из крупных ориентиров в духовной жизни всех современных обществ.

Вряд ли кто станет даже оспаривать, что такое знакомство с античными писателями, какое получается по изложению их в историях литературы, можно приравнять только знакомству с сокровищами художественных музеев по альбомам мелких фотографий. С не меньшей решительностью, однако, надобно отстранить и старую претензию, будто всякий, кто хочет иметь право на звание образованного человека, должен уметь читать греческих и римских классиков в оригинале. Est modus in rebus*. Конечно, быть в античной древности как у себя дома, быть в ней хозяином способен только тот, кто овладел в возможном совершенстве обоими классическими языками. Но так владеть ими удел специалистов, обративших их изучение в главное дело жизни. А то знание древних языков, с каким после годов усиленных занятий выходят питомцы, не говорим уже русской, но даже немецкой классической гимназии, ценно, быть может, со стороны так называемого формального развития ума, но в смысле знакомства с древностью, как с историческим материалом, его нельзя назвать иначе как убогим. Все то, что гимназисты, «напрягши ум, наморщивши чело», осиливают из древней литературы за время своего учения, все это взрослый человек, взяв перевод, может внимательно прочесть в какие-нибудь две-три недели. Но то вместо подлинника... какое же сравнение... Сравнение может быть, и мы позволим себе напомнить, как проводил его покойный Паульсен[6], которого никто не вправе заподозрить во враждебном отношении к классицизму.

---

* «Есть мера в вещах», всему есть предел – афоризм Горация в I сатире I книги (лат.).

«Мне не приходит, конечно, в голову оспаривать огромную, поистине незаменимую ценность древних языков для исторического образования. И, тем не менее, так склонен я сказать, в известных обстоятельствах иной лучше узнает классическую древность и больше от нее получит, знакомясь с ее литературой лишь по переводам, чем другой, который годы учится древним языкам. Если 18-ти или 20-летний юноша в месяц прочел всего Фукидида в немецком переводе с тем вниманием, какое скоро начинает вынуждать развертывающаяся перед глазами захватывающая драма, то он, во всяком случае, больше будет знать о политических и военных, об общественных и интеллектуальных отношениях той эпохи, чем другой, который целое полугодие «готовит уроки» из одной книги Фукидида и через пень-колоду переводит его в классе. Мне думается, я довольно компетентен в понимании того, что может дать перевод и чего не может. Но, восставая против распространенного пренебрежительного отношения, следует усиленно подчеркивать, каким могучим образовательным средством заявили себя переводы». И, показав это на ряде исторических примеров, Паульсен кончает: «Тот, кто интересуется сутью дела, тот сыщет ее и в переводе, а кто к ней равнодушен, тому никакой подлинник ничего не скажет».

Пользуясь снова образом, выразимся так. Пусть гипсовые копии мраморных скульптур не передают таящегося в оригинале очарования. Но многие ли могут изучать историю скульптуры, посещая все те места, по которым разбросаны оригиналы, и мыслимо ли отрицать общеобразовательную пользу таких музеев, как новый наш музей императора Александра III? Недаром же его коллекции оказывают на нашу публику такое живое, притягательное влияние. Подобными музеями художественных копий в области литературы и служат собрания сочинений древних писателей в переводе на родной язык. Западная Европа давным-давно уже ими обладает и только совершенствует качество репродукций из поколения в поколение.

Зато в России дело тут обстоит поистине плачевно. Систематически подобранных собраний переводов древних авторов у нас нет. Что переводилось, то появлялось без всякого порядка, с тем чтобы быстро пропадать в траве забвения, которая так густо покрывает российский книжный рынок. У человека, не владеющего сколько-нибудь свободно чужими языками, явился интерес прочесть какого-нибудь греческого или римского историка, оратора или поэта. За это любопытство грешная душа обрекается на хождение по мытарствам. Надо узнать, имеется ли вообще данный

автор в русском переводе. Книгопродавцы по большей части отзываются неведением, если перевод не является книжной новинкой; другие же и прямо отвечают угрюмым заявлением: «Таких не бывает...» Но вот след найден: автор когда-то был переведен и издан. Радоваться, однако, было бы слишком рано. Во-первых, надо разузнать, что это перевод или макулатура, вроде той, которая производилась аферистами в качестве «подстрочников» для угнетенных гимназистов. Положим далее, отзыв компетентного лица прозвучал благоприятно. Так потрудитесь-ка еще купить произведение, которое вас заинтересовало. Иные вещи хоть и есть на рынке, да изданы по запретительной цене: взять, например, перевод Еврипида, сделанный Анненским, или речи Цицерона, переведенные Зелинским. Но вообще это – «товар», который держат почти что только букинисты. Да, много надо иметь в запасе и времени, и денег, и терпения, чтобы собрать себе на русском языке ничтожную долю того, чем так свободно пользуются немцы или французы при своем знакомстве с древним миром.

Собрание, предпринятое М. и С. Сабашниковыми, обещает дать выход из такого несносного положения вещей: имя издателей будет служить при этом гарантией за качество принятых в состав издания работ. Но этой внешней стороной далеко не исчерпывается культурное значение предприятия. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, насколько оживит такое начинание самое предложение хороших переводов. Вопреки пагубному мнению, широко распространенному в России, будто бы переводить легко, будто бы перевод – такого рода литературная работа, которая доступна чуть что не каждому, кто со словарем может брести по иностранному тексту, на деле всякий перевод представляет сложную и трудную задачу, и масса русских переводов с. новых языков годится только на оклейку ими стен: это лубочное искажение изящных европейских оригиналов. Но если нелегко переводить что бы то ни было даже с современных языков, то при передаче творений греческих и римских мыслителей и поэтов встают такие трудности, борьба с которыми по силам только кровным филологам, соединяющим глубокую эрудицию с литературным вкусом; тут строки, без преувеличения, идут за английские, французские или немецкие страницы, коли не главы. Ученые-любители и знатоки античной древности всегда, однако, охотно пробовали себя на этом поприще там, где труду их являлась обеспеченной возможность войти в общее обращение и послужить развитию сочувственного понимания той области, работу над которой они сделали жизненным призванием. Если

же перечень древних авторов на русском языке полон зияющих пробелов, то было бы несправедливо бросать за это камнями в представителей русской филологической науки: у них невольно опускались руки при виде того, какая участь постигала такие опыты на нашем книжном рынке. Стоит поставить дело распространения компетентных переводов в европейские условия, и явится энергия в филологических кругах, и мы начнем успешно догонять Европу. Спрос в нашем обществе на знакомство с античной литературой несомненно есть, есть, несомненно, и силы в русском ученом мире, чтобы удовлетворить такому спросу. Необходимо было только интеллигентное издательское посредничество, чтобы свести здесь предложение со спросом. Теперь оно явилось, и можно с уверенностью ждать благого результата. В самом деле, не говоря уже о читателях, желающих дополнить собственными силами свое образование, какое поле способны найти талантливые переводы и в высшей, и даже в средней школе, которая откажется же, наконец, от своего безрассудного гонения на переводы и поймет, что только при их помощи для нее возможно на памятниках древности осуществлять свои гуманитарные задачи. А что наши филологи не остались глухи к обращенному в их сторону призыву, об этом свидетельствует издательское «Предисловие».

Мы говорили до сих пор лишь об античной древности. А область романистики и германистики, или даже та же область славистики, которая должна была бы быть нам так близка и которую мы до такой степени слабо знаем, какие здесь услуги может оказать проектированное собрание! Нет, честь и слава литературному начинанию в подобном направлении.

Особому разбору первого выпуска «Памятников» будет на этих же столбцах посвящена специальная заметка. Мы скажем только в заключение два слова о внешности издания. Она так же изящна, как привлекательна заложенная в него идея. И это подлинное edition de luxe* расценено так скромно, что удовольствие иметь его в своей библиотеке должно быть признано широко доступным. Не часто обязанности критика бывают так приятны.

Н. Сперанский

«Русские ведомости», 1913 г., № 19 (23 января)»

* Роскошное издание (фр.).

Университет Шанявского 1908 – 1914 гг.

Итак, после настойчивой и долгой борьбы существование Университета Шанявского было юридически обеспечено. Материальных средств для начала дела было достаточно. Университет был открыт, и он стал энергично развивать свою деятельность и вширь, и вглубь. Наряду с двумя систематическими академическими отделениями (естественных и гуманитарных наук) создались научно-популярные курсы и научно-исследовательские лаборатории. Непрерывно из года в год увеличивалось число кафедр, умножалось количество преподавателей и слушателей. Создавались временные специальные курсы. В мою задачу не входит дать картину этой кипучей деятельности, тем более что она отражена в печатавшихся университетских планах, программах и отчетах. В дополнение к ним укажу на две изданные нами книги Н. В. Сперанского: «Борьба за школу», 1910 г. и «Кризис русской школы», 1914 г., в которых он объединил печатавшиеся им в прессе, преимущественно в газете «Русские ведомости», статьи по вопросам народного просвещения. Они рисуют хорошо те задачи, которые ставил себе Университет, и те препятствия, с которыми ему приходилось считаться.

Постройка здания Университета имени А. Л. Шанявского

Деятельность Университета так быстро развивалась и разрасталась, что вскоре стала чувствоваться настоятельная потребность в собственном здании для помещения аудиторий, лабораторий, библиотек и прочих учреждений Университета. Неутомимая Лидия Алексеевна приступила ввиду этого к реализации собственных своих средств, и весной 1910 года она от имени лица «пожелавшего остаться неизвестным» (как она всегда это делала) внесла университету 225 000 рублей – специально на постройку. Принимая во внимание другие пожертвования, поступившие с этим же назначением, и хороший участок, отведенный городом Университету, открывалась возможность на возведение значительного здания. Попечительный совет избрал строительную комиссию, которая немедленно же приступила к подготовительным работам. В качестве председателя строительной комиссии мне пришлось на освящении здания по окончании постройки выступить с речью, в которой я изложил собравшимся историю постройки и дал краткий отчет в произведенных расходах.

Ниже я привожу свою речь полностью и потому не стану здесь останавливаться на этом. Перед речью своей приведу вырезку из тогдашней газеты с описанием торжества закладки здания 21 июля 1911 года.

Отмечу здесь особо, что в те годы в Москве одновременно строились четыре высших учебных заведения исключительно на частные средства, а именно: Университет А. Л. Шанявского, Высшие женские курсы[7], Коммерческий институт[8] и Педагогические курсы[9]. Тогда же возникли Леденцовское научное общество[10] с миллионным капиталом и сооруженный на частные же пожертвования Научный институт на Миусской площади[11]. Частный почин в деле обеспечения высшего образования являл себя в Москве столь же внушительно, как и двадцать лет назад, когда им же был создан Клинический городок на Девичьем Поле[12].

Закладка здания Университета Шанявского

Вчера*, в 11 часов утра, на Миусской площади была совершена торжественная закладка здания Городского народного Университета имени А. Л. Шанявского.

На закладке присутствовали: московский губернатор В. Ф. Джунковский, градоначальник А. А. Адрианов, попечитель учебного округа А. А.Тихомиров, городской голова Н. И. Гучков, товарищ городского головы В. Д. Брянский, члены городской управы В. Ф. Малинин и Г. И. Пузыревский, председатель общества любителей российской словесности А. Е. Грузинский, гласные городской думы: Н. И. Астров, М. М. Кожевников, В. П. Овчинников, Н. А.Шамин, Н. Н. Шустов, известная благотворительница В. А. Морозова, пожертвовавшая 50 тысяч рублей на постройку здания, проф. Н. В. Сперанский, проф. сельскохозяйственного института А. Ф. Фортунатов, М. Н. Климентова-Муромцева, председатель попечительного совета Университета Шанявского В. К. Рот, председатель правления Н. В. Давыдов, председатель строительной комиссии М. В. Сабашников, профессора и преподаватели Университета Шанявского, слушательницы и слушатели Университета.

После богослужения, отслуженного местным духовенством перед чтимыми иконами, состоялась самая закладка.

Когда был прочтен текст закладной доски, городской голова Н. И. Гучков положил первый кирпич, второй кирпич В. К. Рот, а

* Закладка здания Университета состоялась 21 июля 1911 г. ст. ст. – *Примеч. М. В. Сабашникова.*

затем градоначальник, губернатор, попечитель учебного округа и другие лица.

Затем было подано шампанское, и городской голова предложил тост за здоровье Государя Императора.

Хор певчих исполнил народный гимн. Городской голова Н. И. Гучков произнес краткую речь, в которой пожелал Университету Шанявского и его деятелям успеха, и предложил тост за процветание Университета. В. К. Рот предложил тост за здоровье губернатора, Н. В. Давыдов за градоначальника; были еще тосты за Н. И. Гучкова, В. А. Морозову, за В. К. Рота, за Н. В. Давыдова и за вдову покойного жертвователя, Л. А. Шанявскую.

Попечитель учебного округа А. А.Тихомиров произнес следующую речь:

«Идея народных университетов выражается англичанами в двух словах «University Extension»*. Счастлива та страна, которая имеет так много ученых деятелей, что может уделить часть научных сил народным массам. Но во всяком деле есть опасная сторона.

Университет по своей природе есть лаборатория мысли, место, вырабатывающее научные воззрения. В научных вопросах правда и заблуждения чередуются.

Я не хочу высказывать никаких опасений и призываю деятелей Университета Шанявского помнить, что они отвечают перед Богом за те омрачения, которые могут произойти от их деятельности, и надеюсь, что в Университете Шанявского этого не будет».

Закончилось торжество чтением приветственных телеграмм, которые были прочитаны секретарем Университета Шанявского членом 1-й Думы П. А. Садыриным.

После закладки в ресторане «Эрмитаж» состоялся завтрак. Здание Университета строится на участке земли в 5,135 кв. саж. на Миусской площади, вблизи промышленного училища имени Александра II. Проект сооружаемого здания составлен проф. А. А. Эйхенвальдом, а главный фасад и отделка здания по проекту архитектора И. А. Иванова-Шиц. Постройка и оборудование здания обойдутся около ½ миллиона рублей. В настоящее время имеется на постройку 472 тыс. рублей. Постройку предполагается закончить к началу будущего 1912–1913 года.

«Русские ведомости». 22 июля 1911 г.

---

* University Extension (англ.) – курсы при университете; вечерний факультет; здесь – народный университет.

«Приветствие» попечителя округа А. А. Тихомирова «в духе настоящего министерства народного просвещения», как его характеризовала другая газета, звучало скорее угрозой, чем приветствием. Публика тотчас пустила по этому случаю словечко: «Джунковский сегодня положил первый камень в фундамент Городского народного университета, а Тихомиров бросил в него первый камень». Для нас тут ничего неожиданного не было, тем более, что при личной беседе со мной, когда я нанес ему визит, лично приглашая его на закладку, А. А. Тихомиров говорил очень пространно, как со своим бывшим слушателем («я не говорю учеником, так как вы занимались в кабинете М. А. Мензбира» – оговаривался он), об опасностях распространения высшего образования в массы.

Итак, привожу мою речь на торжестве освящения здания*.

Когда устав Университета Шанявского проходил описанные мною выше мытарства по своему утверждению, в Министерстве народного просвещения находили, что представленный Московской городской думой проект устава совсем как бы игнорировал министерство. Еще бы! Ведь проект устава составлен был С. А. Муромцевым, и, конечно, будущий первый председатель Первой Государственной Думы накануне ее созыва очень мало заботился о прерогативах Министерства народного просвещения, предоставив учреждаемому вольному Университету возможно широкую автономию. Настроение в стране было таково, что даже реакционный министр Шварц не решился на коренную переработку устава, ограничившись лишь частичными изменениями, правда, весьма существенными. На этих-то именно «новеллах» нам пришлось конкретно оценить как ширину предоставленных Университету прав, так и значение внесенных министром изменений в уставе его.

При образовании правления Университета мы по рекомендации Н. И. Астрова провели в секретари правления П. А. Садырина. Человек исключительной энергии, большой работоспособности, прирожденный организатор и администратор, опытный в обращении с людьми и способный всецело отдать себя на нелегкую работу в Университете, П. А. Садырин для *практического* осуществления первого русского вольного Университета оказался настолько же ценным и нужным, насколько такой знаток истории народного образования в Западной Европе и у нас как Н. В. Спе-

* Текст речи в рукописи отсутствует.

ранский был полезен для *теоретического* обоснования принципов вольного университета.

Между тем Павел Александрович был перводумец, после роспуска Первой Думы участвовал в Выборгском совещании, был привлечен за то к суду, приговорен к тюремному заключению, которое и отбыл. Выборжцы были ограничены в общественных правах, и в ряде губерний дворянские собрания шли дальше суда и правительства, с шумом исключая их из своей среды. Не может быть сомнений, что такое лицо министерство не утвердило бы в должности. Но Шварц при пересмотре устава внес лишь требования утверждения председателя попечительного совета со стороны министра и председателя правления со стороны попечителя учебного округа. Члены правления вступали в должность без утверждения, и благодаря этому П. А. Садырин мог отдать свои недюжинные силы молодому Университету с первых почти дней его функционирования до самого его закрытия.

Несколько лет спустя другой, еще более реакционный министр народного просвещения, Кассо, вызвавший в 1911 году своими произвольными действиями небывалый массовый выход из Московского государственного университета[13] виднейших профессоров, воспользовался предоставленными министерству уставом Университета Шанявского, благодаря стараниям Шварца, прерогативами и не утвердил В. К. Рота председателем попечительного совета, а Н. В. Давыдова не допустил к утверждению попечителем округа в должности председателя правления Университета Шанявского. В. К. Рот и Н. В. Давыдов в течение ряда лет с самого открытия Университета Шанявского с честью несли эти должности и в них министерством утверждались! Немудрено, что даже такой администратор, как московский градоначальник Адрианов, которого никто в либерализме не заподозрит, характеризовал неутверждение В. К. Рота как *«акт личной мести»* со стороны Кассо, негодовавшего на Рота за его уход из профессоров Московского гос. университета вместе с другими протестовавшими профессорами и гневавшегося на Университет Шанявского за приют, предоставленный им некоторым пострадавшим профессорам Императорского московского университета. На этот раз никакие хлопоты успеха не имели. Университету Шанявского пришлось избрать других лиц. Председателем попечительного совета был избран бывший московский городской голова князь В. М. Голицын, а председателем правления был избран я. У меня еще сохранилась телеграмма П. А. Садырина, извещавшая меня о моем утверждении в этой должности.

Университет Шанявского принял в те годы в число своих преподавателей нескольких профессоров разгромленного министром Кассо императорского университета и приютил у себя нашего знаменитого физика П. Н. Лебедева, импровизировав для продолжения им его замечательных исследований специальную лабораторию в Мертвом переулке.

«Русские ведомости»[14]

«Русские ведомости» предложили мне через Н. В. Сперанского вступить в состав товарищества по изданию этой газеты, для чего нужно было внести пай в 50 000 рублей. Это было очень лестное и крайне заманчивое предложение по тому значению и весу, какое имели «Русские ведомости» в общественной жизни того времени, и потому, что замкнутое товарищество это принимало в свой состав людей с большим выбором. Я очень охотно принял предложение это, связывавшее меня деловыми узами с самыми близкими мне друзьями: Н. В. Сперанским, А. А. П. и В. Е. Якушкиным. Правда, необходимо было внести за пай требуемую сумму в 50 000 руб., но любимовские дела шли хорошо, и справиться с таким взносом [...][*]

* Далее текст в рукописи обрывается.

Глава 9

ЗАГРАНИЧНАЯ ПОЕЗДКА 1914 г.

Дорога

Весной 1914 года мы всей семьей отправились за границу. Софии Яковлевне давно нужно было серьезно заняться своим здоровьем. По настоянию доктора Федора Александровича Гетье мы решили провести с ней лето в горах Тироля, где София Яковлевна могла бы освободиться от привязавшейся к ней лихорадки и подышать горным воздухом. Брали мы с собой детей Сережу 15 лет, Нину – 13 лет и Таню – 11 лет. С нами также ехала Мария Федоровна Трейман, впервые тогда приглашенная к детям для преподавания немецкого языка. Затем было сговорено, что по прибытии нашем в Тироль и устройстве там в одном из намеченных пансионов к нам присоединится Надежда Николаевна Львова со взрослой дочерью. Пробыв положенное время в горах, мы намерены были посетить по близости Венецию. На обратном пути в Россию я хотел задержаться на несколько дней в Лейпциге или его окрестностях, чтобы посетить открывавшуюся в этом городе выставку типографского и издательского дела. Это лето както особенно много знакомых направлялось в Тироль и Италию. Катя ехала в Северную Италию лечить свой ревматизм. Николай Васильевич и Ольга Александровна Сперанские предполагали провести свой отпуск на Гардском озере. Б. Я. и О. И. Лукины отправлялись в Швейцарию и на Итальянские озера. Со всеми мы предполагали так или иначе встретиться за границей. С Катей и Николаем Васильевичем мы хотели специально съехаться, чтобы втроем на досуге обсудить интересовавший нас вопрос, устроив, таким образом, как бы конференцию. Это было первое наше предпринятое всей семьей заграничное путешествие, и мы были полны самих радужных от него ожиданий.

Мы выехали курьерским из Москвы на Варшаву и Вену. Описывать этот переезд я, конечно, не стану. В Вену приехали, как всегда из России, ранним утром. Это невыгодное время для приезда

в незнакомый город. Улицы пусты, магазины, частью, закрыты. В окнах квартир опущены шторы. Город кажется неприязненным и скрытным, и сам себе кажешься одиноко выброшенным на улицу и не знаешь, куда деваться и что предпринять. Мы проехали прямо в гостиницу и не спеша позавтракали, раньше чем идти на осмотр города. Случайное сходство кельнера, подававшего нам кофе в гостинице, с молодым певцом, которого мы все незадолго до отъезда из Москвы слушали в концерте в пользу Университета Шанявского в доме С. И. Щукина, вызвало большое оживление среди нашей молодежи. Весело вышли мы на улицу на осмотр города, и веселье это не покидало нас затем в течение всего трехдневного пребывания в Вене. Это настроение поддерживалось разными эпизодами, вызывавшими неудержимый смех, особенно у Тани, в детстве отличавшейся смешливостью. Для первоначального беглого осмотра города мы взяли на углу открытый автомобиль, и я, заняв место рядом с шофером, руководил маршрутом и, оборачиваясь назад, давал детям всякого рода разъяснения. По нашему непринужденному семейственному обращению шофер решил, что мы какие-нибудь славяне из глухой провинции, и стал покровительственно давать нам свои разъяснения. Проезжая мимо гостиницы, в которой мы остановились, шофер, не зная этого обстоятельства, многозначительно сказал мне, что это одна из лучших гостиниц, но дорогая, nur fur feine Leute*. Когда же я в тон ему спросил его, в каком загородном ресторане можно бы прилично с семьей в саду пообедать, он вызвался свезти нас в тот ресторан, где его тесть угощает его по большим праздникам. Было так уморительно, что нельзя было отказать себе в удовольствии по такой рекомендации проникнуть в столь респектабельное заведение. М. Ф. Трейман, мало знавшая нас до того, заливалась смехом до слез, прибавляя: «Вы с Софией Яковлевной действительно чужды всякого снобизма». Нам не пришлось раскаяться. Ресторан был совсем демократический, гастрономия непритязательная, но все свеже, доброкачественно, чисто. Притом можно было присмотреться к своеобразным обычаям и нравам.

Относительно Вены у каждого из нас была своя особая программа. Мне хотелось посетить старого своего любимца – собор Стефана. София Яковлевна хотела показать детям Ring**. Сережа проехаться по подземной железной дороге. Нина посмотреть сохранившийся от Средних веков обрубок дерева, в кото-

---

* Только для избранных (нем.).

** Ринг – центральная улица Вены.

рый посвящаемые в кузнецы мастера по обычаю вбивали гвоздь. Она только что прочла где-то описание этой церемонии и знала от М. Ф. Трейман, что около собора Св. Стефана это бревно до сих пор сохраняется. Таня домогалась сделать оборот на громадном выставочном колесе, с которого открывался вид на весь город. М. Ф. Трейман намеревалась показать детям Уранию*. Но Урания была закрыта, все же остальные желания были удовлетворены.

Боцен

Дорога от Вены до Боцена чрезвычайно красива. При выборе поезда надо обращать внимание, чтобы не проезжать ночью самых красивых участков пути. Те, кто знаком с Кавказом и со Швейцарией, все же и в Тироле найдут, чем любоваться.

Боцен сначала встретил нас не совсем приветливо. Те пансионы, которые нам были рекомендованы в Москве, либо ремонтировались за закрытием еще сезона, либо показались нам малопривлекательными по преобладанию в них несомненных туберкулезных больных. Мы остановились в гостинице в центре города, около вокзала. Образцово поставленная, она привлекла нас тем, что не носила характера санатория и была в это время слабо заполнена, что дало возможность выбрать себе отличные комнаты на солнечную сторону с балконом и чудным видом на горы. Поблизости от гостиницы было немало садов, где София Яковлевна могла проводить с детьми дни. Мы же с М. Ф. Трейман стали объезжать окрестные горные местечки в поисках пансиона или виллы в горах для устройства на более продолжительное время. Нам сначала в поисках не повезло. Рекомендованный нам еще в Москве Николаем Васильевичем уединенный в горах пансиончик Rappersbichl, между конечной станцией Rosmersholm Обербоценской узкоколейной горной железной дороги и Обербоценом, оказался законтрактованным на лето какой-то венгерской семьей. Сам Обербоцен казался нам слишком бойким. Мы остановились на его филиале, отдельной маленькой дачке, в стороне от главного отеля. Однако, когда мы на следующий день привезли в горы всю семью показать облюбованную дачу, заведующий гостиницей с тысячью извинений сообщил нам, что военный министр, посетивший Обербоцен вчера вслед за нами, оставил за собой намеченную нами дачу и что содержатель гостиницы не мог отказать столь высокопоставленному гостю, тем более что в районе Обер-

* Урания – концертный зал.

боценского плато предстоят этим летом большие маневры. Выручила нас хозяйка Rappersbichl'a. Ее два уединенных домика в горах, с величественной панорамой доломитовых гор перед окнами, меня так прельстили, что я непременно захотел показать это местечко Софии Яковлевне с детьми. И вот, при вторичном посещении Rappersbichl'a хозяйка взялась устроить нам у себя две маленькие комнаты. Однако немедленно подниматься в горы было еще рано. Весна в этом году запоздала, и даже внизу, в Боцене, было холодновато, и по нескольку раз в день резкий ветер приносил холодный дождь, а то и прямо крупу. Тут пришло письмо от сестры Кати. Она окончила курс лечения горячими грязевыми ваннами и находилась с дочерью на берегу моря в Viareggio, где стояла великолепная теплая погода, было тихо и приятно жить. Она звала повидаться, бралась задержать для нас комнаты в хорошем пансионе. Нас потянуло на теплое море, и мы решили на две недели спуститься в Viareggio, чтобы затем вернуться в Тироль, когда лето продвинется дальше и в горах станет теплей.

Перед отъездом в Италию мы с Сережей еще раз поднялись по зубчатой железной дороге на Обербоценское плато, чтобы вручить задаток хозяйке Rappersbichl'a. День был ненастный. Дул холодный ветер, сопровождаемый то дождем, то крупой. Никому не хотелось в горы. В вагоне нашей подъемной железной дороги, обыкновенно переполненном туристами, кроме нас оказалось только два пассажира. Местная сельская учительница и экскурсирующий по Тиролю мюнхенский студент, как выяснилось из их разговора. Начав с жалобы на застигшее его в экскурсии ненастье и с сообщения, что накануне во время грозы где-то недалеко в горах выпал снег и поднялась вьюга, причем погибло семь туристов, молодой студент выразил недоумение, как могли образоваться видные в окно вагона во множестве знаменитые Боценские пирамиды. Я дал ему объяснение, которое можно найти в любом путеводителе по Тиролю. К изумлению моему, студент весьма самоуверенно отверг это объяснение как неправдоподобное. Тут в разговор вмешалась учительница, которой, вероятно, неоднократно приходилось объяснять местный феномен своим ученикам. Ссылка на авторитет учебника сократила самоуверенного бурша, и он свел разговор на другие темы. Молодые люди охотно разговорились, и мне со стороны любопытно было наблюдать этих двух случайно встретившихся представителей молодой немецкой интеллигенции, принадлежавших к двум различным государствам. Студент очень быстро свел разговор на националистические темы, на военную мощь Германии, объединение всех

немцев, борьбу со всем миром. Учительница оказалась не менее его осведомленной о численности германской и австрийской армий, об их флотах и крепостях. Было странно видеть, как они оживились, с какой нескрываемой, откровенной неприязнью говорили эти немцы о всех других нациях, кроме германской. Славянам доставалось при этом в первую голову. Собеседники, очевидно, не думали, что мы с Сережей русские, или совсем о нас не думали. Ничего подобного я никогда не встречал в среде русской интеллигенции. Две недели спустя во Флоренции мы видели толпы русских студентов, учителей, врачей и служащих обоего пола. Они внимательно слушали даваемые руководителями экскурсии объяснения, многие даже что-то записывали. Они способны были, насколько я их знаю, у подножия статуи Давида или на вершинах прекрасного Флорентийского кладбища завести бесконечный спор о преимуществах крупного и мелкого хозяйства в земледелии, об общине, стачках на фабриках и заводах и о последних выступлениях Государственной Думы. Но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них проявил бы какую-нибудь осведомленность о размерах и вооружении нашей армии и флота или высказал какую-нибудь неприязнь к другим государствам или народам.

Viareggio

Итак, мы опять в вагоне и, конечно, смотрим в окна. Сначала проносимся по окрестностям Боцена, нам уже известным. Затем перед нами мелькают новые виды: горы, ущелья, потоки, поселки, замки, крепости. Едва успели отъехать от Боцена, как мы уже в Италии, непризнанной, отторгнутой, но все же несомненной и бесспорной Италии. О том говорят названия станций, вывески, костюмы, типы, мелькающие перед нами, и, наконец, звучная итальянская речь, доносящаяся к нам во время остановок. Но вот и граница, и мы уже в Итальянском государстве. Быстро минуем Падую и несемся по плодородной Ломбардии. «Трехэтажное» земледелие по долине По. Дамбы, защищающие поля от наводнений. Оросительные каналы. Уединенные дома селян, утопающие в зелени. Поселки, красивые усадьбы и замки на выдающихся скалах, господствующих над окрестностью. Мы не отрываемся от окна. Все вызывает в детях живейший интерес. Я не готовился к путешествию, предполагая кое-что почитать в Боцене. А тут мы вдруг в Италии, и мне со всех сторон задают вопросы, требуют объяснений. Приходится оборачиваться старыми своими запасами, сохранившимися в памяти. Побуждаю, в свою очередь,

молодежь мобилизовать в уме сведения учебников. Призываю на помощь Софию Яковлевну и Марию Федоровну. Экзамен выдался мне неожиданно серьезный. В течение всего дня я кое-как держался, но к концу дня впал в такую ошибку, которая грозила скомпрометировать меня в глазах не одного только моего семейства.

Мы быстро неслись к Флоренции. Там нам предстояло переменить поезд, чтобы через 2 часа ехать в Viareggio, куда мы должны были приехать в тот же вечер. Успеем ли во Флоренции между поездами выскочить из вокзала в город, на берег Арно или на Старую площадь? Как бы было приятно промять ноги и навестить своих любимцев. Друг перед другом я, София Яковлевна и Мария Федоровна рассказываем детям про Флоренцию. Между тем поезд наш несется по живописной Тоскании, то ныряя в туннель, то вылетая на волю, чтобы вновь врезаться в гору и выскочить в новом месте, открывая нам совершенно новую картину. «Флоренция! – воскликнул я, увидев неожиданно раскинувшийся перед нами город. – Вот собор, или нет, вот!» – «А там, должно быть, Старый Замок виден сбоку». «В таком случае надо искать старый мост в этом направлении!» – перебиваем мы с Марией Федоровной друг друга. Но поезд останавливается. Надо спешить, забрать багаж и выскочить. На итальянских facchino* рассчитывать нечего, их никогда не дозовешься. И в одно мгновение наше семейство на перроне. В другое – я, скорее, чем предсказывал, нашел оклеветанного мною facchino и передал ему квитанцию на багаж, который был сдан только до Флоренции и должно было пересдать его до Viareggio. В третье мгновение поезд уносится дальше, оставляя нас на перроне станции Пистоя, в полутора часах езды от Флоренции. Да, именно Пистоя, а отнюдь не Флоренция! Это был номер, и номер, выкинутый не горячим итальянцем, а степенным русским отцом семейства, перед всей станционной публикой, глазевшей на знаменитых путешественников! Хоть сквозь землю провалиться! А как тут скрыться на захолустной станции? Пришлось все вытерпеть и через час сесть на ближайший отправлявшийся во Флоренцию поезд. Скромненько, без приключений и без разговоров, прикорнув каждый куда как мог, добрались мы поздно ночью до Viareggio усталые и, признаюсь за себя, как бы помятые.

Viareggio приняло нас ласково и радушно. Ночью на вокзале нас встретил комиссионер гостиницы, в которой Катя задержала

* facchino – носильщик (ит.).

для нас комнаты, и в карете доставил нас в гостиницу. На следующее утро, едва мы успели встать, пришла Катя и предложила всем вместе идти на пляж, это средоточие курортной жизни в Viareggio. По дороге мы купили себе купальные костюмы и через несколько минут, взяв кабинки, сдаваемые для раздевания, погрузились в совершенно новые для нас наслаждения пребывания на пляже. Кто раз отведал эту негу, того на следующий день так и тянет к морю, и мы сделались ежедневными усердными посетителями пляжа.

Впрочем, за двухнедельное пребывание в Viareggio мы все же помимо посещения пляжа сделали ряд приятных прогулок в окрестностях Viareggio: по пиниевым рощам, прилегающим к нему; по фруктовым садам, искусственно орошаемым; по серо-зеленым оливковым рощам, покрывающим склоны окрестных гор. С Симой* я провел целый день в горах, среди оливковых рощ, о которых я до того имел представление лишь по палестинским этюдам Поленова, и в памяти вставали давно забытые эпизоды Нового Завета. Все вместе с Катей съездили мы в Лукку, средневековый город, окруженный стеной, на которой разведен бульвар и растут вековые деревья. Провели день в Пизе с ее косой башней и меланхолическим кладбищем.

Для меня прелесть пребывания в Viareggio увеличивалась свиданием с Катей. Мы с ней давно не видались. Приятно и интересно было поговорить о многом. Катя чувствовала себя в Viareggio как-то особенно хорошо. Она только что проделала с большой для себя пользой курс грязевого лечения и уже успела отдохнуть от него, была бодра, деятельна. Своим Сутковым она была вполне довольна. Это когда-то, казалось, безнадежно разоренное имение сделалось, наконец, образцовым хозяйством, куда ее друг, профессор И. А. Стебут, посылал своих учениц для осмотра и для практики.

Кате минуло 55 лет, мне 43. Разница в годах между нами как будто скрадывалась теперь, когда и я оказался «в годах». Дома всегда стесненные недосугом, мы в Viareggio наслаждались возможностью часами проводить время в беседах, затрагивая постепенно все занимавшие нас вопросы. Как и все русские того времени, мы много говорили о внутреннем политическом положении в России. Еще во времена дальневосточных авантюр Абазы и Безобразова[1] говорили, что мы в России живем, как на вулкане,– произойдет извержение и сметет все общественное устройство. Такая оцен-

* Дочь Е. В. Барановской.

ка нашего внутреннего положения за истекшие после того десять лет постоянно подтверждалась явной неспособностью государя, своекорыстием высшей аристократии и бюрократии, неподготовленностью буржуазии нашей к власти, бессилием интеллигенции и общественных сил, раздражением и беспокойством низов. Все же мне казалось, что не следует упускать из виду тех положительных процессов, которые происходят в стране и которые со временем могут привести совсем к другому положению. Быстрый рост промышленности за последние годы казался мне очевидным. Крестьянство, несомненно, тоже богатело, хотя, конечно, в его недрах и шел очень сложный процесс дифференциации деревни – возвышения одних и пролетаризации других. Но при высокой промышленной конъюнктуре освободившиеся в деревне рабочие руки легко находят себе приложение в промышленности. При таких явлениях в молекулярном строении страны мне казалось, что начавшееся с 1905 г. и болезненно протекавшее преобразование государственного устройства, при всех зигзагах, какими оно идет, может все же доплестись в конце концов до какого-то разумного порядка. В таком случае катастрофа может быть избегнута, думал я. Не помешали бы нам только наши соседи, которые могут ведь, соблазнившись нашей беспомощной бестолковостью, попробовать захватить себе какие-либо преимущества в ущерб России. Тогда наше дело плохо, ибо воевать Россия сейчас, конечно, не может.

И вот раз, когда мы так беседовали с Катей на веранде у моря гостиницы, где она стояла (вечером 15/28 июня 1914 года!), мы заметили необычайное оживление среди сидевших за соседним столом гостей. То были итальянцы, так как если наша гостиница обслуживала преимущественно иностранцев, то Катина посещалась своей итальянской аристократической публикой. Волнение вызвано было каким-то известием, опубликованным в только что вышедшем прибавлении к итальянской газете. Повторялись слова «эрцгерцог» и «Сараево». Я вышел на улицу, чтобы купить это экстренное добавление, но оно у газетчиков было мигом распродано. Наконец Сережа, перебежав улицу, успел у мальчика-газетчика перехватить его последний экземпляр. То была телеграмма об убийстве в Сараево сербом наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда с супругой[2].

«Так судьба стучится в дверь», – истолковал кому-то Бетховен вступительные звуки своей 5-й симфонии. Мы обыкновенно так невнимательны и так непонятливы, что не замечаем стука судьбы в дверь нашу, и нет нам Бетховена, который бы растол-

ковал нам эти звуки... Привыкшие у себя на родине к постоянным террористическим актам, мы обменялись соображениями о причинах сараевского события и могущих произойти международных осложнениях. Мы были, однако, далеки от мысли, что приближается шквал, который вырвет нас с корнем из почвы, где растем, и развеет по всему свету...

Две недели пролетели в Viareggio незаметно. Надо было двигаться в Тироль, тем более что приехавшая туда без нас Н. Н. Львова писала нам, что погода установилась теплая и в горах хорошо. Упаковавши свои вещи и взяв билет в поезд, мы пошли в последний раз на пляж. Лениво, чуть заметно плескались маленькие светло-голубые волны о светлую линию прибрежного песка. «Ласкового», как его метко назвали наши девочки. Белесовато-голубое море без резкой черты горизонта сливалось с небом. Внизу оно казалось таким же бледно-голубым, и только в зените становилось оно синим. А со стороны берега на фоне синего неба вырисовывалась ломаная линия невысокой возвышенности, покрытой серо-зелеными оливками. Ниже белел ряд каменных отелей, а еще ниже, совсем перед нами, ярко пестрели раскрашенные в разные цвета кабинки. Надо было расстаться с этой благодатью и расплатиться с содержателем кабинок сеньором S. Громадного роста, плотный, бронзовый от загара, с отвислым брюшком, в одних трусиках и соломенной шляпе с огромными полями, он стоял тут как господин, пася свое стадо клиентов и чувствуя себя хозяином этого пляжа, моря, солнца и прочих даров природы. Самодовольно и покровительственно похлопал меня по плечу, приглашая вновь приехать в будущем году. И мы, обвороженные прелестями Viareggio, обещали...

Обербоцен

Но возвращении в Тироль мы сразу устроились в Rappersbichl'e, где уже нас ждали Н. Н. и Н. В. Львовы. Убийство эрцгерцога внесло изменения в летние передвижения австрийского двора, и венгерский магнат, задержавший весной комнаты в этом пансиончике, прислал телеграмму с отказом от них. Так наше размещение устраивалось наилучшим образом. Хозяйка встретила нас как старых знакомых. Подробно, в лицах она рассказывала о приезде Львовых и о том, как она сначала сомневалась, а потом вполне убедилась, что Надежда Николаевна – это та самая русская дама с дочерью, о приезде которой в наше отсутствие мы предупреждали, прося впустить ее в наши комнаты. Вообще мы

сразу почувствовали себя дома в Rappersbichl'е. Пансион этот состоял всего-навсего из двух небольших, уединенно стоящих в горах двухэтажных домиков, стиля шале, удобных и уютно обставленных. Кругом никакой ограды, ни палисадников, ни надворных построек. Никаких соседей. К домикам не видно даже никакой дорожки или тропинки. Проходящая поблизости узкоколейная железная дорога не имеет станции в Rappersbichl'е. Вагон останавливается по требованию у опушки леса, на зеленой лужайке, лежащей перед домиками. Одним словом, сочетание всех культурных удобств жизни с полной от нее оторванностью и слитностью с природой. Оба домика стоят себе на бугре, защищенном от господствующих ветров горами и сосновым лесом. Фасадами они обращены на знаменитую панораму красных доломитовых гор.

Мы зажили в Rappersbichl'е уединенно и тихо, совсем как предписал Софии Яковлевне Ф. А. Гетье. Вставали рано, ложились не поздно. Утром до обеда все занимались своими делами: дети – немецким языком с М. Ф. Трейман и рисованием с Н. Н. Львовой. София Яковлевна читала. Я проделывал привезенные с собой из Москвы работы. После раннего обеда обычно предпринималась общая прогулка. Затем ужин и спать, чтобы не проспать завтра восхода. В Rappersbichl'е вместо ожидавшегося весной переполнения после сараевского происшествия не все комнаты оказались занятыми. Кроме нас в пансионе, в другом доме, но приходя в наш к обеду и ужину, жило только двое: капельмейстер из Кельна с женой. Уроженка Тироля, вероятно, она, приехав в щегольском платье по последней моде, скинула с себя здесь городское обличье и стала ходить в тирольском крестьянском костюме. Крупная, с грубыми чертами лица, она в модном платье казалась несколько вульгарной, а тирольский костюм ей очень шел. Она нам очень в нем нравилась, и, я думаю, от нее не ускользнуло наше постоянное ею любование.

Разновременно нас посетили Н. В. и О. А. Сперанские, по пути в Гардское озеро, и Б. Я. Лукин. С гостями предпринимались более отдаленные прогулки. С Борисом Яковлевичем 5 июля ст. стиля в именины Сережи мы ездили в средневековый замок в окрестностях Боцена, а затем обедали в Боцене в ресторане на главной площади города. Было весело и нарядно среди местной гуляющей публики и приезжих туристов.

Так-то мы благодушествовали в блаженном неведении приближающейся грозы. В Rappersbichl'е получалась какая-то местная газетка, посвященная преимущественно местным интересам и жизни курортов и туристов. Короткие телеграммы, поме-

щавшиеся в ней о международных отношениях, как потом оказалось, со всевозможными сокращениями и умолчаниями, дабы не волновать клиентов, которыми живет край, принимались мною с наивным недоверием, в убеждении, что маленькие газеты всегда склонны к сенсациям и потому преувеличивают. Хотя я и подписался на большую газету Leipziger Neueste Nachrichten, но она что-то долго не приходила, а когда и стала получаться, то далеко не исправно. Между тем большие политические газеты были полны известиями и статьями об осложнившемся международном положении в связи с сараевским убийством. Заметив это, я стал поручать покупать мне газету в Боцене или ходить в Обербоцен и Rosmersholm просматривать в кафе получавшиеся там газеты. Но и при такой более полной информации я все же не допускал возможности войны.

Что после печального опыта франко-прусской войны столкновение, если оно произойдет, не ограничится единоборством двух держав, для меня было очевидно. Ну, а в таком случае даже уверенная в своих силах Германия, думал я, не возьмет на себя инициативы общеевропейской войны. Россия же, если не из соображений государственной мудрости, то из простого страха, не предпримет ничего, что грозило бы борьбой с державой, за спиной которой стоит Германия. При внутренних наших волнениях я сомневался даже в возможности провести у нас исправно мобилизацию. Возможный ход событий мне поэтому представлялся в таком виде: Австрия, при поддержке Германии, воспользуется сараевским убийством, чтобы распространить свое влияние и добиться каких-то преимуществ на Балканах и Ближнем Востоке. Мы будем возражать. Может быть, дело дойдет даже до воинственных демонстраций. В конечном же счете мы спасуем, поступимся интересами и славянских стран, и собственными. При таком ходе событий оставаться в Австрии было бы нестерпимо, и, не видя причин прерывать свое заграничное пребывание, я стал склоняться к переезду куда-нибудь на север Италии, тоже в горы, подальше от людей. В этом духе мы стали переписываться с Н. В. Сперанским, жившим с Ольгой Александровной на Гардском озере, и с Катей, переехавшей к тому времени во Флоренцию и в силу нашего приглашения предполагавшей ехать к нам в Rappersbichl.

В номере от 22.VII.33 «Известий» я прочел содержание сделанного Ллойд Джорджем недавно выступления. Я сделал тогда себе следующую выписку слов Ллойд Джорджа: «Когда 19 лет тому назад (т. е. в 1914 г.) возникла война, она явилась не-

ожиданностью для всего мира. Я не думаю, что нынешняя (т. е. 1933 г.) угроза войны примет реальную форму, по крайней мере в ближайшие годы, однако весной 1914 года я рассуждал так же...»

Я думаю, извинительно, что ни я, ни Николай Васильевич, заведовавший международным отделом «Русских ведомостей», находившийся, впрочем, в отпуску, не предугадывали в те тревожные дни действительного начала великой войны, когда даже несомненно во много раз более нас осведомленный Ллойд Джордж признается откровенно в том же.

Итак, скрепя сердце решаем переехать в Италию. Но перед отъездом надо хоть один раз сделать восхождение на вершины. Идем я, М. Ф. Трейман, Наташа Львова и Сережа. Дорога, как везде в Тироле, хорошо размечена краской на камнях и деревьях. Подъем не слишком крутой. Выйдя утром, мы к закату уже на вершине у шале, устроенного для туристов. Разреженный воздух. Его непривычная прозрачность. Характерное для гор безмолвие, прерываемое шумом журчащей где-то воды и изредка падающих камней. После заката стало очень холодно. Мы поспешили в шале поужинать и спать. Единственное блюдо – яичница съедена быстро. Постели удобные, мягкие, с бельем и перинами, что особенно ценно, так как очень холодно. Нам с Сережей досталась та самая комната, в которой незадолго до сараевской трагедии ночевал, по-видимому, брат убитого эрцгерцога. Поутру, расплатившись и готовясь в обратный путь, мы вздумали подурачиться и в книге посетителей расписались тоже как великие особы «в сопровождении» – «mit Stock und Hut»*.

Бодрые, возбужденные и веселые, с громадными букетами рододендронов спустились мы в свой пансион. Софию Яковлевну, Надежду Николаевну и девочек мы нашли на лужайке перед пансионом. В руках у Софии Яковлевны была пришедшая без нас почта –русские и немецкие газеты и письма. София Яковлевна была в сильной тревоге от полученных известий. Посланная накануне на озеро Гардо Сперанским телеграмма возвращена за прекращением частного обмена депеш с Италией. Поезда до итальянской границы не доходят. Одним словом, надо ехать в Россию, решаем мы тут же. Я передаю свой букет и палку и отправляюсь в Боцен заказывать билеты. София Яковлевна идет укладываться. «Не пересидели ли мы тут в горах все сроки, чтобы выбраться из надвигающейся кутерьмы?» спрашиваю я себя, но стараюсь не выдавать своего волнения. К ужину я вернулся, едва успев заказать билеты

* Игра слов. Буквально: «с палкой и шляпой» (охраной) (нем.).

на Мюнхен, Берлин, Калиш, Москву. Но деньги приняли только до Берлина, где нужно было довнести стоимость остального пути.

Внезапный перерыв нашего заграничного отдыха всех, разумеется, расстраивал. Чтобы поднять настроение и не дать места унынию, я стараюсь за ужином шутить. Мария Федоровна меня в этом поддерживает. Ужин проходит в балагурстве и смехе, причем Таня гогочет, нисколько не смущаясь сидящей за соседним столом четы капельмейстера. Уже поздно вечером, расплачиваясь с хозяйкой, я узнал от нее, что капельмейстер получил запечатанный пакет и спешно уезжает на родину. Его жена весь день плакала. Нам стало неловко за наше шумное поведение за ужином. Софья Яковлевна отнесла ей в знак внимания и сочувствия большой букет из принесенных нами с гор рододендронов.

С плачем провожали нас на следующий день хозяева пансиона. Он сразу опустел, и уже не было надежды получить каких-либо клиентов на конец сезона. Проклиная войны и правительства, их устраивающие, хозяйка расточала похвалы миролюбию и щедрости приезжающих иностранцев. В ожидании железнодорожного вагона девочки сняли своими аппаратами два гостеприимных домика, а Таня сняла еще своего любимого Мишку на большом камне в окружении многочисленного семейства маленьких куколок. Эти крошечные куколки, которыми играли наши девочки, заслуживают особого упоминания. Это были любимцы, с которыми девочки не расставались, нося их в карманах своих. Нужны были тонкие и ловкие девочкины пальцы, чтобы играть с такой мелюзгой. А девочки еще различали каждую малютку в лицо, давая каждому имя. Собрались они не разом, а покупались девочками в Москве в разных магазинах постепенно, после тщательного осмотра и любования. В Столешниковом переулке был, между прочим, магазин, где можно было купить за гривенник такие сокровища. Раз как-то там оказалось феноменально маленькое созданьице. Его, как говорили, можно было брать только пинцетом, пальцами не ухватишь. «А этот крошка-милашка что стоит?» – воскликнула в восторге Нина, обращаясь к продавщице и, очевидно, ожидая баснословной, высокой оценки. «А этого карапуза возьмите даром», – ответила продавщица, подавая его Нине.

В Боцене тоже растерянность и уныние. Вывешены громадные плакаты «Ruhig Blut»*, внушавшие иностранным клиентам, что в Тироле опасаться нечего и что даже в случае войны во всей Европе не будет более безопасного и спокойного места. Публика,

* Сохраняйте спокойствие (нем.).

однако, рвалась домой. Мужчины, состоящие в запасе, получили запечатанные пакеты и немедленно отбыли. Вокзалы и поезда переполнены. Билеты разобраны. Хорошо, что я заказал свои места еще накануне. На вокзале мы еще встретились с четой капельмейстера. Она приветливо улыбнулась, он предупредительно спросил, не может ли он в чем быть нам полезен при посадке...

Наш поезд был полон запасных. Их провожали с цветами. Со всех концов, из домов, садов и с горных тропинок, женщины махали поезду нашему платками, кричали, чтобы скорее возвращались. Думается мне, что этот призыв обращен был и к уносившимся с поездом иностранцам...

Ночью в Мюнхене на вокзале

Ночью, в Мюнхене, нам было объявлено, что надо переменить поезд. Мы вылезли из вагона и, к удивлению, увидели, что поезд наш остановился, не дойдя до вокзала. Смущенные такой необычной для Германии беспорядочностью, пассажиры за отсутствием носильщиков забрали сами свой багаж и поплелись в темноте по сыпучей насыпи к светящемуся в отдалении вокзалу. На вокзале с трудом удалось достать носильщика и передать ему вещи. Была страшная давка. Только что отошел поезд запасных. По-видимому, предстояло отправление еще таких же поездов. С трудом протиснулись мы на перрон сквозь зловеще молчавшую толпу провожавших, наводнившую все залы и переходы. Тут все пути были заняты готовыми к отправлению поездами. Вагоны освещены, многочисленные дверцы (по конструкции немецких вагонов – по наружной двери с каждой стороны к каждому купе) раскрыты, всюду надпись «Berlin». Но, увы, все места «reservirt fur h. Officiere»*. Едва-едва удалось нам втиснуться в вагон, предоставленный простым пассажирам дальнего следования. Здесь мы встретились с Б. Д. Плетневым, москвичом, как и мы, попавшим в этот водоворот и возвращавшимся в Москву. Он рассказал, что в Мюнхене были патриотические манифестации, что настроение к русским враждебное, что в каком-то кафе было даже побоище. Пока мы разговаривали, стоя в вагоне у открытого окна, к вагону нашему подбежала, плача и ломая руки, молодая девушка, русская еврейка, умоляя нас взять ее с собой. Она из Бобруйска, в Мюнхене никого не имеет, консул отказался дать ей паспорт. Мы могли ей только посоветовать держаться консула и без правильно вы-

* Оставлены для господ офицеров (нем.).

бранных документов не трогаться в путь. Тут поезд наш тронулся при оглушительном «hourra!* провожавшей публики, сквозь который прорывались истерические вопли молодой еврейки.

День в Берлине

Рано утром (18/31.VII) поезд наш прибыл в Берлин. Нам здесь предстояло пробыть целый день, так как поезд, на который я заказал места в Москву, уходил вечером. Мы взяли номер в знакомой мне по прежним поездкам гостинице «Hotel Stadt Riga» на Фридрихштрассе, почти рядом с вокзалом. Оставив дам и девочек в гостинице, мы с Сережей пошли менять деньги. Это оказалось, однако, почти невыполнимой задачей. Австрийских денег, денег союзника, никто в Берлине не брал. Итальянских тоже. Попытка проникнуть в Reichsbank** для размена денег не удалась. У дверей банка стоял длинный хвост вкладчиков, спешивших выбирать свои сбережения. Полиция пропускала по очереди, и мы не стали домогаться пропуска. Наконец какой-то меняла, старый, бородатый еврей с пейсами, обменял мне сторублевую русскую бумажку на немецкие бумажки. Курса я не помню, но это нас вполне устраивало. Во время этой беготни ради размена денег мы заметили на какой-то улице у дома с большим двором и решеткой некоторое стечение публики и движение подъезжавших и отъезжавших автомобилей. Молодой человек, толокшийся тут же, вероятно, газетный мелкий репортер, сказал, что сейчас здесь происходит важное заседание при участии канцлера Бетман Гольвега. Разменяв деньги, я повел всю нашу компанию обедать в ресторан «Unter den Linden». Когда мы выходили с Фридрихштрассе на улицу Unter den Linden, то с противоположной стороны на эту улицу выехало несколько больших элегантных автомобилей и проследовало по направлению к дворцам. Немногочисленная публика, проходившая по Unter den Linden, кричала приветствия, некоторые бросали вверх шляпы. Это император Вильгельм II в первом автомобиле и кронпринц во втором въезжали в Берлин из Потсдама.

После обеда я взял большой автомобиль, и мы все вместе поехали в Зоологический сад. Мы удивлены были обилию там русских посетителей. Русская речь слышалась со всех концов. Очевидно, в это беспокойное время не одни мы спасались в Зоологическом

---

* Ура!

** Государственный банк (нем.).

саду. Однако через некоторое время в саду появился военный оркестр. Надо было ожидать исполнения им гимна и соответствующих патриотических манифестаций со стороны публики. Чтобы не оказаться в фальшивом положении, мы покинули Зоологический сад, взяли опять автомобиль, и я попросил шофера покатать нас по городу. Всюду образцовый порядок. Все прибрано. Чистота образцовая. Дома хотя и не представляют ничего замечательного в архитектурном отношении, но монументальны, хорошо содержатся. На окнах, на балконах цветы, преимущественно настурции и красная герань. Нарядно, опрятно и празднично. Но вот мы по Unter den Linden приближаемся к дворцовой площади, хорошо нам известной по двум музеям налево, когда над императорским дворцом с правой руки взвивается флаг. Шофер, я сижу с ним рядом, говорит мне, что император прибыл во дворец. На площади стекается народ, и автомобиль едва продвигается вперед. Мы вынуждены остановиться на мостике через канал при въезде на площадь. Кто-то показался на балконе дворца. Он начинает говорить народу на площади, размахивая руками. Потом мы узнали, что то был сам император: он говорил против Николая II, размахивая его письмом. Речь эта появилась затем во всех газетах, но тогда мы ничего в ней не расслышали и не разобрали, а догадались о том, что слушали императора, по приветственным крикам толпы, раздавшимся, когда человек, говоривший с балкона, кончил и скрылся во дворец. Я просил шофера вывезти нас из толпы и с площади. Но окруженные толпой, мы не могли ни съехать с моста, на котором были застигнуты, ни повернуть наш автомобиль. И вот, медленно раздвигая перед собой густую толпу, навстречу нам показался автомобиль, в котором сидел Вильгельм II. Среди неистово приветствовавшей его толпы он медленно-медленно, совсем вплотную, близко проехал мимо нас, чуть не задевая нашу машину. Я мог отчетливо не только разглядеть его в лицо, я разглядел отдельные волосы его щетинящихся усов. Кругом гул восторженных восклицаний, в нашей машине гробовое молчание. В этот день в Берлине трудно было уберечься от манифестаций, но мы попали в самую гущу, в самую знаменательную, описанную впоследствии во всех газетах.

Ужинали мы в уже знакомом нам ресторане «Unter den Linden». В ресторане все места были заняты. Чтобы получить место, приходилось ждать, пока оно освободится. Среди обедавших здесь я увидел К. К. Мазинга, гласного Московской городской думы, известного педагога и основателя реального училища в Москве. Основываясь на том, что Бавария не объявила у

себя «состояния угрожающей военной опасности», старик стал доказывать мне, что нет смысла пороть горячку и возвращаться в Россию. Благоразумнее в Баварии переждать, как развернутся события. Я рассказал ему, что происходило ночью в Мюнхене на вокзале, но старик остался при своем. Задержавшись на лишние сутки в Германии, он претерпел через то немало неприятностей. Был где-то заподозрен чуть ли не в шпионстве и возвратился в Россию много позже меня.

Поужинав, все направились в «Hotel Stadt Riga», чтобы выждать в номере время отправления на вокзал. На минутку мы с Сережей вышли на Unter den Linden вечером, чтобы купить вечерние газеты и посмотреть, нет ли экстренных прибавлений. Не успели мы появиться на Unter den Linden, как нас обогнал громадный грузовик. Какой-то агитатор стоял на грузовике, раскидывал с него экстренное прибавление, и неистово кричал: «Ultimatum! Ultimatum!»* Это был текст предъявленного России ультиматума об отмене мобилизации.

В гостинице перед отходом на вокзал новое смущение. Узнав, что мы едем на Калиш, портье в «Stadt Riga» пришел прямо в ужас: «Разве можно на Калиш, да с женщинами и детьми!» Схватив у меня наши железнодорожные билеты, он стал куда-то телефонировать, стараясь наши места на Калиш обменять на другое направление. «Разве можно сегодня достать 8 мест в одном поезде!» – воскликнул он, кладя трубку после неудачных переговоров. Затем, возвращая мне билеты и как бы делая над собой усилие, он сказал: «Ну что же, поезжайте, если не боитесь!» Он не хотел даже брать с меня на чай. Этот человек что-то знал, что готовилось в калишском направлении. После того как там разыгралась вакханалия майора Прейскера[3], жутко подумать, чем мы рисковали.

На вокзале все шло как заведенные часы, и в положенное время поезд в полнейшем порядке повлек нас к нашей границе. Надежда Николаевна в вагоне тихо поздравила меня с благополучным отбытием домой. «Не верю я все же, что разыграется война. Вы видели, какое повсюду разлито благоденствие. Кто же здесь серьезно захочет подвергать его случайностям войны», – сказал я ей. Меня все же беспокоили вечерние телеграммы, в которых

---

* Ультиматум! Ультиматум! (нем.)

Германскому послу в Берлине поручено было сообщить Сазонову, что за объявлением «состояния угрожающей военной опасности» последует всеобщая мобилизация, если Россия не приостановит в течение 12 часов свои военные приготовления. Это поручение Пурталес исполнил в 12 часов ночи с 31 на 1-е. – *Примеч. М. В. Сабашникова.*

немецкие газеты, как потом выяснилось, сообщали заведомо ложные известия о восстании в Польше, взрыве цитадели в Варшаве, избиении русских...

Неожиданная остановка. Скальмержиц и переход через границу

Рано утром я был разбужен Софией Яковлевной. Она уже встала и слышала в коридоре, что нас дальше не повезут. Не успел я вскочить, как наш поезд остановился, и на перроне раздался повелительный крик: «Alles Heraus!»* Наш поезд стоял на пограничной германской станции Скальмержиц. Повыскакавшие из вагонов пассажиры беспорядочно толклись на перроне, стараясь узнать, в чем дело. Выяснилось, что поезд дальше не пойдет, что на русской стороне поезда нет и что нам предстоит идти дальше и перейти границу пешком. «А багаж?» – спросил я железнодорожного служащего. «Требуйте его от вашего императора Николая!» – был ответ, свидетельствовавший, что дипломатические отношения порваны. Встретившаяся тут преподавательница Университета им. Шанявского Ежова сообщила мне, что пассажиры ее вагона уже объяснялись по поводу выдачи багажа с начальником станции, но без успеха. Для перевозки ручного багажа они наняли арбу, на которую она предложила и нам сложить наши вещи, что мы тут же и сделали. Тихо затем поплелись пассажиры нашего поезда по направлению к русской границе, сопровождаемые несколькими арбами, верхом нагруженными их вещами.

Но вот мы у границы. Пикеты немецкие и русские стоят друг против друга с заряженными ружьями, отделенные друг от друга нейтральной полосой в 15-20 шагов. Пассажиров по очереди, одного за другим, пропускают через границу. Но не успели мы всей семьей перейти, как произошла заминка. Германцы внезапно прекратили выпуск от себя, и кучка пассажиров была задержана на той стороне вместе с арбами, везшими наши вещи. Одна семья оказалась разъединенной. По просьбе перешедших пассажиров русский офицер из пограничного пикета пытался вступить в переговоры с германской стороной, но не мог добиться не только пропуска арб с вещами и неперешедших границу пассажиров, но даже пропуска одних членов разъединенной семьи. Немецкая машина работала как машина. Из центра пришел приказ закрыть границу, и граница захлопнулась моментально. Мы долго стояли

* Всем выйти! (нем.)

на границе в ожидании, не произойдет ли каких-либо перемен, но напрасно мы ждали.

Танюшкин любимый Мишка застрял на немецкой стороне с нашим ручным багажом и по моей вине. В ожидании большого перехода пешком я настоял в Скальмержице, чтобы все вещи были сложены в арбы. С ними теперь оказался отрезанным от нас и Мишка, привернутый в Скальмержице в тюк с пледами и подушками. Добродушный Мишка, большой и лохматый, которого девочка не выпускала до того из рук в течение всего путешествия! «Бедная Таня! – сказала мне М. Ф. Трейман. – Как мужественно она переносит свое маленькое горе!» София Яковлевна попробовала ее утешить. «Мама! внушительно возразила девочка. – Если бы кто-нибудь из нас остался там за границей, ты разве бы не плакала?»

Было 19 июля. День рождения Тани. Обычно мы проводили этот день в Старом Гатище, где она родилась. Утром в этот день, пока она из деликатности умышленно, бывало, задерживалась в постели, все семейные, вставши пораньше, рвали букеты и плели венки и гирлянды к утреннему чаю. Каждый старался затмить других цветочными подношениями. А сейчас в этот ранний час сколько уже произошло несчастий! Вдали от дома, разбуженные чуть свет, не евши, не пивши, лишившись своего багажа, сначала большого, а затем и малого, бредем мы по пыльному шоссе в полную неизвестность. И в довершение всего потеряли Мишку. Как тут не плакать! И бедная девочка украдкой утирала слезы.

До Калиша, куда нам предстояло держать путь, оставалось верст пять-шесть. Из города стали подъезжать извозчики и забирать пассажиров. Но нас было 8 человек. Сразу взять двух извозчиков (минимум!), чтобы поднять всех, не удавалось. Между тем София Яковлевна пуще всего боялась разъединиться, да и я, имея в памяти вечерние берлинские телеграммы о восстании в Польше и избиении русских, считал необходимым держаться всем вместе. Решено было передохнуть немного у русского пограничного пикета и подождать, пока отъезжавшие на извозчиках пассажиры не пришлют еще извозчиков из города. Если же их не будет долго, то идти в Калиш пешком, соединившись с другими пассажирами. София Яковлевна попросила хлеба для детей у начальника пикета. Офицер очень любезно дал большую краюху черного хлеба, извинившись, что ничего другого съестного в пикете нет. Закусить разместились под дикой грушей. «Незрелые груши вредно есть», обратился я к одному из солдат, сидевших под соседней грушей. «Да нам и не велено их есть, строго-настрого»,

– ответил молодчик, запихивая себе в рот совершенно зеленую грушу. При таком добродушном согласии нетрудно было разговориться. Я узнал, что пикет придвинут к границе вторые сутки, что ночью ему было поручено взорвать мост, но что обстрелянные германцами охотники не могли к нему проникнуть, но что уже этой ночью «беспременно да взорвут мост». «Ну как тут воевать при такой степени «сознательности», – подумал я. – Ведь кругом нас, наверное, кишмя кишат шпионы да перебежчики». И как бы в подтверждение моего предположения перед нами разыгралась следующая сцена.

На шоссе со стороны Калиша взвилась пыль столбом. К нам мчались два автомобиля. Передний попытался с налета переехать границу, но был остановлен нашими. Из него выскочил высокий толстый немец и бросился к границе. Его не пропустили. Из подоспевшего в это мгновение второго автомобиля выскочили офицер с револьвером в руке и солдат с винтовкой. Автомобиль спасавшегося за границу немца был реквизирован. Хозяин что-то возражал, но его никто не слушал. Оба автомобиля в распоряжении офицера быстро повернули обратно и унеслись в Калиш. Толстый немец, высаженный из своего автомобиля посреди пыльной дороги, ворчал, стараясь вызвать к себе сочувствие окружающих. Но это было безнадежно. Мы все в это утро уже дважды были экспроприированы его соотечественниками. Наш Сережа так даже восхищался ловкостью, с которой офицер провел реквизицию. В моих же глазах реквизиция автомобиля более оправдывалась обстоятельствами, нежели лишение нас нашего багажа, а Тани ее любимого Мишки.

Калиш

В конце концов частью пешком, частью на встречных извозчиках мы добрались до Калиша. Железнодорожная станция была всеми покинута. Ни служащих, ни состава. Это не обещало ничего хорошего. В гостинице все номера заняты. Нас едва-едва, за плату, усадили в столовой, переполненной публикой преимущественно с нашего и предшествовавшего поезда. Здесь я услышал, что железная дорога эвакуирована еще со вчерашнего дня, что на последние поезда, уходившие в Варшаву, места брались с бою, что приехавший из-за границы гласный Московской думы князь Кропоткин, мой знакомый, уехал в Варшаву на лошадях. Я сказал подать чай и бутерброды с ветчиной. Лакей потребовал деньги вперед. Притом требовал уплаты золотом, согласившись, в конце

концов, принять частью германские (!) деньги. Я решил идти к губернатору, чтобы выяснить себе положение и найти способ выбраться.

«А не было ли среди пассажиров вашего поезда нашего губернатора?» – спросил меня вице-губернатор, принявший меня за отсутствием губернатора, который, как оказалось, был за границей и должен был вернуться нашим поездом. По описанию наружности губернатора, сделанному вице-губернатором, я заключил, что калишский начальник губернии был в числе пассажиров нашего поезда, не пропущенных германцами через границу. Что касается нашего продвижения, то вице-губернатор конфиденциально сообщил мне, что ночью из Лодзи подадут поезд для эвакуации чиновников гражданского управления. Местных жителей он не в состоянии принять на этот поезд, нам же, москвичам, проезжающим через Калиш транзитом из-за границы и не имеющим в нем оседлости, он даст на этот поезд пропуск. Он просил этого, однако, не оглашать, так как иначе он будет завален неосновательными и невыполнимыми просьбами. Однако он не дал мне пропуска на руки, обещав прислать мне его в гостиницу и советуя пораньше перебраться на вокзал до стечения публики. Заподозрив (каюсь в этом) его в неискренности и в желании просто поскорей сбыть меня с рук, я указал ему на казавшееся мне противоречие в его распоряжениях: нам перебраться немедленно на вокзал, а пропуск будет направлен в гостиницу. «Пропуск будет на имя коменданта поезда, а он вас пропустит по имеющимся у вас документам», – был малоуспокаивавший ответ. Пришлось вернуться в гостиницу без пропуска, прося дать его на 9 человек, включая Ежову. Мои черные подозрения сменились, однако, живейшей благодарностью к этому неизвестному мне человеку, вошедшему в наше положение и оказавшему нам неоценимую услугу при выезде из Калиша. В самом деле, не успел я вернуться в гостиницу, собрать своих, взять извозчиков и усадить всех, чтобы ехать на вокзал, как к крыльцу гостиницы, где стояли наши извозчики, готовые тронуться в путь, подкатил солдат на самокате. Он передал мне пакет от вице-губернатора с пропуском на 9 человек!

На вокзале по-прежнему не видно было железнодорожных служащих, а на путях никакого подвижного состава. Однако из города пешком и на извозчиках стал стекаться на станцию народ, постепенно наводняя собой все вокзальные помещения. Усадив своих в зале ожидания, я взял с собой Сережу и пошел искать по станции какое-нибудь начальство. Наконец, у телеграфного аппарата мы застали офицера, начальника станции и телеграфиста.

Они отправляли телеграмму с распоряжением взорвать железнодорожный мост. «Помилуйте, – говорил начальник станции, да ведь этак они вам ваш поезд взорвут! Вы телеграфируйте не просто немедленно взорвать, а немедленно после прохода поезда взорвать». «А ну, если поезда-то этого вовсе не будет, вот не подают еще», – возражал офицер. «Взорвут мост, тогда уж где тут подать», – сумрачно упорствовал начальник станции. Мы с Сережей переглянулись. Уж так ли заманчиво ехать в этом поезде? Что, если его в самом деле по недоразумению взорвут! А что, если его вовсе даже и не подадут?

Посмотрев мой пропуск, офицер сказал, что нас в поезд пропустят. Вернувшись в ожидальный зал, мы нашли там невероятное скопление публики и ужасающую давку. Страшно было подумать, какая тут будет Ходынка, когда откроют двери на перрон для посадки на поезд. По настоянию Софии Яковлевны мы с громадными усилиями выбрались из зала на подъезд вокзала. Уже темнело. Можно было ожидать скорого прибытия поезда. Надо было измыслить способ проникнуть к нему. Я обратился к жандарму, показал ему пропуск, указал на детей, с которыми опасно пробиваться на перрон через людскую гущу, скопившуюся в ожидальном зале, сунул ему в руку пятерку. Одним словом, разом пустил в ход все аргументы. «Ждите здесь до темноты, – сказал он, затем я вас проведу». Примерно через час он повел нас совсем в сторону от вокзала, сначала полем, потом запасными путями. В темноте мы незаметно, вплотную подошли к цепи солдат, окружавшей поезд. Он стоял в стороне от вокзала, на нем не было огней, мы бы и не узнали об его прибытии. Нас беспрепятственно пропустили. Мы заняли даже сидячие места. Затем все проходы битком заполнились людьми. Без гудка, чуть слышно, поезд двинулся в путь.

Наш вагон был полон самым разнообразным людом. Рядом со мной у окна сидела толстая чиновница. На ее вещах напротив умостился молодой человек, за ней ухаживавший. Какой только вздор не плел он ей, пользуясь необычайностью положения «в эту романтическую ночь». А она, толстая дура, слушала и млела, и кисла от радости. Через несколько часов мы подошли к Лодзи. С перрона нам крикнули, что Калиш занят немцами. Какие-то поляки-крестьяне с топорами и мешками влезли к нам в вагон через окно. На замечание, что мест свободных нет, один из них очень внушительно сказал, что они место себе найдут. Утром мы были в Варшаве. Чтобы сесть на поезд, направляющийся в Москву, надо было через весь город перебраться с Калишского на Брестский вокзал. Извозчиков нет. Пришлось порядочно побегать, прежде

чем я наконец достал двух пароконных извозчиков и не привел их на Калишский вокзал, предусмотрительно отобрав у них «номера» их. Но пока я за своими ходил на вокзал, два солдата заняли моих извозчиков для князя Имеретинского, если не ошибаюсь, бывшего генерал-губернатором Привисленского края. Невзирая на ружья, которыми аргументировали солдаты, я стал перед ними настойчиво отстаивать свое право на приведенных мною извозчиков, «номера» которых были у меня в руках. К моему великому удивлению, солдаты больше, как оказывается, уважали право, бывшее на моей стороне, чем силу, находившуюся в их распоряжении. Порядком поспорив с ними и, что бывает в таких случаях полезно, пошутив, я в конце концов усадил своих на этих извозчиков, которые и доставили нас на Брестский вокзал.

Тут полная сумятица. Ни есть, ни пить нечего. Будут ли поезда на Москву, неизвестно. Встретившийся мне князь Кропоткин, действительно приехавший из Калиша на лошадях, сказал мне, что для выезда из Варшавы надо получить разрешение коменданта крепости. «Ну, а цитадель?» – намекнул я на берлинские телеграммы. «Выдумки германских патриотов, ответил мне он, везде полный порядок!»

После целого дня ожидания на вокзале и беготни по городу за разрешением на выезд мы в конце дня втиснулись в один из трех стоявших у вокзала поездов, отправлявшихся в Брест. Время отхода неизвестно. Никакие расписания не соблюдаются. Пойдет ли поезд дальше Бреста, не установлено. Мы заняли места в вагоне третьего класса, но довольно чистом и, что особенно было важно, наполнившемся, на наше счастье, чистой публикой. В этом вагоне нас в семь суток (!) довезли до Москвы. Но мы все время находились в неизвестности, пойдет ли поезд дальше данного перегона, и на каждой станции приходилось справляться о том у дежурного по станции. После Бреста нам стали встречаться воинские поезда, и чем дальше, тем чаще. Солдаты держались молодцевато. Пели песни. В вагонах чисто. Все в приборе. На меня, опасавшегося, что мы не сможем благополучно провести мобилизацию, эта движущаяся на защиту границ армия производила внушительное впечатление. «Россия всегда оказывается выше наших ожиданий!» – думал я дорогой.

Но эти тысячи людей, двинувшиеся в путь, поедали на своем пути все, что им попадалось. На второй день мы уже на себе почувствовали производимое ими опустошение. На станционных буфетах все съедено. Окрестное население приносило продукты, но и они исчезали в мгновение. Становилось страшно, что мы не

пропитаемся дорогой. Стояла невыносимая жара. Среди пассажиров начались кишечные заболевания. Два ребенка в соседнем вагоне умерли от поноса. Заговорили о холере и о карантинах...

Со встречного поезда мобилизованные перебросили нам последний номер газеты «Русское слово»[4], который тут же из рук в руки стал передаваться по вагонам нашего поезда. Предупредительность и внимание друг к другу случайно встретившихся, не знакомых между собой людей – это было тоже новое, приятно поразившее меня впечатление от родины. Помнится, в газете я прочел сообщение о выступлении на каком-то собрании психиатра профессора Н. Н. Баженова, из которого я понял, что кадеты заняли по отношению к войне оборонческую позицию.

Ярцево

На станции Ярцево при нас происходила посадка запасных в отправляющийся на границу поезд. Угрюмо и сосредоточенно прощались они, по-видимому, все рабочие ярцевских фабрик, со своими семьями. Женщины голосили, старики унимали детей. А для придания отбывающим бодрости струнный оркестр из трех еврейчиков пиликал на перроне «Боже, царя храни». На небе величественно закатывалось солнце, озаряя в пурпуровые цвета нагромоздившиеся на западе облака. Трубы на фабриках густо дымили, и мрачно темнели на фоне заката фабричные корпуса. А с противоположной стороны ярко горели в лучах заката скромные окошечки крестьянских изб.

Приезд

Но вот Одинцово, Немчиновский пост, Кунцево. Родные с детства места, исхоженные вдоль и поперек. Из-за деревьев выглядывает пятиглавый Спас Сетунь, потом шатровый храм Троицы в Голенищево. С другой стороны нарядная красно-белая нарышкинского стиля церковь в Филях. Поклонная гора с Кутузовской избой приводит на память, что ведь всего сто лет отделяет нас от наполеоновских войн и что я еще в детстве знал в деревне Аминьеве (вон там) старушку, которая помнила московский пожар. И за 1812-м вспоминаются 1713 и 1613 гг. Какая странная периодичность катастроф в нашей истории, и неужели и сейчас будет что-то катастрофическое, думаю я, выглядывая в окно, не встречает ли нас кто на перроне вокзала. Нас, в свою очередь, искал Кузьма.

– Здравствуйте, Михаил Васильевич! Пожалуйте багажную квитанцию.

– Здравствуйте, Кузьма Филиппович! Багажная квитанция есть, но багаж у германцев остался.

– В таком случае пожалуйте ручной багаж.

– Его тоже не стало, Кузьма Филиппович!

У Кузьмы Филипповича уже не хватало средств для выражения своего удивления, и он молча повел нас к нанятому им для нас ландо. В квартире на Тверском бульваре нас приняла в объятия бабушка София Николаевна и Н. Н. Щепкин, забежавший на минутку сказать, что в делах обстоит благополучно. Он сейчас же поспешил в городскую думу, куда усиленно звал и меня. «Надо помыться», – возразил я. «Ну, ладно, а из бани, благо по дороге, валяйте прямо в Думу. Сразу во все окунетесь, и рассказывать не придется!»

Оставив домашнюю ванну в распоряжении Софии Яковлевны и девочек, я забрал Сережу и поспешил в Центральные бани. Мы там сразу натолкнулись на нашего юрисконсульта Алексея Васильевича Шилова. Он страдал от ожирения и, не знаю, по совету ли врача, или по собственному разумению, чуть ли не ежедневно ходил в баню «спускать жир». Низкого роста, с отвислым брюшком, с громадной лысиной, на которую он зачесывал сбоку жиденькие пряди волос, степенный и обстоятельный. Когда он, надев на свой горбатый нос золотые очки, внимательно, бывало, пробегал своими умными глазами какой-нибудь набросанный мною проект договора, он часто мне казался чрезвычайно характерным типом московского человека, каким-то перешедшим в наш век дьяком какого-нибудь государева приказа. Сейчас, в полном обнажении, с простыней на плечах, он сошел бы, пожалуй, за римского сенатора. Пришлось тут же рассказать ему наше странствование. Нас окружила банная публика, среди которой я узнавал в костюме Адама знакомых и обменивался приветствиями.

В атмосфере банной неги и приятельских разговоров во мне совсем было размякло и испарилось возбуждение, охватившее меня еще в вагоне при приближении к Москве. Пожар войны как будто еще не достиг обывателя, и в этой мирной повседневной обстановке я почувствовал, как снижается мое повышенное настроение и я готов погрузиться в мирную благодушную обыденщину. Но стоило перебежать Театральную площадь и войти в помещение городской думы, чтобы понять, что за этим внешним непробудным спокойствием таится небывалое оживление. Общественные круги мобилизовались. В разговорах и в принимаемых решениях пар-

тийность уже не чувствовалась. Давая то или иное поручение, о человеке судили только по тому, что и как он может сделать.

Я пробыл в Думе весь вечер, стараясь разобраться в том новом, что делается в связи с открытием военных действий, и соображая, что мне самому предпринять.

Когда я вернулся поздно ночью домой, все уже давно спали. В кабинете на письменном столе я нашел ворох бумаг, принесенных из конторы, нераспечатанные личные мне письма и поступившие в издательство рукописи. Толстая папка с давно ожидавшимся переводом Эдды[5] привлекла мое внимание; спать не хотелось, и я погрузился в чтение стихов Свириденко. Телефонный звонок в этот поздний неурочный час заставил меня вздрогнуть. Екатерина Андреевна Котляревская извинялась в несвоевременном звонке, но «Сережа» (брат ее) заверил ее, что телефон у меня так далеко от спальни, что я все равно ничего не услышу, если лег спать. Они вот слышали о моем возвращении сегодня через Берлин и хотели бы знать, правда ли, что социал-демократы в рейхстаге в вопросе о войне солидаризировались с правительством[6]. «Да», – с некоторым злорадством сказал я, зная, что это должно страшно поразить Екатерину Андреевну. «Ну, а как же... – недоуменно павшим голосом спросила она вновь: – Неужели Либкнехт?» В эту минуту я питал к германским социал-демократам ожесточение, близкое к злобе и ненависти, и, чувствуя, что я наношу Екатерине Андреевне жестокий удар, я подтвердил: «Ну, да, все социал-демократы в войне идут с правительством». Я искренне заблуждался относительно Либкнехта и про себя думал – вот вам ваш Либкнехт! Екатерина Андреевна от волнения ничего не могла больше говорить, и наш разговор по телефону на этом оборвался.

Чтобы дать улечься раздражению, вызванному разговором о позиции германских социал-демократов, я вышел на балкон. Внизу чернела полоса Тверского бульвара, вдали едва белесовато виднелось пятиглавие Страстного монастыря[7]. Сколько передумано и перечувствовано за болезнь Сережи на этом балконе, перед этим видом. Мне захотелось вспомнить поразившее меня только что при просмотре рукописи Эдды четверостишье. Я вернулся в кабинет и по закладке прочел:

В меру быть мудрым для смертных уместно,
Многого лучше не знать.
Редко тот радостен сердцем, чей разум
Больше, чем надо, узнал.*

* Отрывок из «Песни о богах» в «Старшей Эдде».

В каком непримиримом противоречии стоит это суждение к нашей неутолимой жажде все большего и большего знания!

Сейчас, спустя двадцать лет после описанной ночи, найдя и вновь выписав здесь это четверостишие в рукописи, до сих пор остающейся неизданной, могу только прибавить, что действительно безумно трудно было бы пережить все, мною до сего описанное, а тем более все, после сего прожитое, если бы вперед знать, что нас ожидает. Или пришлось бы снизойти до чисто растительного прозябания, безразличного и к прошлому, и к будущему, и к отдаленному, и к отсутствующему...

„Вѣчныя книги"

Памятники поэзіи и прозы всѣхъ временъ и народовъ.

выходятъ по подпискѣ отдѣльными томами в 1р50к. томъ

вся Библіотека составитъ около 100 томовъ и появится в 4 года

Допускается подписка на всю Библіотеку или на отдѣльныя группы

1) серія „Античные писатели"

Эсхилъ, ~~Софоклъ~~, Эврипидъ, Аристофанъ, Фукидидъ, Геродотъ, Платонъ, Аристотель Гомеръ ? 10

Виргилій, Овидій, Тацитъ, Светоній, Сенека, Маркъ Аврелій, Цезарь, Горацій ?? 10

2) серія „Народное творчество

Гомеръ, Былины р., Сказки р., Духовные стихи р., ~~[illegible]~~ р., Калевала, Нибелунги

???? 10

3) серія „Славянскій міръ"

Былины р., Сказки р., Дух. стихи р., Лѣтописи р., Слово о полку Игоревѣ и др., XVIII в., Пушкинъ, Лермонтовъ

Мицкевичъ, Словацкій, ... 20

4) серія „Классики міра" (съ иллюстраціями современниковъ)

Софоклъ, Эврипидъ, Платонъ, Виргилій, Овидій, Гомеръ, Р. Былины, Сказки,

Данте, Кальдеронъ, Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ, Мольеръ, Гюго.

5) серія „Возрожденіе Европы"

Данте, Кальдеронъ, Шекспиръ, Макіавелли,

Теперь надо обсудить

Софокла, Эсхила, Эврипида

Аристофана, Платона

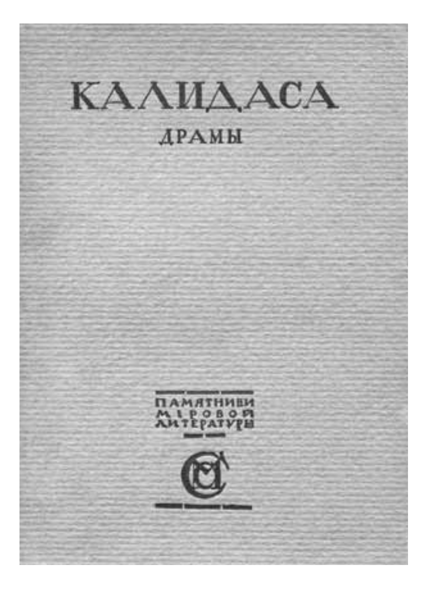
Виргилія, Овидія, Тацита

Марка Авр., Сенеку, Светонія

Первоначальный проект серии «Памятники мировой литературы». Автограф М. В. Сабашникова (1910 г.)



К. Д. Бальмонт



«Памятники мировой литературы».
Драмы Калидасы в переводе
К. Бальмонта



М. О. Гершензон



РУССКІЕ
ПРОПИЛЕИ

ТОМЪ I

МАТЕРІАЛЫ
ПО ИСТОРІИ
РУССКОЙ МЫСЛИ
И
ЛИТЕРАТУРЫ

СОБРАЛЪ И ПРИГОТОВИЛЪ КЪ ПЕЧАТИ
М. ГЕРШЕНЗОНЪ

МОСКВА
ИЗДАНІЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХЪ
1915

«Русские Пропилеи» под редакцией
М. Гершензона



В. Ф. Джунковский, Б. А. Евреинов, О. С. Жекулина,
А. В. Евренинова (урожд. Сабашникова). Борщень, 1911 г.



Возвращение из заграничной поездки. Переход границы. Август 1914 г.



М. В. Сабашников, возглавивший в 1915 г. медико-санитарный отряд на Западном фронте под Вильно.



Бурятский санитарный отряд. 1915 г.



Сергей Сабашников, сын М.В. Сабашникова (всадник справа). 1915 г.



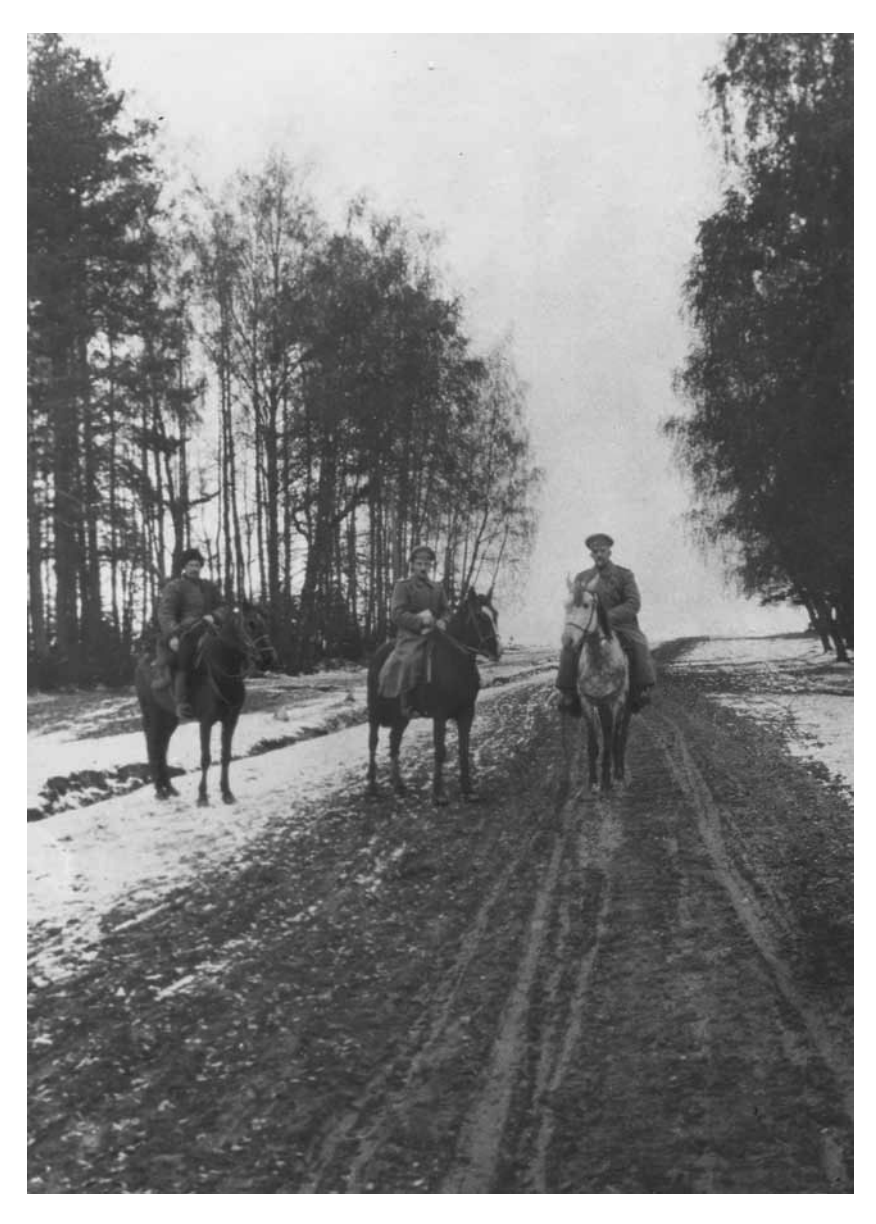
«Летучки» Бурятского санитарного отряда. 1915 г.



М. В. Сабашников (слева) 1915 г



Бурятский санитарный отряд. М. В. Сабашников в центре. 1915 г



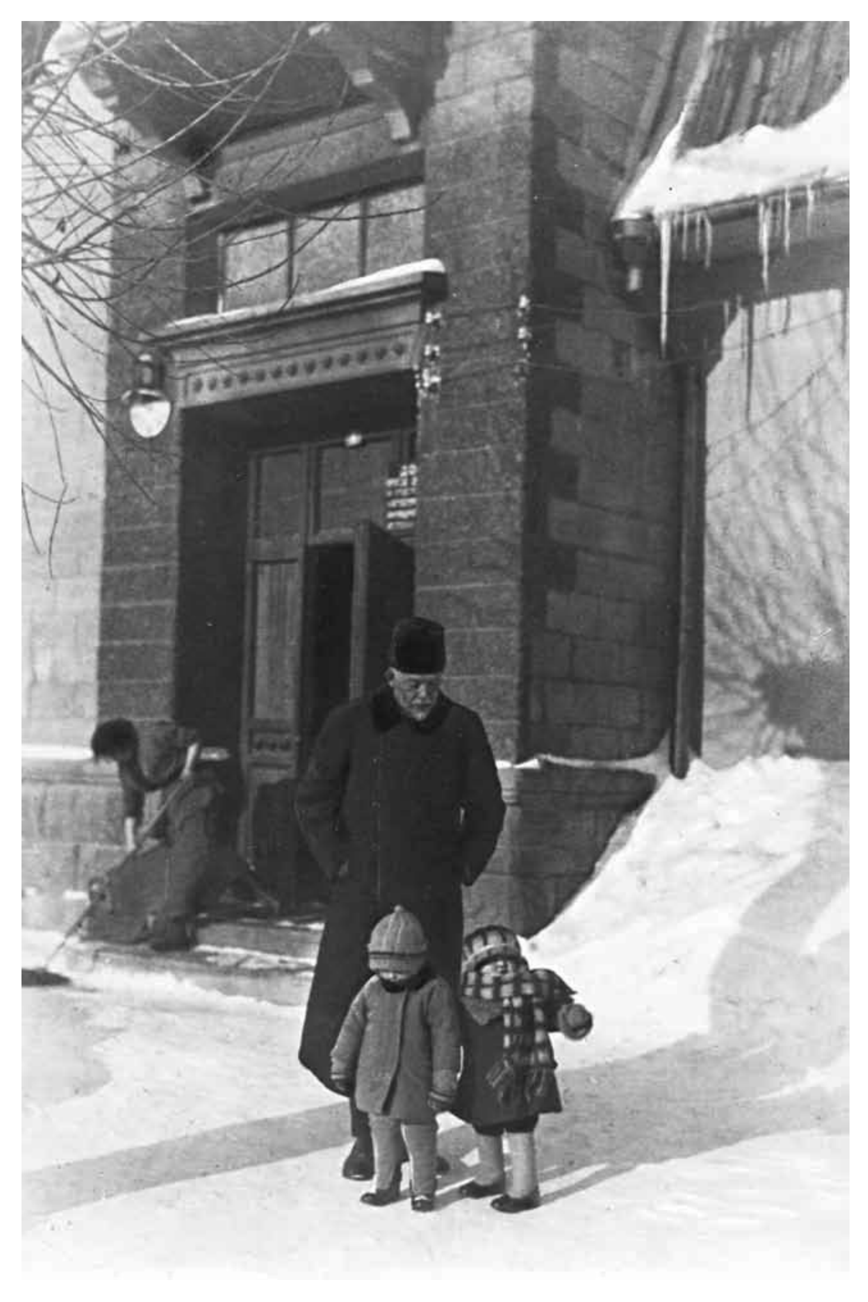
М. В. Сабашников (всадник справа). 1915 г.



С. Я. Сабашникова. 1930-е гг.



Сергей и Нина, дети С. Я. и М. В. Сабашниковых. 1920-е гг.



М. В. Сабашников с внучкой Наташей (справа),
дочерью С. Сабашникова. 1926 г.



Г. Я. Артюхов. Конец 1920-х гг.



Н. Сабашникова (в замужестве Артюхова). 1926 г.



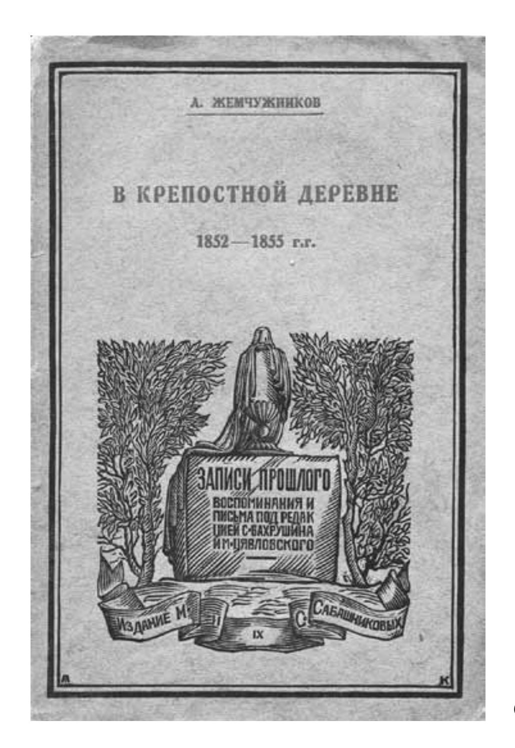
М. В. Сабашников с дочерью Т. Сабашниковой (в замужестве Леоновой).
1920-е гг.



Л. М. Леонов.
20-е гг.


М. А. Цявловский


С. В. Бахрушин



Один из выпусков серии «Записи Прошлого», выходившей под редакцией С. Бахрушина и М. Цявловского

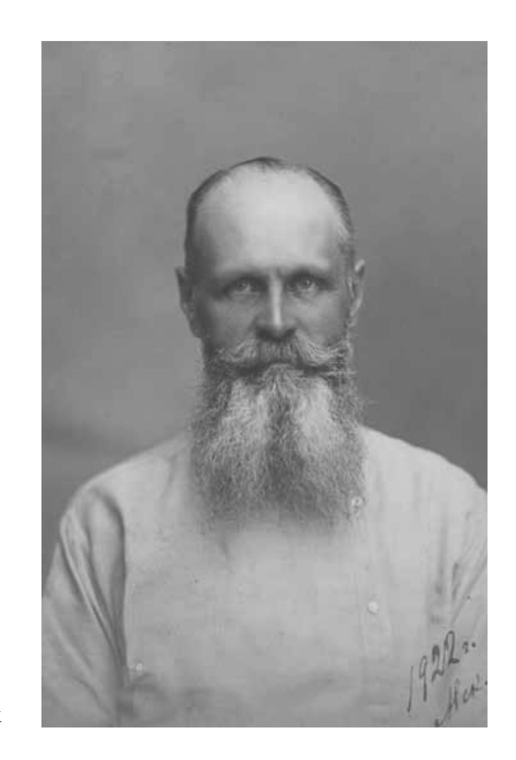




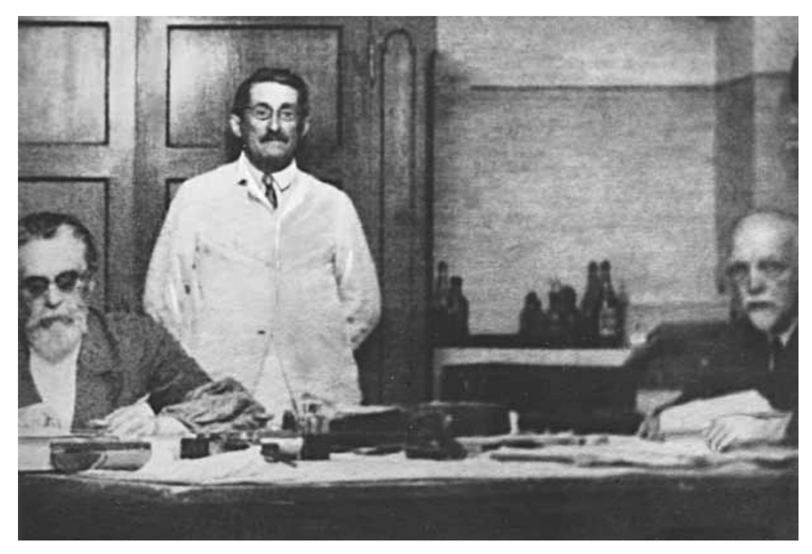
Д. М. Петрушевский



И.С. Остроухов



В. Ф. Джунковский, 1922 г.
«Воспоминания» Владимира Федоровича Джунковского опубликованы в 1998 г. в серии «Записи Прошлого» Издательства им. Сабашниковых



Б. Я. Лукин (слева), М. В. Сабашников (справа), неустановленное лицо (в центре) в конторе «Сотрудника». 1937–1941 гг.



Издания «Сотрудника». 1935–1943 гг.

Глава 10

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

О. Ю. Зюссенгут

Раз как-то, развернув в трамвае купленное на остановке «Русское слово», я прочел, что арестованы и высылаются из Москвы проживавшие в ней немцы по подозрению в шпионаже. В списке высылаемых я нашел О. Ю. Зюссенгута, нашего когда-то учителя. Я тотчас вернулся домой и позвонил по телефону в немецкую школу, где он преподавал, чтобы узнать, что предпринимается для выручки Отто Юльевича и чем мог бы я помочь делу. Но в школе все были в паническом ужасе, отвечали уклончиво, отнекивались незнанием. От подошедшего к телефону директора я узнал адрес Отто Юльевича и поспешил туда, понимая, что времени терять нельзя – если бедного старика тронут из Москвы, то выручать его будет нелегко. Семью Отто Юльевича я нашел в отчаянии и растерянности. Послали за братом жены Менертом, владельцем большой типолитографии на Полянке. Это оказался еще молодой человек, энергичный и обстоятельный. Он произвел на меня самое приятное впечатление. От него я узнал все обстоятельства ареста, и так как арест был произведен по распоряжению градоначальника, то я поспешил к Адрианову.

В старом здании градоначальства стиля ампир на Тверском бульваре царила полная тишина, кроме меня, посетителей не было. У градоначальника кто-то был с докладом, и меня попросили обождать. Я присел в длинном коридоре, обращенном в ожидальню. Вскоре ко мне присоединилась Варвара Алексеевна Морозова, приехавшая по аналогичному со мной делу. Она спросила меня, как быть, если простого заступничества и характеристики окажется недостаточно и потребуются еще какие-нибудь гарантии. Я сказал, что готов взять Отто Юльевича на поруки и поселить его у себя в Костине, Любимовке или Ононе.

Из кабинета градоначальника вышел человек с портфелем, и меня пригласили войти. Я уступил очередь Варваре Алексеевне. Она недолго заставила меня ждать. Раздраженная, она на ухо шепнула мне, что потерпела полную неудачу. Такая же неудача ожидала меня. Адрианов был недоступен никаким доводам. Он был в административном экстазе! Приходилось обращаться выше. Выйдя от градоначальника, я телеграфировал В. Ф. Джунковскому, который в то время был товарищем министра внутренних дел. Одновременно просил телеграфом Нину, жившую в Петербурге, поддержать мое ходатайство и последить, чтобы оно было рассмотрено срочно. Утром на следующий день пришло распоряжение В. Ф. Джунковского об освобождении О. Ю. Зюссенгута. Но он был уже выслан этапным порядком, и это оказалось для него гибельным. Он простудился, сердце не выдержало пеших переходов. По возвращении в семью он скончался чуть ли не на следующий день.

Согор

Среди явлений нашей общественной жизни, вызванных войной, особо выдавались возникшие тогда самочинно организации помощи армии Земский союз, Городской союз, Земгор, или объединение обоих союзов, военно-промышленные комитеты[1]. Я принял участие в работе Согора.

Летом 1915 года я отправился во главе 6-го Сибирского медико-санитарного отряда Союза городов[2] (Бурятского, как назывался он также потому, что оборудован был частично на средства бурят) на фронт в расположение X армии. Отряд там работал в районе Шестаково, развернув в зданиях этой эвакуированной ж. д. станции свой лазарет. Затем мы были передвинуты на шлях Вилькомир Вильно. С падением Ковно армия отступила, Вилькомир был оставлен, и наш лазарет развернулся в Вильно, а с отступлением из Вильно он расположился в Молодечно. Описывать отрядную деятельность я не стану. О ней составлялись периодические отчеты Главному комитету Союза городов. Таких отрядов было много, и они описывались в печати. Некоторым отличием нашего было участие в нем порядочного количества бурят с уполномоченными Р. Б. Бимбаевым и В. В. Егоровым. Я выскажу здесь не одно только мое личное впечатление, но и мнение сменившего меня после моего ухода уполномоченного В. Н. Хитрово, отметив, что буряты держали себя в отряде очень культурно. Этим я не хочу умалить оценку русской части персонала, который, как более

подготовленный, – врачи, помощники врача, студенты и курсистки – нес наиболее ответственную работу.

Сын мой, Сергей, упросил меня зачислить его в отряд, что я и сделал. Видя его в окружении сотрудников, я часто радовался счастливому подбору товарищей, мечтая, что с некоторыми у него могут завязаться дружеские отношения и на будущее время. Но революция разметала всех в разные стороны. Старшим врачом был Пастукьян. В отряде я вел, хотя и с пропусками, лично для себя в копирке дневник. Копии по мере их накопления я посылал Софии Яковлевне, которая при своей аккуратности их сохранила в целости*.

Император

...Николай II приезжал в Москву и знакомился с работой Союза городов. Мне пришлось видеть его несколько раз – при встрече на Брестском вокзале, при осмотре им выставленных в Купеческой управе[3] отчетных диаграмм и образцов санитарного оборудования, на выходе, наконец, в Большом Кремлевском дворце.

На вокзале я стоял непосредственно за Н. И. Астровым и Л. Л. К. очень близко к царю и мог хорошо вглядеться в него, так как лицо его было удалено от меня не более, чем на метр. В отличие от других Романовых Николай II был невысокого роста. Голова его показалась мне непропорционально большой. Лицо было маловыразительно и совсем обыденно. Обращало на себя внимание, придавая лицу несколько старообразный оттенок, множество морщинок, веерообразно расходившихся к вискам от наружных углов глаз. Кажется, признак не столько природной нервности, сколько беспокойной, не по нервам, жизни. Внутреннее беспокойство, при всей его выдержке, все же сказывалось в нервном перебирании пальцами ручки тесака, висевшего у него сбоку. Люди, желавшие непременно восторгаться членами царской фамилии, обыкновенно восхищались «очаровательными глазами царя». Это были большие, действительно красивого цвета светло-коричневые глаза при безукоризненно белых белках. Он постоянно переводил глаза то в одном, то в другом направлении, причем получалось впечатление не то, что он ими смотрит, а что он их показывает, как это бывает у некоторых женщин.

---

* Письма-дневник М.В. Сабашникова о пребывании на фронте публикуются в разделе «Письма».

Болезненный мальчик наследник, в матросской форме, на руках у дядьки матроса, придавал всей семье царя оттенок тяжелого неблагополучия. Непостижимо, как Александр III мог одобрить брак сына своего на принцессе, отягощенной гемофилией, болезнью наследственной, передающейся через женщин, но выявляющейся лишь у мужчин.

Опять Ярцево

В сутолоке отбытия и в хлопотах по налаживанию распорядка в поезде я не заметил, как мы миновали все знакомые мне с детства пригородные места по Александровской (Брестской) ж. д. и добрались до станции Ярцево. Здесь на остановке я в первый раз выглянул в окно своего купе. Был безоблачный летний полдень, когда в природе все кажется притихшим в какой-то истоме и глаз не улавливает никакого нигде движения. Не замечая меня, по сыпучему откосу ж. д. полотна мимо моего вагона прошел наш доктор, окруженный, как роем, сестрами, весело щебетавшими что-то между собой. Откуда-то с задних вагонов нашего поезда доносились голоса моего сына Сережи и его нового товарища по отряду С. С. П., обсуждавших статьи наших лошадей. Вдоль поезда к станции прошли мимо меня санитары с чайниками за водой. Одним словом, в поезде нашем уже сказывался какой-то быт. Вспомнив нашу остановку в том же Ярцеве в 1914 году, в начале войны, когда мы всей семьей возвращались из-за границы, я ужаснулся, насколько мы погрузились в войну эту, насколько мы к ней привыкли.

Как гнетуще тяжело мне было тогда и как спокоен и готов ко всему я теперь! Война с ежедневными сводками, с убитыми, ранеными и пропавшими без вести вошла в жизнь, стала чем-то обычным. Ночью с заседания финансовой комиссии в городской думе я езжу в свое дежурство встречать очередной поезд с больными и ранеными, назначенными к выгрузке в Москве, и, несмотря на душу раздирающий вид некоторых из этих страдальцев, я не теряюсь и нахожу в себе еще силы с ж. д. вокзала ехать в редакцию «Русских ведомостей» помогать Н. В. Сперанскому на его ночной работе. Совсем как на заурядной службе, без нравственных переживаний и душевных потрясений. До чего-то мы дойдем еще в своем огрубении, спросил я себя и отвернулся от окна, чтобы погрузиться в отчеты.

Пани Конча[4]

Мы больше не встречались с пани Конча. Я не воспользовался ее приглашением и не посетил ее в доме ее отца в Вильно. Врач нашего отряда К. бывала там и встречала самый радушный прием. Мне же привелось получить от этой фамилии еще одно яркое впечатление, которым я хочу здесь поделиться.

При отступлении на Вильно наша «Летучка А»[5] получила направление, отличное от пути следования нашего лазарета. Произошел разрыв, и надо было восстановить связь. С. этой целью я отправился верхом из Вильно в «Летучку А». К моему удивлению, пришлось ехать по местности, совершенно обезлюдевшей. В деревнях решительно никого не было. Не было даже собак, которые, очевидно, последовали за хозяевами. Одни только самонадеянные кошки рыскали по халупам и сараям в поисках съедобного. Как я потом убедился, население ушло не в тыл, как бывало обыкновенно, а спряталось, опасаясь германских снарядов, в ближайшие леса и овраги, где я и застал целые таборы. Наслышавшись о бедствиях «беженцев», оно, по-видимому, решило не покидать родные места, а, переждав в лесу исхода протекавшей военной операции, вернуться в свои дома, безразлично, останутся ли они за русскими или за германцами.

Я ехал по обширной волнистой равнине, окаймленной на горизонте лесом. Солнце уже далеко перевалило за полдень, когда я увидел впереди характерное литовское кладбище, как всегда, посреди поля, на бугре, обнесенном оградой из валунов, заросшее старыми высокими соснами, среди которых, состязаясь с ними в росте, торчали намогильные кресты, знакомые нам по картинам Чюрлениса. Направо от кладбища виднелась панская усадьба, а вдали на горизонте тянулась опушка чернолесья, могучий массив которого мне предстояло пересечь. Соображаясь с картой и с тем, что я слышал от пани Кончи, я решил, что усадьба принадлежит одному из ее братьев, и завернул во двор, надеясь здесь накормить лошадь. Но усадьба оказалась так же обезлюдевшей, как и деревня. Ни души. По всем признакам настежь отворенные двери и окна, расстановка мебели, приборы на обеденном столе и пр. – усадьба была покинута внезапно и незадолго перед тем. Пришлось не задерживаясь ехать дальше. Проезжая мимо кладбища и взглянув во внутренность кладбищенской ограды, я увидел на нескольких памятниках свежие венки и букетики живых цветов, очевидно, недавно положенных на могилы. Особенно умилили меня маленькие букетики, собранные и положенные на могилы

несомненно детскими ручками. Сколько нужно самообладания, чтобы при поспешном бегстве посетить дорогие могилы...

Лошадь в канаве

В ноябре [1915 года][*] я возвратился в отряд. Я нашел его в Молодечне. Он довольно удобно расположился около ж. д. станции в двухэтажном кирпичном корпусе рядом с винокуренным заводом. Соседство это было источником постоянных волнений и беспокойств. Несмотря на то, что целая рота охраняла цистерны со спиртом, который не успели вывезти при эвакуации завода, проходящие воинские части неизменно делали попытки проникнуть к запретному зелью и его отведать. Вскоре после моего прибытия в отряд начальство решило, наконец, разделаться с этим опасным соблазном. За невозможностью эвакуировать спирт постановлено было вылить его на землю. Наехавшие для этого чиновники акцизного надзора должны были, однако, убедиться, что промерзшая, обледенелая земля не впитывала в себя спирт. Он разливался по межам соседних полей на большое расстояние, оставляя повсюду лужицы, из которых с наступлением сумерек охотники до этого напитка стали его лакать. Пришлось выливание производить малыми дозами и со значительными перерывами, что растягивало всю операцию на долгие сроки. На фронте было затишье, больных и раненых в лазарет поступало немного, и при этом временном бездействии наезды акцизных чиновников и их возня со спиртом служили некоторым развлечением для молодежи нашей в создавшейся монотонной обстановке отряда.

Для меня лично, однако, это время было очень трудное. На фронте стал ощущаться недостаток снабжения. Между тем большой отряд наш ежедневно требовал продовольствия людям и фуража лошадям. Интендантство людей кое-как еще снабжало, заменяя порой крупу чечевицей, что в те времена, когда население еще не испробовало действительной недостачи, вызывало ропот. Но совсем катастрофично стояло дело с получением фуража. От интендантства решительно ничего нельзя было получить. Кавалерийские части по всей округе реквизировали имевшийся там фураж, снимали соломенные крыши с построек, кормили лошадей молодыми ветвями деревьев. Лошади от такого корма болели и дохли. Попытка моего товарища, уполномоченного Н. В. Хитрово, использовать в критическую минуту благорасположение дяди

* Год в тексте отсутствует.

своего, командовавшего стоявшей по соседству казачьей дивизией, ни к чему не привела. Генерал молча показал нам рапортичку о числе лошадей, сдохших в дивизии от бескормицы... Прифронтовое население было не более отзывчиво. Полгода назад можно было еще склонить продать что-нибудь Союзу городов. Но теперь и обстоятельства, и настроения переменились. Романтизм первого периода войны давно исчез. Люди стали жестче. Навидавшись всего, прифронтовое население опасливо и недоверчиво оглядывалось кругом, как бы ему самому не остаться без ничего. Если где и были запасы, то они тщательно припрятывались «про черный день». Положение было критическое. Надо было либо найти фураж, либо уводить отряд дальше в тыл.

Почти ежедневно неутомимый Панарин чуть свет подавал мне машину, и мы, наметив на карте предстоявший путь и захватив с собой кое-какой еды на весь день, уезжали рыскать по округе. В гололедицу, при нестерпимом ветре эти, в большинстве случаев незадачливые, поездки бывали весьма изнурительны. На более близкие расстояния я ездил верхом, обыкновенно один, так как вопреки настояниям студентов отряда, желавших, чтобы их уполномоченный пользовался всеми ему предоставленными прерогативами, я никак не мог принудить себя брать с собой вестового.

Раз как-то я, отменно усталый и иззябший, возвращался из такой поездки, довольный тем, что удалось у осевшего в уединенной халупе беженца, собравшегося уйти дальше в тыл, скупить все его продовольствие и фуражные остатки. Дорога шла чернолесьем с многочисленными полянами и прогалинами, в которых так естественно было бы увидеть стоги сена. Они здесь и были в свое время, но уже давно были вывезены рыскавшими повсюду кавалерийскими частями. Я не торопил свою лошадь, соображая, что легко засветло проеду незнакомые места, а дальше по знакомой дороге можно легко пробраться и в темень...

Вдоль дороги тянулся широкий и глубокий ров, полный воды, поверхность которой покрыта была тонким льдом. Какая-то гнедая лошадь, пасшаяся на лужайке, перепрыгивая через ров, поскользнулась и задними ногами свалилась в ров, проломав лед и расплескав вокруг себя воду, которая тут же застыла на поверхности земли. Лошадь своими передними ногами упиралась о край канавы, и казалось, достаточно было бы сильного прыжка задними ногами, чтобы ей высвободиться на дорогу. Однако ей это не удавалось. Мне стало жалко бедное животное, и я решил помочь. Я сильно отощал, очень устал, вся обстановка какая-то была необычная, и в таких условиях мы, спокойные, уравновешенные

люди, с хорошими задерживающими центрами, бывает, совершаем экстравагантные поступки.

Я слез со своего коня и подошел к лошади, попавшей в канаву. Осмотрев место, я утвердился в своем первоначальном впечатлении, что для лошади выпрыгнуть из рва вполне возможно. Я припомнил тут кавказских горцев, которые при проводке вьючной лошади по узкому карнизу дороги на краю пропасти держат ее за узду спереди и за хвост сзади. Конечно, если бы лошадь потеряла равновесие и покачнулась к пропасти, оба проводника не смогли бы ее удержать. Но этого обыкновенно не бывает, и достаточно такой легкой поддержки за узду и за хвост, чтобы лошадь на краю пропасти не оступилась и не потеряла равновесия.

Итак, пододвинув копыта передних ног моей пациентки к глубокой колее, проложенной вдоль края канавы, и убедившись, что обледенелые стенки колеи представляют вполне надежную и прочную опору, я и сам уперся в нее своими сапогами. Руками я ухватился за гриву лошади, чтобы со всей силой дернуть ее на дорогу в критический момент, когда после прыжка ей надо будет удержаться на скользком, обледенелом, покатом откосе канавы. Умное животное внимательно следило за моими приготовлениями. Когда я протянул свою руку к его гриве, на меня капнула большая холодная слеза. Я как-то никогда раньше не замечал, что лошади тоже могут плакать. Но вот прыжок сделан. На одно мгновение лошадь оказалась на краю канавы. Но моего толчка все же оказалось недостаточно. Задние ноги, не находя за что зацепиться, скользят вниз по обледенелому откосу, бедное животное грузно скатывается вниз, увлекая и меня в своем падении. Заранее обдуманным движением я засовываю согнутый локоть свой в колею – упору мою, и это останавливает мое дальнейшее скольжение вниз по склону.

Полежав несколько минут на откосе канавы и набравшись сил, я вытянул себя на локтях на дорогу. Делать больше было нечего. Очевидно, бедной лошади приходилось погибнуть в ее канаве. Я сел на своего коня и двинулся в путь. Мой конь стал очень нервен. Невзирая на несомненную усталость, он все порывался в галоп. Я еле его удерживал, зная, сколько нам еще предстояло проехать.

Глава 11

«ПОГИБЛИ ВСЕ, КТО ВИДЕЛ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ»

В своем неизданном курсе «История образования в Германии в конце Средних веков» Н. В. Сперанский пишет: «По глубокому замечанию одного из современных социологов (E. Reclus), ни в природе, ни в истории нет почти примеров эволюции, которая бы, при всей своей закономерности, на известной стадии не принимала бурно-стремительного революционного характера». Так ли это или не так, но России суждено было на себе явить пример, как бы подтверждающий это наблюдение Е. Реклю. В 1917 году в феврале у нас разразилась революция, которую принято теперь называть буржуазной, а через несколько месяцев за ней, в октябре, произошла социалистическая революция. Само собой разумеется, в условиях жизни и деятельности людей произошли коренные, решительные перемены.

В настоящих набросках дореволюционного периода не место вдаваться и в описание бурного времени революции, что могло бы служить предметом особого повествования. Кончая поэтому настоящие свои записки, я, однако, должен дать здесь, хотя бы и краткие, справки о том, какая судьба постигла изображенных мною здесь людей и их начинания. Это и послужит содержанием следующих заключительных XI и XII глав.

Итак, начну с тех, судьбу которых вкратце можно выразить словами Лейденского древнеегипетского папируса, повествующего о происшедшей на берегах Нила за несколько тысячелетий до нас социальной революции: «Погибли все, кто видел вчерашний день».

Февральская революция

Февральская революция застала меня в Москве. Я был занят в Отделе фронта Союза городов (Камергерский переулок), ког-

да мне подали телефонограмму секретариата Главного комитета Союза, извещавшую, что в Петербурге восстали против императорского правительства два полка, явившиеся в Таврический дворец и ведущие переговоры с Государственной Думой. Вскоре затем кто-то сообщил, что в Москве гарнизон тоже заволновался. По окончании занятий в Союзе я телефонировал в нашу контору, чтобы меня там не ждали, и с А. Д. А. направился в городскую думу. На Воскресенской площади перед городской думой стояла в полном порядке какая-то воинская часть. Встретившийся нам на площади Н. И. Астров сказал, что солдаты не пропускают никого в Думу, где все же уже находится часть гласных. После настоятельных переговоров ему все-таки удалось добиться впуска себе и нам через боковой вход.

В Думе мы нашли городского голову М. В. Челнокова, управу и нескольких гласных: Н. Н. Щепкина, П. А. Бурышкина, П. П. Юренева и др. Положение было неопределенное. Вести из Петербурга скудные и отрывочные. Настроение в Москве напряженное в высокой степени, насколько можно было судить по телефонным разговорам и сообщениям прибывающих в Думу лиц. При таких-то потемках в Думу явился офицер, желавший переговорить с головой. За круглым столом кабинета городского головы он сказал, что его команда в Хамовнических, помнится, казармах находится перед принятием ответственного решения. Неизвестные ему агитаторы склоняют солдат к возмущению. Но солдаты не располагают никакими данными, чтобы принять разумное решение. Предоставить их самим себе в такую ответственную минуту он не может. И вот он спрашивает городского голову, какую позицию займет он, городской голова, и какую городская дума. М. В. Челноков предложил офицеру вместе направиться в казармы. Не медля они туда отправились... Томительно долго тянулось время до возвращения М. В. Челнокова в Думу. Раздавались голоса, что голова не должен был ехать в казарму сам, а следовало отправиться кому-нибудь из гласных: «Представьте, голову там задержат, Москва останется без общепризнанного законного главы в такое-то время!»

События, происшедшие тогда в Петербурге, на фронте и во всей стране, поведшие к отречению императора за себя и за сына и к образованию Временного правительства, неоднократно описывались их участниками.

Покупка дома в Москве

Памятуя, как мы в 1907 году чуть было не разорились, когда ряд наших покупателей сахара прекратили платежи вследствие расстроившихся дел их после революции 1905 года, я решил после Февральской революции принять меры к обеспечению семьи на случай повторения подобного же теперь и выделить из общего коммерческого оборота хотя бы незначительную часть капитала. Я остановился на обычном в купеческом мире приеме – покупке дома в Москве на имя жены. София Яковлевна, правда, не сочувствовала этому, не желая принимать на себя не свойственную ей роль капиталиста. Но мне удалось ее уговорить. После недолгих поисков мы в апреле 1917 г. купили владение вдовы профессора невропатолога Прибыткова на углу Плющихи и Проезда Девичьего поля, состоящее из небольшого особняка и доходного дома в восемь квартир.

Лето 1917 г. София Яковлевна с девочками провели в Костине. Сережа, сын мой, ездил в Крым гостить на даче А. В. Чичкина. Я держался преимущественно в Москве, но часто наезжал в Костино. Это было уже последнее наше лето в Костине. Следующее лето Якушкины, правда, прогостили там, но мы уже не покидали Москвы, довольствуясь сквером Девичьего поля, на котором происходили непрерывные митинги, да садиком при купленном нами доме.

В одну из моих воскресных побывок в Костино Н. Н. Щепкин прислал мне туда с нарочным сообщение, что наш постоянный посредник по сахарным делам З. Ф. Першин имеет покупателя на Любимовку. Дают пять миллионов рублей немедленно, из которых половину взносом в Лондонский банк в английской валюте. Принципиальный ответ надо было дать безотлагательно, с тем же нарочным. Для начала переговоров условия представлялись серьезными, и при намерении продать завод надо бы было немедленно ехать в Москву выработать подробности, которые могли изменить значение сделки и в ту, и в другую сторону. Однако, несмотря на то, что я по рассказанным выше соображениям имел побудительные причины к реализации завода и даже вел о том раньше переговоры, мое отношение к предложению З. Ф. Першина, по первому непосредственному впечатлению, сложилось резко отрицательное. С начала революции я прекратил всякие такие переговоры, и теперешнее предложение исходило, как я догадывался, из спекуляции на панику одних перед грядущей социальной революцией и на надежду других на торжество контрреволюции.

Очутиться среди паникеров, спасающих свою «кубышку» и не знающих, что затем с собой делать, мне было противно. Однако ввиду важности дела и заинтересованности в нем моих близких, я не хотел действовать под влиянием чувства и использовал все предоставленное мне время до отъезда нарочного на «изучение проблемы», как теперь выражаются дипломаты.

В волнении исходил я по нескольку раз костинский парк, прежде чем написать свой ответ. Он был отрицательный, и вот по каким соображениям: 1). Реализация завода была в свое время предположена в связи с намерением выделить часть Сережиного наследия для создания какого-нибудь просветительного учреждения. Так как в условиях 1917 года мечтать о подобном предприятии было невозможно, то первоначальная цель реализации завода уже отпадала. 2). При стремительном в то время падении нашего рубля всякая реализация влекла бы громадные потери. 3). В военное время сделки на иностранную валюту и перевод денег за границу были запрещены, и было бы недостойным участвовать в подобных сделках, даже если бы перевод осуществлялся для нас покупателем. 4). Со времени революции вся русская промышленность, в том числе и сахарная, переживала величайшие затруднения, и, несомненно, надвигались еще большие затруднения. Было бы дезертирством с моей стороны после двадцати лет работы в промышленности, и притом с пользой для себя, устраниться как раз тогда, когда предстояло проявить максимальную находчивость, гибкость, изобретательность, чтобы приспособить дело к новым, стихийно надвигавшимся условиям. Каждого из этих четырех мотивов, казалось мне, было бы достаточно, чтобы решить отрицательно поставленный вопрос. София Яковлевна, которая всегда желала, чтобы я отошел от Любимовки, в данных условиях разделяла мои соображения.

В августе 1917 в Москве в Большом театре под председательством Керенского состоялось Государственное совещание[1]. Я на нем был и описал свои впечатления Софии Яковлевне в Костино. Бесплодность этого совещания известна.

Осенью София Яковлевна, со свойственной ей последовательностью, предлагала переехать из Костина прямо в новый дом, освободив квартиру на Тверском бульваре, перевезя оттуда всю обстановку и имущество. Но, на нашу беду, на меня напала нерешительность: видя, как со дня на день обостряется политическая борьба, я ждал уличных выступлений и битв, и мне казалось пребывание в уединенном особнячке на окраине города небезопасно в отношении воров и бандитов. Из Костина мы вернулись осенью

на Тверской бульвар, где лишились в октябре всего имущества, чего бы не случилось, если бы поступили по предложению Софии Яковлевны. Мои опасения бандитизма были, впрочем, не лишены основания. Чтобы недалеко ходить, сошлюсь на описание мною ниже нападения на Сутково и на убийство ради ограбления нашего приятеля киевского профессора химии А. В. Сперанского при переходе его из города к себе на дачу в Святошине.

После переезда Софии Яковлевны с детьми в Москву мне довелось, хотя и мимолетно, еще раз, но уже одному побывать в Костине. В Москву на мое имя пришла повестка с приглашением в Жары на первое собрание всесословной волости или, не помню, как оно иначе называлось. Я ездил на собрание из Москвы. Со станции проехав к себе на усадьбу, я, не заходя в дом, пешком пересек наш старый задумчивый парк и полевой дорогой прошел на Замаравку в больницу, где мне хотелось повидать нашего врача, сердечную Лидию Александровну Егунову, единственного близкого мне человека, остававшегося в ту пору в Костине. Завидев меня в окошко, Лидия Александровна вышла мне навстречу и на больничном дворе предупредила, что у нее сидит М. Это был бывший ученик костинской школы, которого М. А. Чуйкова, находя его одаренным к литературе и рисованию, просила нас поместить в Строгановское училище в Москве. Он хорошо окончил училище и сразу получил место преподавателя рисования в Угличе. Я считал его одно время самым удачным из наших стипендиатов. Когда мы живали в Костине в каникулярное время, он заходил к нам на усадьбу, играл с моими детьми. В 1905 г. он довольно удачно по заданиям братьев Софии Яковлевны рисовал карикатуры на кадетских лидеров для каких-то агитационных листков. В Угличе, однако, с М. произошло несчастие. Он совершил тяжкое уголовное преступление, был судим и приговорен к тюрьме. Теперь при Временном правительстве он вернулся в Костино. Деликатная Лидия Александровна, допуская, что я могу не желать с ним встречаться, поспешила ко мне навстречу с предупреждением, что она принимает у себя М. Я успокоил Лидию Александровну. Принимать у себя М. у меня нет охоты, но при встрече с ним на нейтральной почве я и виду не подам, что помню его запятнанное прошлое. Мы встретились. М. держал себя с каким-то необоснованным апломбом. Мне неуютно стало у Лидии Александровны, и я поспешил в Жары.

Лидия Александровна настояла, чтобы я взял на дорогу у нее два яйца вкрутую и большой кусок черного хлеба: «Собрание в назначенное время не начнется, затем затянется надолго, нигде

ничего есть не дадут, на станции буфет бездействует, будете голодать до Москвы».

Ее слова подтвердились буквально. При подъезде к Жарам я застал на зеленой площадке, где должно было на открытом воздухе состояться собрание, порядочное количество собравшихся крестьян. Но мы еще очень долго ожидали кого-то из Покрова, в отсутствие которого собрание не считалось бы действительным. Из землевладельцев-некрестьян никого не было, и мой приезд, по-видимому, обратил на себя внимание. Ни костинцев, ни вообще знакомых я не видел. Один разве И. Е. Золотов. Но он как будто боялся скомпрометировать свою демократичность разговором со мной. Это был умный хозяин, стряхнувший с себя общинные путы, выделившийся и заведший на своем участке фруктовый сад и пасеку, дававшие ему средства к существованию. Сестра его заведовала нашим приютом для детей-беженцев. Наконец подкатила к нам из Покрова нижегородская тележка, из которой выпрыгнули жаровский учитель С. Е. Абакумов в сопровождении двух молоденьких прапорщиков, комиссаров. Но тут надо вернуться к более отдаленным временам и пояснить, кто такой был этот жаровский учитель.

Раз как-то, еще в студенческие времена, я на прогулке в Костине встретил нашего школьного учителя А. К. Киселева в сопровождении не знакомого мне человека, которого А. К. мне представил как своего коллегу – учителя земской школы в Жарах Семена Ефимовича Абакумова. Мы вместе прошлись по парку, и после того Семен Ефимович стал изредка заходить к нам на усадьбу, брал почитать журналы и книги, хлопотал о пособиях для своей школы. Беседы с ним представляли мало интересного и вращались вокруг местных новостей.

Когда мы открыли больницу, Семен Ефимович, страдая запоем, стал пользоваться в больнице и сделался постоянным пациентом и нередким гостем наших врачей Е. П. Косминковой и А. А. Котляревской. Но и в общении с ними он никаких особых интересов не проявил, и Екатерина Павловна, бывало, завидя его высокую скуластую фигуру со всклокоченной бородой, тяжело вздыхала, предвидя бесконечное бессодержательное сидение со скучным гостем.

Я был поэтому крайне удивлен, когда наш инспектор начальных народных училищ А. Н. Казанский сказал мне как-то, что он принужден будет отстранить от должности жаровского учителя, ввиду его политической неблагонадежности. Если бы инспектор сослался на неуспехи учеников жаровской школы и неспособность

Семена Ефимовича вести школу, я ничего в этом неожиданного не встретил бы, так как при малом развитии учителя и его запойной болезни пригодность его на пост учителя могла оспариваться. Но политическая неблагонадежность! Притом, устранение по этой причине лишало человека возможности вообще устроиться. Я постарался заверить инспектора, что он введен в заблуждение. Подействовал ли мой разговор, но Семена Ефимовича в Жарах не тронули, и, насколько знаю, он там продолжал учительствовать до самой революции. Между тем осведомленность инспектора, как потом пришлось убедиться, основанная, очевидно, на жандармских донесениях, была точнее моей. В 1905 г. Семен Ефимович принимал участие в Крестьянском союзе[2] и примыкал к социал-революционерам, участвуя в движении, по-видимому, как признанный старый подпольный работник. В чем же могла состоять эта работа в Жарах в 90-х годах, я себе не представляю. На выборах в I и II Государственные Думы Семен Ефимович агитировал от крайних партий, а затем играл в Жарах какую-то роль во времена Временного правительства.

Но продолжаю свой рассказ о последнем посещении Костина. Поспешили открыть собрание. Один из прапорщиков держал длинную, витиеватую речь с разными лирическими отступлениями и литературными украшениями, но ни к чему деловому не ведущую. Меня поразило вступление, когда прапорщик, благоговейно сняв фуражку и с умилением озираясь кругом, воскликнул: «О, как я счастлив видеть те деревья, какими любовался наш народный заступник Семен Ефимович, ходить по тем тропинкам, по которым он, бывало, гулял, размышляя о грядущей революции, посетить ту деревню, где он учил крестьянских детей, и т. д. ...» Я ушам своим не верил. Смотрю кругом, но никто не смеялся. Вот умный Золотов. Он, по-видимому, не слушает, но что он думает? И что думают другие? Владимирские мужики мне всегда казались такими рассудительными. Вот кто за словом в карман не полезет. А теперь все серьезно слушают как будто эту галиматью...

Собрание ограничилось выборами. Остальные вопросы, кажется, были отложены. С. Е. Абакумов пригласил к себе комиссаров чай пить – «с белым хлебом», – добавил он, что тогда было редкостью. Он звал и меня, но я поспешил на станцию к поезду. Дорогою с величайшим удовольствием съел данную мне Лидией Александровной провизию.

Это было последнее мое посещение Костина. Вскоре оно было национализировано.

А что же, кстати спросить, сталось с нашими костинскими начинаниями? Школа еще раньше передана была земству вместе со столярной (учебной) мастерской. За время войны в Костине образовался на попечении Софии Яковлевны приют для детей-беженцев. Он действовал под флагом Согора, т. е. Союза городов, и разделил судьбу его. Нашу первую, положившую собой начало приюту, подобранную Летучкой А. Бурятского отряда в Мацкове девочку Броню взяли от нас ксендзы, ездившие по беженским приютам с целью репатриирования польских детей.

О судьбе больницы пришлось особо позаботиться. Она передана была Покровскому земству. В связи с ее пристройством я несколько раз ездил в Покров, куда выезжала и Л. А. Егунова для переговоров.

«Якушкинский» флигель, как говорят, крестьяне разобрали на кирпичи для своих построек. Но и от самих Якушкиных много ли осталось? Умер Володя от ран, полученных на войне, расстрелян по недоразумению Веча в Николаеве, от чахотки скончался Паша в Смоленской губ., где его в голодные годы приняли в свое общество потомки освобожденных его прадедом крепостных крестьян, – великодушие, заслуживающее быть отмеченным. Скончались Евгений Евгеньевич и Евгения Павловна. Один только Геня, меньшой сын, остался в живых, да внуки – дети Вечи.

В парке нашем М. поставил себе избу.

Вторая гигантская ель у дома, как говорят, свалена ветром...

А костинцы?

После Октябрьской революции мы продолжали жить в Москве, хотя ввиду пожара и переменили квартиру. Раза три или четыре в год нас здесь навещает из Костина старушка Маша Курандина, Сережина няня. За чаем расспрашивает она про наших детей и про внуков... Ее дочь Настя, наша бывшая стипендиатка, кончившая Покровскую прогимназию, служит в Москве и живет в одном доме с нами. Раз как-то Наташа, наша внучка, побуждаемая, очевидно, любопытством, увязалась за Настей в Костино, когда Настя ездила домой на побывку... Но из костинцев никто за все истекшее время не полюбопытствовал нас найти и узнать, как и чем мы живем... Нет, впрочем, был такой, который разыскал меня на Девичьем поле, чтобы со мной «посоветоваться»... Крестьяне рубят бывший наш лес. Так вот он в сомнении, как ему быть: не рубить или тоже рубить? Как бы не прогадать и как бы не отвечать! Очень волновался пожилой младенец, расчесывая свою седую бороду...

Октябрь 1917 года

В Октябрьскую революцию сгорел громадный шестиэтажный дом на Тверском бульваре, № 6, в котором мы жили и в котором, кроме личной нашей квартиры, находились еще помещение правления Товарищества Любимовского завода и контора нашего издательства. Пожар произошел от попадавших на чердак артиллерийских снарядов и не мог быть приостановлен вследствие непрекращавшегося артиллерийского обстрела. Сгорели поэтому все квартиры во всех этажах дома, причем жильцам не пришлось ничего спасти из своего имущества. Мы лично вышли из пожарища в чем были, вынеся с собой лишь то немногое, что можно было захватить на руках, между прочим издательские рукописи, едва ли не самое ценное, что удалось спасти. Все домашнее имущество, в том числе моя довольно значительная библиотека, сгорели. Про наш пожар стоит рассказать подробнее.

О начале уличных боев мы были извещены утром в субботу тем, что в окно Сережиной комнаты (обращенной к Леонтьевскому переулку), пробив два толстых стекла, влетела ружейная пуля. Сережа, сидевший в то время на своей постели, тотчас же и подобрал ее у себя под кроватью. Одновременно горничная Дуняша, со слов швейцара, пришла сказать, что на улице стреляют. У нас в доме не бывало съестных запасов, и я потому поспешил выйти купить что найдется. На Б. Никитской, действительно, раздавались выстрелы. Магазины и лавки закрывались. По тротуарам пробегали редкие прохожие, неожиданно застигнутые перестрелкой в пути, или так же, как и я, выбежавшие, чтобы купить неотложно необходимое. Я подоспел к колбасной Лифанова как раз в обрез. Хозяин закрывал лавку. Не дав ему закрыться и сунув ему без счета изрядно денег в руку, я взял с прилавка окорок и еще что-то и со словом «спасибо» поспешил обратно домой. Этой провизией нам нужно было пропитаться гораздо дольше, чем я думал.

Однако военные действия у нас в этот день не развивались. Ко мне среди дня беспрепятственно заходили друзья. К концу дня все же стрельба по бульвару и соседним улицам участилась. Произошло какое-то замешательство в угловой кондитерской Бартельса. В. О. Нилендер, забежавший к нам «на минутку», уже не мог от нас выйти, и мы удержали его у себя ночевать.

На следующий день (воскресенье) утром к нам явились юнкера с обыском. Днем у нас на квартире было общее собрание жильцов. От всего окружающего мы были изолированы усиленным обстрелом, от которого перебиты были все окна по фасаду.

Приходилось держаться в задних комнатах. Телефон, однако, еще работал, и я даже говорил с П. А. Бурышкиным в городской думе. Он утверждал, что ведутся переговоры о прекращении военных действий.

В понедельник явились большевики. Произвели тщательный обыск по всем квартирам. Искали «юнкерей» и оружие. Обрезали телефон. Устроили наблюдательный пункт на чердаке. При обходе нашей квартиры в темном коридоре произошел нечаянный выстрел у молодого солдата, шедшего рядом с Софией Яковлевной. Жуткий момент: все ли целы? Кто стрелял? Большевики заподозрили Софию Яковлевну. Выручил солдатик, который, осмотревшись, заявил, что выстрел был из его винтовки. Вообще Софии Яковлевне, бедной, пришлось эти дни как бывшей председательнице домового комитета отвечать за всех. Вызывали ее на площадку лестницы, где столпились члены комитета и другие жильцы. «Какой системы в комитете оружие?» – спрашивает ее начальник большевиков, направляя на нее дуло револьвера. «Комитет не имел оружия», – отвечает София Яковлевна. Вопрос с угрожающими жестами повторяется второй и третий раз. Ответ остается тот же, и Софию Яковлевну отпускают.

Во вторник утром обнаружилось, что большевики покинули наш дом, заперев чердак. Со стороны Страстного монастыря наш дом усиленно обстреливается артиллерией. В квартире под нами разорвался снаряд, причинив большие повреждения. В 12 часов замечен был дым в верхнем этаже дома. Я пошел к управляющему дома Ивану Ивановичу Г. справиться, в чем дело. Двери его квартиры были открыты настежь. Сам Иван Иванович суетился в столовой, заворачивая столовое серебро в салфетку.

«Горим! Надо спасаться!» – больше ничего я от него не услышал. Пожар начался с чердака, по-видимому, от разорвавшегося там снаряда. Кто-то по какому-то сохранившемуся телефону вызвал пожарных. Они прибыли большим обозом, но были обстреляны и повернули обратно, с тем чтобы уже больше и не показываться. Оставаться дольше в нашей квартире было опасно. Огонь пожара хотя медленно, но неуклонно переходил с верха вниз. Решили перебраться в издательство наше. Оно находилось в подвале того же дома, но в другой половине его, отделенной брандмауэром. Более удобной квартирой правления Товарищества Любимовского завода не пришлось воспользоваться, так как она была окнами на бульвар и сильно обстреливалась. София Яковлевна, Сережа и Дуняша позаботились увязать в узлы и снести в издательство сколько смогли белья и одежды. Но многого,

конечно, забрать были не в силах. Когда мы пришли вечером за теплыми вещами и София Яковлевна хотела взять что-то из своего письменного стола, в ее кабинете, обращенном к бульвару, в выступающее фонарем окно попал снаряд, снесший прочь весь этот выступ. В эту минуту я, обернувшись назад, к своему ужасу увидел в открытую дверь промелькнувшую фигуру Нины «Ты тут зачем? Лестница может рухнуть или пол провалиться, и мы здесь застрянем, чтобы заживо сгореть!» – «Надо было Таниным канарейкам снести канареечное семя», – был ответ.

Мне нельзя было ничего спасти ни из своего кабинета, ни из правления Товарищества Любимовского сахарного завода. Помимо обстрела, этому воспрепятствовали, смешно сказать, принимавшиеся у нас на случай пожара меры! В правлении был несгораемый шкаф, куда клалось все мало-мальски ценное: документы, бухгалтерские книги и прочее. А ключ от шкафа был у бухгалтера Г. Н. Занина, жившего на Щипке! Оставалось надеяться, что сейф выполнит свое назначение и содержание его останется в сохранности. Увы, после пожара в нем найдены были лишь обуглившиеся остатки всего, что ему было вверено! Так погибла и старопечатная украинская книга профессора Грушевского, которую он мне дал на рассмотрение в связи с бывшими у нас переговорами о подготовлении издания по украинской археологии и которую я из осторожности хранил в сейфе!

В издательстве, казалось, мы устроились удобно. Так как окна издательства обстреливались, то мы прежде всего завалили их пачками наших изданий. Получилось заграждение, которого ни ружейная пуля не пробьет, ни осколок снаряда не разворотит. Спать расположились на столах и под столами. Но недолго можно было вздремнуть. В брандмауэре, отделявшем первую половину дома от второй, оказались незаделанные кирпичом двери. Через них огонь проник во вторую половину дома, и наше положение в издательстве стало угрожаемо. Надо было перебираться в соседнее владение, куда уже ушли другие жильцы. Но соседнее владение было отделено от нашего очень высоким брандмауэром. По приставной лестнице предстояло влезть на эту стену, перевернуться на ней и спуститься на противоположной стороне, частью по лестнице, частью по наваленным там дровам. И это ночью, при раздражающих орудийных и ружейных выстрелах и зареве нашего пожара! С нами ведь была София Николаевна – 74 лет! Но милая старушка и здесь, как всегда, оказалась на высоте положения! Конечно, из того, что было вынесено в издательство из нашей квартиры, лишь немногое можно было тащить с собой дальше.

Тем более, что теперь возникала забота о спасении издательских рукописей, чему я придавал большое значение.

Итак, переправив своих через брандмауер и поместив их в подвале соседнего дома Константинова, я с В. О. Нилендером и с Сережей вернулись в издательство, чтобы спасти что можно. Сейфов в издательстве не было. Ключи были у М. Я. Лукина на Б. Бронной. Мы взломали шкафы и столы. Отобрали авторские рукописи, договоры, переписку. Упаковали их в бумагу портативными свертками. Таким образом, в ночь со вторника на среду, под утро, переправились сами и перетащили издательские рукописи в подвал дома Константинова.

Утром в среду меня пригласил домовладелец инженер Константинов и предупредил, что пребывание в его подвале сопряжено с большой опасностью. Хранящаяся там бочка с керосином и светильный газ в трубах легко могут взорваться, ввиду непрекращающегося обстрела дома. Приходилось искать другое убежище. Нас приютили в «Доме песни» Олениной-д'Альгейм[3]. Благодаря любезности секретарши этого учреждения мы продержались здесь до пятницы, когда военные действия были прекращены. Лишь только открылась возможность, мы поспешили со своими узлами и издательскими свертками на Б. Бронную, где у Софии Николаевны была своя квартира и где жили В. А. и Н. А. Скибневские и Л. Я. Квессель, оказавшие нам радушное гостеприимство.

Вместе с нами пересекали Тверской бульвар, уходя от пожарища, два очень хорошо одетых господина, неся маленький узелок и очень длинный сверток. «Мы ничего из вещей от пожара даже и не старались спасти, – сказал мне младший. – Кроме вот этой снятой нами с рамы и свернутой в трубку картины Рибейро. Она стоит не меньше 250 000 рублей золотом».

После пожара мы поселились в купленном весной 1917 года особняке на углу Девичьего поля и Плющихи. У нас совершенно не было никакой обстановки, и мы устроились, пользуясь временно занятыми у прежней домовладелицы кроватями, матрасами, шкафами, столами, стульями и даже посудой. Все это предстояло спешно приобретать вместе с бельем и одеждой. Отмечаю это потому, что в первые годы революции в Москве мало кто существовал на одни заработки, тем менее на одно жалование. Постепенная распродажа домашних вещей оказалась для многих неожиданно неисчерпаемым источником восполнения жизненного бюджета на протяжении ряда лет. Я знаю людей среднего достатка, которые и после 1932 года! имели еще какие-то ковры

для реализации. А нам приходилось необходимыми предметами обихода домашнего (конечно, не коврами!) обзаводиться. Притом мы и продуктовых карточек, как буржуи, не всегда получали.

Зиму и лето 1918 года мы, благодаря неутомимой энергии и заботливости Софии Яковлевны, умудрились все же просуществовать на мое жалование как председателя правления Товарищества Любимовского сахарного завода, покупая продовольствие по спекулятивным ценам и даже постепенно совершая от случая к случаю неотложные приобретения имущества. После приходилось довольствоваться скудными заработками по издательству. После Октябрьской революции произведена была конфискация вкладов, текущих счетов и сейфов в банках. Затем национализированы заводы, имения и дома.

Потеря Любимовки

С осени 1917 года, еще при Временном правительстве, на заводе начали чувствоваться несколько приподнятые настроения. Всякий мой приезд служил поводом к предъявлению если не требований, то просьб, хотя и корректно изложенных, но иногда трудно исполнимых. Я стал стремиться реже посещать завод. Но на мне лежали всяческие обязанности по заводу и имениям, и необходимо было мои действия согласовать с ходом дела в заводе и в имениях и с их потребностями. Решено было мне, директору завода А. И. Николаеву и управляющему имениями А. П. Корхову съезжаться по мере надобности на совещания в Курске. Обыкновенно собирались раза три в месяц у меня в номере гостиницы Полторацкой и управлялись в один день.

В результате этих совещаний я ездил раза два в Киев, а раз в Харьков совместно с А. П. Корховым. Поездки эти были весьма утомительны. Вспоминается мне ярко один мой переезд из Курска в Москву. В Курске с трудом втиснулся в вагон первого класса, но до купе добраться не мог, стиснутый публикой, вплотную заполнившей собой все проходы. Правда, в одном купе было только четыре матроса, но на попытку просить их принять к себе кого-либо из коридора матросы ответили решительным отказом. Поезд тронулся, и нам в коридоре, очевидно, предстояло неопределенную часть дороги, а то и всю, что со мной уже раз было, простоять на ногах. Но по проезде станции Поныри дверь матросского купе приотворилась, из нее выглянула голова матроса, внимательно осмотревшая всю публику, стоявшую в коридоре. Затем матрос поманил пальцем одного старика еврея в конце коридора

и одновременно потянул меня за рукав. Нас, очевидно, как самых пожилых, приглашали занять места в купе.

До Поныреей, по-видимому, брились, почему и не пускали к себе никого. Теперь спинки диванов были подняты, два матроса лежали наверху, и внизу легко было бы усадить еще двух, если не четырех, пассажиров из коридора. Но хозяева не желали стеснять себя. Они вели между собой оживленный разговор, перебрасывавшийся с только что прошедшего в Севастополе съезда моряков (они сами были Балтийского флота) на избиение офицеров, происшедшее в Кронштадте[4], а с этого на какое-то предстоящее собрание в Москве, причем тут речь уже шла обиняками да намеками, чтобы мы не могли понять. Моряк наверху очень сожалел, что опоздал тогда к расправе с офицерами. При упоминании о предстоявшем в Москве «деле» другой матрос назвал количество пудов золота, которое можно бы собрать с куполов кремлевских соборов на дело революции. Это было за несколько дней до Октябрьской революции.

Копка подходила к концу, и надо было расплачиваться с копщиками. На заводе уже сработано было изрядное количество сахара, ожидавшее реализации, но вследствие неподачи вагонов таковая задерживалась. Да и за сданный сахар Центросахар не платил денег. Создавалось весьма скверное положение: нечем было расплатиться с копщиками и рабочими. Я решил прибегнуть к учету «финансового» векселя, к чему мы обыкновенно не прибегали. Говоря конкретно, я решил выписать дружеский вексель от имени Товарищества Любимовского завода на сумму 150 000 руб. моему приказу; учесть его в банке и деньги доставить на завод для копщиков. В Москве учесть такой вексель я и пытаться не хотел. Но в Киеве я рассчитывал, что и Международный банк, и Русский для внешней торговли банк такой учет сделают. И не ошибся: Добрый, директор Русского банка, с первого же слова подтвердил учет. Только после уже его совершения и выплаты мне денег у нас с ним произошел знаменательный разговор, когда он увидел, что я деньги направляю на завод.

Добрый горячо возражал против такого употребления мною полученных денег. «Разве можно отдавать деньги заводу – это бездонная бочка! Я думал, что деньги вы себе возьмете». Меня даже тронула горячность, с которой этот, в сущности, малознакомый человек защищал мои интересы от меня самого. Это была последняя наша встреча с Добрым. Вскоре, как я слышал, Добрый исчез из Киева – эмигрировал. Из Киева я тогда написал несколько пи-

сем Софии Яковлевне и Сереже (от 29.XI.1917 и I.XII.1917)*. Они сохранились и рисуют тогдашнюю обстановку.

Как я уже сказал, в Харьков я ездил с А. П. Корховым. Это было уже после Октябрьской революции. Ездили мы на заседание нашего бюро сахарного. Собрание было немногочисленно и прошло в настроении общей растерянности. Тогда я в последний раз виделся с А. А. Ребиндером. Ехали из Курска в Харьков и обратно не прямым путем через Белгород, а на Ворожбу. На станциях и в поезде был полный порядок. Солдаты с винтовками не пропускали лишнюю публику, и мы даже получили спальные места. После того, чего мы натерпелись при переездах в предыдущие месяцы, все это казалось удивительным. А. П. Корхов говорил: «Большевики любят власть, они наведут порядок».

Но надо описать последнее мое посещение Курска. Приехав из Москвы с поездом, который сильно запоздал, я не нашел Николаева и Корхова ни в гостинице Полторацкой, ни в Коммерческой. Сестры Нины, жившей тогда в Курске, я не застал дома. Я решил воспользоваться оказавшимся незанятым временем и навестить Н. Н. Лоскутова, знакомого мне по Городскому союзу. От него можно было узнать городские и губернские новости. Я долго звонил и стучался, прежде чем мне наконец открыли. Когда же я вошел в кабинет Н. Н., то он от меня отскочил как от зачумленного. Затем, овладев собой, он засыпал меня вопросами: «Откуда вы? Давно ли приехали? Были ли где-нибудь? Видели ли вас в городе?» Получивши на все это отрицательные ответы, повидимому, его успокоившие, Н. Н. дружески взял меня под руку и поспешил рассказать: «На нас наложена громадная контрибуция. Мы не в состоянии ее внести. Если узнают о вашем прибытии, на вас тоже наложат! При круговой поруке погубите и себя, и нас». Затем со свойственной ему живостью и практичностью он продолжил: «Вам надо немедленно уехать, пока еще не прослышали о вашем приезде. Если нужно что-либо сделать, скажите, я охотно все сделаю или передам Нине Васильевне. Уезжайте прямо от меня, не заезжая в гостиницу. Извозчика на вокзал не берите. Так теперь мало ездят, и трудно остаться незамеченным. Садитесь на городской станции (на ветку). А по прибытии на вокзал билет поручите взять артельщику. Сами ни в буфет, ни к билетной кассе не подходите. Держитесь перрона и поскорей забирайтесь в вагон». Затем он быстро ушел в другую комнату и принес мне стакан горячего чая, две великолепные, сдобные «старорежимные» булки

* Даты по старому стилю. Письма публикуются в Приложении.

и вазочку вишневого варения, что уже в то время считалось роскошью, так как сахар давался по карточкам. «Я вас прошу ни в гостиницу не показываться, ни в буфет на вокзале. Так подкрепитесь, чем Бог послал».

С этим подкреплением участливого Н. Н. Лоскутова я добрался до Москвы.

После этого связь моя с заводом поддерживалась почтой, посылкой туда нарочного и участием моим в заседаниях в Москве какой-то смешанной комиссии по сахарной промышленности, в которой из сахарозаводчиков, кроме меня, принимали участие Г. М. Марк и А. Л. Катуар, других не помню.

В мае 1918-го я на три месяца выбыл из жизни[5], а после моего освобождения произошла окончательная национализация всей сахарной промышленности. Мне оставалось только распустить правление и составить и сдать отчет и баланс, что я и поспешил сделать.

Описанный мною выше случай, когда Н. Н. Лоскутов столько же ради себя самого, сколько и ради меня, просил меня скрыться из Курска, выявил в комическом обороте положение, по существу, весьма далекое от смешного, тяготившее меня на протяжении многих лет. Экспроприация не только лишала экспроприируемого его имущества. Она делала его бесправным членом общества! В силу предположения, что он непременно будет стараться получить обратно отнятое и будет мстить за обиду. Всякое общение с таким врагом нового порядка становилось подозрительным, могущим навлечь серьезные неприятности. Приходилось быть очень осторожным с людьми, чтобы им не повредить.

И вот горький случай с А. И. Николаевым. Мы с 1917 года с ним не видались. Летом 1918 г. он приезжал в Москву и был у нас на Девичьем поле. Но я тогда находился под арестом, и мы не виделись. Я знал, что он продолжал служить, что его ценят в Сахаротресте, как и других наших бывших служащих, что ему трудно приходилось в гражданскую войну, когда завод переходил из рук в руки, что он тогда проявил много такта и находчивости. И вот в 1933 г. мы встречаемся с ним лицом к лицу у остановки трамвая на Биржевой площади! У него в руках портфель, и с ним разговаривает спутник, тоже с портфелем. Очевидно, оба из правления Сахаротреста. Сослуживцы. Здороваться или воздержаться? Решаю предоставить инициативу А. И. Николаеву. Проходит мимо как чужой. Из осторожности или близорукости? Я его понимаю и потому не обижаюсь. Мало того, по-прежнему его уважаю и ценю.

Последняя ночь в Суткове

Зиму 1917–18 года сестра Катя проводила у сына своего, Шуры, в Чернигове, где он был членом губернской земской управы. Весной, после заключения Брестского мира[6] и оккупации правобережного Полесья германцами, в Чернигов за Катей приехал из Суткова кучер с фаэтоном. Он сообщил, что германские оккупационные власти приглашают всех землевладельцев прибыть в свои имения, угрожая в противном случае конфискацией имущества их. Простившись с сыном и его семьей, Катя немедленно поехала в Сутково. Бывший в то время в Чернигове М. В. Челноков не особенно сочувствовал этому шагу. Он советовал Кате обождать и присмотреться, как дальше развернутся события. Впрочем, Михаил Васильевич не был настойчив, и Катя переехала в Сутково.

Хотя сношения с оккупированным краем были обставлены некоторыми формальностями, все же письма из Суткова приходили в Москву исправно, да и переезды туда и оттуда обратно совершались довольно свободно, лишь с выборкой паспортов. Катя писала мне в Москву, что она нашла все в имении и в округе в относительном порядке. Ожидался хороший урожай, и это создавало бодрое и спокойное настроение у крестьян, отдыхавших после напряжения военного времени и, как ей казалось, не склонных к каким-либо революционным выступлениям. После зимы, проведенной в вынужденной бездеятельности, Катя была полна энергии и предприимчивости. Исходил срок плану лесного хозяйства сутковского, и она просила меня пригласить и прислать из Москвы дельного таксатора и лесоустроителя для составления плана на новое десятилетие. Тут же сообщала она, что несколько лоевских евреев задумали устроить товариществом мукомольную мельницу и просят ее принять в этом деле участие денежное и личное. Катя на это соглашалась, объясняя мне, что группа предпринимателей-евреев распадется в случае ее отказа. Между тем устройство мельницы весьма желательно для всей округи, как и вообще открытие любого промышленного предприятия.

Зная, как тяжело переносит старушка Лидия Алексеевна Шанявская летнее пребывание в городе, и учитывая тогдашний распад жизни в Москве, Катя настойчиво приглашала к себе в Сутково на все лето Лидию Алексеевну с ее компаньонкой, чтицей покойного Альфонса Леоновича Эмилией Робертовной Лауперт. Катя просила меня побудить Лидию Алексеевну не откладывать переезда в Сутково и, если нужно, помочь ей собраться и выехать. Все письма Кати, одним словом, проникнуты были оптимистиче-

ским спокойствием и уверенным настроением, весьма несоответствовавшим московским обстоятельствам. Уговаривать к отъезду Лидию Алексеевну совсем не требовалось. Подвижная и весьма предприимчивая, невзирая на свою старость, немощность и слабость зрения, Лидия Алексеевна буквально рвалась вон из Москвы, устрашенная тем, что у нас происходило. Она не замедлила отъездом в Сутково. Что же касается присылки лесоустроителя, то от приглашения такового я воздержался, уговаривая Катю пока обождать с подобными вложениями, делаемыми на многие годы вперед.

Между тем, как я узнал впоследствии, Катин оптимизм, в Суткове разделялся далеко не всеми. И прежде всех умный и проницательный управляющий имением Георгий Игнатьевич Беляцкий, связанный с населением многочисленными и разнообразными нитями, еще с осени переехавший жить из Суткова в Лоев (еврейское местечко в 12 верстах от Суткова у слияния Днепра с Сожью), отнюдь не торопился сам возвращаться в Сутково, да и Катю предостерегал от устройства одной в уединенной сутковской усадьбе, советуя ей с гостями перебраться либо в Лоев, либо в Чернигов.

Ранней весной, еще до приезда Кати из Чернигова, произошел случай, который, казалось бы, должен был заставить насторожиться. Семь мужчин в масках среди бела дня явились на усадьбу и потребовали выдачи им столового серебра. Они не встретили никакого отпора и преспокойно удалились с захваченным ими серебром. Несмотря на маски, они, по-видимому, были опознаны, но никто не решился против них свидетельствовать. Наконец, предостережением должен был бы быть поджог в 1905 году винокуренного завода, происшедший совершенно внезапно, без всяких тревожных предвестников.

Но Катя считала своим долгом «быть на месте». В трудное и ответственное время она не хотела манкировать своими обязанностями хозяйки и, удалившись из имения, обречь себя на бездеятельность именно тогда, когда могли потребоваться распорядительность и решимость хозяйки. А когда Катя видела в чем-либо свой долг, она бывала настойчива и непреклонна. Ее не смутило даже сообщение германского командования о предстоящем уходе германцев из края, покидаемого без всякой правительственной организации.

Итак, принципиально решенный с наступлением осени переезд в Чернигов на зиму, после окончания работ по сельскохозяйственным операциям, постоянно откладывался то

по одной, то по другой причине. Так дело дотянулось до ноября, когда уже все хозяйственные работы поприкончились и никакие дела не задерживали больше Кати в имении. Утром 17 ноября по старому стилю по этому поводу у Кати был оживленный разговор с ее сотрудниками и советниками, и отъезд окончательно и твердо был назначен на завтра, т. е. на 18 ноября. День прошел в хлопотах и распоряжениях. После обеда, по заведенному порядку, дамы, т. е. Катя, Лидия Алексеевна, Сима и Эмилия Робертовна, расположились читать в верхней большой угловой комнате, окнами выходящей на Днепр, с замечательным видом на реку и заливные луга обоих берегов. Эмилия Робертовна приступила к чтению, когда на шляху послышался приближающийся со стороны Лоева колокольчик. Кто подолгу живал в уединении в деревне, тот знает, какое волнение вызывает обыкновенно такой колокольчик. В условиях того времени особенно. К нам или не к нам? Кто едет? Какие везет вести? Не телеграмма ли из Лоева? У всех промелькнули эти вопросы. Чтение было прервано. Колокольчик все приближался и приближался, затем он как-то неопределенно замялся на шляху у сворота на усадьбу и постепенно, но явственно стал удаляться по шляху. Между тем колокольчик этот имел большое значение для сутковцев, к нему с таким волнением прислушивавшихся. То был гонец, посланный лоевскими друзьями с извещением, что уголовные преступники, содержавшиеся в Речице, освободившиеся из мест заключения после ухода германцев, большой ватагой двинулись из Речицы по шляху на Холмеч и Сутково, очевидно, с целью грабежа. Гонец спутал поворот в Сутково и проехал мимо (прямо в Казимировку и Холмеч). Дамы, конечно, не могли это знать, и Катя, взяв книгу у Эмилии Робертовны, возобновила чтение. Трудно сказать, долго ли оно продолжалось, когда Кате послышался какой-то шум внизу и какие-то голоса. Не прерывая чтения, чтобы не волновать своих слушательниц, Катя напрягала свой слух, стараясь разобрать происхождение звуков. Но они как бы замерли и не повторялись. Катя решила было, что звуки ей только почудились, когда вдруг совершенно явственно все услыхали крики, брань и топот шумно поднимавшихся по соседней черной лестнице людей. В трепете перебежали дамы в соседний кабинет, заперев за собой дверь. Ворвавшиеся в покинутую дамами угловую комнату люди стали шумно ломиться в запертую дверь кабинета. Дамы, перебежав через площадку парадной лестницы, заперлись в библиотечной, в которую громилы вскоре тоже стали ломиться. Оставалась последняя маленькая комната – Катина спальня. Дамы пытались спрятаться в ней за шифоньер-

кой, но всем нельзя было за ней укрыться, да и ненадежным показалось им это убежище. У самой двери в Катину спальную был ход на чердак по крутой приставной лестнице. Под шум разбиваемой громилами двери, ведущей из кабинета, дамы влезли на чердак и спрятались за стоявшим там большим водопроводным баком. Они слышали, как, проломав дверь, громилы пробежали в спальню и как они там переворачивали вверх дном все вещи...

Тем временем на дворе стало совсем темно. Бегая по неосвещенному большому дому с зажженными спичками и огарками, громилы путались в лабиринте незнакомых им комнат и переходов и не заметили лестницы на чердак, куда скрылись от их преследования дамы. Усталость и опьянение винами, добытыми в буфете, умерили пыл нападавших. Постепенно они разбрелись по дому и заснули, кто на полу, кто на диванах. А наши всю ночь простояли на ногах за баком чердачным; когда же стал приближаться рассвет, буфетчик Алексей, поднявшись на чердак, вывел их из дома мимо развалившихся пьяных громил и усадил их в бричку, ожидавшую их на шляху. Было очень холодно. Но доставать одежду из осажденного дома было рискованно.

Опасаясь погони, дамы не решились задержаться в Лоеве. Да их никто и не задерживал. Перебрались через Днепр и прямо направились в Чернигов. Там они уже были вне опасности.

В Чернигове Катя и Лидия Алексеевна пробыли затем более двух лет. Лишь осенью 1921 года удалось им перебраться в Москву. Когда, добравшись в сопровождении Васи из Чернигова в Москву осенью 1921 г., Катя позвонила к нам на Девичьем поле и София Яковлевна открыла им дверь, первые слова Катины были: «Где Миша?» Пришлось Софии Яковлевне ответить: «Арестован». Тут же она узнала о кончине Н. В. Сперанского и что сестра Нина[7], переехав из Курска в Москву, поселилась у нас, но находится в отъезде в Петербурге для ликвидации своей квартиры, в чем ей взялся там помочь В. Ф. Джунковский.

Словом, с первых шагов в Москве Катя почувствовала, как редеет в Москве наш круг и как приходится жить в ней оставшимся...

Когда после моего возвращения домой мы соединились вместе в Москве и рассказали друг другу, Катя – последнюю ночь в Суткове, а я – наше горение на Тверском бульваре, Катя, вздохнув, сказала: «Падение дома Эшер!» Ей по сходству и по контрасту вспомнились жуковские вечера со страшными рассказами А. Ф. Кони из Эдгара По и других писателей. Как надо было в то время чувствовать свое положение безмятежно устойчивым, что-

бы находить удовольствие в страшных рассказах! Теперь наши внуки не терпят ни жалостливых, ни страшных рассказов. Когда я рассказал Наташе Сабашниковой историю возвращения домой Одиссея, она плакала, стараясь скрыть от меня свои слезы, но просила больше не рассказывать ей таких историй. Эпизод же с циклопами был у всех моих внуков под определенным запретом: прослушавши его раз, не желали, чтобы им повторяли рассказ.

Катя привезла с собой внучку Нину, девочку 6 лет, очень способную и смышленую, и крепко привязалась к ней. Как и сестра Нина, приехавшая в Москву несколько раньше, Катя с внучкой поселилась у нас в доме на Девичьем поле.

Что сталось с Лидией Алексеевной и ее Университетом

В Чернигове Лидия Алексеевна, как и сестра Катя, задержалась надолго. Сообщения с Москвой были так затруднены, что наши дамы не решались пускаться в путь, несмотря на крайнюю нужду и на одиночество свое в совершенно чужом городе. Переводимые деньги не всегда доходили. П. А. Садырин с трудом, списавшись с местными кооператорами, устроил отпуск Лидии Алексеевне и Эмилии Робертовне двух обедов из какого-то кооперативного учреждения, за что Лидия Алексеевна с умилением благодарит в своих записках и его, и других причастных к делу лиц.

Мы с Н. В. Сперанским убедили Лидию Алексеевну в своем черниговском одиночестве употребить невольный досуг на составление воспоминаний. После некоторых сомнений и колебаний Лидия Алексеевна решила попробовать и стала припоминать и рассказывать свое прошлое Эмилии Робертовне, которая записывала с ее слов. Получились необработанные записки, которые Лидия Алексеевна впоследствии передала мне. Несмотря на их краткость, отрывочность и литературную необработанность, они интересны не только как материал для биографии этой замечательной женщины.

В 1921 году Лидия Алексеевна в сопровождении не покидавшей ее Э. Р. Лауперт перебралась в Москву, где поселилась в бывшем ее доме на углу Дурновского переулка по Новинскому бульвару. Здесь жил ее старший племянник П. П. Родственный. Революции Лидия Алексеевна не понимала. Она была ею нравственно ушиблена, и жизнь ее в Москве пошла тускло и уныло. Притом Лидия Алексеевна страдала болезнью глаз, прогрессирующей глухотой и прочими старческими немощами. Друзья (пре-

имущественно П. А. Садырин) выхлопотали ей пенсию, и она материально была обставлена удовлетворительно, конечно, по масштабу того времени. К своему несчастью, ей пришлось пережить свой Университет и видеть, как в стенах его водворился чуждый ей Свердловский коммунистический университет[8].

В [1921] г. она простудилась и, недолго проболев, кончила свой жизненный путь. На панихиде у гроба меня спросили, предполагаю ли я, как душеприказчик Альфонса Леоновича, принимать какие-либо меры в связи с кончиной Лидии Алексеевны, так как все отказанные им ей в пожизненное пользование средства имели отойти после ее кончины Университету. Но предпринимать было нечего.

Похоронена была Лидия Алексеевна в общей могиле с Альфонсом Леоновичем в Алексеевском монастыре[9]. Кладбище это, как известно, теперь упразднено, и могильный памятник основателям Городского народного университета уничтожен...

Но прежде чем расстаться здесь с Лидией Алексеевной, мне хочется вернуться к тому отдаленному времени, когда ей впервые пришла мысль об основании университета. В записках своих Лидия Алексеевна рассказывает очень отрывочно и неотчетливо, что юной еще девушкой, после одного жизненного разочарования она, участвуя в половинной доле в разработке приисков с приехавшим из Петербурга молодым образованным человеком В. И. Базилевским и его университетским товарищем, за крайние его взгляды прозванным Иоанном Безземельным, решила отдать свою долю в приисках на устройство женского университета, что ею и было с согласия ее матушки надлежащим образом оформлено и возложено на В. И. Базилевского. Прииски, однако, плохо пошли, и начинание это не имело последствий.

И даже в зрелом возрасте Лидия Алексеевна первоначальному этому своему почину придавала, по-видимому, большее значение, чем можно было бы думать по ее мимолетному упоминанию о нем в записках. В архиве Лидии Алексеевны я нашел небольшой конвертик, на котором написано: «Нужное письмо Виктора Ивановича Базилевского к его доверенному Владимиру Игнатьевичу Рабцевичу* по поводу устройства Лидией Алексеевной Женских

---

* Стоит здесь отметить, что Вл. Игн. Рабцевич, бывший ссыльный поляк, учитель когда-то в детстве Лидии Алексеевны, человек, очевидно, культурный, пользовался уважением в сибирских кругах и охотно покровительствовал своей бывшей ученице. Он свел Лидию Алексеевну для совместной разработки приисков сначала с В. И. Базилевским, а впоследствии с В. Н. Сабашниковым. – *Примеч. М. В. Сабашникова.*

медицинских курсов (или университета)», и сбоку другими чернилами, но той же рукой Лидии Алексеевны, приписано: «Второе письмо Базилевского Альфонсу Леоновичу». В этом конверте, однако, от первого письма оказалось только одно его окончание, отрезанное от самого письма.

Вот оно дословно: «Лидия Алексеевна внушила нам еще большую энергию для будущей деятельности. Я уже давно решил посвятить плоды своих трудов этой цели, и, если со временем у меня наберутся порядочные денежные средства, они будут положены мною на основание женского университета, этого единственного фундамента прочного развития русской женщины и, следственно, русского общества. Жму Вам руку.

Ваш Виктор Базилевский.

22 марта 1871. Енисейск».

Второе письмо: «Милостивый государь Альфонс Леонович, я не имею права возвратить Вам условия Лидии Алексеевны. Примите уверение глубокого уважения.

Ваш покорный слуга В. Базилевский.

24 февраля 1873 г. С.-Петербург».

Первое письмо бросает свет на настроения молодых людей, из столицы и с университетской скамьи пошедших в тайгу за золотом не ради одного только личного обогащения. Мало того, мечты мечтами, но они подкреплялись своего рода Ганнибаловой клятвой работать и жертвовать на высшее женское образование, клятвой, как приличествует в XIX веке, выраженной на письме и со стороны Лидии Алексеевны, по-видимому, нотариально оформленной («условия»). Обет В. И. Базилевского, насколько знаю, исполнен не был. Но Лидия Алексеевна свое намерение выполнила, и, когда отданные ею на это прииски не удались, она внесла 50 000 рублей «на воспособление для устройства Женских врачебных курсов при Императорской медико-хирургической академии», о чем сохранилось письмо к ней военного министра Д. Милютина от 20 марта 1872 г. Остается непонятным, почему В. И. Базилевский отказался вернуть Альфонсу Леоновичу «условия» Лидии Алексеевны, уже утратившие значение.

Очень замечательны обнаруживающиеся здесь приемы действия: составление условий, выдача обязательств о пожертвовании, пожертвование векселями или закладной на дом. Деньги всегда были в деле. Пожертвования делались не от избытка, а от предстоявших «плодов своих трудов».

Судьба Университета Шанявского

Открытый в 1908 году Университет Шанявского существовал до 1918 года, когда он был закрыт советской властью. Если бы власти и не приняли на себя одиума закрытия этого детища русского общества, рожденного и взлелеянного им с такой любовью и с такими стараниями, то Университету Шанявского все равно пришлось бы прикончить свою деятельность. При наступившем тогда общем оскудении взимать со слушателей плату было бы невозможно. Получение же субсидии от правительства повело бы к потере Университетом его независимости.

Вольный университет мог, разумеется, существовать лишь при режиме относительной свободы в стране и хотя бы минимальной независимости населения в материальном отношении. Таковы были условия думского периода, т. е. периода Государственных Дум и Государственных Советов. И Университет Шанявского является одним из характернейших явлений этого короткого этапа нашей истории. В этой связи история его деятельности привлечет, быть может, особое внимание будущего историка, исследующего как судьбы нашего просвещения, так и развитие нашей общественности.

Будем надеяться, что сохранится архив Университета. Помимо него будущий исследователь будет располагать обширным печатным материалом, так как Университет работу свою вел в условиях широкой гласности, печатая свои отчеты, планы, программы, представляя их Московской городской думе и подвергаясь постоянно обсуждению в общей и специальной прессе. Жалко, что нельзя будет тогда, т. е. поздно будет, путем открытой через газеты анкеты среди бывших слушателей Университета выяснить их последующую судьбу и установить, что дал им Народный университет и что дали они народу.

Кончина Н. В. Давыдова

Летом 1920 года скончался в Москве Николай Васильевич Давыдов. Это было во время самой глубокой разрухи. Долго болевший старик, привыкший быть вечно в обществе, на народе, последние месяцы свои провел в одиночестве, в постели в своем флигельке дома Зворыкиных (быв. Чижова) в Левшинском переулке. На отпевание его в церкви Покрова в Левшине все же собралось по тому времени изрядное число друзей и знакомых, по преимуществу юристов и артистов, и несколько лиц из кругов

Университета Шанявского. День стоял нестерпимо жаркий. Многие предпочитали стоять во дворе перед церковью, что создавало впечатление большого скопления публики. Однако за похоронной процессией пошли лишь немногие. А по миновении Пречистенки сопровождать гроб осталось только пять человек – вдова, дочь, П. А. Садырин, бывший секретарь Л. Н. Толстого Булгаков да я. Это как-то больше вязалось с общим видом города – пустынные улицы с травкой, пробивавшейся кое-где между булыжниками мостовой, закрытые магазины, оголенные от вывесок, полуразрушенные кое-где дома... Кругом глубокая тишина. Можно было подумать, что город покинут жителями, как бывало на фронте, или вымер. На всем протяжении нашего пути к Донскому монастырю только яркая зелень деревьев по обеим сторонам Донской улицы возвращала вас к жизни. Может быть, на фоне окружающего разорения, но мне на этот раз показалась особенно красивой эта широкая, обсаженная деревьями Донская улица с нарядной красной церковью в глубине перспективы, за которой затем, както вдруг открывается вид и на величественный монастырь.

Отец Николая Васильевича похоронен около большого храма монастырского, у самого входа. Там же, рядом с отцовской могилой, отведено было место и для Николая Васильевича. Когда мы подошли, могильная яма не была еще дорыта. Бывший тут монах, уже не юных лет, с сединой в бороде, засучив рукава и взяв заступ, спрыгнул в яму, чтобы закончить работу. Гроб положили пока на кучу выкинутой из ямы земли. Мы, провожавшие, стали тут же в ожидании окончания работ. Вдруг Булгаков, став на другую кучу с противоположной стороны ямы, обратился к нам со словом. В первую минуту я почувствовал величайшую неловкость. Что в самом деле за речи в такой обстановке, и всего-то пятерым слушателям, включая сюда и монаха-могильщика. Булгаков говорил, что Николай Васильевич вел дневник, в которой продолжал делать записи и во время болезни, унесшей его в могилу. Накануне смерти он занес в дневник следующие соображения. Он отмечал, что не имел и не имеет врагов, и приписывал это тому, что он себе взял за правило ликвидировать всякие возникающие недоразумения немедленно по их возникновении, проявляя величайшую уступчивость и справедливость к другим, строгость к себе. Булгаков смолк, а из могильной ямы послышались звуки одобрения. Монах-могильщик, отставив заступ и воздевая руки вверх, одушевился и в свою очередь пожелал высказаться. «Вот, видите ли, праведная жизнь сама в себе несет награду. Воистину сказано: Царство Божие внутри нас. И наказание тут же – совесть, рас-

каяние, угрызения... А говорят, награда в раю, а наказание в аду ожидают нас. Да кто же это видел, и подумайте только: чтобы наказать всех грешников огнем, сколько бы огню потребовалось. Не то что рощи, всех рощ на такой огонь не хватило бы! Надо ведь тоже маленько соображать», – добавил он, берясь вновь за заступ и ускоренными движениями стараясь будто наверстать упущенное на рассуждения время.

Николай Васильевич, при его чувстве юмора, как бы он потешался над этим экономическим доказательством отсутствия ада. Это было время величайшей разрухи. В Москве люди и голодали, и мерзли зимой. Топлива не хватало. Центротоп при всей энергии работников своих не мог удовлетворить всех. Если профессор К. со всем своим Комитетом[10] не мог одну Москву отопить, то где тут наготовиться на ад и на всех грешников, – заключил москвич-монах.

Кончина Н. В. Сперанского

Н. В. Сперанский умер в Мещерском под Москвой 3 мая 1921 года на 60-м году от рождения от болезни, мучавшей его с 1891 года, но врачами не разгаданной. Одним из ранних признаков ее был при мне во время нашей с ним поездки по Бретани, которую мы прервали для консультации в Париже, куда и поспешили тогда вернуться. ...*, как определил недуг парижский специалист, время от времени обострялся, Николай Васильевич обращался затем ко многим врачам, но всегда его пользовали, исходя из этого диагноза. Таковы были репутация и авторитет парижского медика. Между тем уже после мучительной смерти Николая Васильевича возникло сомнение в правильности диагноза, так как от названной болезни не умирают... Высказывались впоследствии предположения, что здесь был случай рака двенадцатиперстной кишки, в некоторых случаях трудно распознаваемый.

После кончины Николая Васильевича Сперанского вдова его, Ольга Александровна, показала мне лист бумаги, на котором страдалец в последние минуты записал несколько мыслей... Последние слова, им записанные, были: «Миша и Екатерина Васильевна, в эти страшные минуты я думаю о вас...»

Если Н. В. Сперанского нельзя считать жертвой революции, то семью Сперанских все же нельзя не считать косвенными ее жертвами. Брат Николая Васильевича, профессор химии в Киев-

* Название болезни в тексте отсутствует.

ском университете, Александр Васильевич, был в <…>[*] году убит грабителем при переходе Александра Васильевича из города в Святошино, где он успел обзавестись собственной дачей. Корректор нашего издательства Христина Бенедиктовна Сперанская, ее брат, учитель, и их мать скончались на протяжении… от истощения, происходившего от недоедания.

Истощение в ту пору среди интеллигенции было явлением весьма распространенным, что на общем фоне упадка жизни не обращало на себя внимания.

Оставаясь в кругу издательской среды, укажу, что из четырех сыновей Е. Е. и Е. П. Якушкиных только один пережил своих родителей. Володя умер от ран. Веча, старший из братьев, был расстрелян в Николаеве, когда он с женой и сыном сошел с парохода, на котором эвакуировался, чтобы показать хирургу своего мальчика, ушибшего себе на пароходе колено. Паша, страдавший туберкулезом, покинул Москву для деревни, где был принят в общество и наделен землей, жильем и семенным материалом крестьянами Смоленской губернии, предки которых его прадедом были когда-то освобождены из крепостной зависимости. Великодушие, достойное внимания потомства. Это, однако, не спасло бедняги, туберкулез безжалостно свел его в могилу.

От туберкулеза же в <…> году скончался В. Н. Львов. В течение многих лет заботами и предусмотрительным уходом отвращала Надежда Николаевна злого врага от Василия Николаевича. Великая война и революция сделали дальнейшую борьбу непосильной. Мало того, они открыли арену другому врагу – сыпному тифу. В <…> году от сыпняка, полученного в поездке в провинцию, умер жених Натальи Васильевны, дочери В. Н. и Н. Н. Львовых, а в <…> совершенно так же их единственный сын Николай.

* * *

Почти одновременно с устройством нашим на Девичьем поле мой товарищ по Союзу городов и по ЦК Конституционно-демократической партии Александр Григорьевич Хрущов купил дом в Долгом переулке на Плющихе. Получившееся соседство благоприятствовало сближению с его симпатичной семьей. София Яковлевна сошлась с супругой Александра Григорьевича Лидией Николаевной, а дети наши сдружились с молодыми Хрущовыми – Колей и Леной. Я же полюбил их и раньше. В общественных вопросах мы с ним почти всегда бывали единодушны.

* Здесь и ниже год в тексте отсутствует.

Летом 1921 года в Москву приехал Михаил Кондратьевич Названов. Мы с ним встретились как старые друзья. Он был вторично женат на известной певице О. Н. Бутомо, впоследствии неоднократно с большим успехом выступавшей в Москве на своих концертах под двойной фамилией – Бутомо-Названова. Желая познакомить нас с женой, Михаил Кондратьевич пришел с ней к нам на Девичье поле. Стояла отличная августовская погода, и мы с Софией Яковлевной, сестрой Ниной и детьми провели с гостями весь вечер в саду за чаем в оживленной беседе. Как это иногда бывает, сразу почувствовалась взаимная симпатия. Расстались поздно вечером, обещав запросто бывать друг у друга.

А на следующее утро Ольга Николаевна телефонировала Софии Яковлевне, что Михаил Кондратьевич арестован. Ольга Николаевна выразила намерение прийти к нам, что София Яковлевна приветствовала. Ольга Николаевна действительно пришла вечером, невзирая на дождь, захватив ноты. Рассказав все подробности ареста и обменявшись с нами соображениями о том, что предпринять в создавшемся положении, Ольга Николаевна стала петь, сначала под аккомпанемент сестры Нины, а потом заняв сама место у рояля. Репертуар ее оказался весьма обширный. Время шло незаметно. Только в три часа спохватились мы, что пора отдыхать. Времена были скудные. Чтобы подкрепиться, в доме, кроме хлеба, оказалось только четыре яйца! После неизбежных в таком положении великодушных споров решили сбить гоголь-моголь и поделить его на три порции Ольге Николаевне и двум девочкам. Домой Ольгу Николаевну мы не пустили, и она заночевала у нас.

Через несколько дней Софии Яковлевне, в свою очередь, пришлось сообщить Ольге Николаевне о моем аресте (по Голодному комитету, о чем рассказываю особо). Для нас обоих – Михаила Кондратьевича и меня, – арестованным по совсем различным поводам, аресты прошли благополучно.

Впоследствии Ольга Николаевна рассказала Софии Яковлевне, что при душевном потрясении у нее является потребность излить свое чувство в пении. Так было, когда у нее умер ребенок. Она была совершенно одинока, в чужом краю, в самом мрачном отчаянии. Как бы инстинктивно подойдя к роялю, она запела и пропела всю ночь напролет. Слышавшие ее в открытое окно соседи говорили потом, что никогда она так хорошо не пела...

Образование детей

Сын мой Сережа окончил гимназию весной 1917 года и в том же году осенью поступил в университет. После экзамена зрелости мы с ним совершили поездку в Нижний, оттуда Волгой в Ярославль и обратно в Москву. Мне хотелось повторить с ним поездку мою с Е. Е. Якушкиным, совершенную в 1891 году в аналогичном случае, и показать ему ярославские храмы как образец древнерусского зодчества, особенно мне милый. Лето Сережа прогостил в Крыму у А. В. Чичкина, с сыном которого, Сашей, он сдружился. За его отсутствием из Москвы, прошение о зачислении в университет подал я. Почему-то в старом здании университета никого не было видно, и в канцелярии я нашел только ректора М. А. Мензбира да швейцара. Оба приветствовали меня как старого знакомого. Михаил Александрович отметил, что я должен быть доволен, что сын поступает в университет при расцвете свободы. Я, в свою очередь, ответил, что, возглавив при Кассо коллективную отставку-протест профессоров, Михаил Александрович внес свой вклад в сокровищницу свобод... Но мы поторопились со своими поздравлениями... Сереже недолго пришлось пробыть в университете. В 1918 году он поступил на службу в типографию Корпуса военных топографов.

Вообще говоря, из моих детей одной только Нине удалось пройти нормальный курс вышей школы. Поступив в 1915 году в пятый класс гимназии Потоцкой, она окончила гимназию в 1918 году и в том же году зачислилась на агрохимическое отделение физико-математического факультета, которое окончила нормально в 1922 г.

Что же касается Тани, то когда в 1918 году ей надо было поступать в гимназию, то она не нашла даже самой гимназии Потоцкой, которая к тому времени перестала существовать. Программу последних четырех лет гимназии Таня прошла на коллективных домашних уроках, устроенных бывшими учителями гимназии Потоцкой. В университете, по свидетельству М. П. Садовникова и Н. К. Кольцова, она усердно и дельно работала над делением ядра (хромосом), когда возник вопрос об ее буржуазном происхождении, будто бы лишавшим ее права на прохождение университета. Я поспешил к В. П. Волгину с жалобой на это постыдное дело. Ему, очевидно, было очень совестно за такую срамоту, и он обещал убедить товарищей в Главпрофобре снять этот вопрос с обсуждения. Другие коммунисты, с которыми я говорил, тоже конфузились. В результате все же Таня университет покинула.

Знакомство с Леоновым. 1922 год

Раз как-то, когда я вернулся домой после занятий в издательстве, сестра Нина в большом возбуждении стала мне рассказывать о новом появившемся в Москве молодом талантливом писателе, с которым она только что познакомилась. Мне надо непременно прослушать его вещи в его чтении, познакомиться с ним и привлечь в издательство, говорила она. Это громадный, неведомый еще талант, которому предстоит большое будущее. Пришедшая тут Маргарита Васильевна Сабашникова* присоединилась к Нине в восторженных отзывах о новом, молодом, самобытном даровании. Обе мои собеседницы, обладая вкусом и тонким чутьем к изящному, склонны, однако, увлекаться, и я сначала скептически отнесся к их отзывам. Их знакомство с молодым писателем завязалось притом в антропософских кругах, и я склонен был (совершенно неосновательно, как потом выяснилось) приписать их увлечение предполагавшейся мною принадлежностью молодого человека к этой чуждой мне секте.

– Вот вы так восторгаетесь рассказом, который Леонов вам прочел. Но расскажите мне его содержание. Ведь можно же дать своими словами понятие, в чем сила и прелесть рассказа, – поддразнил я Маргариту Васильевну, не думая, конечно, задавать ей такую трудную задачу, как пересказ прослушанного художественного рассказа. Но вызов был принят, и Маргарита Васильевна с большим оживлением рассказала тут же известный теперь всем рассказ «Гибель Егорушки». Она выполнила это с большим тактом, прерывая время от времени свой пересказ вставными замечаниями, вроде того, что здесь, мол, автор дает поразительное описание природы, которое можно передать лишь дословно, и тому подобное, и тому подобное.

Но я продолжал высказывать свои сомнения, больше, впрочем, чтобы подразнить дам: «Ну, я вас не понимаю. Как можете вы, при ваших взглядах, сочувствовать подобному рассказу! Человек природы жил себе с семьей, не зная Бога, подчиняясь велениям природы, и были все счастливы. Но вот явился человек веры и погубил ею всех. Ведь так выходит по вашему пересказу! Это может соответствовать моим взглядам, ибо нет того зла, которое не было бы сделано во имя религии или убеждений. Но какие описания природы и людей могут помирить вас с таким сюжетом, подвинуть вас на то, чтобы им восхищаться?»

---

* М.В. Сабашникова – двоюродная племянница М.В. Сабашникова, художница и писательница, первая жена М.А. Волошина.

Разгорелся шуточный спор. Нина и Маргарита Васильевна упрекали меня в софизмах и в конце концов взяли с меня слово, что я прослушаю Леонида Максимовича в ближайший раз, как он будет читать. Я очень охотно связал себя словом, заинтригованный всем, что пришлось слышать.

Ждать долго не пришлось. В один из ближайших дней мы всей семьей пошли на дневной концерт в консерватории. У подъезда мы встретились с Н. А. Григоровой, которая тут же пригласила нас всех на вечер к себе послушать начинающего даровитого писателя, который обещал прочесть у них свой неизданный рассказ. И так мы все гурьбой отправились в назначенный вечер к Григоровым на Кудринскую Садовую.

Григоровы Б. П. и Н. А. занимали во владении быв. Найденова большую квартиру и жили еще просторно, что составляло уже тогда в Москве большую редкость. Известно, что с самого начала революции у нас началось «уплотнение» «жилплощади», приведшее в конце концов к настоящей нашей поистине бедственной тесноте. В обширной гостиной, в которой сохранилась еще в неприкосновенности вся буржуазная обстановка, мы застали небольшое общество людей образованных, причастных к литературе и искусству. Так как подобные вечера потом повторялись несколько раз, то у меня в памяти они смешались, и я затрудняюсь перечислить состав первого собрания. Назову лиц, вообще бывавших на этих вечерах, кроме самих хозяев: С. П. Григоров, супруги Фалилеевы В. Д. и Е. Н. (гравер), Кравченко А. (гравер) с супругой, бывший издатель Коппельман, Рачинский (литератор), присоединился впоследствии Илья Семенович Остроухов, искренне и горячо полюбивший затем Леонида Максимовича. Это были или старики, или люди уже с известным весом в обществе и в своей области, с уже давно сложившимися вкусами. Из молодежи были София Павловна Григорова, мои дети Нина и Таня и не всегда Сережа с женой. К молодежи, конечно, относился и сам виновник собрания – Леонов. Это был еще совсем юнец. Держал он себя очень мило. Не заставлял себя просить. Внимательно выслушивал замечания и соображения слушателей своих. Возражения свои излагал так, что сразу чувствовалась большая продуманность с его стороны и в общем построении рассказа, и в отдельных выражениях, в нем употребленных. Читал Леонид Максимович хорошо, очень своеобразно, чрезвычайно быстро, иногда как бы выкрикивая отдельные слова. Молодой гибкий голос и приятное, чисто русское, выразительное лицо содействовали, в свою очередь, общему впечатлению.

Как я сказал, вечера у Григоровых повторялись несколько раз, и Леонид Максимович перечел на них свои мелкие, теперь всем хорошо известные первые рассказы. Богатство вымысла, сочный, свежий русский язык, изобилие новых, незатрепанных эпитетов, своеобразные обороты речи, меткие наблюдения душевных движений, чудные описания северной нашей природы, изумительная стилизация в восточном вкусе Туатамура – все это меня совершенно очаровало.

Слово это, однако, не выражает тех сложных и радостных переживаний, которые были вызваны внезапным появлением среди тогдашней Москвы чудесного юноши-сочинителя с его небывалыми рассказами. Надо перенестись в то время. Я скажу здесь только за себя, но думаю, что выражу душевное состояние очень многих из нас. Всякий интеллигентный великоросс, если он не был убежденным коммунистом или интернационалистом, думается мне, должен был в то время чувствовать себя нравственно приниженным, ущемленным. К тому, в самом деле, было слишком много оснований. Неудачная война. Брестский мир, закончивший ее хуже, чем это было неизбежно (так по крайней мере многим казалось). Революция, обратившаяся в социальную и потому казавшаяся многим обреченной на неминуемый провал. Бесполезность в силу этого бесчисленных жертв, павших преимущественно на наш круг. Предвидение новых, неизбежных, вызываемых углублением разрухи, бедствий. Наконец, личные потери и лишения каждого из нас!

Появление в этой обстановке нового дарования воспринималось как благая весть, что в духовной, по крайней мере, сфере не иссякли народные силы! Ну, и при этом оставалась надежда, что за невзгодами наступят и лучшие дни. В этом лежит, по-моему, причина той теплоты и того исключительного радушия, с какими старые москвичи встретили тогда начинающего юного писателя.

На первом же вечере у Григоровых я пригласил Леонида Максимовича бывать у нас и просил его прочесть «Туатамур» в кругу моих друзей. Леонид Максимович охотно, как мне казалось, согласился. Он стал бывать у нас и неоднократно читал свои вещи. Среди приглашенных к слушанию бывали Михаил Несторович Сперанский, Мстислав Александрович Цявловский, Сергей Владимирович Бахрушин, Георгий Иванович Чулков, Александр Григорьевич и Лидия Николаевна Хрущовы, М. В. Нестеров с супругой, А. И. Северцов с супругой, был как-то раз Илья Семенович Остроухов и после своего возвращения из-за границы Михаил Осипович Гершензон.

Леонид Максимович бывал у нас и в качестве слушателя, когда, например, А. Ф. Иоффе делал сообщение о новейших воззрениях в физике, сказитель из Беломорья <...>* произносил былины, Шергин рассказывал свои архангельские сказки, М. А. Волошин читал свои новые исторические стихотворения.

Хотелось бы припомнить какие-нибудь более или менее характерные отзывы того времени о ранних рассказах Леонида Максимовича и оценки особенностей его таланта. Но что-то не приходят на память конкретные суждения. Сам я, приглашая в первый раз М. Н. Сперанского, сказал ему, что в «Туатамуре» проявлено такое мастерское воплощение в стиль чужой народности, какого мы, пожалуй, не встречали со времени «Подражаний Корану» и «Песен западных славян». На это Михаил Несторович заметил, что в моих устах это очень большая похвала, ибо я не склонен к преувеличениям. Трогательное отеческое внимание к молодому писателю проявил А. Г. Хрущов, отведший меня както после чтения в сторону и указавший, что проявляемый М. А. Пявловским восторг может вскружить голову молодому человеку. М. О. Гершензон подтвердил мне своим отношением наблюдение, сделанное мною в отношении его и раньше. Он судил о литературных явлениях не по непосредственному своему впечатлению, а какими-то другими путями устанавливал к ним свое отношение. И получалось, что он высоко ценил записи Федорченко и ее народные стилизации, а природное самобытное творчество в духе народном его не захватывало. Наконец, занятный, недоуменный разговор был у меня с И. С. Остроуховым о Леониде Максимовиче, но об этом в другом месте...

На этом я кончаю рассказ свой о том, как познакомился и сдружился с Л. М. Леоновым. Дальше пришлось бы рассказывать, как мы с ним породнились. Но это уже относится к роману Леонида Максимовича и Татьяны Михайловны Леоновых, – им и книги в руки!

Кончина Ивана Михайловича Сабашникова

Сегодня, 29.I.32 хоронили двоюродного брага моего Ивана Михайловича Сабашникова. Он был старшим в нашем роде, и теперь старшинство переходит к сестре Кате. Иван Михайлович умер от старости. Ему было 78 лет. Последние дни его мучила одышка, ему давали морфий, и он находился в бессознательном состоянии. Но это только последние дни. До того он хотя и был

* Фамилия в тексте отсутствует.

принужден по слабости сердца лежать около месяца в постели, но сохранял полную свежесть головы. На похоронах его внучка И. Дубовская вспомнила последние сказанные им ей слова: «Меня не одного Харон повезет», и потом вдруг: «Вот я уж очень ослаб и не могу своей мысли выразить, но если мои соображения верны, от дарвиновской теории ничего не останется». До последних минут своих он оставался мечтателем, каким всегда был. Когда в 19 – 20 гг. стало голодно и трудно жить, он взял место врача на Урале. «Не было бы там еще хуже? – сказал я ему. – Ведь о продовольствии Москвы позаботятся в первую очередь. А на Урале и жалование задержать могут, и медикаментов не отпустят, и на деньги, пожалуй, ничего не достанете?» – «Ты, Миша, пожалуй, и прав, – ответил Иван Михайлович, – но подумай, какой край! Урал ведь очень красив и притом своеобразен». А в то время люди от голода уже человечину ели!

Я не мог проводить тело до кладбища. На Моховой отделился от похоронной процессии и зашел в Лавку писателей, чтобы воспользоваться ее телефоном. Работавшего в ней И. И. Сытина я спросил о здоровье И. Д. Сытина. Ему 87 лет, и он совсем в детство впал. Мне 61 год, и я не представляю себе, чтобы можно было не только до 87, но и до 78 протянуть...

Кончина сестры Кати

Сестра Катя скончалась <...>* от рака в санатории в Монтрэ. Она очень страдала перед кончиной. При ней была одна Сима. Шура, вызванный телеграммой, уже не застал мать в живых. Сбылось предчувствие Кати, высказанное ею мне за многие годы раньше, когда она летом <...> хворала в Суткове воспалением легких. После нескольких очень тревожных суток, когда сутковский врач Дырмунт предупредила меня, что положение опасное и она не ручается за исход болезни, наступило значительное улучшение. Я сидел у постели больной, и она мне тогда сказала, что ожидала конца. Мамочка умерла в самый разгар лета, и Кате почему-то казалось, что и ей суждено умереть в солнечный, жаркий день.

О смерти Кати я узнал при следующих обстоятельствах. Ночью я как-то видел поразивший меня сон. Отец мой, совсем в том виде, как он изображен Невревым, взял меня «ехать за Катей». В четырехместной открытой коляске поместились отец и рядом с ним, по левую его руку, брат Сережа на главных сидениях. Сережа в том состоянии, в каком он был после перенесенных операций.

* Год в тексте отсутствует.

На противоположной лавочке, спиной к кучеру, против отца сел я, а рядом со мной Катя. Она ехала с нами, хотя мы и ехали за ней. Но во сне такие несообразности часто бывают.

Все были в светлых летних одеждах и того возраста, какого каждый достиг при жизни. Так что между мной и отцом существенной разницы в годах не было. Я не испытывал ни радости встречи, ни печали по поводу цели нашей поездки. Все было неизмеримо значительней личных чувств и переживаний. Друг с другом мы не говорили, но без слов, как в музыке, понимали друг друга. Коляска наша быстро неслась из Речицы в Сутково по замечательному Екатерининскому шляху, обсаженному вековыми березами. Поворот к сутковскому дому. На большом кругу перед домом на траве среди клумб встречает нас Катя в легком сером платье... Я вдруг начинаю все понимать и просыпаюсь со страшнейшим сердцебиением, не в силах будучи восстановить при пробуждении, что же такое я только что так ясно, отчетливо, восторженно понял... Необычайный сон этот так меня поразил, что я утром же при вставании рассказал его Софии Яковлевне.

Дней десять спустя, переходя Арбат, я увидел В. Ф. Джунковского на «острове» против бывшего нашего дома в ожидании трамвая. Первым моим движением было поспешить к нему. Но я себя остановил, сообразив, что Владимир Федорович стоит первым в очереди на посадку к подходившему уже трамваю. Если я, окликнув его, заставлю его повернуться, он пропустит посадку. Решив не подходить, я все же, вопреки этому решению, сошел с панели и перебежал улицу, направляясь к «острову». Владимир Федорович, стоявший ко мне спиной, обернулся, увидел меня и, оставив очередь, направился мне навстречу. Оказывается, он собирался ко мне, чтобы сообщить услышанную им в церкви весть о кончине Кати...

Телепатии такие случаи, конечно, не доказывают. Но если когда-нибудь явления телепатии будут научно установлены точными наблюдениями и даже опытами, то явления, подобные только что мною описанным, будут иметь в телепатии наиболее удовлетворительное объяснение. Игра случайных совпадений все-таки не вполне удовлетворительное объяснение...

Мои аресты

После революции я был подвержен аресту всего пять раз. Ограничивалось всегда простым заключением, допросом и освобождением без всяких дальнейших последствий. Описывать

эти инциденты не стану, так как ничего ни политически, ни общественно интересного они не дают. Приведу лишь те письма, которые, невзирая на все строгости, я умудрялся иногда посылать из мест заключения. Они переносят в настроения того времени.

Аресты были: в 1918 май – август; 1920 май; 1920 октябрь; 1921 август; 1930/31 декабрь – январь.

«Воскресенье, 20.V(2.VI).1918.

Меня очень быстро и безо всяких приключений доставили на автомобиле на Лубянку в помещение Чрезвычайной следственной и т. д. комиссии в прежнем «Якоре»[11]. Какой-то человек в военной форме взял у сопровождавшего меня, арестовавшего меня и обыскивавшего мой стол на квартире штатского отобранные им бумаги мои, предложил мне сесть рядом с ним на кресло и заполнил тут же с моих слов опросный лист – фамилию, годы и пр. Спросил, был ли я допрошен, на что я отвечал отрицательно. Затем, справившись у меня же, нет ли в моих свертках недозволенных вещей, он передал меня конвойному латышу, отвел меня в обширное помещение бывшую кладовую «Якоря» (страхового общества), очевидно, с железной дверью, сводчатыми потолками, зарешеченными окнами. Вдоль стен, головами к стенам, ногами внутрь, по всем четырем стенам установлены деревянные лежанки с тюфяками, и в середине помещения установлены столы со скамьями. Я положил свои вещи на одну из скамей и осмотрелся кругом.

Мой приход не обратил на себя внимания заключенных. Я обошел все помещение кругом. Ни одного знакомого лица. Начальник молодой человек с горбатым носом и акцентом спросил мою фамилию. Я нарочно отвечал очень громко, думая, не найдется ли в среде заключенных кто-нибудь, знающий меня хоть по фамилии. Нет! Как я теперь присмотрелся – тюремщики нерусские; начальство – разных бойких национальностей, а сторожа – латыши, которые даже не всегда понимают русский язык. Но и среди заключенных русские если не отсутствуют, то все же в меньшинстве. Много евреев. Слышится польская речь. По-видимому, есть хохлы. Интеллигенции почти нет.

(Ярко вспоминаются мне теперь не упомянутые в письме: группа мужчин и женщин во фраках и бальных платьях, очевидно, привезенные сюда прямо с бала или веселого ужина; священник в соломенной шляпе, по растерянности забывший снять ее в помещении; почтенная старушка с дочерью подростком, как и я, не нашедшая свободных лежанок. Оторопевшая старушка старалась загородить собой от дочери куривших тут же проституток.

Мальчишки-оборванцы, вероятно, воришки, одни бойко сновали в этой тесноте, будто выискивая что-то.)

Я поинтересовался, нельзя ли перевестись в камеру, где сидит Сережа. Начальник тюрьмы ответил мне буквально: «Вы арестованы, и у вас никакой воли не полагается. Оставайтесь, куда вас назначили».

Я выбрал себе свободную лежанку (без тюфяка, к моему удовольствию) и стал читать «Философию истории» Герье. Благо окно недалеко и света много. Читая, я наблюдал жизнь тюрьмы. Принесли обед. Щи в общей миске и каша. Хлеб, говорят, утром давали и даже сахар. Я был сыт и решил, что лучше не пробовать. Завтра на голодный желудок, наверное, понравится, а сегодня после твоей картошки и вкусной котлеты, пожалуй, составишь себе предубеждение против здешнего стола, что было бы невыгодно.

Узники заметили у меня газету и один за другим подходили ее читать. Нашлась наконец и знакомая фамилия, т. е. только фамилия, так как человек, ее носящий, мне не был знаком. Газета дала тему для обмена мнениями с разными ею пользовавшимися. Очевидно, известие о расстрелах было уже кем-то распространено. Впрочем, уныния ни на ком не видно.

Подметают полы по очереди сами заключенные. Когда начальник вручил одному метлу, вышло было пререкание. Но начальник настоял на своем. Чудно наблюдать эту смесь произвола и гражданственности. Заключенных называют гражданами, говорят вежливо. Бутерброды, доставленные родными для заключенных, уже выпущенных или уведенных в Бутырки, распределяются между заключенными, не имеющими денег и собственной провизии.

Сейчас принесли чай. Буду пить с твоим сахаром. Но где же Сережа? Говорят, утром здесь было много студентов и гимназистов, но их увели. Имеется ли в этом же здании другая камера, я не уверен.

Ну, будь здорова. Надеюсь, что Сережа не замедлил присоединиться к вам. А затем и я прибуду так же неожиданно, как был от вас увезен. Береги себя, девочек. Не волнуйтесь. В былое время я бы очень смущен был за течение дел, нарушенных моим внезапным арестом. Теперь же, когда никаких дел на мне не лежит, я чувствую себя бывшим человеком, не ответственным ни за что, кроме вас. О тебе и девочках и Сереже я все время думаю и умоляю вас беречь себя и друг друга – для друг друга и ради меня. Целую крепко всех вас и поклоны низкие всем знакомым, близким и живущим с нами.

Крепко целую. М. С.

Желательно получить: 1) ложку деревянную для щей, 2) гребенку. Пост № 5 Понедельник. Сейчас меня перевезут в Бутырки».

«Бутырская тюрьма Коридор № 5,кам. 39
Понедельник 3 июня 1918

Сегодня еще едва светало, когда я, проснувшись на своей койке в «Якоре» на Лубянке, увидел перед собой знакомого мне студента Алексея Александровича Буслаева. У бедняги флюс. Его арестовали ночью на квартире, и теперь он стоял беспомощно, с завязанной щекой, с узлом в руках, озираясь кругом, где бы примоститься. Напрасный труд! За ночь привезли много новых арестованных. Все койки были заняты еще с вечера. Ночью уплотнялись койки и заняты были скамейки посреди камеры около столов. Я пригласил Алексея Александровича уплотниться со мной. Мы решили испробовать, насколько возможно лежать и спать на оставшемся нам пространстве. Легли и соснули до утра, когда задвигались соседи.

Умываться можно было сравнительно удобно под краном у открытого окна на лестнице.

Когда я, освежившись водой, возвращался в камеру, то в темном переходе неожиданно наткнулся на чью-то голову, старавшуюся, но безуспешно, высунуться к нам в проход через форточку в дощатой двери, за которой, очевидно, заключен был носитель этой головы. Я оглянулся и увидел, что не одна такая дверь, а и целых пять выходят в наш темный проход у лестницы. Каждая дверь ведет в одиночный карцер, совершенно темный, ибо окон с наружной стены нет. Воздух для дыхания проходит только через ничтожную форточку в дощатой двери сечением не более квадратной четверти. И в каждой такой форточке виднелся профиль узника, старавшегося хоть как-нибудь расширить свой кругозор. Если проходил по коридору какой-нибудь из вершителей судеб людских в этой большевистской цитадели, то все головы в форточках следили за ним одним своим глазом и затем все одновременно скрывались, чтобы моментально высунуться другой своей стороной и другим своим глазом проводить начальство до выхода его из помещения. Когда начальство прошло, один из узников попросил у меня спичек. У меня не было, но я сходил и выпросил коробочку у кого-то в нашей камере. Каково же было мое удивление, когда, вернувшись и заговорив с заключенным в карцере, я убедился, что в каждом карцере не один, а несколько узников. Как они не задохнутся!

Потом уже здесь, в Бутырке, мне сказали, что в карцерах этих сидели «бандиты», приговоренные к расстрелу. Так ли это, не знаю. Но факт тот, что сами узники, все заключенные в большой камере и стража, все не сомневались в предстоявшем расстреле бандитов в карцерах. [...]*

Среди арестованных даже совсем невинных людей подчас опасение смертной казни – расстрела, можно сказать, самое обыденное явление. [...]* Вот сейчас от нас (Бутырки) выводили двух на допрос. Оба все время говорили о предстоящей своей смерти. Теперь они отпускаются, потому что, как оказалось, они вовсе ни в чем даже не обвиняются, а должны были быть вызваны как свидетели. [...]*

Я всегда о тебе и о детях думаю и надеюсь, что ты с девочками не унываете. Целую всех крепко.

Твой М. С.»

«Бутырская т. Камера № 39
Вторник 4 июня 1918

Вчера нас в числе 15 человек перевезли на грузовике в Бутырскую тюрьму. Вместе со мной перевезен и студент Буслаев. Я рад, что очутился с ним в одной партии. Он очень милый юноша, с большими интересами и запросами, и мы с ним коротаем время в разных литературных разговорах. Однокашниками, однако, не пришлось быть. Пищу здесь дают, как и в «Якоре», в мисках на пять – семь человек, и приходится не брезгать соседями. Особенно неприятно не иметь собственной ложки. В «Якоре» мне дали какую-то изгрызанную дрянь, здесь, по-видимому, новую, и что главное – на все время моего здесь жительства.

Обедали мы вчера (здесь еда главное занятие, и нельзя обойти её молчанием, а то и совсем не о чем будет писать) еще в «Якоре». Я ел с какими-то подростками, в грязных зипунах, с длинными вьющимися волосами, пожиравшими пищу с жадностью. Оказалось, что это – профессиональные уличные воры. Зато ужинать уже в Бутырках мне довелось в более изысканной компании – с фальшивомонетчиком, да не с каким-нибудь, а с артистом – мастером своего дела. Мы с ним и лежали на соседних койках. Но об этом потом. Надо излагать все по порядку.

Когда нас вывели в помещения «Якоря» во дворе, чтобы сажать в автомобиль-грузовик, мы заметили, что из окна над воротами-тоннелем на нас смотрят какие-то молодые лица. Вскоре среди них в окне показался Сережа почти во весь рост. Мне

---

* Так в тексте.

трудно тебе передать, как я обрадовался, увидев его. Все же он в обществе студентов и курсисток, а не спекулянтов и саботажников, среди которых мне пришлось очутиться. За Сережей в соседнем окне показались Н. М. Кишкин, потом Е. В. Юрьева, наконец, М. Г. Комиссаров. Все кланялись. Спрашивали, есть ли у меня деньги, подушки, вещи, еда. Я им отвечал жестами. Затем все имели удовольствие видеть, как мне служанка принесла, очевидно, от тебя, во двор две бумажки в 10 рублей. Я расписался в получении и показал бумажки публике, стоявшей в окне, которая почему-то особенно интересовалась, имею ли я деньги. Очень успокоенный относительно теперешнего пребывания Сережи, я отбыл в Бутырки.

На следующий день меня на грузовике переправили в Бутырки. Когда нас во дворе «Якоря» сажали на грузовик, я увидел смотревших на нас в окно Сережу, Н. М. Кишкина и М. Г. Комиссарова!

В Бутырках я попал в общую камеру с уголовниками (№ 39). Мне досталась вторая от окна койка. Рядом со мной у окна помещался фальшивомонетчик, как он сам себя рекомендовал. Мужчина лет... Бывалый. Держал себя очень степенно. Оказался благожелательным соседом и занимательным собеседником. В камере было человек 7-8 молодежи. Они называли себя анархистами.

Вечером из нашей камеры увели привезенного со мной священника. «Надо укрыться с головой под одеяло и ничего не слушать», – прошептал мой сосед. Лишь только дверь за уводимым священником затворилась, мальчики-анархисты стали оживленно обсуждать, зачем и куда увели священника. Тут стали вспоминать, как прошлой ночью (до меня) увели отсюда на казнь гимназистика. У бедного руки тряслись, и он не мог застегнуть ремня у штанов. Пришлось беднягу снаряжать. Как назло озорной анархист стал громко, во всех подробностях, описывать процедуру казни теперь и при царях. «И вот так-то негодяи – каждую ночь!» – роптал чуть слышно мой сосед...

Было уже очень поздно, когда в коридоре послышались шаги. В скважину нашей двери просунули ключ. Мгновенно в камере все притаились. Ключ лязгнул. Дверь отворилась. В коридоре стояли три надзирателя и при свете ручного фонарика разбирались в списке. Послышалось по складам: «...аба... Саба... Сабашников есть такой?» Я вскочил как встрепанный. «Это вы? – Я. Михаил Васильевич? – Да. – Свердлова знаете? – Знаю. – Распишитесь!» – сказал мне надзиратель, передавая плитку шоколада... Очевидно, меня этим хотели поставить в известность, что меня не забудут[12].

Это было очень трогательно. Плитка, конечно, пошла сейчас же в раздел по камере, и все тотчас же заснули без просыпу до утра.

Нас везли в тюрьму по самым людным улицам – Кузнецкому мосту и пр. Все же ни одного знакомого я со своего грузовика не заметил.

Процедура приема в тюрьму довольно несложная. Всех сначала загоняли в закут, обнесенный железной решеткой. Затем вызывают по списку. Каждого обыскивают. Вещи осматривают. Деньги отбирают и записывают на текущий счет. Конечно, всякий делает так, чтобы сохранить некоторую толику и на руках. У Буслаева взяли столовый нож и вилку; свой перочинный я спрятал, и он мне теперь служит.

Пока вся эта процедура длилась, какой-то священник (вероятно тюремный) подошел ко мне осведомиться о батюшке Н. Н. Рудневе, оказавшемся в нашей партии. Какая-то женщина (очевидно, служащая в женском отделении) рассуждала, весьма резонно, с одним надзирателем о том, долго ли еще большевики останутся у власти. Мне все хотелось вставить им свое предсказание – что до сбора нового урожая большевики наверняка так или иначе протянут... Но ведь моего мнения не спрашивали, да и вообще, было бы неуместно арестанту вмешиваться в разговоры, все же, начальства. Да, я тебе, кажется, писал, что нас на Лубянке величали гражданами, здесь господами. Это в тюрьме, хотя тоже не отвечает истинному нашему положению, но все же нет в «господах» той обидной, невольной, конечно, насмешки, какая так раздражает в «гражданах». И чудно, это не я один так почувствовал. Даже простые люди злобно ворчали про себя, когда надзиратели кричали им на Лубянке «граждане». «Хороши свободные граждане федеративной республики!»

Тюремные трехэтажные корпуса расположены квадратом, и в образовавшемся этом внутреннем дворе построена церковь. Проезды двора между церковью и тюремными корпусами засажены деревьями. Из своего окна я могу любоваться небом, крестами и куполом этой тюремной церкви и зелеными деревьями – их макушками, так как наша камера на третьем этаже.

Эта камера имеет два окна, обращенных во внутренний двор. Противоположная стена отделяет нас от коридора, в который ведет дверь с круглой дыркой для глаза. Надзиратель может, не входя в камеру, наблюдать за тем, что в ней делается. Это дает и нам возможность удовлетворять свое любопытство относительно происходящего в коридоре. Две другие параллельные стены за-

няты железными койками с брезентными ложами. Спать на них, кстати, хорошо. Пожалуй, даже лучше, чем на походных отрядских кроватях, к которым я в отряде привязался. В камере помещается 25 человек. Так как она уже раньше частью была занята, то нашу партию разбили, и из 15 человек – 7 со мной и Буслаевым попали в эту, остальные отведены были в другие.

Режим здесь такой. Просыпаются, моются и чай пьют в 6 часов. Обед – щи и каша – в 12 часов. В промежутке – гуляние по двору, обнесенному высочайшей каменной оградой. Днем опять чай. Потом ужин и опять чай. Два раза выпускают «оправиться». А в остальное время действует знаменитая Параша, которую здесь именуют часто Прасковьей Николаевной.

Публика? Про фальшивомонетчика, моего соседа, я уже упоминал. Другие ничем еще не выказались. Мальчик-матрос, уголовный, разве только тем, что с голодухи (накануне нашего привода) условился со своими однокашниками, чтобы ему съесть всю миску, рассчитанную на пятерых, одному, а затем в течение пяти дней уже не трогать своей порции и дать ее съесть своим однокашникам. Сказано – сделано, и третьего дня миска им съедена, и ты представишь себе, каким голодным волчонком он смотрит теперь на всех, съедающих по праву свою и его порцию. Ему еще 4 дня терпеть эту муку. Я отдал ему свою порцию, и надо было видеть, как он на нее набросился.

Ну кончаю. Не волнуйтесь из-за меня. Страдать мне не приходится, и все кончится глупым приключением, из которого можно будет лишь извлечь лишний жизненный опыт. Во всем надо видеть и искать хорошую сторону, ведь дурное само за себя говорит и его не заметить нельзя.

Целую крепко тебя, Нину, Таню, Сережу, когда он вернется к вам. Поклоны Марии Федоровне, Наталии Петровне, Александре Карповне и всем знакомым и близким.

Твой М. С.

Лето 1918 года».

В дополнение к вышеприведенным записям дневника занесу здесь еще несколько штрихов, запечатлевшихся у меня в памяти.

Упомянутый выше фальшивомонетчик оказался очень «рассудительным» человеком. «Нас будут преследовать при всех правительствах. Какое государство станет терпеть подделывателей его денег. Но и нам нельзя от этого дела отстать! Законным путем был бы я старшим мастером, при удаче дослужился бы до заведующего мастерской. Может быть, сделался бы сам хозяйчи-

ком. Много разве в этом прелести? А то я и в Париже живал. В Ницце виллу снимал. Самые красивые женщины мне были доступны. Конечно, приходится тюрьмой расплачиваться. Но ведь это необязательно. Всегда надеешься не попасться. Наше производство редко провалы терпит. Затруднителен сбыт фальшивых денег, и на нем-то провалы и происходят. Ну через них-то, правда, и до нас добираются. Вот из-за этих самых сбытчиков я третий раз в тюрьме. Примерно третью часть рабочей своей жизни в ней провожу. Но тоже и здесь всегда надежда бывает: то императрица родит, то император умрет, по амнистии в коронацию сроки снижают».

Примерно в таких выражениях он со спокойным «достоинством» знающего себе цену профессионала разбирал выгоды и невыгоды своей профессии.

В жаркий летний день я, в свою очередь, сидел у открытого окна общей камеры цокольного этажа. Во дворе прогуливались арестанты из другой камеры. Вот старый еврей в котелке, бритый и прилично одетый, признал в нашей камере знакомого и остановился у нашего окна, чтобы поговорить. «Дураки! Привлекают меня по смертоубийству! Всем же хорошо известно, что я большой вор. Разве в моем положении мараются по мокрому делу!» Нужно было видеть, с каким достоинством этот спец определял себя как «большого вора» и с каким презрением говорил о следователях, не знающих того, что «всем известно».

А вот буржуй, ни в чем уголовном не заподозренный и попавший в тюрьму, вероятно, по классовому признаку. Сытый эстонец, издатель музыкальных нот, второ-, если не третьестепенный. Он негодует на свой арест и исчисляет причиненные ему этим арестом убытки. Когда его освободят, кому подавать заявление о возмещении убытков. «Да перестаньте смешить людей! – говорю я ему с досадой, когда он ко мне обращается. – Разве вы не видите, что происходит революция. Страховые общества и те не возмещают убытков в случае народных волнений!» – «В таком случае я – банкрот!» – восклицает эстонец. А назавтра он опять подходит ко мне с исчислением своих убытков, которые должны же быть возмещены «честному коммерсанту».

При переводе в новую камеру мне посчастливилось встретиться с добрым Владимиром Васильевичем Егоровым, с которым затем уже не разлучался во все мое дальнейшее сидение. Здесь я оценил удивительную сердечность этого человека, которого, поистине, полюбил.

По ходатайству Софии Яковлевны нас с Владимиром Васильевичем перевели в одиночную камеру. Оглядываем новое помещение. Единственную койку Владимир Васильевич спешит безапелляционно предоставить мне. Состязаться с ним в великодушии я просто не умею. Подхожу к этому моему благополучию, чтобы привести его в порядок и постелить постель. На койке нахожу изодранный тюфяк, насквозь пропитанный свежими испражнениями. А на стене, должно быть, тот же страдалец беспорядочно начертил большими буквами какую-то запись на непонятном мне языке.

В открытое окно к нам со двора донесся как-то чей-то возглас: «Мирбаха убили!»[13] В камерах началось необычайное волнение. Шум заключенных, окрики надзирателей. Беготня по коридорам. Хлопание дверьми. Кто-то снаружи ломится в ворота тюрьмы. Раздался выстрел, другой, через некоторый промежуток третий. «Надзирателя убили», – крикнул кто-то, пробегая по коридору, Всё сразу смолкло. Долго стояла мертвая тишина... Наконец, послышалось какое-то движение по коридору. Обходили камеры. Обыскивали заключенных. Мы сидели как на иголках... Вот отомкнули нашу камеру и тщательно, не говоря ни слова, обыскали все наши вещи.

X. 1920 года

Самым тяжелым арестом, несмотря на его кратковременность, был, несомненно, октябрьский 1920 года. Ужасны были и материальные условия содержания, и душевные переживания, с ним связанные.

Как всегда, меня взяли на квартире ночью. Была сильная метель. За мной приехал грузовик с несколькими красноармейцами с ружьями. До меня было забрано несколько арестованных, и потом мы еще долго колесили по переулкам, кого забирая, кого не заставая дома. Заезжали и к моему двоюродному брату Василию Михайловичу Сабашникову, но, найдя старика тяжело больным, оставили его под домашним арестом. Уже светало, когда мы прибыли на Лубянку. Но там, по-видимому, все места были заняты. Нас водили от дома к дому, шептались, крепко объяснялись, возвышая голоса, и гнали туда, откуда привели. Еле-еле уже утром приняли нас в какой-то двухэтажный домик на Лубянке. Я заметил, что среди поступивших в камеру с нами преобладали люди из «общества» (бывший курский губернатор Муратов, бывший московский вице-губернатор Устинов, поэт Кусиков и др.), а до

нас камера была набита весьма разношерстной публикой, преимущественно уголовными. Вследствие общей усталости и возбуждения первый день проскочил как-то незамеченным. Вечером выяснилось, что нам, вновь прибывшим, спать негде. Я приготовился просидеть ночь на моем узле, когда молодой поляк предложил мне лечь рядом с ним, доказывая, что лежа боком мы оба поместимся. Я с благодарностью принял предложение и скоро заснул. Просыпаясь ночью, я заметил, что мой полячок больше сидит за столом и беседует с Кусиковым, который тоже как будто не ложился. Вечером следующего дня Кусиков мне сказал: «Сегодня ночью вы будете одни. Ваш сосед расстрелян». Оказывается, он был в Туле чекистом, в чем-то провинился и приговорен был к расстрелу. Ночью он рассказывал свою историю Кусикову.

Раз как-то мне была передача с письмом. Оно было написано Софией Яковлевной очень мелко чернильным карандашом. Без очков, при свете, бывшем в нашей камере, я ничего не мог разобрать. Нашлись участливые люди, которые взялись прочесть мое письмо. Но здесь произошел волнующий меня и теперь, при одном только воспоминании, случай. Читающий письмо внезапно остановился, замялся и затем сказал: «У вас неблагополучно дома, кто-то умер, но нельзя разобрать, по-видимому, здесь (в тюрьме) вымарали имя». Мне пришлось оставаться в неизвестности десять дней, до своего выпуска.

Он состоялся накануне Октябрьской годовщины. Ни извозчиков, ни трамваев не было. На Театральной площади я выбился совершенно из сил, истощенный трехнедельным голодным содержанием в тюрьме. Я положил свой узел на землю в театральном сквере и сел отдохнуть. На фасаде «Дома Союзов» люди в кожаных куртках спешили обернуть к празднику кумачом колонны, вывешивали лозунги. Перед лицом Благородного собрания, театров и городской думы, в центре самом родной Москвы я ощущал себя незаслуженно обиженным...

Дома я узнал, что 25.X.20 скончалась София Николаевна Лукина.

В голодный год

В 1921 году был неурожай хлебов, повлекший за собой на этот раз голод в деревне. Точных сведений у общества о размерах бедствия не было, и это открывало поле для всевозможных слухов. Они, казалось, находили себе подтверждение в появлении на улицах крестьян из пораженных неурожаем местностей, про-

сящих подаяние. Случалось даже видеть целые их обозы с женщинами и детьми, медленно продвигающиеся по улицам Москвы. Производившееся тогда отобрание церковных ценностей в пользу голодающих не оставляло места для скептицизма. Плакат, не знаю зачем цинично расклеенный по стенам пришедших в ужасное состояние московских домов, изображавший крестьянина, обезумевшего от голода и кричащего «хлеба, хлеба!», производил то кошмарное, бьющее по нервам впечатление, которого талантливый художник, видимо, зачем-то добивался.

С разрешения правительства образовался тогда Комитет помощи голодающим[14], в состав которого вошли многие члены партии и правительства и бывшие общественные деятели прежнего времени. Мне казалось основательным соображение, что заграница скорее и шире отпустит хлеб для голодающих в распоряжение такого смешанного quasi – общественного Комитета, чем в руки правительства, неприязненное отношение к которому было хорошо известно. Возникновение такого Комитета мне казалось поэтому вполне целесообразным, и, узнав, что П. А. Садырин вошел в состав Комитета, я снесся с ним и через него зачислился в Комитет.

После кончины Н. В. Сперанского (V.1921) я был очень удручен и искал всячески нагрузить себя работой, а работа в создавшихся условиях не налаживалась и не развертывалась. Несмотря даже на отъезд в Крым на продолжительное время Зинаиды Павловны Измайловой, моей главной в то время, пожалуй даже, единственной помощницы по издательству, издательство все же не поглощало всего моего времени. Я мог уделить этот остаток сил работе в Комитете и принял там назначение казначея.

Встреченный мною на Зубовском бульваре С. В. Сперанский, узнав от меня об образовании Комитета и о моем вступлении, выразил желание тоже войти. Но это был единственный случай. Вечером приходили к нам А. Г. и Л. Н. Хрущовы и очень осуждали мое вступление и с политической, и с личной стороны. «Не надоело вам сидеть-то?» – удивлялась Лидия Николаевна. А. А. Ф., никогда не бывавший у нас в издательстве, нарочно разыскал меня там, перегруженный рюкзаком с тяжелым пайком, чтобы уговорить меня как-нибудь отказаться от вступления в Комитет. На каждом шагу сказывалось неодобрение Комитету. С. П. Мельгунов отказал вывесить в книжном магазине «Задруга» список членов Комитета и его адрес. А в бывшей молочной Чичкина на Плющихе, где такой список был вывешен, София Яковлевна сама слышала, как какой-то гражданин, прочитав его сверху донизу, меланхолически сказал: «Список всероссийских идиотов».

Мне очень скоро пришлось усомниться в целесообразности существования Комитета. Удручающе действовали бесконечные, ни к чему определенному не приводившие переговоры Президиума с руководящими членами партии о направлении деятельности Комитета.

Бюллетень Комитета, отпечатанный шрифтом «Русских ведомостей», вызвал раздражение некоторых членов партии. Мелочность, ничего хорошего не предвещавшая. Попытка некоторых членов Комитета выяснить статистические данные воспринята была партийцами чуть ли не как дерзость. Особенно меня заставил усомниться председательствующий, заявивший, что удовлетворить голодных можно лишь вооруженной рукой, отняв хлеб у имущих. Этот метод широко практиковался и без нас, и зачем было созывать Комитет?

Недоумевать долго не пришлось. Когда мы все, собравшись на следующее заседание Комитета, бродили по комнатам в ожидании прибытия нашего председателя, явился наряд чекистов и, арестовав нас, отвез нас во внутреннюю тюрьму. Таков был конец Комитета.

В камере внутренней тюрьмы мы очутились в разнообразном и интересном обществе, облегчившем нам задачу коротать время в этой вынужденной праздности. В камере было всего десять коек. Одну из них мы застали занятой сторожилом камеры А. А. С., просидевшим в заключении уже несколько месяцев и видевшим уже не одну смену товарищей по камере. Инженер-радиотехник, устраивавший станцию беспроволочного телеграфа на Камчатке, он теперь был привлечен к следствию по случаю каких-то непорядков в радиосети. Человек образованный, бывалый, наблюдательный, он оказался очень интересным собеседником. Мне показалось, что он сначала встретил нас, членов Комитета помощи голодающим, как каких-то любопытных чудачков, прибытие которых в тюрьму, по-видимому, давно уже ожидалось заключенными. Но после первого знакомства этот легкий налет добродушной иронии совсем исчез, и общение с ним оказалось очень приятным. Он оживленно участвовал во всех разговорах и чтениях, происходивших в нашей камере. Он сделал даже нам ряд сообщений по своей специальности: о Попове, о радиотехнике, об Эйнштейне, принципе относительности, опыте Майкельсона и пр.

Рядом с А. А. С. поместился член Голодного Комитета, глава московских баптистов Т. Он опоздал на заседание Комитета и потому не был арестован в помещении Комитета вместе с нами. Направляясь на заседание Комитета, он повстречался на Арбате

с грузовиком, увозившим нас, и полюбопытствовал, куда мы едем, за что и поплатился тут же немедленным арестом. У него была русская Библия, единственная книга, проникшая в камеру с воли. По его предложению мы стали читать ее вслух. После чтения обменивались своими впечатлениями от прочитанного. При этом Библия рассматривалась почти всеми высказывавшимися как литературный памятник, отразивший культурное состояние народа, его создавшего. Т. видел в Библии откровение, но не мог нам передать такое понимание. Тем не менее он от нас не устранялся и участвовал в наших беседах.

Особенно ретиво спорил с Т. Д. С. Коробов, член Голодного комитета, видный кооператор, с которым я знаком был еще по Суджанскому земству времен Плеве. Д. С. Коробов был, как и все руководители кооперативного движения, хорошо осведомлен о нашем экономическом положении, и когда речь заходила на эти темы, он забрасывал нас статистическими цифрами, приводимыми им на память.

Мне досталась койка между двумя членами Голодного Комитета – доктором Левицким и журналистом Гуревичем. Оба словоохотливые, они деятельно участвовали в общих по камере занятиях. Иногда они подсаживались ко мне на койку, и мы между собой тихонько обсуждали наше положение. Гуревич следил по иностранным газетам, доступ к которым был затруднен, за международной политикой и потому был более других в этом осведомлен.

Были еще трое заключенных, не принадлежавших к членам Комитета. Бывший помещик, хорошо владевший английским языком. Он предложил давать желающим уроки этого языка и вел групповые занятия очень удачно. Вскоре вслед за нами в камеру был помещен угрюмый субъект, назвавший себя анархистом. Он держался в стороне и в нашей общей жизни не участвовал. Наконец, в камере был еще молодой француз из Одессы, обвинявшийся в шпионаже. Он хорошо говорил по-русски. С ним связан потешный эпизод, случившийся в камере при общем чтении вслух.

Надо сказать, что с чтением в камере было очень плохо. Книг с воли не пропускали. От тюремной администрации давали зараз только одну книгу на всю камеру. Выбор был ограниченный – преимущественно разрозненные сочинения, зачастую книги были с вырванными страницами. Чтобы максимально использовать то немногое, что годилось для чтения, решено было читать вслух, чередуясь между собой. Но тут приходилось преодолевать немаловажное затруднение. Окна наши снаружи были загорожены деревянными щитами, чтобы мы не могли видеть, что делается во дворе.

Понятно, что освещение в камере было недостаточно для чтения. Мы зажигали днем электричество, и так как лампочка была укреплена у самого потолка, то чтобы приблизиться к источнику света, читающий устанавливал стул на стол, передвигал эту вышку под самую лампочку и читал с такой «кафедры». Не все надзиратели допускали такие вольности, но все же мы к ним прибегали.

В таких условиях пришлось мне читать вслух последнюю часть романа Голенищева-Кутузова «Даль манит». В ней рассказывается романтическая встреча в Париже героя романа Погостова с изящной дочерью его старого знакомого отставного генерала П. Лена замужем за поляком гр. Бр. Они приехали в Париж из Варшавы с детьми и отцом Лены заказать мебель и посмотреть мировую столицу. Искусство, которым так богат Париж, осталось вне внимания приезжих, и когда Лена, благодаря случайной встрече на улице, познакомилась с Погостовым, она ни разу не была еще даже в Лувре. На долю Погостова выпал счастливый жребий с согласия и даже по просьбе мужа посвятить молодую впечатлительную женщину в круг этих очарований. От живописи перешли к музыке, от классиков к современности, от Леонардо к Вагнеру. И вот из газет они узнают, что в Карлсруэ пойдет «Тристан». Неужели они не прослушают его вместе! Как раз в эти дни Лене предстоит погостить в Бадене у высокопоставленной тетки мужа, и съездить на спектакль из Бадена в Карлсруэ так близко и просто. Но пустит ли Лену муж? Отец решительно возражает. Что скажет свет? Решится ли, наконец, сама Лена на такую поездку вдвоем с Погостовым? Все эти колебания лишь усиливают желание... В назначенный вечер Погостов с билетами на оперу в кармане встречает Лену в Карлсруэ на вокзале, и они слушают вместе «Тристана»... Но вот представление кончилось. Они выходят из театра на площадь. Что же дальше? Неужели разойтись после всего вместе перечувствованного? И Лене ехать в Баден к высокопоставленной родственнице мужа? Зачем? Да это просто невозможно... Прошлое кончено... Происходят колебания у обоих, но к последнему звонку отходящего в Баден поезда Лена в вагоне... Погостов пожалел Лену, но не пожалел себя. Поезд трогается, и он остается один на перроне, чтобы уже никогда больше не встретиться с Леной...

Не успел я прочесть последних фраз романа, как во всю камеру раздался недовольный возглас: «Это просто свинство! Неуважение к читателю! Довести вас до самого интересного и тут оборвать!» Наш французик ждал альковных сцен – и такое разочарование. Это было уморительно. Но никто за «великосветский»

роман не заступился. Помещик, впрочем, односложно сказал: «Хороший роман», да я прибавил, что с удовольствием перенесся в Париж и туда, где дают Вагнера.

Мне не предъявляли никакого обвинения, как, впрочем, и другим членам Комитета, насколько я знаю. Не помню даже, чтобы меня допрашивали. Причина нашего ареста так и осталась для меня неустановленной. Да над такими пустяками, как лишение свободы, ни арестуемые, ни арестующие не останавливались, где тут канителиться!

Меня как-то вечером возили в бывшее помещение Комитета на Собачьей площадке. Как бывший казначей Комитета, я должен был «сдать» имущество Смидовичу, уполномоченному ВЦИКом принять и ликвидировать дела Комитета. Мы нашли помещение в ужасающем беспорядке. Электричество не горело. Приходилось бродить по комнатам при свете проникавшего в окна уличного освещения и нескольких огарков, привезенных доставившим меня чекистом. Мебель была почему-то вся перестановлена, частью даже повалена. В кабинете Н. М. Кишкина на полу разбросаны школьные диапозитивы...

Смидович, признавший меня и обращавшийся как со знакомым, не удержался от возгласа: «Ну зачем же было это делать!» «Неужели вы допускаете, что это безобразие учинено нами?» – возразил я. «Стало быть, после вас!» – заключил Смидович. Артельщик Комитета представил узлы с бельем, пожертвованным Комитету в день нашего ареста, но не заприходованным, так как неизвестный жертвователь поспешил скрыться, когда нагрянули чекисты, оставив свое пожертвование на волю случая. Решено было заприходовать и составить акт. При свете огарка стали считать: полотенец, рубашек, кальсон и т. д. По-видимому, Смидович почувствовал комизм положения, все же ведь Президент величайшей республики мира... и принужден считать белье![15]

«Думали ли мы, что придется встретиться при таких условиях», – обратился он ко мне, напоминая наше университетское товарищество, и в ответ на мою реплику он прибавил: «А между тем для марксиста все произошло вполне закономерно», – очевидно, подразумевая при этом принадлежность мою к имущему классу. На это я, не совсем кстати, привел ему стихотворение Вл. Соловьева:

Хоть мы навек незримыми цепями
Прикованы к нездешним берегам,
Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот путь, что боги очертили нам.

Но здесь нас прервали, принеся найденную в шкафу пишущую машинку. Я поспешил заявить, что она составляет собственность С. Н. Прокоповича, в чем можно убедиться по инвентарю Комитета. Но Смидович распорядился передать машинку Статистическому комитету.

В предисловии к этим моим наброскам я указал, при каких обстоятельствах они были написаны, если не все, то подавляющее их большинство. Возвращаясь к тому гнетущему периоду 1929/30 и 1930/31 годов, скажу, что один мой университетский товарищ, А. Е. А., арестованный в то время, рассказывал мне впоследствии, что в камере Бутырской тюрьмы, где он тогда сидел, один из заключенных, по профессии бухгалтер, прочел как-то наизусть товарищам по заключению, чтобы скоротать время, лирическую драму А. Майкова «Три смерти». Чтение монолога Сенеки произвело потрясающее впечатление. Многие плакали навзрыд. Привожу здесь выдержку. Очевидно, А. Майкову, жившему совсем в другое время и не имевшему, конечно, случаев лично испытать описываемые им переживания, все же, в силу присущей художникам интуиции, удалось выразить душевные страдания, составлявшие в упомянутые мною годы удел значительной части людей старой русской культуры.

А. Н. Майков

«ТРИ СМЕРТИ»

Лирическая драма, т. III

Сенека

Жизнь хороша, когда мы в мире
Необходимое звено,
Со всем живущим заодно;
Когда не лишний я на пире;
Когда идя с народом в храм,
Я с ним молюсь одним богам...
Когда ж толпа, с тобою розно
Себе воздвигнув божество,
Следит с какой-то злобой грозной
Движенья сердца твоего;
Когда указывает пальцем,
Тебя завидев далеко, –
О, жить отверженным скитальцем,
Друзья, поверьте, нелегко.

Остатки лучших поколений
С их древней доблестью в груди,
Проходим мертвые, как тени,
Мы как шуты на площади!
И незаметно ветер крепкий
Потопит нас среди зыбей,
Как обессмысленные щепки
Победоносных кораблей...

Наш век прошел.
Пора нам, братья!
Иные люди в мир пришли:
Иные чувства и понятья
Они с собою принесли...
Быть может, веруя упорно
В преданья юности своей,
Мы леденим, как вихрь тлетворный,
Жизнь обновленную людей.
Быть может... истина не с нами!
Наш ум уже ее неймет
И ослабевшими очами
Глядит назад, а не вперед,
И света истины не видит.
И вопиет: «Спасенья нет»!
И, может быть, иной приидет
И скажет людям: «Вот где свет!»
Нет, нам пора!.. Открой мне жилы!
О, величайшее из благ –
Смерть! Ты теперь в моих руках!

Люций

Ты кончил хорошо, Сенека!
И славно выдержал! И, вот –
Героем меньше!.. Злость берет,
Как поглядишь на человека!
Что ж из того, что умер ты?
Что духом до конца не падал?
Для болтовни, для клеветы
Ты Риму разговоров задал
Дня на два! Вот и подвиг твой!*

* Цитируется по изданию: Майков А. И. Полное собрание сочинений. 6-е изд. СПб., т. 3. Поэмы, с. 27 – 29.

Глава 12

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО НАШЕ СО ВРЕМЕНИ РЕВОЛЮЦИИ

С тех пор как мы стали выпускать в свет «Памятники мировой литературы», у меня начало складываться впечатление, что «узким местом» этого предприятия вскоре станет редакторская и переводческая работа по подготовке рукописей. Если при приступе к работе, казалось, и действительно было немало начатых, а то и исполненных работ, предпринятых по собственному почину деятелями науки и литературы и ими с любовью и тщанием выполняемых без надежды или уверенности в их издании, то теперь, когда мы вызвались осуществить их издания, в дальнейшем предстояло базироваться не на запасах прошедшего времени, а новых, специально по нашему заказу исполняемых работах. Вот тут-то и сказывалось ограниченное число работников и загруженность их работой, конечно, поскольку мы хотели обращаться к лучшим у нас силам.

При Временном правительстве

Между тем после Февральской революции, казалось, издательству открывались широкие горизонты. Мы стали деятельно разрабатывать новые планы. Им не суждено было осуществиться. Все же о некоторых наметках наших того времени я здесь коротенько упомяну.

С падением царской власти монополия Синода на издание Библии сама собой рушилась. Возникал вопрос о включении в программу «Памятников мировой литературы» Библии, в целом или хотя бы отдельных библейских книг. К обсуждению этого вопроса мы с Николаем Васильевичем привлекли Никольских – отца Михаила Васильевича и сына Николая Михайловича. После первого же обмена мнениями стало ясно, что надо ставить себе совершенно самостоятельную, не зависящую от других наших из-

даний, задачу – критическое научное издание Библии в русском переводе, со всем требующимся научным аппаратом, критикой текста, реальным комментарием, толкованиями и пр., пр. М. В. Никольский отнесся к нашему предложению с большим сочувствием. Он рекомендовал привлечь к работе Тураева, Коковцева и Карташева. Он находил, что если удастся их привлечь, то при его и его сына участии образуется достаточно сильное на первое время редакционное ядро, чтобы приступить к организации задуманной работы. Боялся он только, что указанные им лица слишком заняты и не смогут уделить достаточно сил на нашу работу. В течение этих переговоров к нам стали «самотеком» поступать предложения переводов отдельных книг Библии. Естественно, мы передавали эти предложения на заключение Михаилу Васильевичу. Это повело к довольно щекотливому разговору моему с Михаилом Васильевичем. Некоторые из этих предложений исходили от евреев, и Михаил Васильевич высказал по этому случаю мнение, что привлекать к нашему переводу Библии евреев принципиально не следует. Для них Библия является священной книгой и национальным памятником. При толковании и при переводе Библии они неизбежно будут считаться с соображениями религиозного и национального характера. Мы же хотим дать перевод, свободный от христианских и прочих религиозных, антирелигиозных, национальных и других тенденций. Освободившись от опеки Синода, неужели подпасть под негласное влияние еврейства! Соображения Михаила Васильевича казались мне не лишенными основания, но вступать в предлагаемое Михаилом Васильевичем соглашение я считал невозможным. Да и не было в том надобности. Я указал Михаилу Васильевичу, что мы приглашаем его быть главным редактором научно-критического перевода Библии и, конечно, без его согласия ни одного сотрудника к этому изданию не привлечем. Михаил Васильевич остался удовлетворенным.

Издание научного перевода Библии, однако, не состоялось. События пошли так, что невозможно было предпринимать такое громоздкое издание, требующее длительной подготовки и больших предварительных вложений. М. В. Никольский, впрочем, перевел для нас стихами «Книгу Псалмов». Впоследствии, уже при НЭПе, когда мы стали пробовать выпускать «Памятники мировой литературы» маленькими книжками (Аристофан – «Лисистрата», «Всадники»), я хотел было выпустить так «Псалмы». Но Михаила Васильевича уже не было в живых. А сын его не нашел такое издание своевременным.

Любопытно отметить, что начальник Главлита П. И. Лебедев-Полянский впоследствии, осведомленный о былых наших предположениях, неоднократно заводил со мной разговор, поощряя осуществить издание научного перевода Библии и обнаруживая этим свое неведение ни той степени разорения, до какой мы низведены были революцией, ни того морального гнета, под каким мы себя тогда чувствовали.

При Временном правительстве свободнее стало писать на политические, общественные, социальные темы, бывшие в царские времена если не под полным запретом, то почти что под таковым.

А. А. Чупров предложил предпринять издание серии «Классики социализма». Редакцию приняли на себя А. А. Чупров и В. П. Волгин. Сочувствуя идеям социализма, но не соглашаясь с некоторыми положениями Маркса и Энгельса, получившими у нас значение безусловных догматов, Александр Александрович придавал большое значение тому, чтобы труды Маркса и Энгельса не заслоняли собой для русской интеллигенции работ других основоположников социализма. Для этой серии были исполнены некоторые переводы. После Октябрьской революции они были переданы В. П. Волгину для помещения в других издательствах.

Нацеливались мы тогда и на другие серии, как-то: «Русские публицисты», «Русские путешественники-исследователи», «Изборники русских поэтов» и пр. В архиве сохранилась моя переписка с П. Б. Струве касательно издания в серии журналистов статей славянофила Ламанского. Сохранились также записки М.А. Мензбира и А. Н. Максимова с соображениями об издании русских путешественников. Осуществить удалось только изборник «Солнечная пряжа» Бальмонта, несмотря на то, что мысль выпуска такой серии изборников стихов, поскольку это касалось живущих современников, и сборников, составленных самими поэтами, была среди поэтов весьма сочувственно принята. Александр Блок даже прислал нам рукопись. М. О. Гершензон спроектировал Баратынского, которого нам хотелось дать если не первым в серии, то одним из первых. Кстати, отмечу, что выбор стихотворений Баратынского представил исключительные трудности, в особенности ввиду различных редакций его произведений. Любопытно, что когда впоследствии после Октябрьской революции Воровский просматривал список подготовленных нами к изданию книг, он чуть было не вычеркнул стоявший в списке «Изборник» Баратынского, считая этого классика монополизированным[1]. На мое возражение, что Баратынский в числе монополизированных

авторов не значится, Воровский воскликнул: «Не может быть!» Затем, рассмеявшись, он несколько раз повторил: «Забыли! Баратынского пропустили! Всегда спешим вот и забыли!» Он сохранил нам Баратынского в нашем «редплане» – «любезность», которой, впрочем, нам не пришлось воспользоваться!

Задумали мы также общедоступную серию книг для чтения широкой публики в двух «библиотеках» – научно-популярной «Ломоносовской библиотеки» (знание) и «Пушкинской библиотеки» (вымысел) изящной словесности, последняя под общей редакцией М. О. Гершензона. Но национализация классиков, монополизация учебников и пособий, учреждение под руководством Горького издательства «Всемирная литература»[2] со всех сторон стеснило проектирование нашего плана, и мы сочли за благоразумное воздержаться от продолжения работ в этом направлении. И хорошо сделали: авторы (в числе их Зелинский, А. Блок и другие), считая, очевидно, положение нашего издательства ненадежным, стали просить вернуть им их рукописи. Мы их просьбы безотлагательно удовлетворяли, не тесня их требованием немедленного возврата авансов. Тимирязев и без всяких уведомлений нас передал Госиздату право на переиздание своей «Жизни растения». По нашему с ним договору он имел на это полное право; тем не менее, как мне рассказал Ю. И. Липковский, Климент Аркадьевич как-то при нем выразился, что «неловко поступил с Сабашниковым».

Октябрьская революция и муниципализация издательств 25.X.17 – 23.X.18

Мечтам о расширении издательства не суждено было осуществиться. Произошла Октябрьская революция. Как я уже рассказал, мы начисто погорели: личная квартира, контора, издательство. Казалось, издательство больше не существует. Первые два дня письма и телеграммы, приходившие на наш адрес, возвращались почтой отправителям «за ненахождением адресата». Можно себе представить, как волновался в Петербурге старик Ф. Ф. Зелинский, доверивший нам свои рукописи, пока не получил моего письма, извещавшего его, что рукописи целы и что издательство будет продолжаться. Но какие к тому были возможности? Личных средств у меня не оставалось после пожара и происшедшей за ним национализации завода и имений и реквизиции текущих счетов в банках. Ресурсы издательства состояли из той части скла-

да готовых изданий, которая не сгорела (в Калашном переулке), и книг, печатавшихся в разных типографиях, преимущественно в типографии Кушнерева. Среди них было 5-е издание большой «Флоры» Маевского тиражом в 10 000 экземпляров. Ввиду большой ценности этого издания, Маевскому теперь при возрождении издательства заново случилось сыграть ту же благодатную роль, как четверть века перед тем при его зарождении.

С этими данными, при помощи кредита в 50 000 руб., полученного Н. В. Сперанским в «Русских ведомостях» во время моего ареста летом 1918 года, издательство к осени 1918 года встало на ноги, возобновив свою работу во всех направлениях...

Но тут произошло новое событие.

Муниципализация издательств в Москве

23.X. 18 г. президиум Моссовета муниципализировал все московские частные книгоиздательства и книготорговые предприятия, объявив их со всеми их капиталами и капиталами их владельцев собственностью Моссовета. Впредь до особого распоряжения книгоиздательства были признаны находящимися в безвозмездном арендном пользовании их прежних владельцев (п. 3 постановления), а сами владельцы – состоящими на службе Моссовета (п. 5 пост.) и ответственными за нормальное продолжение работ (п. 4. пост.). Я был, сверх того, обязан подпиской продолжать свою издательскую деятельность. Вслед за тем, 1.XI.18 г. Отдел издательств и книжной торговли Моссовета затребовал балансы, списки служащих, справки об участии владельцев в работе издательств, их каталоги, списки книг, находящихся в производстве, списки предположенных в будущем изданий. Калькуляция вновь выпускаемых книг, все платежи издательств, наконец, всякая продажа книг на сумму свыше юоо рублей по распоряжению Отдела требовали его утверждения и разрешения.

Независимо правительство национализировало русских классиков и объявило монополию «Госиздата» на издание учебников и пособий.

Положение нашего издательства, едва уцелевшего после пожара 1917 года, становилось критическим. Мы с Н. В. Сперанским решили обратиться к наркому просвещения А. В. Луначарскому и, представив ему программу нашей работы, просить о ссуде, что, в случае удовлетворения ходатайства, выяснило бы и общее положение издательства. Наши сотрудники одобрили такое предложение. Мне хотелось, однако, выяснить, как отнеслось бы обще-

ственное мнение, поскольку еще можно было говорить в то время в Москве об общественном мнении. Я переговорил об этом с Д.Н. Шиповым, когда он зашел к нам с корректурой издававшихся в то время у нас его воспоминаний. Он тоже всецело одобрил наше предположение. Тогда мы поручили К. В. Аркадакскому обратиться к А. В. Луначарскому, жившему в Петрограде. Несмотря на свой преклонный возраст, Константин Васильевич очень быстро и успешно исполнил это поручение и телеграфировал нам:

«Заявление подал. Прошу ссуду или аванс пятьсот тысяч. Комиссар обещал исполнить Москве, куда выезжает сегодня дней на десять. Увез заявление и заключение Горького. Повидайте его понедельник. Результаты телеграфируйте».

В приемной наркома 12.1.1919 г.

Итак, составив за подписью моей, М. А. Мензбира, М. О. Гершензона, Н. В. Сперанского и Д. П. Сырейщикова заявление программу деятельности и перечень изданий, находящихся в производстве, мы с М. О. Гершензоном 12.I.19 направились на прием к наркому просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому. Наркомат тогда помещался на Крымской площади в здании бывшего лицея «Катковского»[3]. Обширная приемная наркома была полна ожидавших его посетителей: профессоров, начальников учебных заведений. Из знакомых припоминаю профессора С. А. Чаплыгина, профессора Д. Н. Виноградова. Мне вспомнилось тогда, как в 1917 году один член ЦК Конституционно-демократической партии, ездивший в Питер, вернулся в Москву в мрачном настроении, найдя приемные Временного правительства слабо посещаемыми: стало быть, не верят в его прочность, заключил он... С какими ожиданиями и упованиями пришли заполнившие приемную большевистского наркома посетители, гадать здесь не место. Мне показалось, что все чувствуют себя неловко. Пришлось долго ждать и притом на ногах, так как сесть было негде. Наконец, вошел нарком в сопровождении нескольких лиц, с которыми он громко и оживленно разговаривал. Сделав общий поклон в нашу сторону, Луначарский сел к стоявшему посредине комнаты письменному столу, жестом приглашая нас, посетителей, подойти. Продолжая как бы разговор с сопровождавшими его молодыми людьми, но лицом обращаясь к нам, Луначарский говорил, что раздражение и гнев обманутого народа снесли бы всю культуру и развалили бы все государство, приведя все в состояние безнадежной анархии, если бы большевики не возгла-

вили движения масс. Это было очень тонко сделано, можно сказать, сыграно. Луначарский как бы неофициально представлялся пришедшим к нему представителям высшей московской интеллигенции, определяя собственную, интимную позицию в происшедшем перевороте, сообщая нам то, чем, очевидно, переболел сам, но делая это так, как будто говорит совсем не с нами. Мы все, пришедшие к нему на прием, столпились со своими бумагами около его стола, как это тогда повелось в нехороший, по-моему, обычай. Луначарский брал заявления, быстро их прочитывал и клал резолюции. Мы с Михаилом Осиповичем оказались как-то в числе первых. Мне пришлось устно изложить наше ходатайство. Луначарский задал несколько вопросов, положил резолюцию, пожал мне и Михаилу Осиповичу руки и пожелал «бодро работать по-прежнему». На обратном пути Михаил Осипович вернулся к нашему разногласию, бывшему при редактировании заявления: «Вы хорошо говорили, очень честно, но вы ничем не облегчили Луначарскому задачи удовлетворить наше ходатайство! А это ему было нелегко!» Михаилу Осиповичу хотелось, чтобы мы заявили о подготовке изданий «для широчайших масс». Но мы с Николаем Васильевичем находили это неуместным, так как это противоречило бы всему прошлому издательства, между тем как претендовать на внимание мы могли только по заслугам издательства, обслуживавшего всегда высококвалифицированного читателя. Я теперь мог сослаться на слова наркома: «продолжать по-прежнему».

Резолюция Луначарского была благоприятная. Как я впоследствии узнал от него лично, но по другому случаю, В. И. Ленин по докладу Анатолия Васильевича о частных издательствах сказал ему: «Такому издательству, как издательство Сабашниковых, мы должны оказать всяческое содействие». Надо думать, эта директива была известна и другим руководителям, как, например, Воровскому.

Оформить ссуду договором пришлось с П. И. Лебедевым-Полянским. Его надо было находить в каком-то учреждении на Пречистенке, но застать его мне долго не удавалось, пока уборщица не надоумила меня: «Вы приходите в обед, а то никогда не застанете, придут, пообедают и уйдут». При морозе, какой стоял в помещении, это было естественно.

По договору (от 13.II.1919 г.) нам был открыт в Казначействе целевой кредит на сумму 1 миллион руб. в форме текущего счета. Деньги брали по мере надобности, представляя расчетные ведомости, счета и иные документы. Погашение производилось сдачей продукции полными тиражами. Канитель, конечно, была

порядочная, особенно принимая во внимание мелочность наших оборотов. И договор, и список намеченных изданий у меня сохранились. Последний заслуживает внимания.

По истечении срока был заключен другой аналогичный договор с Воровским от лица Госиздата. Этот договор перевел нас фактически в преимущественную зависимость от Госиздата. Хотя все-таки отдел печати Моссовета, особенно первое время, считая себя нашим хозяином, контролировал все наши шаги. Приходилось иметь дело с тов. Н. С. Ангарским (Клестовым), бывшим заведующим «Книгоиздательства писателей». Зарезав нас раз своей муниципализацией, он уже больше не осложнял и без того трудного положения и, как знающий и любящий книгу книжник, несомненно, сочувствовал нашей работе и желал ей успеха. Со стороны Моссовета не было сделано ни одной попытки повлиять на выбор издаваемых нами книг.

Впоследствии мне неоднократно приходилось встречать Луначарского. Между прочим, на ужине у О. Н. Бутомо-Названовой после ее концерта. Мне всегда казалось, что Луначарский в интересах партии и ее политики очень старался сблизиться с верхами московской интеллигенции. Он действовал при этом весьма тактично, касаясь общих вопросов культуры, литературы, искусства.

Аппарат издательства

Вскоре после муниципализации М. Я. Лукин покинул издательство. Аппарат издательства сложился тогда из бухгалтера Г. С. Ружанского, бывшего бухгалтера 6-го Сибирского отряда Союза городов, А. Л. Средина в должности зав. складом и А. Г. Ярцевой в должности счетовода. Все они вскоре покинули наше издательство, Ружанский – для торгсектора Госиздата, а Средин и Ярцева для возвращения на свои основные занятия: первый – рентгенологией, вторая химией. Бухгалтером я пригласил В. В. Егорова и для заведования складом – Н. Ф. Савостьянову. Они вместе с З. П. Измайловой в должности секретаря издательства продержались до самой его ликвидации в 1930 году. Чрезвычайно добросовестная, усердная, но робкая и нерешительная Нина Федоровна в условиях тогдашней работы немало переволновалась и перестрадала на своей должности. Неоднократно порывалась она сложить с себя свою работу, оставаясь только по моим настояниям. Надеюсь, что теперь, когда все пережито и отошло в прошлое, она не помянет нас лихом. Мне же бывает приятно

вспоминать наши занятия вчетвером в издательстве. С закрытием «Научной книги» к нам на работу присоединился сын мой Сергей Михайлович. А со временем еще и М. Е. Баев, симпатичный молодой человек, пожелавший на практике познакомиться с издательским делом. Из персонала в издательстве состоял только один неинтеллигентный сотрудник – артельщик К. Ф. Филиппов.

В 1920 – 1925 годах мы часть книг наших печатали в Петербурге. Там типографии не были так загружены работой, как в Москве. Наблюдение за работами в Петербурге принял на себя наш старый знакомый по Парижу и товарищ по «Русским ведомостям» – Константин Васильевич Аркадакский. Он проявлял в этом большую предприимчивость и настойчивость.

После кончины Н. В. Сперанского и В. Н. Львова центральное редакционное ядро сложилось у нас так: Д. М. Петрушевский, М. Н. Сперанский, М. А. Мензбир, М. О. Гершензон, С. В. Бахрушин, М. А. Цявловский и я.

В большое затруднение поверг меня тогда, не желая того, М. О. Гершензон, представив для издания свое новое сочинение «Тройственный образ совершенства». Не меняя лица издательства, а заодно не изменяя самим себе, мы не могли принять на себя этот чуждый нам трактат. Но как отказать старому, ценному сотруднику, испытанному товарищу. Притом, здесь надо было действовать совершенно откровенно, «честно», как любил выражаться Михаил Осипович. Нельзя было при наших отличных отношениях уклониться под каким-либо вымышленным или даже действительным, но случайным предлогом. Пришлось объясняться по существу, рискуя обидеть в высшей степени самолюбивого автора. Сговорились на том, что издание будет считаться «авторским», выпущено будет издательством, силами и средствами издательства, на общих условиях, но без фирмы издательства. На этот раз затруднение удалось обойти ко взаимному удовольствию. Но ко взаимному огорчению, однако, этот случай дал почувствовать, что дороги наши начинают расходиться. Разница в идеологиях не мешала работать вместе, пока мы задавались целями чисто просветительными и гуманитарными. Но при изменившихся внешних условиях Михаилу Осиповичу казалось тесно в этих «академических» рамках. Его тянуло к публицистике с долей мистицизма, сказал бы я. Я же его стеснял своим «позитивизмом», откровенно сказал мне он. Мы слишком сблизились работой, чтобы допустить разрыв, но расхождение было, по-видимому, неизбежно! Его неожиданное участие в сборнике «Смена вех»[4] как бы предвещало это. Выпущенная им вскоре за границей брошюра о

судьбе и миссии еврейского народа, исполненная национального пафоса и туманного мистицизма, подтвердила эти опасения. Им не суждено было, однако, осуществиться. В 1925 году всепримиряющая смерть взяла Михаила Осиповича в тот загробный мир, в существование которого он, по-видимому, верил.

НЭП

С переходом к НЭПу произошло раскрепощение издательств. СНК постановил («Известия», 17. XII. 21):

1. Частные издательства действуют на основании нижеследующих правил.

2. Для возникновения издательства требуется разрешение Госиздата или соответствующего местного органа, который немедленно сообщает Главному управлению Госиздата на утверждение.

3. Издательства могут иметь собственные типографии, конторы, редакторские и прочие кабинеты, склады, магазины и т. д., а также арендовать таковые у правительства и частных владельцев с соблюдением установленных на этот предмет правил. Приобретение или аренда типографий может осуществляться с согласия Госиздата и ЦК печатников.

4. Издательствам предоставляется изготовлять за границей книги, картины и другие произведения печати и ввозить их в Россию с соблюдением действующих узаконений и правил о ввозе товаров из-за границы и с разрешения в каждом случае Госиздата.

5. Издательствам принадлежит право свободно сбывать по вольным ценам произведения печати, изданные на собственные их средства без субсидии со стороны государства. Госиздат и его органы на местах имеют право преимущественной покупки всего издания или части его по ценам, установленным по соглашению, но не свыше оптовой цены.

6. Кооперативные издательства образуются в форме кооперативных товариществ авторов или в смешанном составе писателей, ученых, художников с тружениками печатного и книжного дела.

7. Все существующие частные издательства подлежат перерегистрации, согласно ст. 2 сего постановления.

8. Выдача разрешений на возникновение издательств и на печатание рукописей (ст. 9) возлагается на Госиздат и его отделения на местах, а где их нет – на Гублитпросветы, согласно особой инструкции Наркомпроса.

9. Каждая отдельная рукопись до сдачи ее в набор должна быть разрешена к печати органом, указанным в ст. 8, о чем должно быть напечатано на каждой напечатанной книге. Решения местных органов могут быть обжалованы в Редколлегию Госиздата.

10. Книги, изданные без надлежащего разрешения, конфискуются и поступают в распоряжение Госиздата, а издатели привлекаются к судебной ответственности.

11. При предоставлении рукописи органу, указанному в ст. 8, последним взимается сбор в размере одного довоенного рубля с печатного листа (40 000 зн.).

12. По отпечатании издания 1%, но не менее 10 экземпляров, представляются бесплатно в орган, выдавший разрешение. Половина этого количества немедленно пересылается местными органами в Госиздат.

13. Издание учебной литературы регулируется постановлением СНК 16.VIII. 21.

Москва. Кремль. Декабря 12-го дня 1921 года.

Этому вторил Президиум Моссовета постановлением об усилении деятельности муниципализированных московских издательств:

А. Постановление Президиума МС РК и КД от 23.X.18 и 18.XI.19 о контроле над частными, кооперативными и другими издательствами – *отменить*.

Б. Разрешить издательствам свободно продавать по рыночным ценам те книги, которые они издают без субсидий от государства.

В. Утвердить при Госиздате редколлегию в составе т. Ангарского, Лебедева-Полянского и Фриче.

Г. Все существующие книгоиздательства перерегистрировать; для вновь возникающих издательств установить принцип разрешительный.

Дело тогда не ограничилось одним только юридическим раскрепощением издательств. Ввиду полного разорения во всей стране всего книготоргового аппарата, стоявший тогда во главе Госиздата профессор О. Ю. Шмидт, пригласив бывших частных издателей И. Д. Сытина, В. А. Гандера (бывшего директора издательства Думновых) и меня, организовал совместно с Госиздатом смешанное Акционерное общество для оптовой торговли книгами. Оно очень скоро было учреждено и открыто под названием «Книжное товарищество 1922 года», причем в состав правления вошли все учредители и заведующий торгсектором Госиздата Н. Н. Накоряков. Общество это, однако, просуществовало очень недолго.

Большую активность проявило Акционерное общество книжной торговли в Ленинграде под названием «Книжторг», основанное с той же целью группой частных и кооперативных издательств в Ленинграде и в Москве, очень быстро при объявлении НЭПа возникших вновь или возродившихся из анабиоза, в который они были ввергнуты предшествующим периодом регламентации. Назову издательства: Брокгауз, «Время», «Мысль», «Книга», «Научное книгоиздательство», «Петроград», «Сеятель», «Практическая медицина», «Колос», – в Ленинграде и «Мир», «Посредник», Сабашниковы в Москве.

Меня изумляла быстрота, с какой появились и расцвели эти издательства. Именно расцвели! Ту же изумительную активность проявили возникшие тогда кредитные общества.

Я вошел в состав «Книжторга» и стал периодически ездить в Ленинград на его заседания. Но еще раньше этих акционерных обществ товарищи мои по городской думе, бывшие гласные В. М. Лапин и Н. М. Щапов, ведший до революции торговлю техническими книгами, вместе со мной образовали при участии издательства «Природа» кооперативный книжный магазин на Моховой против Университета для розничной торговли под названием «Научная книга». Зная Н. М. за опытного дельного книжника, от которого можно было научиться серьезному ведению книжной торговли, я рад был устройству туда сына моего Сергея Михайловича на работу.

15.V. 26 «Русское общество друзей книги» посвятило свое очередное заседание 35-летию нашего издательства. Заседание это вылилось в настоящее чествование. Общество преподнесло издательству изящно изданную книжечку «Издательству М. и С. Сабашниковых» с речами А. Эфроса, Г. Поршнева и С. Шервинского и приложением моего портрета, гравированного П. Павлиновым. Ряд лиц и учреждений прислал нам свои приветствия и пожелания. Надо вспомнить обстановку 1926 года, чтобы оценить значение такого чествования. Я, разумеется, ответил, что если нашему издательству удалось сделать что-либо существенное, то благодаря талантам, знанию и труду своих сотрудников, из которых я вижу здесь в первом ряду Д. М. Петрушевского и М. А. Цявловского. Собравшиеся их приветствовали.

С НЭПом издательство наше входило в новую полосу своего существования. Скорее заново возрождалось. Постараюсь изобразить конкретно, в каких внешних условиях и в каких границах приходилось ему теперь действовать.

Старая цензура (Зверев и Огарев)

При старом режиме предварительной цензуре подвергались лишь брошюры, не достигавшие десяти печатных листов. Наши книги обычно значительно превышали этот размер и печатались без предварительной цензуры, проходя лишь последующую. Так как ни политических, ни антирелигиозных вещей мы не издавали, то книги наши пропускались в свет беспрепятственно и нам почти не приходилось иметь сношений с цензурой.

Я долгие годы не знал, где находится так называемый «Цензурный комитет»[5] и кто стоит во главе его. За 27-летнее дореволюционное существование нашего издательства я припоминаю всего только один случай, когда пришлось иметь столкновение с цензурой. Это было в 1904 году. Мы печатали под редакцией М. О. Гершензона собрание стихотворений Н. П. Огарева в двух томах. Великий эмигрант имел появиться в нашем издании перед русской публикой впервые после добровольного оставления им отечества почти полвека спустя после выхода последнего русского его издания 1856 года. Можно представить себе смущение московской цензуры перед этими двумя томиками лирических стихотворений, в большинстве своем не представляющих поводов к их запрещению, а вместе с тем принадлежащих крамольному эмигранту, другу Герцена и сотруднику «Колокола».

Цензор Соловьев, человек культурный, библиофил, собравший ценную библиотеку, сделал минимум того, что требовала «служба», и предложил исключить ряд мест. Мы решили оспаривать его исключения и обратились к главе цензурного ведомства Звереву, бывшему ранее профессором Московского университета (читал философию права).

Свидание мое с ним состоялось в Москве, куда он приезжал из Петербурга по какому-то делу. Профессор Московского университета, покинувший его ради административной карьеры, по-видимому, сам считал такую перемену за некоторое падение в общественном смысле. Он не упустил сказать, что по былой своей принадлежности к Московскому университету он очень желал бы пойти навстречу издательству, созданному бывшими питомцами Московского университета и столь тесно связанному с его профессурой. Но пропустить Огарева без урезок, очевидно, нельзя было по карьерным соображениям, и пришлось нам подчиниться!

Политредакция

При советской власти введены были свои новые порядки в отношении печати. Отмечу прежде всего, что, как было уже сказано выше, на занятие издательством надо было получить специальное *разрешение*. Касаясь затем здесь только «политредакции», заменившей прежнюю цензуру, укажу, что предварительному просмотру стала подлежать вся печать без изъятий. В конечном развитии установился порядок, по которому представлялась (в двух экземплярах) рукопись для получения разрешения к набору, затем набор для получения разрешения к печати и, наконец, отпечатанные экземпляры для разрешения выпуска в свет. Каждое разрешение давалось на три месяца, по истечении которых оно становилось недействительным; надо было испрашивать продление. Само собой очевидно, что при такой системе приходилось иметь постоянное, весьма деятельное общение с политредактором (цензором, «прикрепленным» к издательству Главлитом)[6], навещая его по тому или другому поводу чуть ли не через день.

Первые годы политредакция была в ведении специальной комиссии при Госиздате, затем цензура была возложена на Главное управленце по делам литературы и издательств, во главе которого стоял П. И. Лебедев-Полянский. Отношения деловые с ним скоро наладились.

Первая моя встреча с советской цензурой произошла по поводу воспоминаний Поленовой об Абрамцеве. Я по какому-то делу был в Госиздате, помещавшемся тогда в особняке Рябушинского, и сидел в ожидании приема у Воровского, стоявшего тогда во главе Госиздата. Проходивший мимо высокий, незнакомый мне человек, Н. Л. Мещеряков, как потом выяснилось, справившись, не я ли Михаил Васильевич Сабашников, пригласил меня зайти с ним в соседнюю комнату. Там между нами произошел следующий разговор.

– Вы хотите издать воспоминания Поленовой?

– Да.

– Это очень ценная рукопись. Было бы очень печально, если бы она осталась неизданной и затерялась неизвестной.

– Мы так же смотрим и представили ее для разрешения к печати.

– Но в каком количестве экземпляров?

– Книгу надо издать хорошо, на хорошей бумаге. Мы располагаем таковой на тираж в 1000 экземпляров.

– Только одну тысячу?

– Мы охотно увеличили бы тираж, если бы нам оказали содействие в получении бумаги.

– Что вы! Что вы! Ведь речь идет о запрещении издания. Там такое умилительное описание пасхальной заутрени! Не любим мы этого!

Из песни слова не выкинешь. В Абрамцеве строили церковь, писали иконы. Религиозная живопись Васнецова тесно связана с абрамцевскими исканиями. Хорошо ли, плохо ли, но так было.

– В самом деле, кромсать такой документ не приходится. Придется разрешить вам одну тысячу!

В этот момент из-за моей спины раздался предостерегающий голос сидевшего в стороне и не участвовавшего в разговоре П. И. Лебедева-Полянского.

– Николай Леонидович! Коготок увязнет, всей птичке пропасть!

Все же одну тысячу разрешили.

Смешной разговор у меня как-то вышел в Главлите по поводу одного из выпусков книги Ферреро «Величие и падение Рима». Представленный нами текст задерживался почему-то в Главлите без конца. Когда ждать дольше стало невтерпеж, я обратился к начальнику Главлита. П. И. Лебедев-Полянский оказался в отпуску, и меня принял тов. Кантор. Он попросил меня обождать полчаса, чтобы ему выслушать доклад политредактора, читавшего наш текст. Через полчаса тов. Кантор пригласил меня в свой кабинет и очень решительно заявил: «Мы вам такой книги не пропустим!» В подтверждение как бы он ткнул мне нашу верстку, всю испещренную красными отметками цензора. Я сказал, что вообще можно было сказать в защиту автора и его книги. Не забыл упомянуть, что его шеф – П. И. Лебедев-Полянский не так давно говорил со мной о переиздании нами всего Ферреро для школ. В заключение я просил указать мне для руководства конкретно хотя бы несколько инкриминируемых мест в книге.

Взглянув на лежавшую перед ним верстку, тов. Кантор с пафосом ткнул карандашом в отчеркнутые красными чернилами строки и прочел: «Развратная молодежь столицы».

– Нет! Мы вам нашей молодежи на посмеяние не отдадим!

– При чем же тут ваша, а стало быть, и наша молодежь? – спросил я.

Мы недоумевающе смотрели друг на друга.

– Ведь тут автор говорит о римской аристократической молодежи времен императора Августа, – добавил я.

– Вы в этом вполне уверены?

– Как в том, что мы с вами сейчас здесь беседуем.

– Напутали наши! Посидите немного, я разберусь и оформлю вам разрешение.

Через час я получил разрешение без единой поправки.

Был и случай полной аварии. Мы выпускали в «Записях Прошлого» воспоминания Масальской о Шахматове. I часть благополучно выпустили, а II и III части были в рукописи разрешены и уже в набранном и сверстанном виде находились в корректуре, когда наш сотрудник, посещавший типографию, сообщил мне, что среди наборщиков он слышал неодобрительные разговоры о книге Масальской. Вскоре затем меня вызвали в Главлит, где мне было объявлено, что Главлит берет назад свое разрешение и запрещает обе части. Как выяснилось, наборщиков соблазнило описание молебна о дожде в голодный 1891 год, и они написали Главлиту письмо с осуждением книги. После такого случая никакие доводы не могли спасти книгу.

Удручающее впечатление произвела на меня авария работы моего когда-то учителя М. К. Любавского «История границ Российской империи»[7]. Заглавия, впрочем, не припомню, но таково было содержание. Матвей Кузьмич давно работал над этой темой со свойственным ему трудолюбием и основательностью. В этой области он был всеми признанным авторитетом. Он был привлечен советской властью к работе в образованной после Польской войны[8] комиссии по установлению границ наших с Польшей и перечню национальных исторических памятников, подлежащих взаимному возврату. Руководившие комиссией члены большевики, по-видимому, дорожили иметь в своем составе такого знающего и точного консультанта. Принимая во внимание, что границы европейских государств могли еще при всяком случае быть предметом «дискуссии», как тогда стали выражаться, казалось, труд Матвея Кузьмича (после, может быть, просмотра его с дипломатической стороны) являлся весьма своевременным. Разрешение «к набору» было мною получено без затруднений, но когда я представил «к печати» первые сверстанные листы, политредактор печатать не разрешил. В книге, видите ли, приписывается слишком большая роль церкви, монашеству, расколу в деле распространения наших границ и заселения наших дебрей. Никакие переговоры ни к чему не привели! Можно себе представить, какой это был удар для Матвея Кузьмича и как это поощряло к новым работам.

Случалось и так, что исследование, в рукописи разрешенное Главлитом и принятое типографией к печатанию, было мне через несколько месяцев возвращено директором типографии в непо-

чатом виде, так как он предвидел оппозицию типографских рабочих.

Было и так, что орган, распределявший бумагу, отказывал в бумаге для книги, ему не нравящейся, хотя Главлитом книга была разрешена к набору, а затем и к печати! Много было начальств!

В письмах К. В. Аркадакского много места уделено «хождениям по мукам» политредакции. Редкая книга проходила у него без трений. Бумке, Форстер, Картхиль, Кузминская, Бартенев, Григорович, Жемчужников увидели свет, правда, без всяких урезок и изменений, только после ряда хлопот и объяснений.

В большинстве случаев приходилось иметь дело с образованными политредакторами, относившимися к материалу внимательно даже тогда, когда он не встречал их сочувствия. А это бывало нередко! Чаще мне приходилось вступаться и за авторов, и за их рукописи, и за себя, наконец, самого! Но сущая беда, бывало, попасть на недалекого, заваленного работой и, хуже всего, запуганного начальством и партией. Для примера приведу случай, не касавшийся нашего издательства, но которому я был свидетель.

Пришлось мне как-то раз в ожидании приема посидеть в кабинете начальницы Мособлгорлита тов. Карманниковой. Вдруг в кабинет врывается гражданин вида рабочего с возгласом: «Тов. Карманникова! Это что же? Курам на смех, или идиотам на обучение?» И дальше в этом духе... Я понял, что завтра открывается районный маленький театр в Грохольском переулке на Мещанской. Надо отпечатать в 8 экземплярах уже разрешенную ранее афишу и расклеить ее в 8 углах квартала. И вот теперь не разрешают, так как состоялось постановление об уменьшении форматов для афиш, в видах экономии бумаги. Но в данном случае экономии не могло быть, так как печаталось на обороте старых афиш. Карманникова была неумолима: «Не хочу я из-за вашей афиши неприятность иметь!»

Множить число случаев недоразумений и затруднений, бывших с политредакцией, было бы бесполезно. Цензурные мероприятия не исчерпывают собой мер воздействия советского строя вообще на литературное и художественное творчество и на печать в частности.

Недостаток бумаги

Плохо было с бумагой. Ее всегда не хватало. Меня как-то вызвал в Государственное издательство тов. Воровский и сделал следующее сообщение: «У вас в типографии бывшей Кушнерева

хранится большое количество бумаги высоких сортов. Вы не скоро сможете далее ее использовать. Между тем у государства нет бумаги. Такое положение ненормально, не правда ли? – При этом Воровский сделал паузу и испытующе на меня посмотрел. – Так вот мы решили позаимствовать у вас эту бумагу. Взамен ее по нашему заказу бумажные фабрики изготовят для вас то же количество и тех же сортов, так что ваше издательство никакого ущерба не потерпит. Но у вас есть ряд начатых производством изданий. Подсчитайте, пожалуйста, сколько какой бумаги потребуется вам для окончания и выпуска в свет начатых изданий. Я эту бумагу за вами забронирую».

Дальше разговаривать было не о чем, и я поспешил к себе и в типографию, чтобы составить для Воровского как справку об общем остатке у нас бумаги, так и смету на обеспечение бумагой начатых книг. Я спешил все оформить, хотя и не склонен был придавать веру подобным соглашениям. Повседневный опыт меня уже убедил, что революция неуклонно движется все глубже и глубже в неведомое будущее и что то, что сегодня считается твердо «согласованным», то завтра оспаривается и отметается. К тому же при Воровском состоял, как Аракчеев при Александре I, его первый заместитель – тов. Вейс, будто нарочно приставленный, чтобы переиначивать и прямо искажать распоряжения шефа. Ему ничего не стоило, например, увидав в типографии корректуру нашей обложки к учебнику ботаники Страсбургера, зачеркнуть нашу фирму и проставить марку Госиздата. Хорошо, что я случайно вовремя накрыл в типографии эту проделку государственного деятеля.

А с бумагой дело кончилось так. Тов. Шведчиков, который стал заведовать бумажным отделом Госиздата, никак не мог понять, или делал вид, что не понимает, о каком возврате бумаги может идти речь: «Вся бумага народная, государственная!» Одним словом, правовые отношения эволюционизировали.

Хронический недостаток бумаги породил «карликовые» издания, как рассказы Леонова, «Лисистрата», «Всадники», Низами и другие.

В конце концов с бумагой установился такой порядок. Ежегодно все издательства представляли Главлиту тематический годовой план своих работ с обозначением авторов и названий намеченных к изданию произведений, числа листов каждого и тиража их. После утверждения планов каждому издательству назначалось количество бумаги, которое оно могло купить у Главбума в течение года для выполнения своего издательского плана.

Ссуда целевая в Госбанке

При отсутствии собственных средств вопрос о получении кредита имел первостепенное значение. Но с НЭПом он разрешался очень просто. Государственный банк стал выдавать целевые ссуды, и без всяких особых ходатайств мы получили ссуду в один миллиард руб. Наша ссуда оказалась первой. При выходе из кабинета директора банка А. Г. Х. с чековой книжкой за № 1 в кармане мне повстречался в дверях уполномоченный Троцкого за получением такой же ссуды, но, конечно, гораздо более значительной, для какого-то «Куста». Получая чековую книжку, он был неприятно удивлен стоявшим на ней номером 2 и заинтересовался, кто же его упредил и получил № 1. Сам вождь, конечно, на чековую книжку и не взглянул бы, тем менее заинтересовался бы он ее номером, но у ретивого служащего отнималась возможность при докладе о ссуде обратить внимание на быстроту в использовании им новых возможностей.

Эти операции имели одну необычную особенность. Банк по ним взимал очень высокие проценты, имевшие компенсировать банку потери на падении покупной силы рубля. Но проценты эти далеко не покрывали этой потери, и в действительности банк, должно быть, понес на операциях этих убыток.

Впоследствии Госбанк иначе разрешил задачу расчетов при падающем рубле. Он ежедневно объявлял курс рубля, сделки совершались в золотых рублях, платежи же производились в бумажных рублях по курсу дня. Так, мы на обложках книг печатали цену в золотых рублях и в них же выписывали счета покупателям, а платежи получали бумажными рублями по курсу дня.

Технические трудности

Но вот издательство «зарегистрировано» (т. е. разрешено), его «тематический план» утвержден, а в соответствии с планом ему назначена бумага, которая частью даже уже приобретена, наконец, рукопись разрешена Главлитом! После прохождения всех этих инстанций, из которых каждая могла фактически не допустить издания, надо было еще сойтись с какой-либо типографией (они все национализированы, но работают на «хозрасчете»), чтобы набрать, отпечатать и сброшюровать книгу. Каждый из этих трех «цехов» бывает поочередно «узким местом» в работе типографии, в котором книга может надолго, а то и окончательно застрять, что и случалось не раз.

Еще при царском правительстве, в связи с войной и неоднократными призывами в армию, в типографиях стал ощущаться недостаток рабочих рук. Известно, что среди типографских рабочих было немало меньшевиков, в связи с чем после Октябрьской революции в типографиях произошел некоторый отлив рабочей силы. Продовольственные экспедиции в деревню, вошедшие в 19-м году в обиход вследствие недостатка продовольствия, в свою очередь расстраивали кадры. Отвлекались типографские рабочие и на административные посты, и на разные объявлявшиеся тогда «кампании». Пропустить поэтому книгу в типографии было очень нелегко.

Применяясь к этим обстоятельствам, мы стали повторные издания печатать фотографическим путем, т. е. без набора шрифтом. Старая книга, не переплетенная и не обрезанная, расшивалась; ее листы раскладывались и напечатанный на них текст с рисунками фотографировался. Снятое переводилось на камень или резину и так печаталось. Так выпущен был нами целый ряд книг: Паркер «Лекции по элементарной биологии», Петрушевский – «Великая хартия вольностей», Ферреро – последний выпуск «Величия и падения Рима», Корнилов – «История России XIX века», Любавский – два его курса истории, причем один был издан нами с уменьшением формата книги, а вместе с тем и величины букв, что вышло вполне удовлетворительно. Так были выпущены еще и другие книги.

«Не бывать бы счастью, да несчастье помогло!» Создавшееся в полиграфической промышленности положение (остановка работ в цинкографиях и в печатных цехах за отсутствием наборов) позволило нам выпустить факсимиле «Слова о полку Игореве» и притом в дешевом 10 000 издании, чего едва ли бы дождалась когда-нибудь эта претерпевшая столько бед книга. Многим нам в данном случае помог бывший владелец типографии на Полянке Менерт, помнивший мое участие к тестю его Зюссенгуту. В данном случае фотографировались отдельные страницы и с них исполнялись цинковые клише. Так же был издан нами «Граф Нулин» Пушкина.

Как трудно тогда было издавать книги, красноречиво свидетельствует наше предисловие к IV русскому изданию учебника ботаники Страсбургера, которое приведу здесь целиком. Оно, кстати, коротко и отчетливо объясняет мотивы, побудившие нас все же и при создавшихся условиях продолжать работу. А было с чего прийти в отчаяние! Сказал же мне раз впечатлительный и

нервный М. О. Гершензон: «Своим упорством продолжать работу вы только портите свое издательство!»

Предисловие к IV русскому изданию учебника ботаники Эд. Страсбургера

Печатание учебника для высших учебных заведений, по обстоятельствам времени, затянулось на много лет. Начатое в 1917 году, оно закончилось лишь в 1923 в конце года. Перевод был сделан первоначально с XII немецкого издания. За время, которое потребовалось для печатания этого перевода, немецкий оригинал успел выйти в четырех новых изданиях (XIII – XVI), несмотря на все тяжести военного времени для Германии. Это обстоятельство может служить доказательством, что учебник немецких профессоров действительно отвечает потребностям времени. К сожалению, многие изменения, внесенные в новые немецкие издания новыми сотрудниками по переработке текста (Фиттингом и Иостом), лишь отчасти могли быть использованы для нового русского издания, так как текст его уже давно был набран. Те же обстоятельства времени, дороговизна печати, бумаги, типографских красок, наконец, желание по возможности удешевить издание заставили переводчиков согласиться на изъятие цветных рисунков. Поскольку было возможно, они были заменены черными. Те же соображения заставили сократить указатель основной литературы и систематический список медицинских и ядовитых растений. Конечно, все эти обстоятельства отражаются на достоинствах учебника, но как перед издателями, так и перед переводчиками стоял вопрос: или отказаться от издания книги вообще, или же выпустить ее в том виде, как она издана. Принимая во внимание почти полное отсутствие учебников ботаники для высших учебных заведений, мы предпочли второе.

Москва, август 1923 года.

Развал полиграфической нашей промышленности побудил правительство при переходе к «новой экономической политике» (НЭП) разрешить частным издательствам печатать книги за границей и ввозить их в Россию (пост. СНК 17. XII. 2 I). В мере этой, однако, скоро разочаровались, как и следовало ожидать, и уже на следующий год, 22. XI. 22, постановлением СНК, «ввиду тяжелого положения русской полиграфической промышленности», воспрещалось государственным предприятиям издавать литературу за границей.

У меня сохранилась переписка с А. А. Чупровым того времени по вопросу о печатании наших изданий за границей. Но дальше изучения положения и нащупывания почвы дело не пошло. Мне эти письма дороги как память наших исключительно дружественных отношений и доброй заботы Александра Александровича обо мне, мною даже не заслуженной.

Новое правописание

Теперь странно, подчас даже смешно вспоминать, что в столь сложной, можно сказать, трагической обстановке возникали затруднения из-за новой орфографии. В некоторых типографиях поспешили изъять из кассет упраздненные буквы. Книги, начатые набором в старой орфографии, нельзя было продолжать тем же набором, и нам предложили конец книги набирать по-новому. Это, естественно, раздражало авторов, а ретивые администраторы видели в попытках избежать такого безобразия – противодействие реформе, чуть ли не контрреволюцию. При взаимном на такой почве раздражении забывали, что новая орфография введена была еще при Временном правительстве министром А. А. Мануйловым и тогда, как и все, исходившее от Временного правительства, подвергнута была большевиками критике и насмешкам, получив даже издевательскую кличку «мануйлица» (в параллель старой «кириллицы»). Казалось бы, нечего было кипятиться ни большевикам, ни их оппонентам. Между тем некоторые авторы решительно отказывались издаваться в новой орфографии.

Затруднения с помещением

Со времени революции в Москве наступил жилищный кризис, непрерывно обострявшийся. Под его давлением и люди, и учреждения все уплотнялись да уплотнялись, доходя до нетерпимой тесноты. Вместе с тем крайне неустойчивым стало самое пользование жилплощадью. Приходилось жить в непрекращающейся борьбе за сохранение жилплощади. Минуя заботы по отстаиванию квартиры лично для себя с семьей, скажу несколько слов о помещении издательства.

После пожара 1917 года издательство лишилось помещения для конторы и редакции. Найти новое не удавалось. Занимались в старой заброшенной дворницкой при складе по Калашному переулку. Только осенью 1918 года освободилась (за смертью жильца и отъездом его вдовы на Украину) в том же владении квартира, которую мы и заняли. Попытки отобрать у нас эту квартиру под

тем или иным предлогом то так, то этак начались, можно сказать, с самого первого дня получения нами этой квартиры. Возобновляясь одна за другой в течение 12 лет непрерывно, они осенью 1930 года кончились-таки самым бесшабашным захватом ее, незаконно осуществившимся вследствие фальшивого попустительства со стороны нашего же служителя.

Всех стычек из-за помещения и не перечислишь, да это не было бы интересно. Для примера укажу на три таких инцидента.

Во время моего отсутствия в 1921 году в связи с «Голодным» Комитетом дело дошло до того, что ОГПУ наложило уже печати на помещение. Но София Яковлевна обратилась к тов. П. Г. Смидовичу, который письменно распорядился не чинить затруднений издательству, «ввиду его высококультурного значения».

Не помню, в каком году это было, да это и не имеет значения. Мы как-то засиделись в издательстве за работой до позднего вечера. К нам позвонил и был впущен иностранец, приехавший, как он заявил, в Москву на международный съезд. При нем были его дорожные вещи, и он предъявил ордер Жилотдела Моссовета на вселение в помещение издательства. С трудом удалось мне не допустить его расположиться на диване. Очень этим раздраженный, он отправился куда-то жаловаться; я, в свою очередь, поспешил в Президиум Моссовета. Там никого из членов Президиума не оказалось, но секретарь тов. Музака принял мое заявление для доклада председателю Л. Б. Каменеву, который должен был в течение ночи быть в Совете. Я хотел сам дождаться т. Каменева в помещении Совета, но тов. Музака решительно этому воспротивился и предложил прийти за ответом утром. Делать было нечего. Мы заперли издательство так, чтобы никто не мог в него без нас проникнуть, не прибегая к взлому, чего, конечно, в создавшейся обстановке опасаться не было причин. И разошлись спать по домам. Когда я утром явился в Президиум Моссовета, то т. Музака, завидев меня еще издали, взял телефонную трубку и сказал буквально следующее:

– Тов. Лондон![*] Л. Б. Каменев просит издательство Сабашниковых не жмать!

Затем он положил трубку и спросил меня:

– Вы слышали, что я сказал?

Когда я попросил дать мне какую-нибудь бумажку, отменяющую ордер на вселение, или хоть на ордере или на моем заявлении сделать соответствующую отметку, т. Музака сказал, что ничего не нужно и что никто к нам больше не явится.

---

[*] Лондон был начальником Жилотдела. – *Примеч. М. В. Сабашникова.*

Оно так и было. Вообще высшие инстанции обыкновенно благосклонны были к издательству. Важно было успеть апеллировать к ним до приведения оспариваемого распоряжения в исполнение. В случае, если это не удавалось, переделывать раз сделанное уже бывало почти невозможно. Это понимали и низшие исполнители, и сами домогавшиеся захвата чужой площади интересанты; почему они и действовали всегда с нахрапа. Наконец, последний случай. Две семьи, жившие в том же доме, как и издательство, давно зарились на наше помещение, но никаких прав на захват его не имели. Когда же в 1930 году после ликвидации НЭПа стали приканчивать последние остатки частных предприятий, и нашему издательству в той форме, как оно существовало, пришел конец.

Охотники за нашим помещением и наш служащий Кузьма Филиппович, им покровительствовавший, нашли момент удобным для натиска. И вот, когда я раз утром пришел в издательство, я нашел там целый табор самовольных вселенцев: матери кормили детей грудью, кипятили молоко на керосинках, сушили на спинках стульев пеленки, дети постарше играли на полу в какие-то игрушки. Был у них явно неправильный ордер от милиции. Наш служитель, впустивший всю эту ораву и допустивший эту фламандскую мизансцену, когда он должен был закрыть перед этими людьми двери, фальшивил. У меня была идея после ликвидации издательства образовать кооперативное издательское товарищество, но для этого надо было сохранить и передать товариществу наше помещение, так как найти незанятое помещение в Москве не было надежды. План этот рухнул по милости нашего почтенного предателя Кузьмы Филипповича. Если все-таки нам со временем удалось организовать товарищество «Север», этим мы обязаны Ел. Евгеньевне Горбуновой-Посадовой и товариществу «Посредник»[9], уступившим нам часть их помещения. Внезапная потеря помещения в связи с другими обстоятельствами повлекли за собой еще одну, непоправимую притом, беду – потерю нескольких рукописей.

С кем и над изданием каких книг мы работали

После Октябрьской революции мы не изменили характера нашего издательства и продолжали выпускать книги для серьезного чтения, рассчитанные на образованного читателя. Как я говорил выше, высказывалось мнение, что надо перейти к обслуживанию масс, но мы не могли согласиться с целесообразностью для нас такого опыта и решили держаться того, в чем наше издательство

было сильно и уже успело себя зарекомендовать. Естественно поэтому, что мы продолжали выпускать испытанные наши серии «Памятников мировой литературы», истории, биологии и др. и выпустили при советской власти книги наших старых авторов: Д. М. Петрушевского, М. Н. Сперанского, М. К. Любавского, М. О. Гершензона, А. А. Корнилова, А. А. Захарова, М. А. Мензбира, А. А. Борисяка, В. Н. Львова и др. О «Флоре» Маевского сказано в начале этой главы.

Из новых предпринятых нами изданий наибольшую известность получила наша мемуарная литература.

Вскоре после Февральской революции мы стали получать от вернувшихся в Россию революционеров-эмигрантов предложения об издании их сочинений. Обращения делались ими лично мне, и таким образом я лично познакомился с П. А. Кропоткиным, Н. В. Чайковским, Н. А. Морозовым и В. Фигнер. Переговоры эти не имели последствий. Чайковский вскоре уехал на север, и всякое общение с ним оборвалось. Сочинение Морозова о Иисусе Христе слишком далеко было от взглядов нашей редакции. «Я вас отлично понимаю, – сказал мне Морозов при прощании, – ведь у вас идейное издательство». Прекрасные воспоминания Кропоткина меня очень привлекали, но сойтись с автором о переиздании не было возможности. Он хотел видеть все свои писания изданными в «Полном собрании». Но его геолого-географические работы не могли оправдаться рыночно, а некоторые политические статьи были для нас неприемлемы. Переговоры с этим замечательным человеком длились очень долго, после его смерти продолжались его вдовой, но ни к чему не привели. Мы не могли тогда сделать с Кропоткиным, что когда-то сделали в отношении Н. С. Тихонравова, а потом А. Чупрова. Издание досталось И. Д. Сытину. Как и Кропоткин, В. Фигнер почему-то желала быть изданной непременно у нас, хотя к ее услугам были два близких ей по духу издательства – «Задруга»[10] и «Голос минувшего»[11]. Стоявший во главе этих издательств С. П. Мельгунов счел бы даже за обиду, если бы «Запечатленный труд» миновал его рук. Между тем как я, не гоняясь за этим изданием, искал предлог, чтобы отклонить предложение, не задевая самолюбия автора...

Между тем пора была очень подходящая для издания мемуарной литературы, и мне очень хотелось за это приняться. На памяти людской целый класс возведен был у нас на авансцену истории с тем, чтобы, продержавшись недолго у власти и не успев ничего положительного сделать, у нас на глазах потерять не только вновь достигнутые, но и прежние свои позиции. Было о чем писать!

Сговорившись с М. О. Гершензоном, я написал Н. И. Гучкову[12], прося представить Михаилу Осиповичу обработать для издания у нас архив Боткиных. Раз как-то в городской думе Николай Иванович с большой похвалой отозвался о «Грибоедовской Москве» Михаила Осиповича, и я надеялся поэтому, что Николай Иванович благосклонно отнесется к нашему обращению. Оно так и вышло. Николай Иванович не только изъявил согласие, но еще прислал выписку из письма В. П. Боткина к отцу с описанием первой поездки его по железной дороге (выписка в моем архиве). Работа тем не менее не состоялась, так как Николай Иванович уехал за границу.

Более удачи имел я при получении воспоминаний Д. Н. Шипова, Н. Д. Поленовой и Б. И. Чичерина. Без огорчения С. П. Мельгунова приобретение записок Чичерина не обошлось.

Я уговорил Н. Н. Щепкина и В. Ф. Джунковского использовать досуг, в который их ввергла Октябрьская революция, на написание их воспоминаний. По мере их составления Щепкин читал мне свои записки, доведенные им до русско-турецкой войны 1878 года. Ему удалось передать настроения легкомысленной, пожалуй, но смелой молодежи в отряде такого генерала как Скобелев. Очень жалко, если незаконченные и весьма коротенькие записки эти не сохранились. То же сожаление должен выразить, если окажутся действительно затерявшимися, как предполагает сам автор, записки С. М. Соловьева. Он в них очень ярко описал свое детство и отрочество.

Архив А. И. Чупрова. А. И. Чупров имел обыкновение сохранять получаемые им письма, равно как черновики или копии своих писем. После его смерти в распоряжении его дочерей осталось несколько больших корзин, битком набитых письмами в конвертах, в каких они были получены, и даже с сохранением почтовых марок. Обилие семейных писем подало старшей дочери Александра Ивановича, О. А. Сперанской, мысль составить по ним монтаж «Семейной хроники», к работе над которой она и приступила, читая время от времени отрывки друзьям семьи, навещавшим ее и регулярно собиравшимся у нее в годовщины смерти Александра Ивановича, а затем и Александра Александровича. Главный же интерес архива представляли письма деловые и письма научного, общественного содержания. Они дают богатый материал по организации *переселенческого движения,* по которому работали исключительно ученики Александра Ивановича, им рекомендованные и затем им официально руководимые, по *земской статистике,* по изданию «Итогов земских статистических исследований»,

по полемике о *хлебных ценах,* есть содержательное письмо Е. И. Якушкина *об общине,* письмо Феоктистова (начальника Главного управления по делам печати), объясняющее причину запрещения розничной продажи газеты «Русские ведомости» – не было ни черной рамки, ни статьи в годовщину смерти Александра III. Он же потом пишет, советуя приехать в Петербург для переговоров с новым министром, который примет и вникнет в дело. В этом собрании ответственных и важных писем с недоумением наткнется разбирающий архив на вздорное обращение вдовы Мансурова с просьбой помочь ей в устройстве приюта для увечных *кошек* на средства, завещанные покойным ее мужем, и на забавную просьбу Т. Домны Корниловны разъяснить разницу между «открытием» и «изобретением». Объясняют свои обращения тем, что знают доброту Александра Ивановича. Кстати, занесу здесь другой характерный случай:

Московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков на каком-то собрании в Петербурге слышал речь Александра Ивановича, и ему выступление его москвича очень понравилось. С тех пор он благоволил Александру Ивановичу. На рауте в генерал-губернаторском доме князь Долгоруков как-то раз, взяв у лакея с блюда кусок кулебяки, лично поднес его своему профессору. Это было замечено окружающими и вызвало толки.

Насколько знаю, архив Александра Ивановича сдан Литературному музею.* Мы не могли использовать его для «Записей Прошлого».

От К. В. Аркадакского у меня сохранилось более 600 писем. Они касаются преимущественно текущей изо дня в день издательской работы: корректуры, гранки, верстки, обложки, счета типографий, хлопоты и расчеты по бумаге, финансовые заботы, хозяйственные вопросы, всяческие деловые инциденты. Общие вопросы обсуждались обыкновенно в личных беседах при его приездах в Москву или моих в Питер. Немало места уделяется в письмах Константина Васильевича поступавшим к нему предложениям посторонних авторов, сообщая о которых, он всегда высказывал свое мнение, положительное или отрицательное. Подвергал он критическому разбору и рукописи, присылавшиеся ему из Москвы для печатания. Наши оценки не всегда совпадали. Донимали старика цензурные требования. Рукописи, даже уже разрешенные в Москве Главлитом, в Питере вторично разбирались

* Архив А. И. и А. А. Чупровых хранится в Государственном историческом архиве Московской области (ГИАМО).

горлитом. Так, «Воспоминания Кузминской», уже разрешенные к печати Главлитом, не пропускались Петербургским горлитом, который предлагал печатать только те места воспоминаний, где говорится о самом Л. Н. Толстом! Детство и юность Татьяны Андреевны – автора воспоминаний, как известно, бывшей прототипом Наташи Ростовой, жизнь семьи Берс и проч. предлагалось выбросить. Особенно соблазняло цензора описание царской охоты. В заглавии книги Бартенева «Рассказы о Пушкине» хотели слово «рассказы» заменить другим словом. К «Зарницам» Григорович горлит требовал дать предисловие в коммунистическом духе, с тем чтобы непременно было сказано, что в «Великую Октябрьскую революцию социалисты-революционеры оказались по ту сторону баррикад». Слова эти для памяти политредактор записал даже на своем блокноте. С большими трениями разрешена была книга Бумке «Культура и вырождение». К предисловию редактора перевода профессора П. Б. Ганнушкина по моей просьбе присоединил предисловие В. П. Волгин. Но и оно не удовлетворяло политредактора. Склонить его удалось лишь указанием, что Бумке вызывали на консультацию к больному В. И. Ленину. Было бы скучно рассказывать все пререкания, бывшие с политредакцией. Надо сказать, впрочем, что в большинстве случаев нам удавалось преодолевать цензурные трения.

Немало труда и усердия на составление своих воспоминаний положил В. Ф. Джунковский. Когда-нибудь обширные записки эти в своем целом послужат будущему исследователю надежным основанием для восстановления придворной дворцовой жизни начала века, не говоря уже о том, что некоторые описанные в них эпизоды весьма ценны для характеристики последнего императора...

По мере написания своих записок Владимир Федорович прочитывал их мне и Софии Яковлевне вслух. Я часто удивлялся его удивительной памяти и добросовестной точности, с которыми он старался описывать иногда и незначительные подробности.

Когда мы лишены были общим ходом событий возможности издавать подобные произведения, Владимир Федорович реализовал свой труд у Бонч-Бруевича в Литературном музее[13], что дало этому благородному человеку средства к жизни на несколько лет.

Для помещения в воспоминаниях Поленовой («Абрамцево») некоторых рисунков надо было получить разрешение их владельца – И. С. Остроухова, которого я хотел просить написать воспоминания о братьях Третьяковых. Мы хотя и знали друг друга, больше понаслышке, но лично знакомы не были. Было еще

одно обстоятельство, которое делало для меня обращение к Илье Семеновичу несколько щекотливым. Лица, ближе меня стоявшие к этому инциденту, конечно, опишут его в своих мемуарах, я же здесь напомню только, что когда И. Э. Грабарь принял заведывание Третьяковской галереей, он стал перевешивать в ней картины, до того продолжавшие висеть так, как их когда-то повесил сам учредитель галереи, по мере их приобретения. Против такого нарушения установленного самим основателем порядка восстал бывший до того хранителем галереи И. С. Остроухое. Разгорелся спор «прогрессистов» и «консерваторов», тогда ведь все ориентировались по общественным течениям. Горячо спорили по этому случаю в городской думе, в интеллигентных кругах города, в прессе... Намерению Грабаря ввести в галерее рациональные порядки, принятые в больших передовых музеях Западной Европы, я, конечно, сочувствовал. Таким образом, мы с Ильей Семеновичем оказались тогда в двух враждующих партиях. Как это часто бывает, борьба приняла тогда по вине некоторых ее участников личный запальчивый характер. Можно было ожидать, что она оставила у Ильи Семеновича неприятный осадок воспоминаний.

Тем не менее Илья Семенович встретил меня более чем радушно, согласился на все воспроизведения, мною испрашиваемые, но еще много рассказал про Абрамцево, С. И. Мамонтова и художников, группировавшихся около Саввы Ивановича. Илья Семенович, видимо, тосковал. Оказавшись после национализации созданного им музея в роли хранителя его, он как любитель-коллекционер, страстный, можно сказать, охотник, скучал от невозможности действовать, безотчетно следуя собственному вкусу и пониманию. В этом отношении он хорошо понимал чувство опустошенности в аналогичных, хотя и не вполне одинаковых условиях, угнетавшее меня. Страдая ногами, он звал навещать его, и я находил в таких посещениях развлечение, заходя к нему ненадолго по пути домой после окончания занятий в издательстве, или же вечером уже на более продолжительное время. Хранитель музея осуществлял свои функции, самолично оберегая его по ночам от грабителей. Ночи напролет просиживал больной старик в своем кресле, имея по правую руку свою молчаливую супругу, чутко прислушиваясь ко всякому шуму. Понятно, что супруги бывали рады скоротать время с гостем, и к ним можно было являться в любой час вечера. Желая побудить Илью Семеновича писать мемуары, я обыкновенно старался начать наводящие о прошлом разговоры. Самого Илью Семеновича одно время глубоко зани-

мала найденная в сельской церкви Смоленской губернии забытая икона, по которой можно было судить, как он полагал, о влиянии западного искусства на нашу иконопись, в частности на Рублева, Он собирался даже писать на эту тему. Но мне казалось сомнительным, чтобы он выступил по этому вопросу в печати: «предварительное сообщение» он не хотел делать, а для «исследования» недоставало материалов.

Познакомившись с Л. М. Леоновым, Илья Семенович сразу оценил его недюжинное дарование. Когда Леонов написал свой рассказ «Конец мелкого человека», он преподнес рукопись Илье Семеновичу с посвящением ему самого рассказа. Илья Семенович, однако, просил Леонова посвятить ему «Петушихинский пролом» вместо «Конца мелкого человека», что Леонов и исполнил. Обмениваясь с Ильей Семеновичем мнениями об этих рассказах, я как-то отметил, что автор, взявшись за современные животрепещущие темы, весьма искусно уклонился в той накаленной атмосфере, в какой мы все сейчас живем, от определения собственной позиции. Однако долго держаться так ему не удастся. Ни объективность, ни сказочный стиль не освободят его от необходимости высказаться, иначе за него постараются его читатели, или критики, или, наконец, руководители общественных и политических группировок. За Леонова, чтобы залучить его в свой лагерь, будут биться. Это мое предположение чрезвычайно взволновало Илью Семеновича. Он старался мне доказать, что искусство, включая литературу, имеет свои пути развития, совершенно особые от политики. Переубедить друг друга мы, конечно, не переубедили. Когда мы ходом разговора возвращались к этому спору, старушка жена Ильи Семеновича, с юмором, которого я от нее не ожидал, бывало, скажет одно: «Опять!» и улыбнется.

Склонить Илью Семеновича на составление воспоминании мне так и не удалось.

Такая же неудача постигла меня при обращении к А. Д. Самарину. Он много интересно рассказывал про Синод, но писать отказался. Может быть, основательно сделал!..

Новый отдел требовал организации редакции. Мы пригласили С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. При моем участии образовалась редакционная тройка. Решили выпускать мемуары, дневники и письма одной стандартной серией под общим названием *«Записи Прошлого»*.

Задача издания была, – как значилось в нашем объявлении, – дать в легкой и занимательной форме изображение развития

русской культуры и картину жизни и быта разных общественных классов в показаниях свидетелей и деятелей нашего прошлого.

Тщательный выбор материалов для опубликования, всегда свежих и интересных; сопровождавшие их обстоятельные статьи и введения; обильные примечания к текстам; наконец, популярность обоих редакторов, их эрудиция и изящество, с которым они *подносили* читателю публикуемый материал, обеспечили «Записям Прошлого» хороший прием со стороны читающей публики и отличные отзывы со стороны прессы, как нашей, так и заграничной.

Всего мы выпустили 27 томов «Записей Прошлого» (считая выпущенные кооперативным товариществом «Север»). Их успех побудил действовавшее тогда издательство «Academia»[14] предпринять со своей стороны издание библиотеки мемуаров, как оно раньше переняло нашу программу «Памятников мировой литературы». К моменту, когда мы прекратили издание книг (1934 г.), у нас скопился порядочный портфель неопубликованных мемуаров, отчасти прибывших к нам самотеком, отчасти написанных по нашему побуждению к тому. Их хватило бы на ряд томов. Пришлось вернуть их авторам.

С приглашением редакторов поиски мемуарных материалов для издания значительно расширились. Когда же стали выходить в свет один за другим выпуски «Записей Прошлого», предложения готовых материалов стали к нам поступать самотеком. Обращались к нам с предложением своих архивов люди самых разнообразных профессий. Предлагались преимущественно их родственниками и наследниками: записки генерала, письма гениального композитора, воспоминания бывшего товарища министра внутренних дел, заметки следователя, переписка коммерсанта, дневник моряка и пр., и пр. Разговоры с людьми, представлявшими этот материал, представляли немалый интерес, и я иногда по свежей памяти записывал себе отдельные эпизоды. Приведу здесь случайно сохранившиеся записи мои о Жуковском и Скирмуте.

Из лиц, с которыми пришлось познакомиться, собирая материалы для издававшейся нами библиотеки мемуаров, назову здесь Жуковскую[15], племянницу известного профессора математики московского, теоретика воздухоплавания. Натура мятущаяся, стремящаяся вырваться из мира обыденного в неизвестное, склонная к экзальтации, она в свое время искала и имела встречу с Распутиным, что и описала в воспоминаниях своих, которые и предложила нам для «Записей Прошлого». Для «Записей» мы нашли тогда предложенные отрывки неподходящими. В журнале

«Литературный современник» был затем помещен отрывок этих записок.

Завязававшееся на чтении и обсуждении записок знакомство не оборвалось. Жуковская стала, правда изредка, заходить к нам в издательство. Приносила другие свои записки. Охотно делилась на словах впечатлениями прошлого и наблюдениями текущего. Интересны были, между прочим, ее рассказы о пребывании ее в деревне дяди во Владимирской губернии. Видно было, что она сильно живет, много душевно переживает, слабеет здоровьем. Когда закрылось наше издательство, Жуковская стала посещать меня на квартире, и мы с Софией Яковлевной иногда целые вечера выслушивали ее всегда живые и яркие рассказы. Запишу здесь, что, между прочим, рассказала она нам про своего знаменитого дядю.

В семье Жуковских держалось, по-видимому, предание, что митрополит Филарет не только благословил дядю на научную работу, но даже как будто предрек ему успех на этом поприще. Жуковская, тонкая и современная рассказчица, так, впрочем, не выражалась, но такое впечатление получалось. Если постараться совершенно освободиться от таких представлений и восстановить одну чисто фактическую сторону, то можно думать, что дело происходило так. Матушка Жуковского, весьма властная особа, имевшая на сына большое влияние, не сочувствовала намерению молодого человека по окончании курса средней школы поступить в высшую и посвятить себя научной деятельности. Соблаговолила же она на это под впечатлением слов митрополита, сказанных ее сыну после обедни в Казанском соборе. Была пора выпускных экзаменов, и было вполне естественно митрополиту спросить подошедшего к нему под благословение гимназиста, куда он себя готовит. На ответ о намерении пойти по научной карьере владыко юношу благословил, как благословлял всех, подходивших к нему поцеловать крест.

Другой эпизод интереснее. Возвращаясь ночью из Замоскворечья от товарища, Жуковский на Каменном мосту заметил одинокую женщину. Ее поведение показалось ему подозрительным. Оказалось, молодая, дивной красоты женщина эта, оставленная любовником, намеревалась броситься с моста в реку. Жуковский ее разговорил, отвел подальше от реки, доставил домой и передал на попечение матери своей. С той ночи незнакомка связала свою судьбу с семьей Жуковских. Она стала в доме у них как бы домоправительницей, усердно заботясь о всех домашних делах. Матушка Жуковского это охотно принимала, но когда сын поже-

лал жениться на незнакомке, то матушка решительно этому воспротивилась. Сын, робкий и уступчивый, на этот раз, однако, проявил настойчивость. Тогда деспотичная мать, чтобы покончить с нежелательным для нее сватовством сына, в одну из его отлучек из Москвы повенчала незнакомку с каким-то железнодорожным кондуктором. Злой умысел, однако, ни к чему не привел. Незнакомка осталась в их доме всеми признанной любовницей сына, а ж. д. кондуктор в положении соломенного вдовца должен жить был одиноко на стороне.

Летом 1934 года мне случилось быть у Е. П. Пешковой на ее даче в Барвихе. Во время прогулки по саду М. К. Николаев сказал мне, что в мезонине дачи предыдущим летом гостил и скончался С. А. Скирмут, наш общий знакомый, известный издатель и книготорговец (книжный магазин «Труд»). При этом М. К. рассказал мне легендарный эпизод из жизни Сергея Аполлоновича, в достоверности которого он, однако, не сомневался, слышав его от самого Сергея Аполлоновича.

Сергей Аполлонович происходил от небогатых дворян Таврической губернии. Осиротел в раннем детстве, воспитан был старушкой, дальней родственницей, очень тщательно, но скромно, сначала дома, а потом в каком-то привилегированном учебном заведении. Старушка, по-видимому, намечала для своего питомца военную карьеру; сам же молодой человек еще не определил своего выбора, когда ему пришлось иметь встречу, повлекшую изменение в его материальном положении.

В вагоне московской конки он, как благовоспитанный юноша, уступил место вошедшему в вагон пожилому господину. Разговорились. При выходе Сергей Аполлонович назвался. Незнакомец, в свою очередь назвавшись Ф. Н. Плевако, настоятельно попросил Сергея Аполлоновича посетить его в своих же собственных интересах. Вагон отошел, и Сергей Аполлонович и не обратил внимания на это приглашение. Однако кто-то из знакомых, которому он рассказал про встречу, настоятельно рекомендовал ему отозваться на приглашение.

В конце концов Сергей Аполлонович посетил Федора Никифоровича. Оказалось, что в Америке разыскивались наследники какого-то Скирмута, скончавшегося там бездетного владельца значительного состояния. Плевако предложил Сергею Аполлоновичу выдать ему доверенность на ведение дела о получении наследства и так называемое option, т. е. обязательство о вознаграждении в случае успеха дела. Надо было произвести изыскания о том, существуют ли какие-либо родственные отношения между

умершим американцем и Сергеем Аполлоновичем. Доверенность и option Сергей Аполлонович выдал и перестал думать об этом случае.

Однако через несколько лет Ф. Н. Плевако в самом деле ввел Сергея Аполлоновича в обладание весьма значительного состояния.

* * *

Работа с С. В. Бахрушиным и М. А. Цявловским хорошо наладилась. Деловое общение понемногу обратилось в личную приязнь. Мне доставляет большое удовольствие вспоминать наши встречи.

* * *

Лернер, известный пушкинист, заметил, что Морозов, редактор полного собрания сочинений Пушкина, пользуется его, Лернера, работами, не упоминая его и делая между тем по его работам ссылки на первоисточники. Чтобы изобличить Морозова, Лернер, как он сам рассказывал Цявловскому, в своих последующих работах стал умышленно ставить неверные ссылки на страницы цитируемых им источников. Морозов попался в расставленную западню. Следуя своему обычаю, он в своей работе повторил умышленные погрешности Лернера, обнаружив, что сам он не обращался к источникам, а цитировал по Лернеру.

Цявловский – прямая противоположность обоим этим товарищам своим по профессии, чужд всякого искательства и завистливости. Он давно лелеял мысль об издании собрания мемуаров о Пушкине. План издания был тщательно обдуман. Библиографические справки занесены на карточки. Тексты подобраны. Издательство наше готовилось предпринять издание и выдало даже Мстиславу Александровичу аванс. Но за безденежьем и за проведением издания в разрешаемый инстанциями «редплан» дело затянулось. Тем временем Вересаев, посещавший М. А. Цявловского, как любитель Пушкина, одолжался карточками и библиотекой М. А. Цявловского. В результате вышла его книга «Пушкин в жизни», выдержавшая много изданий и наградившая Вересаева дачей и прочими недосягаемыми по нынешнему времени простым смертным благами. Правда, Вересаев построил свою книгу по собственному плану, отличному от плана Цявловского.

* * *

В главе VI этих моих воспоминаний я рассказал о моей причастности к сельскохозяйственным опытным полям и упомянул, что я еще тогда (в начале 900-х годов) думал об издании сводки их тогдашних достижений. Когда поэтому нам было предложено в [...]* году приступить к изданию «Результатов работ русских сельскохозяйственных опытных учреждений» отдельными выпусками по отдельным темам, я отнесся к этому предложению в высшей степени сочувственно, несмотря на очевидную бездоходность или даже вероятную убыточность такого предприятия. Издательство Наркомзема «Новая деревня»[16] отклонило от себя это издание именно по причине его нерентабельности. Такой чисто коммерческий подход к столь важному и нужному начинанию казался мне недостойным государственного издательства, задачей которого является обслуживание сельского хозяйства. В прежние времена, располагая свободными средствами, мы неоднократно проводили общеполезные, но нерентабельные издания, и я по опыту знал, что свести на них концы с концами при правильном определении тиража и правильной калькуляции вещь не совсем безнадежная. Я решил рискнуть и на этот раз и предпринять издание «Итогов работ русских опытных сельскохозяйственных учреждений», как по моему предложению было названо это издание.

Принимая это решение, я отлично знал, что помимо материального риска я взваливаю на наше лишенное материальных ресурсов издательство или на плечи его сотрудников весьма большую, ответственную и притом неблагодарную работу, так как сводки эти изобилуют таблицами, диаграммами и проч. На деле эта работа оказалась во многом и более трудной, и более ответственной, и З. П. Измайловой пришлось отдать изданию очень и очень много сил. Без ее настойчивости едва ли сводки эти увидели бы свет. Молодые авторы отнеслись к печатанию своих произведений с неожиданным индифферентизмом, что было особенно странно после громадного труда, положенного каждым из них на составление труда в рукописи. Сдав издательству свои рукописи, плохо переписанные, изобилующие ошибками и несогласованные в частях и разделениях, они считали свое дело сделанным и не проявляли никакого интереса к набору и верстке. Это была прямая противоположность старым авторам, которые, как М. О. Гершензон или М. А. Мензбир, сделав какое-либо исправление в

* В тексте год отсутствует.

рукописи или в корректуре, специально, бывало, заходили в издательство, а то и в типографию, чтобы проверить, понята ли их поправка. И старики так делали и в молодости, и в старости. Таков был стиль работ и таково было чувство ответственности. Новое поколение выходило с другими привычками.

Первые выпуски «Итогов» вышли к открытию Первой сельскохозяйственной выставки[17]. Мне передавали, что когда эти книжные новинки были поданы на стол Рыкову, он сказал представителю «Новой деревни»: «Вот что вам нужно было издать!»

Все же мы выпустили пять выпусков «Итогов». Принесли ли они пользу русскому сельскому хозяйству?

То же беспечное отношение к печатаемому труду его проявил ученик П. Б. Ганнушкина – Н. П. Бруханский. Несомненно, Н. П. положил немало труда при подборе и классификации материалов, иллюстрирующих в его «Судебной психопатологии» различные аномалии в психике революционного времени, благодаря чему книга его даст богатый запас фактических наблюдений будущему исследователю эпохи. Но такой исследователь, когда он обратится к этому источнику, во многом будет обязан З. П. Измайловой, проработавшей книгу с ее автором от абзаца к абзацу. Кроме названной книги, мы под общим руководством П. Б. Ганнушкина выпустили в те годы ряд *медицинских книг* – преимущественно принадлежащих перу его учеников.

*23.II.33 скончался Петр Борисович Ганнушкин. Это был человек большого ума и исключительной сердечности, что редко сочетается. Впрочем, среди моих друзей я знавал таких, гармонично сочетавших необыкновенный ум и необыкновенную отзывчивость. Назову для примера Николая Васильевича Сперанского. Но ведь вообще я был необыкновенно счастлив в друзьях… Познакомился я с Петром Борисовичем сравнительно недавно, в 192 […][*] году, когда он захотел выпустить в нашем издательстве небольшую свою брошюру «Психиатрия»[**]. С тех пор мы поддерживали знакомство, видаясь, впрочем, нечасто. Мне приятно теперь отметить, что этот недюжинный человек проявлял в течение всего нашего знакомства определенное ко мне расположение, совершенно мною не заслуженное. Когда он недавно кончил последний свой труд «Клиника психопатий, их статика, динамика, система-

* Год отсутствует.

** Ганнушкин П. Б. Психиатрия, ее задачи, объем, преподавание. М., 1924.

тика», он пожелал опять-таки непременно издаваться у нас, на этот раз уже в издательстве «Север». Мне нелегко было провести это сквозь все разрешения, ибо «Север» по типизации своей медицины не издает. Все же все трудности формального свойства и трудности бумажные были .наконец преодолены, книга набрана, сверстана, подписана к печати. Петр Борисович, как будто предчувствуя надвигающуюся катастрофу, необыкновенно волновался ходом корректур, торопил печатание. Но тут, как назло, вышло небывалое в моей практике обстоятельство. Мы при корректуре постоянно отмечали, что оттиски изобилуют «заусенцами». В типографии меня заверяли, что перед печатанием пройдут щеткой и устранят эту неприятность. Однако когда дело дошло до печатания, то пришлось признать, что текст отлит монолитом с изношенными матрицами и что удовлетворительной печати получить нельзя. Пришлось всю книгу вновь переливать! Отсюда неожиданная задержка в выпуске. К тому же я из-за гриппа не выходил, не мог быть лично в типографии, а там вышли пререкания у наборного цеха с печатным. Мне горько, что все это доставило огорчение Петру Борисовичу. Мы с ним по этому делу говорили на днях ночью по телефону, а 23-го Зинаида Павловна телефонирует в издательство как слух, что Петр Борисович заболел аппендицитом и предстоит операция. Не желая беспокоить его домашних, звоню П. М. Зиновьеву. Отвечает: «Петр Борисович вчера скончался в Кремлевской больнице на операционном столе от слабости сердца. Оперировали Розанов и Мартынов. Смерть была неизбежна, ибо найден рак кишечника и прободение слепой кишки...» Я ушам своим не верил!

На похоронах я из-за гриппа своего не мог быть. Но был на первой гражданской панихиде. По возвращении домой подхожу к телефону по звонку. Слышу незнакомый женский голос: «Вы меня не узнаете? Немудрено. Мне трудно говорить. Меня переехал грузовик, раздробил нижнюю челюсть, скальпировал череп. Я – жена Юв. Ив. Липковского (бывшего издателя). Извещаю вас, что он скончался от разрыва сердца. Завтра похороны».

Не слишком ли много смертей за раз?

28.II.33. Просидел у нас С. В. Сперанский вечер. Говорили о Петре Борисовиче. Сергей Васильевич познакомился с Петром Борисовичем через его брата Ивана Борисовича, с которым сошелся в университете. Их было три брата. Жили очень дружно в номерах Скворцова, пока отец их не перевелся в Москву и не получил обширной казенной квартиры при Воспитательном доме.

По смерти он оставил детям хорошие средства. Петр Борисович свою долю наследства скоро прожил, тогда как братья его положили свои части в Государственный банк и проживали одни проценты, осуждая легкомыслие Петра Борисовича. Но разразилась революция, капиталы были конфискованы, и Петр Борисович, в свою очередь, мог спросить братьев, что они выиграли от своего благоразумия.**

В годы гражданской войны мы были отрезаны от Европы. Не получая из-за границы ни книг, ни журналов, широкие круги читающей публики не были осведомлены в движении научной мысли на Западе. И вот при НЭПе как из рога изобилия перед ней разом предстали: Эйнштейн с принципом относительности, Планк с теорией квантов, Воронов с пересаживанием желез для омоложения, Кречмер с психопатическими конституциями и проч., и проч. Заманчиво было предпринять серию научных обозрений. Но до революции это с успехом делалось издательством «Образование» («Новые идеи в химии» и пр.), по слухам возобновлявшим свою деятельность. Я всегда избегал дублирования. Тем более при тогдашнем оскудении! Я решил не давать обозрений по всем дисциплинам, а выбрав две науки – физику и биологию, дать по ним более обширные и углубленные сводные монографии.

Для *«Новой физики»* нужен был редактор. Намечался А. Ф. Иоффе. Раньше, чем приглашать его, я советовался с А. А. Чупровым, находившимся за границей. Сохранилась наша о том переписка.

В *«Новой биологии»* мне казалось желательным выдвинуть биологию человека и, в частности, применение биологических методов и воззрений к изучению человека и человеческого общества. Однако ни Мензбир, ни Кольцов, ни Филипченко, к которым я последовательно обращался, не согласились выступить ни с оригинальными, ни с переводными работами в этой области. Сочувствуя моей мысли, они находили, что я затрагиваю опасную политическую тему. Между тем я именно и хотел выступить в противовес укоренившимся клеветническим злоупотреблениям дарвинизмом и его борьбой за существование, оправдывавшим будто бы насилия, права сильного, претензии сверхчеловека и проч., что уже слишком долго без отпора развивается и пропа-

* Текст, отмеченный звездочками *...*, представляет собой дневниковые записи М. В. Сабашникова, включенные им в «Записки».

гандируется некоторыми немецкими писателями и политиками. Казалось мне, критика здесь была бы ко времени...

Занимала меня очень мысль об издании *«Памятников русской старины»*. Об этом велись переговоры с В. Н. Щепкиным, А. И. Анисимовым, Н. М. Щекотовым, Н. Д. Бартрамом и с бывшим ярославским издателем Некрасовым, известным своими превосходного издания монографиями ярославских храмов. Он, видимо, мечтал о возобновлении своего издательства, но не решался на такой смелый шаг в одиночку. Речь могла возникнуть лишь о соединении наших энергий, а не капиталов, которых у нас у обоих не оставалось. До постановки таких вопросов, впрочем, не дошло. Разговоры преимущественно вращались вокруг задач предприятия.

А. И. Анисимов предоставил мне к изданию исследование об иконе Владимирской Божьей Матери. Я провел монографию через Главлит, получил разрешение, снял с иконы фотоснимки для трехцветных репродукций и договорился с Госзнаком о печатании. Оттиски в красках сохранились у меня до сих пор. Но увы! Дальше этого дело не двинулось вследствие обструкции типографскими рабочими. Я передавал снимки из типографии в типографию, но безуспешно. Всюду работа над иконой не двигалась!

Придя в отчаяние, автор взял у меня рукопись и фотоснимки и передал их Пражскому издательству, которое очень сравнительно скоро выпустило издание в свет, но с другим текстом (!), что навлекло автору неприятности.

Сближение с Л. М. Леоновым побудило меня попытать свои силы в издании *современной русской беллетристики*. Это, правда, не соответствовало ни духу, ни традициям нашего издательства. Но времена были исключительные. Прежние издательства, занимавшиеся беллетристикой, все до одного развалились. Возникавшие новые – партийные и государственные – ставили себе преимущественно политические задачи, а кооперативные и частные предпочитали заниматься переводными романами. Для нарождавшихся своих молодых талантов, казалось, не было и еще долго не будет приюта ни в одном советском издательстве. За помощью в постановке нового отдела я обратился к С. А. Полякову, бывшему издателю «Скорпиона»[18], человеку в этом опытному и мне хорошо известному. Однако отдел этот не получил развития, и дело свелось к выпуску лишь нескольких книжек. При этом начинании я странным образом не учел то самое мое предвидение, которое было у меня предметом спора с И. С. Остроуховым и основательность которого вполне подтвердилась на деле.

Конец издательства М. и С. Сабашниковых

В 1929 году с окончательным отходом партии от НЭПа, в связи с наступлением всеобщей коллективизации, все «частные» издательства принуждены были закрыться, в том числе и наше «Издательство М. и С. Сабашниковых». Это произошло катастрофически для всех. Но у нас было особенно плохо! Мы не только потеряли то немногое, что оставалось в результате ряда предшествующих крахов и от работы последних лет, но мы не смогли при ликвидации расплатиться со всеми долгами. Да и немудрено. Фининспектор обложил нас налогом, превышавшим средства издательства, и, не теряя времени, описал имущество и приступил к принудительной его реализации, как всегда в таких условиях, за бесценок. Опротестовать обложение не удалось. Никакие доводы, выкладки и ссылки на законы ни к чему не служили. Под формой обложения налогом производилась политическая операция – замаскированная экспроприация всех «частников». Дело еще осложнилось тем, что наши покупатели – всё госорганизации – внезапно прекратили всякие отношения с частниками. Книги частных издательств книгопроводящая сеть перестала покупать. Этим главная статья нашего актива была низведена внезапно до нуля. Уже много позже удалось реализовать часть книг через товарищество «Север» Шефскому обществу Госиздата по цене 15 – 20% от номинала, т. е., в общем, вдвое ниже их себестоимости, с получением притом денег в рассрочку. Во время же ликвидации издательства – кассы, причитавшихся получений, на которые было наложено запрещение, спущенных за грош остатков бумаги, обстановки, двух несгораемых шкафов, пишущей машинки и прочей мелочи не хватило на покрытие налога. Инспектор обратил взыскание на мое личное имущество в моей личной квартире. Пришедшие туда были крайне удивлены, убедившись, что вся-то квартира состоит из одной комнаты в 13 кв. м. и что в ней ничего ценного нет.

Нужно сказать, что катастрофа издательства М. и С. Сабашниковых в 1930 году могла быть избегнута и отчасти произошла по моей неповоротливости. Надо было еще заблаговременно реорганизовать издательство на кооперативных началах. В кооперативной форме оно могло бы просуществовать еще лет пять, как просуществовало созданное нами после ликвидации кооперативное товарищество «Север» вместе с издательствами «Мир», «Посредник», «Гранат», т. е. до 1935 года. Мысль о такой реорганизации приходила мне задолго до 1930 года. Но при разработке

этого плана я впадал в какую-то нерешительность. В оправдание свое скажу, что не я один сделал эту ошибку. Одновременно с нами принуждены были ликвидироваться все частные издательства: акционерное общество «Мосиздат», «Макиз», «Книга» и другие. К тому же жизнь ленинградских кооперативных издательств, постоянно подозревавшихся в «лжекооперации», не очень-то поощряла к такой реформе.

Моя нерасторопность в данном случае могла иметь для меня и для Софии Яковлевны весьма печальные последствия, и если дело ограничилось одним испугом, то только благодаря счастливой случайности. Дело в том, что как владельцы частного издательства, т. е. частного предприятия, мы с Софией Яковлевной автоматически попадали в 1930 году в разряд лиц, лишенных избирательных прав, каковые подлежали высылке из Москвы с конфискацией имущества. К нам и явились сначала «для изъятия ценностей», что могло выразиться после деятельности фининспектора лишь отобранием отреза, припасенного Софией Яковлевной мне на брюки. Когда же явились с ордерами Ягоды на наш арест, у нас уже были на руках полученные за несколько дней перед тем официальные уведомления о восстановлении нас в правах. Не получи мы этого уведомления, мы были бы тогда же арестованы и незамедлительно высланы. Нам обоим было уже шестьдесят лет, понятно, чем это нам угрожало.

Итак, издательство М. и С. Сабашниковых осенью 1930 года закрылось.

Привожу здесь отметку, сделанную А. В. Луначарским на нашем ходатайстве о восстановлении в правах: «Считаю лишение прав М. В. и С. Я. Сабашниковых чистейшим недоразумением. Их издательство имело высококультурное значение, что признавалось, между прочим, и самим Владимиром Ильичем. При обсуждении вопроса о частных издательствах он сказал мне: «Наиболее культурным из них, вроде Сабашниковых, надо помогать, пока не будем в силах их заменить полностью». – Безусловно присоединяюсь к этому ходатайству. К. Чл. През. ЦИКС А. Луначарский».

Кооперативное товарищество «Север» (1930 – 1935 гг.)

По окончании ликвидации издательства М. и С. Сабашниковых бывшие его сотрудники организовали кооперативное товарищество «Север». Академик Д. М. Петрушевский возглавил новое издательство, в котором приняли участие: С. В. Бахрушин,

Н. П. Губский, А. А. Захаров, С. В. Сперанский, З. П. Измайлова, М. А. Чупрова, М. А. Цявловский и П. Б. Ганнушкин.

Издательство «Север», в сущности, было продолжением издательства М. и С. Сабашниковых. И не только по составу сотрудников и по характеру выпускаемых книг, но и с экономической и финансовой стороны, так как за последние годы существования его владельцы, кроме положенного им жалования, никакими другими выгодами не пользовались, и когда получалась прибыль, ее не брали. Дело приходилось начинать сначала, без всяких средств, с несколькими рукописями, правда, надежными. Последнее, конечно, было очень важно. Однако при том резком изменении материального и правового положения читающей публики, происшедшем в те годы, делать предположения о возможной ходкости той или другой книги было, конечно, рискованно. Впрочем, «ходкость» книги в то время в значительной степени предопределялась усмотрением заведующих «торгсекторами» «книгопроводящей сети».

Опыт издания трех технических справочников, прошедших успешно, все же показал, что этот род книг «Северу» не по средствам.

Напротив, «Записи Прошлого» под испытанной редакцией С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского пошли в новом издательстве очень хорошо. При этом поступавшие предложения новых рукописей для «Записей Прошлого» давали основание надеяться на прочное существование этого издания.

Из медицинских книг «Север» выпустил посмертное издание труда П. Б. Ганнушкина «Клиника психопатий»*.

Не обошлось и тут без старого друга П. Ф. Маевского: «Север» выпустил 11-е издание его «Весенней флоры».

* * *

В 1934 году все маленькие кооперативные издательства, как «Мир», «Посредник», «Север», «Научное книгоиздательство» и другие, были неожиданно влиты – одни в Государственное издательство, другие – в издательство «Советский писатель».

«Север» не избежал общей участи, и ему пришлось влиться в издательство «Советский писатель».

С тех пор я от издательства книг отошел...

---

* «Клиника психопатий – их статика, динамика, систематика». – *Примеч. М. В. Сабашникова.*

Прекращение деятельности нашего издательства (сначала М. и С. Сабашниковых, потом «Севера») на полном ходу оборвало работу по целому ряду начатых подготовкой, а то и самим производством книг. Из них большинство так и не увидело света. Как правило, мы не начатые набором рукописи возвращали авторам, которые затем сами старались их пристроить в государственных издательствах или реализовать иным способом. Так, увидели свет, насколько знаю, [...]* книги нашего портфеля: «Песнь о Роланде» в переводе Делабарта; Светоний; Плавт в переводе Артюшкова; Вергилий, «Энеида» в переводе Брюсова; «Дневник С. А. Толстой», ч. IV, в издательстве «Советский писатель»; М. Зензинов, «Охота на Игарке»; «Песнь пахаря» в переводе Д. М. Петрушевского. «Песнь о Роланде» выпущена была неожиданно для меня. Госиздат не использовал ни собранных мною во множестве материалов для иллюстрации этой книги средневековой жизни, ни написанной специально для нашего издания Н. В. Сперанским статьи о роли монашества в поддержании и распространении культа Роланда в целях католической пропаганды. Между тем эти интересные дополнения делали бы эту книгу более ценной.

Гораздо большее число из возвращенных авторам рукописей *остались неизданными*. Назову важнейшие. Итак, мы вернули: вдове А. Е. Грузинского его перевод «Шахнаме» Фирдоуси, редактированный Крымским; М. М. Покровскому его перевод «Цезаря»; С. М. Роговину его перевод «Писем к Луцилию» Сенеки; пер. «Метаморфоз» Овидия; Пясту перевод Тирсо де Молина; Церетели его перевод «Драматических отрывков» Герода; «Киропедии» Ксенофонта; Вяч. Иванову его перевод «Орестеи» Эсхила; Джунковскому Ф. его «Воспоминания»; Бахрушину С. В. его «Воспоминания о студенческой экскурсии в Грецию»; Гейнеке Н. А. «Воспоминания о Большом театре»; «Воспоминания» Купчинского; Соловьеву С. М. – «Воспоминания детства»; Захарову А. А. – «Древнейший Восток»; Гейнеке Н. А. – «Красная площадь в иллюстрациях»; Никольскому М. В. его перевод «Псалмов»; Кудряшеву перевод «Нибелунгов» в стихах размером подлинника; Гальковскому – Гундулич, поэма «Осман», перевод в стихах с иллирийского.

Не были возвращены и *остались у меня* на руках рукописи: «Эдда», т. II, перевод Свириденко С. А.; Кальдерон, перевод Бальмонта; «Греческие лирики», собр. В. О. Нилендером; статья к ним Ф. Е. Корша (гранки); Чичерин Б. Н. «Воспоминания», т. I и II;

* В тексте цифра отсутствует.

Жемчужников «Воспоминания» (неизданные части); Масальская «О Шахматове», повесть, II и III; Юшневский «Воспоминания следователя по особо важным делам»; Харламов «Воспоминания бюрократа»; «Письма из архива гр. Гудовича»; «Записки генерала Келлера»; Липаев «О Большом театре»; Готье Ю. В. «Борьба за политическое влияние в начале царствования Александра III» (верстка); «Плачи о погибели земли русской» (верстка); Хлендовский «Рим». I, «Ренессанс» и «Рим», II. «Барокко»; Эразм Роттердамский «Похвала глупости», перевод Диесперова; Данте «Пир»; Франклин «Автобиография»; Ирасек «Против всех» (роман); Александр Блок «Изборник стихов, им самим составленный».

Когда разразилась война с Германией и начались бомбежки Москвы, я сдал на временное хранение в Соц. отдел Библиотеки Академии Наук (угол Знаменки и Знаменского пер.) оригиналы рукописей: «Эдды», ч. II, стихотворный перевод Свириденко; Чичерина «Воспоминания», гл. I; Унковский «Записки моряка»; Жемчужникова*.

Само собой разумеется, что прекращены были также работы авторов и редакторов по подготовке текстов для новых книг. Напомню, что наше издательство работало преимущественно по линии своих серий: «Серии учебников по биологии», «Среди природы», «Homo sapiens», «Итоги работ русских опытных учреждений», «Записи Прошлого», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», «Изборники стихов русских поэтов». Давать здесь список работ, начатых авторами и не доведенных ими до конца, не стану. В издательстве остались от них преимущественно отрывки и опыты. Среди них, впрочем, имеются такие ценные вещи, как перевод биографии Дантона, сочинение Мадлен, за смертью Николая Васильевича не получивший окончательной редакции, а также первые главы «Истории территории государства Российского» М. К. Любавского (в верстке), о судьбе этого труда М. К. Любавского рассказано в другом месте этих записок.

Приводимые здесь данные, а также обозрение книги договоров с авторами, у нас сохранившейся, может привести, пожалуй, в недоумение обилием заказанных авторам и редакторам работ, превышающих пропускную способность нашего аппарата и наши финансовые возможности. Укажу, что было стремление к расши-

* «Воспоминания» Б.Н. Чичерина, «Записки моряка» С.Я. Унковского, «Мои воспоминания из прошлого» Л.М. Жемчужникова – сегодня полностью изданы в «Издательстве им. Сабашниковых». – *Примеч. ред.*

рению дела, к чему побуждал необычайно возросший спрос на хорошую книгу. Отмечу еще два превходящих обстоятельства, из которых одно толкало на авансирование авторов и на заказы им книг, другое создавало к тому возможность. А именно: бедственное положение части нашей интеллигенции при ужасающей дороговизне побуждало при малейшей к тому возможности давать и даже создавать кому можно заработок. Непрерывно же стремительно падающие в своей покупной способности бумажные деньги побуждали к скорейшей их замене на более стойкие ценности, каковыми являлись золото, ин. валюта, товары, всякие сделки с которыми были либо абсолютно запрещены (золото, ин. валюта), либо за их дефицитностью ограничены (бумага, например). Легкое и ничем не стесняемое обращение бумажных денег в литературный труд спасало от неминуемой и быстрой потери на деньгах. Приходилось при этом преодолевать затруднения, обычно встречающиеся на пути при расчетах в рассрочку падающей валютой. С авторами такие расчеты особенно щекотливы, так как авторы иногда совсем в них не разбираются.

В кооперативном товариществе «Сотрудник»

В реорганизованном товариществе, получившем название «Сотрудник», я занял должность ответственного редактора. Выпускали образовательные игры и наглядные пособия. Из более или менее значительных объектов назову наглядные пособия [...][*]; настольные, многокрасочные игры В. М. Голицына «Юнга» и «Пираты». Последнюю, впрочем, пришлось перед самым печатанием в последней корректуре уступить «Коизу»[19], за которым была признана монополия на настольные игры. «Коиз» возместил при этом «Сотруднику» все расходы. Однако воспользоваться доставшейся ему так легко и просто столь значительной работой «Коизу» не удалось. Не знаю почему, но Главлит неожиданно запретил «Пираты».

Особо надо назвать превосходно задуманную С. С. Барановым серию чертежей-пособий для изготовления деталей самодельных игрушек и приборов под общим названием «Для умелых рук». Во времена НЭПа С. С. Баранов под этим же названием выпускал брошюры своего сочинения и частично под его редакцией, составленные привлеченными им авторами-специалистами. В новом оформлении (чертеж вместо брошюры) эти пособия пошли

* Названия пособий в тексте отсутствуют.

с прежним успехом, вне всякого сомнения удовлетворяя острые запросы подрастающей детворы в руководствах по всякой технической работе. Это неоспоримо доказывалось и прямым спросом ребят, и получавшимися от них письмами, содержавшими всяческие их пожелания.

Все шло в «Сотруднике» более или менее хорошо, когда в январе 1937 года в Главлите вдруг усомнились в праве «Сотрудника» выпускать серию «Для умелых рук», раз ему Главлит не давал издательских прав. Нам с С. С. Барановым немалых трудов стоило, чтобы избежать кораблекрушения. Но продукция и на самом деле была и слишком хороша, и слишком своевременна, чтобы на нее накладывать руки! «Для умелых рук» – мы отстояли...

Во время хождений моих в Главлит, который тогда еще состоял при Наркомпросе и помещался на пятом этаже, произошел потешный инцидент, который мною был тогда же по возвращении домой записан на память. Привожу здесь эту запись:

7.III.37. Сегодня я ходил в Главлит. У входа надо было предъявить паспорт. Старичок, проверявший пропуска, взглянул в паспорт, посмотрел на меня и с недоумением воскликнул:

– Вы на три года старше меня, а взбегаете на пятый этаж, как молодой человек. Никогда не пили?

– Ну, этого сказать нельзя, пивал, но, конечно, в меру.

– Ну, стало быть, у вас жена очень хорошая!

– Вот что верно, то верно! – сказал я, пожелав старичку доброго здоровья.

ПИСЬМА

Поездка в Сибирь в 1902 г.

Бердяуш, Суббота, 1 июня 1902

Пишу тебе с Урала. Поезд наш поднимается всё на хребет. Вскоре, через два приблизительно часа, придем к Златоусту, а затем достигнем наивысшей точки перевала. Подъем очень красив. Он не так разнообразен и не так величественен, как известные перевалы в Швейцарии, так как и горы тут незначительные, но все-таки очень красив. Впрочем, как говорят, самая красивая часть еще впереди.

Первые двое суток провел так. Прежде всего, не позволял себе спать днем, оставляя это занятие на ночь, и, кроме того, боясь совсем раскиснуть, если не соблюдать известного режима. Такие господа в нашем поезде есть, и я не представляю себе, в каком-то виде они доедут до Иркутска. Затем выходил гулять обязательно на каждой станции. Читал и в эти дни прочел том Levat об Ононе[1] и книжку Loti – «Последние дни Пекина»[2].

Хотя я, как уже сказал, выходил на станциях постоянно, но вышло так, что только вчера встретились с Наст. Мих. Ордынской. Она, оказывается, как и предполагал Лунц[3], села в Туле на этот же поезд. Из других знакомств укажу на Яворовского[4] и Пфаффиуса[5], знакомого Астровых[6], с которым мы познакомились на следующий же день.

Ну, спешу кончить и опустить письмо в Златоусте. На ходу писать совершенно невозможно.

Твой М. Сабашников

3. VI. 1902 г.

Это письмо я опущу во встречный скорый поезд, который будет сегодня вечером. И так, ты его получишь сравнительно скоро… Мы едем сейчас Барабинским краем, лежащим между Иртышом и Обью. Это равнина, болотистая, усеянная озерами по большей части горьковатой воды и поросшая травой. На более

возвышенных местах растет береза. Картина унылая. Через несколько часов достигнем Оби, а там вскоре пойдет тайга. Ехать довольно хорошо, не жарко и, благодаря перепадающим время от времени дождям, не пыльно.

С нами едет молодой человек, кончивший Восточный факультет в Петербурге. Он занимается монгольским языком и едет в Монголию. Имеет намерение, между прочим, пройти пешком весь Онон, и таким образом мы, быть может, еще с ним там встретимся.

Сейчас проехали Обь. После Оби картина совершенно изменилась.

М. Сабашников

Иркутск, гост. «Метрополь» 6 июня 1902 г.

Сегодня приехал я в Иркутск. По С.-Пб времени поезд подошел к Иркутску в 3 ч. 25 м., но местное время разнится от С.-Пб-ского на 4 ч. 56 м., и потому в действительности мы приехали в Иркутск вечером. Эта огромная разница во времени накоплялась, хотя и постепенно, но все-таки настолько быстро, что в пути очень трудно было приспособляться к новому времени. Некоторые пассажиры так и совсем с толку посбились – пили утренний чай, когда мы завтракали или обедали, а обедали, когда пора было по времени либо спать ложиться, либо ужинать. На вокзале в Иркутске меня встретил В. В. Зазубрин[7]. Шел мелкий, скверный и скучный дождь, и мы, укрывшись, как могли, поехали с ним по лужам и слякоти не мощёных иркутских улиц в гостиницу. Затем, потолковав немного о том о сём, он меня оставил, и я, прежде всего, кинулся в баню. Хотя в поезде нашем и была ванна, но я как-то относился к ней брезгливо, уж очень нечиста вся поездная прислуга. Затем поужинал, убрал свой номер (пришлось всё доставать, так как постелей в гостинице не полагается) и теперь засел тебе писать. Как видишь из всего сказанного, про Иркутск я тебе ничего сказать не могу, т.к. ничего сам и не видел. Напишу об Иркутске после, когда посмотрю его как следует, теперь же остается говорить про переезд из Москвы в Иркутск, т.е. говорить про прошлое в некотором роде. Ну, а ты знаешь, что я в этом отношении подобен дикарям и в письмах интересуюсь лишь настоящей минутой. Не помню, кто указал, что в отличие от цивилизованных народов дикарей можно характеризовать как людей минуты. Все-таки пересилю свою нелюбовь писать о прошлом и скажу несколько слов о Сибирском поезде и о впечатлениях от дороги.

Прежде всего, вопреки ожиданию, переезд переносился, по-моему, очень легко. Надо, впрочем, сказать, что погода для дороги была весьма благоприятная. После перевала через Урал все время перепадали небольшие дожди, убивавшие пыль на пути, и было при том не очень жарко.

Что касается спутников моих, то ты уже знаешь, что до Мариинска со мной ехала Н. М. Богданова*, теперь Ордынская. Затем ты знаешь про горного инженера геолога Яворовского и про Пфаффиуса, знакомого К. Д. Бальмонта, тоже горного инженера, служащего в Хабаровске. С ними, в особенности с Яворовским, много толковали о золотопромышленности. В моем купе до Урала ехали два иностранца: один немец, живущий постоянно в Москве и потому причисляющий себя к москвичам («мы – москвичи» – у него постоянно на языке), другой – жиденький бельгиец, не говорящий ни слова по-русски; он ехал на Урал ревизовать дела какой-то бельгийской компании. По виду, едва ли большой толк от его ревизии будет. Четвертым в купе был длинновязый господин, по виду и, особенно, по манерам и по говору очень напоминавший мне Ижицкого, но в неприятную сторону. Он оказался уроженец Новочеркасска, инженер, теперь подрядчик по Сибирской ж. д., сколотивший себе в несколько лет хороший капитал, о чем он и поспешил дать всем знать заявлением: «У меня у одного миллион есть». В соседнем купе ехали его жена и сестра. Франтили до невыносимости и до смешного. Чтобы выйти погулять на станции Обь, они переодевались, и при том это брало у них более часу! Подслышав мой разговор с Яворовским, этот подрядчик, Ротов по фамилии, догадался, что я имею какое-то отношение к золотопромышленности, и предложил мне «дело». Оказывается, он, с каким-то Маркевичем, получил исключительное право на разведки золота по левому притоку Амура Амазару на кабинетских землях. Сами они работать не будут, и хотят свое право либо продать, либо уступить на арендных началах. То ли что он действительно, как и сам говорит, ничего в золотопромышленности не понимает, или он надеялся подцепить меня на какую-нибудь глупую штуку, но на расспросы мои об условиях, на каких можно будет не разведывать, а работать, он толкового ответа не дал. Я ему объяснил, что разведки ставят только там, где знают условия, на каких придется работать, так как разведки – вещь дорогая, и зря на неподходящей по условиям аренды местности никто их производить не станет. Тогда он просил сообщить мой постоянный адрес, чтобы

* Анастасия Михайловна Ордынская.

написать всё подробно, справившись дома об условиях. Я дал ему свою карточку, он мне свою. Здесь произошло «узнание». Оказалось, его жена – сама курская, знает поэтому Ал. Вл.* и все курские сплетни. Я был осчастливлен и представлен сей особе. Этот Ротов – довольно типичный для пассажиров Сибирского поезда господин. Конечно, главным образом, на две трети, а то и более, преобладает в поезде чиновник разных ведомств и министерств, в форме и без оной, но из штатских – не чиновных пассажиров, главным образом встречаешь «homines novos», как выразились бы римляне, т.е. «людей новых», составивших себе состояние, имя и положение в свете в самое недавнее время, обогатившихся быстро и продолжающих еще лезть в гору по ступеням человеческих рангов. Подрядчики по железной дороге в этой категории преобладают, но есть и другие, например, едущий во Владивосток с женой купец. Он, а особенно его жена, производят самое благоприятное впечатление своей простотой, радушием и вместе с тем деликатностью и тактом. Он, между прочим, отлично играет на рояле. Оказывается, уроженец Одессы, окончивший тамошний университет, он не так давно, всего несколько лет, переехал во Владивосток, взяв себе представительство от нескольких немецких фирм. Теперь он считается местным богачом, имеет собственный дом во Владивостоке в 200.000 руб., собственное дело и возвращается из заграницы, куда он ездил по делу электрического трамвая, который он предлагает соорудить во Владивостоке. А вот и другой тип – это углепромышленник. На линии ж.д. в нескольких местах найдены залежи каменного угля[8], почему ж.д. отапливается, начиная с Оби и на восток, не дровами, а углем. В Иркутской губ. целых шесть предпринимателей, добывающих каменный уголь, которого каких-нибудь 5-6 лет тому назад и не знали совсем здесь. Один владелец шахты тоже на пути подсел к нам в поезд, это тоже местная восходящая звезда.

С этими новыми людьми интересно сравнить местную старую купеческую аристократию. Сибирская при этом совершенно в поезде отсутствует, она вся перебралась в столицы, делами сама не занимается, и потому и в Сибирском поезде её не встретишь, или встретишь лишь изредка. Другое дело – Уральское купечество и Уральские промышленники. Ко мне в Челябинске сели два господина из Екатеринбурга. Первое время по изящным костюмам и еще более по благовоспитанности ихней и по книгам, которые они читали, я принял их за столичных туристов, едущих посмо-

* Ал. Вл. – Алексей Владимирович Евреинов.

треть дорогу и Сибирь, а может быть и Китай. Потом, однако, выяснилось, что один – Уральский золотопромышленник (Качкарской системы), имеет рудное дело, которым сам заведует, установил недавно химическую обработку цианистым калием, которой руководит управляющий университетского образования. Другой – Уральский мукомол. Оба они постоянно живут в Екатеринбурге, а теперь задумали совершить кругосветное путешествие, чтобы посмотреть свет и круговращение людей. Едут в Японию, а оттуда через Америку в Англию и обратно в Екатеринбург. Временем они очень связаны, т.к. каждому надо вернуться домой к определенному сроку. Не знаю, но мне это всё как-то очень почтенным кажется. Прими во внимание, что это не молодежь. Золотопромышленнику лет более сорока, наверное, а вот не увяз с ушами в собственный капитал, а интересуется светом.

Продолжение 7-го VI. 1902

Вчера я дописался до 2 ½ часов ночи, в это время гасят электричество, и я остался впотьмах без спичек и свечей. Сегодня солнце ярко, небо подернуто лишь белыми веселыми барашками, лужи на улицах стали подсыхать, а потому я поскорее оделся и пошел гулять по городу. Странная картина – идешь по улицам и, право, недоумеваешь: неужели это Иркутск, а не какой-нибудь губернский город России. Ехать в такую отчаянную даль, чтобы на улице встречать студентов в тужурках и с тросточками, шагающими небрежно по тротуарам с книгами подмышкой. А вот и поп, настоящий коренастый попина, вроде наших Московских. Ребятишки пускают чурбачки – лодочки по ручейкам, канавкам и лужам, и проезжий гимназистик, вероятно, из приготовишек, с завистью смотрит на эту запрещенную ему на улицах забаву и о чем-то умоляет отца или учителя, едущего с ним на извозчике. Женщина врач Мария Николаевна Колокольникова[9] принимает по детским и женским болезням ежедневно по таким-то часам, о чем я узнаю по медной доске, прибитой к ее подъезду. Всюду церкви и соборы, еще больше бесконечных заборов, которые еще гоголевский городничий ставил на одну ногу с памятниками и прочими украшениями города, и, вспоминая его, я старательно выискиваю безопасный путь, проходя у этих заборов. На них, между тем, афиши – Славянский объявляет концерт[10], Малороссийская труппа дает спектакль и пр. и пр. Но вот дошел до Ангары, и всё сразу меняется. Река просто дивная – полноводная, с быстрым течением, без скучных мелей, она сразу заставляет чувствовать, что здесь где-то есть горы, а то неоткуда такой реке взяться. Наши

речки низменностей известно каковы, совсем другой вид. На реке довольно сильный, влажный, приятный ветер и можно ездить на парусе. Долго гуляю я по берегу, а затем по мосту, и никак не налюбуюсь на Ангару. Впрочем, мне еще доведется её посмотреть несколько выше Иркутска, т.к. ж. д. до Байкала почти все время идет берегом Ангары. Впрочем, не только Ангара выделяет Иркутск по внешности от прочих губернских городов. В нем много хороших зданий, между прочим, красивый каменный театр, затем красивое здание географического музея и другие. Зато мостовые совсем сплоховали, их вовсе нет, есть только деревянные тротуары. На пути домой в гостиницу встретил я китайца – это первый китаец, которого я за свою поездку вижу. Придется ли мне их еще посмотреть в Пекине – не знаю.

Зазубрин мне передал твою телеграмму от 2-го, полученную здесь лишь 4-го. <…>* Ну, пока целую тебя крепко и крепко, детишек обнимаю и целую. То-то они изменятся за мое отсутствие, совсем от меня отвыкнут!

Ни от Сережи, ни от Биршерта[11] телеграмм я здесь не нашел. Объясняю это тем, что телеграммы страшно запаздывают.

Пока я почти ничего не снимал, берегу катушки. Снял только Ордынских в нескольких видах, да едва ли что выйдет. Передай мои поклоны всем. Нине напишу сегодня же.

Побывал сегодня в Иркутском Географическом музее. Там очень много интересного. Сегодня я ничего не делаю, так как Зазубрин извинился, что он должен непременно сегодня присутствовать на пробах динамита (он представитель одной фирмы, торгующей здесь динамитом) и в виду позднего получения моей телеграммы не мог отложить это дело на другой день.

Твой М. Сабашников

Мысовая, 9. VI. 1902

Сейчас переехали через Байкал и засели в поезд. Большинство пассажиров едет в Порт-Артур или во Владивосток через Манчжурию. Народу много, мест мало, теснота, давка, перебранка и неприятности. Со мной в купе сидит инженер, служащий по Маньчжурской дороге. Говорит, что в истории русского железнодорожного строительства не было еще до Маньчжурской дороги более безобразного и хищнического ведения дел. Особенно негодует на охрану, от которой не было жизни ни тем, кого охраняли, ни тем, от кого охраняли. Просто башибузуки. Теперь их немнож-

* Здесь и далеее печатается с некоторыми сокращениями.

ко подтянули, но все-таки безобразие и теперь всюду сплошное. За время совместной езды, вероятно, наслушаюсь разных разностей от него. Инженеры и подрядчики царствуют теперь в Сибири небывалым еще образом. На Байкале сейчас буря, при переезде наш пароход спас гибнущую и идущую ко дну лодочку с двумя мужчинами, женщиной и ребенком.

М. Саб.

11 июня 1902 года

Сегодня приеду в Макавеево вечером и немедленно постараюсь тронуть дальше, чтобы еще засветло переправиться через Ингоду. Проезжая через Мангут, дам тебе телеграмму о приезде на Онон, т. к. это уже будет «почти дома». Надеюсь найти твои телеграммы и на Ононе, и в Макавееве. Забайкальская дорога очень красива. Пробовал снимать, но едва ли что вышло, т.к. со станций мало интересного, а снимать на ходу – толку мало. Мои Уральские спутники – золотопром. и мукомол много поснимали в Сибирском поезде, проявили в Иркутске и остались недовольны видами, снятыми на ходу. Эти господа и теперь едут со мной. Кроме того, едет еще доктор Манчжурской ж.д. Коноржевский. Ну, и порассказал он штучек про господ инженеров и военных! Он участвовал в походе Орлова[12], прославившегося расстреливанием мирных китайцев сотнями. Безобразий насмотрелся этот господин много. Целую.

Твой М. Сабашников

Нижне-Ульхинская п. ст. Забайкальской обл.

С лошадьми здесь целая канитель. Почтовые вечно заняты, надо ожидать их часов по пяти, шести, что, конечно, мне вовсе не подходит. Приходится нанимать то «земских», то «обывательских», то «вольных». Везут и те, и другие, и третьи хорошо, везут 12 верст в час, но пока их найдешь, пока приведут с поля, пока впрягают насильственно человек 5 молоденькую необъезженную пристяжку, чуть ли не держа её на весу на руках и всё приговаривая: «Она у нас маленько сумасшедшая», – время идет да идет, и скорое выходит в конце концов все-таки довольно медленным. Перегон сорок приблизительно верст я, вероятно, проеду более полутора суток, почти двое суток. Все-таки, однако, сегодня буду на Ононе.

Дорога очень красивая. От Маковеева она шла недолго берегом бурливой и многоводной Ингоды, через которую я перепра-

вился на пароме. Затем поехали вверх по долине речки Тыры и, сделав небольшой перевал, спустились долиной речки Или, впадающей в Онон, в долину Онона. Горы на первой части пути были покрыты густым, хвойным по преимуществу, лесом, который иногда спускался и на самое ложе долины. Однако в большинстве случаев ложе долин носит характер сочных лугов, усеянных самыми пестрыми цветами. Например, вчера одно время ехали, будто в море незабудок, сегодня утром меня окружали, насколько видно было глазу, лютики…, а кругом, конечно, горы и горы, то покрытые лесом, то травой. Много встречаешь на пути бурят. Бурятские пастухи мальчишки загоняли в горы овец, огромное стадо, играя в то же время, очевидно, в охотников, т.к. держали они в руках огромные луки и стрелы (больше роста самих мальчишек) и прицеливались то в одну овцу, то в другую, конечно, не стреляя. Встречаются часто бурятские оседлые зимовья и их передвижные юрты. Два раза наезжали на меня кавалькады девушек в пестрых платьях на малюсеньких, но очень бойких лошадках, но ни разу не удалось их снять, т.к. завидев меня (они выезжали на меня из-за угла, или из-за кущи деревьев и никак, очевидно, подобной встречи на ожидали), тотчас заворачивали и исчезали в несколько секунд. Отчасти недостаток лошадей объясняется тем, что в Акше назначена на 15-ое монгольская ярмарка, и туда уже заранее собирается народ. Казаки, у которых по преимуществу и приходилось нанимать лошадей, говорят по этому поводу, что правительство хочет приучить этой ярмаркой монголов к России, чтобы присоединить затем Монголию: «Ведь Амур шутя взяли»[13], – добавляют они в доказательство. Но если это так, то административная наша машина и здесь, как всюду, работает неисправно. Зимой была уже назначена такая ярмарка, и монголы действительно погнали великое множество голов рогатого скота, лошадей и овец. На границе всё это четвероногое население было, однако, остановлено для карантина, а т.к. за карантин дерут по 2 руб. с головы (зачем?), то, конечно, у монголов не хватило ни денег оплатить карантин, ни охоты платить за скот, который, быть может, и продан-то не будет и который назавтра, пожалуй, придется опять гнать обратно в Монголию. Здесь сейчас население волнуется относительно участи бурят. Толком не мог я разобраться в чем дело, но, по-видимому, правительство решило отменить теперешнее народное управление бурят и подчинить их общему порядку – нарезать землю в строго определенном количестве и отмежевать её, поселить бурят в постоянных деревнях, запретив им кочевать, устроить волостное начальство и подчинить бурят крестьянским

начальникам и пр. и пр. Те же меры принимаются и относительно других инородцев. Тунгусы, как говорят, подчинились, а буряты повиноваться не хотят. В виду этого их представители в числе более 1000 человек съехались в Чир и ведут переговоры с властями. Что-то будет – посмотрим.

Твой М. Сабашников

Ты уже знаешь из моей телеграммы, что я приехал на прииски 13-го. Эту телеграмму я отправил сам в Мангуте, когда нанял лошадей на последний перегон до приисков в 57 верст. Этот перегон я проехал в 4 ½ часа, т.к. молодой парень казак, везший меня, боялся попасть на прииски, когда стемнеет, т.к. дороги по приискам ему плохо известны, а в таком случае ничего не стоит угодить со всей тройкой и тарантасом в какой-нибудь разрез, шурф, в запруду, или просто наконец в яму. И правда – ты не представляешь себе, что такое выработанный прииск. Он весь изрыт сверху донизу, здесь высятся горы «отвалов» (перемытых песков или пустой породы), там – рядом огромные глубокие выемки, а здесь, в довершение всего беспорядка и путаницы, «старатель» – наследник и преемник хозяйских работ, стараясь извлечь что-нибудь из своего наследства, подкопался под отвал гротом, всюду понарыл ям, канав и т.д. Просто хаос какой-то. Впрочем, я, пожалуй, Онон тебе описывать не стану. Хотя я тут уже два полных дня, но впечатления как-то от приисков еще не выяснилось для меня самого – в хаосе всего здесь виденного я еще никак не могу разобраться, а потому не хочу и писать об этом до времени. Поселился я у Разумова в доме. Это тоже довольно оригинальное сооружение, которое, вероятно, как и наш Никольский, впрочем, дом, может быть объяснено лишь историческим методом. Вероятно, дом по мере разрастания дела разрастался тоже во все стороны, куда можно было податься. Получился лабиринт, в котором я сразу никак не мог ориентироваться. Не знаю, нашла ли ты в Никольском карту Сибири, о которой я тебе говорил: иначе тебе, вероятно, очень многое не ясно в моих передвижениях. Имей в виду, что Ононские прииски лежат не на Ононе, а на его притоках. Река Кыра впадает в Онон еще в пределах Монголии, беря, однако, начало и протекая главным образом по Забайкальской области. Так вот, у этой Кыры есть приток, между прочими, Средний Хонгорок, на котором и расположены Благовещенский, Васильевский и др. прииски нашей компании. Кроме того, мы имеем прииски по р. Баян-Зурга, впадающей в тот же Средний Хонгорок. Всё это лежит в 20 верстах от Монгольской границы.

На долине Онона кочуют монголы, а их верблюды забредают и к нам на Хонгорок пастись. Солнце днем печет и жарит без устали, заставляя постоянно помнить, что мы находимся гораздо южнее не только Москвы, но и Курска. По ночам здесь тоже тепло. В то же время прииски находятся на 6000 футов от уровня моря. Воздух поэтому сухой, прозрачный, как в горах. Малейший кустик можно видеть на горах на очень далеком расстоянии. Не думай, чтобы Баян-Зурга или Хонгорок были реки, на которых можно кататься, например. Это горные речонки, которые иногда разливают с большой силой и затопляют всю долину, по которой текут, но которые в обыкновенное время можно сравнить с Реутом или Мережой. Вот Онон и Ингода – это другое дело. Это большие, полноводные, бурные, быстрые реки. Обе очень красивы. Мне их пришлось переезжать на пароме. Ну, кончаю, пора сдавать письма на почту. Сегодня на почту отправляется 36 фунтов золота с золотниками и потому надо выслать их пораньше, чтобы золото сдать еще днем. Сейчас получил твою телеграмму, что все здоровы. Целую тебя и детей крепко.

Твой М. Сабашников

16 июня 1902, Благовещенский прииск

Если Сережа в Никольском, передай ему, что я одновременно пишу ему в Москву, т.к. не знаю, не будет ли он в Суткове ко времени прихода письма, ну а в таком случае выгоднее посылать через Москву. Впрочем, письмо это не важное. О делах обстоятельно напишу ему, получше оглядевшись здесь.

Макавеево Заб. ж. д., 24 июня 1902

Приехал я с приисков в Макавеево и первым делом на почтово-телеграфную станцию. Телеграмм не оказалось, но зато получил от тебя письмо. Оно сразу перенесло меня из Азии в Европу, с границ Монголии в Никольское. Ясно представил я себе сцену с Сережей, о которой ты пишешь: он надрывается и, потеряв способность видеть и слышать, что кругом делается, орет монотонно, но упорно односложное «двор», без глаголов и прочих ненужностей, ты же убиваешься, как бы прекратить «недоразумение», и в усердии своем получаешь отповедь: «не люблю», отповедь, которой ты никак не ожидала, которой ничуть не веришь, но которая все-таки расстраивает тебя окончательно… Но это всё пустяки, важно то, что капризы Сережины как-то растут, учащаются, увеличиваются в силе и энергии. Какой он год тому назад или вер-

нее полтора года тому назад был в этом отношении покладистый, милый! Как он охотно принимал «к сведению и исполнению» установившийся порядок и как любил даже соблюдение порядка! Впрочем, происходящие перемены вполне понятны, надо только не зевать, наблюдать и принимать те меры, какие окажутся необходимыми. Мы уже с тобой неоднократно говорили, и потому я вполне уверен, что мы с тобой согласны в одном самом существенном пункте, письмо же твое только подтверждает лишний раз, что я не ошибаюсь, т.к. ты поступила именно так, как я и ожидал. Важно именно не допускать до капризов, т.е. принимать предупредительные меры, чтобы не создавать условий для капризов. Большинство родителей, как я замечал, этого не признают и думают, что капризы имеют какую-то свою независимую от ничего другого причину. И в этом они сильно, по-моему, грешат, либо, окружая детей излишней сутолокой, сменой впечатлений – удовольствий и игр, совершенно несообразно со способностями и силой детей воспринимать внешние впечатления, либо не принимая мер заблаговременно устранить причину, или важнее, повод к капризам. Причины, кроме, конечно, внутренней – врожденной причины капризов, в большинстве случаев заключаются в нервированности детей, которым доставляется больше впечатлений, нежели они могут переварить; поводы же к капризам бывают самые разнообразные, но среди них есть некоторые поводы, так сказать, постоянные. Так, при внимательности воспитателя эти постоянные поводы к капризам – в большинстве случаев какие-нибудь соблазны, могут быть своевременно устраняемы. Зачем, однако? – может спросить какой-нибудь сторонник авторитарности, который главную задачу воспитания видит в приучении к повиновению. Для такого господина конечно непонятно, как это избегать капризов: ведь тогда никогда не представится случая заставить ребенка поступить против своего желания? Мы же с тобой не сторонники авторитетов, для нас важно, чтобы ребенок приобретал с детства хорошие привычки, которые вошли бы совершенно незаметно, постепенно в его, так сказать, характер, чтобы ему свободно, легко и приятно было быть хорошим ребенком и чтобы он был хорошим не потому, что этого от него требуют, а потому, что ему самому нравится быть хорошим. А в таком случае капризов, как и всяких других дурных привычек, следует особенно избегать, само собой разумеется, не давая при этом ребенку заметить, что его капризов «боятся». Ну да ты все это отлично понимаешь <…>.

Ты пишешь, в какой восторг Сережа пришел, увидев поля в окно вагона. И правда, трудно себе теперь и представить всю силу наслаждений, какие способен испытать человек со свежей, еще неиспорченной впечатлительностью при виде поля, луга или леса после целой зимы в городе. Для меня, например, до сих пор слово «деревня» связано как-то с видом поля, на котором сохой пашет подмосковный убогий мужичок, а в выси поднебесной заливается жаворонок. Эту картину я видел как-то при одном из наших приездов детьми из Москвы на дачу в Жуковку, и она так врезалась мне в память, что, казалось бы, я мог описать тебе и мужика, и шоссе, по которому мы ехали, и свет солнца, и всё прямо с фотографической точностью. Теперь мы уже всё это видели и пережили не раз, всё это нам слишком знакомо и, хотя по-прежнему мило и приятно, однако эти картины на нас не действуют уже с былой силой. Нужно что-нибудь новое, свежее, невиданное. Вот мне сейчас привелось такое новое, невиданное посмотреть. Как бы мне хотелось показать тебе здешние луга, тебе, любительнице всяких цветов. Такой пестроты, такого разнообразия я и представить себе не мог. От ж. д. до приисков приходится ехать двое суток долинами рек Ингода, Тыра, Иля и Онон. Горы, ограничивающие эти долины на севере, покрыты сосновыми, березовыми, лиственничными лесами, но по мере приближения к югу горы становятся всё более обнаженными, лес на них сменяется травой, очень часто редкой и пожженной уже солнцем. Порою луга самих долин покрыты сплошь коврами самых разнообразных цветов. Буквально едешь то по ковру незабудок, то по огромной куртине желтых лилий, то наконец все цветы перемешиваются между собой и среди яркой зелени травы пестреют во множестве оранжевые царские кудри, красные, как мак, лилии, синие стройные ирисы, белые левкои, дикие астры, да разве их всех узнаешь и разве их перечтешь, все эти цветы! Глядишь с тарантаса сутки, глядишь другие, и если бы надо было ехать дальше, то и третьи сутки смотрел бы всё с тем же удивлением и восторгом.

Но не одни луга поражают и привлекают к себе проезжающих. Горы так красивы, реки бурны и многоводны, воздух сух, прозрачен и светел до странности; а затем население – живописные группы бурят, кочующих со своими стадами по этим долинам, обстоятельные, деловитые, с большим чувством достоинства, обходительные и приветливые казаки, расселенные когда-то в этих долинах – всё-всё вместе взятое дает какое-то совершенно необыкновенное впечатление. Нет, Забайкалье стоит и очень стоит посмотреть. Бассейны Онона и Ингоды настолько своеобразны, что их ни с чем сравнивать не приходится.

Насколько хороша и привлекательна для туриста здешняя природа, настолько прииски, в настоящем, по крайней мере, их виде, производят неблагоприятное впечатление. В былое время оживление, кипучая работа, вероятно, окупали неприглядность обстановки, убогость жизни и, быть может, прииски производили внушительное впечатление. Теперь иное – прииски выработаны, производство продолжается, тлеет на старых работах, работы ничтожны – убоги, обстановка жилища – убога, да и люди убоги. На приисках преобладают «старатели», «золотничники». Это даже не арендаторы, а что-то еще ниже в смысле техническом и организаторском. Когда прииск перестает давать доход при правильных хозяйских работах, то отдельные его кусочки отдают различным арендаторам, которые ставят маленькие работы на кусках, оставленных при ведении хозяйских работ. На этих кусочках самим хозяевам нет расчёта работать, т.к. при своей разбросанности они не могут вестись при больших машинах. Когда арендаторам на прииске делать нечего, то зовут старателей. Золото кое-где еще остается, но изволь-ка найти его и выработать. За это и берется старатель. Он ходит с лотком по всему прииску и ищет, помоет здесь, найдет – хорошо, не найдет, идет в другой угол. И так охотится он за золотом всё лето. Всё, что от него требуют владельцы, это чтобы он не брал себе добытого им золота, а сдавал в контору, которая уплачивает ему за труды с золотника, доставленного им в контору золота. У них в старателях всё самый нуждающийся народ. «На это только от нужды пойдешь», – говорил Разумов про некоторых старателей, работавших на Баян-Зурге зимой.

Вот мужик промывает нарытую им землю. Он сам из Чикоя. Хлеб там хорошо родит, но одним хлебопашеством не проживешь. Помогала железная дорога, да она в этом году «отошла». Ждали, ждали – вот придут куда-нибудь нанимать, но никто не пришел, пришлось идти хотя бы стараться. Старик дед, совершенно седой, стоит в луже воды и выгребает лопатой со дна «ребровик», т.е. породу, составляющую ложе долины. Она вся пластинчатая, пластинки ребрами обращены вверх, при отрытии пласта хозяйскими рабочими, очевидно, кое-какое золотишко ссыпалось вниз и западало в щели породы. Достать это золото правильными работами нельзя, а вот дедушка покопается в этом ребровике день, гляди, ползолотника и намоет. «Там в обрыве хорошее золотишко есть, да круты борта, неровен час, обвалятся, засыпят меня старика, боюсь! А бабы вот копаются». Действительно, бабы посмелее, и за ними нужен глаз да глаз. Они должны копаться только там, где разрешено, но, найдя местечко получше, спешат его взять, с

опасностью быть заваленными при случае обвала. Разумову постоянно приходится с бабами ссориться, угрожая вовсе не допускать их на работы в случае несоблюдения ими его указаний.

За несчастья на приисках отвечает Разумов, произойди оно хотя бы и со старателем, забравшимся куда не положено. Вот он и охраняет свой собственный интерес. Бабы эти – все жены и домашние рабочих, служащих у него на приисках. Это уже их бабий дополнительный заработок. Кое с кем из них я поговорил. Некоторые пришли из Енисейской губернии, как объяснила мне одна славная бойкая бабенка, коротенькая, энергичная, рассказывавшая всё с какой-то приятной улыбкой. У них второй год неурожай. Хлеба не только есть, но и обсеменить не было. Земля была вспахана, но пахоту некому было продать, так как и у других ни у кого семян нет. Пришлось бросить пахоту без посева и идти на прииски. В дом чужих людей пустили. Муж работает у нас на золотопромывальной машине, она же вот «старается», копит на обратный путь. «У нас там дочурка трех лет осталась, пришлось тоже людям на лето поместить», – прибавила баба с улыбкой. Очевидно, воспоминания о дочурке, оставленной за тысячи верст, приводит её в особенное, тихое и радостное настроение, и она готова говорить о дочурке без конца. И ни малейшей жалобы на судьбу, или на людей, или, наконец, на начальство! Всё принимается с какой-то поразительной бодростью и благоразумием, с готовностью идти на всякие жертвы и лишения; но почему эти лишения, неужели они необходимы, неизбежны, почему другим лучше живется, – всё это вопросы, которые, быть может, и бродят иногда в головах этих людей, но на поступки их эти мысли не влияют. Эти черты характера меня и раньше поражали в простом народе, и теперь несколько раз приходилось с ней встречаться. Особенно заслуживает уважение бодрость, с которой они принимают всякие удары. То-то нам бы позанять у них характера побольше. Жидок и тонок интеллигент кажется сравнительно с этими людьми. Конечно, и среди интеллигентов бывают исключения.

Да, велика наша земля и обильна, а порядка в ней нигде-то нет, хоть всю перерой. Неурожай и обнищание крестьянства в Сибири тоже наблюдается, как и в России. У Забайкальских казаков тоже кризис. Жили они до сих пор отлично, но теперь приходится и им подумывать, чем пропитаться. Два неурожая подряд подорвали казаков и все их надежды на этот год.

Про бурят я тебе как-нибудь напишу. Здесь приходится слышать про «бурятскую реформу» такие невероятные вещи, что прямо не верится. По бесцеремонности к праву наше правитель-

ство превзошло самое себя, и Финляндские осложнения бледнеют сравнительно с производимой сейчас «революцией сверху» в бурятском крае. Не хочется сейчас писать, в надежде еще проверить всё, что здесь говорят.

Ну, целую тебя и обнимаю крепко. Рад был получить от тебя письмо и надеюсь, за этим первым приветом возлюбленной моей женки будет и другой, и третий, и четвертый, и т.д., вплоть до моего приезда в Никольское прямо в твои объятия. Детишек целую крепко.

М. Сабашников

Стретенск, пароход «Стрелок», 26 июня 1902 г.

До сих пор я ехал без всяких проволочек и затруднений, но теперь, кажется, начинается эта напасть. Вчера приехал в Стретенск с запозданием на 5 часов. Почтовый пароход уже ушел, и другой будет лишь через 5 дней. Нашелся товаро-пассажирский, на котором я устроился довольно удобно, получив отдельную каюту. Но беда в том, что мы должны были отплыть рано утром, поезда ожидать не предполагалось, т.к. вода в Шилке быстро убывает. Однако вот уже 12 часов, а мы не собираемся еще трогаться с места. На вопросы капитан отвечает, что ему хочется дождаться поезда, который должен был прибыть в 11 ч. 30 м., но который опаздывает. По частным слухам поезд опаздывает на 4 часа, и так мы ранее 3 едва ли выберемся. Между тем, при такой неопределенности далеко уйти от парохода нельзя, город на другом берегу, надо переезжать на пароме, и пароход может уйти перед носом в случае задержки парома. Вследствие такой неопределенности я отказался отыскивать в Стретенске г-на Андоверова[14], у которого хранятся вот уже более 15 лет Ононские «дробилки» (машины к рудной толчее). Итак, передай Сереже, что я к Андоверову не попал. Схожу сейчас посмотреть переселенческие бараки, они рядом тут, на нашей стороне. Быть может, что-либо и поснимаю. Стретенск лежит довольно красиво. Шилка очень большая река и с чрезвычайно быстрым течением, берега высокие и живописные. Город с проведением ж. д. быстро вырос и теперь значительно обогнал Читу, которая является главным городом всей Забайкальской области. Кончаю, сейчас мне сказали, что капитан передумал, ждать поезда не станет, и что мы сейчас тронемся в путь.

Твой М. Сабашников

Амур, пароход «Стрелок», 29 июня 1902 г.

Из Стретенска мы выехали 26-го вечером, около семи часов. Чего ради мы канителились в Стретенске целый день и почему нам сразу не сказали, что выедем вечером, остается секретом капитана, хотя, я думаю, что и для него это такой же секрет, как и для всех нас. Ввиду этой неопределенности я, проторчав в Стретенске более суток, не успел все-таки побывать у Андроверова и посмотреть Ононские дробилки, хранящиеся у него. Некоторые более осторожные пассажиры из-за этого же не обзапаслись провизией, боясь уехать с парохода в город, кот. находится на правой стороне, тогда как пароход наш стоял на левой около вокзала. Первое время мы все очень ворчали на капитана нашего за его нераспорядительность; он, впрочем, оказался предобродушным человеком и так просто принимал наше ворчание, что, в конце концов, заставил пассажиров сменить гнев на милость… Кончилось тем, что всей компанией дуем с ним пиво и, подчиняясь своей печальной участи, обсуждаем, можно ли тащиться тише, чем мы, или уже нами достигнута предельная медленность. А компания состоит, между прочим, из следующих лиц: Сарычев, адъютант Гродекова[15], генерал-губернатора, Хлебников – местный купец и Хабаровский винодел, чиновник государственного контроля с женой, почтово-телеграфный чиновник с женой и еще кое-кто, по большей части чиновники. Надо тебе казать, что на пароходе I-го класса вовсе нет, и поэтому между всеми пассажирами не третьеклассниками установилось равенство и непринужденность отношений, пока, впрочем, не переходившая в излишнюю фамильярность.

Около Стретенска Шилка, по-моему, раза в два шире Москвы-реки. Течение чрезвычайно быстрое. Сейчас вода сильно убывает, но все-таки ехать можно еще без особого риска. В видах осторожности пароход идет только пока светло, боясь сесть на мель. Шилка несется в крутых, обрывистых, каменистых берегах; обрамлена горами и скалами, поросшими преимущественно лиственницами. Река вьется и кружится удивительным образом. Сплошь да рядом течение устремляется прямо в гору и потом, под прямым углом ударяясь об скалу, река бежит в противоположную сторону и прорывает себе извилистый проход в узком ущелье. Местами положительно недоумеваешь, куда же, наконец, пропала река – по бокам горы, спереди горы, сзади горы! В таких заворотах двум пароходам иногда невозможно разминуться, и потому перед «кривуном», как их тут называют, капитан дает свисток и в бинокль

ищет, какой сигнал выставляет сторож на семафоре на берегу – если шар, то путь чист и можно ехать, если треугольник, то надо дать пройти сначала пароходу, идущему снизу. Берега пустынны, и днем нигде не останавливаемся. Ночью же, боясь мелей и туманов, пароход пристает к берегу, выбирая такое место, где имеется склад дров (их много и по Шилке, и по Амуру, при этом любопытно, что по Амуру дрова в большинстве случаев заготовлены на правой стороне, т.е. на китайской). Матросы носят дрова, а пассажиры разбредаются по берегу, впрочем, недалеко, т.к. в незнакомой местности ночью не очень-то разгуляешься.

Некоторые предпочитают разводить костер и вокруг него продолжать все те же нескончаемые и ни к чему не приводящие споры о том, виноват ли Грибский[16] в потоплении китайцев[17] или нет. К чести, надо сказать, публики, все говорят об этом деянии с отвращением, за исключением почтово-телеграфного чиновника. Этот старичок немец, педант страшный, прослуживший на Амуре уже почти 20 лет. Он говорит, что знает китайцев: «Я их знаю, знаю, дай им только силу, они на человеке живого места не оставят. В Цицикори, когда тюрьмы бывают переполнены и некуда больше сажать преступников, дзянь-дрон приказывает освободить 50 – 60 мест, и вот 50 – 60 человек выводят за город, и им отрубают головы, не почему иному, как только потому, что их держать негде. Китайцы собираются смотреть на казнь, как на зрелище, и очень рады, когда палач ловко режет. Это им чистое удовольствие. Я их знаю, я 20 лет служил на Амуре», – продолжает немец и полагает, что совершенно оправдал Грибского, а публика расходится спать, чтобы завтра затеять спор приблизительно на ту же тему.

Вчера однообразие путешествия было нарушено остановкой в Покровской станице, лежащей при слиянии Шилки и Аргуни. Мы ходили в станицу покупать яйца и бублики к чаю. Останавливаться пришлось ради третьеклассников, у которых вся провизия вышла. «Что паря, коли так ехать, то ведь с голоду помрешь», – подслушал разговор Сырейщиков. Действительно, провизию подъели, а покупать до сих пор негде было, т.к. всё останавливались в пустынных местах. Теперь идем Амуром, селения встречаются чаще, но мы их минуем, т.к. грузов и пассажиров эти селения не дадут, а потому останавливаться нечего у них.

Твой М. Сабашников

Пароход «Благовещенск», пристань на устье Зеи,
4 июля 1902 г.

Сейчас я выезжаю на Зейскую пристань, чтобы побывать хотя бы на некоторых наших приисках. Из разговоров здесь я убедился, что необходимо присмотреться к конкретным фактам, а потом крепко-накрепко подумать, что делать в самом ближайшем будущем. Вот я и воспользовался тем, что пароход идет, и тронулся в путь. Благовещенск и всё, что я здесь видел и слышал, навели на меня чрезвычайное уныние.

Твой М. Сабашников

Покажи это письмо Сереже. За эти три дня, что я здесь, я не собрался написать ни тебе, ни ему; затем созрело решение ехать на прииски, которое пришлось выполнить немедля, т.к. пароход отходил сейчас же, и другого вовсе не предвиделось.

Пароход «Благовещенск» на Зее, 5 июля 1902 г.

С.В. Сабашникову

Вчера, как ты уже знаешь, я выехал из Благовещенска на прииски. Основательно выспавшись и удалившись на приличное расстояние от Биршертовщины, спешу тебе теперь же описать свое пребывание в Благовещенске, пока на Лунгинском складе опять не попаду в сферу влияния Биршерта, правда, влияния не прямого, посредственного, но ведь и индуктивные токи бывают весьма сногсшибательны, так уж лучше на спокойном месте воспользоваться свободой и написать письмо. Хоть ты смеешься, что я всё рассказываю в исторической последовательности, но я этого здесь придержусь – во-первых, привычка, во-вторых, иной последовательности, кроме исторической, во всех наших разговорах и не установишь.

Итак, 1-го с. м. пароход «Стрелок» благополучно доставил меня в богоспасаемый град Благовещенск. Никакими особыми знамениями и явлениями природы сей торжественный момент отмечен не был, если не считать таковыми явление пристава, а за ним и врача для санитарного осмотра, заставившего себя ждать более двух часов. Не рискуя без предупреждения вваливаться на резиденцию, я оставил свои вещи на пароходе и поехал на резиденцию в одной пилочке, т.е. «как бишь» с одной пилочкой. Я очень хорошо сделал. Резиденцию я застал в полном ремонте. Биршерты перевелись в избушку, а дом ремонтируют – полы красят, стены обоями обклеивают, потолки белят, рамы чинят и пр. и пр. «Вы не думайте, что я роскошь какую-нибудь устраиваю»,

– говорит П. А.*, – «но ремонт был совершенно необходим. Это и Сергей Вас. признавал». Я охотно верю и необходимости ремонта и твоему признанию, но дальнейшие разговоры меня все-таки удивляют. «Холодно, да и неприлично, всё в старость пришло, а иногда к нам и губернатор заезжает! Осенью надо будет построить кухню, а то уж очень теперешняя тесна. Затем людскую тоже надо устроить. Если поиски в Маньчжурии окажутся успешными, то для управления можно каменный дом на месте этого сарая построить, а теперешний дом отвести под контору. Так будет очень удобно». Я спешу свернуть разговор на неделовые темы и рассказываю за чаем об общих знакомых, передаю от тебя, Шанявских поклоны, делюсь впечатлениями от поездки своей. Здесь очень ловким, светским образом за чаепитием супруги собирают от меня необходимые им для всяких соображений справки. Моему приезду, несомненно, придается какое-то особое значение. Осторожно спрашивается, не женился ли ты или не собираешься ли жениться. Мой отрицательный ответ устраняет самое простое и приятное объяснение тому, почему приехал я, а не ты: «Сережа в виду женитьбы не поехал, поэтому пришлось двинуться мне». Понимая это, я здесь же объясняю, что мне хотелось познакомиться с краем, в который, быть может, в случае ликвидации дел больше уже и не приведется попасть и т.п. в этом же роде, но эти мои речи мало успокаивают. Остаются еще два объяснения, одно другого хуже: 1. Первое – в виду болезни Альф. Леон., я мечу в председатели правления, куда ты, по мнению П. А. и Е. П.**, будучи младшим из всех, не пойдешь, и 2. Второе уже самое худшее объяснение – я приехал произвести реформу в управлении, сменить Биршерта и назначить Берга[18]. Надо сказать, что повод к последнему подозрению был. Не говоря уже о назначении Берга независимо от Биршерта и определении ему «выдающегося оклада», «выдвинувшего его из ряда всех остальных служащих», «создавшего большие затруднения в приискании заведующих поисковыми партиями, которые теперь все желают получать столько же, сколько и Берг» и пр. и пр., не говоря также и о письме Альф. Леон. к Биршерту по поводу назначения Берга, вместо объяснения заставившее П.А. видеть в Берге своего будущего заместителя, еще в самое последнее время был фактик, подкрепивший все подозрения Биршерта. На Ононе я получил телеграмму за подписью Правления, предлагавшую мне вызвать с Зеи Берга и

---

* П. А. Биршерт

** Жена П. А. Биршерта

совместно с ним и Биршертом обсудить возможные сокращения расходов. Хотя я и предвидел, что это вызовет недоразумение, но в виду категорического тона телеграммы решил, что нам дело виднее и, не телеграфируя все-таки лично самому Бергу, просил Биршерта вызвать его к моему приезду с Зеи. В глазах Биршерта было ясно: я спешу немедленно по приезде объявить перемену в управлении и предложить Биршерту приступить к сдаче дел Бергу. Впрочем, все эти мысли мне не высказываются, и я догадываюсь о них по манере себя держать, по интонациям, по неуловимым намекам, по многозначительному тону, с которым мне сообщают, что Берг – в Благовещенске. Не желая с первого, так сказать шага, иметь объяснение, я кончаю чай и извиняюсь, что надо озаботиться задержанием номера для ночлега и получением вещей своих с парохода. Но здесь любезность Биршерта не знает пределов, он сам со мной едет на пароход и в гостиницу. Под вещи снаряжается резидентский конюх с резидентской телегой, запряженной в резидентского коня, а нам подают резидентскую коляску, ту самую, в которой ездил Альфонс Леонович, запряженную парой резидентских же лошадей с нарядным кучером в синей рубахе. Одним словом, честь честью – выезд какого-нибудь пана Нарушевича из своей Лоевской усадьбы мимо всех Зюсей и Зюсевичей к пароходной пристани.

Не знаю, но когда П.А. перед отъездом удалился на минуту и вернулся в черной паре, надушенный какими-то духами, я будто разом перенесся не то в Холмич, не то в Боклань, не то в Лоев и затем уже не мог отделаться от впечатления, что я имею дело с кем-то из породы Барановских. В следующие дни, чем ближе я с П.А. знакомился, тем чувство его духовного родства с панами белорусскими всё больше во мне крепло. Меня ведь потом познакомили (по фамильным фотографиям) со всем родом Биршертов и объяснили, откуда пошли «эти две линии Биршертов – Петербургские и не помню еще какие». Не даром он, кажется, уроженец Минской губернии. Наконец вещи мои доставлены в гостиницу, где я за 3 р. 50 к. получил приличный вполне номер, и мы прощаемся с П.А. На прощание он весьма трогательно, совсем как кролик Андрюша, уверяет меня, как он рад моему приезду, и как тяжела его ответственность, и как я лично всё выясню, хорошо и ясно и т.д. Я прощаюсь, и, зная по опыту, что управляющие особенно радуются приезду хозяев тогда, когда им приходится сообщить какую-нибудь весьма крупную неприятность, оставшись один, соображаю, какой такой сюрприз принесет мне грядущий день.

На следующий день я с утра на резиденции и, чтобы не разбрасываться, прошу сообщить мне сначала все данные относительно поисков в Маньчжурии.

Как ты уже знаешь, поездка в Гирин увенчалась успехом, и право поисков в Гиринской провинции на концессии Альфонса Леоновича продолжено еще на один год. Этого достигнуть было не очень трудно, хотя Люба[19] сначала хотел продлить право только на полгода и лишь после разъяснений Биршерта, что полгода ни к чему не приведут, он согласился на год. Остальным концессионерам права продлены лишь на полгода, ввиду чего Биршерт подал прошение предоставить нам поиски в других местах Гиринской провинции, какие окажутся свободными через полгода. Люба обещал это сделать. От всякой благодарности уклонился, хотя здесь, кажется, оба дипломаты наши – Биршерт и казенный Люба уже передипломатничали, и, можно думать, что в сердце своем Люба хотел быть понятым иначе. Ну да давать, тоже надобности нет никакой, лучше воздержаться. Впрочем, все-таки раскошелиться придется на церковь. Оказывается, она не только задумана, но уже строится, и деньги собраны, «только один генерал Шанявский ничего не дал», – говорил Люба. Как оказывается, телеграммы правления Люба не получил и потому считает, [что] на его просьбу пожертвовать никакого ответа не последовало. Это необходимо исправить. Биршерт говорит, что вполне достаточно пожертвовать 2000 руб. Помнится, мы постановили гораздо больше ассигновать. В таком случае избыток можно не жертвовать, а ограничиться лишь 2000 руб. Об этом я либо буду телеграфировать, либо напишу «Правлению», а то выйдет неудобно. Я буду просить правление разрешить нам с Биршертом доставить по назначению деньги, ассигнованные на церковь, сократив сумму, если мы найдем возможным. Во время пребывания Биршерта в Гирине там шло обсуждение тех правил, каким должны быть подчинены русские промышленники в Маньчжурии. По-видимому, вопрос этот остается еще открытым, и не сегодня-завтра могут быть изданы правила или законы, которые, пожалуй, весьма стеснят и во всяком случае изменят положение золотопромышленников. Этот пункт, к сожалению, весьма неясен, и едва ли сейчас даже от Лиссара мне удалось бы получить более или менее удовлетворительный ответ. Люба просил Биршерта присутствовать на одном из таких совещаний в Гирине. Заседание почти сплошь из разных китайских должностных лиц, из русских были только Люба, его секретарь да Биршерт. Обсуждение велось на китайском языке, при чем русские участвовали в прениях через пере-

водчиков. Между прочим, обсуждался вопрос, следует ли ограничить размеры приисков 5- или 10-верстным расстоянием, и затем немного говорили о необходимости назначить подесятинную подать! Всё это меня крайне удивляет, но Биршерт, по-видимому, не в состоянии отвлечься от существующих в России норм и считает возникновение этих вопросов совершенно естественным. Признаться, при существовании концессий, как наша и другие, я не понимаю значения и даже возможности определить предельные размеры приисков, разве только с чисто фискальной целью, для того чтобы принять прииск определенной величины за единицу обложения. В таком случае, казалось бы, надо определить не максимальный, а минимальный размер прииска. Во всяком случае, как бы то ни было, ясно только то, что положение золотопромышленников в Манчжурии совершенно еще неясно.

Теперь, что дали наши поиски?

Самый обстоятельный и подробный отчет получен от Ситникова и Ковалева, ходивших по Нонни. Они представили весь денежный отчет, подробную карту пройденной ими местности, кроме того, все время из партии они писали письма, по которым можно судить о ходе дела. Эта партия исследовала верховья трех нижних левых притоков реки Нонни в нашей концессии: Мицили, Уд (или Аода, которую они считают главной рекой, а Гомоко лишь притоком Уда, тогда как по карте как раз наоборот) и Колор (или Галоли), Уд, да и остальные две речки имеют множество притоков. Весового золота нигде не найдено, знаки же встречаются часто, и при том в совершенно правильном порядке, позволяющем заключать о золотосодержащем пласте. Гидрография местности очень сильно отличается от показаний карты. По отзывам Пирри[20], следует обратить особое внимание на верхние правые притоки Нонни и на истоки самой Нонни, вытекающей из места «контакта» хребта Ильхури Алинь с Б. Хангороком. Сам П.А. на эту местность больше всего надеется.

Берг ходил на Амурскую концессию, но карты пройденного пути, ни шурфовочных журналов еще не представил, ссылаясь на свою командировку на Зею, не позволившую ему докончить отчет. На днях, впрочем, отчет будет готов. Он утверждает, что в одном месте нашел весовое золото (до 20 долей), но при значительной глубине шурфа. Работать на выморозку, как принято на Зее, и на что были рассчитаны наши партии в Манчжурии, по его мнению, на Амурской концессии, по крайней мере, нельзя в виду отсутствия вечной мерзлоты и обилия вод в почве. Работа на выморозку, как он мне объяснял, при незначительных сравнительно мо-

розах, настолько трудна и деликатна, что предоставлять рабочим вести её без надзора не имеет смысла. Поэтому все шурфы надо вести поблизости один от другого, чтобы можно было постоянно наблюдать за работой, но в таком случае за зиму можно прошурфовать одну только речку. Между тем, другие партии делали иначе. Заведующий ставил рабочих бить два шурфа на одной речке, а сам с другими шел дальше и на другой речке закладывал опять два шурфа и т.д. Кроме того что без контроля при таликах[21] и малых морозах почти все шурфы, по утверждению Берга, окажутся затопленными и недобытыми, по его мнению, такой порядок неудобен еще в одном отношении. Долины речек в большинстве случаев гораздо шире, чем на Зее, поэтому какие-нибудь два, три шурфа прямо теряются в долине и легко могут целиком миновать пласт. По-моему, последнее замечание Берга весьма основательно, тогда как трудность работать на выморозку, быть может, объясняется тем, что они выступили в марте, а не в октябре.

Основываясь на своих положениях, он предлагал снарядить партию летом, человек из 20 с ним, чтобы работать все время по максимуму. Быть может, этот проект и основателен, но я, как новичок в деле, не решился идти против традиций Биршерта, к тому же половина лета прошла уже, и второй половиной лета необходимо воспользоваться немедленно же для не менее важной для успеха поисков рекогносцировки местности. Надо сказать, что прошлой зимой партии ходили совершенно по незнакомой местности, теряя много времени на передвижение по таким местам, где по карте предполагалось шурфовать, а на деле шурфовать было нечего.

Особенно отсутствие предварительной рекогносцировки сказалось на Гиринской партии. В Гиринской концессии, как оказывается, не только нельзя полагаться на карту в отношении гидрографии, но и горы совсем в натуре расположены иначе, чем показаны на картах. Особые надежды возлагались на эту концессию потому, что по карте Нор вытекает с тех же гор, с каких берет свое начало Вокэн-Хэ, на которой работали раньше золото китайцы. Однако, по утверждениям Галкина, дело не так. Нор рождается будто бы значительно юго-восточнее этого хребта, а затем уже пересекает этот хребет на своем пути к Уссури. Таким образом, если полагать, что месторождения золота находятся в хребте, то следовало идти не к верховьям Нора, а спускаться несколько ниже по его течению и шурфовать притоки Нора, впадающие ниже, а берущие начало на хребте. Партия в Гиринской провинции никаких данных о золоте не добыла.

Из всего вышесказанного ясно, что перед отправкой партии для шурфовки необходимо сначала бегло ознакомиться с местностью и наметить предварительно маршрут партии. Так как уже июль, то медлить со снаряжением рекогносцировочных партий невозможно, напротив, надо спешить, а то времени упущено уже слишком много. Почему Биршерт, зная всё это, не счел нужным телеграфировать о том в Москву и не объяснил положения дела – это, конечно, и самому ему неизвестно. Я сейчас же стал настаивать на снаряжении рекогносцировки. Во что обойдется каждая партия? А это мы сейчас подсчитаем, говорит Биршерт, и действительно, через полчаса смета на 6000 руб. на три партии готова. «Помилуйте, П.А., какие же это 6000 руб. – смотрите, вы считаете жалование Берга, который ведь уже нанят и пойдет или не пойдет на рекогносцировку, всё равно жалование и содержание получать будет, то же самое Галкин, то же самое рабочие поисковой партии Берга, сейчас ровно ничего не делающие! Дополнительно сверх текущих расходов всего 2500 руб. – на проводников и на заведующего третьей партией вместо уволенных уже Ситникова и Ковалева!». Кстати, несмотря на то что их партия дала наибольший материал, они оказались при моем приезде уже уволенными за пьянство, т.к. «это уже старинная истина, Мих. Вас., которой доказывать не приходится, что пьяницы для дела не годятся и в благоустроенном деле терпимы быть не могут». Но это так уже к слову, продолжаю выяснение сметы: «Конечно, эти расходы на жалование заведующих и рабочих по партиям, раз они не уволены, текут, но, Мих. Вас., ведь они будут отнесены не на летние, а на зимние поиски, если летние не состоятся, а потому мы должны считать, что рекогносцировка обойдется нам в 6000 руб.» Признаюсь, мне очень хотелось плюнуть с досады, да что ты тут будешь делать – «гвоздь», как его называет Альф. Леонович, всегда останется гвоздем и ждать от него большего нелепо. Я тут же решил снарядить рекогносцировочные партии, но, т.к. моя роль здесь, по-видимому, продолжала смущать П.А. и он всё еще не знал, что-то теперь от меня ждать, то решил, следуя ранее принятому порядку, телеграфировать смету Правлению и просить об утверждении этой сметы. Пусть по крайней мере на этом примере видит, что Правление существует, и мой приезд общего порядка не нарушит. Я, впрочем, сказал, чтобы готовились к отходу, не дожидаясь утверждения из Москвы, т.к. беру, в случае не утверждения, эти рекогносцировки на свою ответственность.

Галкина, который сейчас живет с помощником и рабочими на ст. Графской, отправили опять на Нор, но с тем, чтобы он оконча-

тельно установил орографию местности[22]. Берга с его рабочими я предложил отправить на Нонни, а не на Амурскую концессию. Прежде всего, концессия на Нонни очень обширная, мало доступная и потому требует более солидного и надежного руководителя партии. Затем на поиски там у нас осталось всего один год, поэтому здесь времени терять не приходится. Между тем, хоть у Биршерта и намечен был уже новый поискатель вместо Ситникова, но начинать с того, что брать сразу первого рекомендованного человека, мне не хотелось, а на то, чтобы осмотреться и выбрать из нескольких кандидатов, надо больше времени. На должность руководителя рекогносцировки по Амуру я предлагал назначить кого-нибудь из служащих сейчас в компании, чтобы не увеличивать штата служащих. Ввиду близости концессии, казалось бы, партия рекогносцирования могла бы выйти неделями тремя позже других, это позволило бы служащему, избранному для этой цели, сдать должность на приисках и приехать с Зейской пристани в Благовещенск вовремя. Однако по целому стечению обстоятельств этого вопроса вырешать мне перед отъездом не пришлось, и вопрос о снаряжении рекогносцировки на Амурскую концессию так и остался не решенным. Этому я большого значения не придаю, во-первых, потому, что эта концессия и не требует, по-видимому, такой рекогносцировки, как другие, во-вторых, потому, что я еще надеюсь дело как-нибудь устроить, в-третьих же еще и потому, что т.к. концессия эта вечная, то можно исследовать её постепенно речку за речкой два-три года, а тогда и рекогносцировка теряет значение.

Обстоятельства же, помешавшие мне вырешить это дело, опишу тебе не ввиду их важности, а для характеристики того положения, в каком здесь вообще находятся дела. Ну и опять приходится рассказывать всё с исторической последовательностью и при том чуть ли не в лицах. Ты, быть может, удивишься обилию моего письма, но прими в качестве смягчающего обстоятельства, что впопыхах перед отъездом из Благовещенска я забыл взять с собой Теккерея и читать мне совершенно нечего. Ты на это пожалуй возразишь, что это неделикатно с моей стороны, т.к. если мне читать нечего, то ты-то при книгах и в лишнем чтении не нуждаешься. Но прими во внимание, что мне и зло сорвать тоже хочется. Действительно, Биршерт в двое суток привел меня в состояние кипения, но, тогда как ты хвастался, что умеешь кое-кого доводить до сего состояния при помощи простой Бунзеновской горелки, Биршерт употребляет для сего целый штат служащих, большую канцелярию, последние данные науки и литературы, вообще ап-

парат большой и весьма сложный. Действительно. Вот Разумов, он ведь едва два слова связать умеет. Когда он говорит, то, конечно, на каждое его слово приходится не менее десятка плевков, а я все-таки понимаю, что он думает, и что хочет сказать. Видишь, человек смотрит, умозаключает и действует, и всё это у него находится в органической связи – умозаключает человек по данным и фактам и поступает согласно умозаключениям. Здесь же всё как-то особо стоит: данные факты, рассуждения и поступки – всё это живет какой-то своей независимой, кажется, жизнью, и потребности поставить всё это в зависимость друг от друга не чувствуется.

От Маньчжурии мы перешли к положению приисков. По вечерам дома я изучал отчет, а с утра до вечера беседовал с Биршертом. Конечно, сейчас же дело сошло на Могот и на драгу. В доказательство своей, вероятно, интеллигентности и любви к машинам и книгам мне показали зеландский плуг для вспашки нови, чертежи ж.д., употреблявшейся на Джолоне, сводили в архив, помещающийся в лаборатории, и показали отчет за 1881, кажется, год – наилучший Джолонский год, а разговор всё о драге идет. Я, наконец, застопорил и попросил сообщить мне выкладки и расчеты по работе Могота драгой. Сейчас представлена была бумага, на которой значилось, что куб. сажень при работе драгой обходится 7 руб. и Михайловский прииск дает убыток, а Альфонсовский – прибыль. Всего запасу золота 44 ½ пудов. Подсчитываю и вижу, что запас золота не окупит стоимости драги, а между тем Биршерт только что говорил о постановке трех драг. «Да, это совершенно верно, Вы сделали замечательно меткое замечание, но ведь расчеты были составлены, когда ни Тихоновский пр., ни другие не были еще сданы в аренду, и запасы золота были определены в 100 приблизительно пудов». Смотрю, действительно, на поданном мне листе значатся уже выработанные прииски. «Как же так, П. А.? Я всё время понимал, что Вы советуете теперь поставить драги? И Альфонс Леонович и брат считали, что Вы находите возможным работать один Могот драгой?» Через полчаса в кипе старых бумаг мне достают проект выработки драгой одной исследованной горы Могота (1100 саженей Михайловского и небольшой кусок Альфонсовского) с прибылью в 130 000 руб. в год в течение 4 лет при полном погашении стоимости драги. Разница в стоимости работ принята только другая, но почему и на каком основании, П.А. уже не помнит точно. Сам сознает, что всё это требует новой проверки и нового подсчета. Признаюсь, это меня сильно озадачило и даже разочаровало. Я думал, что у П. А., по крайней мере, проект работы драгой уже вполне разработан, оказывается, нет…

Вернувшись вечером в гостиницу, я впал от первого дня в Благовещенске в большое уныние. Маньчжурские поиски ничего не дали, и надежд найти что-либо остается у меня немного. Последний ресурс – Могот, не работавшийся, по твоему мнению, по одному лишь недоразумению даже теперешним способом – таратайками и пр., по подсчетам Биршерта даже при драге, то дает убыток, то прибыль. Что же это такое? Вспоминаю, наконец, что разведка произведена на 2 верстах, а прииск в 5 верст. Итак, не дадут ли остальные 3 версты достаточного запаса, чтобы, во всяком случае, оправдать попытку поставить драги. Итак, 3 июля с утра начинаю прерванный с вечера разговор. Относительно запасов золота на неразведанной площади П. А. очень осторожен и считает, что до окончательной разведки данными предварительной разведки увлекаться нечего. Предположения Levat он считает неосновательными. Видно, и он не менее меня смущен тем, как это так с Моготом выходит. Я заговариваю о работах открытым образом, но вижу, что он это считает такой нелепостью, что настаивать на этом предположении не вижу смысла – всё равно он не в состоянии обсуждать такой план, как и я был бы не в состоянии обсуждать план посева бурака в декабре.

«Знаете, Мих. Вас., теперь я тоже склоняюсь к тому, чтобы отдать Могот в аренду», – говорит П.А. за завтраком. У меня чуть глаза рогом не выскочили: «Т.е. как же это так, П.А., ведь вы не видите возможности работать этот прииск и сомневаетесь даже, можно ли его работать таким экономным способом, как драга, что же будут делать арендаторы?» Отдача в аренду – это какая-то панацея от всех зол, и, кажется, всё и всегда можно отдать в аренду. Оказывается, нет. До сих пор П.А. тоже думал, что арендаторы не справятся с Моготом, но теперь они выработали такой способ старательской работы с китайцами, при котором всякое золото добыть можно. Способ действительно очень простой и остроумный, но всё-таки, по-моему, не разрешающий вопроса. «Но, допустим, этим методом окажется выгодным работать, то почему нам самим от себя не поставить старателей китайцев?» Опять обычное объяснение, что то, что русскому здорово, то немцу смерть. Одним словом, я из разговора с Биршертом вынес лишь убеждение, что в Моготе 50 пудов золота minimum есть вне всякого сомнения, что другие так или иначе работать его с выгодой могут, а что нам – невозможно. Вопрос Моготский для меня стал темнее, а не яснее. Оставив всякую надежду разобраться с этим вопросом путем одних расспросов П.А., я перехожу к более щекотливым вопросам к текущим делам.

Что дали поездки Берга на Зею? Как моют арендаторы? И самое щекотливое: какие возможны сокращения в расходах? И тут, как я того ни избегал, вышло объяснение форменное á la Baranowsky. «Зачем Берг? Зачем ему такой большой оклад? Если уж решили меня от должности отставить, то зачем не сказать прямо? Что значит письмо Альф. Леон. о назначении Берга?» И пошло, и пошло. Он, оказывается, «был груб, входил в комнаты, не снимая шляпы, навез с собой каких-то «Забайкальцев с лошадиным выговором», которого я никогда выносить не мог, и т.д. и т.д.». Но с господами Барановскими я недаром знаком смолоду, и к объяснениям подобным привычен. Я поэтому, не волнуясь, даю те объяснения, какие в подобных случаях давать приходится, и через час или полтора П.А. меня благодарит за то, что я разъяснил его недоразумения и пр. Но все-таки Берга надо осадить. Т.е. меня просят подтвердить ему, что он находится в распоряжении «Управления», а не одного только «Правления» без буквы У. Я это обещаю сделать, и настроение воцаряется самое радушное. Тут-то я и настигаю своего собеседника с самым неприятным – необходимо сократить расходы, – мы с арендаторов получаем около 3000 с пуда добытого золота и тратим более 3000 на пуд расходов по сбору и учету этих 3000 руб. Согласитесь, так дальше идти нельзя. Сам я ничего не предлагаю и настаиваю, чтобы были указаны самим П.А. те сокращения, какие он считает возможным.

После битвы предложение П.А. такое. За зиму свезти на Лунгинский склад всё имущество, весной доставить его водой в Благовещенск и продать, а Лунгинский склад вовсе уничтожить. Содержание его обходится почти 10000 в год, между тем за 2000 или 3000 можно устроиться на Зейской пристани, считая и наем помещения, и содержание приказчика. И так от 7000 до 8000 экономии. Это надо было сделать 4 года тому назад, но постройки Лунгинские оценены по балансу в 27000 руб., нельзя же их оставить без призору! Как я потом увидел, предложение закрыть Лунгинский склад исходит от Берга – спасибо ему.

Что касается вывоза и продажи имущества, то, конечно, это надо исполнить, но здесь тоже надо остерегаться давать категорические приказания, не разобравшись хорошенько, в чем дело. «Гвоздь» мог десятки лет хранить имущество и платить за его хранение больше, чем имущество стоит, только потому, что ему не было приказано его ликвидировать, однако, этот же «гвоздь» также исправно, в случае приказания, повезет ничего не стоящее имущество в Благовещенск и за провоз тоже потратит больше, чем за имущество выручить можно. Вообще с «гвоздем» надо по-

ступать осторожно. Он и сам, кажется, чувствует свою негодность и несообразительность в некоторых делах и потому говорит: «М.В., мне, как старому служащему, трудно подтягивать Пошляева, Ружицкого, Шмурло. Как-то не достигает это цели, а между тем подтяжка нужна. Вот Берг у Шмурло нашел непорядок. Компанейское золото могут золотничники красть. Я вот что предлагаю. Раз он не прислан меня сместить, то сделаемте так: поставимте его главным заведующим приисками на место Ружицкого, а Ружицкого переведем сюда. Новая метла поможет делу, а Ружицкий здесь пригодится». На случай ликвидации имущества мне этот план понравился, но потом вечером я сообразил вот что. Ружицкого Биршерт уволить не захочет, это ясно как день, и послать его в партию на поиски вместо Берга тоже нельзя, он не годится, по-видимому. В результате всей комбинации получается на первый раз лишь увеличение штатов приисковых служащих на 2400 руб. да содержание, тогда как надо озаботиться их сокращением. При том для поисковых партий мы опять остаемся с совершенно неизвестным и ненадежным народом, между тем отправка летних партий не терпит отлагательства, а ходивший летом, должен идти и зимой. Наконец, у Берга целый штат рабочих «с лошадиным выговором», нанятых и подобранных специально для поисковых партий; с Бергом они пойдут, а другому какому-нибудь заведующему их «лошадиный выговор» опять может не понравиться, и останутся они на резиденции с повышенным окладом, бегая в лавку за ваксой или водя лошадей резидентских на кузню. Итак, я порешил наложить на такой план своё veto и настоять на отправке Берга в поиски. Мне оставалось, стало быть, переговорить об этом на следующее утро с Биршертом, обсудить с ним совместно с Бергом маршрут партии по Нонни, наметить третьего руководителя партии на Амурскую концессию и затем в тот же день около 3 часов выехать пароходом на Зейскую пристань. Другого парохода вскоре не ожидалось, а я видел, что для того чтобы сократить лошадей и администрацию, мне необходимо побывать самому на приисках. Между тем, ничего меня более в Благовещенске не задерживало, т.к. отправить партии Биршерт может и без меня. Однако утром все обернулось весьма неожиданным образом.

Утром мне телефонируют, что П.А. болен. Спрашиваю, в чем дело, оказывается – самый прозаический понос! Уж не от волнений ли со стариком такой грех случился. Все-таки просит побывать, «если я не боюсь». (?) Приезжаю и, видя, что ничего особенного нет, подтверждаю свое намерение ехать на прииски и стараюсь условиться относительно намеченных вопросов. Но тут пош-

ли осложнения непреодолимые: для третьей партии служащего с приисков брать невозможно, «там и так недостаток надзора и надо увеличить администрацию, вот Берг нашел, что у Шмурло упущения и пр. и пр.».

Услышав, что я все-таки предлагаю Берга послать на поиск, Биршерт с моими доводами сначала согласился, и я пошел перетолковать о том с Бергом. Но когда я вернулся, чтобы проститься с П.А., то меня ожидало новое объяснение: П.А. формально подал в отставку! Как я тогда только понял, весь проект устройства Берга на приисках проводился ради того, чтобы соблюсти иерархическую лестницу в степени подчиненности и величин окладов. С посылкой Берга на поиски этот сокровенный план, мною совершенно ранее неуловленный, рушился, и вот опять Берг является поводом к объяснению и заявлению об отставке. Всё это мне донельзя напомнило кролика Андрюшку: и по своей путанице, и по любви к жалким словам и трогательным положениям. «Вы не беспокойтесь, я всё сделаю, прослужу даже год, если это необходимо для дела», – говорил старик уполномоченный, поседевший на службе дела, лежа на одре тяжкой болезни, – «но принципам своим я изменить не могу, и я считаю необходимым заявить, что принужден выйти в отставку и т.д.» Речь время от времени прерывалась тривиальной просьбой оставить его на несколько минут, что я и делал, уходя в сад и внутренне чертыхаясь что есть силы. Надо принадлежать к кроличьей белорусской породе, чтобы затевать объяснение именно в такую минуту и в такой обстановке, с позволения сказать, между двумя горшками. И всё это опять-таки панское – белорусское ломание, через час недоразумение, кажется, было настолько улажено, что необходимости спешить с подачей в отставку немедленно уже не было. Быть может, я несправедлив, но мне кажется, немало в этом объяснении играло и желание не упустить случая для красивой, трогательной позы, желание, конечно, бессознательное. П.А. все-таки про себя думает, что у него холера началась, это уж как Бог свят! И что холеру эту он подцепил в Гирине*, куда ездил по делам компании. Итак, как красиво – старик чуть ли не пожертвовал жизнью ради интересов компании, а вот молодой сытый хозяин заставляет его бросить службу и не даёт ему умереть спокойно. Уж не без этого!

* Между тем, холера только в Харбине и то только в Китайском квартале, вообще же, вести о холере страшно преувеличены. – *Примеч. М.В. Сабашникова.*

Однако через час всё опять было выяснено, и я уехал к себе, чтобы садиться на пароход. Из-за этой ерунды не договорились только о заведующем третьей партией, но я считал, что оставаться для этого не стоит. Прежде всего, при нездоровье П.А. трудно было бы продолжать совместные совещания, да они ни к чему бы и не привели.

Ты понимаешь, почему мне уже так от Биршертощины тошно стало. Березовского в Благовещенске нет. Он сейчас в Хабаровске

По-моему, кроме сокращения Лунгинского склада надо сократить и Благовещенскую резиденцию, конечно, если не будет работы в Маньчжурии или драг на Моготе. Мне кажется, ликвидацию организовать можно так. Зимой свезти имущество на Лунгин, весной его сплавить в Благовещенск и начать быстро распродавать, сохранив для этого временно Благовещенскую резиденцию и оставив там резидента. Управление им и контора должны быть на приисках и всё сведено до минимума. Тогда еще, пожалуй, доход будет с приисков.

Отдача приисков в аренду, по-видимому, сделана весьма непрактично. Арендаторы покупали в Благовещенске кайла (!), имеющиеся у нас во множестве, только потому, что П.А. за них слишком дорого просил. И так имущества ликвидировали при отдаче приисков в аренду слишком мало, тогда как нужно было, напротив, навязывать арендаторам наше имущество. Затем, вместо того чтобы поставлять арендаторам припасы, мы платим им деньги, тогда как на поставке им припасов можно было, по-видимому, наживать. Ну да уж что сделано, того не вернешь.

Покажи ты это письмо Соне, а то мне писать про Благовещенск больше невмоготу. Если ты письмо мое получишь в Суткове, то перешли его для прочтения Соне. Писем я в Благовещенске не получил.

Хотелось бы знать, что делают наши. Какие вести от Ник. Вас. и Ольги Алек.* Читал о выпуске сахара из обоих запасов и порадовался. Поклоны всем.

Твой М. Сабашников

7 июля, пароход «Благовещенск» на Зее

Ты уже знаешь, Соня, из моей телеграммы, что я отправился на Зейскую пристань, а оттуда на прииски. Еще на Ононе я получил из Москвы телеграмму обратить особое внимание на сокращение расходов. Приехав в Благовещенск и ознакомившись

* Николай Васильевич и Ольга Александровна Сперанские.

с отчетом за прошлую операцию, кот. пришел в Москву лишь накануне моего отъезда и с кот. поэтому я совершенно не был знаком, я увидел всю настоятельную необходимость озаботиться сокращением расходов. Своего пребывания в Благовещенске и своих попыток наметить с Биршертом необходимые в этом смысле меры описывать тебе не стану, я все это подробнейшим образом описал Сереже, и ты попроси его показать тебе это письмо. В нем небольшую порцию дела ты найдешь разведенной в огромной массе безделья, но что же делать, так было в действительности, и я лишь снял точную моментальную фотографию, которую и проявил на досуге на этом же пароходе. Скажу только, что я ясно увидел, что в Благовещенске, не побывав на приисках, я ничего не сделаю, и на четвертый день выскочил из Благовещенска, как пробка из перегретой бутыли шипучки. Я вылетел столь быстро и стремительно, что оставил в гостинице свои ночные туфли и книжку Теккерея, приготовленную для чтения в дороге. Итак, от нечего делать (я имею в виду отсутствие книжки для чтения, а не ночные туфли) пришлось перебирать в уме все виденное и слышанное. Вот я и проявил Сереже огромнейшее (прости Господи мои прегрешения!) письмо в 8 листов о Благовещенске. Затем счастливая случайность дала возможность проявить дюжину негативов, снятых мною на пути с Ононских приисков в Благовещенск. Это на твою долю пойдет. Оказывается, машинист нашего парохода – страстный любитель фотографии. Узнав, что у меня есть не проявленные негативы, он предложил свои услуги. И вот мы опускаемся с ним в трюм позади машины и начинаем колдовать. Надо тебе сказать, что жара смертная и ни воздуха. У капитана на вышке, где постоянный ветер, – 24° в тени (ты знаешь, что температуру на солнце я не меряю). Можешь себе представить, что делается в нашей импровизированной камере за машиной. Можно было проявлять и фиксировать в ногу, но, кажется, реагент неподходящий.

Не успели мы проявить четыре снимка, как заметили, что мои желатиновые пластинки тают. Скорее кончаем работу и выносим их на холод (конечно, относительный – + 24°!), но уже поздно, одна совершенно пропала, а три сильно попорчены. Ночью мы стараемся перехитрить жару и устраиваемся в трюме на носу парохода, где и проявили остальные 8 негативов. Увы, и здесь то же, хотя и не так скоро. Последние три негатива тоже начинают таять и почти совсем пропадают. Чтобы ты могла видеть нашу работу, посылаю тебе, однако, все негативы, и хорошие, и плохие (10 штук, т.к. два брошены – один недопроявленным – совершенно

размяк, другой оказался пустым.). Вот что эти негативы не изображают, а должны были изображать:

1) Вид верховьев долины Онона, на склоне скачет кавалькада бурятских девушек, которых, однако, не видно, хотя сначала и можно было еще различить. Эти бурятские девушки очень живописно разъезжают по долине на маленьких лошаденках, расфранченные в самые пестрые платья. Сидят по-мужски, без седел, кажется; я их встречал во множестве, но дикарки лишь завидят русского, завертывают куда-нибудь вбок и, как истые дети степей, скрываются с глаз в мгновение ока.

2) и 3) изображают взрослую «братчиху» верхом. Она наехала на меня прямо в упор, но я не успел её тогда снять. Затем она долгое время ехала за моим тарантасом на приличном, однако, расстоянии. Мне очень хотелось снять её на близком расстоянии, т.к. она и была недурна собой, и особенно из-за её наряда: на голове красный платок, ничем не привязанный и развивающийся по ветру, в ушах огромные серьги – кольца диаметром в вершок, одежда широкая, развивающаяся по ветру, с металлическими украшениями. Однако «братчиха», заметив мои намерения, стала, несомненно намеренно, придерживать своего коня и отставать от моего тарантаса. Здесь на мою выручку подъехали мы к реке, которую пришлось переезжать вброд. По берегу деревья. Переехав в брод, мы с ямщиком завернули немножко за кусты и подстерегли братчиху, когда она тоже стала переезжать речку вброд. Снимать было очень удобно. Я заранее приготовился, к тому же и конь ее, почуяв воду, стал посередь реки, вытянул шею и стал пить. В эту минуту я и щелкнул. Снимок вышел очень удачный, но сегодня утром, увы, я увидел, что и он стал таять. Сейчас почти ничего не разберешь. Другой, однако, вышел недурно. Я второй раз щелкнул братчиху, когда она, выбравшись из реки, погнала коня и обогнала нас. Здесь и конь, и её поза очень удачны. Мы остановились поить лошадей, и я поблизости снял еще двух бурят верхами (4 и 5 снимки), но, как ты увидишь, ничего не вышло.

Снимки 6 и 7 изображают паромы через Онон. На одном ты увидишь мой тарантас. Мне два раза (т.е. с обратным путем – четыре раза) приходилось переправляться на пароме через Онон. Паромы маленькие, без перил, тарантас – большой, едва умещается, а тут еще попадется лошадь «маленько сумасшедшая» (мне нравится это – «маленько»), да еще по пути прибавят двух, трех проезжих крестьян или казаков с их повозками и лошадьми – я прямо удивляюсь, как это в половодье никто не кувыркается в воду.

8-ой снимок свидетельствует о заботах нашего «деятельного правительства» о переселенцах. Это переселенческие бараки в Стретенске. Действительно, это целый поселок, хорошо отстроенный и оставляющий самое приятное впечатление на постороннего зрителя. При мне переселенцев не было и все было пусто. Говорят, уже прошло 30.000 человек, преимущественно в Уссурийский край.

Наконец, 9 и 10-й снимки изображают Шилку перед слиянием её с Аргунью.

Если бы желатина не потаяла, большинство снимков были бы не хороши, но, во всяком случае, интересны. Ну, а теперь дело другое. Впрочем, чем богаты, тем и рады, шлем вам, что есть, а вы смейтесь и критикуйте на здоровье. Я очень рад буду доставить вам тему для разговоров и веселья, и будь я с вами, сам не мало бы хохотал над «плакучей лошадью» в углу одного из негативов.

Да, я тебе обещал написать о бурятах или «братских», как их в Забайкалье называют. Достоверных сведений о том, что с ними затеяло наше правительство, я так и не смог собрать; уж очень все путают с одной стороны, а с другой – считают правительство способным на всякую глупость и пакость, и потому считают вещи самые неправдоподобные истиной и достоверными фактами, если это рассказывается про правительство. Хорошенькая репутация, не правда ли? Итак, передаю, что слышал, и за достоверность не ручаюсь. Самое невероятное и легендарное, конечно, откидываю.

Так вот. Буряты находились до сих пор на особом положении и числились инородцами. По указу Екатерины II все земли, ими в то время занятые, признаны их собственностью, и с тех пор буряты кочуют как бы на своих собственных землях, продают их, сдают в аренду и пр. Они принадлежат по религии к буддистам, но глава церкви для русских «ламаитов», как их официально признают, имеется особый, какой-то главный лама, живущий в Гусиноозерском монастыре и утверждаемый в сей должности самим государем. Закон об утверждении языческого епископа православным государем был издан в либеральное и более практическое, чем ныне, время Александра II, но не был никогда опубликован – «чтобы наших попов не дразнить», как, говорят, выразился государь. Этой реформой буряты – русские сразу были отделены от монголов и других соседей китайских подданных и попали под бдительный контроль нашей администрации. Очевидно, каких-нибудь сепаратистских козней бурятские ламы, всецело зависящие от русских властей и получившие только благодаря русским властям самостоятельное якобы положение, затевать не стали

бы, да и в действительности подобных попыток не наблюдалось. Напротив, буряты, как оказалось, способнее других иноверцев к европейской культуре, и очень многие из них, бросив кочевать, занялись торговлей и пр. промыслами, конкурируя в этом с русскими. Впрочем, к земледелию они, кажется, очень мало склонны и, кто не перешел на ремесло и торговлю, тот ведет первобытный кочевой образ жизни. Таких, разумеется, большинство.

Так дело шло многие годы к взаимному, кажется, удовольствию русских и братских, очень нередко роднившихся между собой и вступавших друг с другом в браки. Кстати, любопытный факт. Русские женщины за бурят не идут, но русские мужчины сплошь да рядом берут буряток в жены и очень часто обурячиваются совершенно. В Благовещенске мне рассказывали как раз обратно про китайцев. Они с ума сходят от русских женщин, и наши казачки охотно идут за них замуж, при чем китаец для этого меняет веру, срезывает свою косу и, в восторге от оказанной ему чести, боготворит свою русскую жену и работает на неё, как раб. Говорят, многие казачки, зная это, и идут «из тяжелой жизни – на лёгкую».

Года два, три тому назад братским через их начальство был задан вопрос – желают ли они записаться в казаки или причислиться в крестьяне? Братские подумали, порядили и ответили: «Нам жить у батюшки белого царя очень хорошо и вольготно, стыдно нам каких-нибудь от него милостей просить, много ему мы благодарны и желаем только, чтобы всё осталось, как теперь есть, и нам числиться инородцами». Ответ был перепровождён честь честью в Питер. Как там отнеслись к нему, неизвестно, но братские думали, что всё дело улажено, и их больше трогать не станут. Между тем, не тут-то было: Петербургские канцелярии всё время, очевидно, работали, пилюлю, присланную хитрыми братскими, жевали да переваривали, а в нынешнем году хвать, прислали крестьянских начальников и распоряжение – «переименовать бурятские инородческие управления» в «крестьянские волостные правления» и предложить всем братским расписаться по вновь учреждаемым в замену управлений правлениям. Казалось бы, дело яйца выеденного не стоит, просто петербургскому чиновнику надоело помнить, что вот, мол, в Забайкалье есть не правления, а управления, и нет даже крестьянских начальников. Послать туда крестьянских начальников, и всё тут. Так многие из русских и объясняют присылку крестьянских начальников в местности, где крестьян нет. Проницательные братские, однако, такой пошлости и глупости со стороны белого царя не допускают и рассуждают так. Сейчас мы воинской повинности не отбываем и никто к нам

«приселить» на нашу землю посторонних людей не смеет. Попади мы в разряд крестьян, придется и воинскую повинность отбывать и, что еще хуже, будут к нам в наши якобы волости, причислять и приселять новоселов, как то делается теперь с крестьянами. Теперь мы на двор имеем более 100 десятин, и нам иначе, при нашем кочевом образе жизни, нельзя, а когда наприселяют к нам русских, и окажется на семью по 15 десятин. Между тем, на каком же это праве? Раз земля дарована нам в полную, вечную и потомственную собственность и государственной никогда не числилась? Надо сказать, что и русские многие объясняют штуку таким образом. Взбунтовались мирные буряты. Крестьянских начальников принимать не хотят, и послали 600 человек депутатов в Читу к губернатору протестовать. Протест губернатором принят и переслан генерал-губернатору. Между тем, братские готовятся идти и до самого царя, если местные власти резону не примут. «Как же вы пойдете, ведь ваших депутатов губернатор, пожалуй, не пустит?» – спросил я одного братского, который подошел ко мне в Харамангуте справиться, не слыхал ли я, что в Чите теперь их депутаты делают. «Как же это можно. У братских много есть своих в Москве и Петербурге, те за нас заступятся!» «Кто же это такие?» «Много братских в Университете учатся, много докторов, у братских богатых и ученых в Москве и Петербурге – сила!»

Уж такая ли это сила? – Поживем – увидим. Кажется, надеются на заступничество Ухтомского[24]. Если всё так, то интересно бы заглянуть в мозги этих петербургских чиновников, всеми силами старающихся невесть зачем насадить у нас частную собственность и немилосердно карающих бедных Полтавских и Харьковских мужиков, не способных никак усвоить основы сего «священного и неприкосновенного» права, и с другой – совершенно забывающих о сем «непоколебимом фундаменте общественного и государственного порядка» там, где, так или иначе, это право уже имеется налицо, но неудобно для каких-либо их чиновничьих соображений.

Что тебе сказать про Зею? Я никак не думал, что это такая большая река. Она положительно шире Днепра (выше Киева), а у своего устья шире даже Амура (выше Благовещенска). Первый день берега были все низменные, поросшие деревьями и кустами, и вид мне очень напоминал Днепровские виды между Минской и Киевской губерниями, с той только разницей, что тут нет тех унылых бесконечных отмелей, которые на Днепре всегда видны либо на одном, либо на другом берегу. Левый берег Зеи был ранее заселен китайцами, но после «войны» их выгнали, деревни сожг-

ли, и теперь эта местность заселяется русскими, преимущественно казаками.

В Благовещенске я писем не получил. Телеграмму нашел только одну – твою, относительно моей поездки в Пекин (которая, по-видимому, не состоялась бы по целому ряду причин). Между тем, я ждал более подробных и обстоятельных сведений. Надо бы мне поворчать немножко за твою телеграмму… Подумай, и реши сама, только по чести и без снисхождений… Ну, да как я могу на тебя ворчать, когда самой моей любимой, сокровенной мечтой во время пути была ты? Что ты делаешь? Скучаешь ли? Возишься с ребятами? Как будешь рада моему возвращению? Одним словом, когда мне хочется забыться и почувствовать себя довольным и счастливым, чтобы мне было хорошо, хорошо, я переношусь мыслью к тебе и детям – дети и ты, ты и дети, в самых разнообразных видах, условиях, положениях, настроениях…

А телеграмму ты послала с хитростями – из Курска, а не из Иванина, вероятно, посылал Бор. Як.*? Ох, уж и тонкий вы народ женщины! Скажу только, можно было бы этого не делать, а затем обнимаю тебя крепко и крепко и прошу верить, что глупостей и неосторожностей я делать не буду, без надобности рисковать не стану… ну, а тоже и депешами такими руководиться не могу. Ты это хорошо знаешь, и не уважала, и не любила бы меня, если бы было иначе. Обнимаю тебя, мою любимую, крепко, целую нежно, моя ненаглядная женка, подруга и товарищ.

М.Сабашников

Поклон всем знакомым в Никольском и Борщне и пр. местностях Рос. Имп.

24 июля, пароход Джалта

Сейчас мы подъедем к Благовещенску. Первым делом пойду на почту за письмами. Что-то они мне принесут? Ведь с самого моего отъезда я получил всего только одно письмо, это твое, адресованное в Макавеево.

Со времени моего последнего письма с фотографичекой карточкой, писанного тоже на Зейском пароходе, я не имел случая отправить тебе письма, а потому и не писал тебе более двух недель. Что же делать, с приисков за это время почта вовсе не отправлялась, и я с собой везу в Благовещенск всю почту за первую половину июля. Напишу тебе хорошенько, подробно сегодня вечером по прочтении ожидаемых писем. Теперь же пишу больше,

* Борис Яковлевич Лукин, брат Софии Яковлевны Сабашниковой.

чтобы обнять и поцеловать тебя и детей наших. То-то ребята изменились, должно быть! Пожалуй, не только они меня не узнают, но и я их, когда вернусь. Сергей-то, впрочем, уже не меняется так скоро, а Нинушка, та, конечно, преобразится, моя белобрысенькая, синеглазая девочка.

Ну, крепко-накрепко целую и обнимаю Соню, Сережу и Нину, а потом опять Нину, Сережу и Соню, и еще последний раз целую всех моих любимых…

Ваш М. Сабашников

Благовещенск 2 августа 1902

Только вчера, Сонюга моя, получил я твои письма от 4 и 7 июля. Когда я прочел, как ты за меня волновалась, мне страшно жаль тебя стало, тем более что я очень ясно представил себе твое состояние, когда ты писала, так как и сам переживал подобные же состояния. Однако все-таки, голубка моя, ты не давай воображению и страхам воли над собой и знай, что в случае беды какой-либо я всегда не замедлю дать знать. Это ведь было тебе обещано, и ты мне обещала тоже, а потому, веря друг другу, мы и не должны предаваться всяким страхам в случае неполучения вестей… Спасибо тебе большое за карточки. Так приятно было перенестись с ними к вам – «домой». Жаль только, что нет Нинки, а для меня теперь она играет не малую роль в представлении о «доме». Когда хочется забыть дела, я вспоминаю по очереди Нинку, Сережку и Соньку, они сливаются затем в моем воображении, и я сразу переношусь в край, где мне легко и радостно на душе и где всякий пустяк, всякая мелочь – ямочки ли на девочкиных ручках, родинка ли твоя или вихры на Сережкином затылке, имеют какое-то особое, глубокое для меня значение.

В свою очередь и я прилагаю при сём несколько путевых снимков. Кроме одного – вида Зеи, снятого с парохода, все остальные снимки изображают Забайкалье. Именно: два снимка представляют виды Петровского завода, снятые с поезда, два – пожарную каланчу города Чита, о которой скажу два слова после. Затем 10 видов долины Онона, снятые с тарантаса на пути на прииски; здесь увидишь бурят, пашущих землю, бурятские стада овец, их дацаны (церкви), нищих, отдыхающих в траве. Все это говорит само за себя, кроме разве Читинской башни, которая хотя и кричит своим безобразием, но всей своей истории без особых разъяснений все-таки не сообщит. А история небезынтересная, я её вычитал из мемуаров Кропоткина. Ты знаешь, что Кропоткин еще до участия своего в политических делах служил в Сибири, и, между прочим,

был одним из первых русских исследователей Манчжурии, что, впрочем, к делу не относится. Это было в шестидесятые годы, когда время было либеральное. В Сибири власти разрабатывали проекты городского самоуправления, и Кропоткину губернатор поручил составить таковое для Читы. Как человек деловой, Кропоткин прежде всего занялся изучением существовавшего тогда порядка управления сим богоспасаемым градом, его хозяйства и его нужд. Вот на какую историю он набрёл. В Чите уже тогда была каланча и, надо думать, Чита, будучи городом передовым, завела себе эту штуку весьма рано, так как уже во время Кропоткина в архиве имелось дело об её ремонте ввиду её ветхости. Проекту этому, однако, не посчастливилось, хотя ни каланча, ни проект, ни его составители в этом нисколько не были виноваты, так как каланча приходила в ветхость добросовестно, без всякого надувательства, проект был составлен экономно и составители весьма хлопотали о нем. По существующему порядку проект был препровождён в Питер, и затем через несколько лет, потребовавшихся на рассмотрение проекта в разных инстанциях, он был утверждён. Однако за это время каланча стала уже разрушаться совсем, и той экономной сметы на скромный ремонт не могло уже хватить на исправление дела. Итак, составляется новый проект уже на капитальный ремонт, он снова посылается в Питер, и снова возвращается уже тогда, когда материал, предположенный к покупке «по случаю» «задёшево» уже был продан, и смета опять вследствие вздорожания материала не могла быть исполнена. Сколько раз и с какими перипетиями эта история повторялась, не скажу, потому что всех подробностей не упомнишь. Только выходило так, что ремонтировать каланчу при существовавшем порядке управления городом не было никакой возможности. Кропоткину с проектом введения городского самоуправления, однако, не повезло, так же как каланче не везло с ремонтом. Либеральное время миновало скоро, о всяких реформах велено было забыть, и через некоторое время Кропоткин бросил службу и уехал из Сибири, оставив и каланчу, и городское управление в прежнем виде. Лет двадцать, а может и того больше спустя, Кенан[24] ездил в Сибирь изучать быт политических ссыльных. Вернувшись в Лондон, он разослал русским эмигрантам, жившим тогда в Лондоне, записки с предложением сообщить им вести из Сибири. На следующий же день все собрались в назначенное время у Кенана. Были тут Степняк[25], были другие, был и Кропоткин. Переговорив о более важном, на прощание Кропоткин спросил Кенана, видел ли он в Чите каланчу, на что тот разразился хохотом: «Видел каланчу! Слышал и про

дело о каланче, оно находится всё ещё в производстве!» То было в восьмидесятых годах, теперь, после промежутка в новые двадцать лет, через Читу проехало лицо, хотя и не имеющее имени в истории, но имеющее (не свою, впрочем) фотографическую камеру; это лицо – никто иной, как твой муж, который и может засвидетельствовать, что каланча всё еще влачит своё существование. Ну не достойно ли это умиления, и можно ли теперь помышлять святотатственно накладывать руку на каланчу и перестраивать её, когда она сделалась уже в некотором роде памятником древности. Мне кажется, нашей Археологической комиссии[26] следовало бы взять теперь каланчу под свою защиту и не допускать её перестройки.

Благовещенск – город сравнительно новый, и таких древностей, как в Чите, в нем не найдешь. Вот тебе три вида города. Нужно сказать, это всё – лучшие здания. Впрочем, ничего особенно дурного про город сказать не имею, только пыль. Амур очень широк, и берег – набережная, правильнее, довольно оживлен, всегда пять, шесть пароходов. Про Зею я тебе уже писал.

Свое большое письмо с парохода я кончил и запечатал, еще не доезжая «Зейской пристани». После этого я путешествовал так. Верстах в 60 от Зейской пристани имеются перекаты. Когда наш пароход подошел к ним, то по измерению фарватера, оказалось, проехать невозможно – не хватает целых ½ фута! Наш пароход пристал к берегу, и капитан заявил, что будет ждать дождей, чтобы вода поднялась. Эта перспектива мне очень, конечно, не улыбалась, но пробраться берегом с вещами невозможно. Я стал уже обдумывать, как идти пешком, оставив вещи на пароходе. Здесь в компанию к нашему пароходу «Благовещенск» подошел сначала пароход «Дмитрий», а потом «Гилюй». Те пристали к берегу и стали ждать, пока-то дождь пойдет. Как оказывается, это здесь случается довольно часто. На мое счастье, вскоре подошел еще четвертый маленький пароходик, который был в состоянии пройти перекаты и при мелкой воде. Я сейчас же поторопился на этот пароход, меня приняли, и таким образом я все-таки попал на пристань довольно скоро. Оттуда поехал на прииски.

Приисков описывать не стану. Всё дело произвело на меня самое удручающее впечатление, но писать не хочется. Сереже с парохода «Благовещенск» я написал довольно подробно о моих первых разговорах с Биршертом. Я теперь жалею, что поторопился описать первое впечатление, не давши ему «осесть и улечься». Хотя я и теперь всё, что в письме том сказано, могу подтвердить, но все-таки оно может дать несколько превратное представ-

ление о моем отношении к Биршерту. Все-таки старик имеет свои несомненные достоинства, которые забывать не следует. Между тем по письму моему может показаться, что я их либо не замечаю, либо не ценю. По возвращении в Благовещенск я первое время очень этим обстоятельством был в сношениях с Биршертом стеснен. Всё казалось, что я поступил с ним неделикатно в своем письме к Сереже. Впрочем, я и теперь повторил бы всё, сказанное в том письме, но надо бы еще добавить для беспристрастия другие черты Биршерта.

Ну, кончаю. Я со дня своего возвращения в Благовещенск и до вчерашнего дня ежедневно с утра до 5-6 часов занимался с Биршертом счетами, проектами и сметами, и совсем за эти дни заморил старика. Теперь, когда наиболее спешная работа исполнена, можно, вернее должно, дать ему передышку, и я предложил ему поехать дня на два на его заимку – в тридцати верстах от Благовещенска, отдохнуть, погулять и поохотиться. Завтра утром поедем. Старик очень рад.

Ну, передай мои поклоны всем. <…> Крепко обнимаю и целую.

Твой Сабашников

2 сентября 1902, вагон Заб. ж. д.

Из телеграммы, которую я тебе сейчас пошлю, ты будешь уже знать, что я еду на несколько дней в Ургу. Поездка эта возьмет около 10-14 дней, и мы увидимся с тобой в Никольском в самых первых числах октября. То-то хорошо нам с тобой будет через месяц! Не правда ли?

В Ургу я решил съездить потому, что узнал, что русским можно получить разрешение на добычу и разработку золота в Монголии, но что заявления свои русские должны подать поскорее, т.к. после 22 сентября одинаковые с русскими права будут даваться и другим иностранцам. Вот как представитель Соединенной К° я и счел себя обязанным не пренебречь случаем и попытаться получить что-либо для Соединенной К°. Признаться, охоты ехать в Ургу и хлопотать у меня сейчас нет никакой, и делаю я это как бы из чувства долга.

Урга находится в 300 верстах от Кяхты, через которую мне и придется ехать. Мне очень интересно, как будет дело в Кяхте. У нас там должно быть много родственных связей, которых я, однако, совсем не знаю. Знаю одних Синицыных, к которым и заеду по пути (в Кяхте из-за разных формальностей придется остановиться на день или на два). Вот Синицыны-то и будут, вероятно,

говорить, чтобы побывал там-то да там-то и пр. Ну, да посмотрим, как всё будет.

В другое время поездка в Угру была бы весьма соблазнительна. Это значительный монгольский город, весьма своеобразный и интересный. Для того, кто ничего подобного не видел, много поучительного. Но именно теперь как-то нет у меня никакого «напряжения» для такой поездки. И с деловой точки зрения я нахожу, что надо спешить возвращаться в Россию, ну да и с неделовой – скажу прямо, хочется мне к тебе и к детям поскорее вернуться. Обнимать и целовать в письмах и на бумаге мне надоело, хочу чувствовать вас около себя, обнимать вас на самом деле… <…>

Твой М. Сабашников

На фронте (май – октябрь 1915 г.)

16 V 1915

Сейчас мы проехали Ярцево. Ты, вероятно, помнишь эту станцию по нашему пути из Тироля. Тогда лето клонилось уже к исходу, сейчас оно только еще приближается. Сочная трава и бодрый весенний закат привлек всех нас из поезда вон на откос ж.д. полотна. Сестры резвятся и рвут траву, санитары бродят вдоль вагонов, разговаривая о разных разностях, доктор экспансивно развалился на траве и смеется, что и меня наконец пробрало, и я сбросил свой «мрачный (?) вид». Вида я едва ли мрачного был и есмь, но со стороны доктору, может быть, виднее?

Но надо же тебе сказать, как мы едем. Своим купе мы довольны. Для Сережи* мы на ночь установили походную кровать, и все отлично спали. Я не раздевался, чтобы ночью выходить на дежурство. Я установил дежурства ст. санитаров со сменой через каждые 6 часов. До 3 утра продежурил первый раз Аверберг, затем Сизых, теперь его сменил Грищенко, а ночь разделят Окороков и Вершилло. Завтра утром назначу дальше очереди.

Библиотека уже заработала, равно как и инструменты музыкальные. Буфет М.Н.** устроила на славу. Не обошлось, конечно, без волнений и даже легкой истерики, но это только свидетельствовало о том, насколько она вся отдалась заботам о наших удобствах. С раннего утра начала она хлопотать, сначала о чае с закуской, потом об обеде, оставаясь в вагоне-кухне в течение многих перегонов. Вот щи превкусные и прегорячие поспели на славу, надо накормить ими весь поезд – 42 вагона ведь в поезде – и пробежать вдоль него надо время. А больших остановок нет и не предвидится – все 8, 12 минут. «Мих. Вас., попросите задержать поезд хоть на полчаса!» – просит меня М.Н. Зная, что она уже переболела и находится на взрыве, Аверберг поддерживает это предложение, ссылаясь, что их воинский поезд так делал. Этого я, однако, не хочу делать. Мы и без того опаздываем, надо дорожить

* Старший сын М.В.Сабашникова – Сергей Михайлович.

** М.Н. – Мария Николаевна, сестра Владимира Николаевича Хитрово.

каждой минутой. Я предлагаю разносить щи ведрами по вагонам на мелких остановках постепенно. «Мы до ночи не накормим людей!» – восклицает М.Н. и спрыгивает со своей кухни, бежит в вагон сестер, где разражается слезами в купе М.О. и Крыловой. Доктор оказался более умелым. Он скоро её успокоил и убедил, что действительно невозможно задерживать поезд – лучше быть голодным, но ехать! Мы подняли на ноги санитаров, и на следующих остановках – одной в 10 и другой в 12 минут, снабдили всех мясом и щами под руководством сияющей от успеха и одобрения общего М.Н. Все остались очень довольны и едой, и общей суетнёй и благодушным общим настроением.

Ну, надо кончать, чтобы опустить письмо в Смоленске. Целую тебя и девочек крепко-накрепко и люблю нежно.

М.С.

18 V 1915. Дорога от Вильно на Ковно

Пишу тебе в 5 ч. утра. Мы только что миновали Вильно. Я опасался, что нас задержат здесь с передачей на другую линию, и встал, чтобы сговориться с комендантом. Всё, однако, прошло гладко, и мне пришлось лишь отделаться козырянием (я выше оказался погонами и должен был отвечать), да стаканом хорошего кофе в буфете. Сейчас все спят, кроме меня и дежурного. Поезд промчался через туннель, ибо, как оказывается, Вильно лежит в очень волнистой местности. В окна чудные виды. По холмам зеленеет жидкая, впрочем, рожь. Кое-где высятся курмыши сосен – участки былого леса, быть может, векового, почему-то не вырубленные при общем истреблении лесов…

Так трясло, что я должен был прекратить писание, и теперь пользуюсь остановкой, чтобы быстро окончить это письмо и опустить его по приезде в Ковно. Мы движемся неожиданно быстро, и сегодня (понедельник, 18-го в 11 часов утра) должны быть в Ковно. Сейчас проскочили еще туннель. Доктор предварял всех, чтобы закрыли окна и двери и чтобы сидели в темноте смирно. Сестры встретили это предупреждение приятными улыбками. Когда вырвались из туннеля – увидели Неман. Большая река, вроде Днепра. Берег, по которому мы едем, высокий, противоположный тоже холмистый. Вода всегда красит всё, и наша публика любуется в окна природой. Меланхолический Борисов – студент, медик-санитар, которому хотелось быть помощником врача, с грустью сказал мне: «Так хорошо кругом, а люди убивают друг друга». «Не давайте себе останавливаться на этих мыслях, – сказал я ему

на это, – потом и до того, а теперь нельзя». Мы отвернулись друг от друга и старались затем не встречаться глазами…

Еще перерыв. Теперь следующая остановка – Ковно. Если сразу получим назначение, надо будет развить всю свою энергию и писать, пожалуй, из Ковно уже не придется. Спешу поцеловать тебя и девочек моих милых. Как трогательны они были вместе с тобой на вокзале и как хорошо было на минутку вырваться с вокзала с вами домой поцеловаться!

Целую и кончаю. Будьте здоровы, мои ласковые и любимые. Сережа держит себя хорошо.

Целую, обнимаю и опять целую.

М.С.

Ковно 20 V 1915

Мы прибыли в Ковно 18-го утром. Никаких инструкций здесь нас не ожидало, хотя я и из Москвы, и из Минска телеграфировал кому следует о выходе и следовании отряда. Немедленно разослал я телеграммы Дмитриеву, Куракину и Евстафьеву, и затем началось томительно скучное сидение всем поездом на запасном пути в ожидании ответов. Дела, казалось, никакого не было, а всё время всё же занято, то то, то другое! Только сегодня пришел ответ Евстафьева. Нам надо ехать в Симно, т.е. возвратиться к Вильно на Орини и Олиту. Завтра в 8 часов утра поезд отправится этим путем, а я с Кожеуровым и Пастукьяном поедем в 6 ч. утра автомобилем по сокращенной дороге. Мы хотим явиться раньше, чтобы подготовить место и квартиры. Шофером будет Комаров. Это первое выступление наших автомобилей. Они пришли вчера сюда, кроме Укше с его мотором, который разбит грузовиком Пуришкевича[1] в Варшаве в самый день погрузки. Это просто несчастье! Хорошо, что сам Укше остался невредим.

Зельдин доставил твои письма. Ты не можешь представить себе, какую радость доставили эти записки. Ты сравниваешь отъезд мой теперь с отъездом после тифа из Костина. В самом деле, есть что-то общее, будем надеяться, что новая эта разлука, как та первая, приведет к встрече и соединению надолго и на счастье всех нас. Действительно, мы на переломе жизни, как и тогда, но почему непременно думать, что перемена будет к худшему? Это мне не кажется. Напротив, я склонен ждать еще подъема вверх в нашей с тобой жизни. Милая! Целую тебя крепко.

Твой М.С.

Олита 22-го V 1915

День 21-го оказался исключительно интересным и деловитым. Мы – я, Пастукьян, Кожеуров и Комаров, встали в 5 ч. 30 м. утра. Перед поездом у автомобиля напились чаю, поглядывая на часы, чтобы тронуться в путь в 6 ч. без 5 минут. Предстоял длинный и совершенно неизвестный нам переезд, и нужно было дорожить каждой минутой, и мне хотелось проехать крепостные ворота, как только они откроются (по положению в 6 час.). С пропусками, полученными накануне у коменданта крепости для себя и для спутников, в кармане я смотрел, как солнце постепенно подвигалось вверх, где уже реял наш, а не немецкий, как сначала мы было подумали, аэроплан. Было что-то волнующее и возбуждающее любопытство. Рисовались в воображении разъезды, которые нас будут останавливать для проверки личности и затем проводить в особо опасных местах. Думалось, что увидим линию и расположение врагов. Много вообще волнующего. Как часто бывает, ожидания нисколько не оправдались и вместе с тем действительность оказалась много занимательнее.

Но вот мы выехали. Наш путь лежал из Ковно мостом на правый берег Немана и там по шоссе до Прены. Здесь переезд Немана по понтонному мосту и шоссе до Олиты. В Олите новое пересечение Немана по шоссе, идущему вдоль ж.д.

Кожеуров легко и ловко повел автомобиль, и мы понеслись по великолепному шоссе через форты. Вековые деревья, превращавшие форты в обширный парк, срублены. Кое-где видны какие-то новые работы. Вот беспроволочный телеграф. Вот искусно спрятанные смотровые вышки. Мягко, будто скользя по маслу, несется наш мотор, едва давая нам время всмотреться во все эти вещи, и вот мы уже за крепостью – в поле. Местность волнистая. Жилища разбросаны по одному – хуторами. Костелы, изредка попадающиеся на пути, все так или иначе пострадали от бывших здесь боев. До Прены мы доезжаем быстро, не заметив даже времени. Через реку здесь был мост, уничтоженный неприятелем, вместо него был устроен понтонный, а сейчас вновь закончен новый постоянный. «Желаете ли ехать первыми по новому, или последними по старому?» –спросил студент, наблюдавший за постройкой. «По новому!». Мы через минуту продолжаем бег уже по другому берегу. Берега Немана живописны, но сумрачны.

Но вот Олита. Много евреев. Сколько, сколько выслано уже их с фронта. Ковно совсем опустело. Из 10 магазинов – 9 закрыто, ибо принадлежали выселенным евреям, и всё же много евреев

осталось. Когда поездишь по здешним отрубам, где крестьянин знает только свою семью и свою землю, не интересуется тем, что делается ни в большом свете, столь отдаленном от него, ни в менее отдаленном городе, ни в соседнем дворе, находящемся всего в каких-либо 50 саженях, начинаешь чувствовать всю силу, скажу даже необходимость, этого подвижного, всезнающего, оборотистого еврейского элемента. Он восполняет собой пробел, существующий в здешнем строе жизни, разрозненной и лишенной общественности.

Но дальше. В песках Олиты мы чуть было не пропали со своим автомобилем. И здесь я мог оценить нашу машину, которая все же подняла нас в гору по сыпучему песку. Комаров сменил здесь Кожеурова и не на свою удачу. Дорога оказалась тяжелой. Шоссе испорчено и произведенный ремонт бревнами и сучьями, конечно, для автомобиля не на радость. Я боялся, что лопнут рессоры и что внутренности пассажиров так поперепутаются от этой тряски, что потом и не разберешь что к чему. Доктор внутренне кипел, обвиняя всех и всё, особенно Комарова, который хотя действительно не особенно мягко вел машину, но все же справился с задачей не так уж плохо.

В жару самую добрались мы в Симно. Лавки-клетушки с надписями – «Земский Союз – бесплатная чайная», «З. С. – бесплатная амбулатория» и т.д. то здесь, то там сменили закрытые, как видно, еврейские лавки. На перекрестке спрашиваем солдата, где штаб NN корпуса. «Вон в саду против церкви!» Действительно мы находим самого корпусного командира и весь его штаб на лавке у самого шоссе. Долго объясняться не потребовалось. «Я о вас имею телеграмму и вас жду. Хотя я сам и мой корпус уходим, но вас очень ждут мои заместители. Они еще не прибыли, но все же вы можете переговорить с начальником той дивизии, которая уже здесь. Он вам все укажет, да и наш корпусной врач поможет вам разобраться в здешних условиях». От корпусного врача мы узнали много для нас неожиданного. Мы совсем не к тому готовились, снаряжая наш отряд, но об этом в другой раз…

Едем в штаб дивизии. Сначала по шоссе, потом проселком между хуторами. Чистое наказание отыскать искомый двор. Все так друг на друга похожи, что, попав в их среду, скоро теряешься и не знаешь, какой двор уже видел, какой нет. Карта плохо помогает, хотя и 2-х верстка, ибо окопы и проволочные заграждения сделали непроездными пути, обычно кратчайшие и наилучшие. Наконец мы в штабе. На дворе уже встречаем дивизионного врача, который со словами «Мы вас-то и ждали!» – ведет нас к на-

чальнику дивизии и начальнику его штаба. Здесь самый радушный прием. «Я эти организации знаю. Работают не за страх, а за совесть», – сказал начальник дивизии, выслушав мой доклад об отряде. «Мы на вас рассчитываем в следующем», – сказал начальник дивизии мне опять ту неожиданность, которую нам уже преподнесли в корпусном штабе. «Беретесь?» «Нельзя не браться», – ответил я. Через несколько минут мы везли дивизионного врача на своем моторе – у них нет – разыскивать для нас помещение. Нашлось отличное. Квартира железнодорожных служащих на ст. Шестаково, но об этом завтра.

Целую, твой М. С.

Олита, вагон, 23 V 1915

Представь себе нашу Иванинскую ж.д. станцию, покинутую внезапно всем составом служащих и занятую затем нашим отрядом, и ты получишь очень близкое представление о нашем устройстве, намеченном в Шестакове. Ж.д. служащие жили с относительными удобствами. Имели водопровод, ванну, цветники, оранжерею, огороды. Всё это покинуто – со льдом в погребах, грядками для шампиньонов в сараях, соленьями и запасами. Когда нахлынули немцы, они всё, конечно, поели. Систематично повыдергали все медные части от дверных ручек и проч., конечно, не мало напачкали. Затем мы вытеснили немцев. Наши войска не раз, а много раз занимали станционные помещения под ночевку. И всё же грядки остались не тронутыми, какой-то паралитик-садовник, живущий где-то в сарайчике, убирает оранжерею и цветники, а начальник станции – бывший – время от времени наведывается, чтобы посмотреть свои кактусы, которые он много лет с любовью выращивал. Вот что показал нам дивизионный врач, и вот где мы наметили расположить наш лазарет. Помещение на редкость в наших условиях удобное. 50 кроватей устанавливаются в двух домах, как надлежит в обычном лазарете, хотя бы и не походном. При необходимости и со стеснением можно положить раненых в три раза больше. Нужно только сжать расположение персонала. Мы, конечно, на этом помещении сейчас же и остановились. Про отношение к позициям я не стану тебе писать, ибо, как ты знаешь, о расположении войск писать не полагается. Скажу тебе только, что нашему лазарету и двум нашим летучкам выпадает играть совсем не ту роль, какую им отводили в Москве и какая обычна в деятельности союзов.

С двух слов мы решаем занять эти помещения. Ввиду особого назначения, какое получает наш отряд, мы можем не стесняться

тем, что все эти помещения находятся в полном отчуждении и по какому-то общему распоряжению не могут быть занимаемы под подобные учреждения. Мы немедленно возвращаемся в штаб дивизии, докладываем о выборе, и начальник дивизии не только утверждает выбор, но посылает 15 солдат немедленно приступить к чистке его. В разговоре мы намечаем и места для летучек, но откладываем окончательное решение до прибытия отряда и до открытия лазарета, желая оставить за собой возможность пересмотреть решение, если при более близком знакомстве с положением дел в этом встретится надобность.

21-го – день Константина и Елены, и мы случайно оказались в гостях у именинника. За обедом начальник дивизии подробно расспрашивал про Союз, про его отношение к Земскому Союзу и к отряду П.П. Рябушинского[2]. Обедали офицеры и мы четверо – я, доктор, Кожеуров и Комаров. Когда генерал нас пригласил, вышла смешная вещь. Я было замялся на полсекунды ответом, желая сказать, что мы не одни и что с нами наши товарищи – студенты, шоферы, оставшиеся в автомобиле. Принять приглашение, не обеспечив их приглашение, было невозможно. Доктор же, не понимая моей медлительности и думая, что я намерен отказаться от обеда, чтобы спешить дальше (день 21-го мы провели на рысях), испугался и поспешил заявить, что мы умираем с голода. Это было преувеличение извинительное, ибо мы встали в 5 ч. и до 4 ничего не ели. Я все же своих шоферов вывел и обедали все вместе.

После обеда поехали искать место для склада и вскоре убедились, что всего целесообразнее устроить его в Олите. Оставив Кожеурова чистить наш будущий лазарет, мы втроем двинулись обратно, не зная, где-то встретим наш поезд. Он должен был выйти в 8 часов утра из Ковно и к 8-9 вечера мог придти в Симно. Но его там не было. Справляюсь по телефону – они не проходили еще Олиты. Решил задержать его там, чтобы выгрузить склад. Шлю телеграмму Бимбаеву в Олиту, и мчусь сам на моторе туда же. Было уже темно почти, когда мы подошли к Олите. Мотор опять застрял в песках, чтобы не вытаскивать его зря, я решил сбегать на станцию, узнать, когда можно ждать наш поезд и стоит ли оставаться на станции или лучше занять номер в гостинице. Издали один поезд с повозками и кухнями обманывает наш глаз. Но вот мы в промежуток между вагонами видим на другом пути наш поезд и знакомые физиономии бурят. С радостью встречают нас, с радостью встречаем и мы. В один день удалось все выяснить и наметить работу на ближайшие дни. Завтра закипит работа по устройству склада. «Я замечал, что когда везет, то везет гуртом; я

не хочу пропускать случая, когда повезло, и иду сейчас же искать склад!» – говорю я. «Что сделаете во тьме такой?» «А все же». И что же! В соседних с вокзалом казармах мы застали где-то в затерянной комнате, которую никак и отыскать не удавалось, компанию офицеров. Когда я сказал, что мы ищем, какой-то полковник сказал – мы о вас читали в газетах, приходите утром завтра пораньше, и я отведу вам подходящее помещение! Так оно и вышло.

Сейчас мы кончили устройство склада и могли бы сегодня же ехать в Шестаково, если бы штаб меня не вызвал сейчас для каких-то переговоров. Нельзя выезжать, не выяснив, не намерен ли Евстафьев дать нам какое-нибудь указание, не совместимое с намеченным нами расположением.

23 вечером

Сейчас вернулся из штаба. Все наши предположения одобрены. Заявил коменданту о подаче паровоза и жду выступления. Утром завтра будем выгружать наш лазарет. Доктор ликует: «Никто еще не открывал лазарета на 10-й день выступления из Москвы – это рекорд на скорость!» А мы еще сидели в Ковно 3 дня!

Целую тебя и дочек моих славных.

Твой М.Сабашников

Шестаково, 25 V 1915

В отряде для меня очень странно складывается жизнь. Собственно говоря, я ничего не делаю, или делаю так мало, как никогда. А время уходит, и некогда сесть письмо написать, прочитать газету, пройтись для себя, а не для какой-либо надобности. Чтобы не запускать переписку, я решил в этой книжке писать что-то вроде дневника. Копию буду пересылать тебе. Хорошо? Письма независимо будут особо. Попробуем.

Ты уже знаешь, что из Олиты мы тронулись на ночь 23-го. Рано, около 3 ч. 30 утра, меня разбудил дежуривший Перфильев. Пришли в Шестаково. Начальник станции дает час на разгрузку поезда. Вчера весь день работали до ночи. Слава* так заморился, что заснул за чаем. Иду постараться оттянуть разгрузку хотя бы до 6 часов. Это удается сравнительно легко. Я заваливаюсь вновь на часок вздремнуть, а Перфильев бродит вокруг поезда, охраняя порядок и целость груза. Но в 4 часа все же приходится и мне встать. Мы с дежурным и проснувшимися случайно из слабосилки подготовляемся к организации разгрузки. К 6 будим всех, а в

* Слава – студент-медик, заведующий хозяйством отряда.

11 часов пустые вагоны наши все еще стоят на станции, ожидая какого-то назначения и свидетельствуя собой, что никакой спешки не было.

Нами очень заинтересовано здешнее военное начальство. Еще ночью, до прихода поезда нашего, начальник дивизии, проезжавший поездом мимо Шестаково, вызывал наших студентов Зельдина и Панарина и расспрашивал их о том, скоро ли придет отряд, какой он силы и как развернется. Теперь во время нашей разгрузки он опять очутился на платформе. Осматривал лошадей наших и вообще все разузнавал, не скрывая, что желал бы самого скорого нашего развертывания. Мы, впрочем, не заставили себя ждать. 24-го лазарет был в порядке, и случайно забредшие раненые могли быть приняты. Их не зарегистрировали, ибо вскоре подошел санитарный поезд, который их и забрал. Так прошло 24-ое. Под лазарет мы заняли два дома. В одном их них кроме раненых поселился доктор с Борисовым, в другом – Кроткова со всеми сестрами. Мы, мужчины, заняли еще 3-й домик. Слава, я и Сережа устроились в одной комнате, относительно удобно.

Шестаково, 26 V 1915

Вчера мы снарядили обе летучки. «А» – развернулась в составе: Босс, Цветков, Зельдин, Греков, Вершилло, Окороков, Галецкий, Рампилов, 4 младших санитара буряты, 6 арб, 2 двуколки, походная кухня и бочки – в Сусниках. Летучка «Б» – в Новинах, в составе: Полетаева, Белавин, Авербург, Руднев, Грищенко, Костенко, Митрофанов, Егоров и пр., как в «А».

Новины находятся в 3 с половиной верстах от нас, Сусники – в 8. Пока происходила укладка вещей на арбы, мы со Славой и Кожеуровым на моторах съездили подготовить помещения. Это простые халупы – избы с сараем и амбаром.

Хотелось лично устроить обе летучки, и потому «Б», более близкую, я решил двинуть после обеда 25-го, а «А» – 26-го на рассвете. Но когда я вернулся уже после устройства «Б» в Шестаково, я получил телеграмму от начальника дивизии с просьбой немедленно развернуть в Сусниках летучку, ибо там уже сейчас 26 раненых. Поручаю Зельдину немедленно грузить и выступать, руководствуясь картой, ибо я не успел его свозить в Сусники, как было раньше намечено. Беру Босса, Погиреeву, Рынкевич, Цветкова в автомобили, и катим на них с перевязочным материалом и всем необходимым на одну ночь. Ночью пришел и Зельдин с обозом. Ночью же развернулись, но раненых не пришло. Как потом

оказалось, штаб не уведомил полки о направлении их в Сусники. Переночевав в Сусниках, утром 26-го вернулся в Шестаково.

Шестаково, 27-го и 28-го V 1915

Поступают раненые. Есть тяжелые. Гангрена в день ранения. Операции. Наш врач любит хирургию и понимает её и особенности военной обстановки отлично. Нас посещают. Командир корпуса. Начальник штаба корпуса. Опять начальник 53 дивизии с начальником своего штаба. Уполномоченный Красного Креста фон Резон. Отношения, по-видимому, наилучшие.

Внутри, впрочем, не без инцидентов. Сначала Окороков дорогой – в поезде – агитировал против распределения по летучкам, но я не счел возможным сделать согласно его просьбе.

Затем уже здесь столкновение Славы с доктором, доктора с Кротковой, его же с Кожеуровым, Полетаевой со своими в летучке.

Пока удается все недоразумения ликвидировать, но если бы ты знала, какая от этого пустота в душе. Неужели и здесь, где так много страданий и куда мы приехали утешать и помогать, нельзя обойтись без взаимных счетов и пререканий! Но все же пока ничего серьезного не вышло, и я только вижу, что мне надо быть каждую минуту готовым к возможным неприятностям. Уступчивости ни у кого.

29 V 1915

Сейчас объяснение со Славой. Он находит, что я не во всем соблюдаю его положение и авторитет заведующего хозяйством. Я дал ему, кажется, полное удовлетворение и буду впредь осторожнее. Надеюсь больше подобных жалоб не слышать.

30 V 1915

Чтобы не спутаться в последовательности событий, составлю конспект происшедшего до 1 июня, а затем буду уже записывать сюда ежедневно всё.

15 мая, 5 ч. вечера

Поезд Бурятского отряда вышел из Москвы.

18 V 1915

Пришли утром в Ковно, но не нашли никаких указаний, куда следовать дальше.

19 и 20 V

Ожидаем ответов на телеграммы, посланные Евстафьеву, Куракину, Дмитриеву. Вечером ответ Евстафьева: «Выступите по ж.д. Симно Сувилкской губ. Отряд предназначается для обслуживания одного из корпусов. По прибытии Симно повидайтесь корпусным врачом 3 Сибирского Корпуса, от которого узнаете подробности. Если для устройства Симно не окажется места, обследуйте ближайшие пункты ж.д. от Симно. Последующим благоволите телеграфировать времени ухода из Ковно, прибытия Симно также».

21 V

Автомобилем с Пастукьяном, Кожеуровым и Комаровым еду из Ковно в Симно через Прены и Олиту. В Симно сговариваюсь с Корпусным командиром и врачом. Мы, оказывается, будем заменять собой несуществующие военные медицинские учреждения 34-го еще не окончательно сформированного Корпуса. Поездка в Домницу в штаб 27 дивизии. Вечером возвращаемся в Олиту, куда к тому времени подошел наш поезд. Выбор места под склад.

22 и 23-го

Устройство склада в Олите. На ночь выходим в Шестаково.

24-го

В 3 утра прибыли в Шестаково. Развертываем лазарет. Выбираем места для летучек: «Б» Новины, «А» – Сусники.

25-го

В лазарете официальный прием, неофициально перевязывали еще вчера. Днем устраиваю летучку «Б» в Новинах, а для выступления в Сусники назначаю 26 рано утром. Телеграмма: «Прошу безотлагательно летучку в Сусники на раненых 212 полка, кот. сейчас 26. Начальник штаба 53 див. Скибин». Экстренно выезжаю с Боссом, сестрами на двух автомобилях. Двуколки высылаю под предводительством Окорокова немедленно. Зельдину поручаю поднять всю летучку и двинуться возможно скорее. Ожидание в темноте прибытия раненых и приближения обоза. Первый раз слышал пулеметы. По дороге будто скоро едут телеги. «Это Зельдин, но разве можно так гнать», – говорю я, но это не Зельдин и не грохотание колес по твердой дороге, а рокотание пулеметов. Не уехал бы Зельдин по шоссе прямо к немцам, надо поставить

на шоссе у поворота сторожа. Вызывается Комаров со своим мотором и вскоре исчезает за холмом. Все страшно устали. Едва ходят. Спать ужасно хочется. Холодно тоже ужасно. Забираемся в халупу. Совершенно темно. Окороков время от времени освещает помещение своим электрическим фонарем. Из темноты тогда мелькают и опять исчезают знакомые лица. Жутко, вероятно, сестрам. Что-то думает молчаливая Петрова, и что смолкла всегда словоохотливая Ринкевич. Да всем, вероятно, жутко. «Где немцы, откуда придут эти 26 раненых?» – спрашиваю я молчаливую тень литовца хозяина, к которому мы забрались как хозяева. «Вот с этой стороны каждую ночь привозили сюда раненых, когда здесь стоял ушедший сегодня утром перевязочный пункт Сибирского Корпуса. Каждую ночь вот об это время мимо этих ворот проходил обоз повозок, идя на позиции за ранеными, и каждую ночь возвращались они со своей добычей. А это что? На дрогах в совершенной почти темноте везут какую-то клетку или лестницу. Рефлектор! Его каждую ночь вывозят на позиции и устанавливают для освещения вражеских окопов. Поутру вновь всё собирается, складывается и увозится прочь от огня и от глаз. Но вот заблестели огни на германском фронте. Ракеты. Каждая будто прямо в тебя целит. А вот и германские рефлекторы осветили соседний лес и дальнюю гору. В темноте я чуть не столкнулся с Зельдиным. Обоз стоит тут недалеко, и Зельдин пошел вперед разобраться, как ввести его во двор. «А где же Комаров – он должен был проводить вас с шоссе?» «Мы его не видели». Бегу к Панарину, но во тьме не могу сразу найти дорогу, а он не откликается. Наконец нахожу его, спящим в автомобиле в одной куртке без шинели, в такую погоду. Еле разбудил его, приставил к автомобилю сторожа и послал спать в избу, расспросив его, как найти Комарова на шоссе. Я не обращал внимания на дорогу и мог бы не сразу найти её. «Уж не уехал бы Комаров в Кальварию в плен к немцам. Было неосторожно оставлять его одного на шоссе». Тут потребовалось дать какие-то разъяснения Боссу и Зельдину. Я несколько минут задержался и затем пошел по направлению к шоссе искать Комарова. Кругом ракеты, свет рефлекторов пробегает то там, то здесь, изредка грохочут орудия, частят залпы, и время от времени этот шум пулеметов населяет все окрестности воображаемыми телегами. Я никак не мог сразу освоиться, что это ничего общего с телегами не имеет, и невольно относил долетающие до меня звуки к шоссе и другим большим соседним дорогам.

Вдруг яркий, яркий, ослепительный свет озарил меня, дорожку, на которой я стоял, соседние кусты. Германский рефлектор!

Они, конечно, такого маленького предмета, как я, не заметят, эти германцы – подумал я, ну а все же неприятно. Отхожу в сторону в темноту, но не тут-то было! Глаз опять направлен на меня, и во всей темной ночи я один освещен всей силой огня. Еще раз бросаюсь в сторону. Еще раз попадаю в полосу света, будто за мной следят! Да ведь это наш Комаров едет на своем автомобиле прямо на меня! Милый Панарин не пошел спать, как я ему советовал, а пока я замешкался, давая советы Боссу и Зельдину, сбегал на шоссе, разбудил спавшего в своем моторе Комарова, и вот они оба подкатывают к Сусникам – но раненых все еще нет. Обоз разобран. Остается разобрать медицинскую часть. Это дело одних врачей, и мы можем спать. Все, кроме Босса и Цветкова, укладываются и засыпают до утра как убитые.

Вот она, первая ночь на позициях. Как много потом казалось простым и чуждым всякой таинственности, но первое время все так необычно!

30 V 1915 Шестаково

Приезжал кн. Куракин. Осматривал лазарет, ездил в летучку «Б» в Новинах. Рассказ раненого о прорыве фронта германцами. С Егоровым иду из Новин пешком в штаб 27 дивизии. Там предупреждают, что может быть отступление. Мы должны постоянно держать при штабе вестового. Частичное свертывание лазарета после эвакуации всех раненых в поезд. Проба свертывания прошла очень удачно. Е. Вл. Милановский показал себя. Вечером того же дня штаб 53 дивизии посетил Сусники и настоятельно советовал летучке «А» передвинуться подальше от места разрыва снарядов.

31 V и 1 VI

В Шестакове и обеих летучках спокойно.

2 VI 1915 Шестаково

День, полный хлопот и волнений. Я заспался. Бимбаев входит в комнату, когда я еще не вставал, и говорит, что есть слух, будто германцы прорвались в Красном. Обозы и парки отступают. Ж.д. линия очищается. Поезд Пуришкевича уходит, больше поездов в Шестакове не будет. Справляюсь лично на станции у коменданта и получаю полное подтверждение. Нам должны были 3 вагона два дня тому назад для хранения запасного имущества и быстрого его увоза на случай отступления. Зная голод вагонный в стра-

не, я сначала не хотел брать вагонов, но со всех сторон штабы и просто сочувствующие организации нашей лица советовали забрать вагоны, предупреждая, что это единственное средство обеспечить свое отступление. Эти вагоны мы должны были занять частью наиболее ценным имуществом из запасов, частью вещами из лазаретов. Я теперь прежде всего хватился за эти еще недогруженные вчера вагоны. Увы – они на моих глазах угоняются со станции в Олиту, и я ничего не могу сделать, чтобы их задержать. Посылаю Егорова выяснить положение в штабе 27 дивизии, а сам приступаю к подготовке свертывания лазарета. У нас 110 раненых, что с ними делать. Из Пужка через Шестаково в Олиту должен пройти поезд санитарный, но комендант говорит, что он не остановится в Шестакове. Звоню во все штабы и во все канцелярии. В результате добиваюсь остановки поезда в Шестакове на 10 минут. Выносим всех раненых на платформу и, когда поезд подходит, переносим их на поезд, ну, не в 10 минут, но не больше как в 20 минут. Поезд ушел. Последний. Теперь надо думать о том, как нам уйти самим. Очевидно, гужом и пешком. Это кое-кому не нравится, но я не обращаю внимания на жалобы и замечания. Приказываю укладывать в повозки наиболее громоздкое имущество и прибрать лазаретное так, чтобы оно могло уложиться в обоз. Работа идет скоро и очень успешно, без особой сутолоки. Санитары-студенты и сестры на высоте положения. Приезжает фон Резон, особо уполномоченный Красного Креста при 34 корпусе. «Вы свертываетесь? Хорошо делаете. Всё отступает. Я уже 3-е отступление проделываю! Скучно». Я предлагаю проехать в штаб 27 дивизии, чтобы ориентироваться в положении, и оттуда съездить в обе наши летучки, которые ничего еще не знают. Едем нашим мотором. В штабе большое напряжение, но внешне спокойно. «Ждите наших указаний».

Предупреждаю летучку «Б» в Новинах, и едем затем в Сусники в летучку «А», с тем чтобы оттуда проехать в штаб 53 дивизии. Не застаем Босса в Сусниках. Накануне он искал по указанию штаба 53 дивизии помещение под летучку «А» в Погрантышках и, не найдя ничего подходящего, поехал просить разрешения остаться в Сусниках. В Сусниках ничего о тревоге на нашей станции не знают. От поездки в штаб 53 дивизии фон Резон отказался. «Мы с вами не знаем, что произошло и происходит, нелепо ехать при таких условиях вдоль фронта, когда, может быть, в этом месте наши войска уже отступили. Я не хочу ехать немцам в плен». Так как замечание это было по-моему основательно и при том я ничего от поездки в штаб 53 дивизии не ждал, я решил возвращаться в

Шестаково, дав в летучке «А» все указания на случай отступления и на случай если бы Босс, поехавший в штаб вдоль позиции, не вернулся. К счастью, эта предусмотрительность оказалась излишней. Босс привез вечером из штаба указания отодвинуть летучку свою в Шестаково, и на закате вся летучка в полном порядке медленно подъехала к Шестаковскому лазарету.

Впоследствии я узнал, что волнение охватило в тот день многих даже бывалых военных. Так, интендантство сожгло некоторые склады, готовясь к отступлению.

3-го июня

Вчерашний переполох имел свою хорошую сторону, как, впрочем, и все в мире сем. Во-первых, мы произвели пробное свертывание и развертывание, убедились, что соотношение обоза и имущества, им обслуживаемого, рассчитано довольно удачно, и заметили те улучшения в порядке свертывания, какие надо в будущем произвести. Во-вторых, я увидел, что мы должны и что мы в состоянии продолжать оказывать медицинскую помощь раненым, производя им перевязки, и тогда, когда лазарет свернут. Для того чтобы обеспечить непрерывность работы перевязочной, надо выделить <u>особо</u> арбу скорой медицинской помощи.

К вечеру 2-го у нас скопилось значительное количество раненых. Вечером же пришла телеграмма из штаба 53 о присылке арб и повозок в Мацково за ранеными. Я послал туда все три автомобиля и затем 7 арб под начальством Перфильева, знавшего дорогу. Автомобили, кроме Комарова, задержанного штабом до утра, вернулись с ранеными ночью. Перфильева же штаб послал за ранеными в Кохановчизну. Задержание Комарова и отсылка Перфильева не входили в мои расчеты, и на будущее время надо будет остерегаться повторения подобных вещей. Буду бдителен!

Ночью (со 2-го на 3-е) меня будят телеграммой. Штаб 53 дивизии просит прислать за ранеными в Новиники. Как быть? 7 подвод только что вернулись с Перфильевым, 7 стоят груженых летучкой «А». Несколько погружено было запасами лазарета на случай отступления. Народ наш весь сбился с ног за вчерашний день и за эту ночь. Решаю проехать сам с 7 арбами. Кстати заеду в штаб и узнаю общее положение. Выезжаю около 6 часов верхом, сопровождаемый 7 арбами.

На пути много раненых – одни пешком (большинство), другие на военных и на обывательских повозках. Все говорят, что около позиций осталось много тяжелых. Около Мацково нагоняю несколько повозок Пермского отряда. Видно, и они вызваны на по-

мощь. Жаль, что вчера они ушли из Мацково – вот когда они были бы там нужны. Нагоняю у штаба врача 210 полка. Знакомимся, решаем вместе заехать в штаб. Там никаких более точных указаний не дают – надо ехать в Новиники. Едем с полковым врачом, который берет меня как бы под свое покровительство. Заезжаем в их околодок (полковой перевязочный пункт), к батюшке, оказавшемуся уже знакомым (хоронил умершего в нашем лазарете), в околодок соседнего полка. Затем дальше за ранеными, не достигшими околодков. В некоторых местах врач меня останавливает. Здесь обстреливают: «Я проеду этот пригорок на рысях, и, когда скроюсь за теми деревьями, поезжайте и вы, но гоните лошадь». К каждой подводе нашей дают провожатого из полка, и каждую подводу ведут тоже отдельно. Таким образом наши подводы достигают самого Скергболе.

Но мне пора назад, из штаба я дал по соглашению со штабом депешу, чтобы летучка «А» немедленно выехала в Мацково и чтобы Сережа привел туда все свободные арбы лазарета. Надо приехать туда раньше наших, чтобы подготовить всё к их прибытию и чтобы поставить «отношения». Но в Мацкове никого, кроме полковых врачей, нет. Спешу дальше и встречаю Сережу с арбами на полдороге от Шестаково. Там же шла каретка – автомобиль с сестрами, Зельдин с обозом ехал за ними. Говорю Сереже сдать арбы летучке и возвращаться со мной в лазарет, что он с большой неохотой и работой над собой, чтобы не возражать мне, но делает беспрекословно. К обеду мы уже дома, а в обед новая телеграмма, уже из полка – просят забрать 60 раненых из Кохановчизны. Обстреливается ли она? Какой дорогой надо ехать, чтобы не попасть под обстрел? По какой дороге можно везти раненых? Эвакуировать ли их в Шестаково или в более близкое Мацково, куда уже пошла наша летучка? Еду автомобилем объездом через Сусники с Милановским и Панариным, а Сереже поручаю вместе с Волковым проводить арбы до Слободки и там ждать нашего приезда или нашего посланного.

В Кохановчизне околодок 211 полка – полковой перевязочный пункт. Врач занят какими-то списками. Хотя мы приехали по зову и ему же на выручку, он встречает нас довольно безучастно. Оставляю его в саду с его списками и вхожу в избу, где лежат раненые. Это ужасно – всё в непонятном беспорядке, живые и мертвые, отчаявшиеся и уповающие, страдающие и потерявшие сознание. Запах крови. Стоны. Взгляды, старающиеся угадать, можем ли мы принести утешение. И какая покорность судьбе! Никто ни о чем не просит, все ждут помощи молча, сосредоточено.

Здесь много больше 60, но раненые в руку могут идти пешком, подсаживаясь лишь время от времени, чтобы не истратить силы. И так мы сможем на своих арбах увезти всех тяжелых, а легкие пойдут за арбами пешком. Надо теперь выяснить, будет ли подан поезд в Мацково, и сможет ли наша летучка в Мацково принять всех раненых, и не лучше ли везти их прямо в Шестаково. Едем на моторе в Мацково.

Босс и вся компания стояли в саду под вековой липой, когда мы подошли к ним. Началось совещание тут же на месте встречи, причем сообщения о том, как устроилась летучка на новом месте, переплетались с суждениями, как быть с ранеными из Кохановчизны. В это время с германской стороны совсем будто бы близко от нас раздался орудийный выстрел. Затем снаряд, издавая какой-то металлический, резкий звук, взвился над нами и, перелетев сад, разорвался где-то за липой. Сначала оборвался звук полета и уже потом, через маленький промежуток разрыв. Я посмотрел на своих собеседников и понял, что надо во что бы то ни стало продолжать прерванный разговор, продолжать начатое дело. Но еще снаряд! Жутко слушаем его полет над головами, затем зловещее молчание, затем взрыв, вот там за акацией, совсем близко. Вздох облегчения у всех, но не у меня. Видимо, обстреливают ж. д. полотно, сибиряков, высаживающихся из поезда. Сережа с Волковым и арбами должны были ехать вдоль ж. дороги и остановиться в ожидании нас у Слободки. Долетают ли туда снаряды? Что, если Сережа с Волковым, не дождавшись нас, вздумают продолжать путь прямо под обстрел. Мне хочется сесть на автомобиль и ехать им навстречу вдоль ж.д.

Но не могу же я рисковать Панариным, не могу я оставить в Мацково Милановского. Как быть? Решаю ехать объездом из Мацково на Рудку, из Рудки на Слободку. Но нельзя торопиться отъездом, чтобы не показалось, что я бегу от обстрела и чтобы не деморализовать этим публику. Между тем снаряд за снарядом с громом вылетают из германских окопов и, проносясь со своим резким металлическим звуком над нами, разрываются где-то близко-близко за садом. Страх за Сережу захватил меня. Несемся в Рудку все же, ибо направить автомобиль под прямой обстрел навстречу Сереже я не имею права. Вот когда я проклинал свое неумение править машиной. Проехали Рудку, свернули по пескам к Слободке, и видим: какой-то обоз едет нам навстречу. Сережа впереди возбужденный кричит мне, что какие-то офицеры посоветовали им не стоять в Слободке, а свернуть на Рудку, и вот они здесь целы и невредимы!

При здешней обстановке нельзя отдаваться своим чувствам, я стараюсь быть спокойным, говорю, чтобы обоз шел впереди на Рудку и Кохановчизну, а наш мотор пойдет сзади. Обоз пошел, быстро удаляясь все дальше от мест обстрела, а мотор наш при повороте назад врезался в песок и ни с места! Пришлось толкать и затем идти часть пути пешком. Солнце уже было низко-низко. Жара шла на убыль. Из рощи потянулась прохлада, а где-то со стороны позиций гармония в чьих-то умелых руках выводила песнь бодрую и полную жизни. «Ведь вот же люди под обстрелом играют», – говорю я Милановскому. Мы остановились, послушали и заговорили о странностях человеческой души, о природе Литвы, тихих литовцах, Чюрленисе[3] и Балтрушайтисе[4]. Солнце наполовину скрылось, ноги вязли в сыпучем песке, гармония тянула свою песенку, а на позициях раздавались залпы ружей и рокотание пулеметов.

«Смотрите, какие чудные цветы», – на сыпучем песке мелкие, стелющиеся растеньица с ярко фиолетовыми цветочками, мною никогда ранее не виданными. Мы становимся с Милановским на колени и нарываем их целыми гирляндами.

«Ну, какая же разница между нами, собирающими цветы и играющим на гармонии? – спрашиваю я Милановского, – и при чем же тут привычка, разве мы так привыкли к обстрелу». Смеемся оба на все наши рассуждения, и бежим догонять Панарина, который уже вывел свой мотор на твердую почву.

И вот мы в Кохановчизне укладываем раненых в наши повозки. Военные врачи какие-то растерянные бродят между ранеными, не зная, что делать и как начать. «Безнадежных не берем», – говорю я врачу. «Давайте только таких, которые могут выдержать переезд без ущерба для здоровья». «Одного экстренного можно положить в автомобиль и отправить немедля». Но даже такая элементарная система не выдерживается. Экстренного намечают в первую очередь, но почему-то не дают его очень долго, мы успеваем все арбы за то время заполнить. А когда этот экстренный уже уложен и я спрашиваю, что у него и почему он признан экстренным, врач ничего определенного мне не говорит, а санитар из нижних чинов после отхода врача говорит мне: «Здесь, ваше превосходительство, ошибка вышла, того раненого, о котором вы говорили, с самого начала в арбу положили». Но перекладывать нельзя, надо ехать как уложили. Тем более что мое предложение выдвинуть экстренного вперед, очевидно, по существу не было понято, и вовсе еще не установлено, кого из 60 считать требующими помощи в возможно скором времени. Но вот это уже со-

всем нехорошо. Принесли умирающего, который и скончался в арбе, лишь только его уложили. Опять перекладывать. Работают только наши. Военные смотрят как-то растерянно и ничего не делают. Если бы ты видела Сережу за работой, ты, конечно, была бы им довольна. Он не отставал от старших, а старшие, Милановский, Панарин и Волков – выше всяких похвал!

Вот тронулись. Совсем темно. Автомобиль впереди. Останавливается на каждом повороте или перекрестке. Сережа верхом впереди арб. Волков сзади, тоже верхом. Так добираемся до шоссе около Сусников, и затем автомобиль, уже не останавливаясь больше, уносит меня, раненого и Милановского в Шестаково. Перед тем как отпустить нас вперед, Сережа достал взятый им кусок шоколада и, несомненно, довольный своим трудом и своими стараниями, поделился шоколадом с Милановским, Панариным и раненым, лежавшим в моторе.

Но меня уже ничто не удивляло – ни шоколад, ни гармония, ни сбор цветов, и я не хотел обмениваться мнениями и замечаниями с сидящим рядом со мной на «облучке», если так можно выразиться, применительно к автомобилю, Милановским. Эти безропотные страдальцы, которых мы везли, и наши милые санитары, ловкие и внимательные, с чувством подходившие к раненым и умевшие им действительно помочь, и среди них Сережа – вот чем полна была душа моя. Я радовался, что он цел и невредим, и радовался, что он такой, каким я его сегодня видел. Ты бы гордилась своим сыном.

В 4 часа ночи мы все ужинали у нас в комнате, сидя на наших кроватях, расставив блюда с холодными остатками ужина на поставленные «на попа» чемоданы, при свете огарка тобой купленного.

4-е июня

Утром получаю телеграмму от штаба 53 дивизии – прислать летучку немедленно в Пограntышки, что рядом с Сусниками, откуда летучка ушла по указанию штаба 2-го июня. Телеграфирую, что еду в Мацково лично распорядиться переводом летучки из Мацково в Пограntышки. Не понимаю, почему штаб не уведомит летучку сам, ибо находится рядом с ней. Если перевод вызван опасностью обстрела, то ведь здесь каждые полчаса ценны, а мне, чтобы добраться в летучку, нужно 10-12 верст по пескам сделать. Пока собирают автомобиль, приезжает фон Резон и передает что-то доктору. Доктор не разобрал в чем дело, а фон Резон уехал. Вот как дела делаются!

Сажусь с Бимбаевым на Комаровский автомобиль и нагоняю фон Резона в Вицгайло, куда перешел 2-го Пермский лазарет, оставивший Мацково. С первых же слов заметна какая-то натянутость. Пермяки обижены, что наша летучка заняла ими покинутое место. Сговариваемся разделить сферу влияний. Мое заявление, что нас уже просил штаб перевести летучку в Погрантышки, видимо успокаивает, но все же сговариваемся ехать вместе в штаб, чтобы установить сферы действия.

Пермяки поедут на лошадях, а мы мотором. Дорогой пресмешной случай. Мотор засел в лужу, из которой никак не удается его вывести. Чем больше стараний, тем глубже засасывается машина в эту странную лужу, будто по мерке мотора сделанную: края твердые, крутые, сухие, а сама лужа будто без дна. Пришлось лопатами расширять выезд, позвать добрых поселян на помощь и веревкой тянуть мотор вон из грязи. Когда Бимбаев, я и два крестьянина во всю силу напряглись, веревка лопнула, и мы все четверо полетели вверх тормашками, подняв столб пыли. Смеху было немало.

Но вот мы в штабе. Входят без доклада и без стука в дверь. На покойном кресле в пустой комнате перед картой, разложенной на единственном столе, покойно спит начальник дивизии – старичок, очень милый и расположенный к нам. «Согласно вашей телеграмме еду перевезти нашу летучку в Погрантышки». «Ну вот и отлично: мы вам туда поезд дадим!» «Ваше превосходительство – Погрантышки не находятся на ж.д.» «Ах, как это вам неудобно будет, но зато уж в Мацкове поезд будет к вашим услугам». «Ваше превосходительство, чтобы придти в Погрантышки, наша летучка должна уйти из Мацкова». «Да мы вас в таком случае не пустим. Все нас бросили на произвол судьбы, и не приди вы, наши раненые остались бы без перевязки. Теперь и вы нас хотите покинуть». «Ваше превосходительство, мы из штаба вашего телеграмму получили», – читаю депешу. Генерал в волнении встает, и слышу: будит в соседней комнате начальника штаба и дивизионного врача.

Всеобщее полное недоумение. Оказывается, думали, что мы можем выделять неопределенное количество летучек. Я готов был на формирование 3-й летучки, но при наличности Пермского лазарета, желающего перейти обратно в Мацково, я не вижу смысла это делать и предлагаю нашу летучку «А» перевести в Пограntышки, раз штаб это уже решил и там летучка нужна, а пермяков вернуть в Мацково. С трудом мирится генерал, не желая терять полюбившуюся ему летучку нашу из вида. Но вот приез-

жает фон Резон и кончаем на этом – мы в Пограньтышках, а пермяки – в Мацкове!

Вечером в Мацково прибыли пермяки, а ночью летучка наша ушла в лесную сторожку на ночлег, чтобы утром перейти в Пограньтышки.

5 VI

В Пограньтышках нет ни одного подходящего под лазарет двора. В одной низкой темной халупе живут 5 семей, все беженцы, бросившие свои дома у самых позиций. Куча детей, старухи, какие-то увечные старцы. Чтобы занять эту единственную по расположению к шоссе подходящую халупу, надо выселить всех приютившихся в ней. Нет ничего проще. Сказать старшему, или сказать тому, кто подвернется, что дом нужен, и все обитатели, хозяин и гости, оставят дом беспрекословно. Никто даже не спросит, куда ему деться. Это его забота, и офицеры не виноваты, если халупа им нужна. Для верности надо только бумажку на дверь наклеить с означением, что она занята Бурятским отрядом. Но это только для того, чтобы какая-нибудь часть войсковая или другой отряд не вздумал занять облюбованное нами помещение. Сначала мне трудно было проделывать эту операцию. Как я просил В.Н. Полетаеву не занимать для своей летучки лишнюю комнату, без которой, по-моему, можно было обойтись и которой хозяйка, по-видимому, особенно дорожила. Но теперь я проделываю эту операцию спокойно и деловито, стараясь лишь ограничиться самым необходимым и стараясь не создавать для жителей безвыходного положения. Вот эту халупу в Пограньтышках мы с Боссом не решились занять, и после долгих поисков мы вернулись всё же опять к Сусникам, но остановившись теперь на крайнем дворе, самом близком к Пограньтышкам и самом удаленном от окопов. Конечно, при желании он может быть срыт с земли в несколько минут снарядами германскими, но наша задача была найти укромный уголок, не удаляясь слишком от линии. Избранный нами двор за холмом, укрыт и незаметен неприятелю, да и поблизости, кажется, нет интересных для него целей.

Не хотелось ни Боссу, ни всей летучке перебираться на новое место. Случайно на одну ночь занятый домик лесничего представлял заманчивый уголок. Кругом лес, со всеми лесными прелестями, благоухание цветов, пение птиц, прохлада, дичь, приятные прогулки… В доме так всё уютно, удобно. Лесничий был немец. Рояль в гостиной. Комфортабельная мебель. На стене вышитые хозяйкой по-немецки надписи – смесь благочестия и домовитости.

Правда, когда немцы достигнут конца своего развития – высшего своего предела, у них явится немецкий свой Конфуций, который, подобно китайскому, переложит в религиозные постановления правила, как подметать пол, мыть руки и почитать родителей. Но они еще не достигли своего зенита, немцы, а пока что немец-управляющий выслан, дом пуст, цветы без хозяина, рояль без музыканта, и поучения на стенах вызывают лишь усмешки случайно заезжающих сюда при разведках офицеров.

Перед тем как расстаться совсем с этим домиком, приветливым и укромным, наша летучка устроила там вечеринку. Мария Николаевна пела, Босс играл на рояле. Все как-то забылись, зачем они здесь… Я не был, но думаю, что со стороны этот домик в лесу, оживший на несколько часов, чтобы потом погрузиться опять в мрак, являл странную картину.

6 VI 1915

Наконец-то удалось выпроводить в Москву Мухартова. За разными экстренными делами и хлопотами...*

6 – 12 VI 1915

Несколько дней ничего не записывал. То некогда, то посетители, то усталость. Вот коротко события этих дней.

Был бой в 53 дивизии, с большими потерями и небольшим отступлением 211 полка. Командиром полка Мамаев, почему начальник штаба называет это сражение Мамаевым побоищем. Говорят, много наших сдалось в плен. Потери – свыше 1000 человек. За ночь мы приняли 447 – рекордный прием. Всё прошло у нас в порядке, без всяких замешательств. В лазарете приемом легко раненых заведует Мизюкова. Очень хорошо управляется, хотя на неё несправедливо много работы выпало сравнительно с другими. Впрочем, справедливость здесь трудно соблюсти. Тот, кто умеет хорошо работать, обязательно получит больше работы, ибо нельзя же рисковать давать поручения в ненадежные руки. Сестры, впрочем, наши все хорошие, хотя многие и мало подготовлены. Андреева всю ночь сидела и утром не была никуда негодной, как бы можно было думать по тщедушному её виду. На её дежурство выпала первая смерть. Это было на второй день открытия лазарета. Принесли безнадежного. Он умирал целые сутки. Андреева, очевидно, не могла примириться с неизбежностью и окружала несчастного участием и лаской, даже когда началась

* Текст обрывается, оставлено пустое место.

агония. Это был наш первый раненый, и им же открылось наше кладбище. Все провожали. Священник полковой сказал слово. Андреева была вся проникнута происходившим. Затем это повторялось уже неоднократно. 8-го хоронили Вейцлера, прапорщика 211 полка, товарища Окорокова и Милановского. Он тоже привезен был в безнадежном состоянии. Скончался на руках у Ульянищевой.

7-го вечером мы с Сережей и Боссом верхом были в штабе 53 дивизии в Мацкове. Надо было узнать, что будет после «Мамаева побоища». Начальник дивизии очень негодовал на нас, что мы не приехали к ужину, и заказал приготовить для нас особо. Мы отказывались, но были очень рады, что отказу нашему не вняли. Проголодались, да и интересно было сидеть в штабе и наблюдать их работу. Всё происходило за столом. Докладывают, что с наблюдательного пункта такого-то полка усмотрели значительные передвижения германских войск. Догадки – куда, зачем. Требуют точной телефонограммы. По рассмотрении приходят к заключению, что немцы отходят. Приказ – дать несколько снарядов по отходящим. Глубокое молчание. Вдруг оглушительный выстрел. Стекла задрожали. За ним другой, третий. Мне вспоминаются минуты детства. Нина и Катя на охоте. Ржевский нацелился на зайца, а сестры молят Бога, чтобы он промахнулся. Весь красный, Ржевский бросает ружье и обращается к ним с недоуменным вопросом. Он страстный охотник, и это ему кажется глупо и смешно. Но все радуются и смеются, идут на привал, довольные друг другом и собой, не замечая будто бы несообразности – идти на охоту и молить о промахе в зверя. И вот, когда полетели наши снаряды в Кальварию, я спрашивал себя, желаю ли я, чтобы дан был промах. По совести – я не нашел в себе этого желания. В случае попадания – 20-30 убитых и раненых неприятелей от каждого снаряда. Это ужасно, но, быть может, еще ужаснее то, что мы не ужасаемся, что единственное наше спасение в том, чтобы на время не ужасаться…

Попали или не попали, не знаю, но наутро немцы в отместку вновь обстреливали Мацково и вернувшийся туда Пермский лазарет. Убили часового, но больше ни в кого не попали. Приехавший затем фон Резон настаивал на переводе пермяков в другое место, но они не хотят уйти. Прошлый их уход из Мацкова послужил темой для разных неуместных разговоров, и теперь пермяки желают, очевидно, чтобы им было предписано оставить Мацково. Между тем никто им такого формального предписания не дает. Фон Резон рекомендует мне представить сестер летучки «А» к

георгиевским медалям. Своих пермячек он представляет. Я же не хочу начинать деятельность отряда с погони за наградами, хотя бы и заслуженными. Невыгодно иметь такого уполномоченного, как я?

Шестаково, 12 – 15 VI 1915

Не проходит дня, чтобы нас кто-нибудь не посетил. Всех и не припомнишь. Не говорю о штабах – дивизий, корпуса, отдельных полков. Это уже свои люди. А то – из Гродно, да из Петрограда. Какой-то командированный штабом X армии Комаревский, профессор Казанского университета – о противогазах, другой профессор другого университета о хирургии хлопочет и т.д. И всё это, думается мне, бесследно. Теперь, для того чтобы утверждать что-либо или советовать что-нибудь, полагается говорить – я был и собственными глазами видел на месте. И вот, чтобы иметь право это сказать, люди ездят. Может быть, ничтожную какую-либо пользу они и приносят, но всё же чиновничье, поверхностное, Петроградское есть в этих разъездах. Но я не хочу здесь ничего осуждать и умолкаю. Если только стать на эти рельсы, то далеко придется уехать по пути критики, и эти командировки окажутся слишком незначительным обстоятельством, чтобы на них останавливаться.

Еду в Гродно. Надо, наконец, лично познакомиться со штабом X армии. Со мной поедут Сережа, Панарин и Перфильев. Последний будет покупать седла и сбрую.

Шестаково, 18 VI 1915

Сегодня утром рано вернулись из Гродно. Видел Радкевича[5] – командующего X армией, начальника штаба, полковника Евстафьева – заведующего санитарной частью армии, много разных генералов, между ними нашего корпусного. Радкевич – плотный крепкий старик, с простыми манерами, вероятно, храбрый и деловой. Он до недавнего времени командовал 3 Сибирским корпусом, самым славным и стойким из корпусов X армии. Он ли по сибирякам, они ли по нему, но дух один – деловой, серьезный, ничего на показ не делается, манеры грубоваты, но обхождение радушное. За обедом Радкевич хлопочет, чтобы всем досталось квасу. Не раз встает и на положении хозяина дает те или другие распоряжения подающим блюда солдатам. Пригласил всех сесть за обеденный стол «по чинам». Чинов было много. Мой приезд совпал с заседанием «Георгиевской Думы», присуждающей кресты, и съехалось много генералитета. Естественно, поэтому много

говорилось о наградах. В этот день стало известно об отставке Сухомлинова[6] и назначении Поливанова[7]. По случаю «перемены счастья» Радкевич сказал, что после войны желал бы получить назначение куда-нибудь подальше – ну, в Туркестан, например. Возврат правительства к народу и к обществу всеми приветствуется. Все верят, что теперь недостатка снарядов не будет. Боюсь, что здесь даже преувеличивают силы и возможности, какими обладает общество. Ждут назначения А. И. Гучкова[8] товарищем министра военного, острят над тем, какую он будет носить форму, но, по-видимому, никого такое назначение не шокировало бы и оно здесь считалось бы естественным. Меня расспрашивали про Союз Городов, который всюду смешивают здесь с Земским Союзом.

Шестаково, вечером 18 VI 1915

Я почти не спал ночь, т.к. приехали-то мы из Гродно около 4 утра, и затем вышли ночью или утром всякие помехи. Днем сел было писать, но оставил – глаза слипаются. Вечером у нас хоронят двух из 108 полка – офицера и рядового. Они были ночью на разведке. Встретившись с разведкой германской, вступили в бой ручными гранатами. Офицера в Шестаково принесли на носилках в безнадежном состоянии, и ночью он скончался в лазарете, опять на руках у Ульянищевой. Рядовой остался между окопами, и какой-то смельчак ползком носил ему воду и пищу. Ночью его вынесли и затем доставили в лазарет, но он тоже скончался. Полк решил хоронить обоих с воинскими почестями. Сестры решили сплести венки. Я пошел вместе с ними в поле, чтобы перебороть сонливость, на меня напавшую. Цветов немного. Васильки, маргаритки, клевер – поблизости нет луга, и мы рвали цветы в ржаном поле. Мне почему-то вспомнилась картина раннего детства. Тоже чахлое ржаное поле около ж.д. станции, только не Шестаково, а Кунцево (около Жуковки) – только там можно было нарвать васильков. Как и тогда – жарко, жужжат насекомые, над головами – жаворонки. Мы любили отыскивать их в лазури неба и состязались, кто скорее увидит. Только теперь, кроме жаворонков, над головами носится еще немецкий таубе. Его тоже иногда только слышишь над собой, но не видишь. Первое время он раздражал и не давал ничем заниматься. Теперь все привыкли. Бомб он не бросает, но сигналы какие-то подает. Не раз видели мы, как его обстреливали шрапнелью, всегда безрезультатно.

Похороны были очень трогательны. Полковая музыка. Расстроенные, искренне расстроенные лица товарищей офицеров,

даже нескладное слово полкового священника – всё производило сильное впечатление.

Просил офицеров остаться ужинать, но командир сказал, что получил донесение о движении германцев против его окопов, и надо возвращаться туда. Было 8 ч., когда все ушли. А в 11 часов началась отчаянная канонада и стрельба по всему фронту. Такой еще никогда здесь не было. Все собрались на погребе – наш наблюдательный пункт – и следили за ракетами, прожекторами, взрывами гранат и шрапнелей. Очевидно шел большой бой. Надо было приготовиться к большому числу раненых. Наши летучки будут иметь работу. Заказали по телеграфу, чтобы к утру подали сюда из Олиты санитарный поезд. В 3 часа я решил отправиться в летучку с лазаретными подводами, и чтобы хоть немного вздремнуть, лег в 2 часа, приказав дневальному меня разбудить. Когда я вскочил по зову дневального, я нашел Милановского всё на том же нашем погребе. Он совсем не ложился. По его словам, перед рассветом канонада еще больше ожесточилась. Пока я спал, пришла записка от Босса – просит подвод под раненых. Егоров верхом увел 7 арб. Пожалел меня будить. Но он забыл про 10 повозок казенных, стоявших у нас в Шестакове и не послал пополнения – санитара вместо выбывшего из летучки Галецкого. Бужу только что накануне прибывшего нового санитара, пою его чаем с галетами и отправляю в летучку «А». Сам еду сначала в «Б», чтобы там увериться, всё ли в порядке.

Продолжаю прерванное описание.

19-го июня.

Со мной увязался подполковник Комаровский. Это чистое наказание. Он командирован штабом армии для обследования и урегулирования эвакуации. Никаких полномочий не имеет. Вмешивается в чужие распоряжения. Перед высшими трусит, с низшими груб и нахален. С нашими постоянно заводит разговоры на неуместные здесь темы, почему и прослыл здесь провокатором. Пока от него здесь работы я не вижу, а отношения он портит. Сплетничает. Когда хочет похвалить, он не находит, что сказать о твоих достоинствах, а во все корки начинает тебе бранить твоего соседа, думая этим польстить тебе и сделать приятное. Ты знаешь, я не выношу «пересуд», он же другого разговора не понимает и обижается, когда ты либо молчишь, либо уклоняешься от ответов и от высказывания своего мнения. Мне раз пришлось ему категорически сказать, что мы пришли сюда не судить, а помогать,

и будем помогать даже тем, кого, быть может, внутренне будем осуждать. «Не на раненых же учить людей, как надо действовать, да еще вопрос, сумеем ли мы с вами делать лучше». Он ожегся, но не унялся, потому что по природе лишен всякого такта. Хотел устроить у нас свою жену сестрой милосердия. Я отклонил. Тем не менее он на словах высказывает мне и нашему отряду всяческое расположение и поселился у нас на неопределенное время и с неопределенными целями. Я не люблю ездить с ним, потому что всюду он устраивает неприятности, и выходит, что я становлюсь либо участником их, либо по крайней мере свидетелем.

В Новинах – летучке «Б» – все спали, когда мы туда приехали. Я разбудил Руднева и Авербурга, расспросил, как прошла ночь, и предупредил, что со стороны 108 полка, обслуживаемого летучкой «Б», должны быть раненые. Повозка, оказалось, была с вечера послана на позиции, но не возвращалась. От Новин спешим в Пограntышки. Было уже 4 ч.30 м., когда мы на шоссе встретили большой обоз, идущий от позиций. Кто? Куда? Почему? 2-ой обоз 211 полка. Приказано отступить на 4 версты. Гоним лошадей (мы с К. едем верхом). Еще обоз, на этот раз полковой перевязочный пункт 211, бывший до сего в Кохановчизне, отступает в Стродзее, почти к Шестакову. Здесь много знакомых. Непринужденно говорят, что окопы наши взяты, 1 батальон взят в плен, около 1000 убитых и раненых. Штаб полка оставил Яхимовичи. Кохановчизна обстреливается. Раненых много, но они не задерживаются в Кохановчизне, ибо за обстрелом небезопасно делать перевязки. «Ваша летучка тоже свертывается и уходит». Через 15 минут мы в Погрантышках. Летучка работает, уходить и не думает, только лишнее имущество укладывается на арбы, чтобы не задержать отступления. Арбы с Окороковым, только что приехавшим из Кохановчизны, вновь направляются Боссом туда, ибо туда стекаются по привычке множество раненых, и за уходом оттуда полковых врачей эти раненые не получают никакой помощи. В избе сёстры заняты перевязками. Через 30 минут приблизительно приезжают обратно из Стродзее полковые врачи. К. обрушивается на них с самой неприличной руганью, указывая, что они бегут там, где даже неопытные сестры наши не думают трогаться с места. Положение полковых врачей было действительно постыдное, но зачем же нас еще впутывать в эту историю. Я стараюсь ускользнуть, чтобы не быть свидетелем этих распеканий, но К. всюду меня ищет и взывает быть свидетелем служебного проступка врачей. Я все же увертываюсь. Через четверть часа мы снабжаем врачей нашими перевязочными средствами, и они на наших арбах и с нашими са-

нитарами едут в Кохановчизну. Всё свое они заслали в Стродзее, и ничего не были бы в состоянии делать. К. дружески жмет им руки, о чем-то им шепчет. Очевидно, произошло какое-то примирение, и перехвативший через край К. боится теперь, чтобы на него жалобы не подали.

«Что же? Едемте в Кохановчизну», – говорит мне затем К. «Зачем? Я там ничего не могу сделать. Мы работаем здесь, и видите, у нас здесь работы по горло. В Кохановчизну мы дали врачам полковым помощь и арбами, и перевязочными средствами, и людьми, но ведь распоряжаться я там не имею возможности. Здесь я более нужен, а если вы желаете, я дам вам проводника».

Уже не первый раз я срываю у К. возможность парадировать в качестве героя – ехать восстанавливать порядок, бесстрашно лезть в огонь, а затем представить меня, своего спутника, к Георгию и этим путем заработать его и себе, ибо не может же он сам себя представить, но может рассчитывать, что при составлении протокола я восстановлю «истину» и укажу, что и он был тут же. Всё это белыми нитками шито и препротивно.

Но летучка наша в это утро действительно сыграла немалую роль. Не будь её, раненые остались бы без перевязки и паника, вероятно, распространилась дальше.

В конце концов полк 211 отошел на 3 версты от своих прежних позиций, но всё остальное удержалось на месте. Летучка осталась в Пограптышках.

Продолжаю описание всё того же дня – 19 июня. Здесь ведь так – то совсем не на чем остановиться, то события развертываются как в кинематографе.

После посещения летучки К. всё навязывает мне поездку в штаб 53 дивизии в Мацково. Произошла хотя и частичная перемена фронта, надо же осведомиться, что можно ждать. Я понимаю, что надо ехать, но не хочу ехать вместе с К. Предлагаю ему ехать одному, ссылаясь на необходимость заняться здесь обозом и летучкой «Б». Кое-как отделываюсь и еду в «Б» с намерением пешком оттуда сходить в штаб 27 дивизии, которая, конечно, по телефону уже осведомлена о том, что произошло и что ожидается в 53 дивизии.

Здесь меня ждала новая неожиданность. «А у меня к вам дело», – встретил меня начальник штаба Меньчиков. Мы получили предписание немедленно перейти в К. (совсем другой фронт). Не пойдете ли вы с нами? Ведь у нас нет медицинских учреждений». Это предложение открывало столько заманчивых возмож-

ностей – работа со знакомой и симпатичной дивизией, переход на главный театр и пр. и пр. Но как оставить 53-ю, только что пострадавшую, которой предстоят большие испытания, особенно с уходом 27-й. Ведь большинство раненых за эту ночь еще не достигло нашего лазарета, и многие еще лежат в окопах и будут вынесены будущей ночью. Затем многочисленность отрядов на том фронте, наша связь и наше назначение на этот. Наконец, целесообразно ли связывать большой отряд, как наш, с одной лишь дивизией.

Я высказываю тут же свои соображения и говорю, что дам окончательный ответ вечером. Уверяю начальника штаба, что удастся найти отряд из находящихся уже на месте назначения 27 дивизии, который согласится заменить нас, и предлагаю телеграфировать в Москву об этом. Но за невозможностью снестись с Союзом путем шифра пришлось от последнего отказаться. Начальник штаба просит о сказанном мне никому больше не передавать, и я возвращаюсь домой решить вопрос сам с собой. Я не считаю себя вправе советоваться и, добравшись до постели, засыпаю часа на 4 мертвецким сном до ужина. Не спавши почти кряду двух ночей, я боялся принять ответственное решение, а когда выспался, оно стало для меня несомненно – надо оставаться на месте.

Тем временем К. побывал в Мацкове, и, когда я собирался ехать вновь в Новины, он попросил меня на пару слов. «Вам, как начальнику отряда, я могу сообщить секрет: 27-я дивизия уходит. Готовьтесь к событиям». Мне стало смешно, но не знаю почему, я не сказал ему, что уже осведомлен об этом секрете. Когда я уже сел верхом, кто-то из ст. санитаров меня спрашивает: «Вы в Новины? Правда ли, что 27 уходит?» Кто разболтал? Не К. ли? Это вечная судьба секретов, а каково мое глупое положение хранителя секрета Полишинеля!

Но я, очевидно, неисправим. Отделываюсь незнанием и сам молчу. Но каково же мое положение, когда на следующий день утром Аверберг привозит из летучки сообщение: «27-я дивизия уходит, зовет отряд с собой, но уполномоченный не пускает». Оказывается, дивизионный врач еще вечером 19-го приходил к нашим чай пить и всё рассказал. Нелепое положение, перед Бимбаевым и Егоровым особенно! Но, очевидно, мне уже суждено на секретах постоянно впросак попадать!

Но всё же эта болтовня меня возмущает. Выселяют мирных жителей, устраивают секреты, маскируют передвижения, ставят ложные батареи, предпринимают демонстрации – всё это ведь трудов-то каких стоит, неужели молчать труднее?

22 VI 1915

27-я дивизия ушла. Я прощался со всеми в штабе её. Большинство довольно новым назначением. Один только прапорщик откровенно говорил, что ему чем ближе к Вильно, тем лучше, и чем дальше, тем хуже. Вероятно, зазнобушка у молодца в Вильно. «Ну и чего ты сетуешь?» – говорили ему товарищи. «Вот теперь мы были близко от Вильно, а ты побывал там хотя бы один только раз?» «Нет», – отвечал расстроенный прапорщик к большому смеху товарищей. А я его всё же понимаю. Если бы знать, что к тебе можно в 6 – 8 часов добраться, мне было бы легче, пусть даже и не приходилось этой возможностью воспользоваться.

Начальник дивизии был сосредоточен и очень в то же время обходителен. Участливое наше отношение к его дивизии, лишенное всяких официальностей, переносило его, по-видимому, в тот мир, где он привык жить до войны и от которого отрезан с начала её. Говорили о мобилизации промышленности на нужды войны. Он сам когда-то стоял во главе военного завода, изготовляющего снаряды. На мои сомнения, что удастся что-либо больше сделать в достаточное скорое время, он заметил: «Конечно, надо было взяться за ум с самого начала войны, но всё же и теперь еще дело не упущено». Он очень надеется на то, что мы германцев перед Люблиным задержим. Он прошлой осенью участвовал в боях в этой местности и находит, что преимущества будут здесь на нашей стороне.

После ухода 27 дивизии – фронт против Людвинова от Жельства на северо-восток заняла бригада 3 Сибирского корпуса – полки 26 и 27. Наша 53 дивизия переменила свое расположение и заняла часть окопов 27-й. Теперь она стоит от озера Рауданис до Жельства. Дальше на Юго-запад стал 2-й корпус, сначала 43-я, потом (еще западнее) 26-я дивизия. Ближайший соседний к нам полк 43-й дивизии имеет штаб свой в столь знакомой нам Рудке. Штаб 53 дивизии занял место штаба ушедшей 27-й. В корпусе нашем осталась всего одна дивизия с прикомандированной бригадой сибиряков. Штаб корпуса остался в Симно. Мы сохранили свое расположение в Шестакове – Пограничных – Новине. Пришлось только реорганизовать одну летучку, именно «Б». До сих пор обе играли роль дивизионных лазаретов, «А» – при 53-й дивизии, «Б» – при 27-й. Теперь обе оказались в районе 53-й дивизии, и какой-нибудь одной из них нужно было остаться в роли дивизионного лазарета. Я, конечно, без колебаний остановился на «А». Летучку «Б» преобразили в транспортный отряд. Поле-

таеву и Минзанову взяли в лазарет в Шостаково. Начальником транспорта назначил я Белавина. Всё это отвечало давнишним желаниям всего персонала летучки. Полетаева – хорошая женщина, но в высокой мере бестактная, и, говоря прямо, она не была на месте. Молодежь наша в ней очень ошиблась. Сначала, доро́гой, многие желали быть непременно в её летучке, не попавшие туда старались склонить меня всяческими и просьбами и доводами переменить распределение. Я очень рад, что не пошел ни на какие уступки и оставил то распределение, которое сам наметил. Я оказался лучшим психологом, чем наши молодые люди. Я дал в летучку «Б» наиболее устойчивых, спокойных, положительных людей, опасаясь именно, что с Полетаевой могут выходить шероховатости. Этим я шероховатостей не устранил, но всё же, благодаря особому подбору, эти недоразумения не разрослись до крупного скандала. Теперь же, когда явилась возможность сделать перемены, естественно, что с трудом переносивший создавшееся положение персонал летучки ждал, что его освободят от неудачного начальника. Сама Полетаева надулась, заявила, что нигде, кроме летучки, работать не согласна, но едва ли на самом деле уйдет. Если решит уйти, я её задерживать не стану.

1 VII 1915

П.В. Кожеуров – незаменимый человек в отряде. Тихо и незаметно он умеет делать очень много и воспользоваться всем, что под руки попадает. В Шестакове он оборудовал баню и прачечную с гелиосом, а его помощник, милейший из студентов – техник Волков, открыл при ней чайную. И заведение это стяжало отряду славу по всей дивизии. Несмотря на лето, баней и переменой белья солдаты очень дорожат. Они приходят сюда эшелонами по очереди, и баня работает целый день. Интересную картину являют развалины, в которых сделана баня, когда они бывают окружены толпой голых солдат, ждущих удовольствия попариться или уже отдыхающих и прохлаждающихся на воле после этого удовольствия. Но кроме Шестакова мы завели баню, прачечную, дезинфекцию и обмен белья в Жельстве, очень близко от окопов, уже нарочно для солдат, находящихся на позициях. Под баню заняли мы покинутую халупу на берегу реки Шушун, расположенную довольно живописно и хорошо защищенную от выстрелов бугром. Там моются около 100 человек в день. Стиральная машина самодельная – из бочки из-под бензина. Гелиос сложен на месте печником под руководством Кожеурова. Он сделал на бумажке надпись:

«Бесплатная баня В.С.Г.* Бурятского отряда». «На ст. Шестаково имеются две бани: для офицеров и для нижних чинов». Листок сдуло ветром, но солдаты сами восстановили объявление: «В Шестаково две бани: для офицеров и нижних чинов увсегда». Увидевший эту безграмотность Беллавин хотел снять объявление, но я просил не срывать – оно характерно и свидетельствует собой, что баню ценят *увсегда*.

Новостей у нас никаких нет. Вот самые последние.

Для рытья окопов здесь мы прибегаем к труду пленных австрийцев.

Здесь схватили германскую собаку, приученную будто бы перекусывать телефонные провода.

Германский аэроплан сел в нашем расположении, и летчик взят в плен.

Здесь взяли в плен австрийца, он утверждает, что будто бы много австрийских войск переведено на этот фронт.

Последние дни пасмурно и дождливо.

Панарин устроил подвижную чайную и вчера дежурил на шоссе.

2 VII 1915

Я уже упоминал, что наши студенты устроили подвижную чайную летучку. По мысли их, эта чайная должна выезжать туда, где предвидится скопление временное проходящих на окопы и с окопов солдат. Чай, хлеб и сахар, конечно, отпускаются солдатам бесплатно. У нас не было снаряжений для этого, но постепенно всё набралось. Кружки, чайники и кипятильники привез из Варшавы Укше. Бочку-водовозку дали отрядную. Из купленных Перфильевым для отряда здесь лошадей и арб (мы понемногу покупаем для увеличения перевозочных средств) Панарин выпросил пару лошадей и арбу для чайной и ловко приспособил её для этих надобностей. Сережа с Рудинским купили в Гродно корзины под хлеб. Маленькую палатку сделали из брезента сами студенты при помощи Вандинова. Для обслуживания чайной установлена очередь – дежурство, и весь мужской персонал, кроме врачей и помощников их, записался. Больше всего хлопотал Панарин. Он же и выехал первым. В общих чертах место было выбрано мною и Панариным раньше. В конце дня я всё же решил при деловых разъездах верхом наведать чайную и посмотреть, как всё устроилось. На повороте шоссе, на довольно возвышенном месте, стоит

* Всероссийского Союза Городов (Согор).

халупа, нами намеченная, в которой раньше помещалось 7 семей беженцев и о которой я, помнится, уже упоминал (в Пагрантышках). Теперь все население отсюда выселено, что, впрочем, не мешает коренным владельцам всё же держаться во дворе своем. Они перебрались из халупы в амбарчик или сарайчик какой-то и считают, что «выселились». Их не тревожат. Халупа маленькая, темная, грязная, но располагать в ней чайную и не предполагалось, а на неё рассчитывали для помещения кучеров, размещения во дворе её лошадей и, наконец, как на крайнее убежище в случае проливного дождя, который, конечно, выгонит нас из палатки.

«Учреждение» наше еще не было готово, когда я подъехал. Для расположения столика и палатки Панарин, гонясь за красотой, избрал песчаный бугор рядом с группой деревьев. Но, увы, под этой группой, как и под всяким «укрытием» (от наблюдений аэропланов) стояли лошади и, вероятно, долго, ибо здесь получилась настоящая навозная куча. Это очень смутило Панарина, но пришедшие из летучки «А» товарищи взялись кучу убрать. Я застал их за этой поистине неблагодарной работой и едва уговорил бросить. Где тут нам убирать навозные кучи! Мне очень смешна показалась и самая погоня за красивым видом, и самая мысль снести навозную кучу, накопившуюся здесь за много месяцев войны!

* * *

Мы теперь будем работать в Вилькомирском районе. Германцы двинулись на Поневеж и угрожают зайти, обойдя Ковно, во фланг и даже тыл наших армий Северо-Западного фронта. 34-му корпусу поручено загородить им дорогу в районе Кашедары – Яново – Вилькомир. В состав корпуса войдут много дивизий пехоты и конницы. Генерал Тюлин[9], к которому мы идем, войдет со своими кубанцами в состав корпуса и образует особый отряд из двух кубанских дивизий и одной или двух пехотных. Из Янова, где он сейчас стоит, он перейдет в Вилькомир. Мы выдвинем туда же летучку, а по тракту Вилькомир – Вильно мы расположим наши учреждения – больницу в Вилейке, как советует Тюлин, или в Ширвинте, как рекомендует корпусный командир генерал Вебель[10] (предстоит придти к соглашению), больницу для терапевтических больных в Ширвинте, в Мейшегале – станцию, заведующую транспортом раненых, и питательный пункт для них и для беженцев, в Вильно же будет наша база – наш склад. Мы раскинемся таким образом на 80 верст и должны будем на такое расстояние вывозить раненых в Вильно. Для нашего обоза – это непосильная задача, но нам обещали прислать для работы в том

же районе автомобильный транспорт Московского Автомобильного общества, так называемый Веревкинский, или официально № 47, Красного Креста Отряд. И, наконец, два лазарета для приема эвакуируемых нами раненых и больных – заразных.

Опять нам приходится принимать на себя задачи, к которым не готовились, но такова уж наша судьба! Без терапевтического своего отделения мы не сделали бы и половины необходимой работы, не пришлось бы ещё открыть и заразное! Это было бы потруднее!

* * *

С этими планами и заданиями прибыли мы 14 июля в Вильно. Я не стану описывать промежуточных событий – поездка автомобилем из Олиты в Кашедары, оттуда поездом воинским в Янов, поиски там Тюлина на обывательской подводе, первое знакомство с этим генералом и его штабом, поднесение ему иконы, при котором мы присутствовали, знакомство с вольноопределяющимся казаком из остзейских баронов (!), живущим обыкновенно во Владимире, а теперь служащим переводчиком при допросе пленных, посещение мною штаба 34 корпуса в Ландворове и многого другого. Всё было для меня интересно, но ведь всего не опишешь. Теперь же у меня с разбросанностью нашего отряда так много времени будет уходить на переезды, что придется мало писать. Надо будет поневоле о многом умалчивать за недосугом описать.

Наш отряд прибыл в Вильно поездом 14 июля около 6 часов вечера. Нам было сказано немедленно разгружаться. Между тем за поездками в штабы для получения разных указаний и разными другими делами я не имел возможности подготовить помещения для отряда в Вильно. Я сам приехал в Вильно вместе с отрядом – в одном поезде и не мог послать вперед никого для этой цели, ибо до последней минуты было не выяснено, придется ли нам разгружаться в Вильно или Кашедарах, или Ландворове, или еще где-либо.

Оставив всех в поезде, мы с Егоровым поехали в город приискать помещения. Это оказалось не так-то легко. Последние дни в Вильно пришло много учреждений, эвакуированных из других городов, и все помещения полны. При том в Вильно в этот день была объявлена «окопная повинность». Всё взрослое мужское население обязывалось явиться назавтра для участия в работах по сооружению окопов. Служащие и писцы в Думе, студенты, половые в ресторанах, приказчики в магазинах, извозчики, повара и прислуга – всё пришло в смятение. Кто обязан был идти на

окопные работы и бросал свое дело, кто по службе обязан был регистрировать рабочих и готовить им провиант, лопаты, кров, кто спешил запасись бумажкой, в силу которой он мог бы быть освобожден от окопной повинности. Как муравейник, в который сунули палку, весь город пришел в движение. Все бежали и спешили куда-то, вероятно, каждый знал, куда и зачем, но для нас, приезжих, общая суетня во многом смахивала на беготню муравьев в растревоженном муравейнике. Во всяком случае найти нужное лицо и добиться от него толку было не легко. Наконец уже в 11 часов вечера мы заполучили полковника, председателя комиссии по квартирному довольствию войск. Старик, с длинной бородой, хмурый, с серыми усталыми глазами, взглянул на нашу бумагу об отводе помещения отряду, всплеснул руками и разразился речью: «Что вы делаете! Зачем вы все едете в Вильно, вы разве не знаете, что в Вильно сейчас всё битком набито! Кто вас сюда прислал, пусть тот и найдет вам помещение. Легко сказать – 120 лошадей, 100 нижних чинов, 40 студентов и врачей и 20 сестер – ведь это не шутка!» «Господин полковник, я понимаю ваше трудное положение, но поймите же и вы нас. Мы не можем ехать дальше в Двинск, как вы рекомендуете, когда мы обслуживаем части, назначенные для защиты Вильно. Мы не могли заранее предупредить вас, ибо только сегодня утром в Ландворове, откуда мы только что и приехали, мы получили окончательное назначение на Вильно».

Наши глаза встретились, и, как я уже часто наблюдал за работой на фронте, простой взгляд друг другу в глаза сказал больше, чем можно было бы сказать словами. Полковник взволновался: «Да что же вы их до ночи держите? – обратился он к служащему Городской управы. – Разве вы не видите, что они устали? 20 сестер – нельзя же им на улице ночевать!» В несколько секунд всё было устроено. Лошади и нижние чины с обозом устроятся на городской площади: «Сейчас лето, тепло, погода хорошая, крестьяне и по доброй воле ночуют теперь под открытым небом, для лошадей можно вбить коновязи, т.к. площадь не мощеная, а кухню устроить в одном из пустых балаганчиков на площади», – говорил уже суровый полковник, как бы извиняясь, что помещения не из самых комфортабельных. «Для врачей и студентов дадим место в казармах. Сестер можно бы поместить там же, но вы лучше устройте их в общине Красного Креста – там есть общежитие, и оно сейчас пустое. Для склада можно потеснить интендантство 34-го корпуса, оно что-то очень много места заняло на Завальной, или Костромской лазарет уступит – он что-то не развертывается».

Не отпуская от себя ни на шаг служащего городской управы, мы сейчас же объездили все указанные помещения, и перед рассветом были уже на станции, готовые к разгрузке поезда.

На рассвете мы стали разгружать лошадей и склад, а в 7 часов утра разбудили сестер и весь персонал, не участвовавший в работе по разгрузке. Наша молодежь проголодалась страшно. У какой-то торговки я купил хлеба. Марья Николаевна добыла из запасов сыр, и тут же, на полотне дороги, среди лошадей и груды товара, наши стали чай пить и закусывать. Панарин, очень внимательный к людям и делающий одолжения тем простым и естественным движением, которое так облегчает принимать услугу, оставил мне кружку чая и бутерброд, и когда я вернулся к поезду, откуда отлучался в город, чтобы заказать комнаты для сестер, то мог закусить на славу.

* * *

Мне нравится Вильна*. Расположенная в котловине, она окружена холмами, частью покрытыми бором. В самом городе имеются возвышенные места с живописными видами на реку, на город с его многочисленными храмами католическими и православными, на обрамляющие город холмы и леса. Особенно хорош вид с Замковой горы, но и с отдельных улиц открывается красивая панорама, как в Киеве, с которым, кстати сказать, Вильно имеет нечто общее, в частности, в архитектуре домов новой части города, построенных из серого кирпича. Я люблю города, носящие отпечаток старины, историчности. Вильно имеет много памятников старины и смело в своей старой части свидетельствует о своем древнем происхождении. Новый город красив своими широкими обсаженными деревьями и имеющими удачные перспективы улицами, старый – привлекает узкими, кривыми загибающимися и разветвляющимися улицами с огромными храмами, неожиданно громоздящимися в узких проходах, старыми воротами, глухими стенами, когда-то кого-то охранявшими, и теперь преграждающими суетливое движение толпы.

Пока наш поезд разгружался, мне нужно было побывать в отведенных нам помещениях, чтобы при утреннем свете проверить намеченное ночью при свете огарков и спичек размещение отряда. Старший персонал и сестер я решил разместить в гостиницах, уделив часть казарменных комнат для наших нижних чинов. Во

* М. В. Сабашников в некоторых случаях употребляет старое название – Вильна, в женском роде. В настоящем издании для удобства приводится более позднее название – Вильно.

время беготни по городу (извозчиков еще не было в такую рань) я встретил у ворот процессию женщин, пришедших из предместья города с иконами и молитвами поклониться чудотворной иконе, находящейся на воротах. Узкая длинная улица вся заполнилась процессией. Все женщины были в белом и с белыми платками на голове. Стройно пели они какую-то молитву, и трудно было не разделить с ними их тревожное и молитвенное настроение. Процессия захватывала и подчиняла себе. Я не справился и не знаю, была ли это католическая или православная процессия. Скорее последнее, но во всяком случае приемы воздействия на толпу и воображение населения, так хорошо разработанные католиками, были здесь применены с большим мастерством. Я жалел, что никто из нашего отряда не видел этого крестного хода и мне не с кем было потом поделиться и проверить свои впечатления.

Для меня Вильна явилась воплощением тревоги, близкой к отчаянию, но для нашей молодежи она прежде всего обещала отдых и развлечения. В пустынном Шестакове они поустали, всем надо было размяться и переменить положение, как после долгого сидения на одном месте. Это было, по моим наблюдениям, явным или сокровенным стремлением всего персонала отряда, и молодых, и старших, не исключая нижних чинов. Эти прежде всего раздобыли где-то не то водку, не то одеколон, и несколько человек до того напились, что попались к коменданту на гауптвахту, чем и кончились их приключения в городе. Студенты забегали по кофейням, кондитерским, ресторанам, театрам. Сестры набросились на сласти. Взрослый персонал не отставал и тоже разнообразил себе пребывание в большом городе. Никто, по-видимому, кроме меня и В. П. Егорова не заметил, что нам пришлось непроизводительно прожить несколько дней в Вильно, и это после того нетерпения, проявленного в дороге, и того ликования, с которым встречено было новое назначение отряду в Шестакове. Но сидение было неизбежно, и я был рад, что наши по крайней мере не нервничали. Дело в том, что мы свернулись в Шестакове и пришли сюда раньше, чем ждал того штаб армии. Во всяком случае, мы опередили те войсковые части, которые должны были обслуживать, и теперь должны были подождать день-другой, пока подойдут наши войска.

* * *

Наши студенты-шоферы очень любят ездить, и дальние поездки в неизвестные места являются для них особо привлекательными. Чтобы машины наши снашивались равномерно и чтобы

соблюсти справедливость перед студентами, я установил между ними очередь. Для больших поездок была одна очередь, для мелкой езды – по преимуществу перевозке раненых – были очередные дежурства с кандидатом на дежурство. Малейшие отступления от этого порядка вызывали в Шестакове разговоры и споры, а иногда смешные инциденты. Раз как-то Укша вздумал в свое дежурство пойти в баню. В это время приехал из штаба X армии Кравков – помощник начальника санитарной части на своем автомобиле и захотел ехать в нашу летучку. Дежурный Укша не оказался на месте, а шустрый Комаров, чистивший свою машину, не долго думая воспользовался случаем и подкатил на машине Укши, чтобы доставить нас в летучку. Друзья и приверженцы Укши поспешили поставить его о том в известность, и вот, выскочив из бани, с искаженным от гнева и негодования лицом, наполовину раздетый, Укша пересекает нам дорогу к ужасу Кравкова, который, конечно, принял его либо за сумасшедшего, либо за злодея, покушающегося меня убить…

Но прелести Вильно изменили расценку всех ценностей. Когда надо было после разгрузки поезда мне с доктором ехать в Ширвинту, то между шоферами произошли в первый раз какие-то трения из-за того, кому ехать, всем, по-видимому, хотелось остаться. И правда – только приехали, только разгрузились – изволь ехать, едва пообедав как следует уважающему себя человеку! Я не входил в эти препирательства, но очень был рад, когда благоразумный Панарин положил им конец, заявив, что он повезет вне очереди. Укша, которому я сказал, что может идти по этому случаю в театр, запрыгал от радости как козленок. Хотел было я ему напомнить историю с баней в Шестакове, но увидел, что при его детской радости остаться, он все равно ничего бы не понял.

15-го июля в середине дня мы выехали с доктором и Панариным на его автомобиле в Ширвинту. Вилькомирский тракт в штабе X армии всегда назывался в разговорах со мной шоссе. К великому огорчению, шоссе оказалось только до Мейшаголы (23 версты от Вильно). Дальше был большой широкий тракт, обсаженный березами – шлях, сказали бы в Минской губернии, который кое-где действительно начали было года два тому назад мостить, но не закончили даже эти отдельные участки, а взрыли и испортили подготовительными работами дорогу, насколько это только возможно. Одним словом, между Мейшаголой и Ширвинтой не дорога, а нечто возмутительное. Автомобиль наш вяз в песке, мы слезали, толкали, отдыхали и только к вечеру кое-как добрались в Ширвинту.

Дорогой мы обгоняли войска – пехоту 104 дивизии. Она вновь сформирована была для десанта в Константинополь и теперь спешно была переброшена на наш фронт. Все 4 полка – 411–416 – с японскими ружьями, повозками, изготовленными нашими кустарями, не военного, но довольно удобного образца, с клеймами кустарей на их изделиях, носили свой особый отпечаток. «Что же, скоро немцы-то будут?» – говорили солдаты, никогда еще не видевшие неприятеля.

Навстречу нам – в Вильно тянулись беженцы. Мы попали совсем в иные условия здесь, чем в Сувалкской губернии. Там война разразилась уже давно. Бóльшая часть населения уже ушла, когда мы явились. В халупах держались только те, кто решил остаться при своей земле и в своем доме, что бы ни случилось. Они уже испытали неприятельское нашествие, возвращение опять к России; они равнодушно относились ко всем переменам военного счастья. Они многое уже испытали, готовы были испытать еще больше и приспособились жить вне родины, вне государства, вне обычных условий общественности, изо дня в день лавируя…

Здесь совсем иное. Для местного населения война была до сего времени так же далека, как для москвичей или костинцев. Все, конечно, несли отражения её последствия, но непосредственно всем населением у себя дома война еще не чувствовалась. И вдруг – неприятельское нашествие. Насколько оно близко, и чем оно угрожает? Дойдет ли до меня, спрашивает каждый. Надежда, что не дойдет, сменяется ужасом, что не успеешь убраться. И вот всякий новый слух вызывает новый поток беженцев. Одни поспешили уйти при первых же известиях о приближении неприятеля, другие колебались, третьи досиживали до последней минуты. Вот два пана на тележке, с чемоданами у кучера под ногами и на запятках, в фетровых, элегантных шляпах, в перчатках, бритые и с изящными свежими галстуками. Они отправили свои семьи при первом слухе о неприятеле в Вильно, а сами остались вести хозяйство. Вещи у них были всегда уложены, тележка держалась готовая к бегству во всякую минуту, и, когда германские разъезды достигли соседнего селения, два пана-соседа сели в свою заранее заготовленную бричку и тронулись в путь. Лягавая собака – «настоящий германец», как они шутили, с достоинством шла вместе с ними. Уютный погребец вез провизию на дорогу. Ничто не изобличало бегства. Подумаешь – переезд в другое имение или на зиму.

Надо было видеть, с каким достоинством держались эти два пана: разоренные, конечно, вконец, как всегда бывает с землевладельцем, оторванным от земли, к тому же в самую минуту до

начала уборки и реализации урожая, они в своих чемоданчиках увозили не бог весть какое добро – приличную для города одежду, смену белья, крахмальные манжетки, да кое-какие документы, которых мало бывает вообще у землевладельцев и которые к тому же утратили всякую цену в настоящую минуту всеобщего разорения и бегства. Но с каким подчеркнутым спокойствием и с какими улыбками рассказывали они о собственном отступлении, избегая распространяться о себе и по преимуществу передавая слухи о передвижениях германцев. Было бы сочтено за обиду, если бы мы вздумали как-нибудь пожалеть гордых панов.

Но я отошел от повествования и забегаю вперед. Мы приехали в Ширвинту, когда вечерело. Около волостного правления мы нашли на улице полкового командира 414 полка. Он собирался ехать по экстренному делу к Тюлину в Вилькомир. Так как нам тоже предстояло ехать туда, то мы предложили его подвезти на моторе. Дорога из Ширвинты в Вилькомир хорошая. Около Войткун спуск в долину реки Свенты. Хороший, широкий вид. Внизу сосновый бор. В нем дачи Вилькомирской «интеллигенции». «Совсем Сокольники», – заметил я, но это сравнение не понравилось моим спутникам, оно слишком возвращало нас к обыденной жизни. Довольно большой для уездного города Вилькомир уже совсем почти опустел. Все учреждения эвакуировали, лавки закрыты, население частью выехало, частью замерло, сидя дома. Тюлин со своим штабом занял какую-то гостиницу. Мы попали к нему на ужин. Он был чем-то раздражен. Старался быть любезен с приехавшим командиром полка, но можно было догадаться, что он не в восторге от того, что ему придают едва сформированную, еще не видавшую неприятеля пехоту. Было что-то пренебрежительное в любезности боевого и в то же время весьма светского генерала – наше дело не требовало долгих разговоров. Я сказал, что командир корпуса против помещения лазарета в Вилейке и высказался за Ширвинту. Тюлин не стал отстаивать избранной им раньше Вилейки. После ужина мы поспешили домой, т.е. в Ширвинту, а не домой, нам еще надо было приискать себе там дом, и мы даже не знали, где заночуем.

Разразилась гроза. Мы немного в темноте сбились с пути. При всем неудобстве дремать, сидя в автомобиле, когда его во все стороны бросает, а сбоку брызгает дождь и грязь, я ухитрился проспать значительную часть пути. Эта способность меня часто выручает. Я не теряю сна от усталости или возбуждения, и недосып ночью (я ночь с 14-го на 15-ое почти не спал) восполняю, когда придется и где придется.

В Ширвинте командир полка пригласил нас чай пить, а уряднику поручил отвести нам где-нибудь ночлег в местечке. Повидимому, такой постой уряднику не сразу удалось устроить в перенаселенной Ширвинте, где к тому же разместился только что прибывший 414 полк. По крайней мере он приходил что-то докладывать в соседнюю комнату полковому командиру, который, однако, в обмен за наш подвоз его в Вилькомир на нашей машине взял нас под свою опеку и приказал непременно устроить нам ночлег. В ожидании ночлега мы пили чай с ромом и говорили о разных разностях. Наш хозяин в первый раз командовал полком, но офицер был все же бывалый. Воевал в Манчжурии, а в эту был серьезно контужен и выбыл из строя. Теперь он был признан здоровым, но мне показалось, что врачи или начальство его жестоко ошиблись. Во всех манерах полковника было какое-то неестественное напряжение, будто всякое движение свое он должен был обдумать и произвести против какого-то сопротивления.

Но наконец пришли сказать, что постели наши готовы. Мы поплелись по грязной темной улице и вскоре оказались в гостях у булочницы. Опрятная комната. Три удобных ложа с бельем – два на диванах и одно в настоящей постели. Приветливая хозяйка. Мы заснули с большим удовольствием в уютной нашей квартирке.

16-го утром, оставив Панарина высыпаться вволю, мы с доктором в сопровождении урядника пошли искать помещения для лазарета. Нелегкая задача – в местечке, где в каждой квартире – кроме коренных жителей держится по нескольку семей беженцев-выселенцев. Все на нас косятся. «А мы куда денемся?» – вопрос, который и меня мучает. Ведь чтобы освободить место для одной койки, придется выселить не менее пяти человек. Я стараюсь выискать комбинации и уговорить доктора сократить требования. Можно развернуться частично до поступления раненых. Тогда же можно будет дополнительно занять помещения. Посещаем помещичьи усадьбы. Здесь меньше народу пострадает при реквизиции помещений под лазарет, но господа помещики не проявляют никакого желания поступиться своими удобствами. Впечатление отвратительное. Будто война невесть как далека, и во всяком случае их-то не касается. При том у них бывают гости – «надо и гостям комнаты оставить». При том у них много мебели и вещей – «куда же их деть». Мы имели право реквизировать любое помещение, мы даже запаслись специальной бумагой, подтверждающей это право, и водили с собой нарочно полицейского, но было видно, что на мало-мальски неудобную реквизицию будет заявлен протест, поедут хлопотать в Вильно, подымут всех на ноги и чего

доброго добьются отмены нашего выбора. Я старался, во всяком случае, сначала добиться добровольных жертв – добровольных больше по форме, чем по существу, ибо слова свои я подкреплял бумагой о праве принудительного занятия помещений и приводил с собой полицейского. Доктор, которому такие тонкости недоступны, скучал, бесился на меня и на всех и вся. Вообще день вышел неприятный, но к концу его я все же составил несколько проектов размещения лазарета, оставил список избранных помещений приставу и сказал, что из Вильно пришлю ему телеграмму, какие помещения занять. Дело в том, что в одну из наиболее удобных комбинаций входила камера судебного следователя, находившегося в отпуске в Вильно. Занять его камеру без сговора с ним я не считал себя вправе, и потому окончательное решение откладывал до переговоров со следователем в Вильно.

Усталые и голодные, вернулись мы к Панарину, который заждался нас у нашей булочницы. Она сварила нам по моей просьбе курицу, напоила чаем и была очень приятно удивлена, получив за всё деньги. 414 полк выступил еще утром из Ширвинты. Мы выехали обратно в Вильно перед закатом.

16 июля.

По выезде из Ширвинта я увидел налево от шляха, в каких-нибудь 2 верстах от него, большой двухэтажный новый деревянный дом. Очевидно, какое-то поместье, о котором полиция по каким-нибудь соображениям нам не сообщила. А по всем видимостям, здесь можно разместиться. Едемте туда. С унынием взглянул на меня доктор – ведь уже полдня искали, всё разместили, зачем еще искать! Но мы сворачиваем – «здесь, наверное, хорошо будет, и полиция умышленно не послала нас сюда, когда указывала целый ряд заведомо непригодных помещений». У встречного крестьянина спрашиваю, чьё это владение. «Это имение с мельницей принадлежит молодой пани Конча, она одна живет здесь и сама ведет свое хозяйство». «Ну вот и отлично, мы панну молодую обворожим, и доброе сердце даст нам под лазарет новый дом – благо она еще не переселилась в него и это не вызовет большой ломки в ее жизни и больших жертв для ее кармана». Вбегаю по ветхой лестнице к скромному домику – сторожке около мельницы, где, как мне было сказано, находилась владелица. Стучу. Войдите. В простой, почти лишенной мебели комнате около маленького столика, служащего и чайным, и письменным, стояла высокая, стройная, не совсем молодая полька в изящном платье. <...>*

---

*Пропуск в тексте – оставлена пустая страница. – *Примеч. ред.*

«Как кажется, дом ваш еще не закончен отделкой и потому занятие его под лазарет ничего в нем испортить не может и не причинит вам убытка». «Я буду очень счастлива, если смогу своим домом сделать что-либо для раненых, но я боюсь, что он слишком еще недоделан, чтобы мог немедленно служить этой цели. Впрочем, садитесь, господа, а я позову подрядчика, и мы сейчас выясним, скоро ли можно дом приспособить для этой цели». Мне стало страшно стыдно за свою глупую остроту о том, что мы обворожим молодую панну. Пошли осматривать дом. Он оказался действительно менее законченным, чем можно было думать. Не вставленные стекла в окнах, не настелены полы, нет лестницы на второй этаж. Ввиду нашествия германцев все работы были приостановлены, но подрядчик брался закончить их в 10 дней. Вот только лестницу нельзя так скоро закончить, сетовала хозяйка. «Что вы, наши сестры были бы в восторге жить в мезонине с приставной лестницей со двора, – возразил я, догоняя хозяйку, вбежавшую вверх по стремянке. – Но возобновлять работы, прерванные ввиду нашествия германцев, невозможно. Мы не имеем времени ждать хотя бы и 10 дней, а вы не должны умножать своих убытков, какие могут произойти в случае нашествия». «Какая жалость, здесь вашим сестрам было бы так хорошо», – сказала хозяйка, оправляя волосы, растрепавшиеся от бега, и подводя нас к окну. Широкий мирный вид на речку, на луга, на лес по другую сторону, на отдельные крыши, кое-где торчавшие из леса. Мы все, кто как умел, выразили свое удивление, как умело поставлен и спроектирован дом и как неожиданно явился перед нами этот живописный вид. «Вам нравятся эти места? Я здесь родилась и выросла, и мне всё здесь дорого, но я думала, что это субъективное отношение», – ответила полька, и я только сейчас заметил, что она иногда с трудом находит подходящее русское выражение своим мыслям. «Вот там, в лесу, дом моего брата, я прошу вас осмотреть его, потому что он уже, наверное, будет годиться». Мне казалось, что дом очень удален от шляха, но пани была настойчива. Она достала карту и стала уверять, что по другой дороге, около которой и стоит дом брата её, удобнее вывозить раненых. Мы решили осмотреть и этот дом – Шешоли Кончева, как он значился на карте. Но перед поездкой нас попросили выпить по чашке кофе. В комнате, где я впервые застал хозяйку, был уже накрыт стол. Мы нашли там молодого человека, который оказался братом хозяйки. Его имение под Поневежем, и он принужден был оставить его и привезти к сестре на луг свой дивный племенной скот, которым мы только что любовались, когда он прогонялся через Ширвин-

ту. При всех необычайных обстоятельствах дня встреча брата и сестры была очень спокойная. Ни слова досады или огорчения. Я заикнулся было, что, быть может, сейчас хозяйке, ввиду неожиданного прибытия брата да в таких условиях, неудобно ехать с нами в Шешоли. «Почему? Мы с братом успеем поговорить и вечером. Кушайте, господа», – был лаконический ответ. Через несколько минут мы ехали в Шешоли.

«Неужели вы думаете, что германцы дойдут до Ширвенты?» – спросила Паулина Павловна (так звали нашу новую знакомую), когда мы уселись с ней в автомобиль. Я был уверен, что так случится, но мне не хотелось огорчать свою собеседницу. При том, на чем основана была моя уверенность? Какой я стратег и велика ли моя осведомленность? Правда, мне не хотелось уподобиться тем, кто, бывая, как и я в штабах, серьезничают, говорят вам шепотом многозначительно то, что вам давно и без них известно, держат себя так, будто боятся расплескать сосуд с секретами. «Мы не воины, Паулина Павловна, и ничего в этих делах не понимаем, – ответил я. – Но на войне надо готовиться всегда к худшему». «Если придут, надо взорвать эту мельницу», – указала она на свою мельницу. Мы разговорились. Семья Кончей, как я потом узнал, одна из самых богатых в этой местности. Старик отец – директор банка взаимного кредита в Вильно. Семье принадлежат в округе большие имения. Старший брат, в усадьбу которого мы едем, большой спортсмен, между прочим, автомобилист. С начала войны он пошел добровольцем шофером в Красный Крест, где его энергию оценил А. И. Гучков и привлек его к несению других обязанностей по Красному Кресту. Дом, куда мы едем, построен отцом и передан им в собственность сына, когда отец переехал в Вильно. Но сын не ценит комфорта и убранства дома, живет «как Диоген в бочке». На войне он познакомился с дочерью директора Жирардовской мануфактуры, и после войны молодые люди поженятся.

Но вот мы приближаемся к дому. Паулина Павловна просит остановить автомобиль при встрече с каким-то шарабанчиком. «Это мои родственницы», – улыбается она, садясь опять в автомобиль. – Я подошла сказать им, что вы меня не арестуете, а то после объявления войны со мной вышел такой смешной случай». Затем она рассказала, как после объявления войны в Ширвинте наступила паника. Крестьяне бросили работы и стали уходить в лес. Все думали, что всё погибло. Паулина Павловна просила ксендза в Ширвинте после обедни сказать успокоительное слово своей пастве и побудить её вернуться к труду и хозяйству. Пусть

армия воюет, и пусть народ трудится. Но ксендз не решился! Тогда Паулина Павловна сама после обедни в ближайшее воскресенье обратилась к народу с амвона с речью на эту же тему. Убеждение имело свои последствия, и люди успокоились. Но через несколько дней к ней приехали товарищи её брата на автомобиле, и с ними она поехала, как сейчас с нами, в Шешоли. Те, кто её встречали дорогой, думали, что её арестовали за выступление её в Ширвинте, много по этому случаю волновались, пока дело не разъяснилось.

Но вот мы у дома. Это красивая, богато обставленная вилла, со всеми удобствами и с роскошной обстановкой, как бывает у богатых людей. «Положительно жалко портить такой дом, – говорю я. – Ремонт его затем потребует безумных денег. Для нашего лазарета помещение слишком роскошно». «Вы даже не хотите досмотреть подвальный этаж», –огорчается хозяйка. Мы досматриваем и это. «Со стороны вашего брата очень великодушно жертвовать таким помещением, но мы не должны его великодушием злоупотреблять. Для нашего лазарета нужно более скромное помещение. Главное же, дом слишком далеко от тракта, а мы должны его держаться».

Чтобы ускорить нам возврат в Вильно, Паулина Павловна указывает нам на карте новую прямую туда дорогу из Шешоли. Сама она вернется в Шервинту на лошадях. Мы расстаемся. Она дает еще Панарину несколько указаний относительно дороги, очень точных и обстоятельных, свидетельствующих, что она здесь действительно всякое дерево знает, и быстрой поступью уходит от нас по аллее.

* * *

Через несколько секунд мы несемся в Вильно по новой дороге. «Ну, теперь мы засветло в Вильно не вернемся», – говорит мне Панарин. «Представьте, я об этом нисколько не жалею. Я сторицей вознагражден сейчас за все труды, огрочения и хлопоты этого дня. Мы встретили, наконец, местного человека, который так же относится к войне, как и мы. И при том, как много красивого в этом человеке – неужели вы не чувствуете?» Но все – и Пастукьян, и Панарин были очарованы нашей встречей, и я только подал сигнал к восхвалению нашей новой знакомой. «Я очень рад, что поехал вместо Укши», – сказал Панарин и пустил во весь ход свою машину. Дорога оказалась очень хорошая, и мы незаметно доехали до Вильно еще до темноты, обмениваясь друг с другом впечатлениями дня.

17 июля.

На следующий день я опять ехал в Ширвинту, но уже с Укшей. Следователь, прослышав про германцев, уехал из Вильно в Ширвинту ликвидировать свои дела. Я спешил нагнать его в Ширвинте, чтобы он не уступил своего помещения кому-нибудь другому.

На тракте мы встретили в простой деревенской тележке нашу вчерашнюю знакомую. Я подошел поздороваться. Она получила телеграмму о кончине какого-то родственника и ехала в Вильно на похороны. «Я говорила по телефону с отцом, и он сказал мне, что может мне устроить ссуду в банке на ускорение достройки дома моего», – сказала она. «Не делайте вы этого. Наш лазарет отлично устроится в дому следователя, а вы не должны умножать и без того огромные убытки, которыми грозит вам нашествие германцев», – возразил я. «Вы в самом деле так думаете? Представьте, мне отец совершенно то же самое сказал!» На этом мы расстались.

С тех пор мы не встречались с Паулиной Павловной. В доме следователя в Ширвинте развернулась наша больница терапевтическая с О. А. Кротковой во главе. Лазарет устроили мы в конце концов всё-таки в Вилейке, в 12 верстах от Ширвинты к Вилькомиру. Летучка работала то в самом Вилькомире, то в его окрестностях, в общем верстах в 30 и больше от Ширвинты. Разбросавшись свыше чем на 80 верст, я жил в постоянных разъездах, ночуя то здесь, то там, и при всем желании не имел времени посетить пани Конча. Знаю, что она не раз бывала у нас в больнице, лечилась у О.А. и сиживала у неё в гостях. Но мы как-то ни разу не встретились тут. Так прошел для меня почти месяц напряженной работы. 10 августа поздно вечером нам было сказано немедленно же ночью увести больницу и лазарет в Мейшаголу, а летучку в Ширвинту. Это было выполнено в точности. Когда наши ушли из Ширвинты и я остался один со своим конем в ожидании прихода летучки, я решил съездить верхом к Паулине Павловне, чтобы поторопить её с отъездом, если она еще не уехала. Вся Ширвинта опустела вдруг совершенно, и раз простые обыватели успели убраться, то я не сомневался, что Паулина Павловна уже давно выехала. Но всё же хотелось в этом удостовериться. Каково же было мое удивление, когда я встретил Паулину Павловну на прогулке в поле. Может быть, она возвращалась через поле от соседей, с которыми советовалась о том, как ей быть? На мои слова, что надо уезжать, она сказала, что услала лучших лошадей с кем-то в Вильно, вечером они вернутся, и утром завтра она тронется

сама. «Смотрите, может быть поздно будет». «Ничего, я знаю все здесь дороги и сумею пробраться лесом в объезд так, как германцы, конечно, не пойдут». «Будьте осторожны, пехота уже прошла, между вами и германцами одна только кавалерия». «Я не могу, или лучше, я не хочу уехать, не устроив всего, но я буду держать запряженной повозку и уеду немедленно, если это потребуется раньше завтрашнего утра, хотя бы и на рабочих лошадях». «Поставьте верного человека на тракт, и лишь только он донесет вам, что отступает конница, не теряйте ни одной минуты». Мы простились.

Впоследствии, когда наш лазарет стоял в Вильно, пани Конча заходила к Ольге Арсеньевне. Она сказала, что едет в Ширвинту, т.к. на семейном совете решено не оставлять имений без представителя владельцев. Братья её призывного возраста, и пленение было бы им опасно, но она останется за всех как представительница рода Кончей и защитница их интересов на всё время германского нашествия.

* * *

Дом следователя, в котором мы устроили больницу в Ширвинте, принадлежит ксендзу. Это такая типичная фигура, что её надо описать.

Выбрав этот дом под больницу, я находился в большом затруднении, куда разместить обоз. При усадьбе следователя два громадных сарая. «Вот этот придется занять под обоз», – говорю я рабочему ксендза. «Мы сегодня сюда хлеб повезем», – смотрит на меня вопросительно рабочий. «Ну, хорошо, тогда мы возьмем второй сарай». «Он тоже пойдет под ксендзов хлеб». «Помилуйте, сколько же у ксендза десятин, что он таких два сарая наполняет!» «30 десятин». Я качаю головой, сомневаясь, чтобы с 30 десятин можно было так много хлеба набрать. «Он хорошо удобряет! Минеральные удобрения». Ладно. Иду в сельскохозяйственное общество, у которого я еще раньше заприметил огромнейший сарай. «Мы заберем у ксендза один из его сараев под наш обоз, а ваш сарай ему под хлеб отдадим», – говорю я служащему с.х. общества. «Сюда удобно будет ксендзу хлеб возить». «Конечно, удобно, – говорит служащий, – ксендз каждый год берет наш сарай под хлеб». Очевидно, сверх минеральных ксендз действует еще и административными удобрениями, думаю я.

В день нашего прихода в Ширвинту с больницей через Ширвинту прошли беженцы. Группа их остановилась на ксендзовом лугу. Ксендз просил полицию прогнать беженцев и взыскать с них

за потраву. Но не успели уйти беженцы, пришли казаки и расположились на том же лугу. Ксендз надел шляпу, взял палку и идет ко мне. «Вот у вас такой большой отряд, негде вам коров выпасти. Я прошу не стесняться и послать коров на мой луг. Поставьте охрану, а травы с избытком хватит и на ваших, и на моих коров». Я благодарю за внимание.

Нам крайне нужно было по приезде в Ширвинту хоть несколько увеличить свой обоз. Расстояния огромные, езда большая, с прежним числом арб не управишься. Но где и как их найти. Все берегут и арбы, и лошадей для себя на случай необходимости бежать, и никто добром продавать не хочет. А тут у ксендза великолепная арба на железных осях мозолит глаза нашему С. С. Перфильеву, которому поручено было купить арбу. Прошел слух, что едет какой-то генерал реквизировать лошадей и повозки, ксендз подумал-подумал и решил лучше вольной ценой продать, и купил С. С. Перфильев арбу. Не успели мы её водворить в свой обоз, видим, у ксендза опять на том же месте да точно такая же арба! Не вытерпел С. С.Перфильев, послал ксендзу деньги за вторую арбу, забрал её к себе в обоз и ждет, что ксендз скажет. Глядим, утром на прежнем месте у ксендза опять арба стоит, да с вида совсем как две первые. <…>*

…и только после настойчивых моих требований освободить хату, да и тогда не всю, а частью. Затем лазарет ушел (утром 11-го), на его место пришла летучка. После бессонной, утомительной ночи, грязные и мокрые, мы – я, дождавшийся здесь прихода летучки, и весь персонал пришедшей летучки, закусываем наспех в этой самой избе. Приходит ксендз. «Здравствуйте», – говорю я. «Вот в этом доме жили бедные люди, им сломали стекло в этом окне, церковь взыщет с них, а они не виноваты, да средств не имеют. Ваш отряд такой большой и великодушный, конечно, не захочет этого и уплатит за это стекло церкви». «Помилуйте, – говорю я, – неужели церковь так жестоко поступит с бедными людьми. Вы должны их пожалеть, тем более что повинность воинского постоя, от которого пострадало стекло, – повинности церкви домовладелицы, а отнюдь не квартирантов, рабочих ваших!» «Что же, завтра германцы придут, вы и с них тоже за разбитое стекло взыскивать будете», – негодует Босс. Ксендз не настаивает – но вот на его лугу так долго бесплатно паслись наши коровы! «Мы за всё платили, но ведь на луг-то ваш вы нас сами приглашали!» – удивляюсь я. Ксендз уходит.

* Далее – пустая страница.

На следующий день собираюсь уехать в Мейшеголи к лазарету. Приходит ксендз. «Можно с вами одну минутку поговорить?» «Конечно». Мы отходим в сторону. «Я к вам как к интеллигентному человеку. Я обязан оставаться в Ширвинте и не имею права уйти, но здесь ужасы творятся. Казаки ищут по всем домам водку. Разбивают оставленные жителями дома. Того и гляди, и с моим домом что-либо сделают. Не можете ли дать мне на квартиру одного вашего санитара. Казаки будут думать, что у меня тоже раненые, и не тронут моего дома». «Простите, у нас лишних санитаров нет». «Вы уезжаете совсем?» «Нет, я, вероятно, на ночь вернусь». «Ах, сделайте мне честь переночевать у меня, у меня всегда всё начальство ночует, когда бывает проездом в Ширвинте. Да вам здесь и неудобно будет». «Помилуйте, мы ведь здесь месяц так живем! Спасибо за приглашение, но мне неудобно будет устраиваться отдельно от отряда!»

* * *

Но если уж платить «злом» за «добро», нельзя умолчать и о генерале Бонди. Мы у него тоже пользовались «гостеприимством». В его доме в имении «Крестьянишках» около Вилейки по Вилькомирскому шляху между Ширвинтой и Вилькомиром помещался наш лазарет. И о нем тоже я не могу выдумать, что бы сказать хорошего.

Отставной русской службы генерал, бывший адъютант Гурко*, он в свое время, конечно, считался представителем желанным русского элемента в крае. Как досталось ему это имение чистыми или нечистыми путями, и почему это очевидно старое польское поместье с католической часовней в саду, с фамильным старым кладбищем вышло из польских рук, была ли тут какая-нибудь трагедия, играло ли тут роль восстание – не знаю.

Зная военные порядки, генерал Бонди и не пытается уклониться от квартирной (постойной) повинности. Да это было бы уж чересчур при его огромном двухэтажном каменном доме и при том, что дом совсем почти пустой и он живет в нем один со старой няней. Напротив, генерал правильно учитывает, что помещение в доме лазарета застрахует его от менее удобного постоя казаков, обозов, пехоты. Но генерал не хочет поступиться никакими своими удобствами, самыми хотя бы маленькими, и он хочет извлечь возможно большие выгоды из пребывания в усадьбе его лазаре-

* Гурко Иосиф Владимирович (1828 – 1901), генерал-фельдмаршал, известный победами (под Шипкой, Плевной и т.д.) в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг.; в 1883 – 1894 гг. Варшавский генерал-губернатор.

та. Вот он предоставил нам пустую залу и несколько маленьких смежных с ней комнатушек, и уже больше не просите! Видит, что не помещаемся, что приходится для сестер рядом с большим его и при том всё же пустым домом устраивать палатки, но его этим не проймешь. Сидит как собака на сене.

Конечно, постепенно мы прихватили и не одну, а целый ряд дополнительных комнат, не причинив хозяину при том никакого ущерба, но всё это пришлось делать с большим нажимом. Простые просьбы ни к чему не вели. И что за недостойные замашки – обвешивать, да обмеривать, да обжуливать и кого же – раненых, и какими чисто плюшкинскими приемами! На каждом купленном возе сена или соломы, на доске для гроба, на дереве для креста на могилу умершего непременная попытка урвать лишний гривенник, но не прямым путем, а каким-то жульническим. Когда мы первый день прибыли и разбирались, генерал пригласил меня к себе чай пить. Мы все страшно затомились, и так было бы приятно где-нибудь присесть и выпить стакан чая, закусив хотя бы булкой. «Знаете, ваше превосходительство, наши сестры не ели еще и не пили, один идти к вам в гости и оставить их я не могу, ну а входит ли в ваши виды принимать компанию в 20 человек?» «Ну что же делать, пойду один», – отвечал мне генерал Бонди! И ушел и уже больше не приглашал меня никогда.

И при всем том необходимо было соблюдать величайшую осторожность в отношении к репутации генерала. Эта репутация была такая скверная, что о нем ни с кем нельзя было говорить, чтобы не наслушаться самых резких по его адресу обвинений. Его все кругом ненавидели, ненавидели до того, что охотно бы обвинили в измене и шпионстве. Этим почти и кончилось.

Но духовенство и помещики, польские и русские, – это представители командующего класса и пришлых национальностей. Каковы же впечатления от коренных литовцев? У нас в отряде студент литовец Вершилло, и я склонен видеть в нем типичного представителя литовского характера. Когда формировался наш отряд и я набирал студентов, то группа – Греков, Руднев, Вершилло и Скобников очень желали зачислиться к нам. Они производили отличное впечатление, но они уходили с поезда недовольные работой на поезде, и я задавал себе вопрос, почему же надеяться, что они не останутся недовольными и отрядом. Всё же двух первых явившихся я записал, после чего штаты мои оказались заполненными, и я не видел оснований принять Вершиллу сверх штата, хотя его скромное обращение и располагало в его пользу. Когда, однако, я увидел при снаряжении отряда работу

его друзей и товарищей Грекова и Руднева, я решил принять Вершиллу сверх комплекта, тем более что пришло известие, что отряд наш получит назначение в Литву и присутствие в отряде хотя бы одного лица, знающего литовский и польский языки, мне казалось желательным. Этот тихий белокурый юноша сразу заслужил всеобщее одобрение своей работой. Он никакой работы не боялся и, обладая достаточной физической силой и настойчивостью в исполнении поручений, он незаметно для себя и для всех скоро сделался одним из оплотов отряда. Когда нужно было приготовить помещение (страшно запущенное и запачканное) под лазарет в Шестакове, я послал Кожеурова руководить командой при очистке зданий, Кроткову – наблюдать за дезинфекцией и Вершиллу – разузнать в соседних деревнях и халупах, что можно купить и достать на месте для отряда. На Вершилле я остановился как на знающем местные языки. При очистке известных мест команда наткнулась на такую грязь, что отказалась продолжать работу, и П.В. Кожеуров растерялся, не зная как быть. Не долго думая, Вершилло сам взялся за работу. Это устыдило команду, которая принялась за ним за чистку, и всё было в исправности, когда поезд подошел с отрядом к Шестаково. Но Вершилло ни намеком не обмолвился ни мне, ни товарищам о том, что он принимал участие в подготовлении помещений. Об этом я узнал от Кротковой. Вершилло ограничился лишь докладом о том, что ему удалось узнать от местных жителей о возможности покупать на месте продукты. И т.к. эта возможность оказалась близкой к невозможности, то могло казаться по докладу самого Вершилло, что его командировка оказалась бесполезной. И так во всем. Когда я вернулся в Вильно из первой поездки в Вилькомир и рассказал, что германцы заняли Поневеж, среди обступивших и слушавших меня студентов был и Вершилло. «Там моя мама», – услышал я тихий голос Вершилло. Я обратился к нему. Оказалось, его мать и сестры живут около Поневежа. Но он никому ничего не сказал, не просил не только средств добраться туда, но даже не заикался об отпуске для посещения семьи и для вывоза её из опасности. По моему предложению он направился после этого в Вилькомир для поисков семьи. К сожалению, было уже поздно. Дать пропуск в Поневеж ему уже не могли, а проникнуть на немецкую сторону было бы и бесцельно, и трудно. Так бедняга и вернулся в наш отряд с болью и тревогой в сердце при мысли о том, что сталось с матерью и сестрами, но высказывать свои опасения он никому бы не стал. Я уже начал опасаться, что в поисках семьи Вершилло попал к немцам, когда он пришел ко мне в Ширвинту с сообще-

нием не о результатах своей экспедиции, а о том, что он на дороге нашел отставших больных солдат финляндской дивизии со всеми признаками холеры. «Знаете, мне представляется, что литовцы хотя и не славяне, но обладают достоинствами славянского характера, притом в такой большой степени, в какой достоинства, если не и становятся недостатками, то во всяком случае служат во вред их обладателям. Благодушный мягкий характер литовцев с оттенком тихой грусти невольно привязывает вас к ним, но я понимаю, что народ с такой малой дозой темперамента не мог никогда создать прочного государства», – сказал я как-то при Вершилле, желая вызвать его на разговор. «Должен же быть предел незлобливости?» «Да, кто-то назвал славян рабами, добродушно смеющимися», – отозвался Вершилло.

Наши учреждения расположились в Вилькомирском районе следующим образом:

Склад – в Вильно
Питательный пункт – в Мейшаголе
Терапевтическая больница – в Ширвинте
Лазарет – в Крестьянишках
Летучка – в Вилькомире

* * *

Мейшаголский питательный пункт по замыслу должен был кормить беженцев и вместе с тем служить перекладной станцией при транспортировке раненых в Вильно. Предполагалось, что здесь мы будем менять лошадей, пересматривать повязки раненых и кормить их. Но вскоре выяснилось, что в Мейшаголе станет 320-й военный лазарет. Наша задача по вывозу раненых облегчалась таким образом тем, что от нас отпадал участок в 23 версты Мейшагола – Вильно и что мы имели возможность сдавать раненых от себя в 320-й лазарет. Беженцам тоже наш питательный пункт служил лишь незначительно. Их направляли мерами полиции на дороги, минующие Вильно, а те, которые все же проходили через Мейшаголу на Вильно, предпочитали останавливаться для питания вне местечка, где можно было пасти лошадей. Зато наш пункт буквально осаждали окопные рабочие. Их в количестве 14000 человек согнали на рытье окопов вокруг Вильно, и работы шли действительно с большой быстротой. Но никто не озаботился ни расквартированием, ни питанием этого пришлого люда. Им платили 1 р. 50 к. в день за работу, и 30 к. выдавали на харчи, не приняв при этом почти никаких мер к тому, чтобы за эти деньги можно было купить хоть что-нибудь на месте

работы, удаленной от Вильно на 23 версты. Вставляю оговорку «почти», потому что одна попытка всё же была сделана. Капитану Д. было поручено устроить продажу хлеба интендантского по заготовительной цене. Он не нашел ничего лучшего, как привезти большую партию хлеба к себе на квартиру и объявить продажу его ежедневно до 12 часов дня, т.е. тогда, когда рабочие не могут отлучиться от работы. Никто у него хлеба не покупал, и вся партия заплесневела, когда в это дело вмешался наш студент Н.Н. Руднев. При содействии этапного коменданта он склонил капитана переменить часы продажи хлеба, но из этого не вышло толка, т.к. капитан желал сбыть непременно испортившийся у него хлеб, а рабочие от него отказывались.

Естественно, наш пункт привлек к себе голодных рабочих, и из пункта для раненых и беженцев сделался столовой окопных рабочих. Это не входило в наши виды. Военные власти обязаны были дать этим рабочим пропитание, как и солдатам, и не дело Союза кормить рабочих за счет Союза. Между тем власти, видя, что мы что-то делаем, успокаивались и считали, что всё так или иначе, но обстоит благополучно, не замечая, что кормили мы, и то недостаточно, всего две-три тысячи человек, а рабочих было 14000. Остальные по дальности расстояния не могли приходить к нам. Я решил выйти из этого ложного положения и переговорить с начальником Двинского военного округа и побудить округ серьезно организовать кормление окопных. Мои рассказы о положении окопных были выслушаны в округе и головой и предводителем с большим внешним вниманием, но ни к каким последствиям не привели. Нам предложили взять дело в свои руки, устроить правильное кормление за счет казны, но через наш отряд. В ту минуту мы не обладали необходимым для того оборудованием, и я не решился взять это ответственное дело на себя, т.к. времени для приобретения всего необходимого не оставалось. Нужно было, чтобы за это принялось военное ведомство, располагавшее достаточными средствами, но оно не хотело.

На пути из Мейшаголы в Вильно к командующему округом вышел курьёзный инцидент. Мы ехали на арбе с Е. В. Милановским. На шоссе обгоняем синюю еврейскую карету, каких я несколько видел в Ширвинте, но каких нигде больше никогда не видел. Запряженная парой кляч карета катилась себе по гладкому шоссе, а с ней катилось многочисленное население еврейское, убегавшее от войны. Снаружи кареты мы насчитали 11 человек. Я не преувеличиваю! Пятеро уложилось каким-то способом на козлах, среди них был даже довольно дюжий солдат. Трое лежало на

крыше, трое сидело на задней оси и на рессорах. Из окон выглядывали физиономии скрывавшихся внутри кареты, их, казалось, было не меньше, чем было снаружи. Мы с Милашевским стали считать и разразились хохотом. Люди в карете и вокруг кареты, очевидно, сами считали свое положение забавным и ответили веселыми улыбками. Улыбаясь, возница махнул кнутом, солдат отпустил какую-то шутку... Но вот мы обогнали и далеко оставили за собой этот Ноев Ковчег. Вдруг отлетает колесо от нашей арбы. Смотрим – выпала чека! Ищем на дороге – нигде нет чеки! Какой-то парень нагоняет нас и спрашивает, чего мы ищем. «Вы чеки не ищите. Вон с версту назад мой товарищ нашел вашу чеку и унес к себе в деревню, сказав – «зачем такой хорошей чеке валяться на дороге». Делать нечего, пришлось заменить чеку гвоздем и тронуться в путь. Но пока мы стояли, карета успела не только нас нагнать, но и обогнать. Нечего говорить, что обитатели кареты отвели душу и посмеялись вдоволь и над нашей бедой.

* * *

Наше терапевтическое отделение устроилось в помещении судебного следователя на церковной усадьбе в Ширвинте. Усадьба эта расположена несколько в стороне от дороги и грязи Ширвинты, окружена вековыми липами, а за ними крестьянскими полями. Хотя дом был и не очень велик, но всё же в нем можно было расположить до пятидесяти коек без особой тесноты, амбулаторию и поселить в нем врача и фельдшерицу. Отделение терапевтического отделения от лазарета на расстояние около 12 верст (лазарет был открыт по тому же Вильно – Вилькомирскому тракту, но ближе к Вилькомиру) имело следующие основания. Лазарету в интересах раненых нужно было стремиться быть возможно ближе к линии фронта. Так как мы имели дело с неустановившейся линией, менявшейся в ту или другую сторону в один день благодаря действиям кавалерии на десятки верст, то, конечно, устроить так близко, как мы были в Шестакове (12 верст от окопов) не представлялось возможности. С трудом склонили мы штаб корпуса на избрание для лазарета Вилейки – Крестьянишек, усадьбы генерала Бонди в 20 слишком верстах от Вилькомира. Но не говоря уже о том, что в этой усадьбе с трудом можно было развернуть одно хирургическое отделение, для терапевтического она не представляла никакого удобства. Расположенная при небольшой деревушке Вилейке, эта усадьба не могла бы служить местом, куда бы обращалось местное население за медицинской помощью. Между тем терапевтическое отделение по своему за-

мыслу должно было функционировать как земская больница в округе, откуда эвакуировались все учреждения, в том числе и медицинские, но где население не только еще держалось, но было гуще обычного, впитав в себя выселенцев и беженцев из районов, ранее того охваченных войной.

Местечко Ширвинта особенно нуждалось в медицинском пункте, тем более что являлось своего рода центром, куда постоянно стекались люди на базар и по другой надобности, и что в нем до того была земская больница, лишь недавно закрытая. Для больных воинов удобнее было лежать в относительной безопасности Ширвинты. Для лазарета было удобнее облегчиться от обоза и всего, связанного с терапевтическим отделением. Наконец, это отделение могло служить, как и Мейшагольский питательный пункт, перекладочной станцией для обоза с ранеными, эвакуируемыми в Вильно, и столовой для них. Впрочем, последней роли больнице нашей не пришлось долго исполнять, ибо вскоре после нашего прихода в Ширвинту устроен был уже военный лазарет в школе, куда мы и стали затем сдавать раненых, привозимых из Вилькомира и Вилейки.

Во главе больницы стала, как и в Шестакове, О. А. Кроткова. Зная натянутые отношения между ней и ст. врачом, я надеялся, что временное географическое отдаление смягчит и сгладит бывшие шероховатости, но, как потом оказалось, это не имело места.

Устройство больницы в Ширвинте оказалось целесообразным, и, несмотря на то что впоследствии, кроме уже упомянутого военного лазарета, в окрестностях Ширинты расположился 515-й военный госпиталь, специально обслуживавший заразных, наша больница постоянно имела работу. Опыт этот, равно как предшествующий, убедил меня, что передовые отряды, типа нашего, должны всегда быть готовы к обслуживанию больных. Забираясь в места, где никаких других медицинских учреждений нет, нельзя быть строго специализированным учреждением, а надо быть способным проявить гибкость и работать, как наши земские больницы. Ведь находят же возможным наши земские врачи быть универсальными, почему же эти самые врачи, приглашенные на службу Союзом, мнят себя специалистами-хирургами и чуждаются больных? И что за позорная картина – у нас большое помещение, десятки, чуть не сотня коек готовы принимать раненых, их число можно быстро увеличить смотря по потребности. Несколько врачей, помощников, фельдшеров и фельдшериц и полтора десятка сестёр сидят в ожидании раненых, но их сейчас нет, т.е. есть, но немного, ибо эти дни нет сражения. Привозят больного

солдата, и всеобщее недоумение – как быть. Принимать нельзя, можем будто бы заразить весь лазарет!

* * *

28-го августа я выехал из Вильно в отпуск, а 4 октября сел в Москве в поезд, чтобы ехать в отряд. За месяц слишком времени я отстал, конечно, от жизни отряда, который много испытал и перенес как раз в это время. Как-то мы встретимся? Как отнесутся к переходу моему в Главный комитет*? Одобрят ли выбор В.Н Хитрово? Я очень неравнодушно относился к этим вопросам и заметил, что волнуюсь, когда выскочил в Молодечно из поезда. Уже стемнело. Я попросил встретившегося солдата помочь мне донести до лазарета мои вещи, и, изнывая под тяжестью их, мы пересекли все пути станции, и проникнув под одни вагоны и перелезши через площадки других наконец добрались до ворот винного склада, в котором расположился Бурятский лазарет. На вопрос мой, как пройти в лазарет, стоящий у ворот часовой с ружьем, отвечает – «Не могу знать!» Санитар, из новых, взятых в Вильно, попавшийся мне во дворе, не узнает меня, как не узнаю и я его, и утверждает, что тоже не знает, ни где найти уполномоченного Егорова, ни как войти в лазарет. Меня берет досада, ибо по кипятильнику я еще с дороги узнал, что нахожусь у нашего лазарета. Вхожу в первую дверь, по каменной лестнице поднимаюсь на второй этаж и попадаю прямо в нашу кухню, где меня встречают восклицаниями все хорошо знакомые лица. Пока я раздеваюсь в передней, я гляжу в открытую дверь на Виктора Леонтьевича и нового младшего врача Фрелледя. Они о чем-то разговаривают в столовой и не замечают меня. Вхожу. Все очень удивлены моим внезапным приездом, хотя утверждают, что ждали меня именно сегодня. Ужин уже кончился, но, прослышав о моем возвращении, понемногу все возвращаются в столовую, и пока я закусываю, расспрашивают о московских новостях. Мстислав Яковлевич** с Ружанским живут в другом доме, и потому их нет. Я замечаю отсутствие Панарина и Волкова, но не решаюсь спрашивать, чтобы не проявить какое-либо предпочтение. Вскоре само собой из рассказов выясняется, что Волков при отступлении из Вильно простудился и серьезно болен и что Панарин с ним. Захожу к ним.

Мстислава Яковлевича я застаю уже в постели. По вещам моим, которые принесли, он узнал о моем приезде и ждал с видимым нетерпением. Мы втроем, Виктор Леонтьевич живет в

* Главный комитет Союза городов.

**Мстислав Яковлевич Лукин.

той же комнате, проговорили до поздней ночи. Я тут же сказал о том, что принял должность в Главном Совете. По-видимому, этого ждали. Потом, когда я говорил с другими членами отряда, мне тоже показалось, что этого все ждали.

7-го октября с утра осматривал всё, что касается нашего отряда. Прежде всего, конечно, лазарет, который удобно расположен в двухэтажном здании, где жили служащие завода. Теперь никого из служащих нет. Время от времени приезжают акцизные чиновники в сопровождении полиции выливать спирт. Его очень много, кажется, 8 цистерн. Страшный соблазн для солдат, который уже повел к смертоубийству, происшедшему, впрочем, еще до прихода в Молодечно нашего лазарета. Теперь целая рота живет на заводе и охраняет спирт, оберегая не самый спирт, конечно, а солдат от спирта. Но надо же положить этому какой-нибудь конец, и вот спирт выливают на землю. Это можно делать только понемножку, а то опасная жидкость стекается в лужи, и из них люди черпают свою любимую отраву. Вот почему операция уничтожения спирта так затягивается, что конца ей не предвидится.

При обходе помещений мне показали во дворе ямку, вырытую снарядом, брошенным с аэроплана. Несколько дней подряд сюда были налеты их. Одной бомбой убило двух санитаров поезда Пуришкевича, раз бомба попала в вагон интендантский, который горел на глазах всего отряда.

Но я уклоняюсь от описания положения отряда. Я в общем нашел всё в сравнительном порядке. Лошадям туго приходится. Ни овса, ни сена у нас здесь нет, покупали с большими усилиями, но недостаточно. Из интендантства можно получать тоже не всегда, и сена пока совсем не дают. Заборы все погрызаны лошадьми. Мы гоняем их на подножный корм, но и ему приходит конец. Чистая беда!

Здесь настоящий кризис с фуражом. Интендантство доставляет ячмень для лошадей, но далеко в недостаточном количестве. Когда приходит вагон ячменя, его разбирают чуть ли не с боя. Нам удается получать по интендантским чекам, но не всё потребное количество. Восполнять недостаток зерна и доставать сено, не имеющееся у интендантства вовсе, приходится покупками в округе, что изо дня становится тяжелее. Мы не одни в таком положении. Генерал Хитрово, командующий 2-ой Кубанской дивизией казаков, имеет на своем иждивении до 4000 лошадей. Всё кругом давно съедено. Казаки собирают листья и мох для коней, режут соломенные крыши. Лошади глодают стволы деревьев, объедают друг у друга хвосты. В коликах от желудочных страданий, вы-

званных поглощением не перевариваемых предметов, ежедневно падает по нескольку лошадей. Генерал боится за судьбу всей дивизии и хлопочет о том, чтобы перевели её в тыл, где лошадям можно будет питаться.

С мясом тоже была беда, но теперь мы заправились благодаря энергии И.Т. Костенко, раздобывшего за 40 верст отсюда 56 коров. Этого хватает на нас, на раненых и на беженцев. Мы кормим ежедневно до 2000 беженцев, частью местных, частью проходящих здесь с поездами.

Кубанцы залюбили совсем нашу летучку, и хотя стали в резерв, не желают с ней расставаться. Конечно, мы можем сами уйти, но мы всегда стараемся приходить и уходить без трений, а в настоящем случае это сделать не легко. Генерал Тюлин был очень ревнив, а дивизионный врач Идельсон, очень дороживший нашей летучкой, его ревность еще подогревал сообщениями о том, что летучка может «изменить». Теперь, после Свенцянского прорыва, Тюлина уже нет, временно командует Хитрово, дядя Владимира Николаевича и Марии Николаевны. Он уже расположен к летучке в силу родственных отношений, помимо всяких других, и не хочет и думать о том, чтобы летучка могла оставить кубанцев. Егоров и Босс, предвидя, что из-за перехода в другое место выйдут неприятности, не решились передвигаться без меня, а когда я приехал, то меня стали торопить учинением «развода», который осложнился бы приездом Владимира Николаевича Хитрово, который не захотел бы, пожалуй, брать на себя первого шага разрывать с дядей. Итак, на меня выпала задача распутать узел и объявить всем, что наша летучка вступает не в церковный нерасторжимый, а лишь в гражданский – временный брак с обслуживаемыми ею частями. Но раньше чем уводить летучку, надо было выбрать место, куда её поставить.

На мой вопрос Крузенштерну – где самое больное место в X армии, (конечно, в отношении медицинском) он указал мне на левый фланг, упирающийся в Пинские болота. Чтобы выбрать место для летучки, я решил объехать указанное мне расположение 38-го и Осовецкого корпусов. По карте указаны здесь и болота, и мы с Боссом решили объехать эти места верхом. Вышла очень интересная поездка, потребовавшая с остановками для разговоров и осмотров 4 суток, за которые мы сделали 160 верст. Из Молодечно на Полочаны мы добрались в Дубину, где стоит сейчас летучка. Затем посетили Воложин, Чертовице, Рум, Вялу, Ивенец и вернулись уже более сокращенным путем из Ивенца на Вялу через Городок и Молодечно. Выехали вечером 13-го из Молодечно и

вернулись в Молодечно вечером 17-го октября. Пришлось видеть много интересного. Босс много снимал своим аппаратом. Я не подумал захватить свой, о чем очень жалел дорогой. Между прочим, мы ночевали в имении графа Тышкевича. У него 16000 десятин. Много «фольварков», сдаваемых в аренду, и огромный лес. В середине леса он устроил себе «лесную дачу». Хорошая, со всеми удобствами века, дача построена в стиле швейцарских домиков, очень уютно и мило. Глухой лес кругом, не расчищенный и на вид совсем первобытный, дает иллюзию настоящей дачи. Хорошо выдумал граф, и обидно думать, как немцы оценят эту затею, если им доведется добраться сюда.

Сейчас граф, по-видимому, далек от этих мрачных мыслей, и его администрация больше озабочена тем, чтобы наши русские лазареты не воспользовались в полной мере удобствами «виллы». Чудаки, право, эти магнаты. Чего они думают и чего хотят. Будто под Вильно не попали в руки немцев владения того же графа! И вот, вместо великодушного поведения со стороны лица, к которому все присматриваются и который по своему положению занимает руководящее в округе значение – какая-то раздражающая скаредность и мелочность.

22 октября 1915.

Вчера к нам в лазарет пришел в гости – посидеть и переменить свои грустные мысли – полковник какой-то ополченской части. Человек уже немолодой, помещик Смоленской губернии, он радовался, как сын растет и мужает. Единственный сын – он учился в столице, а отец одиноко сидел в имении, устраивая его и копя не для себя, а для любимого сына, лишая себя отрады жить с ним вместе, лишая себя, быть может, и еще многого другого, лишь бы сыну жизнь была потом легче. В отставке он получал сто слишком рублей и «на эти деньги ведь можно жить хорошо, и не нуждаясь» – прибавляет он сам. Война призвала в ряды армии сына и отца. «Не продать ли лесок, – спросил отец сына, –чтобы получше нарядиться, оставить деньги на хозяйство и расплатиться перед походом с долгами?» «Не продавай, папа, нужно будет, я и сам сумею продать», – отвечал сын. И началась для обоих военная жизнь. Для сына она скоро кончилась. Он был убит – надежда и опора отца. А отец служит через силу, делая в своем возрасте и при своей помещичьей полноте и тяжести, переходы по десятку верст в полдня, не слезая иногда в течение целого дня с лошади, не зная зачем и к чему стремиться. Простая и несложная душа, ему пусто, неприютно и одиноко всюду, он ищет людей, к которым привя-

зывается с полслова, не от избытка сил, а от душевного голода. И сколько таких трагедий сейчас на Руси!

22 октября

Через час поеду с Панариным на моторе в Минск говорить о расположении отряда и искать сена. Говорят, в окрестностях Минска еще можно купить. Это чистая беда. Здесь ничего нельзя достать. Если интендантство не справится со своей задачей, мы окажемся в безвыходном положении. В округе всё съедено, и немудрено, что население с фронта уходит, т.к. через некоторое время ему есть будет нечего. Крестьянин, который питается собственным хлебом и не привык где-то покупать, скорее учитывает положение, чем рабочий или служащий, привыкший всё брать за деньги, и для которого была бы работа, и за ней уже деньги, и за деньги придет само собой всё, что нужно, без особых его забот. Крестьянин знает, что осенью у него в поле и на дворе должно быть всё, что нужно, чтобы просуществовать до другого урожая, и, когда этого нет, он понимает, что грозит голод. Он бросается наниматься и продавать, что можно продать, но когда оказывается, что наняться трудно, а получив плату, еще труднее превратить её в хлеб и корм для скота, он приходит в тревогу. Отсюда беженство стихийное, но вполне понятное, без всякого даже вмешательства войск и политики. Когда же начальство поощряет, то беженство, конечно, усиливается, но оно имеет свой собственный смысл, без всяких соображений стратегических или политических.

25 октября 1915.

Возвратился из поездки за сеном. Мы объездили 200 с лишком верст и не смогли купить сено. Сначала обозы объели всё, что могли. Теперь реквизиция, проводимая интендантством и отдельными частями. Помещики и крестьяне из чувства самосохранения скрывают свои запасы...*

*Продолжение письма отсутствует.

Приложения

№ 1
Набросок родословной Сабашниковых,
приведенный М. В. Сабашниковым в 1 главе «Записок»
(1931 г.)

Родные

У Никиты Филипповича и Аграфены Степановны было девять человек детей – четыре сына и пять дочерей. Вот их перечисление:

1. Михаил Никитич
    Василий Михайлович, женат на
    Маргарите Алексеевне (р. Андреевой)
        Алексей Васильевич
        Маргарита Васильевна (по мужу Волошина)
    Елизавета Михайловна, замужем за
    Николаем Алексеевичем Ивановым
        Елизавета Николаевна, замужем за
        Борисом Николаевичем Гофманом
        Анна Николаевна
    Иван Михайлович (доктор, психиатр), женат на
    Анне Николаевне
        Марианна Ивановна, замужем за
        Валентином Евгеньевичем Дубовским
        Валентина Ивановна
    Константин Михайлович
    Владимир Михайлович
        Владимир Владимирович (агроном в Сибири)
2. Василий Никитич жен. на
Серафиме Савватьевне (Скорняковой)
    Екатерина Васильевна зам. за
    Александром Ивановичем Барановским
        Василий Александрович
        Серафима Александровна
        Александр Александрович
        Юрий Александрович

Николай Александрович
Нина Васильевна зам. за
Алексеем Владимировичем Евреиновым
Владимир Алексеевич
Борис Алексеевич
Нина Алексеевна
Дмитрий Алексеевич
Александр Васильевич †
Василий Васильевич †
Федор Васильевич †
Михаил Васильевич жен. на
Софии Яковлевне (Лукиной)
Сергей Михайлович
Нина Михайловна
Татьяна Михайловна
Сергей Васильевич
3. Филипп Никитич
4. Иннокентий Никитич жен. на
Марии Матвеевне
Александр Иннокентьевич
Сергей Иннокентьевич
Иннокентий Иннокентьевич
5. Агния Никитична зам. за
Старцевым
6. Мария Никитична зам. за
Зензиновым Андреем Андреевичем
7. Марфа Никитична зам. за
Кандинским Николаем Хрисанфовичем
8. Прасковья Никитична зам. за
Фалькевичем Яковом Яковлевичем (поляк, аптекарь в Иркутске)
9. Екатерина Никитична зам. за
Синицыным Дмитрием Васильевичем
Иннокентий Дмитриевич жен. на
Серафиме Яковлевне (Немчиновой) (в Кяхте)
Александра Дмитриевна зам. за
Михаилом Петровичем Шевелевым (Владивосток. Оленеводство на острове)
Августа Дмитриевна зам. за
Корнаковым (заимка в Монголии)

№ 2

Письмо М. В. Сабашникова Софии Яковлевне Сабашниковой

29 ноября 1917 г.* Киев

Соня, милая и дорогая моя, дела все задерживают меня, и я уже не знаю, когда попаду обратно в Москву. После посещения Киева, я вижу, мне обо многом надо будет вновь основательно поговорить с Николаевым и Корховым. Вероятно, в пятницу я только вечером выеду отсюда в Курск и уже после свидания в Курске в воскресенье или в понедельник тронусь оттуда в Москву. Раньше вторника меня не ждите. Легко может статься, что я принужден буду просидеть в Киеве и до воскресенья; если мне не уплатят за сахар, то надо сидеть, чтобы торопить и двигать это дело. Очевидно, здесь надо будет завести постоянного представителя-толкача, который специально занимался бы ускорением делопроизводства по уплате нам за сахар. Иначе мы будем постоянно сидеть без денег.

Ниночка Яковлева рассказала тебе, конечно, о положении в Борщне и на Любимовке. Я уехал из Курска, когда не был еще окончен сход борщенских граждан, обсуждавший вопрос о том, как «контролировать» Борщенскую экономию, и не знаю, какое решение принято. Хорошего не жду. В Никольском, Колпакове и Сергиеве этот якобы контроль ведет лишь к постепенному расхищению имущества.

Нину (сестру) я застал в Курске. Она устроилась на положении беженки, с узлами и разными вывезенными из Борщня вещами у священника, сдавшего ей две комнаты в своем доме и переселившегося с женой на кухню. Нина старается крепиться и не теряться под ударами судьбы, но видно, что ей внутри очень и очень тяжело.

Николаев и Корхов настроены весьма пессимистично. Ничего хорошего не ждут и не видят нигде ни просвета, ни опоры в разбушевавшейся стихии народной. Каждый день приносит лишь новые осложнения, и разложение общества и жизненного строя идет все глубже и глубже. Принцип – «все не моё – моё, а моё – тоже моё» – приобрел всеобщее признание, и при его господстве ничего ни сообразить, ни подготовить нельзя. Здесь, в Киевском районе, по-видимому, несколько лучше, потому что есть какой-то суррогат правительства в образе «Рады», которое старается что-то

* Дата приведена по старому стилю.

сделать и ввести в анархию какой-то порядок. Но, по-видимому, Рада идет по стопам Временного правительства, и ей суждено также скоро выдохнуться и утратить последний авторитет и последнее влияние. Чтобы не оторваться от масс, Рада все дальше и дальше идет по пути отчаянной демагогии, поощряя и поддерживая то, с чем следовало бы бороться. В конце концов она все же не угонится за бегом фантазии наиболее разнузданных элементов и окажется для них буржуазной, контрреволюционной и выдохнется. Ну, это гадания. Скоро увидим, что будет.

За пребывание в Курске и здесь я здорово отдохнул, а главное, отъелся. Я только в Курске, попавши на полное приволье в питании, почувствовал, что мы в Москве здорово недоедаем.

Целую крепко. М. Сабашников

№ 3

Письмо М. В. Сабашникова Сергею Михайловичу Сабашникову

29 ноября 1917 г. Киев

Дорогой Сережа, очень мне хотелось вернуться в Москву к воскресенью, чтобы вместе со всеми вами провести этот день, на который мы уговорились перенести чествование твоего рождения, но ничего не поделаешь! Нет возможности управиться, и я вернусь в Москву не ранее, а, вероятно, позднее вторника вечера. Ну, ты, конечно, знаешь, что я тебе желаю всего лучшего, здоровья, разума, воли прежде всего. Сказал бы «успеха», но сейчас это звучало бы слишком большим диссонансом с тем, что творится в действительности. Притом можно жить, как видишь, и без внешнего успеха, если иметь голову на плечах, волю к жизни, умение трудиться и бодрость духа, чтобы не падать от каждого удара судьбы. Это самое важное, а остальное придается, ибо не слепой рок творит нашу судьбу, а мы сами, если умеем мужественно переносить невзгоды и бороться с унынием внутри нас и незадачами извне. Целую моего рожденника крепко-крепко и люблю сильно!

Хорошего ничего сообщить тебе к празднику не могу. И А. И. Николаев, и А. П. Корхов смотрят на положение вещей с большой тревогой. Крестьянам внушили, что они имеют право распоряжаться всем, что находится в пределах их досягания, и вот они захватывают экономии, требуют удаления служащих, описывают имущество, берут все под «контроль». Но так как соблазн силен, то дело описыванием, распоряжениями и контролем, конечно, не ограничивается. Нашу пшеницу, запроданную нами Продоволь-

ственному комитету, крестьяне, взяв под контроль, понемногу расхищают; берут себе, продают на сторону и деньги берут себе. То же и с кормами. При таких условиях скота не прокормишь, а без живого инвентаря нельзя будет весной свеклу сеять, ну, а без свеклы не бывать и заводу сахарному. Одно за другое цепляется, и разорение одного ведет к расстройству другого. На чем остановится этот процесс разложения и остановится ли? Об этом, конечно, можно только гадать. Может быть, люди образумятся раньше, чем вся изображенная только что картина развернется во всей полноте. Может быть, и нет, и придется дойти до самой последней ступени. Могут ведь и сахарный завод растащить. Сейчас этого еще не предвидится, но никаких гарантий, конечно, нет, что это не произойдет. Наше дело стараться, чтобы из этой болезни выйти способными к работе и по возможности сохранить предприятие от окончательного расстройства и уничтожения. Когда буря кончится, надо будет регенерировать и вновь восстанавливать все, что успеет погибнуть. Это нелегко, но все же не надо терять надежды на то, что не все погибнет, и уверенности в свои силы и способности...

С Ив. Ак. Кирилловым, который любезно взялся отвезти это письмо, я посылаю тебе, девочкам и маме гостинцы от Балабухи.

Твой М. Сабашников

№ 4

Письмо М. В. Сабашникова Софии Яковлевне Сабашниковой

1 декабря 1917 г. Киев

Дорогая Соня, я остановился здесь в гостинице «Полония» около Крещатика за зданием городской думы. Ни в одной из хороших больших гостиниц не было свободных номеров, и, проплутав часть ночи в поисках пристанища, я в конце концов обрадовался этому моему номеру, холодному, неуютному, грязноватому. Впрочем, я в нем почти не бываю, ухожу в 8 ½ утра и возвращаюсь не ранее 12 ночи прямо спать.

Почти весь день провожу в Центросахаре и в Акцизном управлении, вплоть до закрытия сих милых учреждений. Затем иду обедать. Вечером навещаю знакомых – Балаховских, Франкфурта, Сперанских, М. В. Евреинову. Мои деловые хождения направлены на получение денег от казны за сданный сахар. Это не простая штука. Во-первых, все заводится по сахарной монополии заново, порядки не установлены, по всякой мелочи возникает во-

прос, требующий специального обсуждения и принципиального решения. Во-вторых, соперничество Центросахара и Акцизного управления. Каждое из этих учреждений желало захватить монополию сахарную в свое ведение, одно – в министерство продовольствия, другое –в министерство финансов. За спорами и соперничеством многие вопросы так и остаются невыясненными, ибо в зависимости от принадлежности к тому или другому министерству и решения могут быть другие. К этому присоединяется еще то, что Центросахар по своему личному составу тянул к Украинской Раде, а Акцизное управление, по крайней мере до вчерашнего дня, было настроено централистически. Сегодня после удачного разоружения Радой большевистских полков я что-то замечаю, что в Акцизном управлении подчеркнуто «мовят» по-украински, и слова «нехай» и т. п. украшают речь более, нежели требуется смыслом и духом языка, но это может быть и случайность!

Скучают по власти, впрочем, и вовсе не случайно подлаживаются ко всему, что имеет хотя бы тень авторитета. Отсутствие власти – это третья беда в моих хождениях. Очень многие вопросы могут быть разрешены только центральной властью, а когда ее нет, что же будешь делать? Вот и откладываются важнейшие дела на неопределенное время. А когда все эти препятствия превзойдены, то наталкиваешься на последнее: денег в банке нет, и хотя тебе выдали чек на Государственный банк, но это еще не гарантирует тебе получение наличных. Вот и я в результате почти недели хождений из следуемых 350000 руб. получаю пока чеком только 50000 руб., а что мне Государственный банк по этому чеку выдаст, это еще неизвестно! Как тут расплачиваться с рабочими и неотложные текущие платежи производить. Ввиду создавшегося положения, А. Ю. Добрый, директор Русского для внешней торговли банка, согласился в виде исключения (учетов вообще не производится) учесть мне финансовый вексель на 150000 руб. Но получу ли я отсюда наличные, тоже неизвестно, ибо денежных знаков в Киеве не хватает. Чем только не расплачиваются!

Итак, времени я здесь убил много, а дело пока не двинул. Положим, я изучил здешние порядки, и теперь можно будет принять меры, чтобы не было тех причин для задержек, которые могут быть устранены нами. Это я налажу в Курске в воскресенье и понедельник.

Все очень интересуются нашими приключениями во время гражданской войны в Москве и выражают тебе всякое внимание. Почти все более или менее подробно слышали о наших бедах.

Здесь ничего подобного не было. Правда, юнкера и здесь стали за Временное правительство и имели борьбу с красногвардейцами и большевистскими полками. Украинцы первое время держались с ними* и имели даже своих представителей в Комитете спасения. Но затем, когда выяснилось, что в Москве и Петрограде большевики имеют перевес, Рада перекинулась и стала вести с ними переговоры, как с фактической силой, и борьба была оставлена, а юнкера преданы. Теперь Рада считает, по-видимому, себя достаточно сильной, чтобы вступить в борьбу с большевиками, но будущее покажет, удастся ли ей ее хитрая и лукавая политика. Публика пока довольна, что благодаря лавированию Рады не было гражданской войны в формах московских, и теперь, на мой взгляд, заметно, что Рады стали больше придерживаться, нежели раньше. Посмотрим, к чему приведут все эти уловки. Большевики не хотят сдаваться. Они собирают областной съезд рабоче-крестьянских и солдатских депутатов, который, вероятно, объявит Раду буржуйной и контрреволюционной. Избежит ли тогда Киев бойни, увидим. Пока здесь назревает забастовка протеста против обезоружения большевистских полков. Первыми забастовали официанты!

Я часто думаю здесь о тебе, девочках и особо о Сереже. Очень беспокоюсь, тем более не имея вестей. Из завода тоже нет сообщений, а между тем я уехал из Курска, когда борщенский сход решал вовсе не маловажный вопрос о том, делить или не делить Борщень. Впрочем, я знаю, что обо всем телеграфировать нельзя, да и безумно теперь дорого.

Сегодня между делами, на склоне дня, зашел в Софию. Я ее очень люблю и каждый раз, когда бываю в Киеве, ее посещаю, если ничего не мешает. Она все та же, без изменений, старая, задумчивая, видавшая виды! Во всем соборе был только один молящийся – молодой хохол в солдатской шинели. Русские мало что-то к божественному прилежат. Польские и литовские храмы – а сколько раз я бывал в них на фронте – всегда имеют молящихся. Впрочем, мое замечание о русских православных не совсем справедливо. Вспоминается, что и Софию никогда я такой пустой еще не видел. Насмотревшись на дивные аркады собора и на мозаику, едва уцелевшую, я всегда любил приглядеться к молящимся и, остановив внимание на том или другом, постараться угадать, кто он, что его привело в храм, привычка или потребность, о чем он в последнем случае молится.

---

* Юнкерами. – *Примеч. ред.*

И когда я сегодня, облокотившись о перила хор, глядел на мозаику Богородицы, удивительно меня всегда волнующую, я отчетливо, до мельчайших подробностей, вспомнил два других своих посещения этого же места. Первое было очень, очень давно. Вероятно, я еще не был студентом, или только что поступил в университет. Была Страстная неделя. Снаружи воздух благоухал от весенних почек. Суровый храм не поддавался весенним настроениям. На вечерне было сумрачно. Внизу две молодые барышни, очевидно, сестры, очень чинно и благоговейно молились, и чувствовалось, что для них служба была действительно общением с каким-то нездешним миром. Я любовался их сосредоточенным состоянием и негодовал на себя, что не могу сам верить и молиться. Казалось, как бы было хорошо и тепло на душе знать, что можно кому-то пожаловаться и у кого-то что-то молить! Другой раз. Это было зимой, в трескучий мороз. Шла обедня, и храм был полон молящихся, преимущественно простонародья. Я не стал пробиваться на хоры и остановился у одного из столбов, тесно окруженный молящимися. Какой-то равномерно повторяющийся почти у самых моих ног стук заставил меня оглянуться назад. Мужчина лет сорока, ни на минуту не останавливаясь, вставал и опускался на колени и лбом ударял о пол так, что стук был явственно слышен. Давно и долго это, по-видимому, делалось, ибо он был совершенно мокрый от пота, и от него, как от лошади, поднимался пар. На полу было мокро от падавшего с его лба пота. Я ничего подобного никогда, ни раньше, ни позже не видел. Что это? Мы тогда были под кошмаром столыпинских виселиц. «Так будет замаливать и убивать себя тот палач, который ради ста рублей с повешенного теперь гастролирует по очереди во всех городах русских», – подумал я. Я не мог вытерпеть этой пытки и вышел на улицу. * ...

Ну до другого раза. Целую тебя крепко. Всех тоже.

Твой М. Сабашников

№ 5

Письмо М. В. Сабашникова З. П. Измайловой

16 августа 1921 г.

Посылаю Вам бандеролью наши новые книжки: брошюру Хвольсона «Как произошел мир» и сказку Зелинского «Тайна Долгих скал» (на простой и на хорошей бумаге). Вы знаете, что

* Далее вырезано четыре с половиной строчки текста.

оба эти издания принадлежат к разряду «Extravagantia»*, как его назвал Николай Васильевич**, когда мы с ним составляли программу нашего издательства для представления в Госиздат. То есть эти книги вызваны к жизни не нами, они задуманы и исполнены по почину их авторов, что не мешало нам принять их к изданию и не будет мешать содействовать их распространению. Я хотел только отметить, что оба издания для нас не характерны, и появление их у нас не свидетельствует о намерении изменить наш стиль. Это Вы, впрочем, знаете, как знаете и то, что раз книги выпускались в Питере, то и с внешней стороны они подчинялись другому стилю. Аркадакский спрашивает меня, как я нахожу эти выпуски. Я, конечно, отвечаю по совести, что Хвольсон издан по теперешнему времени хорошо, а сказка – так совсем хорошо. И правда, что же можно сказать, кроме похвалы, особенно если принять во внимание теперешние трудности. Но я хочу попробовать проанализировать и дать себе и Вам отчет об уклонениях нашего типа изданий, безотчетно, конечно, чувствуемых при первом развертывании книжки. В чем в самом деле штука? Для ремесленника разговор о его ремесле должен быть занимателен при всех условиях жизни, и, хотя Вы на берегу моря окружены южной природой и далекими от книг людьми, Вы, быть может, уделите этому внимание, даром что Вы не ремесленник еще, а я не ремесленник, а дилетант.

Ну, про самое содержание книжек говорить, по-моему, нечего. Хорошие и полезные книжки, что и говорить. Но знаете ли, я не люблю популяризации знаний, облеченной в беллетристическую форму. Для этого надо иметь громадный беллетристический талант какого-нибудь Жюля Верна. Ну а у Хвольсона мужики не живут и наводят на меня скуку, не говоря уже, что коробят своей неправдивостью и выдуманностью. Впрочем, я нахожу сам прием ложным, и если какой-нибудь Жюль Верн достигает им чудес, то еще не значит, что прием хорош. Сколько, в самом деле, девочек и особенно юношей увлекались Жюль Верном. Сколько, начитавшись его, ежегодно бегало от родителей туда, к индейцам. А все ли хорошо знали, как добраться до них? Как пользоваться компасом и т. п.? За фабулой упускают популяризацию. А неужели этот компас, устремленный всегда в одну точку, и эта неподвижная Полярная звезда, единственная из всех звезд, такая при том малюсенькая и невзрачная среди других красавиц, неужели все

* экстравагантный – необычный, причудливый.

** Сперанский.

это не может увлечь ребенка, девушку или юношу без всяких заинтересовываний небывалыми мужиками и самыми увлекательными Гаттерасами?

Что касается сказки Зелинского, то она прочтется всяким с удовольствием, хотя за себя скажу, что научные статьи его читаются с еще большим удовольствием и интересом.

Но главный вопрос ведь во внешности издания, раз мы с Вами сейчас вообразили себя ремесленниками. Ну, прежде всего о рисунках. Если бы дело было при мне, я бы настоял с самого начала, чтобы привлечен был какой-нибудь мастер. Ученица Зелинского, быть может, отличный филолог и археолог, но дара творчества она в рисунках не проявила. Это хорошие, вполне грамотные иллюстрации, которые никакого издания не испортят, но которые ему художественной ценности не придадут. Но таково уже было желание Зелинского. О самой внешности книжки скажу по экземпляру на улучшенной бумаге. Формат мне нравится, и шрифт и размер страниц пригнаны со вкусом, недаром работа вышла из рук Голике и Вильборга. Вообще все, что касается типографской техники, исполнено очень хорошо, много лучше, чем здесь для нас делают последнее время Камков или Кушнерев, не говоря уже про Корпус военных топографов. Но отмечу особенности, которых в наших изданиях никогда не бывает.

Я ищу красоты книги в пропорциях и в рациональности ее построения. Не вытекающие из сути дела украшения мне кажутся излишними, и не в них надо искать решения эстетической задачи. Ну вот вычурный шрифт. Я сторонник обычных шрифтов. Глаз не должен замечать красоты букв, ибо это рассеивает внимание. Конечно, чтобы сделать страницу нарядной, легкое уклонение от шаблонов, от повседневного куда как хорошо. Это незначительное, неуловимое уклонение, оно ведь заставляет смотреть на старое новыми, свежими глазами. Прием достаточно известный Вам и вообще особам женского пола, умеющим одеваться.

Для детей я вычурных шрифтов избегал бы особо. Для сказок из классического мира – сугубо; в противность готике, классический стиль чужд вычурности. Но вот любопытное наблюдение: не правда ли, при взгляде на страницу нашей сказки Вы не чувствуете новой орфографии: чуждый шрифт затмевает чуждость правописания. Что значит привычка и как можно ею пользоваться умело, если только ее осознать!

А вот Вам рядом пример неумелого пользования установленным, вполне рациональным приемом. По страницам наверху зачем печатать «Тайна Долгих скал»? Эти постраничные указания

в толстой книге, содержащей много глав и отделов, бывают чрезвычайно удобны. При перелистывании книги Вы, не справляясь с оглавлением, сразу обозреваете содержание книги по постраничным обозначениям. Но обозначения должны отмечать части книг, а не ее заглавие, известное по обложке. В маленькой книжке они бесцельны и употребляются по традиции, ради красоты. Ну вот я думаю, что ничего не нужно на страницах печатать ради «пятна» только. Нужно уметь сделать страницу красивой, не прибегая к печатанию того, что не нужно читателю. Лучше уж по-старому дать в середине наверху цифру страницы в скобках или между двух тире. Это старомодно, но не плохо и может быть красиво.

Наконец, обложка! Автор в именительном падеже должен печататься выше заглавия. В противном случае надо давать его в родительном или прибавлять слово «составил», «сочинил» и т. п. Так, как дано у нас, можно и должно понять, что Иресиона будет заключать собрание сказок многих авторов, и за Зелинским можно ожидать Жебелева и других. Это не имелось в виду. Протестую я против Zабашниковых, ибо Z дает представление о другом звуке, и потому неудачно.

Ну, вот видите, какую я Вам диссертацию написал, и все преважно, и все о сущих пустяках. Это правда, но в издательском деле, к которому Вы готовитесь, нет пустяков. Еще одно. Я книг своих никогда не обрезаю, хотя нахожу это громадным удобством. Книги, которые ни в каком случае не будут переплетаться, следовало бы обрезать. Но уж очень плохо это делается в наших типографиях. При том, какое удовольствие разрезать книгу перед тем, как приступить к ее чтению! Книги необрезанные красивей, и недаром любители даже при переплетании не обрезают своих книг. Я бы не стал избегать обрезания как правило. Для справочных книг, для словарей, Библии, сборников и вообще книг, часто раскрываемых в середине, обрез необходим. Для собрания стихов он нужен. Но книгу, которую читают с начала до конца, я не стал бы обрезывать даже при переплете (верхний край, однако, во избежание накопления пыли все же хорошо не только обрезать, но еще и позолотить или покрасить). В книге обрезанной Вы уже не чувствуете ее структуры, ее сплетения и отдельных листов...

Ну, Вы очень разгневались на то, что я Вам вместо письма урок, да еще такой педантичный урок, посылаю? Не гневайтесь! Постараюсь исправиться. Кроме брошюр вкладываю в общую бандероль бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. Его сегодня продавали на улицах за 2000 р. Так было при-

ятно видеть уличную продажу номера, по внешности напоминающего покойные «Русские ведомости».

...Готовлюсь здесь к оживлению издательской деятельности, к печатанию в Петрограде, за границей, вступаю в компанию по книжной лавке. Вообще, дела не делаются, а планы строятся, но в противность прежнему, планы все мельчают да мельчают. Быть может, на каком-нибудь мелком деле и зацепимся. Во всяком случае, работа будет, и эта зима в отношении работы для издательства будет и разнообразнее, и ответственнее и, быть может, плодотворнее.

№ 6

Распоряжение Комиссии по выселению нетрудового элемента и бывших собственников из муниципализированных и национализированных владений президиума Хамовнического районного совета РК и КД домоуправлению д. № 8-а по Девичьему проезду о выселении С. Я. Сабашниковой с мужем из занимаемой ими комнаты

22 июля 1929 г.

Домоуправлению д. № 8-а по Девичьему пр.
Копия: АОМГИК*
РОУНИ**

На основании постановления Комиссии, утвержденного президиумом районного совета 18 июля 1929 г. (протокол № 12), сообщается, что помещенные на обороте граждане и все проживающие совместно с ними на день выселения временные жильцы и домашние работники (если последние не имеют самостоятельного права на площадь в доме) подлежат выселению из домовладения без предоставления площади, о чем предлагается объявить в 24 часа этим гражданам под расписку и проследить за выполнением постановления комиссии.

В случае невыезда этих граждан к указанному на обороте сроку Вам надлежит немедленно сообщить в Адм. Отдел Мосгубисполкома (Петровка, 38) для принятия мер административного выселения.

---

* АОМГИК – Административный отдел Мосгубисполкома.

** РОУНИ Районный отдел управления национализированным имуществом.

Не допускать заселения освобождающейся в доме площади как в случае самостоятельного выезда, так и административного выселения, и не позднее следующего после освобождения площади дня сообщить в РОУНИ для заселения рабочими и демобилизованными красноармейцами.

За неисполнение настоящего распоряжения ответственные по домоуправлению лица будут привлечены к строжайшей ответственности.

Председатель Комиссии (подпись неразборчива)

На обороте:

Собашникова[*] Софья Яковлевна с ней проживает муж

Срок выселения три дня

Колич. комнат 1

Площ. в метр. 27,8

Председатель Комиссии (подпись неразборчива)

Маш. копия.

№ 7

Заявление М. В. Сабашникова в Президиум Моссовета в связи с выселением

25 июля 1929 г.

Книгоиздателя Михаила Васильевича Сабашникова, проживающего в Москве, по Проезду Девичьего поля, д. 8а

Заявление

Вчера, 24 июня[**] с/г мною было получено уведомление от Комиссии по выселению нетрудового элемента Хамовнического районного совета от 22-го сего месяца за № 48, согласно коего я и моя жена, Софья Яковлевна Сабашникова, подлежим выселению из занимаемой нами единственной комнаты, площадью 27,8 метра, в трехдневный срок, считая со дня получения извещения.

Настоящее постановление о выселении нас я считаю неправильным на основании нижеследующего:

1. Как владелец издательства, официально именуемого «Издательство М. и С. Сабашниковых», основанного еще в 1890 году и непрерывно действующего по сие время, я, на основании инструкции № 167/65 народных комиссариатов внутренних дел и

* Так в тексте.

** Очевидно, описка, правильно: июля. См. предыдущий документ.

юстиции РСФСР от 15 мая с/г, § 3 Примечание, имею бесспорное право на проживание в муниципализированных и национализированных домах. Поскольку моя жена С. Я. Сабашникова живет в одной, как сказано, единственной занимаемой нами в доме совместно комнате, она, очевидно, также пользуется правами, предоставленными мне. Между тем Комиссия Хамовнического совета, выселяя мою жену как бывшую домовладелицу и этим поражая ее в жилищных правах, распространяет это поражение и на меня, считая меня членом ее семьи. Фактически же дело обстоит как раз наоборот. Моя жена является членом моей семьи и пользуется жилищным иммунитетом, предоставленным мне, как владельцу и основателю одного из культурнейших издательств нашей республики.

2. Я являюсь научным работником, членом ЦКБУ и зарегистрирован Московским отделением Секции научных работников Губпроса (удостоверение № 4525, от I января 1929 г.). Как таковой я имею удостоверение (Охранную грамоту) на площадь от ЦКБУ за № 1351, от 4 апреля 1928 г., зарегистрированное в МУНИ 4 января 1929 г. Как таковому мне предоставлено право на проживание в национализированных домах, чем пользуется вся семья научного работника и в первую очередь, очевидно, жена.

3. Моя жена, Софья Яковлевна Сабашникова, является совместно со мной владелицей издательства, именуемого «Издательство М. и С. Сабашниковых». Это видно из выбранного издательством патента № 265 от 29 сентября 1928 г., который взят был на два лица – М. В. и С. Я. Сабашниковых, а также из договора на простое товарищество, заключенного 30 декабря 1926 г. между мною и женою моею на совместное владение издательством, равно как и из договоров, предшествующих названному договору. Таким образом, Софья Яковлевна Сабашникова, являясь издательницей, имеет право на проживание в национализированных домах, согласно вышеупомянутой инструкции № 167(65) Примечание к п. 3); при этом дом, из которого нас ныне выселяют, приобретен был нами для помещения в нем издательства в мае месяце 1917 г. на имя С. Я. Сабашниковой. Переселились же мы в него, не успев приспособить его для целей издательства, уже после Октябрьской революции, в первых числах ноября 1917 г., после того, как помещение нашего издательства, равно как и наша личная квартира, находившиеся в доме № 6 по Тверскому бульвару, были уничтожены огнем в Октябрьские дни. Через месяц с небольшим после нашего поселения на Девичьем поле дом этот был национализирован. Таким образом, жена моя формально владела

этим домом не более шести месяцев, а мы пользовались им фактически лишь около шести недель. Хотя при незначительности владения мы имели право хлопотать о демуниципализации дома на Девичьем поле, однако мы этим правом не воспользовались, не стремясь к владению. Итак, ни факта длительного владения, ни эксплуатации дома абсолютно не было. В довершение добавлю, что ни я, ни жена моя никаких должностей по жилтовариществу дома на Девичьем поле никогда не занимали и никакого отношения к управлению домом, эксплуатации его и никакого влияния на дела жилтоварищества не имели (П. 7д Инструкции № 167(65)

Исходя из всего вышеизложенного, прошу сделать распоряжение об отмене постановления Комиссии по выселению нетрудового элемента Хамовнического районного совета РКиКД о выселении меня и жены моей Софьи Яковлевны Сабашниковой из занимаемой нами комнаты в доме № 8а по Проезду Девичьего поля.

Михаил Васильевич Сабашников

Авторизованная маш. копия.

№ 8

Заявление М. В. и С. Я. Сабашниковых в Президиум ЦИК СССР о восстановлении в избирательных правах

3 февраля 1930 г.

В ПРЕЗИДИУМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Книгоиздателей Михаила Васильевича
и Софьи Яковлевны САБАШНИКОВЫХ,
проживающих в Москве
по Проезду Девичьего поля в доме .№ 8а

Заявление

Настоящим ходатайствуем перед Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических республик об исключении нас из списков лишенцев и восстановлении в избирательных правах в силу нижеследующих соображений.

1. Мы оказались лишенными избирательных прав исключительно вследствие нашей издательской деятельности, так как приравнены в этом отношении к «частнику» – коммерсанту.

2. Между тем издательство наше никогда коммерческим не было. Основанное в 1890 году исключительно ради научно-просветительных целей, оно, как и другие возникшие в то время «идейные» издательства – Водовозовой, Скирмута, Бонч-Бруевича и пр., приняло облик частного предприятия по той причине, что это была единственная допускавшаяся тогда правительством форма для издательской деятельности. В дореволюционное время на протяжении двадцати семи лет оно неизменно служило русской культуре и имело несомненные заслуги перед наукой и литературой.

3. Советская власть, при своем возникновении, учла эти заслуги, не только дав нам возможность продолжать нашу деятельность, но и обязав нас подпиской не прерывать нашей работы. И мы стойко и усердно работали в течение последних двенадцати революционных лет, в пределах наших скромных возможностей, создавая книги – это драгоценное в настоящее время орудие на культурном фронте.

4. Не пытаясь перечислить здесь все изданные нами книги, напомним лишь о некоторых наших изданиях.

В дореволюционный период большую популярность приобрели наши «Памятники мировой литературы», благодаря высокому качеству текстов и тщательному внешнему оформлению признаваемые одним из лучших достижений русского издательского дела. Высокую оценку получили сборники наши по истории русской литературы под названием «Русские Пропилеи». Наконец, мы всегда уделяли большое внимание естествознанию, и у нас неизменно выпускали свои работы такие русские дарвинисты, как К. А. Тимирязев, М. А. Мензбир, П. Ф. Маевский, В. Н. Львов, А. А. Борисяк и другие.

За революционное же время нами выпущен ряд оригинальных трудов по естествознанию, сельскому хозяйству, медицине, истории культуры и литературы. Отметим особо библиотеку неизданных русских мемуаров «Записи Прошлого» (вышло 22 тома), все выпуски которой неизменно с одобрением встречались советской прессой, и «Итоги работ русских опытных агрономических учреждений» (вышло 5 томов). Мы гордимся тем, что последним изданием мы первые сделали попытку дать в руки рядового русского агронома свод методов и достижений русской опытной агрономии. Эта задача, перед которой беспомощно останавлива-

лось старое министерство земледелия царских времен и за которую не решилось взяться в революционное время издательство Наркомзема, была нами выдвинута в порядок дня еще в 1923 году и только теперь за ее выполнение принимается Государственный институт опытной агрономии, выпустивший в 1929 году первую брошюру из объявленной им серии «Географическая сводка результатов работы опытных полей в СССР».

5. За годы революции наше издательство выдвинуло немало новых литературных имен. В нашем издательстве вышли в свет первые книги таких ныне известных беллетристов, как Леонид Леонов и Пантелеймон Романов. Из других имен литературного молодняка, выдвинувшегося за последние двенадцать лет в разных областях знания, назовем следующих: А. Пиотровский, В. Квасников, Д. Конев, Н. Лобанов, П. Некрасов, А. Кудрявцева, П. Зиновьев, Н. Бруханский, Н. Медведева, А. Петрова, В. Жданов и проч. Все они свой литературный путь начали через наше издательство.

6. Из сказанного выше ясно, что нельзя приравнивать нашу издательскую работу к обычному коммерческому занятию «частника», извлекающего доходы из эксплуатации чужого труда. У нас никогда не было накопления средств в издательстве, которое велось строго на основе самоокупаемости выпускаемых книг и которое могло так держаться только благодаря строжайшему подбору для издания исключительно ценного материала.

7. Мы не хотим поэтому думать, что в Социалистической республике нашей за наши долголетние труды и несомненные заслуги перед наукой и литературой мы теперь, как лишенцы, будем выброшены буквально на улицу без права где-либо работать, без права иметь кусок хлеба. Принимая во внимание наш возраст, это ведь равносильно смертному приговору.

В нынешнем 1930 году исполняется сорок лет нашей работе на просветительном фронте. О том, что эта работа была полезна, не может быть никаких сомнений. Мы просим поэтому советскую власть вычеркнуть нас из списков лишенцев, восстановить нас в избирательных правах и сделать нас, таким образом, полноправными советскими гражданами со всеми вытекающими из сего последствиями.

Так как лишенство связано с выселением и описью имущества, просим рассмотреть наше ходатайство в срочном порядке.

(Михаил Васильевич Сабашников)
(София Яковлевна Сабашникова)

Считаю лишение прав М. В. и С. Я. Сабашниковых чистейшим недоразумением. Их издательство имело высокое культурное значение, что признавалось, между прочим, и самим Владимиром Ильичем. При обсуждении вопроса о частных издательствах он сказал мне: «Наиболее культурным из них, вроде Сабашниковых, надо помогать, пока не будем в силах их заменить полностью». Безусловно присоединяюсь к этому ходатайству.

К. Чл. През. ЦИКС
А. Луначарский

Подпись руки редактора издательства ЗИФ тов. Луначарского удостоверяется.

Печать (подпись)

Директор Публичной библиотеки Ленина
В. Невский.

Присоединяюсь к ходатайству тт. о Сабашникове: ведь в числе немногих издательств – это было одно из культурных издательств, не преследовавшее никогда цели наживы и после 1917 года, буквально выбиваясь из сил, вело истинно культурное дело – просвещение масс. Думаю, что нужно восстановить Сабашникова в правах.

В. Невский

Подпись руки директора Публичной б-ки СССР имени В. И. Ленина В. П. Невского канцелярия заверяет.

Печать б-ки. Подпись.

9.II.30.

Издательство М. и С. Сабашниковых существует уже более 30 лет и за этот срок выполнило исключительную по ценности культурную работу. Едва ли можно найти в России человека, интересующегося естествознанием и не знакомого с книгами, изданными М. и С. Сабашниковыми; едва ли кто из образованных людей вообще не держал в руках выпущенных тем же издательством многотомных «Памятников мировой литературы». Издательство никогда не преследовало целей наживы. Оно было задумано как начинание просветительного характера и никогда не сходило с пути, намеченного при его основании. В силу этого ему удалось объединить вокруг себя многочисленных деятелей русской науки и русской литературы. И сейчас издательство продолжает ту же, высоко полезную для Республики, работу, по-прежнему строго отметая от себя при выборе книг для издания соображения легкой и быстрой наживы. Своей деятельностью издательство М. и

С. Сабашниковых заслужило бесспорно одно из самых почетных мест в истории русского издательского дела. Приравнение его организатора к категории нэпманов, спекулянтов – является явным недоразумением. Это – несправедливость по отношению к нему; это – угроза существованию налаженного хорошего дела.

Подпись: Ректор 1-го Госуд. университета
В. Волгин

Маш. копия.

№ 9

Заявление М. В. и С. Я. Сабашниковых народному комиссару финансов РСФСР о распространении на Издательство М. и С. Сабашниковых налоговых льгот, предоставляемых кооперативным издательствам.

15 февраля 1930 г.

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ФИНАНСОВ РСФСР

Издателей М. В. и С. Я. Сабашниковых,
Никитский бульвар, 8, тел. 3-54-30

Заявление

Прилагая при сем краткую справку об издательстве М. и С. Сабашниковых, ходатайствуем об облегчении нам податного бремени.

Мы руководимся при этом следующими соображениями:

1. Издательства кооперативные совершенно освобождены от налогов промыслового и подоходного наравне с издательствами государственными, чем культурная издательская деятельность выделена в особую, заслуживающую бережного к себе отношения, категорию.

2. Наше издательство вне сомнения имеет культурное значение и потому в этом отношении оно имеет право на такие же льготы.

3. Оно никогда раньше не преследовало целей извлечения прибыли из эксплуатации чужого труда, не делает этого и теперь, почему нет оснований применять к нему меры воздействия, направленные против частного капитала.

4. Ставки налогов промыслового и подоходного, возрастая из года в год, достигли теперь размеров для нас совершенно непосильных.

5. Налоговая же практика применения этих ставок делает обложение поистине сокрушительным.

6. Высокие налоги неизбежно ведут к вздорожанию книги, тогда как интересы читающих масс требуют ее удешевления.

7. При скромных оборотах нашего издательства (оборот 1929 г. не достиг 70 000 руб.) и еще более скромных прибылях (2 – 3 тысячи в год), удостоверенных производившимися из года в год обследованиями и актами фининспекции, государство не может быть фискально заинтересовано нашим обложением, тогда как это обложение буквально срывает работу издательства.

8. Положениями о государственном промысловом налоге (ст. 41) и государственном подоходном налоге (ст. 16) наркомфинам республик предоставлено делать льготы как отдельным плательщикам, так и группам их. Совершенно очевидно, что такие льготы в первую очередь должны быть оказаны культурной издательской деятельности, раз советская власть признала издательское дело заслуживающим особого поощрения, совершенно освободив от налогов все государственные и кооперативные издательства.

9. Вся работа издательства протекает под самым строгим и бдительным контролем правительственных органов, преимущественно Главлита и Комитета по делам печати, каковыми и регулируется вся деятельность издательства.

10. Чисто трудовой, по существу не капиталистический характер нашего издательства, явствует хотя бы из скромных цифр очищавшейся из года в год прибыли (2 – 3 тысячи в год), каковая являлась единственным нашим вознаграждением за работу в издательстве, ибо никакого оклада жалования мы не получали.

В нынешнем году исполняется 40 лет существования нашего издательства, из которых 12 протекли при советском строе; за этот продолжительный период издательство не уклонялось от поставленных себе при самом его возникновении просветительных культурных задач, создавая ценные книги и этим содействуя общему подъему культуры в нашей стране. Мы смеем поэтому надеяться, что народный комиссар финансов РСФСР признает наше издательство и нас лично заслуживающими того податного режима, в какой закон нормально ставит всякое кооперативное издательское объединение и его руководителей.

Мы ходатайствуем о распространении на издательство М. и С. Сабашниковых налоговых льгот, предоставленных кооперативным издательствам, и об обложении владельцев издательства подоходным налогом, как служащих, по действительно получаемому ими вознаграждению за их работу в издательстве.

15.II.30

М. Сабашников
С. Сабашникова

Маш. копия с подписями-автографами.

№10

Постановление Оргбюро по организации издательства «Советский писатель»

9 августа 1934 г.

На основании постановления Всекопромсовета от 26-го августа* с. г. Оргбюро предлагает комиссии под председательством т. Зуева А. Н. принять дела и имущество кооперативных издательств «ПОСРЕДНИК» и «СЕВЕР».

Производственный, редакционный и договорный портфели издательства «Посредник», составленные исключительно из детских книг, по приемке комиссией передать ДЕТГИЗУ.

Производственный, редакционный и договорный портфели изд-ва «Север» передать на рассмотрение редакционного совета изд-ва «Советский писатель». Одобренные рукописи и принятые договоры включить в портфель изд-ва «Советский писатель».

Пайщики обоих изд-в, являющиеся членами или кандидатами Союза писателей, включаются в состав кооперативного изд-ва «Советский писатель». Остальным пайщикам будут выданы паи (после приема дел изд-ва).

Приемку дел закончить к 15 августа. Составление заключительного баланса закончить к 25 августа.

Председатель Оргбюро – (подпись) Левин

Члены – (подписи)

Маш. копия

№ 11

Заявление правления кооперативного издательства «Север» в Оргбюро по организации издательства «Советский писатель» о несогласии Московского совета промысловой кооперации с решением о ликвидации издательства «Север»

[12 августа 1934 г.]

В Оргбюро по организации изд-ва «Советский писатель»
Копия: Председателю Президиума Москопромсовета – тов. Попову
Копия: Председателю Мособлпечатьсоюза тов. Комлеву

На Ваше извещение от 9.VIII с.г. и телефонограмму тов. Зуева от 11 .VIII с.г. о сдаче дел кооперативного издательства «Север» специальной комиссии к 1 часу дня 13 августа правление изда-

* Очевидно, опечатка; правильно: 26-го июля.

тельства «Север» уведомляет Вас, что Президиум Москопромсовета отношением от 10.VIII за № 236/1 опротестовал постановление Всекопромсовета от 26.VII с.г., каковое назначено к пересмотру. Пред. правления – Секретарь

Маш. копия.

№ 12

Заявление председателя президиума Московского совета промысловой кооперации И. Попова председателю президиума Всероссийского совета промысловой кооперации Васильевскому с просьбой сохранить издательства «Посредник» и «Север».

[12 августа 1934 г.]

Председателю Президиума Всекопромсовета
тов. Васильевскому

Президиум Москопромсовета просит Вас изменить решение от 26-го августа с.г. о слиянии кооперативных издательств «Север» и «Посредник» во вновь организованное Объединенное издательство «Советский писатель» по следующим соображениям: Издательство «Советский писатель» имеет своей целью издание исключительно произведений художественной литературы (беллетристика и поэзия), между тем как кооперативное издательство «Посредник» в течение многих лет ведет работу исключительно над ДЕТСКОЙ КНИГОЙ, кооперативное же издательство «Север» выпускает также в течение ряда лет преимущественно мемуарную литературу – серию «Записи Прошлого».

Включение издательств «Посредник» и «Север» в новое издательство «Советский писатель» равносильно полной ликвидации указанных издательских организаций, между тем как детские книги, выпускаемые издательством «Посредник», получали неоднократно соответствующую оценку книжных коллекторов, мемуарная же серия «Севера» под названием «Записи Прошлого» (вышло в свет 26 выпусков) получила широкую известность также и за границей, так как часть тиража идет и на экспорт. В издательстве «Посредник» постоянными сотрудниками являлись – Крупская, Величкина, Ульянова. Калмыкова и др. товарищи.

Из сказанного ясно, что редакционные портфели изд-в «Север» и «Посредник» резко отличаются от предполагаемого портфеля «Советского писателя» и не смогут быть использованными последним. Слияние, не принося никаких положительных результатов для «Советского писателя», одновременно полностью

разрушает работу издательских коллективов «Севера» и «Посредника», существующих десятки лет.

Работа названных издательств является по существу работой артелей, выпускающих на 100 % культурный ширпотреб.

Президиум Москопромсовета в силу изложенного просит сохранить артели «Север» и «Посредник» в системе Мособлпсчатьсоюза.

Председатель Москопромсовета – (подпись)

(И. Попов)

Маш. копия с копии.

№ 13

Письмо М. А. Цявловского и М. Я. Сабашникова А. С. Енукидзе с просьбой сохранить издательство «Север»

12 августа 1934 г.

Глубокоуважаемый Авель Софронович,

Позволяем себе беспокоить Вас следующей просьбой. Кооперативное издательство «Север», образованное сотрудниками бывшего издательства Сабашниковых и возглавляемое академиком Д. М. Петрушевским (историк) и М. А. Цявловским (литературовед), предназначено к слитию с кооперативным издательством «Советский писатель», образуемым при Союзе писателей для издания художественной литературы.

Между тем издательство «Север» является объединением научных работников и не ставит своей задачей издание художественной литературы, для объединения издательства каковой создается издательство «Советский писатель».

В последнее время изд-во «Север» преимущественное внимание уделяло созданной им мемуарной серии «Записи Прошлого» под общей редакцией М. А. Цявловского. Сигнальный экземпляр 26-го выпуска этой библиотеки, содержащей исследование М. В. Волоцкого «Хроника рода Достоевского», при сем прилагается (книга еще не поступила в продажу). На суперобложке ее объявлено содержание подготовляющихся выпусков. Появившиеся же до сего выпуски, как известно, неизменно пользовались одобрением со стороны советской и иностранной прессы и постоянно цитируются в научных работах. Напомним, что в «Записях Прошлого» издаются материалы не бывшие до того в печати и требующие серьезной проработки, и что в них появились в свет «Дневники» С. А. Толстой, А. Ф. Тютчевой, В. Я. Брюсова, расска-

зы Бартенева о Пушкине, письма декабристов, записки опричника Штадена и др.

Как видно из сказанного, наши книги не подходят под понятие художественной литературы, а «Записи Прошлого», представляя признанную ценность, заслуживают того, чтобы издание их продолжалось бесперебойно.

Мы решаемся поэтому обратиться к Вам с усердной просьбой оказать содействие в том, чтобы при намеченной реорганизации издательского дела нашему коллективу была обеспечена возможность продолжать свою работу.

Что означает для нас предполагаемое слияние – красноречиво говорит постановление Оргбюро по организации изд-ва «Советский писатель» от 9 с/м., нами только что полученное и в копии прилагаемое: наши работы – работы кооператива научных работников – от нас передаются в кооператив писателей, мы же сами, не будучи членами или кандидатами Союза писателей, от работы будем отстранены. Москва, 12 августа 1934 г. Арбат 36, кв. 6. Тел. Г-1-44-67

М. Цявловский

М. Сабашников

Маш. копия с подписями-автографами.

№ 14

Письмо М. В. Сабашникова Татьяне Михайловне и Леониду Максимовичу Леоновым

[Начало 1942 г.]. Москва

Дорогие мои, любимые Таня и Леня, здравствуйте, милые! Наконец-то будто плотину прорвало, вчера получили сразу 6 писем ваших. Будем надеяться, что это обязано общему улучшению положения и что, в свою очередь, и к вам притекут наши запоздавшие письма!

Итак, Таня, ты спрашиваешь, как все это произошло. Постараюсь дать ответ моими каракулями. Случилось это 5.XI. Днем я был в издательстве. Там мне сказали, что Сергея не будет. Он получил предписание срочно, в 24 часа, освободить квартиру в Каменщиках. Умчался перевозить семью в квартиру одного сотрудника издательства, накануне эвакуировавшегося из Москвы и оставившего свою квартиру в его распоряжение. Удивительная случайность! По возвращении после занятий домой я прошел на почту к автомату, чтобы узнать, удалось ли Сергею достать транс-

порт и перевезти семью. На новой квартире его не оказалось, а Нина Сергеевна, подошедшая к телефону, сказала мне, что они только что въехали, и она разбирается в груде наспех сваленных вещей. Я спросил, не испугались ли дети при таком спешном переезде. «Нет, они отлично играют в новой квартире». Мы оба рассмеялись и сказали друг другу что-то о блаженстве детского возраста. На пути с почты домой я прислушивался к оживленной канонаде зениток.

Мама пошла проверить со двора затемнение наше, что она ежедневно делала. Вернувшись, она просила меня поскорей ужинать, так как можно ожидать объявления тревоги. Небо ей показалось зловещим, вечер будет темным, как бы чего не было. Наташа была на концерте, но должна была с минуты на минуту прийти. Я поспешил в ванную помыть руки. Был седьмой час. Но тут представление о последовательности явлений во времени исчезает, время как бы выклинивается, сходит на нет. Произошли ли дальнейшие события друг за другом, или в обратной последовательности, или все разом сгрудившись вместе – не знаю. Не успел я войти в ванную комнату и стать около раковины, как мне на грудь надвинулась без всякого шума целая лавина битых кирпичей. Она опрокинула меня в ванну, поперек ее, с перекинутыми у колен через борт ванны ногами, которые тут же были до боли притиснуты к борту соскочившей со своего места перегородкой, отделявшей нашу ванную от кухни Корякиных. Туловище, животом вверх в поперечном к ванне положении, и откинутые какимто сильным ударом в бок руки мгновенно засыпались битыми кирпичами, из груды которых торчали лишь моя голова да кисти рук. Я не потерял сознания, даже не испугался – не успел! Сразу понял, что погиб бесповоротно: «осужден, приговор окончательный, обжалованию не подлежит, приведен будет безотлагательно». Но страдать не хотел, а между тем известковая пыль и сыпавшийся сверху песок грозили мучительным удушьем. Высмотрев просвет наружу, начал дышать через него, кричать односложное «ай», чтобы сохранить силы; я видел через свою щель, как на мой крик побежал по двору наш домоуправитель. Тут блеснул огонь и раздался взрыв, который я принял за повторный фугасный, сделав неправильный вывод, что бежавшие на помощь мне спасатели разбегутся. Но если убитые взрывом его не слышат, то раненые его отлично слышат после своего ранения. Второй бомбы не было – до меня дошел шум моей. Послышался голос мамы. Я не мог разобрать, пострадала ли она. Наконец она показалась во весь рост в дверях ванной комнаты. Началось мое спасение. Две группы,

спорившие между собой о способах, быстро сговорились и приступили к работе. Любопытно, что в такую минуту мне вспомнились гоголевские дядя Михей и дядя Миней. Аварийная бригада, прибывшая очень скоро, действовала умело и энергично. Как-то сумели в мое заключение просунуть шприц и вспрыснуть мне в руку антипирин – «чтобы не больно было». И действительно, я в дальнейшем не испытывал страданий. Самое замысловатое было в том, чтобы, разбирая завалившую меня лавину, не вызвать нового обвала, который раздавил бы меня вконец. Но справились отлично. Задача осложнялась еще тем, что вследствие наступившего паралича ног я не мог их поворачивать, как нужно было моим спасителям. Все же в конце концов меня извлекли на двор, на руках поднесли к носилкам и установили их на грузовик. Он, как я узнал теперь, был специально приспособлен для перевозки аварийных. Я же, не зная этого, заключил, что меня считают безнадежным и потому не кладут в санитарное авто. Впрочем, и врач аварийной бригады сомневался, что меня живым довезут. Было ужасно холодно, это главное, что я чувствовал. Жалко было, что не простился со всеми вами. Искал глазами маму, а она была тут: накинула на меня шубу и какую-то шапку. Затем тронулись. Мама поместилась рядом с шофером. Со времени взрыва бомбы прошло полтора-два часа.

Меня скоро доставили в хирургическую университетскую клинику профессора Бурденко на Пироговской. Сразу приняли. При маме немедленно сделали перевязки. Поместили в палату, где я пролежал месяц. Первые дни ноги совсем бездействовали, но к концу месяца я мог стоять и даже сделать несколько шагов. По нынешнему положению уход был очень хороший. Я месяц провел в исключительно хороших условиях, тогда как мама маялась, спасая что можно было спасти из нашего и Нининого «имущества». Ютилась то у Т. Л. Хитрово, то в квартире Веры Николаевны. Наташа, сколько могла, ей во всем усердно помогала. Из носильных и кухонных вещей им удалось существенное спасти... главным образом от расхищения... Главные, единственные наши «ценности» – библиотека – взята на хранение «Библиотекой К. Маркса» (не знаю только в каком виде – много ли попорчено и раскрадено книг), а рояль – соседкой по квартире. Теперь, что дальше делать – разберемся... Положительно скажу, что если я выскочил из беды, то благодаря маме, проявившей необычайную находчивость и неутомимость. Это прямо исключительный человек, и только по ее скромности она в жизни своей ограничилась деятельностью в пределах семьи... 6.XII я был выписан из клиники и на носилках

доставлен в гостеприимную вашу квартиру на Кисловке. Этим эпизод 5.XI / 6.XII оканчивается.

Твой М. Сабашников

№ 15

Письмо С. Я. Сабашниковой Нине Михайловне Артюховой

25 апреля 1942 г. Москва

Милая, дорогая моя Ниночка, хочу написать тебе о 5.XI.41 года без почты. В этот вечер папа вернулся около шести часов из издательства, сказал, что сходит до чая на телефон. Уже темнело, я просила не ходить. Он сказал: «Ведь прихожу же я иногда позже, почему не идти?» И пошел. Я завесила окна, каша была в печке, приготовила все. Он вернулся, я была совсем готова к выходу и сказала, что пойду, как всегда, проверить маскировку во двор. Обычно я смотрела у самой стены нашей комнаты, потом отходила немного, кроме наших смотрела и окна Маруси с Иваном Федоровичем. Оба они очень были славные, и я с ними провела столько тревог и стрельбы на нашем подъезде за все время, особенно с ним! С ним разговаривали о небе, звездах, показывала ему созвездия. «Вот, – говорит, – раньше никогда на небо не смотрели, а теперь все время все смотрят». Я ему говорю, что я и раньше всегда любила на небо смотреть и смотрела на облака и на звезды. Когда я выходила, то проходила вдоль нашего фасада раза 3-4, словом, гуляла. Ну, вот я вышла, прошла по стене раза три, потом подальше, повернулась лицом к монастырю и вдруг... мне что-то не понравилось в воздухе, я бессознательно ускорила шаги и пошла домой. Вошла и говорю папе: «Мне что-то в небе не понравилось, совсем тихо, не стреляют, не засвечивают, но вечер будет тяжелый, как бы чего не случилось! Пока нет тревоги – давай поужинаем». Поставила плитку в нашей комнате и воду (все было уже приготовлено раньше), а папа вышел в уборную помыть руки. Я стояла, не раздеваясь, на своем обычном месте у стола, где я сижу. И вдруг... глухой страшный удар... потом другой... точно бы снизу... Дом, казалось, поднялся, потом спустился, все задрожало, все полетело, окна разбились, все посыпалось, меня засыпало, полная тьма и жуткая тишина... Это было одно мгновение... Я совсем ошалела, жива я или не жива... (Меня выручила верхняя одежда.) Меня всю как-то словно встряхнуло, так, что из-под шапки вылетели гребенки, нашла их на столе на другой день. Стою на ногах, засыпана вся. Папа? Бегу к двери и не могу открыть, завалено... открываю, чтобы в щель пролезть... Передняя завалена вся, кни-

ги, полки, кирпичи... Лезу через все это, дверь входная сама открылась (с замка), слышу стоны отчаянные, крики, плач Жильцовой, вернее вой: «Ребята, ребята!» Стены в передней нет (к Корякиным), потолка нет. Влезаю по кучам к двери уборной... и вижу двор и много людей там... Потолка нет, стены одной и другой нет, стены к кухне нет, груды кирпича... Кричу: «Миша, ты жив?» –«Жив, но я в ванне». – «Да как же ты попал туда?» – «Меня повалило волной поперек ванны, ноги придавлены соседней стеной». Вижу – на дворе было довольно светло – ванна, на ней, в висячем каком-то положении, поперек, папа (он был только в Лёниной пижаме), а над головой у него бачок унитазный, папа засыпан кирпичом, руки торчат, голова видна. Ванна точно бы вынесена кнаружи и вниз (в сущности, она оказалась на боку воронки от взрыва). Хорошо, что я не успела еще налить на ночь воду в ванну! Все, что я сказала тебе сейчас, заняло буквально несколько секунд!.. Из передней через всю уборную кричу во двор: «Помогите, мужчины, здесь живой человек, засыпан, придавило ноги перегородкой, нельзя встать!» Посмотрели, отошли: долго возиться, опасно! А над головой висит верхняя кухня, тоже уже без стены кирпичной (она и засыпала папу). «Помогите!» – кричу опять. Подошли и опять ничего. Подошел наконец Шевчук, мальчик Ясашнов, отец его, и Шевчук организовал работу. Было страшно то, что чуть тронут, станет валиться и совсем засыплет папу. Тут была уже объявлена тревога, но стрельбы не было. Страшно быстро явилась милиция, аварийная бригада, санитарная помощь, карета, носилки, врач, сестры и все, что надо. Сделали распорки над папой и медленно освобождали его... Ему чего-то даже впрыснули от боли... Видя, что дело идет правильно, я начала выносить из комнаты самое необходимое. Теплую одежду, белье папе и пр. Не имея ни малейшего представления о том, в каком виде наша комната, я все время выбирала там самое необходимое ощупью (например, я думала, что печка развалилась, а оказалось, она цела, только вся передняя часть до разделки сдвинулась в мою сторону). Отнесла к Тасе и радовалась, что никого нет, кто бы меня остановил. Вышла к нашим окнам на двор, к бывшей стене, где был папа, принесла ему шубу, накрыть. Милиционер гонит меня, чтобы я шла в убежище в щель, я ему сказала спокойно, но твердо: «Мой муж засыпан, его отрывают, а я буду сидеть в траншее, нет, я буду здесь!» – «Ну постойте на крыльце». Пошла снова в переднюю бывшую. А там кричат: «Уходите, кирпичи кидаем!» – «Ладно, – сказала, – в меня не попадет». И так прошло томительно около двух часов. Сначала думали, что ноги

переломаны, готовили шины и перевязки, носилки. Пошла вода из разорванных труб, на дворе образовалось озеро и подмочило сестру с носилками. Наконец вынесли папу, носилки, карета, и мы уехали в клинику... О болезни папы я написала почтой тебе подробно и не стану повторять. Ночью откопали ребят, один, чуть живой, по дороге умер, другой – мертвый. Жильцова перед этим пришла домой, сказала им, чтобы встали, оделись, они засмеялись ей в ответ, выругались... и она провалилась из своей передней в корякинскую, а они убиты... Дядя Ваня убит, а Маруся, она найдена по частям... Эта Маруся не выходит у меня из головы, – она часто работала на заводе на Усачевке, в ночной смене, при ее уходе или приходе мы часто виделись. Бывало, очень расстроенная, расскажет, как около них ночью «упала», «спустил». «Боюсь я, боюсь, София Яковлевна, убьет меня, ведь мы в тревогу работаем». И все время она боялась, что погибнет там. Ну, а получилось... совсем иначе! Веры Сергеевны у нас не было, она лежала на диване у печки, и ее засыпало кирпичом. Феоктистов вытащил ее в окно. Даже Борис Яковлевич и Ольга Осиповна были дома. Вера Сергеевна пробыла у Таси дня два-три, потом рядом с Бельскими в их квартире, потом уехала к сестре и там умерла. У нее был ушиб сбоку груди. Она после этого совсем «сдала», ведь она была одна. Дехтерев одобрял, что мы не ходили никуда, говорил, что папа не дойдет и ему будет там хуже. Подводя итоги, оказалось: квартира 6-я и 8-я развалились сразу, главное, с нашей стороны. Стена Корякиных осталась, частью даже с окнами. Бомба фугасная, аварийцы оценивают ее в 250 кило, попала у самого окна или под стену Марусиной комнаты, т. е. на расстоянии от папы в ширину уборной и кухни их, значит, около трех метров. Волной папу бросило поперек ванны, и ноги попали между бортом ванны и перегородкой к Корякиным. Разве не чудо?! Так как под домом пустота, то волна пошла к нам под уборную, под переднюю, под первые ступеньки сеней, под вашу стену, выперло несколько досок пола у вас в длину всей комнаты, подняла мраморный стол, и он разлетелся в куски. У нас развалилась уборная, дымоходная стена (к кухне), весь кирпич завалился в кухню, на плиту и пол, а сверху на папу. Моя стена дрогнула, и волна отодвинула шкаф книжный на пол-аршина от стены. Книги с американских полок полетели через всю комнату к папиной стене. Если бы папа сидел на своем месте – его могли бы ушибить полки, стекла, книги. Если бы я стояла в кухне, у плиты с керосинками, меня завалило бы стеной кирпичной, сразу, совершенно. За неделю перед этим я стала готовить на плитке у себя в комнате! Если бы была сначала тревога, мы сиде-

ли бы у двери уборной и... были бы совсем засыпаны. Говорят рабочие, что папу спасла ванна, удержала напор кирпичей. Меня спасло то, что не было керосина... На дворе, радиально, трещины в мерзлой земле. А котельная яслей превращена в груду развалин, большими глыбами, от которых уже живыми не уйти... Вот еще соображение рабочих: если бы был у нас грунт городской, а не насыпной, если бы наши дома были не такие, как есть, а настоящие, то полетели бы все. Спас нас мягкий грунт! Когда меня потом спрашивали: «Испугались ли вы?» – Я по совести говорю: «Нет, не успела, это было одно мгновение, испугаться было некогда!» Так оно и было! Страшный, глухой удар, внутри тебя точно все лопается от напряжения, потом – мертвая тишина, сознание, вернее, ощущение, что стоишь живая, вот и все! Одно мгновение, но описать его нельзя, оно понятно только тому, кто чувствовал его всем своим существом. И теперь, через полгода, – все это кажется гораздо страшнее, когда понимаешь головой, что это было и что могло быть! Живя в наших бараках, у меня был план на случай аварии, и мой опыт показал, что план был правильный и полезный. Приготовлено было в сетке самое важное, документы, паспорта при себе, мешки папе и мне с бельем. Все на постели, под рукой. В тревогу мы одевались, были наготове и пр. Поэтому я могла, не смотря, брать нужные предметы. Комната одна, выход простой, при пожаре – в окно. А теперь, здесь, я ничего не смогу сделать. Приходится сидеть на месте и ждать случайности, вынести ничего не удастся, папа идти не сможет, даже в здоровом состоянии, как сейчас, когда он ходит, а не лежит. Да с третьего этажа и не успеешь уйти! Остается набраться спокойствия и ждать своей судьбы, а так как я уже привыкла за почти год войны к какой-то активности в такие времена, то чувствую себя как-то без почвы. Усталость и слабость у нас с папой предельные. Сейчас, конечно, трудно с продуктами. По карточкам было бы ничего, если бы получать аккуратно, например, за март получили в конце апреля, теперь начнут за апрель. Будет ли за май, неизвестно. Масла и сахара очень мало, а купить совсем нельзя. И нет и недоступно. За картошкой ездят в Загорск. Получали кое-что из издательства. Утром бурда кофейная с хлебом только, обед – суп без жира из крупы или картошки, что есть. Второго нет, муки – нет. Вечером – каша или картошка (с горчицей). Или кисель из муки. Пробовали делать галушки из ржаной муки. Делим на порции всем. Этого мало, если бы был хоть какой-нибудь жир! Одежда прямо сваливается. На костях можно изучать вполне анатомию, даже через платье и пр. Нужны витамины, их давно нет. Мускулы

куда-то исчезли совсем, остался мешок с костями. Сидеть, лежать больно от них. Но это все бы ничего, если бы хоть сколько-нибудь можно было отдохнуть от всего и не ждать каждую минуту могущего быть конца, не сознательно ждать, а чувствовать, что загадывать нельзя даже на завтра, на сегодня в ночь. Жизнь – день за ночью, ночь – за днем, ни о чем не думается, ни о чем не стараешься, какое-то полусонное состояние. Ведь ночи не досыпаешь все время.

№ 16

Письмо М. В. Сабашникова Нине Михайловне Артюховой

5 декабря 1942 г. Москва

Милая Нина! Я устраивался в нашей тесноте писать тебе с ожидаемой оказией, как с почты пришло твое письмо из Мурома от 20.XI. Нельзя сказать, чтобы твое скоро дошло, но все-таки дошло, и то хорошо! Все что ты пишешь о Мише, вполне справедливо, но такова судьба, как видно. Наше поколение хлопотало о доступности образования, а детям и внукам оно приходится трудно достигаемым. Мы были антимилитаристы и за свой пацифизм расплачиваемся небывалыми войнами... Такие сопоставления можно еще подобрать... Но толка в этом не будет. Я хотел, когда садился за стол, писать о вашей квартире и о ваших вещах. Итак: корпус IV на Лужнецком не существует. Даже Лукины выселены и, кстати сказать, получили новую квартиру на Усачевке. Но только они одни. По-видимому, благодаря Юре. Об остальных жильцах – пострадавших непосредственно от бомбы, а также выселенных после взрыва, составлен акт на предмет предоставления им жилплощади. Но пока никакого движения по этому делу не было. Временно бывшие обитатели IV корпуса размещены в пустующих квартирах лиц эвакуированных. Последние далеко не все и не в полном составе вернутся. Кто обоснуется на новом месте, кто переменит службу в Москве, кто выбудет из строя, не требуя жилплощади больше. Относительно эвакуированных порядки будут строги, и они будут выполняться на практике жестко. В борьбе за разгрузку Москвы прежде всего, конечно, естественно налечь на недопущение вселения в город, что уже и проводится на практике. Если вдуматься, ничего другого и выдумать нельзя. Иждивенцев, например, пропускать не будут, и тех, кто приедет, не будут прописывать. Конечно, для нужных людей будут делаться исключения. Георгий Несторович или Борис Максимович жен и детей устроят. Говорят даже об аннулировании броней, данных

на квартиры лиц командированных. Так, например, квартира Веры Николаевны может оказаться под угрозой. До сих пор дополнительным обеспечением служили прописка в этой квартире Наташи и ваши и наши вещи, сложенные в ней после взрыва (с ведома домоуправления). Между тем и для Гриши, и для тебя по роду ваших занятий важно жить в Москве или под Москвой.*

* На этом текст письма обрывается.

Примечания

Глава I

[1] *...доверенным Российско-Американской компании...* – Российско-Американская компания была учреждена в 1799 г. как торговое объединение для освоения и эксплуатации русских владений в Северной Америке (Аляска, часть Сев. Калифорнии, Алеутские острова), открытых в XVII – XVIII вв. русскими путешественниками. Ликвидирована в 1868 г. в связи с продажей этих владений США.

[2] *Кяхта* – слобода г. Троицкосавска, возникшая в 1728 г. как центр русской торговли с Китаем. В 1934 г. слилась с Троицкосавском и ныне является районным центром Бурятии.

[3] *Образование она получила в Петербурге, в Институте.* – Институты благородных девиц – сословные закрытые общеобразовательные учебно-воспитательные заведения для девочек. Первый институт был учрежден в С.-Петербурге в 1764 г. при Смольном женском монастыре и назывался вначале «Воспитательное общество благородных девиц», затем «Смольный институт». Закрыты в 1918 г.

[4] *...так называемые «ассигновки»...* – До революции в России государственные учреждения, распоряжавшиеся кредитами, не имели наличных денег, а производили все платежи через Главное или губернские и уездные казначейства. Документ, служивший основанием для получения в казначействе полагающихся денежных сумм, назывался ассигновкой. В данном случае речь идет об особой горной ассигновке, которая выдавалась государственной золотосплавочной палаткой (лабораторией) за доставленное золото.

[5] *...о людях 20-го числа.* – Ироническое наименование чиновников, состоявших на государственной службе и получавших жалование 20-го числа каждого месяца.

[6] *...в том числе декабристы.* – Из декабристов, находившихся на поселении в Забайкалье в 1840 – 50-х гг., ближе всего к Кяхте жили: К. П. Торнсон, Н. А. и М. А. Бестужевы – в Селенгинске, И. И. Горбачевский – на Петровском заводе. Родители М. В. Сабашникова были особенно близки с братьями Бестужевыми. В их доме одно время жила дочь М. А. Бестужева Елена.

[7] *«Московские ведомости»* – одна из старейших русских газет (1756 – 1917), с 1859 г. – ежедневная. В 1779 – 1789 гг. редактировалась Н. И. Новиковым; в 1840-х – Е. Ф. Коршем; в 1851 – 1855, 1863 – 1887 гг. – М. Н. Катковым.

[8] *...альбом гоголевских типов Боклевского.* – Боклевский Петр Михайлович (1816 – 1897) – русский график, автор сатирических альбомов литографий и рисунков к произведениям Н. В. Гоголя, А. Н. Островского и др.

[9] *...мимо Кутузовской избы...* – В избе крестьянина Андрея Фролова в деревне Фили 1 сентября 1812 г. состоялся военный совет под руководством М. И. Кутузова, на котором было принято решение оставить Москву неприятелю без боя. Изба существовала как исторический памятник. В 1868 г. она сгорела и в 1887 г. была восстановлена на частные пожертвования и превращена в музей.

[10] *Храм Христа Спасителя* построен в честь победы в Отечественной войне 1812 г. по проекту архитектора А. К. Тона. Заложен в 1839 г., освящен в 1882 г., взорван по приказу Сталина в 1931 г. Заново отстроен на прежнем месте в 1995 – 2000 гг.

[11] *...о падении Плевны.* – Во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. шли упорные бои за г. Плевну; 28 ноября (10 декабря) 1877 г. турецкие войска сдались осаждавшей город русской армии.

[12] *Передвижные выставки...* – В 1870 г. группа русских художников во главе с И. Н. Крамским вышла из Академии художеств и организовала «Товарищество передвижных художественных выставок».

[13] *В русско-турецкой войне 1877 – 78 гг.* – Россия поддержала национально-освободительное движение на Балканах. Война завершилась Сан-Стефанским мирным договором 1878 г.

[14] *Иверская икона Божьей матери* была одной из самых почитаемых в Москве святынь. Она находилась в часовне, построенной в 90-е гг. XVIII в. при Воскресенских воротах Китай-города. Часовня была уничтожена в 1930 г. Воскресенские ворота и часовня были восстановлены в 1995 г.

[15] *...положенным на музыку Мусоргским...* – Речь идет о вокальном цикле М. П. Мусоргского «Детская» (1872).

[16] *Вдовьи дома* существовали с 1803 г. для призрения престарелых, увечных, неимущих вдов государственных чиновников. Московский вдовий дом помещался на Садово-Кудринской в здании, построенном И. Д. Жилярди и реставрированном Д. И. Жилярди.

[17] *...сорок сороков церквей.* – Соро́к – древнерусская единица счета, равная сорока. В конце XIX в. в Москве насчитывалось около 600 церквей.

[18] *Воскресший Лазарь и эммаусские путники...* – Согласно Евангелию Иисус Христос воскресил умершего Лазаря, брата Марфы и Марии, в доме которых он останавливался. Эммаусские путники – двое, шедшие на третий день после распятия Иисуса Христа в Эммаус (неподалеку от Иерусалима). По дороге они встретили странника, вместе с которым пришли в селение. Только во время трапезы, когда тот преломил хлеб и подал им, они узнали Иисуса Христа, но он стал невидим. (Лука, 24. 13 – 32).

[19] *Ровинский Дмитрий Александрович* (1824 – 1895) – государственный и общественный деятель России, один из разработчиков судебной реформы 1864 г., историк искусства, автор исследований: «Русские народные картинки» (СПб., 1881 – 1893, т. 1 – 5); «Подробный словарь русских граверов XVI – XIX вв.» (СПб., 1892, т. I – 2) и др.

Глава 2

[1] *...на Женские курсы в Политехнический музей.* – Первые «Публичные курсы для женщин по программе мужских классических гимназий» («Лу-

бянские») были открыты в Москве в октябре 1869 г. в здании 2-й мужской гимназии на Лубянке. В 1872 г. при энергичном участии проф. В. И. Герье и Л. А. Шанявской были образованы Высшие женские курсы, ставившие целью дать женщинам высшее образование, доступ к которому в России им был закрыт. Курсы Герье имели историко-филологическое направление, срок обучения составлял вначале два, а с 1879 г. – три года; уровень преподавания соответствовал университетскому. В 1887 г. курсы были закрыты и возобновили свою деятельность в 1900 г. Политехнический музей был образован в 1872 г. из коллекций Политехнической выставки, устроенной Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии в честь двухсотлетия со дня рождения Петра I. Здание музея выстроено по проекту архитектора Монигетти.

[2] *...уполномоченный... Красного Креста...* – Российское общество Красного Креста – благотворительная организация помощи больным и раненым воинам – зарегистрировано в 1867 г.

[3] *...занимавший по выборам должность мирового судьи в Петербурге.* – По судебной реформе 1864 г. в России были введены две системы судебных учреждений: суды с назначаемыми судьями – окружные суды и судебные палаты, и суды с избираемыми судьями – мировые судьи и съезды мировых судей. Крупный город или город с уездом представлял собой мировой округ, в котором находились один мировой судья и один почетный. Мировые судьи избирались на три года органами городского и земского самоуправления из лиц, имевших определенный возрастной, образовательный, имущественный и служебный ценз. Имущественный ценз мирового судьи предполагал наличие недвижимой собственности, оцененной не менее чем в 15 тыс. руб.

[4] *Московский воспитательный дом* – приют для незаконнорожденных детей и детей бедняков был построен в 1764 – 1770-го на берегу Москвы-реки (между Китайским и Устьинским мостами) архитекторами К. И. Бланком и М. Ф. Казаковым. С 1938 г. в здании размещается Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского.

[5] *Но Лессепс со своим Суэцким каналом...* – Фердинанд Лессепс (1805 – 1894) – французский дипломат, инженер и предприниматель, был инициатором и руководителем строительства Суэцкого канала (1859 – 1869), открытого в 1869 г.

[6] *...Крымской компании.* – Крымская (Восточная) война 1853 – 1856 гг. была первоначально русско-турецкой. С февраля 1854 г. на стороне Турции выступили Великобритания и Франция, а с 1855 г. – Сардинское королевство. Окончилась поражением России и Парижским мирным договором 1856 г.

[7] *...о поджоге с целью сокрытия компрометирующих великого князя документов.* – Толки о поджоге дворца в Ореанде с целью сокрытия компрометирующих вел. князя Константина Николаевича документов не имели реальных оснований.

[8] *...со светлейшей княгиней Юрьевской.* – Титул кн. Юрьевской в декабре 1880 г. был присвоен Екатерине Михайловне Долгоруковой (1846 – 1920), состоявшей в морганатическом браке с вдовым Александром II.

[9] *Последняя любовь поэта (Тютчева) ...* – Подразумеваются близкие отношения Ф. И. Тютчева с Еленой Александровной Денисьевой (1826 – 1864), длившиеся 14 лет, вплоть до ее смерти. Роман этот нашел отражение в любовной лирике поэта («денисьевский цикл») и в книге Г. И. Чулкова «Последняя любовь Тютчева» (М., 1928), опубликованной М. В. Сабашниковым в своем издательстве

[10] *Грозный Исполнительный комитет разгромлен.* – I марта 1881 г. император Александр II был убит группой террористов, принадлежавших к террористической революционной организации «Народная воля». Арестованные убийцы (А. И. Желябов, С. Л. Перовская, А. Д. Михайлов и др.) входили в Исполнительный комитет, возглавлявший «Народную волю». Они были осуждены и казнены.

[11] *...получившем название манифеста о сохранении самодержавия...* – Речь идет о манифесте 29 апреля 1881 г., написанном К. П. Победоносцевым.

[12] *...польскому восстанию.* – Речь идет о восстании 1863 – 1864 гг. в Царстве Польском, Литве, части Белоруссии и Правобережной Украине. Часть демократически настроенного общества в России, А. И. Герцен за границей сочувствовали восставшим.

[13] *Петровский дворец* – построен в 1775 – 1782 гг. архитектором М. Ф. Казаковым. Ныне Дом приемов правительства Москвы.

[14] *...первыми основателями монастыря преподобными Антонием и Феодосием Печерскими, жизнь и деяния которых описаны в Киевском патерике и Летописи.* – Антоний (983 – 1073) – первый игумен Киево-Печерского монастыря, Феодосий Печерский (? – 1074) – игумен этого монастыря, канонизированы русской православной церковью. Житие Феодосия, написанное Нестором в 80-х годах XI в., вошло в Киево-Печерский патерик – сборник житий монахов Киево-Печерского монастыря, составленный в XIII – XV вв. Патерик – книга об отцах церкви (от греч. Paterikon, от Pater – отец).

[15] *...под начальством Дубасова участвовал в атаке на Дунае турецкого монитора...* – Федор Васильевич Дубасов (1845 – 1912) – русский адмирал, в начале русско-турецкой войны 1877 г. командовал отрядом мелких судов и ставил минные заграждения на реках Дунае и Сереже. Л. Л. Рохлин в своей книге «Жизнь и творчество выдающегося русского психиатра В. Х. Кандинского (1849 – 1889)» (М., 1975), комментируя это место воспоминаний, заметил, что М. В. Сабашникова подвела память и он перенес события русско-турецкой войны 1829 г. на 1877 г. Однако на самом деле здесь нет ошибки: в 1829 г. турецкий монитор был потоплен Василием Александровичем Дубасовым, а в 1877 г. такой же подвиг совершил Дубасов-сын. 14 мая 1877 г. он вместе с лейтенантом Шестаковым взорвал и потопил турецкий броненосный монитор «Сейфи». Неточность М. В. Сабашникова в другом: В. Х. Кандинский служил младшим судовым врачом на пароходе «Великий князь Константин» не под начальством Ф. В. Дубасова, а под командованием С. О. Макарова и участвовал в сражении на батумском рейде в ночь с 30 апреля на I мая 1877 г.

[16] *Труд его о псевдогаллюцинациях был переведен на немецкий язык.* – Монография В. Х. Кандинского «О псевдогаллюцинациях» на русском языке была опубликована после его смерти (СПб., 1890) и переиздана в 1952 г. Первоначально, в 1885 г. вышло немецкое издание: Kritische und klinische

Betrachtungen im Gebiete der Sinnestauschungen. Erste und zweite Studie (Berlin 1885).

[17] *«Русские ведомости»* – одна из крупнейших русских газет, выходила в Москве с 1863 г. по март 1918 г. А. И. Чупрова ввел в газету проф. А. С. Посников, известный экономист, редактор «Русских ведомостей» в 1886 – 1896 гг. В 1908 г. А. И. Чупров вошел в Товарищество по изданию этой газеты и был одним из 11 его учредителей. М. В. Сабашников вошел в Товарищество в 1912 г. См. также примеч. 10 к гл. 8.

[18] *Кавелин Константин Дмитриевич* (1818 – 1885) – историк, проф. Московского и Петербургского университетов, общественный деятель, автор одного из проектов крестьянской реформы 1861 г.

[19] *Пахман Семен Викентьевич* (1825 – 1910) – русский юрист-цивилист, проф. Казанского, Петербургского и Харьковского университетов. Возможно, речь идет о рецензии К. Д. Кавелина на книгу С. В. Пахмана «Обычное гражданское право в России. Юридические очерки». Кн. 2. М., 1879.

[20] *Гейер (Geijer) Эрик Густав* (1783 – 1847) – шведский историк, поэт, композитор, глава шведских романтиков, автор «Истории шведского народа» (1832 – 1836).

[21] *В октябрьской книжке «Вестника Европы» прочтите мою заметку о представительстве...* – «Вестник Европы» – ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в С.-Петербурге в 1866 – 1918 гг. В октябрьской книжке «Вестника Европы» за 1880 г. никакой заметки К. Д. Кавелина нет. В сентябрьской и октябрьской книжках за 1881 г. опубликована его заметка «Крестьянский вопрос».

[22] *Б. Н. Чичерин... называет его социалистом...* – Б. Н. Чичерин в своих воспоминаниях пишет: «Чупров в личных отношениях был также очень приятен; социал-демократ в душе, он не высказывал своих убеждений и держал себя крайне осторожно; в статистике он был сведущ и основателен, умел хорошо говорить, хотя в других отношениях образование его было весьма скудное» (Б. Н. Чичерин. Воспоминания. В 2-х тт. М., «Издательство им. Сабашниковых», 2010).

[23] *Первая Всероссийская выставка* открылась в Москве в 1882 г.

[24] *...толстовец...* – Толстовство – общественное движение, возникшее в России в 1880-х гг. под влиянием религиозно-философского учения Л. Н. Толстого. Толстовцы предлагали путь религиозно-морального совершенствования, личного производительного труда, сближения с народом. С этой целью они основывали общины, артели, колонии (в Тверской, Симбирской, Харьковской губерниях, в Кавказском крае). В 1897 г. толстовство было объявлено вредной сектой, а Л. Н. Толстой в 1901 г. был отлучен от церкви.

[25] *...архиереем и предводителем.* – Архиерей – или епископ, – в православной церкви лицо, принадлежащее к высшему чину священнослужителей; управляет епархией (церковно-административным округом). Предводитель дворянства (губернский и уездный) – выборная высшая должность в сословных органах местного самоуправления. Избирался на три года тайным голосованием в дворянском собрании дворянами-землевладельцами губернии и уезда (старше 25 лет).

[26] *Открытие в Москве памятника А. С. Пушкину* (работы скульптора А. М. Опекушина) состоялось в 1880 г.

[27] *Скопцы* – религиозная секта, возникшая в России в конце XVIII в. Основателем ее считается Кондратий Селиванов. В основе вероучения скопцов лежит утверждение, что спасение души возможно только через борьбу с плотью путем оскопления (кастрации).

[28] *...выведен Лесковым в его пародии на Иоанна Кронштадского.* – В журнале «Вестник Европы» (книги 11 и 12 за 1891 г.) была опубликована повесть Н. С. Лескова «Полунощники», которая многими была воспринята как пасквиль или пародия на протоиерея Андреевского собора о. Иоанна Кронштадского (в миру Иван Ильич Сергиев (1829 – 1908).

[29] *«Северный вестник»* – ежемесячный литературный, научный и политический журнал, выходил в С.-Петербурге в 1885 – 1898 гг. В 1885 – 1890 гг. его издателем была А. В. Сабашникова (в замуж. Евреинова).

[30] *«Отечественные записки»* – ежемесячный журнал, издавался в С.-Петербурге в 1839 – 1884 гг. сначала А. А. Краевским, затем Н. А. Некрасовым.

[31] *Добровольный флот* создан в 1878 г. в связи с русско-турецкой войной на частные пожертвования. Три первых океанских парохода «Россия», «Москва» и «Петербург» были куплены у акционерной кампании в Гамбурге и переданы военному флоту, а после Комитету для устроения Добровольного флота, который использовал их для перевозки русских войск из Турции на родину. В 1886 г. Добровольный флот был передан морскому ведомству и служил для срочного и почтового товаро-пассажирского сообщения между Одессой и портами Дальнего Востока.

Глава 3

[1] *...натирал картуз гильз табаком...* – Картуз (от голл. kardoes) – бумажный пакет для сыпучих веществ. Курильщики покупали табак («картуз табаку») и гильзы (бумажные патроны папиросы) и сами их набивали. Листовой табак сначала растирали в мелкую крошку.

[2] *...в начале Великой войны...* – Речь идет о I мировой войне 1914 – 1918 гг. между двумя коалициями государств – германо-австрийским блоком и Антантой (союзом Англии, Франции и России); на стороне первого выступали также Турция и Болгария, на стороне Антанты – Япония, Италия, США и Румыния. Несмотря на поражение Румынии и выход России из войны (Брестский мир), Антанта одержала победу. Война закончилась Версальским мирным договором 1919 г.

[3] *...Караваев впоследствии был избран членом I Государственной Думы, участвовал во фракции трудовиков и после роспуска I Гос. Думы был убит в Екатеринославе членом «Союза русского народа».* – Александр Львович Караваев (1855 – 1908) – земский врач, политический деятель. В 1897 г. был выслан из Петербурга, после чего работал в Суткове в больнице, устроенной Е. В. Барановской. В отношении Гос. Думы – неточность: А. Л. Караваев был избран в 1907 г. в г. Екатеринославе во II Гос. Думу, где был одним из лидеров фракции трудовиков. После роспуска II Гос. Думы вернулся в Екатеринослав и работал врачом. 4 марта 1908 г. он был застрелен двумя неизвест-

ными. В III Гос. Думе был подан запрос 33-х депутатов о причастности к убийству А. Л. Караваева Екатеринославского отдела «Союза русского народа» и некоторых депутатов Гос. Думы. Государственная Дума – высший представительный орган власти с законосовещательными и ограниченными законодательными правами. Действовала на основании рескрипта 3 февраля, «Учреждения Государственной Думы» 6 августа и манифеста 17 октября 1905 г. Всего с 1906 по 1917 гг. было 4 созыва Гос. Думы. Трудовики – «трудовая группа» (фракция) депутатов крестьян и народнической интеллигенции в Государственной Думе. В июле 1917 г. слились с народными социалистами. «Союз русского народа» – черносотенная, националистическая и монархическая организация (1905 – 1917).

[4] *Школы грамоты* – частные или ведомственные начальные школы элементарного обучения. В XIX в. – одно-и двухгодичные. В 1891 г. переданы Синоду на правах церковно-приходских школ.

[5] *...в западных губерниях тогда земства не было...* – Земства – всесословные выборные представительные органы местного самоуправления (губернские и уездные земские собрания и земские управы). Ведали вопросами административно-хозяйственного характера: устройством школ, больниц, строительством дорог, пропагандой агрономических знаний, организацией статистики и проч. На эти мероприятия земские органы имели право устанавливать местные денежные сборы. Земства стали центрами «кристаллизации» местной интеллигенции и скоро составили серьезную оппозицию правительству. По земской реформе 1864 г. земские органы местного самоуправления вводились в 43 губерниях центральной России. В 1910 г. П. А. Столыпин временно распустил Государственный Совет и Государственную Думу, чтобы на основании ст. 87 «Основных законов» обнародовать правительственный указ о введении земского самоуправления в 9 западных губерниях.

[6] *Церковно-приходские школы* – начальные школы при церковных приходах. С 1884 г. пришли на смену приходским училищам. Срок обучения в них составлял 2 года (в некоторых – 4), с начала XX в. – 4 года (в некоторых – 5 лет). Находились в ведении Синода.

[7] *...комитеты грамотности, кружок Алчевской...* – Комитеты грамотности – С.-Петербургский при Вольном экономическом обществе (с 1861-го) и Московский при Московском обществе сельского хозяйства (с 1859-го) – частные учреждения, ставившие целью содействие начальному народному образованию. Работали в контакте с земствами и привлекли лучшие интеллигентные силы в столицах и провинции (Л. Н. Толстой, А. И. Чупров, И. И. Петрункевич, Д. И. Шаховской и др.). Устраивали педагогические курсы для народных учителей, издавали дешевые книги для народа, учебные пособия и проч. В 1890 г. деятельность Московского комитета вызвала резкое недовольство правительства. Положением 17 ноября 1895 г. сначала С.-Петербургский, а затем и Московский комитеты были переданы в ведение Министерства народного просвещения, после чего 600 членов комитетов вышли из их состава.

Алчевская Христина Даниловна (1841 – 1920) – украинский педагог, организатор воскресных школ. В своем кружке в Харькове преподавала методику обучения грамоте взрослых.

[8] *...против Каткова и Леонтьева, ополчившихся на скромную автономию, предоставленную университетам уставом 1863 года.* – Автономия российских университетов (выборность ректора и профессуры, самостоятельность в решении научных, учебных, административно-хозяйственных вопросов, университетский суд и проч.), восстановленная университетским уставом 1863 г., была отменена в 1884 г. Новый устав 1884 г. подчинил университеты Министерству народного просвещения и усилил власть попечителя учебного округа. *Катков Михаил Никифорович* (1818 – 1887) – русский публицист, издатель журнала «Русский вестник» (с 1856) и газ. «Московские ведомости» (1851 – 1855, 1863 – 1887), с начала 1860-х гг. занял крайне реакционную позицию и был одним из инициаторов контрреформ. *Леонтьев Павел Михайлович* (1822 – 1874) – проф. греческой словесности Московского университета, журналист, сотрудничавший в катковских изданиях, вызывал острое недовольство студентов и прогрессивных преподавателей Университета.

[9] *...с братьями Долгоруковыми...* – Долгоруков Павел Дмитриевич (1866 – 1927) – князь, земский деятель, один из основателей «Союза Освобождения» и Конституционно-демократической партии. Долгоруков Петр Дмитриевич (1866 – 1951 г.) – князь, председатель Суджанской земской управы (Курской губ.). За активное участие в земском движении был отстранен от должности. Во время «весны» Святополк-Мирского вернулся к активной деятельности, был одним из лидеров «Союза земцев-конституционалистов», «Союза Освобождения»; членом ЦК кадетской партии; в 1906 г. – товарищ председателя I Государственной Думы. После 1917 г. жил в эмиграции, в 1945 г. арестован в Праге, умер во Владимирской тюрьме.

[10] *Земская управа* – (губернская и уездная) – исполнительный орган земского самоуправления, состояла из председателя и 2-3 членов, избираемых гласными на земском собрании сроком на три года.

[11] *Я издавал брошюру П. П. Перцова о Щукинском собрании новой французской живописи...* – Речь идет о книге: П. П. Перцов. Щукинское собрание французской живописи. Музей новой западной живописи. М., Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1921 (На обл.: 1922). Музей новой западной живописи (*Щукинский музей)* был создан в 1918 г. на основе национализированного собрания С. И. Щукина. В 1948 г. фонды музея были распределены между московским Музеем изобразительных искусств и ленинградским Эрмитажем.

Щукин Сергей Иванович (1854 – 1936), принадлежавший к известному московскому купеческому роду, собрал уникальную коллекцию произведений французских художников конца XIX – нач. XX в.

[12] *...Морозовскую галерею на Пречистенке...* – Картинная галерея, собранная Иваном Абрамовичем Морозовым (1871 – 1921), московским промышленником и коллекционером, не уступала щукинскому собранию. В декабре 1918 г. это национализированное собрание стало вторым Музеем новой западной живописи.

[13] *...страховым обществом...* – В дореволюционной России не было государственного страхования, но существовали акционерные страховые общества. К 1917 г. их насчитывалось более 20 («Россия», «Саламандра», «Якорь» и др.). Они имели собственные здания. В 1918 г. страховые общества были ликвидированы и введено государственное страхование.

[14] *Университетский праздник Татьянин день* отмечался 12 января (25 по н. ст.) в память основания Московского университета 12 января 1755 г., в день св. Татьяны.

[15] *День освобождения крестьян* отмечался 19 февраля в память отмены в России крепостного права манифестом 19 февраля 1861 г.

[16] *...в духе маркиза Позы.* – Маркиз Поза – герой трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос», «гражданин вселенной», общественный преобразователь.

[17] *...«Утро помещика», изображенное Л. Н. Толстым...* – Повесть Л. Н. Толстого «Утро помещика» впервые опубликована в журнале «Отечественные записки», 1856, № 12. Герой ее, Нехлюдов, терпит поражение, пытаясь улучшить быт своих крестьян в условиях крепостничества.

[18] *Разгром 1871 изжит.* – Речь идет о франко-прусской войне 1870 – 1871 гг., закончившейся поражением Франции. По Франкфуртскому мирному договору 1871 г. на Францию была наложена контрибуция, две провинции – Эльзас и Лотарингия отошли к Германии.

[19] *...округ...* – Имеется в виду учебный округ. В 1803 г. были образованы 6 учебных округов с центрами в университетских городах. Во главе округа стоял попечитель, под надзором которого находились все учебные заведения округа.

[20] *В одном из его номеров появилась повесть Лескова «Полуношники»...* – См. примеч. 28 к гл. 2.

[21] *...книгу Аристотеля о государственном устройстве...* – Речь идет о «Политике» Аристотеля, возможно, в издании Зуземиля: Aristoteles' Politik. T. 2. Ggriechisch und Deutch hrsg. von Dr. F. Susemihl. Leipzig, 1879.

[22] *...цитаты из «Домостроя» попа Сильвестра...* – «Домострой» – памятник русской литературы XVI в., содержащий свод правил поведения по отношению к властям, церкви, семье и слугам. В семейных отношениях «Домострой» утверждал деспотическую власть мужа. Автором «Домостроя» (по другой версии, – редактором и автором последней главы) считают новгородского священника Сильвестра, который в 1540-х годах служил в Благовещенском соборе московского Кремля, после 1547 г. был приближен к Ивану Грозному и некоторое время был одним из руководителей Избранной рады.

[23] *...издание, встреченное научным и литературным миром с величайшим одобрением.* – Речь идет о факсимильном издании рукописи Леонардо да Винчи «Кодекс о полете птиц», которое Ф. В. Сабашников вместе с Д. Пиуматти и К. Равессоном-Молльеном выпустил в 1893 г. Оригинал рукописи, приобретенный на аукционе, Сабашников подарил итальянской Королевской библиотеке, а один из 300 нумерованных экземпляров издания – городу Винчи, родине великого ученого. 30 мая 1894 г. муниципальный совет г. Винчи избрал Ф. В. Сабашникова почетным гражданином города. В 1900 г. Ф. В. Сабашников опубликовал еще одну рукопись Леонардо да Винчи – «Трактат об анатомии».

Глава 4

[1] *...если бы не покинул профессорской деятельности ради административной.* – Николай Павлович Боголепов (1846 – 1901), профессор Московского

университета, в 1898 г. был назначен министром народного просвещения и своей реакционной политикой в отношении студенчества (при нем был принят указ о сдаче студентов в солдаты) вызвал острое недовольство. В 1901 г. был смертельно ранен П. В. Карповичем.

[2] *...давая этим начало Музею изящных искусств еще задолго до его учреждения.* – Иван Владимирович Цветаев (1847 – 1913) – профессор Московского университета, возглавлявший кафедру изящных искусств, задумал в начале 1890-х гг. создать при Университете музей искусств, который вначале представлял себе как собрание слепков греческой и римской скульптуры. Постепенно замысел вырос в проект большого городского общедоступного музея изящных искусств, включающего также памятники зодчества и живописи. Церемония закладки музея прошла 17 августа 1898 г., открыт он был 31 августа 1912 г. и носил имя Александра III. Построен на частные пожертвования.

[3] *...найдены были на Яве останки питекантропа.* – Питекантропы – древнейшие ископаемые люди, создатели культуры раннего палеолита. Первая находка останков питекантропа была сделана в 1891 г. на о. Ява голландским антропологом Эженом Дюбуа (1858 – 1940).

[4] *...правительство устранило его от чтения лекций...* – Павел Николаевич Милюков (1859 – 1943) – историк, политический деятель, один из организаторов и лидеров Конституционно-демократической партии; редактор газеты «Речь»; министр иностранных дел Временного правительства первого созыва (март – апрель 1917-го). П. Н. Милюков имел в Московском университете только факультативные курсы, но выступал с публичными лекциями. После выступления в Нижнем Новгороде зимой 1895 г. он был уволен из Университета с запрещением заниматься лекционной деятельностью вообще.

[5] *...знаменитой речи Дюбуа-Реймона.* – Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон (Du Bois-Reymond) (1818 – 1896) – немецкий физиолог и философ, основоположник электрофизиологии. Помимо научных трудов, широкую известность получили его речи, собрание которых было издано в 1885 – 1887 гг. Особое внимание привлекли: «Üeber die Grenzen des Naturerkennens» (Leipzig, 1872; 8-е изд. 1898) и «Die sieben Weltratsel» (там же, 1882, 1898).

[6] *Шелапутин умер еще студентом, и в память о нем отец его основал гимназию и педагогический институт его имени.* – Однокурсником М. В. Сабашникова был Григорий Павлович Шелапутин. Его отец Павел Григорьевич Шелапутин (1847 – 1914) был одним из владельцев крупнейшей Балашинской мануфактуры. В 1901 г. он выстроил гимназию с интернатом им. Г. Шелапутина, а около 1910 г. Педагогический институт его имени (существовал до 1918 г.). П. Г. Шелапутиным были построены также Гинекологический институт им. А. Шелапутиной, три ремесленных и реальное училища, дом призрения, богадельня, дом дешевых квартир, больницы для рабочих, им была арендована земля для постройки университетской обсерватории, подарена земля для двухклассного училища в Филях, пожертвованы значительные средства на зал в Музее изящных искусств. За свою благотворительную деятельность П. Г. Шелапутин был пожалован в 1911 г. чином действительного статского советника и возведен в потомственное дворянство.

[7] *...отлучение Толстого, убийство великого князя, посещение великой княгиней Каляева в тюрьме, памятник на бульваре Тимирязеву!* – Определение Св. Синода об отлучении Л. И. Толстого от церкви состоялось 22 февраля 1901 г. Великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, был убит 4 февраля 1905 г. террористом-эсером И. П. Каляевым. Убийцу, приговоренного к повешению, посетила в тюрьме великая княгиня Елизавета Федоровна и простила ему его преступление. Елизавета Федоровна, сестра императрицы Александры Федоровны, постриглась в монахини и основала Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия. В августе 1918 г. была зверски убита в Алапаевске вместе с инокиней Варварой и членами семьи Романовых. Памятник К. А. Тимирязеву работы С. Д. Меркурова (1881 – 1952) установлен в 1923 г. в Москве на Тверском бульваре у Никитских ворот.

[8] ...по рецензиям в специальной прессе. – В рецензии на 6-е издание книги П. Ф. Маевского «Флора Средней России» под ред. Б. А. Федченко в Сельхозгизе В. В. Алехин писал: «Флора Маевского» уже давно пользуется особой любовью русских флористов, и потому, естественно, каждое новое издание всегда вызывает большой интерес». Разбирая далее многочисленные недостатки 6-го издания, рецензент заключает: «Все сказанное является тем более печальным, что книга Маевского должна быть основанием к познанию флоры «Средней России» и, нужно сказать, была таковой до сих пор. Ей можно было безусловно верить. К сожалению, 6-му изданию во многом доверяться нельзя... Мне уже приходилось слышать от краеведов, что лучше пользоваться старым изданием». («Советская ботаника», 1933, № 2, с. 123.)

[9] *...три письма П. Ф. Маевского к Н. В. Сперанскому...* – В семейном архиве Сабашниковых сохранились лишь выписки из писем П. Ф. Маевского, сделанные Н. М. Артюховой. Из письма без даты: «...Вчера был у меня Сергей Васильевич. Сильно вырос, возмужал и, кажется мне, окреп, хотя и похудел. С Михаилом Васильевичем я виделся давно. Строй его ума и характер мыслей чаруют меня. О сердечности его и говорить нечего. Он относится ко мне, точно родной. Только заикнулся о Маколее и уже на другое утро был завален томами. Какое спасибо Вам. что назвали мне Маколея для кормления моих похудалых мозгов. Благодарить ли за то, что спасаете меня от смерти или безумия. Страшно подумать, что было бы со мной, если бы я не был обязан спешно работать. От голодных не только больно, от них стыдно...»

Из письма 19.01.1892: «...Ведь ужасно хоронить в себе свои знания. Я, по крайней мере, хотел бы о своих трещать сорокою. Ну, разве не больно сознавать, что я лишь один в мире знаю, как красиво, умно построен арбуз. (Говорю не шутя.)...»

[10] *«Союз Освобождения»* – нелегальное объединение русской либеральной интеллигенции. Первым шагом к его образованию был журнал «Освобождение», издававшийся с 1902 г. в Штутгарте под ред. П. Б. Струве. В июле 1903 г. в Швейцарии произошла нелегальная встреча 20 земских деятелей, подготовивших оформление «Союза». 3 – 5 января 1904 г. под легальным прикрытием Съезда по техническому образованию состоялся учредительный съезд «Союза Освобождения», на котором присутствовали

представители от 20 городов России. В программе «Союза Освобождения» были требования конституционной монархии, всеобщего избирательного права, равных, тайных и прямых выборов в высший представительный орган власти, право самоопределения для народов России, возвращение Финляндии ее государственно-правового статуса и проч. В октябре 1905 г. уполномоченные «Союза Освобождения» участвовали в учредительном съезде Конституционно-демократической партии и вошли в ее состав.

[11] *...по кооперированию павловских... слесарей-кустарей.* – Павловская артель, выпускавшая металлические изделия, находилась в селе Павлово Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Артель возникла в 1890 г. из мелких кустарных производств как опыт фабричного производства на артельных началах. Под руководством А. Г. Штанге и при финансовой помощи частных лиц она быстро окрепла и освободилась от филантропической поддержки.

[12] *Кустарный музей Московского губернского земства* был открыт в 1885 г. в Москве и в 1903 г. переведен в специально оборудованное здание в Леонтьевском переулке. Существует и по сей день как Музей народного искусства. Большая заслуга в организации музея принадлежит Сергею Тимофеевичу Морозову (1862 – 1950), одному из владельцев крупных текстильных мануфактур, известному меценату.

[13] *...«легальные марксисты» (Струве, Туган-Барановский, Булгаков)...* Легальный марксизм – идейно-политическое течение российской интеллигенции последнего десятилетия XIX в. Используя положения экономического учения Маркса, легальные марксисты обосновывали развитие капитализма в России, необходимость реформирования общества, выступали за демократические свободы. В общественно-политических дискуссиях того времени они были оппонентами народников. Лидеры легальных марксистов: *Михаил Иванович Туган-Барановский* (1862 – 1919) – экономист и историк; *Петр Бернгардович Струве* (1870 – 1944) – экономист, историк, философ и общественный деятель, основатель и редактор журнала «Освобождение», один из учредителей и лидеров «Союза Освобождения», затем Конституционно-демократической партии; *Сергей Николаевич Булгаков* (1871 – 1944) – экономист, философ, теолог; в своей магистерской диссертации («Капитализм и земледелие») и других работах стоял на позициях легального марксизма, от которого отошел в начале 1900-х гг., был членом «Союза Освобождения», депутатом II Государственной Думы, где поддерживал фракцию кадетов. В 1917 г. стал священником. В 1925 – 1944 гг. – профессор Богословского института в Париже.

[14] *Народничество* – идейно-политическое течение российской (преимущественно разночинной) интеллигенции, представлявшее собой разновидность общинной социалистической утопии. Оппонентами народников выступали марксисты (и легальные, и ленинцы).

[15] *...оно вышло... в двух больших томах в 1897 году.* – Речь идет о сборнике: «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства». Под ред. А. И. Чупрова и А. С. Посникова. – СПб., 1897, т. 1 – 2.

[16] *«Новое время»* – одна из крупнейших русских газет, выходила в Петербурге в 1868 – 1917гг. С 1876 г. ее издателем стал Алексей Сергеевич

Суворин (1834 – 1912) – журналист, создатель и руководитель одной из крупнейших в России издательских фирм.

[17] *«Киевлянин»* – газета монархического направления, выходила в Киеве в 1864 – 1919 гг. Редактировалась в разное время В. Я. Шульгиным, Д. И. Пихно, В. В. Шульгиным. Дмитрий Иванович Пихно (1853 – 1913) – экономист, журналист и общественный деятель правого направления.

[18] *ВЭО выпустило стенографический отчет прений.* – Вольное экономическое общество (ВЭО) – первое в России и одно из старейших в Европе экономическое общество, учреждено в 1765 г. в целях рационализации сельского хозяйства, распространения агрономических знаний и проч. ВЭО объявляло конкурсные задачи и публиковало присылаемые работы русских и иностранных авторов в своих «Трудах», «Еженедельных известиях», «Экономических записках», проводило опросы по специально разработанным анкетам и собирало экономические описания различных регионов страны, организовывало первые сельскохозяйственные выставки, комитеты грамотности, комитеты помощи голодающим и проч. В 1890-х гг. ВЭО стало ареной споров между легальными марксистами и народниками. Стенографический отчет о докладе М. И. Туган-Барановского «Статистические итоги промышленного развития России» и прения по нему см.: «Труды ВЭО», СПб., 1898, № 1, 5; о докладе А. И. Чупрова «Влияние хлебных цен на разные стороны экономической жизни» – «Труды ВЭО», 1897, № 4. В 1915 г. деятельность ВЭО фактически прекратилась, а в 1919 г. оно было формально ликвидировано.

[19] *...народники выступили с диссертацией Каблукова...* – Николай Алексеевич Каблуков (1849 – 1919) – экономист и статистик, проф. Московского университета, общественный деятель, народник, отстаивавший идею устойчивости мелкого крестьянского хозяйства. В 1885 – 1907 гг. заведовал статистическим отделением Московской губернской земской управы. В 1897 г. выпустил «Лекции по экономике сельского хозяйства», работу «Значение хлебных цен для частного землевладения в Европейской России» (в сборнике А. И. Чупрова и А. С. Посникова). Оппонентами Н. А. Каблукова выступали М. И. Туган-Барановский и В. И. Ленин.

[20] *П. Б. Струве вскоре заделался «освобожденцем»... а Булгаков принял священство.* – См. примеч. 13 к гл. 4.

[21] *Благочинный* – помощник епископа, надзирающий за духовенством церквей и монастырей. Деление территории епархий на благочиннические округа и введение должности благочинного произошло в XVIII в.

[22] *Петровская земледельческая и лесная академия* была открыта в 1865 г. в селе Петровско-Разумовское под Москвой. С 1923 г. носит имя К. А. Тимирязева.

[23] *Губернское правление* – орган местного управления, созданный по местной реформе 1775 г. Действовало как совещательный орган при губернаторе, который председательствовал в нем. Формально подчинялось Сенату, но по существу играло роль канцелярии при губернаторе.

[24] *«Воспоминания и думы о пережитом» Д. Н. Шипова* опубликованы Издательством М. и С. Сабашниковых в 1918 г. Дмитрий Николаевич Шипов (1851 – 1920) – общественный деятель, один из лидеров земского движения, председатель Московской губернской земской управы, один из основателей «Союза 17 октября».

[25] *Губернское присутствие* – учреждение, созданное по закону 1889 г. о земских начальниках для надзора за земскими органами самоуправления губернии. В состав губернского присутствия входили: губернатор (председатель), вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, прокурор и два непременных члена. Занималось административными и судебными делами.

[26] *И в гласные Думы тогда выбирайтесь!* – Городские думы и городские управы – распорядительные и исполнительные органы городского самоуправления, аналогичные земским. Городовое положение 1892 г. заменило для избирателей налоговый ценз имущественным: право избирать и быть избранным гласным (депутатом) городской думы получал только тот житель города, который имел в нем недвижимость.

Глава 5

[1] *Сельскохозяйственные комитеты* – местные органы образованного в 1902 г. под председательством министра финансов С. Ю. Витте межведомственного «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности». В комитеты входили дворянские и земские деятели, крепкие хозяева-крестьяне губернии, чиновники. Материалы Особого совещания и комитетов были использованы при разработке столыпинской аграрной политики.

[2] *...плана «семидесяти толковников»...* – Здесь подразумевается древнегреческий перевод Ветхого завета «Септуагинта» (лат. Septuaginta) – перевод «семидесяти толковников». 70 ученых-толковников (переводчиков) в III в. до н. э. перевели Ветхий завет на греческий язык. По преданию, работая на острове Фарос (близ Александрии) каждый в своей келье, они сумели найти единые греческие слова и продемонстрировали полное согласие и единодушие в передаче буквы и смысла переводимого текста. Называя замысел своего издания планом «семидесяти толковников», М. В. Сабашников тем самым подчеркивал, что оно должно отличаться единством подхода и высоким качеством исполнения. Это должно было быть издание лучших произведений мировой литературы («вечных книг») в лучших современных переводах, выполненных на единых научных основаниях. Идея эта была осуществлена в сабашниковской серии «Памятники мировой литературы», выходившей в свет в 1913 – 1925 гг. в двух предшествующих изданиях эта фраза была прочитана неверно.

[3] *...многие были отпущены на волю с «даровыми» нищенскими наделами.* – В соответствии с Положением об освобождении крестьян 19 февраля 1861 г. крестьяне имели право выйти из крепостного состояния по обоюдной договоренности с помещиком без выкупа в том случае, когда они соглашались на минимальный, так называемый «даровой» надел. Ввиду того, что выкупные платежи были слишком высоки для большинства крестьян, некоторые из них соглашались на «даровые» наделы. Это было одной из причин крайнего малоземелья русского крестьянства, особенно в черноземных районах.

[4] *...земли четвертных прав.* – Четвертными крестьянами назывался разряд государственных крестьян, потомков мелких служилых людей, по-

селенных в XVI – XVII вв. на окраинах Московского государства и получавших за службу по охране границ во временное или наследственное пользование небольшие участки земли, измерявшиеся четвертями. По положению 1866 г. четвертная земля была признана частной собственностью владельцев (однодворцев). Права их на землю были зафиксированы в особом разделе гражданского права («четвертное» право).

[5] *Гакстгаузен (Haxthausen) Август* (1792 – 1866) – барон, немецкий экономист и юрист. После путешествия в 1843 г. по России выпустил трехтомный труд об аграрном строе и крестьянской общине в России: «Studien über die inneren Zustäude, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands» (т. 1 – 2, 1844; т. 3, 1852). Третий том, в котором рассматривается вопрос об общине, был допущен к обращению в России без права перевода на русский язык. Вероятно, речь идет об этом издании.

[6] *…братьям Юматовым.* – при подготовке текста к печати установлено, что под этой фамилией описана семья Артюховых, которым принадлежало имение Покровское. М. В. Сабашников не решился назвать подлинную фамилию своих соседей и родственников (его дочь Нина в 1926 г. вышла замуж за Г. Я. Артюхова), очевидно, из опасений за жизнь и спокойствие близких. Однако он сохранил подлинные инициалы всех членов семьи. Упоминаемые в этой главе Д. А. – Дмитрий Афанасьевич Артюхов, Я. А. – его брат Яков Афанасьевич, С. Д. – Сарра Дмитриевна, жена Я. А. Артюхова и их дети: Маруся – Мария Яковлевна, Андрюша – Андрей Яковлевич. Гр. – Григорий Яковлевич. Это подтверждается и воспоминаниями А. Я. Артюхова, который, в частности, пишет: «Наше имение Покровское граничило к югу с землей, очевидно, Сабашниковых, к западу – с землями Татьяны Михайловны Анненковой. ...Знаю также, что мы арендовали землю под посев сахарной свеклы у Т. М. Анненковой...». В воспоминаниях совпадает также множество других деталей и подробностей – о том, что Я. А. окончил Техническое училище в Москве, что он устроил ветряную мельницу в своем имении и проч.

[7] *...вне черты оседлости...* – Граница территории Российской империи (Бессарабская, Виленская, Волынская, Гродненская, Екатеринославская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская, Полтавская, Таврическая, Херсонская, Черниговская и Киевская губернии), на которой разрешалось проживание евреев, называлась чертой оседлости. Этот порядок был установлен с конца XVIII в., в связи с присоединением к России после разделов Польши территорий Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы с многочисленным еврейским населением. В этих пределах евреям запрещалось жительство в селах, а также в Киеве, Севастополе и Ялте. Вне черты оседлости правом на жительство пользовались купцы I гильдии, лица с высшим образованием, ремесленники, солдаты, проходящие службу по рекрутскому набору, и их потомки.

[8] *...на роль Нимврода округи.* – Нимврод – в ветхозаветной мифологии богатырь и охотник, сын Хуша и внук Хама, строитель Вавилонской башни. В народной традиции – возмутитель спокойствия...

[9] *...местного земского начальника...* – Должность была введена в России законом 12 июля 1889 г. Это должностное лицо с административно-судебными функциями, назначаемое из дворян. Земские начальники осущест-

вляли надзор за крестьянскими сельскими и волостными учреждениями (сходами, волостными правлениями, волостными судами), могли назначать и смещать в них должностных лиц, утверждали решения о наказании виновных.

[10] *В силу присущей социальному строю того времени волостности...* – После отмены крепостного права в России крестьяне имели свои органы административно-территориального и сословного управления и объединялись по селениям в сельские общества (общины); несколько селений составляли волость – низшую сословную административную единицу со своими сословными органами самоуправления: волостным сходом, волостным правлением, старшиной, судом. После земской реформы 1864 г. крестьяне смогли на волостных сходах избирать кандидатов на уездный съезд, выбиравший гласных в уездное земское собрание. Таким образом, наиболее крепкие хозяева и выделявшиеся из общей массы крестьяне уходили из-под влияния общины и из деревни вообще.

[11] *Дворянский земельный банк* был учрежден в 1855 г. для кредитования дворян-землевладельцев. Долгосрочные ссуды (на 48 лет 8 месяцев и 36 лет 7 месяцев) выдавались потомственным дворянам под залог земельной собственности в размере 60 % ее стоимости при довольно льготном для того времени проценте (5 ¾ – 6 ¼ % годовых).

[12] *...искомого Гоголем Костанжогло...* – Костанжогло – герой второй части поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

Глава 6

[1] *...к ведению Департамента неокладных дел Министерства финансов...* – Правильно: Департамент неокладных сборов. В 1894 г. в связи с введением винной монополии он был преобразован в Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питий, которое заведовало всеми акцизными сборами и казенной продажей спиртных напитков.

[2] *...один из предков графа...* – Речь идет об Алексее Алексеевиче Бобринском (1800 – 1868), графе, шталмейстере, сахарозаводчике. Он устроил крупнейший в России сахарный завод в Смеле (Киевской губ.), усовершенствовал плуг, сеялки и другие сельскохозяйственные орудия. В Киеве на Бибиковском бульваре А. А. Бобринскому был установлен памятник, на подножии которого были изображены сельскохозяйственные орудия и надпись: «Полезной деятельности графа Алексея Алексеевича Бобринского». Памятник был уничтожен в советское время.

[3] *...из рукописных воспоминаний Масальской, которые, наверное, никогда не появятся в печати («Сарны»)...* Первая часть воспоминаний Е. А. Масальской «Повесть о брате моем, А. А. Шахматове. Легендарный мальчик» опубликована М. В. Сабашниковым в серии «Записи Прошлого» в 1929 г. Судьба второй части («Сарны») – неизвестна. Алексей Александрович Шахматов (1864 – 1920) – филолог, академик, исследователь древнерусского языка, литературы, летописания, проблем русского и славянского этногенеза.

[4] *Государственный банк* был учрежден в 1860 г. как центральный государственный коммерческий, а после денежной реформы 1895 – 1897 гг. и

эмиссионный банк России. Действовал под контролем министра финансов. Имел конторы и отделения в крупных городах империи. 27 декабря 1917 г. все частные и акционерные банки были национализированы и объединены с Государственным банком, а 6 января 1918 г. преобразованы в единый Народный банк РСФСР.

[5] *«Маленький султан»* – стихотворение К. Д. Бальмонта, написанное после разгона студенческой демонстрации у Казанского собора в Петербурге 4 марта 1901 г. 14 марта К. Д. Бальмонт прочитал это стихотворение на вечере в зале Петербургской городской думы. За этим последовали обыск на квартире поэта и административная высылка – запрещение в течение трех лет жить в обеих столицах, столичных губерниях и университетских городах.

[6] *Книгоиздательское товарищество «Знание»* существовало в Петербурге в 1898 – 1913 гг. С 1902 г. возглавлялось А. М. Горьким. С 1904 г. выпускало Сборники товарищества «Знание».

[7] *...перелистывая Бильбасова, я прочел у него следующую выдержку из воспоминаний графа Фицтума фон Экштедта...* – Карл Фридрих граф Фицтум фон Экштедт – саксонский дипломат, с июня 1852 г. по май 1853 г. был поверенным в делах Саксонского королевского двора в Петербурге. Очерк «Накануне Крымской войны» из его «Записок» опубликован в кн.: В. А. Бильбасов. Исторические монографии. СПб., 1901, т. 2. Цитируемый отрывок см. с. 454.

[8] *...над переводом Кальдерона для нашего издательства.* – Перевод опубликован в Издательстве М. и С. Сабашниковых: Кальдерон. Сочинения. Пер. с испр. и предисл. К. Д. Бальмонта. Вып. 1 – 3. М., 1900 – 1912.

[9] *...кончил Московскую земледельческую школу.* – М. В. Сабашников не совсем точен, это учебное заведение называлось: Московское сельскохозяйственное училище. Оно действительно было первым в России: открыто Московским обществом сельского хозяйства в 1822 г.

[10] *Александровский институт сельского хозяйства и лесоводства* был образован в 1869 г. на базе Политехнического и земледельческо-лесного института, открытого в 1862 г. в Люблинской губернии.

[11] *Николай Николаевич Кутлер* (1859 – 1924) – юрист, политический деятель. В 1899 – 1904 гг. – директор Департамента неокладных сборов Министерства финансов; в 1904 – 1905 гг. – товарищ министра внутренних дел; в 1905 – товарищ министра финансов; с окт. 1905 г. по март 1906 г. – главноуправляющий землеустройством и земледелием (в правительстве С. Ю. Витте), в марте вышел в отставку (до ухода всего кабинета), так как предложенный им проект отчуждения частновладельческих земель (в духе кадетской партии) был отклонен. В Конституционно-демократической партии – один из видных специалистов по аграрным и финансовым вопросам. Был депутатом от Петербурга во II Гос. Думе (1907) и в III Гос. Думе (1909).

[12] *Лефрансе ...(его дневники недавно изданы в русском переводе).* – Гюстав Лефрансе (1826 – 1901) – участник революции 1848 г. во Франции, Парижской коммуны 1871 г., член I Интернационала. Его «Воспоминания коммунара» были опубликованы в Ленинграде издательством «Прибой» в 1925 г.

[13] *Государственные земли принадлежали казне.* – Крестьяне, жившие на них, в XVIII – перв. половине XIX в. были государственными. В 1866 г. государственные крестьяне получили право выкупа этих земель в свою полную собственность. Кабинетские земли – личная собственность императора. Они управлялись Кабинетом его императорского величества и сдавались в аренду. (Находились преимущественно на Алтае, в Забайкалье, в Польше.)

[14] *...он (Лева) издал 2-х томную монографию об этих приисках.* – Речь идет о кн.: E.-D. Levat. L'or en Siberie Orientale. V. 1 – 2.

[15] *Пекинский договор* (трактат) 1860 г. между Россией и Китаем определял в основном восточную и частично западную русско-китайскую границу, а также систему консульской юрисдикции и право экстерриториальности для российских купцов в Китае.

[16] *Крестьянский начальник* – должность, введенная в Сибири в 1898 г. для управления крестьянами, переселенцами и инородцами. Крестьянский начальник имел такие же административные и полицейско-судебные функции, как и земский начальник.

[17] *Урга* – город, основанный в XVII в., административный центр, позже столица Монголии; в 1924 г. переименован в Улан-Батор.

[18] *«Союз Освобождения»* – см. примеч. 10 к гл. 4.

[19] *Конституционно-демократическая партия* – партия «Народной свободы» – кадеты – ведущая партия русской интеллигенции и буржуазии. Образована в октябре 1905 г. на съезде уполномоченных «Союза Освобождения» и земцев-конституционалистов. Выступала за конституционную монархию, парламентское правовое государство. Лидеры: П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, А. И. Шингарев. Запрещена в России в 1918 г.

[20] *...несообразности произведенной Д. Толстым реформы земского положения.* – Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 г., разработанное министром внутренних дел Д. А. Толстым (1823 – 1889), стеснило избирательную систему и деятельность земств, усилило надзор за ними со стороны правительства. По этому положению I съезд выборщиков (землевладельцев губернии) стал съездом только дворян-землевладельцев; во II съезде (горожан-налогоплательщиков) имущественный ценз был повышен в 2,5 раза; III съезд (сельских выборщиков) был упразднен, а гласные в уездное земское собрание стали назначаться губернатором по спискам, составленным волостным сходом. Целый ряд других положений фактически превратил председателей и членов земских управ в государственных чиновников.

Глава 7

[1] *...в Порт-Артуре японцы ночью напали на наши... суда...* – В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. японские эсминцы атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, и вывели из строя 2 броненосца и 1 крейсер. На следующий день, 28 января, Япония объявила России войну.

[2] *...в неизданных «Воспоминаниях бюрократа»...* – Речь идет о воспоминаниях вице-директора Департамента полиции Николая Петровича Хар-

ламова «Записки бюрократа». Авторизованный машинописный текст их сохранился в архиве Издательства М. и С. Сабашниковых (ОР РГБ. Ф. 261, 20. 2 – 7).

[3] *...о сдаче Порт-Артура.* – Крепость Порт-Артур, переданная Китаем по конвенции 15 (27) марта 1898 г. в аренду России на 25 лет, играла важную стратегическую роль во время русско-японской войны. Гарнизон Порт-Артура, осажденного 29 апреля (12 мая) 1904 г., выдержал несколько штурмов и готов был стоять до конца, однако 20 декабря 1904 г. (2 января 1905) начальник Квантунского укрепленного района генерал-лейтенант А. М. Стессель подписал акт о капитуляции крепости. В русском обществе это вызвало неоднозначную реакцию. А. М. Стессель был приговорен судом к смертной казни, но помилован императором.

[4] *...манифест, по совету Витте, был подписан без самой существенной его части, говорившей о введении народного представительства.* – Речь идет о манифесте 18 февраля 1905 г. «О призыве властей и населения к содействию самодержавной власти в одолении врага внешнего и искоренению крамолы и противодействию смуте внутренней».

[5] *...рескрипт на имя министра внутренних дел А. Булыгина...* – 18 февраля 1905 г. одновременно с манифестом был подписан императором рескрипт, в котором объявлялась воля монарха «привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей» к участию в разработке и обсуждении законопроектов.

[6] *«Булыгинская Дума»* – В соответствии с рескриптом 18 февраля 1905 г. комиссия под председательством министра внутренних дел А. Г. Булыгина разработала проект учреждения в России высшего представительного законосовещательного органа, названного впоследствии Государственной Думой. 6 августа 1905 г. были утверждены «Учреждение Государственной Думы» и «Положение» о выборах в нее. Однако всероссийская политическая забастовка в октябре 1905 г. и рост революционного движения в стране не позволили осуществиться «Булыгинской Думе». По манифесту 17 октября 1905 г. Государственная Дума получила иной статус.

[7] *«Наша жизнь»* – ежедневная политическая газета либерального направления, выходившая в Петербурге с перерывом с 6 ноября 1904 г. по 11 июля 1906 г.

[8] *«Сын отечества»* – ежедневная радикальная газета, издававшаяся в Петербурге с перерывами с ноября 1904 по декабрь 1905 г.

[9] *Чудов монастырь* – Алексеевский Архангело-Михайловский мужской монастырь в московском Кремле, основанный митрополитом Алексием в 1365 г. Упразднен после Октябрьской революции. Здания монастыря были уничтожены около 1930 г. «Чудовым» монастырь назывался по собору Чуда Архангела Михаила.

[10] *«Беседа»* – одно из первых объединений земских деятелей, существовавшее в Москве в 1899 – 1905 гг. Через газету «Право» распространяло в обществе идеи конституционализма.

[11] *Трубецкой Сергей Николаевич* (1862 – 1905) – князь, философ, публицист, общественный деятель, профессор и первый выборный ректор Московского университета. Своим высоким моральном авторитетом С. Н Трубецкой заслужил всеобщее уважение и среди «большинства», и среди

«меньшинства» Земского союза. Поэтому, когда на майском съезде земских деятелей было составлено обращение к царю и выбрана депутация для вручения адреса, С. Н. Трубецкой был единодушно включен в ее состав и назначен для произнесения речи. По этому поводу П. Н. Милюков пишет в своих воспоминаниях: «Надо признать, что Сергей Николаевич вполне оправдал этот выбор. Если вообще нужно и можно было обращаться в эту минуту к царю от имени съезда, то только в тоне, избранном этим оратором-патриотом: в проникновенном тоне искреннего страдания за родину. ...Мы выслушали затем и впечатления участников делегации после их возвращения в гостиницу. Я могу засвидетельствовать испытанное всеми нами чувство удовлетворения обращением Трубецкого к царю в духе «отеческого» внушения. ...Впервые царь был действительно тронут голосом из другого мира; впервые из его уст послышались слова, похожие на искреннее обещание реформы и как бы понимание ее необходимости». (П. Н. Милюков. Воспоминания. М., 1991, с. 197.)

[12] *Русская высшая школа М. М. Ковалевского...* – Максим Максимович Ковалевский (1851 – 1916) – историк, юрист и социолог, профессор права Московского университета; в 1887 г. уехал за границу и в 1901 г. вместе с Ю. С. Гамбаровым и Е. В. де Роберти основал в Париже Высшую русскую школу общественных наук. Это было независимое высшее учебное заведение с университетской программой и широким кругом изучаемых предметов. Для поступления в Школу не требовалось аттестатов, а удостоверение об ее окончании не давало тех прав, какие давал университетский диплом. Школа прекратила свою деятельность в декабре 1905 г. После этого М. М. Ковалевский возвратился в Россию и принимал активное участие в общественной и политической жизни. Он был избран депутатом II Государственной Думы, затем был назначен членом Государственного Совета, принимал участие в создании Университета имени Шанявского и был пожизненным членом его попечительного совета.

[13] *...издать 17 октября манифест... и призвать к власти С. Ю. Витте.* – Председатель Комитета министров граф Сергей Юльевич Витте (1849 – 1915) представил Николаю II 13 октября 1905 г. доклад, в котором предлагал провести ряд реформ, направлявших страну «к строю правовому на основе гражданской свободы». Одобренный царем доклад послужил основой манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», провозгласившего установление в России гражданских свобод: слова, печати, совести, собраний и союзов, неприкосновенность личности, а также созыв Государственной Думы на основе более демократичного закона о выборах, чем булыгинский.

[14] *Литературно-художественный кружок* возник в Москве в 1899 г. как объединение художественной интеллигенции. 17 октября 1905 г. там проходил банкет по случаю закрытия учредительного съезда Конституционно-демократической партии, состоявшегося 12 – 1 7 октября 1905 г.

[15] *...выборы в Первую Государственную Думу по довольно сложной куриальной и двухстепенной системе...* – На основании «Положения о выборах в Государственную Думу» 6 августа 1905 г. и дополнительного избирательного закона 11 декабря 1905 г. выборы в Гос. Думу проходили по четырем куриям: землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Для участия

в выборах по I курии необходимо было обладать земельным наделом от 100 до 650 десятин земли (в зависимости от местности) или недвижимой собственностью стоимостью не менее 15 тыс. руб. Землевладельцы, не имевшие цензовых участков, выбирали своих уполномоченных на предварительном съезде. Уездный избирательный съезд землевладельцев выбирал выборщиков. Для участия в выборах по городской курии также требовался значительный имущественный ценз. Для крестьян (кроме Польши и Сибири) имущественного ценза не было, но устанавливалась четырехстепенная система выборов: сельские сходы выбирали десятидворников, те на волостных сходах – уполномоченных, а они на уездных съездах – выборщиков от волостей (казаки – от станиц). Все выборщики от каждого съезда собирались на губернское избирательное собрание, где каждая курия избирала установленное законом число членов Гос. Думы (разное для каждой курии). 27 крупных городов выбирали членов Гос. Думы на своих городских избирательных собраниях. М. В. Сабашников был избран выборщиком на Покровском уездном съезде.

[16] *День открытия I Государственной Думы...* – I Государственная Дума открылась 27 апреля (10 мая) и заседала 72 дня до 8 июля 1906 г. Была распущена императорским указом 9 июля 1906 г. в связи с острым конфликтом между правительством и думским большинством по аграрному вопросу. Из 478 депутатов I Гос. Думы было: 179 кадетов, 97 трудовиков, 63 автономиста, 18 социал-демократов, 16 октябристов, 105 беспартийных. Первым председателем Государственной Думы был С. А. Муромцев (1850 – 1910), кадет.

[17] *Это вам не Генри Джордж!* – Генри Джордж (1839 – 1897) – американский экономист, известный своей книгой «Прогресс и бедность». Г. Джордж видел корень социального зла в том, что землевладелец присваивает весь прибавочный продукт. Избавление от бедности считал возможным при введении земельного налога, поглощающего всю ренту.

[18] *...В Выборге составили воззвание к народу.* – После роспуска I Государственной Думы 9 июля 1906 г. часть депутатов (230 человек), в большинстве своем кадеты и трудовики, собрались в одной из гостиниц Выборга, где приняли обращение, получившее название «Выборгского воззвания». В нем кадетское руководство Думы обратилось к народу с призывом в знак протеста против роспуска Думы не платить налогов и уклоняться от воинской повинности. В результате в 1907 г. в Особом присутствии Петербургской судебной палаты состоялся суд над 167 членами Гос. Думы, подписавшими «Выборгское воззвание», приговоривший их к трехмесячному тюремному заключению.

[19] *В последний раз виделся я тут с М. Я. Герценштейном. ...Не думали мы, что на днях ему предстояло самому подвергнуться нападению и быть убитым на прогулке на берегу моря агентами черной сотни.* – Герценштейн Михаил Яковлевич (1859 – 1906), экономист, профессор Московского сельскохозяйственного института, член I Государственной Думы, один из лидеров Конституционно-демократической партии, ее теоретик по аграрному вопросу. Убит 14 июля 1906 г. агентами «Союза русского народа».

[20] *За ним также убит был в Екатеринославе другой член Государственной Думы доктор Караваев...* – См. примеч. 3 к гл. 3.

[21] *...среди бела дня убит был Иоллос, бывший в то время редактором «Русских ведомостей».* – Иоллос Григорий Борисович (1859 – 1907), юрист, публицист, один из редакторов газеты «Русские ведомости», член I Государственной Думы. Был убит 16 марта 1907 г. членами «Союза русского народа». С. Ю. Витте в своих воспоминаниях называет имена убийц: Казанцев, Федоров и Степанов.

[22] *Женский медицинский институт* был открыт 14 сентября 1897 г. на базе Медицинских женских курсов, организованных по инициативе военного министра Д. А. Милютина и Л. А. Шанявской и на ее средства в 1872 г. Институт готовил женщин-врачей, специализировавшихся в области детских и женских болезней, а также акушерок. Положение 1904 г. уравняло выпускниц Женского медицинского института с выпускниками университетов.

[23] *...Вторая Дума... оказывается распущенной.* – II Государственная Дума заседала с 20 февраля по 2 июня 1907 г. Среди членов Думы было: 104 трудовика, 98 кадетов, 76 автономистов, 65 социал-демократов, 54 октябриста, 37 эсеров, 16 народных социалистов, 50 беспартийных, 17 депутатов от казаков и 1 от партии демократических реформ. II Гос. Дума была распущена указом 3 июня 1907 г. на основании предъявленного прокурором Петербургской судебной палаты обвинения социал-демократам в подготовке к «ниспровержению государственного строя».

Глава 8

[1] *...Андрееву, автору гоголевского памятника на Пречистенском бульваре.* – Николай Андреевич Андреев (1873 – 1932) – скульптор, автор многих памятников в Москве. Памятник Н. В. Гоголю работы Н. А. Андреева был установлен у входа на Пречистенский (ныне Гоголевский) бульвар в 1909 г., но при советской власти перемещен в садик перед зданием библиотеки им. Н. В. Гоголя на Суворовском бульваре.

[2] *Сережино надгробие ему удалось, а барельеф все находили передающим черты брата.* – Памятник С. В. Сабашникову с барельефом работы Н. А. Андреева, вероятно, в конце 1950-х годов был снят с могилы С. В. Сабашникова, барельеф разбит, а сам памятник перенесен на братскую могилу. В 1975 г., после того как на братской могиле был установлен новый памятник, надгробие С. В. Сабашникова было сброшено на землю у стен собора. В 1983 г. по ходатайству Н. М. Артюховой на могиле С. В. Сабашникова была установлена мемориальная доска.

[3] *Он умер в Турине 17.IV.1929 года и похоронен там же.* – М. В. Сабашников допустил неточность: Ф. В. Сабашников скончался 18.IV. 1927 г. Об этом свидетельствует письмо Джузеппе Ферретти Екатерине Васильевне Барановской. 21 апреля 1927 г. Турин:

Уважаемая сеньора!

Должен Вам сообщить, что Ваш брат, господин Сабашников, проживавший в Турине в «L'Ospisio di Carita» на Corso Casale, 56, после продолжительной болезни, доставлявшей ему множество страданий на протяжении многих месяцев, был призван на Небеса и почил с миром (18.IV.27, в 7[30]).

Мадам, я взял на себя труд сообщить Вам об этом, зная, сколько боли принесет Вам эта новость. Я знал Вашего брата и был его другом, насколько это возможно. Мы с женой пытались облегчить последние минуты его жизни, а теперь заботимся о его могиле.

Известие это для Вас печально, но при том состоянии здоровья, в котором находился г. Сабашников, смерть была как избавление. За ним хорошо и с любовью ухаживали сестры Приюта.

Если Вы захотите что-нибудь поручить мне, я весь в Вашем распоряжении и буду счастлив, если смогу чем-нибудь быть Вам полезен.

Я выражаю Вам и Вашей семье наши искренние соболезнования и вместе с Вами скорблю о тяжелой утрате.

Мой адрес: Сеньор Ферретти Джузеппе, via Gioberti, № 40, Torino.

Примите уверения...

(фотокопия, подлинник на франц. в архиве Н. К. Рауш фон Траубенберг.)

[4] *Щепкин Николай Николаевич* (1854 – 1919) – земский деятель, гласный Московской городской думы и Московского губернского земского собрания, депутат III и IV Государственной Думы от Москвы, член ЦК Конституционно-демократической партии. Расстрелян в 1919 г. как член «Союза возрождения России» и «Национального центра».

[5] *...в декабре я был ненадолго изъят.* – В декабре 1930 г. М. В. Сабашников был арестован. См. главу 11, «Мои аресты» и предисловие.

[6] *...как проводил его покойный Паульсен.* – Фридрих Паульсен (1846 – 1908), немецкий философ, автор работ по истории педагогики. Издательство М. и С. Сабашниковых выпустило в переводе М. О. Гершензона его работу «Образование» (М., 1900).

[7] *Высшие женские курсы* в Москве возобновили прием слушательниц 16 сентября 1900 г. На этом этапе их деятельности курсы имели историко-филологическое и физико-математическое, а с 1906 г. и третье, медицинское отделение. В 1910 – 1913 гг. для курсов было выстроено специальное учебное здание (М. Пироговская, 1). В 1918 г. преобразованы во 2-й Московский государственный университет, в 1930 г. реорганизованный в три вуза: Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина (ныне Московский педагогический университет); Московский 2-й медицинский институт им. Н. И. Пирогова и Московский институт тонкой химической технологии (ныне им. М. В. Ломоносова).

[8] *Коммерческий институт* – первое в России высшее коммерческое учебное заведение; основан в 1907 г. на базе Коммерческих курсов. После Октябрьской революции преобразован в Московский институт народного хозяйства (с 1991 г. – Академия) им. Г. В. Плеханова.

[9] *Педагогические женские курсы* существовали с 1872 г. Цель их состояла в том, чтобы дать женщинам высшее педагогическое образование и готовить преподавательниц начальных и средних учебных заведений, классных и домашних наставниц.

[10] *Леденцовское научное общество* – Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Х. С. Леденцова, состоящее при Московском университете и Императорском техническом училище. Цель общества состояла в том, чтобы содействовать научным

открытиям и исследованиям в области естествознания, изобретениям и усовершенствованиям в сфере техники (т. е. изобретательству и рационализации), а также внедрению в производство и практику их результатов. Общество издавало «Временник», имело библиотеку и читальный зал, в определенные дни открытый для широкой публики. Среди членов Совета общества были Н. Е. Жуковский, П. Н Лебедев, Н. А. Умов, М. К. Любавский, Н. Н. Худяков и др.

[11] *Научный институт на Миусской.* – В 1912 г. было учреждено Общество Московского научного института (в память 19 февраля 1861 г.) для организации научных исследований в различных областях знаний. На доходы от средств, собранных по подписке, и крупных пожертвований (около 2,5 млн. руб.) были учреждены и оборудованы два научных учреждения: Физический институт под руководством П. П. Лазарева, открытый в январе 1918 г. на Миусской площади, и Институт экспериментальной биологии, основанный в 1916 г. под руководством Н. К. Кольцова (Сивцев Вражек, 41). В Физический институт была передана также физическая лаборатория П. Н. Лебедева, находившаяся ранее при Обществе имени Х. С. Леденцова. Институт выпускал «Archives des Sciences Phisiques» (с 1917 г., на рус. и франц. яз.).

[12] *Клинический городок на Девичьем поле* – комплекс клиник медицинского факультета Московского университета. Построен на добровольные пожертвования частных лиц, главным образом наследников Саввы Васильевича Морозова (1770 – 1862), крупного текстильного фабриканта. Из семьи Морозовых вышли многие московские меценаты (Савва и Сергей Тимофеевичи, Иван и Михаил Абрамовичи, Варвара Алексеевна и Маргарита Кирилловна и другие). Преобразован в 1-й медицинский институт (с 1990 г. – Московскую медицинскую академию) им. И. М. Сеченова.

[13] *...Кассо, вызвавший в 1911 г. своими произвольными действиями небывалый массовый выход из Московского университета.* – Лев Аристидович Кассо (1865 – 1914) – юрист-цивилист, министр народного просвещения в 1910 – 1914 гг. В начале 1911 г. принял суровые меры для подавления студенческих волнений. В знак протеста ректор Московского университета А. А. Мануйлов, его помощник М. А. Мензбир и проректор П. А. Минаков подали в отставку, а за ними последовали еще 21 человек (профессора, приват-доценты, преподаватели).

[14] Подглавка «Русские ведомости» не была написана набело, сохранились лишь два черновых наброска плана, состоящие из тех пунктов: «А» «Б», «В». Только пункт «В» имеет связный текст, который после расшифровки публикуется. Этому тексту предшествует набросок плана: «Избушка на курьих ножках. – Скворцов. Павлов. Профессорская газета. – Независимость от партийных и классовых интересов Парадокс Н.Жуковского – диагональ Герцена возможна только при отсутствии свободы. – Устав артели. Выкуп [...]*по очень высокой оценке. – Капитализация доходов [...]. Новые пайщики Кизеветтер, Федотов, Кокошкин, Ордынский, Сперанский С., Иорданский, я, Якушкин Н. В., Юровский, – Садырин. – Ред. [...]1 и объяснение с Розенбергом. Его благодушие».

* [...] – одно слово неразборчиво.

В 1912 г. в связи с выходом из товарищества по изданию газеты «Русские ведомости» Д. Н. Анучина. М. Е. Богданова, В. М. Соболевского (по возрасту) и В. Е. Якушкина (из-за тяжелой болезни) в товарищество вошли новые члены: К. В. Аркадакский, Н. И. Иорданский и А. Н. Максимов в качестве помощников редактора, С. П. Ордынский (к нему перешли обязанности Г. А. Джаншиева), С. В. Сперанский (возглавил отдел, во главе которого прежде стояли М. П. Щепкин и В. Ю. Скалон). Кроме них были приглашены ученые-публицисты, уже сотрудничавшие в газете: А. Э. Вормс, А. А. Кизеветтер, Ф. Ф. Кокошкин и общественные деятели: Н. И. Астров, И. П. Демидов, М. В. Сабашников, А. А. Федотов. Из молодежи членами товарищества стали Л. Н. Юровский и Н. В. Якушкин. См. также примечание 17 к гл. 2.

Глава 9

[1] *...дальневосточных авантюр Абазы и Безобразова... – А. М. Безобразов* (в 1903 – 1905 гг. статс-секретарь) был лидером группы высокопоставленных чиновников и придворных, которая предприняла шаги к созданию акционерного общества для разработки и эксплуатации природных богатств Кореи и Маньчжурии, подталкивая российское правительство к проведению агрессивной политики на Дальнем Востоке. В эту группировку входил и контр-адмирал *А. М. Абаза*, управляющий делами Особого комитета Дальнего Востока.

[2] *...об убийстве в Сараеве сербом наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда с супругой.* – Австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд, племянник императора Франца Иосифа и наследник престола, был убит вместе с женой в Сараево членами террористической организации «Молодая Босния» 28 июня 1914 г., что послужило поводом для развязывания I мировой войны.

[3] *...вакханалия майора Прейскера.* – 2 августа (20 июля ст.ст.)1914 года германский отряд под командованием майора Прейскера, обстреляв безоружный Калиш из орудий, захватил город и устроил настоящую резню, грабя и расстреливая мирных жителей.

[4] *«Русское слово»* – ежедневная газета либерального направления, выходила в Москве в 1895 – 1918 гг.; с 1897 г. ее издателем был И. Д. Сытин.

[5] *...переводом «Эдды»...* – «Старшая Эдда» – сборник мифологических и героических «песен», дошедший в исландской рукописи второй половины XIII в., является важнейшим источником германо-скандинавской мифологии. В 1917 г. М. В. Сабашников выпустил в серии «Памятники мировой литературы» I часть «Эдды» в переводе С. Свириденко (псевдоним С. А. Свиридовой); II часть «Песнь о героях» осталась неизданной и хранится в архиве издательства (ОР РГБ. Ф. 261).

[6] *...социал-демократы в рейхстаге в вопросе о войне солидаризировались с правительством.* – 4 августа 1914 г. германское правительство внесло в рейхстаг законопроект о военных кредитах, и социал-демократическая фракция единогласно (включая К. Либкнехта) проголосовала «за». В конце 1914-го начале 1915 г. Либкнехт стал выступать против кредитов, а призванный в мае 1916 г. в армию, открыто стал пацифистом.

[7] *...пятиглавые Страстного монастыря...* – Страстной девичий монастырь был основан в 1641 г. Название получил от иконы Божьей Матери, именуемой «Страстной» (в руках ангелов, окружавших лик Богородицы, изображены орудия пыток – страстей Христа). Монастырь был построен на месте, где, по преданию, царь Михаил Федорович встретил икону, перенесенную из нижегородской вотчины князя Бориса Лыкова. Монастырь был уничтожен в 1930-е гг.

Глава 10

[1] *Земский союз, Городской союз, Земгор или объединение обоих союзов, военно-промышленные комитеты. – Всероссийский земский союз* – организация, созданная в июле 1914 г. представителями органов земского самоуправления для помощи правительству в организации снабжения армии и помощи раненым и беженцам. Городской союз – *Союз городов (Согор)* – всероссийская организация, созданная в августе 1914 г. с аналогичными целями представителями городских органов самоуправления. 10 июля 1915 г. оба Союза создали объединенный комитет (Земгор) для соединения своих усилий и во избежание параллелизма и соперничества. *Военно-промышленные комитеты* – организации промышленников и предпринимателей, созданные в 1915 г. для организации перевода промышленности на производство военной продукции.

[2] *...во главе 6-го Сибирского медико-санитарного отряда Союза городов.* – Во время I мировой войны различные общественные организации формировали на свои средства и частные пожертвования санитарные отряды для оказания помощи раненым. М. В. Сабашников сначала возглавлял 6-й Сибирский (Бурятский) отряд Союза городов, а с октября 1915 г. перешел на службу в Главный комитет Согора. Санитарные отряды действовали параллельно и в помощь военным санитарно-медицинским учреждениям (военно-медицинским полевым околоткам, дивизионным лазаретам и проч.). Они оказывали также помощь беженцам, организуя для них пункты питания, бани, прачечные и проч. В Бурятском отряде работало 40 врачей и студентов, 20 сестер, 100 нижних чинов. Отряд располагал обозом из 120 лошадей, имел арбы, двуколки и даже автомобили.

[3] *Купеческая управа* – выборная сословная организация городского купечества. Избиралась сроком на четыре года членами городского купеческого общества в два этапа. Все купцы, записанные в первую и вторую гильдии, избирали на своем собрании выборщиков, которые затем выбирали старшину купеческого сословия, его заместителя, кандидатов на посты двух членов купеческой управы и заседателя. Все избранные лица подлежали утверждению губернатора (в Москве – генерал-губернатора). Купеческая управа представляла интересы купеческого сословия и управляла благотворительными учреждениями, находившимися в ее ведении. В Москве они были очень многочисленны.

[4] *Пани Конча* – Паулина Павловна Конча, владелица имения в Вилькомирском уезде, недалеко от Ширванты. М. В. Сабашников познакомился с ней летом 1915 г., когда в поисках помещений для лазарета, больницы и персонала отряда объезжал ближние и дальние окрестности Вильно. П. П.

Конча выразила готовность предоставить свой дом под лазарет, но так как дом был недостроен, отряд не смог им воспользоваться. Глубокий патриотизм этой женщины, сочетание спокойной деловитости с женственностью и изяществом произвели сильное впечатление на Михаила Васильевича и его товарищей по отряду. В Дневнике 1915 г., публикуемом в настоящем издании, М. В. Сабашников посвятил ей несколько страниц, однако не перенес эти записи в рукопись своих воспоминаний, хотя главка называется «Пани Конча».

[5] *...«Летучка А».* – «Летучки» – небольшие передвижные санитарные отряды, действовавшие в непосредственной близости от боевых позиций. Здесь раненым оказывалась первая помощь, а затем, в случае необходимости, они перевозились в лазарет, где работали врачи и хирурги и где производились операции. Лазарет располагался обычно в большем отдалении от передовой, имел стационарный характер, но при изменении линии фронта мог довольно быстро эвакуироваться. В Бурятском отряде было две «Летучки» – «А» и «Б». Летучка А» (Зельдина) летом 1915 г. состояла из Зельдина, Босса, Грекова, Рынкевича, Петровой, Цветкова, Вершилло, Окорокова и Рамаилова. Этот отряд особенно отличился, не раз попадал под обстрел, и на его долю выпадало особенно много работы (иногда до 180 раненых в день).

Глава 11

[1] *Государственное совещание* проходило 12 – 15 августа 1917 г. в Москве в Большом театре. На него собралось около 2000 представителей партий, организаций, интеллигенции, военных, духовенства. 13 августа собравшиеся устроили торжественную встречу Л. Г. Корнилову, назначенному в июле Верховным главнокомандующим. Государственное совещание выступало за общее согласие, укрепление власти, упразднение Советов. Особенно резко настаивал на этом казачий атаман А. М. Каледин.

[2] *Крестьянский союз* – Всероссийский крестьянский союз – массовая революционно-демократическая организация, объединявшая в 1905 – 1917 гг. около 200 тыс. человек, имевшая 470 местных организаций. Крестьянский союз выступал за национализацию земли, созыв Учредительного собрания. В Государственной Думе его представители часто блокировались с трудовиками. После Февральской революции руководство в Крестьянском союзе перешло к эсерам. В апреле – октябре 1917 г. Союз выпускал «Голос Крестьянского союза». Ликвидирован в 1918 г.

[3] *«Дом Песни»* – организован в 1908 г. в Москве певицей М. А. Олениной д'Альгейм (1869 – 1970) Для пропаганды русской музыки.

[4] *...избиение офицеров, происшедшее в Кронштадте.* – Речь идет, вероятно, о подавлении Корниловского мятежа 25 – 31 августа (7 – 13 сентября) 1917 г. балтийскими моряками и частями Петроградского гарнизона.

[5] *В мае 1918 г. я на три месяца выбыл из жизни...* – В мае 1918 г. М. В. Сабашников был арестован. Об этом см. главку «Мои аресты» и предисловие.

[6] *...после заключения Брестского мира.* – 3 марта 1918 г. Советское правительство России заключило в г. Брест-Литовский мир с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, согласно которому за прекращение

войны Россия должна была поступиться значительной частью территории Польши, Прибалтики, Белоруссии, Закавказья, а также выплатить контрибуцию в 6 млрд. марок. Договор этот был аннулирован Советским правительством 13 ноября 1918 г.

[7] *Нина* (Антонина) Васильевна Евреинова покинула Россию в 1922 г. и поселилась сначала в Праге, где в начале 1920-х годов обосновались трое из ее детей. В 1928 г. она переехала с дочерью Ниной в Болгарию, потом во Францию. Во время II мировой войны жила у старшего сына Владимира в Тулузе, где скончалась 15 июля 1945 г. Похоронена на местном кладбище. Сообщила внучка Нины Васильевны Н. К. Рауш фон Траубенберг в письме к Т. Г. Переслегиной 7.06.1992 г.

[8] *Свердловский коммунистический университет* – Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова был образован в 1919 г. для подготовки партийных и советских кадровых работников. В 1932 г. был реорганизован в Высший коммунистический сельскохозяйственный университет им. Я. М. Свердлова.

[9] *Алексеевский (женский) монастырь* был перенесен на Красносельскую ул. в 1837 г. с берега Москвы-реки в связи с закладкой храма Христа Спасителя, первоначально предусмотренной на этом месте.

[10] *...профессор К. со всем своим комитетом...* – По-видимому, речь идет о Глебе Максимилиановиче Кржижановском (1872 – 1959), возглавлявшем в 1920 г. Государственную комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО).

[11] *...в прежнем «Якоре».* – «Якорь» – акционерное страховое общество, в помещении которого на Лубянке обосновалась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), учрежденная в декабре 1917 г.

[12] *Очевидно, меня этим хотели поставить в известность, что меня не забудут.* – Скорее всего за М. В. Сабашникова хлопотала одна из кузин С. Я. Сабашниковой В. А. Дилевская, которая в первом браке была замужем за братом Я. М. Свердлова, Вениамином Михайловичем.

[13] *Мирбаха убили!* – Вильгельм Мирбах (1871 – 1918) – граф, германский дипломат, с апреля 1918 г. посол в Москве. Был убит 6 июня 1918 г. левым эсером Я. Г. Блюмкиным. Убийство Мирбаха послужило началом восстания левых эсеров в Москве.

[14] *Всероссийский комитет помощи голодающим* был организован по инициативе известных общественных деятелей и санкционирован декретом и положением ВНИК 21 июля 1921 г. Он должен был под эгидой Красного Креста и в сотрудничестве с правительством, включившим в его состав своих представителей, организовать сбор средств в России и за рубежом. Авторитет деятелей российской культуры способствовал возникновению Международной организации помощи во главе с Ф. Нансеном и Американской (АРА) – во главе с Г. Гувером. Когда Советское правительство установило с ними контакты, инициаторы этой акции были устранены. 27 августа 1921 г. члены Комитета были арестованы и отправлены на Лубянку. Обстоятельства организации Комитета подробно изложены М. В. Сабашниковым в его письмах З. П. Измайловой, копии которых сохранились в архиве Т. Г. Переслегиной. Приводим две выдержки из них:

«16.VII.1921. ... Впервые москвичи осведомились о размерах бедствия в середине прошлого месяца, когда сюда прибыли агрономы с мест на съезд по опытному делу. 22 июня Московское общество сельского хозяйства поручило выбранным для того членам своим переговорить с Лениным об организации помощи пострадавшим. Выборные не получили, однако, возможности осуществить возложенное на них поручение. Тогда уже другие лица написали Горькому, который и выступил посредником между властью и общественными деятелями. ...Горький обратился тогда к патриарху, который немедленно составил обращение к двум лично знакомым ему английским епископам. Об этом появилась заметка в «Известиях» с несоответствующим заголовком «Давно бы так». Затем переговоры с общественными деятелями все же возобновились, и было принято, что для организации помощи голодающим крестьянам надо организовать краснокрестный комитет, состоящий преимущественно из лиц, известных своей былой общественной работой. Состав комитета намечался так: 10 членов от правительства и 40 от общественности. Первоначально за разрушением всех общественных организаций общественные деятели выдвигаются инициативной группой, затем состав может пополниться кооптацией. Председатель и заместитель назначаются правительством. Предполагается, что ими будут Каменев и Рыков. Что касается членов комитета, то в него намечается много знакомых москвичей – Прокопович, Кускова, Кишкин, Левицкий, Садырин, Кутлер, Черкасов и многие другие...

24. VII 1.1921г.

...Комитет этот открыл свои действия. Во главе комитета стоит президиум из двух назначенных правительством лиц (Каменев и Рыков) и трех членов, избранных самим комитетом (Кишкин, Прокопович и Коробов). В среду, вероятно, состоится второе заседание Комитета, на котором предстоит выбрать делегацию за границу. Надо думать, что в нее войдут Головин, Авсаркисов, Прокопович, Кускова, Ал. Л. Толстая и Тарасевич. Но это предположительно. Выдвигается кандидатура М. Горького...»

[15] *...все же ведь Президент величайшей республики мира... и принужден считать белье!* – М. В. Сабашников ошибается. Петр Гермогенович Смидович (1874 – 1935); бывший однокурсник М. В. Сабашникова по университету, в 1921 – 1922 гг. был членом Президиума ВЦИК и членом ЦКК ВКПб.

Глава 12

[1] *...считая этого классика монополизированным.* – По декрету 11 января 1918 г. о Государственном издательстве право на издание произведений русских писателей-классиков предоставлялось исключительно Государственному издательству. При активном участии П. И. Лебедева-Полянского, возглавлявшего Литературно-издательский отдел Наркомпроса, был составлен и утвержден список «монополизированных» писателей-классиков.

[2] *«Всемирная литература»* – государственное издательство, организованное по инициативе А. М. Горького в конце 1918 г. для издания произведений зарубежной литературы, от памятников античной и восточной литературы до писателей XX века.

[3] *Императорский лицей цесаревича Николая – Катковский лицей* – был основан в 1868 г. в Москве М. Н. Катковым как всесословное учебное заведение закрытого типа для мальчиков. Имел 8 гимназических и 3 университетских класса, с 1906 г. – четырехлетний курс юридического факультета. Закрыт в 1917 г.

[4] *«Смена вех»* – сборник, выпущенный в июле 1921 г. в Праге группой русской эмигрантской интеллигенции (среди авторов: Н. В. Устрялов, Ю. В. Ключников, А. В. Бобрищев-Пушкин, С. С. Лукьянов, С. С. Чахотин, Ю. Н. Потехин). В октябре 1921 г. – 1922 г. в Париже выходил журнал под этим названием. Сторонников этого течения за рубежом и в России (А. Н. Толстой, Е. В. Тарле, М. С. Шагинян, М. О. Гершензон и др.) объединяла надежда на то, что Россия после установления НЭПа может эволюционировать в буржуазно-демократическое государство.

[5] *Цензурные комитеты* были учреждены в России по Уставу о цензуре 1804 г. при университетах и до 1865 г. находились в ведении Министерства народного просвещения, затем Министерства внутренних дел. Руководство деятельностью цензурных комитетов осуществляло Главное управление цензурой, с 1865 г. – Главное управление по делам печати. До 1905 г. в России существовала предварительная цензура – цензурные комитеты просматривали рукописи всех книг и периодических изданий, предназначенных к публикации. Указом Временного правительства 8 марта 1917 г. цензура была упразднена, а цензурные учреждения ликвидированы.

[6] *Главлит* – Главное управление по делам литературы и издательств образовано 6 июня 1922 г. в качестве главка Наркомпроса и было главной цензурной инстанцией. Таким образом, в стране была восстановлена предварительная цензура, отмененная в 1905 г.

[7] *...работы моего когда-то учителя М. К. Любавского «История границ Российской империи».* – Матвей Кузьмич Любавский (1860 – 1936) – историк, в 1911 – 1917 гг. ректор Московского университета, с 1929 г. академик. Речь идет о его работе «Историческая география России в связи с историей русской колонизации». Это новая (1922 г.) редакция его курса, прочитанного в Московском университете в 1908/9 г. Верстка книги (без окончания), запрещенной Главлитом, сохранилась в архиве Издательства М. и С. Сабашниковых (ОР ГБЛ, Ф. 261, 16. 8).

[8] *...после Польской войны...* – Речь идет о войне Польши с Советской Россией 1920 г., завершившейся Рижским советско-польским договором 18 марта 1921 г., установившим дипломатические и торговые отношения между обоими государствами и границу, в соответствии с которой к Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

[9] *«Посредник»* – издательское товарищество, основанное по инициативе Л. Н. Толстого. Существовало в 1884 – 1935 гг. в Петербурге (с 1892 г. – в Москве). В 1897 – 1925 гг. издательством руководил И. И. Горбунов-Посадов. Выпускало книги для народа, художественную и детскую литературу, книги по сельскому хозяйству, домоводству, журналы «Маяк», «Свободное воспитание» и проч.

[10] *«Задруга»* – кооперативное товарищество издательского и печатного дела, основанное в Москве в 1911 г. группой ученых, литературоведов и педагогов во главе с С. П. Мельгуновым. Выпускало книги по истории,

педагогике, детскую и художественную литературу, учебники, мемуары. В 1922 г. в связи с высылкой из России многочисленной группы русских ученых и общественных деятелей деятельность издательства была перенесена за границу.

[11] *«Голос минувшего»* – ежемесячный журнал истории и истории литературы, издавался в 1913 – 1923 гг. в Москве под ред. историка и публициста Сергея Петровича Мельгунова (1879 – 1956). В журнале публиковались мемуары, письма деятелей культуры, критико-библиографические обзоры. Вышло 65 номеров.

[13] *...написал Н.И. Гучкову.* – Гучков Николай Иванович (1860 – 1935), брат Александра Николаевича Гучкова, общественный и политический деятель, потомственный почётный гражданин. В 1905 – 1913 гг. – московский городской голова. В I мировую войну участвовал в организации Всероссийского союза городов; член «военной комиссии» московской Городской думы; с июля 1914 член Комитета уполномоченных московской областной организации помощи больным и раненым; с 1915 член Главного комитета Всероссийского земского союза и член Московского военно-промышленного комитета. В Гражданскую войну работал в белогвардейском Обществе Красного Креста. С 1920 в эмиграции, умер в Париже.

[13] *...Владимир Федорович [Джунковский] реализовал свой труд у Бонч-Бруевича в Литературном музее.* – Воспоминания В. Ф. Джунковского (1865 – 1937), московского губернатора, затем товарища министра внутренних дел, хранились затем в Российском государственном архиве и были изданы Издательством им. Сабашниковых в серии «Записи Прошлого» в 1998 г.

[14] *«Academia»* – издательство, основанное в 1922 г. в Петрограде как частное предприятие, затем преобразованное в издательство при Государственном институте истории искусств. В 1938 г. было включено в Госиздат. Выпускало серии: «Сокровища мировой литературы», «Памятники общественного и художественного быта и искусства» и др.

[15] *Жуковская (урожд. Микулина) Вера Александровна* (1885 – 1956), писательница, племянница Н. Е. Жуковского. Мемуары, о которых идет речь, – «Мои воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине. 1914 – 1916 гг.», опубликованы в альманахе «Российский Архив». Вып. II – III. М., 1992. С. 252 – 317.

[16] *«Новая деревня»* – издательство, организованное на основе издательства Наркомзема I января 1922 г. Выпускало газету «Сельскохозяйственная жизнь», серии брошюр («Сельская библиотека», «Крестьянская библиотека»), плакаты и проч. В 1929 г. было слито с сельскохозяйственным отделом Госиздата в «Сельколхозгиз».

[17] *...к открытию Первой сельскохозяйственной выставки.* – Первая сельскохозяйственная выставка была открыта в Москве в 1923 г.

[18] *«Скорпион»* – издательство, существовавшее в Москве в 1900 – 1916 гг. Принадлежало Сергею Александровичу Полякову (1874 – 1948). Выпускало журнал «Весы», альманах «Северные цветы», книги по искусству, западноевропейскую литературу, русских писателей-символистов.

[19] *КОИЗ* – Всесоюзное кооперативное издательство, образовано в 1934 г. По первоначальному замыслу должно было объединить издательства Московского товарищества писателей, Товарищества писателей в Ленин-

граде, «Посредник» и «Север» и функционировать при Союзе советских писателей. Вместо этого все эти издательства были слиты в единое издательство «Советский писатель».

Поездка в Сибирь в 1902 г.

[1]*…прочел том Levat об Ононе* – речь идет о книге E.-D. Levat. L'or en Sibirie Orientale., Paris, 1897. См. примечание 14 к гл. 6.

[2] *… и книжку Loti «Последние дни Пекина».* – Лоти Пьер (1850 – 1923), французский писатель, создатель нового литературного жанра – так наз. колониального романа, овеянного романтикой моря и восточной экзотикой (романы «Азиадэ», «Брак Лоти», «Госпожа Хризантема»). О своих путешествиях рассказывает в книгах «В Марокко» (1889), «Последние дни Пекина» (1901), «Индия без англичан» (1903).

[3] *… как и предполагал Лунц.* – Лунц Михаил Григорьевич (1872 – 1907), публицист, экономист, сотрудник «Русских ведомостей».

[4] *Яворовский Петр Казимирович* (1862 – 1920) – горный инженер, один из инициаторов и руководителей геологических исследований в золотоносных областях Сибири и Дальнего Востока; изучал месторождения золота в бассейне р. Зеи (до 1891 г.), золотых россыпей на Урале (1891 г.), в составе Амурской экспедиции Гондатти (1909 – 1912) проводил исследования в Зейском золотоносном районе, на левобережье Амура от Черняева до Благовещенска.

[5] *Пфаффиус Константин Евгеньевич* (1861–1930) – горный инженер, служил в Нерчинском горном округе, управляющим Горбиченскими промыслами, ст. упр. Казаковским зол. промыслом, член Совета Приамурского отд. Русского географического о-ва (1898–1908), обследовал горячие минеральные источники Приморья, Приамурья и Камчатки.

[6] *Астров Николай Иванович* (1868 – 1934) – юрист, российский политический и общественный деятель, Московский городской голова (1917); после революции эмигрировал, умер в Праге.

[7] *Зазубрин Василий Васильевич* – поверенный Ононской К°, сотрудник Василия Никитича Сабашникова.

[8] *...найдены залежи каменного угля.* – Промышленное освоение Иркутского угольного бассейна началось с 1896 г. (Черемховские угольные копи).

[9] *Колокольникова Мария Николаевна* – врач в Иркутске

[10] *…Славянский объявляет концерт.* – Славянский – псевдоним Агренёва Дмитрия Александровича (1834 – 1907), певца, дирижера хорового оркестра, собирателя, обработчика и популяризатора народных песен. Созданный им хор «Славянская капелла» был широко известен и имел огромный успех не только в России, но и в Америке, Англии, Франции, Германии и др. странах.

[11] *Биршерт П.А.* – амурский золотопромышленник, уполномоченный Соединенной Зейской Ко

[12] *…он участвовал в походе Орлова.* – Орлов Николай Александрович (1855 – 1917?), генерал от инфантерии, военный писатель и теоретик, пионер воздухоплавания. Участвовал в походе 1900 года при усмирении беспорядков в Китае в качестве начальника Хайларского отряда.

[13] *…Ведь Амур шутя взяли.* – В 1899 году в Китае произошло восстание, получившее название Ихэтуаньское, или «боксерское», от слова «цюань» (кулак). В ночь с 23 на 24 июня 1900 года в Пекине отряды повстанцев-ихэтуаней начали резню христиан, получившую название «Варфаломеевская ночь в Пекине». Были убиты сотрудники германской и японской дипломатических миссий. Япония, Германия, Россия, США, Великобритания, Франция, Италия, Австро-Венгрия направили к берегам Китая объединенный флот. Коалиционные силы двинулись на Пекин, и 28 августа он был взят под контроль союзными войсками. Однако в июле ихэтуани начали наступление в Маньчжурии. Дважды ими был обстрелян Благовещенск. Военный губернатор Амурской области К.Н. Грибский издал распоряжение о выдворении всех китайцев из города и области за Амур. Российские войска предприняли наступление, заняв правый берег Амура и полностью очистив его не только от повстанцев, но и от всего китайского населения. В декабре 1901 года российской армии удалось полностью ликвидировать остатки ихэтуаней, остававшихся в Маньчжурии.

[14] *Андроверов Яков Самуилович* – купец I гильдии, совладелец Сутарского и Сретенского золотопромышленных товариществ.

[15] *Гродеков Николай Иванович* (1843 – 1913) – генерал-губернатор (1898 -1906) и командующий войсками Приамурского военного округа.

[16] *Грибский Константин Николаевич* (1845 – 1912) – военный губернатор Амурской области (1897 – 1902), наказной атаман Амурского казачьего войска.

[17] *…потоплении китайцев…* – в 1900 во время конфликта с Китаем около 5 тысяч китайцев под конвоем казаков были выведены из Благовещенска; при переправе через Амур большая их часть утонула.

[18] *Берг* – руководитель поисковыми партиями в Соединенной К°, видимо, один из сыновей (Василий Павлович или Сергей Павлович) Павла Васильевича Берга, компаньона золотопромышленных компаний Шанявских и Сабашниковых.

[19] *Люба Владимир Федорович* (1861 – 1928) – востоковед-дипломат, первый представитель МИД в Маньчжурии. С 1904 консул в Угре, в 1907–1909 гг. – генконсул в Харбине, с 1911 – генконсул в Угре. С 1920 служил на КВЖД. Автор ряда проектов по развитию преподавания китайского языка для русских в Маньчжурии и работ по истории и экономике Китая и Монголии.

[20]*…Пирри.* – Возможно, имеется в виду Перри (Perry) Мэтью Колбрайт (1794 – 1858), военно-морской деятель США, коммодор (1841), активно участвовавший в американской экспансии на Дальнем Востоке.

[21] *…при таликах…* – Талик – участок талого грунта среди толщи многолетнемерзлых грунтов, замкнутый со всех сторон мерзлым грунтом. Талики бывают под маломощными реками, малыми озерами.

[22] *… установил орографию местности.* – Орография (от греч.oros – гора) – раздел геоморфологии, занимающийся описанием различных элементов рельефа (хребтов, возвышенностей, котловин и т.п.) и их классификацией по внешним признакам вне зависимости от происхождения.

[23] *… заступничество Ухтомского.* – Ухтомский Эспер Эсперович (1861 – 1921), князь, дипломат, востоковед, публицист, поэт, переводчик. Служил

по департаменту духовных дел иностранных исповеданий, был несколько раз командирован в Сибирь и Среднюю Азию для изучения инородцев-буддистов, сопровождал цесаревича Николая в его путешествии на Восток. С конца 90-х годов стоял во главе русско-китайского банка и правления Маньчжурской ж.д. Отстаивал веротерпимость и местное самоуправление.

[24] *Кеннан Джордж* (1845 – 1924) – американский писатель, в 1861– 1868 годы по поручению русско-американской телеграфной компании посетил крайний северо-восток Сибири для исследования вопроса о возможности проведения телеграфа из Америки через Берингов пролив и Сибирь; в 1885 – 86 годы он вновь посетил Сибирь с целью изучения русской ссылки.

[25] *Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович* (1851 – 1895) – писатель, народник; после покушения на шефа жандармов Н.В. Мезенцева бежал из России, жил в Швейцарии, Италии, Англии.

[26] *…нашей Археологической комиссии.* – Археологическая комиссия – создана в СПб в 1859 г., находилась в ведении Мин-ва имп. Двора и уделов (заседала в Зимнем Дворце); была наделена исключительным правом разрешать и контролировать археологические раскопки на территории России (кроме помещичьих земель), вела также работу по охране и реставрации памятников архитектуры и искусства.

На фронте (май – октябрь 1915 г.)

[1] *Пуришкевич Владимир Митрофанович* (1870 – 1920) – политический деятель правого толка, один из лидеров «Союза русского народа», создатель «Союза Михаила Архангела», депутат II, III и IV Государственной думы, участник убийства Григория Распутина, после революции участвовал в белом движении, сотрудничал с А. И. Деникиным. Во время войны развернул активную деятельность в помощь фронту, созданию санитарных поездов, пунктов питания, походных церквей и т.п. учреждений. Его санитарный отряд считался на фронте образцовым.

[2] *Рябушинский Павел Павлович* (1871 – 1924) – российский промышленник, банкир. Совладелец «Товарищества мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями», Московского банка, «Товарищества типографий П. П. Рябушинского», акционер многих других компаний. Входил в ЦК партии «Союз 17 октября», с 1906 – в партию мирного обновления, в 1912 – в Московское отделение ЦК партии «прогрессистов». В 1915 инициатор создания и председатель московского Военно-промышленного комитета, член Государственного совета от промышленности. Во время войны организовал медико-санитарный отряд под эгидой Земского союза. Оказывал финансовую поддержку выступлению генерала Л. Г. Корнилова. В 1920 эмигрировал во Францию.

[3] *Чюрленис Микалоюс Константинас* (1875 – 1911) – литовский художник и композитор.

[4] *Балтрушайтис Юргис Казимирович* (1973 – 1944) – литовский поэт, писал на русском и литовском языках.

[5] *Радкевич Евгений Александрович* (1851 – после 1935) – генерал от инфантерии, в 1914 г. командовал 3-м Сибирским армейским корпусом, с апреля 1915 г. командующий 10-й армией.

[6] *Сухомлинов Владимир Александрович* (1848 – 1926) – военный деятель, генерал от кавалерии; с декабря 1908 года – начальник Генерального штаба, с марта 1909 по июнь 1915 – военный министр; был смещен с должности по решению Верховной комиссии, расследовавшей неудачи на фронте и злоупотребления в армии.

[7] *Поливанов Алексей Андреевич* (1855 – 1920) – генерал от инфантерии, член Государственного совета, военный министр с июня 1915 по март 1916 г.

[8] *Гучков Александр Иванович* (1862 – 1936) – российский политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября», председатель III Государственной думы (1910 – 1911), военный и морской министр Временного правительства России (1917), депутат Думы (1907 – 1912), член Госсовета (1907 и 1915 – 1917). С началом Первой мировой войны в качестве особоуполномоченного Общества Красного Креста отправился на фронт; занимался организацией госпиталей и обеспечением их всем необходимым. В дни Февральской революции по поручению Временного комитета Государственной Думы 2 (15) марта 1917 г. вместе с В. В. Шульгиным выехал в Псков к Николаю II для переговоров о его отречении в пользу сына Алексея. В первом составе Временного правительства занял пост военного и морского министра. Летом вместе с М. В. Родзянко основал Либеральную республиканскую партию, которую он намеревался сделать «партией порядка». Активно поддерживал Л. Г. Корнилова, ставшего верховным главнокомандующим, в его планах установления военной диктатуры. Весной 1919 г. по поручению А. И. Деникина отправился в Европу в качестве дипломатического представителя Белого движения. Умер в Париже.

[9] *Тюлин Михаил Степанович* (1862 – 1935) – генерал-лейтенант, в 1915 г. был назначен начальником 2-ой Кубанской казачей дивизии, впоследствии был назначен атаманом Оренбургского казачьего войска; после гражданской войны остался в России и находился на службе в военно-учебных заведениях Академии Генерального штаба РККА, написал автобиографические записки, включающие дневники периода первой мировой войны – «Записки для моих детей и внуков». Расстрелян в 1935 году.

[10] *Вебель Фердинанд Маврикиевич* (1855 – 1919) – генерал от инфантерии, командовал 30-м армейским корпусом (1915); расстрелян большевиками весной 1919 в Одессе.

Указатель имен

Полетаева 565, 566, 577, 587

Содержание

Михаил Васильевич Сабашников

Записки. Письма

Редактор Л. Заковоротная

Подписано в печать 05.09.11
Формат 60x90 1/16
Усл. печ. л. 44
Тираж 3000 экз.
Заказ № 0000

Издательство им. Сабашниковых
119270, Москва, Фрунзенская набережная, 38/1
тел.: (499) 242-59-63
e-mail: sabashnikov@sabashnikov.ru
www.sabashnikov.ru

Отпечатано в ППП Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер. 6